ISSN 0130 – 6545

4. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Театральный плакат.

Цветные иллюстрации номера — работы Гюнтера Рамбов (ФРГ)

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Театральный плакат.
Художественный плакат.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 апрель 1989

Содержание

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР — Рассказы разных лет *(Перевод с идиш, примечания и послесловие Льва Беринского)* 3

Из чешской поэзии

КАРЕЛ СЫС, МИХАЛ ЧЕРНИК *(Вступление С. Шерлаимовой. Перевод с чешского Владимира Соколова)* 45

ЙОЖЕФ МЕЛИУС —«Кафе «Транзит», «Западное кафе» *(Фрагменты книг. Вступление и перевод с венгерского Ю. Гусева)* 53

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего. Продолжение)* 103

Е. Гениева — Комментарии 155

Публицистика

АРТУР ЛОНДОН — Признание *(Перевод с французского К. Наумова и М. Злобиной. Послесловие Е. Амбарцумова)* 164

Резонанс

Из зарубежной печати

Ласло Немет. Сталин: «Вопросы ленинизма». Стефан Продев. Жажда познания Ленина *(Перевод с венгерского А. Мугалевой. Перевод с болгарского М. Чемодановой)* 239

Джеффри Хоскинг — Интервью с ним и его лекция «Возврат к политической жизни» *(Перевод с английского М. Теракопян)* 243

Курьер «ИЛ» 250

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1989

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР

Рассказы разных лет

Перевод с идиш, примечания и послесловие
ЛЬВА БЕРИНСКОГО

I'm very proud that magazine of „foreign literature" is going to publish my works in russian traslation as they have been translated in many languages.

13.03.88

Дорогие читатели!

Я всегда писал для всего человечества, к которому, разумеется, относитесь и вы, тем более что ваша высокая человечность подверглась испытанию многими бедами и страданиями.

Надеюсь, мне удастся на свой лад повести разговор с русским читателем. Очень рад, что журнал «Иностранная литература» собирается опубликовать по-русски мои произведения, которые уже печатались на многих языках.

13.03.88.
Исаак Б. Зингер

Тишевицкая сказка

1

Я, бес, свидетельствую, что бесов на свете больше нет. На что нужны бесы, когда человек сам бесом стал? Кого совращать, если каждый, как говорится, и без того уже спекся? Я, наверно, последний из наших, из нечисти. Прячусь на чердаке, в городишке Тишевиц, жизнь моя — это чтение сказок на идиштайч *, эти книжки завалялись здесь с давних времен, до катастрофы.

* Пояснения к словам, отмеченным звездочкой, см. в Глоссарии. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Сами-то сказки — галиматья, перец кубеба на гусином надое, а все дело — в еврейской буквице! Как сказано: буквы мудрствования... Что я еврей — и говорить не приходится. А кто же еще, гой, что ли? Да, я слышал, и у гоимов есть свои бесы, но лично я никогда их не видел, не знал и знать не желаю. Исаву Иаков — не сват.

Прибыл сюда я из Люблина. Тишевиц — это такая глухая дыра, куда и Адам в безлюдном мире не сцал. Въезжает в город телега: голова кобылы уже на базаре, а задние колеса еще на развилке скрипят. Грязь на Кущи* как разольется — полгода не просыхает. В Тишевице козы с крыш солому таскают — не задрав бороды. Куры — посреди улицы на яйцах сидят. Пауки — в париках у женщин гнезда свивают. В портновскую синагогу, если миньен* не набирается, общинного козла волокут. Все это я говорю в настоящем, а не прошедшем времени — потому что время остановилось.

Как меня занесло в эту глушь — и не спрашивайте! Ашмодай пошлет — и не вякнешь! До Замосьца дорога знакомая, а дальше помогай себе сам. Подсказали примету: на синагоге, на крыше железный петух красуется, а на голове у него всегда ворона сидит. Этот петух когда-то вертелся под ветром, но теперь много лет уже не шевельнется, ни в бурю, ни в град. В Тишевице и железный петух сдохнуть может.

Прибыл я, а из наших, гляжу, никого. Кладбище в запустении. Нужника нет. Забрался я в баню, тут рядышком, уселся на верхний полок, смотрю на камень надгробный и думаю: и на кой я, к примеру, тут сдался? Ну, может, длиннохвостик какой был бы здесь кстати, но гонять матерого беса за столько верст? Из самого Люблина, когда тут Замосьц под боком? Или что у них — демонят-лапитутов не стало? Ну и ну!

На улице солнце, лето в разгаре, а тут холодно, мрачно. Над головой паутина колышется, паук сучит лапками — то прясть затевает, то снова притихнет. Мух нету, даже следов не видать. И что он здесь, думаю, ест? Свои же кишки? И вдруг слышу: он мне отвечает, да еще нараспев, как по Гемаре*:

— Эйн хакомец машбиа эс хаари вээйн хабойр мисмалэ мэхойлейсой...[1]

Я аж расхохотался:

— Вот как? А с чего это ты вдруг — паук?

— А я здесь уже и червем, и блохой побывал,— отвечает,— и лягушкой. Третью сотенку лет разменял, а заняться все нечем. И никуда не подашься — нет разрешения.

— Взял совратил был кого-нибудь, что ж тут, одни цадики-праведники и живут?

— Да ну, мелкие люди, ничтожные грешки. Соседу с вечера позавидует: у того новый веник, а с утра, смотришь, кается уже и постится. С тех пор как Авром Залман, раввин здешний, внушил себе было, что он сам Посланец Божий, кровь в людишках точно застыла, совсем не течет. Будь я Сатана, я бы нашего брата понапрасну здесь не томил.

— Да ему-то что, жалко?

— И то сказать... Ну, а что в мире новенького?

— Да смотря в каком... Если ты про Ситрэ-Ахрэ *, то не шибко.

— Что так? Дух Добра укрепился на свете?

— Укрепился?.. Может, здесь у вас, в Тишевице... В больших городах про такое уже и не помнят. Дух Добра! Йейцер-Тойв! Даже в Люблине — где-где, но в Люблине! — он давно уже не главная шляпа.

— Ну, так это же хорошо!

— Что ж хорошего! Нам тоже кругом виноватыми быть ни к чему, а ведь дошло до того, что грешат уже больше, чем могут, чем сил

---

[1] Не насытится лев горстью и не переполнится колодец песком, оседающим из его воды *(иврит)*.

достает. Жизнью жертвуют ради крохи греха. Лечу я себе намедни над Левортовой улицей, подо мной еврей топает, бороденка вся черная, пейсы кудряшками, тулупчик на нем, в зубах цигарка бурштинская. А навстречу — мадам. Мне и взбрело, и говорю я ему: «А что, дядя, как насчет цацы?» Я просто так, подразнить его думал, на большее и не надеялся. А то еще, думаю, обложит и в рожу плюнет. Платок приготовил. А он этак с ходу, да еще недовольный, со злобой: «Меня-то чего уговаривать, ты вон с ней потолкуй...»

— Откуда ж напасть?

— Просвещение. Ты пока двести лет здесь торчал, Господь новую кашу заварил. Нечто неслыханное. У евреев, видишь, писатели появились. Кто на святом иврите кропает, кто на идише, и неплохо, знаешь, профессию нашу освоили. Мало того, мы покуда одного шалопая окольпачим — глотку надорвешь, а эти — стансы-шмансы свои напечатают, целую гору, и сидят рассылают всему роду израильскому. И уловки-то все наши: что, мол, свято — то свято, но и пожить ведь себе в удовольствие можно! Грязь, дескать, смоется при омовении, после смерти. Не иначе, весь мир погубить хотят. А ты вот дичаешь тут целых два века — а толку? Ну хоть одного кого-нибудь совратил? Или я — а что я успею за две недели?

— Сказано: был бы гость впору — своротит гору.

— Да уж... Ну ладно, а кем бы я мог тут заняться?

— Есть один раввинишка, перебрался из Мазл-Божица. Молодой еще, тридцати нет. Но, правда, парень опытный, тертый. Весь Талмуд * в голове держит. Каббалист * — на всю Польшу такой! И пост у него через день, и холодная миква *. Не подходи: в разговор не вступает. Раввинша? Та и вовсе пат бетула, почти девственница. Железная стенка, попробуй-ка расшевели! Спросили б меня — весь этот Тишевиц надо просто списать, вычеркнуть! Слушай, а ты бы помог мне, а? Ты устрой как-нибудь, чтоб меня отсюда убрали. Я тут с ума сойду!

— Так... С этим раввинчиком следует потолковать. С чего бы начать, как ты думаешь?

— Ха, с чего бы начать! Это ты мне скажи! Знаешь как с ним: ты еще рот не открыл, а он уже соль на хвост тебе сыплет...

— Да я, братец, люблинский. Меня на соль не возьмешь...

2

По дороге допытываюсь у бесенка:

— А ты все-таки пробовал?

— Пробовал. И этак, и так.

— Насчет баб?

— И не смотрит.

— Прочие прелести?

— На все один ответ.

— Горд?

— Бойрейех ман хаковед [1].

— Что, совсем не клюет?

— Ухом не поведет.

— Но ведь что-нибудь себе думает?

— Наверно, но?..

Окошко в бесдине * раскрыто. Влетаем. Все как положено: арн-койдеш*, книги, мезуза* в деревянном футляре. Раввин, молодой человек с русой бородкой, с голубыми глазами и рыжими пейсами, с высоким, в залысинах, лбом, сидит на своем раввинском стуле на кисэ-рабонес, углубившись в Гемару. Он при полном облачении. ермолка, пояс, филактерии, цицес *. Слышу голос бесенка: «Чистые помыслы...» Раввинчик как вздрогнет, как забубнит: «Рохл тэуно вэг-

[1] Избегающий тщеславия *(иврит)*.

зиво...» И тут же сам истолковывает на идиш: «Юный барашек, заросший весь волосами, и он обработал его...»

— РХЛ,— говорю,— это, конечно барашек; но РХЛ,— говорю,— это еще и девица. К примеру, Рахиль [1].

— Так что?

— Обработать барашка — это значит остричь его...

— Правильно. И что из этого следует?

— У барашка — шерсть, а волосы — у девицы.

— Так. Ну и?

— Так что он обработал юношу!

— Что ты такое болтаешь! Не мешай, дай разобраться...

— Погоди,— говорю,— Тора твоя — не чай, не остынет. Иаков действительно любил Рахиль, но когда привели ему Лию, он не роптал. А когда Лия привела к нему Зелфу-наложницу, Рахиль ей назло отдала ему Валлу...

— В обоснование будущего предания...

— Про царя Давида?

— Да, но до его отпадения!

— До отпадения, после отпадения! Мужику главное — отпасть! С бабой на пару...

— Шейгец!— как закричит вдруг раввин.— Негодяй!.. Отведи, Шаддай *, от меня Сатану! — И, схватившись за пейсы, отшатывается. Потом, подняв пальцами мочки, затыкает ими уши: не слышу! Я еще говорю, а он в самом деле не слышит. С головой уходит в Писание. Все! Хоть к стене обращайся. Бесенок мой замечает:

— Черствый ломоть, а? Весь день завтра будет поститься, терзаться. Отдаст нищим последний грош.

— В наши дни — и такая вера?

— Тверд как скала.

— Раввинша?

— Сама благочинность.

— Дети?

— Малы.

— Может, теща?

— Давно в мире ином.

— Враги?

— Таковых не имеется.

— Да откуда же он такой взялся, паинька этот?

— У евреев всего заваляется...

— Но я должен его дожать! У меня — задание. Справлюсь — в Одессу поеду, мне обещали.

— Это что еще?

— Рай. Эдем для нашего брата. Спи себе в сутки двадцать четыре часа. Чернь греховодничает, а ты палец о палец не ударишь.

— А чем заниматься?

— А с ведьмами развлекаться!

— Во-о-о... А тут — ни одной. Хоть бы суку какую старую...

— Ну и как же обходишься?

— Известно... Старая история... Про Онана.

— Это не дело! Вот что, ты мне подсобишь, а я — клянусь бородой Ашмодая! — вытащу тебя отсюда. Будешь у меня мешоресом *.

— Это бы хорошо. Только надеяться не на что. Насчет этого рыжего не обольшайся...

— Ну-ну,— говорю,— не с такими справлялись...

---

[1] По ивритской орфографии письменное слово представлено только согласными, без гласных. Отсюда многозначность древних текстов. Бес в данном случае, помимо имеющихся возможностей для разночтений, морочит раввина.

3

Проходит неделя — дело с места не трогается. И так муторно мне. Неделя в Тишевице — считай в Люблине месяц. Бесенок мой — паренек ничего, но как проторчишь двести лет в захолустье, попробуй не стань провинциалом! Анекдотцы рассказывает времен Еноха * и сам же хохочет-рогочет как дикий! Называет знакомых, а имена их, может, только в Агаде * и встретишь! Историйки все — с бородой.

Надо сматываться. Но вернуться ни с чем — не штука. У меня врагов среди этой братии хватает — затравят. Да меня, может, для того сюда и послали, чтоб я шею себе тут сломал? Наш брат, если он с родом людским не воюет, своего же угробить горазд.

Значит, так. Три главных соблазна: деньги, гордыня, разврат. В одну из сетей обязательно попадется, будь он трижды святой! Раввинчик он, конечно, упрямый, но, видно, с прицелом!

— Тишевицкий рэб!— говорю.— Я ведь, знаешь, не вчера родился. К вам я из Люблина, там у нас дураками, как брусчаткой, улицы мостят. Благодетелями печи топят. От каббалистических книг ломятся чердаки, а настоящего знатока, навроде тебя, во всем Люблине не найдешь. Как же это случилось, что никто про тебя не знает? Понятно, конечно, истинный цадик — мудрец благочестный — бежит суеты... Но опять же, с другой стороны: под лежачий камень... А ведь тебе по плечу стать наставником, вождем поколения. А не каким-то безвестным раввином в безвестном местечке... Тишевицкий раввин, пора о себе заявить! Такого, как ты, ожидают народы. Сам Мессия сидит в Кан-Ципоре * и ждет — все глаза проглядел! Извини за сравнение, но держать тебя здесь — все равно что слона впрячь в телегу и возить на нем сено...

— Кто ты? Что тебе надо?— вопрошает он в страхе.— Зачем ты мешаешь мне изучать...

— Эс лэасойс! — кричу.— Время действовать! Рыться в Гемаре — это может любой.

— Кто послал тебя?

— Послали. И вот я здесь. Ты что же думаешь, наверху про тебя не знают? На тебя рассчитывают, да, в самых высоких сферах! Дал Бог плечи — неси! Знаешь рифму к «венец»? «Делу конец»! Знай, что рэб Авром Залман действительно Божий Посланец был, а тебе предначертано привести на землю с небес другого Посланца, по имени Давид! Не проспи, раскрой глаза шире! Мир погружается в топь нечистот, ты один — святой в этом мире, надежда его! По всем капищам слышится вопль нечестивцев, вопль ужаса: тишевицкий раввин! Враг человеческий напустил на тебя всю ораву. Сам Сатана подстерегает тебя. Ашмодай под тобой роет яму. Лилит * от твоей не отходит постели. Демоны Брири и Шабрири, хоть ты их и не видишь, всюду следуют за тобой, наступают на пятки. Если б не ангелы, эта нечисть давно бы тебя одолела. Но нет, ты не брошен на произвол судьбы, тишевицкий раввин! Верховный Судия охраняет твой путь. Метатрон, высший ангел, за тобой наблюдает из лучшего мира. Все теперь на чашах весов, и от тебя, тишевицкий раввин, зависит, куда качнет стрелку.

— Что я должен делать?

— Исполнить все, что я скажу. Даже если бы я потребовал пойти против Торы.

— Кто ты? Как твое имя?

— Елиаху *. Я уже приготовил рог-шофар, что вострубит в Судный День. Ты решаешь сейчас, тишевицкий раввин: придет ли спасение к людям или мир растворится во тьме египетской — во веки веков.

Долго молчал раввинишка. Лицо у него побледнело, как лист бумаги, на котором он только что писал свои толкования.

— Как мне знать, что слова твои истинны? — спросил он дрожа-

щим голосом.— Прости меня, ангел святый, но ты должен подать мне знамение, знак.

— Справедливо. Вот тебе знак.

И я поднял такой ветер в комнате, что листок с его писаниной взвился в воздух и начал летать и парить — настоящий голубь! Страницы в книге перелистывались сами собой. Завеса перед арн-койдешом вздулась, как парус. Ермолка сорвалась у него с головы. Хлопнулась о потолок и опять опустилась на темя.

— Этого хватит?

— Да.

— Ты уверовал?

Он еще колебался.

— И что же ты мне повелишь?

— Наставник и вождь поколения должен знать жизнь.

— А именно?

— Ты должен поездить по свету.

— А чем заниматься, что делать?

— Проповедовать, собирать деньги.

— Деньги? Для кого собирать?

— Ты сперва собери. А как с ними быть — я потом укажу.

— Кто ж мне их даст?

— Евреи. По моей воле.

— А кто меня будет кормить, содержать?

— Сбирающий имеет право на долю...

— Хорошо бы приют для детей...

— Денег хватит на все.

— Сейчас что я должен?

— Захлопни книгу.

— Ой, вэй,— застонал раввинчик,— нэфши хашекех бетойро [1]...

Но все же поднялся и готов уже был закрыть Гемару. Сделай он это — все, он мой! А что бы он потом мог? Что, например, удумал Иосиф Дилэ-Рейне? * Дал Самаэлу нюхнуть табачку? Смешно! Я уже тихо торжествовал: ...здец тебе, тишевицкий раввинчик! Мой бесенок в углу так от зависти и позеленел. Это при том, что я обещал его вызволить, вытащить из этой дырки! Таков уж наш брат: зависть сильнее разума. А раввинчик вдруг говорит:

— Знаешь что, мой властелин, я хотел бы еще одно подтверждение.

— Пожалуйста! — говорю.— Солнце остановить?

— Покажи свои ноги.

Как только он это сказал, я понял, что все пропало. Я мог показать ему что угодно, только не ноги — ноги у нас гусиные. У всех — от сопливого лапитута до самого Злого Духа Мерири. Бесенок хихикнул в углу. В первый раз за тысячу лет у меня, у говоруна, отнялся язык.

— Ноги я тебе не покажу! — воскликнул я в гневе.

— Значит, ты черт.

И как заорет: лопни, мыльный пузырь! Изыди, наваждение! Подбегает к книжному шкафу, хватает Книгу Творения * и давай размахивать ею передо мной! Вот бандит! Против Книги Творения все мы бессильны... Едва ноги унес.

Да что говорить... Застрял я тут в Тишевице. Вот тебе и Люблин, вот тебе и Одесса! В один миг все рассыпалось, как горстка золы: все старанья мои, хитрости... От Ашмодая пришел приказ: оставайся, мол, в Тишевице, за пределы тхом-шабеса * и носа сунуть не смей!

Давно ли я здесь обретаюсь? Вечность и еще одну среду. Все пережил — разрушение города, разорение Польши. Нет больше евреев. Нет больше бесов. Не плещет в микве вода. Не изменяют супругам.

---

[1] Возлюбил всей душой Тору... *(иврит).*

Не толкутся с утра в синагоге. Не окликают прохожего — «Эй!» — перед тем, как выплеснуть на дорогу помои. Мой раввинчик — ал кидеш хашем, пал жертвой за веру,— в день пятницы, в месяц нисан. Кагал* истребили, книги сожгли, кладбище опоганили. Книга Творения теперь у старосты. В бане парятся солдаты-йеваним *. В склепе раввина Аврома Залмана устроили хлев. Нет Искусителя, нет искушений. Нет духов ни добрых, ни злых. Нет чудес. Род людской греховен семижды семь, а Мессия все не приходит. А к кому ему приходить? Он не явился на помощь к евреям, и евреи ушли к нему. И кому нужны еще бесы? Нас тоже всех уничтожили. Я, может быть, единственный, кто избежал. Я свободен теперь, могу отправляться куда мне угодно. А к кому отправляться? К злодеям я не пойду...

На чердаке, когда-то принадлежавшем бондарю Вэлвлу, среди рассохшихся бочек валяются несколько книг, на трефном идиш-тайч. Тут и сижу я, последний на свете бес. Ем пыль, сплю на оторванном гусином крыле, которым хозяйка когда-то маслила сковородку. И читаю, читаю. Истории — как по заказу для нашего брата: про кугл, испеченный на свином жире; про то, как крестился благочестивый еврей. В общем, шкатулка с теми еще благовониями! Но буквы-то, буквы! В них теперь вся моя жизнь. Печалюсь и радуюсь. Буквы еврейские, наш алефбейс! Алфавит уничтожить они не смогли! Я и сижу — переставляю, пересчитываю слова. Рифмы плету — рифмоплетствую. Всякую буквочку истолковываю по-своему: алеф — армия, армия прет; бейс — беженец, беженец мрет; гимл — голод, голод морит; далет — деревня, деревня горит; хэй — хутор, хутора нет; вов — вешатель, перевешал весь свет; зайен — зыбка, зыбка пуста; тэс — тишина, тиха пустота; йуд — еврей; ламед — лопата; мэм — могила, могильная мята...

Пока хватит еврейских словечек — буду жив, пока моль не сожрала последнюю строчку последней страницы — есть над чем посмеяться. А что будет после — я и сказать не хочу.

Без еврейской буквы, без
Алефбейса сдохнет бес...

1959

Гимпл-дурень

1

Я — Гимпл-дурень. Сам-то себя дурнем я не считаю. Даже наоборот. Но так уж прозвали меня. Давно, еще когда я мальчиком ходил в хедер. Семь прозвищ у меня было, на выбор: Болван, Остолоп, Недоумок, Тупица, Осел, Окорок, Дурень. Последнее ко мне и прилипло. А в чем была моя дурость? В том, что меня легко было разыграть. Скажут, к примеру: «Гимпл, у нашего ребе * жена родила. Завтра занятий не будет». Ну я и не пошел в хедер. А оказывается, меня разыграли. А откуда мне знать? Как же, у раввинши не было, мол, живота! А я на ее живот и не смотрел. Где же тут дурость? Все вокруг хохочут, аж дергаются. Рожи корчат, скачут передо мной, «хоронят»: «Эйл малей [1] — дуралей...» Насыпали мне тогда два полных кармана орешков — овечьих, конечно, вместо изюма, что у рожениц раздают. Вы меня видите? Слабаком я не был. Врежу — Краков узреешь. Но я не драчлив по природе своей. Ладно, думаю, меня не убудет. Ну, и всегда находились весельчаки за мой счет. Иду утром в хедер, вдруг— гав! — как гавкнет собака. Я собак не боюсь, но лучше с ними не свя-

[1] «Эйл малей рахмим...» *(иврит)* — первые слова заупокойной молитвы.

зываться. Еще бешеная попадется — и татарин потом не поможет! Ну, я ноги, конечно, в руки. А базар вповалку: это, видите ли, не собака была, а Вольф-Лейб, местный вор, олевхашнобель [1]. А как я мог это знать, если лаял он по-настоящему, этот пес носатый?

Когда баламуты поняли, что меня можно разыгрывать, не получая по кумполу, каждый решил, что должен попытать счастья. «Гимпл, во Фрамполь царь приезжает!», «Гимпл, в Турбине свалилась с неба луна!», «Гимпл, Годеле Шмойш откопала за баней клад!» А я, как тот Голем[2], всему верил. Потому что, во-первых, все действительно может случиться, как сказано где-то в Талмуде *, в каком уж параграфе-пейреке точно не помню. А во-вторых, не верить мне было уже невозможно. Попробуешь иногда возразить: «Э, бросьте, все это враки...» — тут такой поднимется гвалт! «Ах, ты не веришь? Обыкновенное дело — а ты нам не веришь? Весь Фрамполь — обманщики, да?» И злились ужасно. Что мне оставалось? Я верил, пускай веселятся!

Сиротою я был. Дед, растивший меня, уже пахнул землей. Ну, пристроил меня в пекарню. Что началось там — не спрашивайте! Каждая девка и баба, приходившая печь, должна была обязательно хоть разок меня разыграть. «Гимпл, выглянь, на небе ярмарка!», «Гимпл, раввин отелился и родил недоноска!», «Гимпл, корова летела над крышей и снесла два медных яйца!» А то прибегает ешиботник, знаток, видите ли, Талмуда: «Эй, Гимпл, ты тут пока ковыряешь лопатой, там Мессия явился, вовсю уже тхиесхамейсим идет — воскресение из мертвых!» «Как, говорю, может это быть, если рог-шофар еще не трубил?» Тут как все заорут: «Трубил! Трубил! Мы своими ушами слышали!» Рейце-свечница влетает, охрипшая как всегда, и сипит: «Гимпл, твои мама и папа встали из гроба! Они тебя всюду разыскивают!» Я, конечно, знал, что все это бредни и чушь, но... если все говорят! Накинул рубаху на плечи и выхожу: мало ли что, а вдруг? А что я теряю?.. Ну-ну! Устроили мне настоящий кошачий концерт...

С тех пор я поклялся: больше не верить. Ни во что. Никому. Никогда. Ничего, конечно, не вышло. Они меня так заморочили, я уже сам не знал — где правда? где ложь? Пошел к раввину, он говорит: «Писано в книгах: лучше будь глупцом во все свои годы, чем один час — злодеем. Никакой ты, говорит, не дурень. Дурни — они. Ибо не понимают: осрамивший ближнего утратит грядущую жизнь». И тут же дочь его меня разыграла. Выхожу от него, а она меня спрашивает: «Ты, спрашивает, стену уже целовал?» — «Нет, говорю, какую еще стену?» — «Такое, говорит, правило: пришел к раввину — стенку целуй!» Ладно, чмокнул я стенку сарайчика, денег, что ль, стоит? А она как завизжит, затрясется от радости: большое искусство — Гимпла-дурня она обдурила!

Хотел уже бросить все и уехать. Но тут меня начали сватать. Это только сказать: сватать! Полы мне пообрывали, в уши так заливали, что там, наверно, мокрицы завелись. Понимаете, это была уже баба, а мне толкуют — девица! Хромая, на ногу припадает, а мне объясняют, что это она из кокетства, интересничает! Был у нее пацанчик, выблудок, мамзер, а мне внушают: братишка. Я кричу: «Зря стараетесь! Я с этой блядью под хупу * не встану!» А они как взъерепенятся: «Ах, вот ты как заговорил! Так знай, потащим тебя к раввину, и будешь как миленький ей выплачивать кнас*!» Вижу, целым от них я не вырвусь. Ладно, думаю, пусть это будет моей жертвой. И потом, мужик-то, в конце концов, я — не она! Коли ей по сердцу, то и мне по душе. Во-вторых, все равно в отутюженном лапсердаке в могилу не ляжешь. Отправился я к ней в развалюху на краю города, на песках. А за мной — вся капелла. Точно медведя в загон загоняют.

---

[1] Насмешливо-искаженное «олевхашолем» — «мир праху его» («олеохашолем» — «мир праху ее»).

[2] См. послесловие.

Дошли до колодца, тут они позамешкались. С Элькой встречаться-то боязно. Язычок ее знали. Вхожу в дом, а дом — мост без настила. От стенки к стенке веревки протянуты, белье сохнет. Сама у лоханки стоит, полощет, босая и в плюшевом платье. Две косицы — калачиком, настоящая шикса *, прости господи. Ароматы стоят — аж дых у меня перешибло. Ей, видать, про меня уже рассказали, потому что зыркнула искоса и говорит:

— Ля, явился, он уже здесь, во елдак! Бери стул и разваливайся...

Потолковал я с ней, врать не стал. «Скажи и ты, говорю, мне всю правду. Правда ли, говорю, что ты девушка, а Иехилик — твой братик? Не вводи меня, говорю, в позор, потому что я сирота, а сирот обижать — сама знаешь!» «Я тоже, отвечает она, сирота. И я девушка, целка, а кто опозорить тебя хочет, хай позор у того на шнобеле вскочит! Но только кагал ваш такой-рассякой нехай тоже не думает, что я дам себя околпачить. Я, говорит, пятьдесят гильденов требую, это, значит, приданого, а еще пусть они тебе соберут кой-какого хозяйства. А не то — хай они меня поцелуют в эту самую, как это...» Я говорю ей: приданое — дело невесты, а не жениха. А она: «Ну да, ты еще со мной поторгуйся! Да — да, нет — нет, и пошел откудова вылез». Ну, думаю, слава богу, с этим тестом им калача не испечь. Однако кагал оказался нежадным. Вышло все по-ейному, свадьбу устроили. А у нас недавно как раз эпидемия, дизентерия, прошла. Так что хупу поставили на кладбище [1], у самого таар-штибл *. Перепились. Стали брачный договор составлять, слышу, писарь спрашивает: «Невеста — вдова или разведенная?» А габетша *отвечает ему: «И то и другое». У меня в глазах потемнело. А что теперь было делать? Бежать из-под хупы?

Отплясали, отсвадебничали. Какая-то бабка танцевала передо мной с большим калачом. Бадхен, шут — этому просто положено! — произнес надо мной «Эйл малей рахмим», молитву заупокойную. Мальчишки из хедера, как на скорбный день Тишебов *, швырялись репейником. Были подарки: доска для раскатки теста, корыто, несколько веников, поварежки — полная, как говорится, меблировка! Смотрю, два парня несут колыбельку. «С чего это вдруг колыбелька?» — спрашиваю. «А пусть у тебя, говорят, о том голова не сохнет!» И правда, думаю. Я уже понял, конечно, как меня облапошили и во что я, простите, вляпался. Но с другой стороны — а что мне было терять? Погляжу, думал я, погожу — что из этого выйдет? Не сошел же с ума целый город!

2

Подхожу я ночью к постели жены, а она меня не впускает. «Как, говорю, для того мы и поженились!» — «А я, объявляет, сегодня трефная, нечистая!» — «Как же так, удивляюсь, вчера еще вели тебя с музыкой к микве!» — «Сегодня,— отвечает она,— не вчера, а вчера — не сегодня. А если тебе, говорит, не подходит,— бери свой мешок и — дуй!» Но я все же решил подождать. Месяца три с половиною прошло — моя женка рожает. Весь Фрамполь смеется в кулак, а мне что же делать? Ведь не бросишь ее тут в корчах и муках — на стенку ведь лезет! Гимпл, кричит, мне конец! Прости меня, Гимпл! Дом полон баб. Воду носят в горшках, омывать ее собираются. Крики, вопли до неба. В общем, я в синагогу — псалмы читать. А нашим шутам только этого и нужно. Молюсь в углу, а они так серьезно стоят, головами качают. Молись, говорят, молись, пока язык не устанет: от молитвы, смеются, жена брюхатой не станет. А какой-то молокосос подносит охапку сена. Прямо ко рту: жуй, мол, осел! И хлейбн [2] — он был прав!

Родила она, к счастью, мальчишку. В пятницу вечером шамес * громко хлопает в ладоши: внимание, евреи! Господин рэб Гимпл име-

[1] Во время эпидемии суеверные евреи устраивали венчание на кладбище. Для этого подыскивали жениха и невесту из нищих и калек.

[2] Чтоб я так жил *(идиш)*.

ет честь всех вас пригласить на шолэм-зохер *. Все смеются. У меня, чувствую, лицо запылало, как от пощечин. А что делать? Я ведь и вправду считался отцом малыша. Явилось полгорода. Женщины пряностей понанесли, из шинка бочку пива доставили. Ел я и пил со всеми, и меня поздравляли: «Мазлтов!» Совершили обряд, дал я мальчику имя — в память отца моего, олевхашолем. Потом разошлись, остаюсь я с роженицей один. Она занавеску приподняла и зовет меня: Гимпл! Подхожу. «Что ж ты, Гимпл, молчишь? Или кислого молока обожрался? — «А что говорить, говорю. Красиво ты со мной обошлась, с сиротою. Если бы мама моя, говорю, дожила бы до этого дня, она бы опять умерла». Она говорит: «Гимпл, ты что, сумасшедший?» — «Ты из меня, говорю, сумасшедшего не изображай. Я все-таки взрослый мужчина». — «Да что с тобой? Что ты забрал себе в голову?» Вижу, самое время разобраться начистоту. «Разве так, говорю, поступают? Ты же мамзера, выблудня мне родила!» А она: «Ты оставь эти глупости! Запомни: ребенок твой!» — «Да откуда ж он мой? Мы всего-то пятнадцать недель как женаты...» А она начинает втолковывать мне: это, мол, дитя недоношенное. «Недоношенное, говорю, не значит — неношеное!» А она про какую-то свою бабушку, у которой только скороспелки такие и были, и она, дескать, Элька, вся в бабушку — как две капли воды! И такими при этом клянется клятвами — гою на базаре поверишь! Я-то, по правде сказать, не поверил и на другой день поговорил об этом деле с нашим с меламедом *. «О подобном же случае, объясняет, имеется упоминание где-то в Гемаре. Адам и Ева взошли двое на ложе, а сошли с него четверо. А поскольку любой, мол, из человеков сей Евы потомок, то чем же и Элька должна быть хуже своей прародительницы?» Так или иначе, а зубы он мне заговорил. Опять же, а кто может знать? Вот, говорят ведь про Исусенка, что совсем без отца появился...

Стал я уже забывать понемногу позор свой. Сильно мальчика полюбил, и он меня тоже. Завидит, бывало, и ручонками ну бултыхать, ну бултыхать! Ко мне, значит, просится. А бывало, зайдется, с ним это случалось, только я его в чувство и привожу. Я купил ему костяную баранку, у него зубки полезли, с золотыми прожилками. Через день бегал к бабкам — то от сглаза спасал его, то от сморга. Работал тогда я как вол. В доме ребенок — потребностей больше. Да и Элька — что ж врать? — вовсе мне не была неприятна. Хоть и честила ж она меня, и проклинала, и ползал я, можно сказать, у нее под ногтями. Глянет — стоишь точно молнией пораженный. А язычок, язычок! Она тебя в ребра и в печень, а ты улыбаешься, слушаешь: наслаждение!

3

Каждый вечер я получал от хозяина хлеб, а для Эльки — сдобную халу, которую сам для нее выпекал. Для нее я стал поворовывать, тащил что плохо лежало: край пирога, пучок макарон, жменьку изюма, горсть миндаля. Да не зачтется мне в грех: под субботу отпирал у хозяина чолнтер, брал шматок мяса, хвост колбасы, кусок торта. Она ела и становилась округлей, милей. В будни я дома не ночевал, приходил в пятницу на ночь. Но всякий раз была у нее отговорка: то под ложечкой жжет, то колет в боку, то болит голова. А то еще икотка на нее нападала! А эти недомогания! Что говорить, бабья плоть в самом деле капризна. Так что мне позволялось одно — ишачить, и все! А тут еще братик ее, этот мамзер! Подрос и настропалился меня колотить. А дашь сдачи — на пару визг поднимают, аж в глазах зеленеет. И все разводом грозят. Другой бы давно убежал на край света, где черный перец растет. А я не такой, я лучше смолчу, отмахнусь. А что делать? Дал бог плечи — волоки на них голову...

Как-то ночью несчастье в пекарне случилось, печь дала трещину, хорошо еще не пожар. Работы нет, я пошел домой. Поваляюсь, ду-

маю, сегодня и я на кровати. Вхожу потихоньку, чтоб ребенка не разбудить, и слышу: сопят в углу вроде двое. Один — тихо, свистливо, другой — как зарезанный бык. Мне это сразу не понравилось. Приближаюсь к постели — у меня темнеет в глазах. Рядом с Элькой вот такой мужичина! Другой бы на моем месте поднял бы крик, так чтоб город сбежался. А я думаю: мальчика зачем же будить, он, воробышек, в чем виноват? Ушел обратно в пекарню, улегся опять на мешках с мукой, до рассвета глаз не смыкаю. Все, думаю, хватит! Был ослом — надоело! Дурень не дурень — а все имеет предел!

С утра прибегаю к раввину: как быть? Переполох, гармидер. Шамес — за Элькой, та является. С ребенком на руках. И что, по-вашему, делает? А начисто все отвергает. Он, говорит, сумасшедший. Он спятил. Все бы мои ночные кошмары на его бы, говорит, голову! Раввин в крик, стращает, кулаком по столу — где там! Ни о чем таком, говорит, и не мечтала, полный бред и напраслина. Мясники и лошадники — за нее. Какой-то юнец, из их шайки, берет меня под руку: «Ты теперь, считай, меченый, ты теперь у нас на счету...» Мальчик, бедненький, разрывается, вот-вот зайдется. Гвалт, базар. Вдруг вспоминают — арн-койдеш стоит здесь! Эльку — вон.

Я бросаюсь к раввину: что теперь? «Теперь, говорит, разводись, и сейчас же». Я: «А если она не согласна?» Он: «Хорошенько навесишь — согласится». — «Хорошо, говорю, я, ребе, подумаю». — «А нечего, говорит, думать. Тебе теперь с ней под одной крышей нельзя».— «А если, к примеру, я хочу увидеть ребеночка?» — «И ребеночка тебе видеть нельзя. И пошла бы она, говорит, эта шлюха со своими выблядками...» И выносит решение: мне запрещается переступать порог ее дома. Ни под каким предлогом и во веки веков.

Ну, днем я об этом не печалился: волдырь должен был лопнуть! Но как ночью улегся на свои мешки — спать не могу. Такая тоска. Как же: дома жена, мальчонка. Попробовал разбудить в себе злость: злости нет. Это моя беда — отходчив. Ну, во-первых, думаю, мало ли — человек оступился. Юнгач этот глазки, наверно, ей строил, подарки, может, носил. А у женщины волос, известно, долог, а ум короток. Вот он ее и подбил. Во-вторых, она так решительно все отрицает. А вдруг мне и вправду мужик померещился, вдруг? Такое бывает, вроде вот оно: зверь какой или человек, а подойдешь — никого! И выходит, зря я грешил на нее и ее же позорил... И, так размышляя, начинаю я плакать. Рыдать. Мешки под щекой намокли. Утром опять к раввину: ошибка. Раввин все мои объяснения — гусиным пером на бумагу, а бумагу обещает сейчас же куда следует отослать. Подождем, что ответят. А мне до тех пор к жене приближаться нельзя. Что можно — передавать для них хлеб и деньги на пропитание.

Десять месяцев ждали ответа: раввины договаривались между собой. Письма туда, письма обратно. И кто бы мог подумать, что такое простое вроде бы дело заставит их перелопатить всю Тору! Элька, пока суд да сказ, опять родила, теперь уже девочку. В субботу, как полагается, я был в синагоге и дал ей имя — в память тещи моей, олеохашолем. Хозяйки и девки в пекарне опять принялись языками чесать. Фрамполь прямо-таки упивался моим позорищем. Но я уже решил про себя: верить. Верить всему и всегда! Из неверия ничего путного не выходит: сегодня не веришь жене, завтра разуверишься в Боге.

Каждый вечер сосед наш, а он был подмастерьем у нас в пекарне, передавал Эльке хлеб от меня, ржаной и пшеничный, несколько бубликов, кусок лекеха или там ромовой бабы. Парень он был добросердечный, отдавал ей, случалось, и часть своей доли. Раньше он, правда, постоянно меня задирал, то в бок локтем ткнет, то по носу щелкнет. А с тех пор, как стал к нам домой заходить, переменился. «Знаешь, Гимпл, говорит он мне как-то, а ведь женка твоя ничего, и детишки такие смышленые. Ты их не стоишь, хлейбн!» — «А что ты скажешь насчет того, спрашиваю, про что люди болтают?» — «Языки у людей без

костей, отвечает, а ты будь умней, и пусть тебя все это трогает, как прошлогодний мороз».

Как-то раввин посылает за мной и говорит:

— Ты, Гимпл, уверен, что обознался в тот раз?

— Конечно, ребе. Ошибся.

— Постой, но ведь ты это видел своими глазами?

— Может,— отвечаю,— это тень была. Тень от балки.

— Что ж,— говорит,— если хочешь, возвращайся домой. И благодари раввина из Янова, это он раскопал один такой пункт у Рамбама *.

Я припадаю к руке благодетеля, лобызаю и бегом домой. Шутка ли, почти год не видеть жену и детей! Потом думаю: нет, надо остыть, вернусь-ка я лучше в пекарню, отработаю день, а уж там — на целую ночь, по-людски. Никому ничего не рассказываю, только на сердце, чувствую, праздник. Бабы и девки, конечно, меня, как обычно, подначивают, смехом заливаются. Да залейтесь вы, думаю, хоть совсем, истина, видите, все равно на поверхность всплывает — как масло в воде! Если сам Рамбам сказал «кошер» — дело чистое.

Поздно вечером, кончив с закваской, я беру свою долю выпечки, насыпаю мешочек муки-пеклеванки — и домой! В небе круглая светит луна, звезды сверкают. Я шагаю, а впереди бежит моя тень. Дело было зимой, накануне снегу насыпало. Иду я — и хочется петь. Однако час поздний, не будить же людей! Стал я что-то насвистывать, вдруг вспоминаю: нельзя, бесов к ночи накличешь. Пошел молча. Собаки лают вдогонку. У гоимов на каждом подворье собака. Ладно, думаю, лайте, щелкайте злобно зубами, вы — собаки, а я человек. Мужчина, муж достойной жены, отец славных детишек...

Приближаюсь — а сердце бух! бух! И вроде бояться-то нечего, и боязно как-то. Ну, будь что будет... Берусь потихоньку за клямку, отпираю, вхожу. В доме темно. Элька, наверно, уже уснула. Ставень прикрыт, через щель бьет луна. Остановился на миг возле люльки: девочка, крошечное лицо. И чувствую, что полюбил ее тут же, на месте. Потом подхожу к кровати. И что же я вижу? Лежит Элька, и рядом — наш подмастерье, вот негодяй! Луна сразу померкла. В глазах темно. Руки-ноги дрожат. Зубы пляшут. Хлеб из рук выпал на пол. Элька проснулась, голос подает: кто там, га?

— Это я,— лепечу.

— Гимпл? Откуда ты,— удивляется,— взялся? Тебе разве можно?

— Можно,— отвечаю чуть жив.— Раввин разрешил...

А сам весь как в лихорадке.

— Слушай, Гимпл,— говорит она,— ты бы вышел во двор, поглядел бы, как там коза. Что-то с вечера похужела...

А я забыл сказать, мы держали козу. Я как услышал, что с козой нехорошо, сразу и поспешил к ней, потому что привязан к ней всей душой, она мне как человек. Добродушнейшее созданье...

Дотащился кой-как до сарайчика, открываю. Коза стоит себе как ни в чем не бывало, все при ней. Ощупал бока. Потянул за рога. Помял вымя, живот. Ну конечно, опять коры обожралась! А так все в порядке. Спокойной ночи, говорю, тебе, козочка. Не болей, будь здорова. И бессловесное это животное отвечает мне: «Ме-э-э...» То есть, спасибо, спасибо...

Вернулся и вижу: парень исчез. А где, спрашиваю, подмастерье?

— Какое-такое еще подмастерье? — не понимает жена.

— Да как же, тот самый. Из нашей пекарни. Он ведь только что,— говорю,— с тобой тут лежал...

— А все бы мои,— отвечает,— хворобы на твою голову! Можно — и в печень. А лучше — на всего на тебя и на всю твою жизнь! Не иначе,— кричит,— как нечистый вселился в тебя и мороку наводит.

И как заорет: «Вон отсюда, лунатик! Припадочный! Клепнутый! Колтень несчастный!» Я думал, весь Фрамполь сбежится. А тут братец ее из-за печки выскакивает, да как даст мне в потылицу! Кулаком!

Хребет, думал, треснет. Молчу, дело, вижу, крутое. Не хватает еще, чтоб по городу слава пошла, что я колтень, с нечистым связался. Кто станет покупать тогда мою выпечку, пропаду...

— Ладно,— говорю,— не строй из себя оскорбленную целю. Все понятно, не подымай шум. Кончили...

В общем, кое-как ее утихомирил.

— Кончили так кончили,— вздыхает.— Черт с тобой, ляжь спать и чтоб тебя там свернуло калачиком. Дугой. Колесом.

Утром в пекарне отзываю парня в сторонку. Так, мол, и так, что скажешь? А он на меня глядит, точно я с крыши сверзился. «Хлейбн, отвечает, чтоб я так жил... А тебе, говорит, обязательно к доктору надо. Или к старой знахарке-гойке. Боюсь, говорит, что все-таки пары заклепок у тебя не хватает. Вот здесь — и тюкает меня пальцем по голове. А все же сочувствует: мне тебя жаль, и я никому, ты не бойся, не расскажу». На том и порешили.

Чтобы короче: прожил я с Элькой больше двадцати лет. Родила она мне шестерых — двух мальчиков и четырех девочек. Все в эти годы было, всяко случалось. Но я оглох и ослеп. Не слышу, не вижу. Еще и раввин мне, помню, сказал: «Благо тебе, если веришь. Писано: цадик-праведник своей верой живет».

И вдруг: с Элькой плохо. Началось вроде с ерунды — пупырышек на груди. Но годы ее, видать, вышли. Потратил я на ее болезнь состояние. А я забыл сказать, что к тому времени я имел уже собственную пекарню. И во Фрамполе считался почти богачом. Врач — каждый к ней день. Все ворожеи, шептуньи перебывали у нас. Банки, пиявки. Доктор из Люблина приезжал: поздно. Перед самой кончиной подзывает меня: прости, Гимпл. «За что, говорю, прощать? Ты была мне женой, супругой». — «Ой вэй, Гимпл, все эти годы я тебя грязно обманывала. Я, говорит, хочу предстать перед Господом с чистой душой. Знай, Гимпл, что все эти дети — не твои». Лучше б палкой по голове.

— А чьи ж они? — спрашиваю.

— Кто их знает,— пожимает плечом,— разные были. Знаю только, что не твои.

И с этими словами запрокидывает головку, захлопывает глаза, и нет больше Эльки. А на белых губах — усмешка, точно мертвая говорит: «Ну как, здорово разыграла я этого дурня?»

Столько лет с ней промучился — и нате вам....

4

Как-то ночью — семь поминальных дней Шивэ прошли — лежу на своих я мешках, то ли сплю, то ли нет. И является Он. Да-да, сам Искуситель. «Что же, Гимпл, ты спишь?»— «А что же мне еще делать? Поел бы вареников — нету». Он: «Вот они, люди. Оставили тебя в дураках. Сделай же дураками и ты их!» Я: «Каким это образом?» Он: «А ты каждый день как приспичит — собирай в ведерко. А ночью выливай в тесто, пусть они, эти цадики фрампольские, жрут из-под тебя!» Я: «А вам по ту сторону света зачем это нужно?» Он: «Никакого потустороннего света и нет. Внушили тебе, что котенком беремен...» Я: «Есть зато Бог!» Он: «И Бога нет». Я: «Что же все-таки есть?» «Есть, говорит, бездонная топь, болото». Так и вижу его, краснобая: бородка козлиная, рожки козлиные, зубы волчьи и хвост. И только хотел я его за этот хвост ухватить — брык с мешков: как ребра целы остались? А тут мне, чувствую, как раз по малой нужде. И тесто, гляжу, подошло, точно просит: ну же! ну! Короче, поддался я дьявольскому искушению. А чуть развиднелось — помощник приходит. Ну, мы все по лоткам, тмином булки посыпали — в печь. Он ушел, а я сижу перед огнем на куче тряпья: вот ты, думаю, Гимпл, и отомстил им. За весь свой позор на земле отомстил. Мороз на дворе трещит, а мне тут тепло и уютно. Жар в лицо пышет. Склонил я голову и задремал.

Сплю, и во сне вдруг Элька приходит, вся в саване белом. «Гимпл, что ж это ты натворил?» «Это ты во всем виновата»,— отвечаю ей, а сам плачу. «Ты, Гимпл, дурень. Это что ж, если Элька тебя обманула, весь белый свет виноват? Весь мир, значит,— ложь? Да ведь я-то себя одну и обманывала. И за все теперь, Гимпл, расплачиваюсь. Там ничего не прощают, взгляни на мое лицо». Я глянул: лицо как уголь! И тут же проснулся. Долго сидел окостеневший, чувствую: все на весах. Один миг — и весь мир грядущий, весь ойлом-хаба, для меня навеки потерян. Но Бог мне помог. Схватил я лопату, хлебы повытаскивал, на двор вытащил, вывалил прямо на снег. Стал яму копать — земля мерзлая, не берется. Помощник идет. «Что это, хозяин, вы делаете?»— а сам побелел как мертвец. «А то, что ты видишь!»— говорю и закапываю всю выпечку. Потом отправляюсь домой, достаю деньги из тайничка и раздаю их ребятам. «Сегодня ночью, говорю, я, дети, видел вашу маму. Она, бедная, вся почернела». А они сидят, онемели, слова не вымолвят. «Оставайтесь, говорю им, здоровы и забудьте, что был такой Гимпл». Напяливаю свой капелюх, натягиваю сапоги, беру сверток с талесом * в одну руку, посох — в другую. И целую мезузу * над дверью. На улице люди встречают меня, удивляются: рэб Гимпл, куда вы? «Куда глаза глядят»,— отвечаю. Так ушел я из Фрамполя.

Начал я странничать, добрые люди не давали мне умереть. Шли годы, я постарел, поседел. Всякого насмотрелся, наслышался. Каких только нет на свете историй, чудес, небылиц. Чем дольше я жил, тем больше я убеждался, что все на свете случается. Если не с каким-нибудь Гоцмахом, так с Груманом. Не сегодня — то завтра. Через год. Через сто лет, какая разница? Слушаешь, бывало, про совсем что-то невероятное и думаешь: нет, вот уж этого быть не может никак. А пройдет год-другой — слышишь: именно это и произошло, там или там. Небылица. Да хоть бы и небылица — в ней тоже есть что-то. Почему это один выдумывает одно, а другой — другое?

Заходил я в чужие дома, сидел за чужими столами. Ну и сам, глядишь, что-нибудь присочинишь — с бесами, знаете, с вурдалаками, вэйсэхвос, бредень в бред забредает. Детвора пообсядет: расскажите, дедуня, сказку! А то сами попросят, про что рассказать. Ну и плетешь им, жалко, что ли? А один голопуз замечает мне как-то: «А ведь все эти сказки, дедушка,— это все про одно!» И, хлейбн, он прав, этот шалопай, этот щейгец!

То же самое сны. Сколько лет уже как ушел я из Фрамполя, а чуть где прилягу — снова там объявляюсь, здравствуйте! И кого там, по-вашему, вижу? Эльку. Стоит у лоханки, полощет, босая и в плюшевом платье — как в первый раз. А лицо сияет, глаза лучатся, святая — и только! И разговаривает со мной на каком-то чужом языке, рассказывает про что-то мне непонятное. Просыпаюсь — все сразу забыл. А пока сплю — счастье вокруг благодатное. Что ни спрошу — Элька мне отвечает, и все так разумно и правильно. Я плачу, я умоляю ее: позволь мне остаться с тобой. Она гладит меня и велит еще потерпеть: недолго уже, осталось меньше, чем было. Иногда она даже целует меня, и ее слезы текут у меня по щекам. Проснусь — губы соленые.

Все так: этот мир только в нашем воображении. Но он — отражение мира истинного, настоящего. Перед дверью лачужки, в которой теперь я лежу, уже приготовлены, знаю, носилки. И могильщик уже заготовил свой инструмент. Гроб отверзт, голодны черви. Саван сшит — я ношу его всюду с собой, вот в этом мешке. Другой нищий ждет не дождется занять мой матрас. Пробьет час — я уйду, даже с радостью. Все, что там, по ту сторону, будет со мной — это будет взаправду, без обманов, насмешек, злобных шуток, измен. Хвала Господу: там даже Гимпла не разыграешь.

1945

Бендит и Дишка

(Монолог тети Ентл)

Вот говорят: подходят друг дружке, созданы друг для друга. А нужно ли, не знаю, чтобы муж и жена так уж были притерты тютелька в тютельку? Возьмите меня и Гедали, моего первого мужа, олевхашолем. Двух более разных людей трудно было сыскать. Он — высокий, стройный, богатырь, одним словом. Я — маленькая толстушка. Ему подавай все соленое, горькое, острое. Я — сластена, даже в бульон кладу сахар. Он — из самых суровых миснагедов*. Я — из хасидов[1]. Он — не про вас будь сказано, был наполовину литвак, литовский еврей, куда дальше! А мы прожили с ним столько лет. Понятно, между супругами чего не бывает, но к раввину мы с ним за судом не бегали — сами справлялись. Он, бывало, если чем недоволен — молчит. День молчит, два молчит, неделю молчит, настоящий медведь! Но ведь долго мужик, извините, без бабы не может. Ну, я, как водится, сбегаю в микву — и опять в доме мир. А потом дети! А внуки! А когда у ребеночка режутся зубки и стены ходуном ходят — какие еще обиды? А потом вы стареете, ходите рядышком, держась друг за дружку, и ругаться просто нет сил. Только вместе дрожите перед ангелом смерти, перед Малэхамовесом.

Если, бабоньки, есть у вас терпенье и время, я расскажу вам историю. Только садитесь поближе, так и теплей, и глотку не драть. Ты что вяжешь, Фейгэлэ? Отложи, не сбежит. Это во-первых. А во-вторых, если хочешь — можешь вязать. Я просто к тому, чтобы ты, не дай бог, себе в глаза не ткнула.

Эта история не так тары-бары, абы поговорить. Своими глазами все видела, можно сказать. Имя у него было странное — Бендит. Он даже был мне родственником: седьмая водица. Моя тетка Кейла стала второй женой его дядьки, рэб Йойля. Так что я даже ходила к ним в дом до последнего дня. Потому что я знала, как делают кровопусканье. У нее, понимаете, была лишняя кровь. Но давайте сначала забросим сеть, а потом будем ловить рыбку... Имя странное — Бендит. Отец его, Бецалел Красной, был у нас первый богач. Все в городе принадлежало ему: пивоварня, мельница, лавки. Каждый третий дом — его. А Бендит был у отца единственным сыном. Сестра умерла, упаси нас Господь, в самые Шеве-Брохес, в первые дни после свадьбы. Детки мои, все рассказывать — года не хватит.

Этот Бендит еще должен был стать моим женихом. Я лет, правда, на пять или шесть была младше его, но так про нас все говорили. В те времена в этом возрасте ты была уже девкой на выданье. Но рэб Бецалел и жена его Мендэлэ захотели в родню богачей. Ну, добрые люди подыскали невесту из Колиша, это в Польше Великой, и звали невесту Дишка. А отец ее был не то что богач — магнат! Что заставило его породниться с нашей глушью — не скажу вам, не знаю. Если верить злым языкам, Дишка там влюбилась, мол, в колишского учителя, и случился позор.

Всяких красавиц я видела в жизни, но такой красоты, как Дишка, не было больше и нет. Она хоть была и тогда уже чуть полноватой, но разве же это изъян? Ростом — почти что с него, а он, Бендит, был, скажу вам, видный мужчина. Картина! Оба — русые, голубоглазые. Бендит — тоже плотный такой, налитой. И одеться оба любили. Насчет того, что говорят: подходят друг другу. Эти — точно скроены были по одной мерке. Я на свадьбе у них не плясала, свадьбу сыграли в Колише, а от нас дотудова — с гаком. Но вскоре отец его, рэб Бецалел, покинул сей мир. Раньше-то как: занемог — и бывай, моргнуть не успеешь. До сих пор не пойму: что с ним все-таки было? Гуткинд, наш

[1] См. послесловие.

фельдшер, тоже, конечно, не понял тогда ничего. Мендэлэ — с ног посбивалась, но дело, видно, было уже предрешенное. Она и сама недолго потом с козел правила. Заживо похоронила себя. А все потому, что не могла без мужа. Как иной — без руки.

Уже в точности не припомню, когда Бендит вернулся. Приехал сперва один, без жены. Потом привез Дишку. Принял дом и наследство. Дишка мебели понавозила! Я у баров наших такой не видала. А наряды ее! Один бог знает, сколько их было и во что они ей обходились. А кольца! А серьги, браслеты! Дом рэб Бецалела ей, вишь, не пришелся: во-первых, он старый. А кроме того, что за дом — на базаре! Поселяться среди евреев ей не хотелось. Ей нужен был дом с садом, с клумбами. Бендит и выстроил ей палац. Вот чего только им не хватало, так это детей. Я так понимаю, что Дишка себе там все-таки что-то испортила. И теперь не могла зацепить. Что-то все-таки в Колише произошло, хотя, правду сказать, у нас поначалу она вела себя так — что ты! что ты! А как уж любили друг дружку! Он ей — Дишкелэ, она ему — Бендэлэ, воркуют, наглядеться не могут. Гулять соберутся — в обнимку. А в те времена про такое и не слыхали, но богачи?— им позволено все. А как Дишка играла на фортепьяне!— люди стояли под окнами! Она и пела красиво. И пешком — никуда. Сядет, бывало, в свой колес — и катит как барыня. А если сегодня ей нужно, простите за выражение, в микву — кучер подвозит ее к самым воротам, извольте, а сам потом ждет. Я один раз там ее видела. Голую. Кожа — как шелк. Вся — кровь с молоком. А фигура! У нас в миквах такую не встретишь. А ее белье! А чулки с прицепками!— прицепляются к маткам, извините. И была она вечно веселая, вечно шутит, хохмами сыплет. У нас в городе ее любили. Хотя подмечали: слишком уж о себе высокого мнения. Разговаривает свысока. Особенно с нашими богатейками. Оно-то понятно, Карцев не Колиш. Она ведь и по-русски знала, и по-польски, и по-немецки. По-французски. Если прежде Бендит одевался как принято, во все длинное, правда, зауженное в плечах, то теперь щеголял в сюртуках и шляпах. Только по праздникам и по субботам — в капоте*. Бородку подстриг. Ну что же? На благотворительность они не жалели. Если нужно было помочь сироте или собрать кой-чего для бедной невесты — тут они щедрой рукой. Потом Дишка получила наследство, умер отец. Там, правда, еще были сестры и братья, но, я думаю, хватило на всех! Так прошло несколько лет. Супругам, конечно, очень хотелось детей, но коль Бог не дает — не добудешь.

В маленьком городишке все знают, что и когда у кого в котле закипает. Они хоть и жили от евреев отдельно, а прямо сказать — среди гоимов, но что такое наш Карцев — всего с шишку! И во-вторых, у Дишки служили две девушки: еврейка и шикса. И еще у нее был свой кучер, стангрет, как она его называла. И был свой мешорес* у Бендита, Мендэлэ — Максик. Вот все они и рассказывали. В доме — множество комнат. Столовая комната, спальная комната, зала. Кабинет. Одна комната называлась так: будуар. В саду стояла беседка. Я забыла сказать: Дишка привезла с собой и кухарку из Колиша. Наше варево ей не годилось. Набрались манер. У Бендита — у того свой винный погреб. Там у него — тонкие вина, ликеры. Граф да и только. Я как-то на Пурим* сидела в гостях у раввина, является Мендэлэ: шалахмонэс* от Бендита. Таких лакомств я в жизни не видела: рыба лосось, сардины и фрукты — гранаты, ананасы и еще что, откуда мне знать. Дом так и наполнился благоуханиями. Понятно, они ни в чем себе не отказывали, наслаждались в свое удовольствие. Сглаза и зависти они не боялись: не верили. А во-вторых, они делали много добра, от кого им ждать сглаза? И кто им станет завидовать: не могут же все бедняками быть!

Ну, если ходишь по будням в нарядах и жуешь марципаны, тут тебе и гостей подавай. А какие в Карцеве гости? Нас, родню, один раз позвали, на какой-то праздник, но это так, вроде негордость свою по-

казать. А на самом деле — перед нами же повыставляться. Полы сверкают как зеркала, ходим по расшитым коврам — это в зале. Кушанья подали на фарфоре. Разговоры ведут по-еврейски, но это с родней, а между собой, конечно, по-польски. Или по-русски. Стали дружиться с местными франтами. Лазарь-аптекарь. Яшка — он у нас прошения составлял. Стояли в городе и военные, начали к ним заходить офицеры. Ничего такого за Дишкой не замечалось. Дишка и вправду любила мужа, а во-вторых — прислуга все разнесет. Ну, конечно, ей нравилось веселиться, чтоб всегда ей был праздник. Нравилось это и Бендиту. То он в хромовых выйдет сапожках, то в лайковых. То польский на нем пиджачок, то строгий сюртук. Гранд-франт! Носил золотые часы в кармашке, с пением. Был у него потертый такой кошелек, и он охотно всякий раз его доставал, когда нищие руки тянули. Или придут на чью-нибудь свадьбу, он с Дишкой пляшет камаринского, а музыкантам швыряет бумажные деньги. Девушки станут кружком, и в ладоши хлопают, и не сводят глаз с этой пары. Особенно, конечно, с него. Зачем врать? Мне и самой он не был противен. Но знаете как, становишься чьей-то невестой, потом женой, потом дети — и забываешь все эти глупости.

Теперь выслушайте историю. Квартировали в нашем городе, значит, военные, и был у них свой военный врач. До него был другой, Бобров, бородатый, настоящий русский фоня. Этот Бобров за сто рублей выдавал рекруту синий билет — временное освобождение. За двести — белый. Когда его ни покличут, бывало, к больному — он валяется пьяный, как Лот. Наверно, за эти-то пьянки и взятки и смазали ему пятки, а на его место прибыл другой, молодой, по фамилии Гальперт. Наши тут заговорили, что это еврей, потому, дескать, что Гальперт — не что иное, как Альперт, но после увидели, что он ходит в церковь. Выяснилось: новый врач из мешумедов, выкрест. Да и на вид это был настоящий гой, кто его знает: может, еще папаша его съехал с верного шляха. Темноволосый, высокий, мундир на нем — точно влитой. Идет по базару, а девушки к окнам подбегают, выглядывают. Кругом грязь по колено, а он в надраенных блестящих сапожках, и только глазами по сторонам — стрель! стрель! Он был холостой.

Офицеры имели свой клуб, в этом клубе он жрал и играл в бильярд. Там и в карты резались, и про одного офицера рассказывали, что он проиграл жену. Солдатня, что вы хотите...

Проходит какое-то время, и в городе начинают болтать, что, мол, доктор Гальперт слишком часто заходит к Дишке и Бендиту. Особо-то удивляться было тут нечему, ходили и другие к ним офицеры. Как-то пришла я к ним, помнится, за нэдовой* для одного больного, так фуражек и шинелей в прихожей, как в казарме, навешано было. Где-то в комнатах, в глубине, пел, а лучше сказать — блеял какой-то кацап, а Дишка подыгрывала ему на фортепьяне. Такие это были люди. Но про Гальперта говорили не просто, а с намеком. Будто ходит туда каждый вечер и сидит до глубокой ночи. Замечали, как он входил к ним и днем, когда Бендит занят на мельнице. Одна девка повстречала их — Дишку и Гальперта — прогуливающихся по люблинской дороге. Держат этак друг дружку за руки, а потом остановились и взялись целоваться. Губы в губы. От людей разве что скроешь? Даже у гоимов начались разговоры. Бендит время от времени ездил в Варшаву, и тогда доктор совсем поселялся у Дишки, был вроде жильца. Все так, кто один раз сошел с еврейской дорожки, от того всего ожидай. Особо кто молод и до ягод охочий. Когда десять раз на дню меняешь наряды — почему бы и мужчину не поменять? Ведь до чего вареники с вишней — а и те приедаются. Искуситель, избавь нас Господь, он речист, вмиг уломает. Я-то лично тогда ничего не видала. Мы жили на другом конце, а во-вторых, я была беременна, носила Менаше. Но весь город шумел — ходил ходором. Куда ни заглянешь — в лавку, к резнику,— только и слышно: Дишка и Гальперт, Гальперт и Дишка.

Бендит сначала не замечал или, может, прикидывался. Но сколько мужчина может молчать? И потом — ведь стыдно же перед людьми. Ей-то что, она пришлая, она чужая, а он, как ни ерзай, все-таки карцевский, наш! Вдруг слышно: Бендит навешал Дишке пощечин, а доктор, мол, этот распутник, выхватил револьвер. Я рядом там не стояла. Зима была лютая, таких морозов я больше и не упомню. Снегу повыпало! А потом он подтаял и смерзся — сплошь гололедица. По утрам прорубаешь дорожку лопатой.

Что-то все-таки между супругами произошло. Оно и понятно. Дишка еще в девицах, в Колише, обламировалась, так что кровь у ней в жилах текла трефная, испорченная. На Пасху новость. Гальперт покинул город. То ли сам убрался, то ли выпроводили его — этого я не знаю. Ведь Бендит был липерант у полковника — поставщик и подрядчик. Так что мог и словечко подбросить в удобный момент. Гальперт уехал, если верить, прямо среди ночи, а на его место прислали нового. Маленький, пухленький, кривоноженький. И антисемит. Но такой — настоящий сойнэ-исроэл, враг народа израильского!

Ну, проходит зима, опять приближается Пасха. Бендит, хоть и был он в вере не слишком усерден, а является тоже к раввину, на мацу записаться. Потом два человека идут с ним домой, и он выдает им на моес-хитим * изрядную сумму. Он, конечно, не прогадал: муку-то пасхальную потом на его же мельнице смалывали! А Дишку совсем не видать. Снега как растаяли — грязь до колен. А к Пасхе речка вышла из берегов, дома по окна в воде. А бедняки с Мостовой улицы — те и вовсе узлы на чердак поперетаскали, там и живут. Ну, Дишка, известно, пешком по грязи не пойдет, а колес проехать не может. Говорить про нее перестали. Доктор Гальперт уехал, шарлатан этот подлый,— чего тут еще говорить? А вот Бендит мне несколько раз на глаза попадался. Грустный такой. И никому напрямик в лицо не посмотрит. Стыдно ему, понятное дело. Чтобы так человека жена опозорила! Рассуждали, что может дойти до развода, но он сильно ее, наверно, любил. А кроме того, он, понимаете, пустил в оборот ее деньги, а вложить деньги в дело намного легче, чем взять их назад. А во-вторых, если ей по сердцу — так он, может быть, размышлял,— то что ж, и его не убудет. Это такие люди.

Ближе к лету грязь высохла. Благодатные установились, теплые дни. Поля и сады вокруг нашего Карцева очень летом красивы, не то что в других городах. Обычно Дишка, как Пасха закончится, ездила на базар, закупала сукно и бархат. Иногда ей нравилось самой сесть за кучера, покрасоваться на козлах. А если девушки, случалось, танцульки затеят, она станет и смотрит в толпе. Но теперь она ко всему интерес потеряла. Бендит тоже мрачен и хмур. На мельнице почти не показывается. Его сделали парнесом, чином в общине, но на сходы он не являлся. Идет по базару, весь распатлан, расхристан, не глядит. Его останавливают, у кого-то дело к нему — но всегда он спешит, ему некогда! Раньше не видели, чтобы он курил, а теперь шагает задумавшись, трубкой пыхтит. Или цигарку прикусит в губах — и дымит. Что мужчина курит — что же тут удивительного, но этот так в курево влез, с головою, как пьяница в водку. Была у него своя табачная лавка, для местных курильщиков, он пошел туда и велел прислать себе от всех сортов: русский титун и турецкий титун, папиросы такие и папиросы сякие и всяческих пипок и мундштуков. А у нас шпилитер, так его называли, товары привозил в лавки из Варшавы и Люблина. И Бендит заказал ему всех табаков, какие в большом городе только бывают. Он раздобыл где-то книгу, в которой описывались титуны разных стран. Всякая страсть может стать безумием. Он обставил комнату наверху, на этаже, и поднимался туда курить свой кальян. На огромном столе были разложены пачки и кучи табака, и служанке запрещалось там убирать. Даже окна открывать запретил, и комната всякий раз наполнялась дымом.

Как ни таись — все наружу выходит. Пальцы у него пожелтели, начался кашель. Милые мои, а у Дишки свое безумье! Он целыми днями курит, а она принялась за жратву. Он отправляет шпилитера за новыми табаками, а ей возят яства: сыры, лосось, икра и черт ее ведает что! Он высох, как кость, а она разливается жиром. В те времена платья шили с накладными карманами, так у нее все карманы шоколадом набиты, мармеладками, изюмом, орехами! Я как-то зашла к ней в будуар: сидит в кресле перед буфетом и отщипывает то от этого, то от того. А там чего только не было, как в обжорке: пироги на смальце, халва, лакрица, царский пряник, рыба засахаренная и маринованная. У самого богатого богача, даже в Пурим, такого вы не увидите. А что я там делала? Это особый сказ. Они поссорились из-за чего-то с Гуткиндом, нашим фельдшером. Из-за чего — до сих пор не знаю. В те годы верили в кровопускание. А моя бабушка, олеохашолем, меня научила когда-то этому делу. В чем тут искусство? Чикнешь по вене — а кровь сама себе вытекает. Ну, потом прикладываешь крахмал или паутину или спирт втираешь. У меня для этого специальное лезвие было. Одним словом, Дишка желает, чтобы я ей пускала кровь. У нее, как она говорит, много лишней крови, и оттого все, мол, путается в голове. И пока она мне это рассказывает, она, милые, отрезает кусочек голландского сыра, намазывает сливочным маслом, поливает медом — и в рот. Я объясняю, от сладкого кровь густеет, а она возражает: ты, мол, делай свое. Ну, открыла ей вену, а кровь — аж с пеной, с шипеньем. От денег я отказалась, у своих не беру. И вот, пока вожусь с ней, отворяется дверь. Входит Бендит. В роскошном шлафроке, расшитом по лацканам золотом, и люлька у него до колен. Дым — точь-в-точь труба, изо рта, из ноздрей. Клубы дыма. Я гляжу, а это не Бендит: весь иссох, под глазами торбы висят. Он даже меня не узнал, пришлось объяснять ему, кто я. Смутился, раскашлялся. Вижу: нет, не жилец. Столько курить, говорю, для здоровья вредно. А он с такой хитрецой: «А что же полезно?»

Детки мои, я тут до утра могла бы сидеть и рассказывать, но в чем суть? Вскорости он занемог. Приехал откуда-то доктор, курить запрещает. А пока доктор ему запрещает, он сидит и пускает ему клубы дыма в лицо. Раньше он, может быть, хоть по субботам себя соблюдал, а теперь, после доктора, начал дымить и в субботу. А чтоб с улицы не видали — велел окна завесить. Торговлю и мельницу отдал в руки служащим, гоимам. Те обкрадывали его, грабили — а ему хоть бы что. Стало известно, что у Бендита кровохарканье. И как уголь весь почернел. Что тут долго расписывать, кто решил себя умертвить — тот того и добьется.

— Умер?

— А что же? Неужели ж воскрес? Сжег себе легкие. Лучше б он себе горло ножом перерезал...

— А она? С ней что было?

— Подождите... Я всегда, когда про него говорю, немножко поплакать должна...

Тетя Ентл продула нос и утерла глаза.

— На похоронах Дишка появилась среди людей в последний раз. Она стала в два раза толще. Не идет, а переваливается как утка. Слезинки не проронила. Некому было молитву сказать над могилой, пришлось это сделать шамесу. Люди смотрят, а Дишка что-то жует. Детки мои, она стояла над свежей могилой мужа и жрала! Тут всем стало ясно, что нечистый в нее вселился. Приехал врач из Замосьца и, узнав про это, сказал, что у нее цестод. А это такая гадюка, что сидит в человеке и высасывает у него мозг. Заводится это от сладкого. Но почему бы ей было не попить глистогонной травы, не пососать вэрэмцукерлэх, сахарков от червей? Ведь от этого можно избавиться! И потом: если в ком засел червь — человек тощает, с тела спадает, а эта толстеет! Нет, никакой это не был глист, а, скажу я вам, меланхолия.

Было так: сидит она семь дней поминальных, если, конечно, она соблюдала это, и приходят евреи, чтобы, значит, в доме ее помолиться. Приходят, а их не впускают. Женщины тоже явились — все-таки траур!— а двери на все щеколды позаперты. Еврейскую прислугу она разогнала, заодно и Мендла-мешореса, а набрала себе гоимов. Один из них, Щубак его звали, стал у нее за распорядителя, и на мельнице, и кругом. А был он пьяница и злодей. Покуда жил Бендит, они во дворе держали собаку. Собака, чтоб вы знали,— это страж богачей. Теперь же у Дишки развелась их целая стая. Люди мимо ходить опасались, набросятся — разорвут! И никто не знал, что там у Дишки творится. Посылает она за нашим Залманом-шпилитером и дает ему список: разве что птичьего молока привезти не велит. В больших городах есть магазины, где продаются исключительно деликатесы: колбасы такие, варенья, копчености, рыбья икра. И все это в баночках, знаете, или в коробочках. И конечно — страшно все дорогое. А главное — нечистое, трейф! Но чистой пищей, кошерной — разве насытишь такую утробу? Евреи рассуждали так, что, мол, Залман не должен ей этого привозить. Но с другой стороны, чего не сделает человек ради заработка? Тем более Дишка с ним не торгуется, платит по всем счетам. Залман тоже не без резона: не я привезу — другой привезет, каждый рад заработать! Но правда, когда ей потом захотелось свининки — тут уж он ей не уступил. Ну и что же вы думаете? Отправила служанку к Мацьеку-колбаснику, и та ей понатаскала шпика и разных ветчин.

Опять за мной посылает. Я прихожу. Очень страшно было собак, но их привязали. Цепи лязгают, лай. Настоящие волки. От одного этого лая брюхатая женка скинуть могла бы. Двор запущен, кругом кучи мусора. Забор сломан. Пристройки настежь, пустые. Вхожу, вижу Дишку. Детки мои, но это не Дишка. Это какая-то бабища, в два раза старше и в три раза толще. Такого я в жизни не видела: настоящая бочка. На плечах мяса наросли и свисают, аж боязно! Голос грубый, как у мужика, и сипит, как астматик. «У меня, хрипит, лишняя кровь, а ты хорошо это делаешь». А служанка несет уже таз. Дишка предупреждает: «Пусть течет, пока я сама не скажу». Вскрываю ей вену, и мигом — полтаза крови. Мне аж дурно стало, и только боюсь, не потерять бы сознание. Из нее течет, как из животного, а она сидит вот так, подливает себе вишневой настоечки и медовым пряничком заедает. На этот раз я деньги взять согласилась. У меня уже дети были и муж. Бендит — тот да, тот был моим родственником, а она-то мне кто?

Пробую поговорить с ней, хочу объяснить, что все это нехорошо, но она же как была гордой барыней, так и осталась. Я, между нами, за нее опасалась, не померла бы, шутка ль, столько крови зараз потерять! Но черт ее не побрал! И стала она посылать за мной каждый месяц. А сама — все толще и толще, не хотелось грешить, но скажу: от нее уже стало попахивать. При такой толщине невозможно быть чистой. Я пускала ей кровь, и это была для меня настоящая пытка. Потом умер Гуткинд, нам прислали нового лекаря, и больше меня к ней не звали — за что я благодарила Господа, да!

Нового фельдшера звали Липэ, и он все рассказывал в городе. Дишка уже не могла ходить. Ноги у нее разнесло, как колоды. Было трудно подобрать ей обувку. Старые платья на нее не налазили, а новых она не заказывала. Завернется в старую шубу или ротонду — и так и сидит. Залман привез ей мужские домашние туфли, в них она и просиживала весь день, на скамеечку ноги поставит, а служанка кормит ее, как ребенка... И вот так, сидя в кресле, она проела свою мельницу, лавки, дома, все, что было. Ее обворовывали, а что оставалось — отправлялось в жерло. Она даже камень Бендиту не поставила...

Говорят же: нахаляву — наедайся на славу... Пока Залману щедро платили, он все привозил ей. А как в долг попросила — онемел и оглох. Прислуга крала, воровала, потом вдруг исчезла. Даже некому было собак кормить, и они передохли или их гицель попутал. Теперь к Дишке повадилась Годеле Шмойш, баба ушлая или как у нас говорят: вор с глазами. В доме еще кое-что оставалось: украшения, цацки. Все это Годеле распродавала и снабжала Дишку едой — не из Люблина уже, конечно, из местных лавчонок. Она всякий раз подавала Дишке дутый счет, дурила ее как хотела. И даже не очень таилась — уличить-то ее было просто, но когда человек ожирел, у него заплывает и мозг. А может, Дишка все видела, а что было делать? Набрала в рот воды и молчком. В ее положении хуже, чем быть паралитиком. Потом Годеле нашла одного аферист. Тот стал давать Дишке деньги, под залог. Ну, и отнял у нее дом, а Годеле тоже, как говорится, косточку обсосала.

Дишке велели убраться. А кто ее возьмет к себе, это же кусок горя! В городе зашумели. А дело было зимой, в самый мороз. На улице ее не бросишь, живое существо! Гадали-рядили, поселить ее в хекдеше, в приюте у кладбища. Нищие там, конечно, подняли гвалт: эта клоздра займет всю избу! Ругали общинников последними словами. Хотя Дишка, ясное дело, была обреченная, но ей все-таки освободили место, поставили кровать, застелили соломой, сверху рогожей — и пускай из котла хлебает еще один рот. Теперь выслушайте историю.

Выводят Дишку из ее будуара — а она не проходит, дверь узка. Представляете, чистая правда! Тащат, пихают, собрались мясники, балагулы, те еще парни — ни в какую! Чего только с ней не проделывали — чудо, что она осталась жива. Наконец вытащили, дальше: привозят ее в хекдеш — а она опять не пролазит. Опять суматоха. Целый час ее, может, мучили, вволокли, кладут на кровать, а кровать под ней кряк — на две доли. Уже думали, не пережить ей этого дня. Но кому назначено маяться — тот свое отмается. Разыскали железную кровать, положили, лежит.

Добрые люди стали приносить ей поесть. Но ведь сколько ей ни тащи — не хватает. Поглощает, как зверь. А приносят другим — тянет лапу. От той Дишки уже ничего не осталось. Я тоже, хотя у самой была уже куча детей, каждый день носила ей что-нибудь: кашу, бульончик. Она уже, правда, не перебирала, кто вчерашней картошки, кто черствых клецок подаст — все гребет. У нее отнялась речь — лежит и мычит, как немая. Вставать она не могла, и все, бедная, под себя. Женщины-габетши, да и другие, приходили к ней, обмывали, обтирали ее. И вдруг — это случилось за несколько дней до Пасхи — садится она на кровати и внятно так говорит: «Зовите, евреи, людей, я пошла умирать...»

Три еврея явились из синагоги, приняли, как положено, покаяние, потом она отвернулась к стене и умерла. В хекдеше она, конечно, спала телом, но и мертвая была так тяжела, что гроб несли ввосьмером — нашлись доброхоты...

Насчет того, что вот говорят: подходят друг дружке. Эти двое были, считай, как один человек. Оба сами себя убили. Он — курением, она — едой. А почему они это сделали? Можно было подумать, что они договорились. Про доктора Гальперта больше никто не слыхал. Погубил две души и уехал. Для него это было, конечно,— так, приключение. Но есть Бог, и он ведет счет. Человек за все платит — не сегодня, так завтра, не здесь, так т а м. Мама моя говорила, олеохашолем: никому ничего не дается задаром — даже луковичная шелуха...

1973

Цейтл и Рикл

1

Часто, слышу, не верят: этого быть не может, того быть не может, это немыслимо, то враки, ну и тому подобное. Глупости. Если что случиться должно — непременно случится! Бабушка моя говорила: беда стенку со стенкой сведет. Какому раввину суждено с крыши сверзиться — тот пойдет в трубочисты. Как у гоимов говорят: кому висеть — не утонет.

В моем родном городе приключилась история — кто бы мне ее рассказал, вруном назвала бы! Но я их знала сама, обеих, да замолвят они за нас на том свете словечко! Они уже там, конечно, отстрадали свое, отмытарились. Старшую Цейтл звали, а младшую Рикл.

Отец этой Цейтл, рэб Исроэл Бендинер, при мне уже был стариком. Похоронил трех жен. Цейтл у него от третьей; может, и с прежними дети были — не знаю. К нам он приехал в самом конце пятидесятых [1], женился на юной девушке, и она вдруг скончалась от родов. Младенца вызволили клещами, это и была Цейтл. Тесть рэба Исроэла, уходя в мир иной, оставил дочери торговый ряд на базаре, тринадцать лавок. И после смерти жены рэб Исроэл унаследовал их.

Про этого рэб Исроэла рассказывали странные вещи. Жил когда-то в Польше лже-Мессия, Якоб Лейбович Франк *. Многих евреев он совратил, сбил с панталыку. Он после подох, но оставил целую секту. Дочь его получала от них со всего света золото, в бочках. С виду эти евреи от прочих не отличались, а только по ночам собирались в подвалах и читали поганые свои пергаменты.

Рэб Исроэл одевался как равв: сподик, бархатная жупица, белые чулки, башмаки. И без конца что-то писал: встанет у пупитра и пишет. А Цейтл, рассказывали, все это переписывает, копии делает. Седобородый, лоб высоченный, на кого взглянет, бывало,— насквозь прожигает. А Цейтл обучала письму, да такому еще витиеватому, состоятельных дочек. Я и была одной из ее учениц.

О людишках из секты болтали, что они ужас как охочи до баб и потихоньку черт-те что вытворяют. Да, но с кем это было у нас рэб Исроэлу предаваться разврату? Потом Цейтл вышла замуж. Полгода прожили и разошлись. Муж ее родом был из Галиции, и поговаривали, будто сам он тоже из этих же китес, из отщепенцев. Почему, считай, сразу дошло до развода — я не знаю, все в доме рэб Исроэла было тайной. Там стояли сундуки под двойными замками. Шкафы, полные книг. Молиться ходил он раз в неделю, по субботам, да и то в «холодную» синагогу. Редко с кем слово скажет. Принесут ему лавочники дирэ-гелт, арендную плату за помещение, а он и не глянет, сунет деньги в карман и бывайте.

В те времена еще не велось, чтобы провизию доставляли кому-нибудь на дом. Самые богатые наши богачки брали кошелку в руки и шли на базар. Одной только Цейтл все приносили: хлеб, пышки, масло и яйца, мясо, сыр. Счет подавали один раз в месяц, как в Варшаве. Манеры у нее были как у истинной барыни. Как сейчас помню: смуглая, стройная, лицо тонкое, волосы черные, подобраны вверх. Можете представить себе: в те времена она отказывалась брить голову [2]! Когда, правда, из дому выходила, надевала платок. Но когда такое случалось? На чердаке у них имелось окно прямо напротив церковного сада. Там она и проводила свои летние вечера, дышала воздухом.

С нами, девочками, она занималась диктантами, два раза в неделю. В учебник она не заглядывала, помнила все наизусть: «В первых строках моего письма позвольте, дражайший жених мой, уведомить

[1] Девятнадцатого столетия.

[2] Еврейская женщина должна была брить голову и носить парик.

Вас о благополучном моем здоровье, да благоволит Господь и мне от Вас получить подобное же известие. Затем позвольте уведомить Вас...» Кроме идиша Цейтл знала немецкий и польский. Глаза у нее были огромные, как у теленка, и полные тоски. Взгляд — диковатый. Вдруг, бывало, как расхохочется — по всем комнатам хохот. Или такой вот каприз: станет у печки и жарит сухарики. И любила загадки нам задавать, такие — что волосы дыбом.

Теперь Рикл. Отец Рикл был у нас резником. Рэб Тодие его звали. Резники сплошь, как известно, народ благочинный, но рэб Тодие — тот настоящий был цадик: и свят, и мудёр! Ему, бедному, не везло. То сын как-то летом в микву пошел и там захлебнулся. Я думаю, судорога его схватила. То старшая дочь, сестра Рикл, умерла от родов. А проходит несколько лет — в доме какие-то стуки. Кто-то в стены стучит, понимаете, а кто и зачем — неизвестно. И так, бывало, колотит — балки трещат! Весь город сбегался, даже гоимы, все обшарят, обыщут — чердак, подвал, закутки. И — никого.

А у нас в городе стояли войска, полковника звали Семятицкий. Был он из выкрестов, кажется. Рыжебородый такой и все шутками сыпал. От его шуток люди валом валились. Семятицкий узнал, что творится в доме у Тодие, взял солдат и велел обыскать все до щелочки. Во всякую нечисть, бесов, чертей, лапитутов — не верил, называл это все забобонами. Приказал жильцам выйти на улицу, расставил вокруг казаков с нагайками — чтобы, значит, никто не мог приблизиться к дому. И тут вдруг как заколотило! Стены — вот так, ходуном!

Я рядом там не стояла, но мне рассказывали, что Семятицкий расспрашивал «гостя», чего ему надо, и тот, дескать, на все вопросы его отвечал: один удар — «да», два удара — «нет»..

Враги есть у каждого, но когда человек живет «от кагала»... Сразу же нашлись умники: рэб Тодие не может быть резником, он должен быть отстранен от дела, от, видите ли, «священнодействия». Кое-кто давно уже, оказывается, замечал, что он пользуется «нечистым» ножом, в каких-то там пятнах. На жену рэб Тодие это так подействовало, что она умерла.

Рикл была невысокая, худенькая, рыжая, в конопушках. Помогала отцу: тот режет птицу, а она ощипывает, ну и все остальное, я не очень-то разбираюсь. Одно время поговаривали, что, мол, это она стучит в стены. Но каким образом? Как? Для чего? Стуки вроде бы прекращались, когда она иногда оставалась спать у родственников. Ну и всякое такое, мало ли что можно выдумать. А однажды ночью так у них ухнуло, что стекла повылетали в трех сразу окнах. Раньше «он» окон не бил. Это было, правда, в последний раз, на том все и кончилось.

Рэб Тодие остался без заработка и сделался дордеке-меламедом — стал учить самых маленьких. Он проел, я так понимаю, приданое дочери, и ей пришлось стать невестой какого-то ешиботника, из города Крашник, хромого к тому же. После свадьбы он сразу ушел назад, к своему учителю. Первое время еще у жены появлялся на Пасху и Емим-Нороим *, а потом и вовсе пропал. Рикл стала иегунэ, ни вдова, ни замужняя, за кого-нибудь выйти опять она не могла. Отец ее к этому времени умер и оставил ей старый, разваленный дом. Что делать иегунэ? Ходила по семьям, учила молитвам девочек, брала на дом шитье, штопала. Она много читала, ей нравились сказки и всякая небывальщина. Перед Пасхой она становилась чем-то вроде женского шамеса, служки, разносила харойсес *. Ее брали в сиделки к одиноким старухам, к больным. Она научилась отворять кровь, ставить банки. Голову, как и Цейтл, не брила, надевала платок. Очень любила придумывать всяческие истории, бывают такие мастерицы на небылицы.

Старые девы, чтоб вы знали, сплошь полоумные. А если у женщины был уже муж и она остается одна — это еще хуже на голову

действует, все равно как обухом! Может быть, Рикл и попробовала бы разыскать своего муженька, но ведь по белу свету сама не отправишься, а нанять кого — рэб Тодие не оставил ей ни гроша. Но все же почему этот муж бросил ее? Кто может знать? А потом, есть такие мужчины — женится, и все ему сразу приестся. Ну и уходит куда глаза глядят, и никто никогда не узнает, где кости его гниют.

2

Как и когда сошлись Цейтл и Рикл — мне неизвестно. Вроде бы рэб Исроэл занемог, и Рикл пришла растирать его терпентином. И вроде бы тот глаз на нее положил. Я в это не верю. Он уже был, как говорится, нойтэ ламэс — склонный умереть. Он и в самом деле вскорости помер. И остались они, Цейтл и Рикл, две круглые сироты. Поначалу все думали, что Рикл у нее в прислугах. Да, но ведь Цейтл и раньше слуг не держала — с чего вдруг теперь?

Пока рэб Исроэл был жив, Цейтл почти не сватали. Было известно, что отец держит ее «для себя». Есть такие отцы, даже у евреев. Чубук у него, к примеру, погаснет — а Цейтл бежит уже с угольком. Стряпала для него, ну и все что там надо. В микву он никогда не ходил почему-то, и злые языки распустили слух, что, мол, дочь сама его моет, в деревянной лохани. Я рядом там не стояла, но сомневаюсь. Мало ли что могут наплести болтуны. Для них что ни грех — то находка. Рэб Исроэл так отшил сватов, что те внукам своим заказали. Но теперь Цейтл осталась одна, и тут началось. Она им отказывает, а порог опять спозаранку оббит. Она стала по-хитрому: хорошо, говорит, но не сегодня, когда-нибудь, может быть, после... Была у нее такая привычка: говорит, а сама поверх человека глядит. Потом к этим шадхенам Рикл выходить стала, дверь на цепочку откроет: а Цейтл нет дома! Или: Цейтл спит! Или: Цейтл читает!

Сваты побегали и перестали, сколько можно? Но в маленьком городе замолчать не торопятся: судят, судачат, толкуют.

Говорили, к примеру, что Цейтл и Рикл едят вместе. Ну и что? Спят вместе. Рикл в ее платьях ходит — подогнала, укоротила. Теперь когда счет подавали из лавок, расплачивалась Рикл, она стала у Цейтл вроде кассирши, получала дирэ-гелт с торгашей. Днем Цейтл и Рикл редко из дому выходили. В летний вечер прогуливались по Грязской и дальше, по дорожке до леса. Цейтл руку положит ей на плечо, а та ее за талию обнимает. Так и идут и беседуют. С ними здороваются: «Добрый вечер!» — а они и не слышат. И о чем две бабы могут столько болтать? Пробовали следом пройтись, подслушать — те на шепот, вот ведь что интересно! И подальше уходят, к мельнице, к самой реке.

Принесли это все на тарелке раввину, рэб Айзелэ. А он говорит: нет закона, по которому двум женщинам запрещалось бы ходить к мельнице. Рэб Айзелэ у нас был миснагед, к тому же из литваков, а у тех, известно,— либо белое, либо черное, либо трейф, либо кошер!

Город, однако, не успокоился, людям рот не заткнешь. Нафтали, ночной сторож, видел, как Цейтл и Рикл целовали друг дружку в губы. Остановились у лесопилки, возле сваленных бревен, и пошли у них поцелуи — как у парня с невестой. Цейтл ей — «голубушка», Рикл ей —«мой котеночек». Не очень-то, правда, этому Нафтали и поверили, он, знали, в горло залить не дурак, а тогда ему все что хочешь, ярмарка в небе увидится. А все-таки где дым, там огонь. Эти обе пустились, детки мои, в такую любовь — в черный год не приснится! Искуситель — он ведь всех по-разному с ума сводит. Тут ведь как: одна клепка сместилась — все вкривь пошло. Жила в Краснотаве барыня, так про ту говорили, что она с жеребцом ялась. А возьмите потоп, там даже животные паровались с чужой породой! Про это даже в Тайч-Хумеше* есть.

Подождите, история только еще начинается.

Приходят люди к рэб Айзелэ, а он на своем: в Торе такого запрета нет! На мужчин — да, такой запрет существует. И потом: где свидетели? Ведь это же значит их опозорить — а на каком основании? Но все же за ними послал. Является Рикл — и начисто все отрицает. А язычок у ней был с двух боков заостренный. Рэб Айзелэ и говорит ей: «Ты, говорит, возвращайся домой и не бери близко к сердцу. Не тебе, говорит, а клеветникам твоим суда высшего надо страшиться. Сказано: лучше в печи сгореть, чем напрасный позор возвести на ближнего».

Я забыла сказать: к тому времени Цейтл нас уже не учила. Я тогда была почти еще девочкой, но кое-что до меня доходило. Ребятня — народ смышленый, не утаишь!

Теперь выслушайте историю.

Было лето, жара несусветная. Я в жизни всякий зной и морозы видала. Но больше такого лета не упомню. С утра солнце принималось жечь, как огонь. Не только мужчины — девицы, женщины, старые еврейки спускались к реке смыть с себя жар. Солнце пылает, вода, кажется, сейчас закипит! Помню, мама моя, да будет она мне заступницей в небе, взяла меня как-то с собой.

И вот плещусь я в реке, в первый раз! Мужики — голяком, девицы и бабы — в рубахах. Парни, не хуже тех лошаков, шныряют по берегу, подсматривают, не отогнать! Только слышно: крики, визг. Какая-то тетка стала тонуть. Другая вопит, что ее укусила лягушка. Я долго купалась, даже плавать попробовала и так устала, что забралась в кусты полежать, невдалеке. Пообстыну, думаю, и отправлюсь домой. А тут сон навалился, сама смерть, прости господи, не тяжелей, наверно. Голова свесилась и лежу наподобие камня. В глазах — темнота, и чувствую: проваливаюсь. Проспала я много часов.

Просыпаюсь — ночь. Небо затянуто тучами. Лежу и не помню, кто я, где. Трава мокрая от росы. Провела по себе руками — в одной рубахе. Я уже закричать, заплакать хотела, завопить: «Шема, Исроэл!»— вдруг слышу голоса. Ну, думаю, конец мне, нечисть явилась! И такой страх меня взял! А все же прислушиваюсь. И вроде уже две женщины между собой разговаривают, и один вроде голос мне очень знаком. А другая, слышу, спрашивает:

— Значит, нужно пройти через ад?

А эта ей отвечает:

— Да, душа моя. Но если вместе с тобой, вот так, рука в руку, то и ад — это счастье. Господь милосерден. Наказанье продлится не дольше, чем одиннадцать месяцев. Потом мы очистимся и перейдем с тобой в рай. Мужей у нас нет, так что нам не придется быть скамеечками у их ног. Будем купаться в бальзамных фонтанах, питаться рыбой левьосн*. У нас вырастут крылья, и мы станем летать, как две птицы...

Я всего уже не упомню, про что они говорили. Помню только, дыханье перехватило — я их узнала! Та, что спрашивала,— была Рикл, а Цейтл ей отвечала. Потом Цейтл рассказывает: «Мы там встретим наших родителей, наших бабушек, дедушек, всех наших предков — Авраама, Исаака, Иакова, Рахиль, Лию, Зелфу, Авигею, Вирсавию...» И так это все уверенно говорит, точно она сейчас прямо оттуда и каждое слово ее — откровение свыше. Я даже заслушалась, забыла, где я и в чем: одна-одинешенька, ночью и почти голая. А Цейтл продолжает: «Мой отец нас ждет, он во сне ко мне приходил. Они там с твоей мамой вместе...» Рикл спрашивает: «Они что, поженились?» А Цейтл: «Да. Мы там тоже с тобою поженимся. В небесах нет никакой разницы между женщиной и мужчиной...»

Было, наверно, уже около полночи. Вдруг блеснула молния, и я увидела в траве свое платье, туфли, чулки. И их — Цейтл и Рикл — увидела: они сидели у самой воды, в белых рубахах, с распущенными

волосами, бледные точно смерть. Если я в ту ночь не померла со страху, я, наверно, теперь никогда уже не умру.

3

— Что же дальше?

— Погодите немного. Домой я пришла очень поздно. Матери не было, на ярмарку отбыла — она у меня торговала. Отец в эту ночь нес охрану в синагоге. Я легла спать, а утром, когда проснулась, мне это все показалось вроде как сон. Я никому рассказать не решилась. Но говорится ведь: небеса и земля поклялись, чтобы в мире тайн не осталось...

Вдруг слух: Цейтл и Рикл целыми днями постятся. Ночью кой-чего перехватят, а весь день не едят. А у нас габетши были, уж такие святоши, чуть свет — они уже в вайбершул*, на верхах синагоги, и уже благоговейно бубнят. Через день на кладбище бегают, навещают покойных. И вдруг: Цейтл и Рикл тоже повадились! Обрили голову обе, надели парики. И усердно там молятся — но как, стиха не пропустят! — и все плачут, плачут, слезы жаркие льют. На кладбище придут, бросятся на могилу рэб Исроэла, руки раскинут — рыдают лежат.

Ну, поварежек у нас полный, как говорится, таз! Побежали к полковнику, а тот: «Я в ваши еврейские вздоры влазить не имею желанья. Мне, отвечает, солдатиков моих достает. Казаки, говорит, добрые вояки, только им пашквили из дому пишут, будто жены их шлендрают. А от этого, говорит, они делаются совсем дикие». Это правда. Сколько раз было, разгонится казак на коне, ворвется в толпу и давай, и давай своей пикой направо, налево, не смотрит! Ну, отслужит пять лет, напоследок является в лавку: подарки берет для родителей, для братьев берет, для сестер, для родни. Спросят его: «А что ж ты, Никита, для жены приготовил?» А он: «Нагайку!» Возвращались они домой, в донские степи, а там их приблудки ждут. Отрубит жене голову, сам — прямо в Сибирь, на каторгу...

О чем я? Да, обнимаются Цейтл и Рикл, и все у них разговоры про тот свет, и уже никого не таятся. Какой книгоноша прибудет — они первые покупатели. Проповедник-магид приедет — сразу с расспросами: сколько времени длится хивут-хакейвер, пребыванье в могиле? Сколько есть видов ада? Кто приговор выносит? Кто стегает грешников и какими прутьями — железными, медными? Было над чем зубоскалам нашим потешиться!

А к нам много таких проповедников наезжало. Особенно одного помню. Рэб Йойл его звали. Тот как начнет — прямо Судный день наступает. Ад, бывало, так обрисует — по коже мороз. Говорили, беременным лучше не слушать его, потому что, мол, несколько баб уже выкинули после тех проповедей. Но известно: чем страшнее — тем сладостней. Бегут, вайбершул так и ломится. Голос был у него — по всем углам гром. Каждое слово — нож.

Помню, и я примчалась. Ад, оказывается, не один, адов целых семь, и в каждом из них огонь в шестьдесят раз сильнее, чем в предыдущем. А у нас старый еврей из Козлова жил, та еще штучка, так он точно подсчитал, во сколько раз в седьмом аду жарче, чем в первом. Мужчины, бывало, как дети плачут, женщины в голос кричат. Вопят и рыдают.

Цейтл и Рикл, конечно же, тут. Прошмыгнули внизу, где нельзя, через прихожую и взобрались на лавку. По глаза в шали закутаны. Обычно женщины стоят у нас вместе с мужчинами только на Симхес-Тойру*. Но когда вайбершул переполнена, их пускают и вниз, из прихожей послушать, ну, а оттуда они уже кто как ловка.

Рэб Йойл всему человечеству карой грозил, но особенно женщин огнем поливал, пламенем ада. Описал, как их будут за груди подвеши-

вать, за волосы, как их черти кладут на постель из терниев и как и что с ними делает нечисть в свое удовольствие. А потом из пылающих углей — на снег. А потом — обратно на угли. А прежде чем тебя в ад пропустят, ты еще покувыркаешься в ямине мерзостей — с чертями, бесами и лапитутами. Ужас, волосы дыбом. Я была почти девочкой, на меня аж икотка напала, думала — задышусь. Смотрю на Цейтл и Рикл — а они хоть бы что. Ни слезинки. Только глаза в два раза больше и бледны, как известка. Какое-то было безумие в двух этих лицах, и мне показалось, что их ждет нехороший конец.

Назавтра рэб Йойл опять проповедничал, но с меня хватало вчерашнего. Мне потом рассказали, что, когда он закончил, Цейтл к нему подошла и позвала его в гости. В гости его приглашали многие: шутки ли — честь-то какая! Но рэб Йойл отправился к ней. О чем они там беседовали, я не знаю. И неизвестно, оставался ли он у них ночевать. С него станется, литвак всегда повод найдет! Литваки эти — они даже Тору по-своему перетолковывают. За это их и прозвали: литвак — кособокий чердак! Дед мой, олевхашолем, часто рассказывал про одного литвака, тот в грехе ублажал свою гойку и, представляете, при этом Гемару читал!

Ну, уехал рэб Йойл, все утихло. Так прошло лето.

Как-то вечером, поздно, уже и ставни закрыли, вдруг слышим: жуткие крики. Все сбежались, думали, опять гоимы. А в тот вечер луна была, и видим картину: идет Файвл-мясник и несет на руках Рикл. Та визжит, вырывается, норовит ему выцарапать глаза. Он, ясное дело, обороняется. Мужчина он был здоровенный, богатырь, и понес ее прямо к раввину в бесдин. Рэб Айзелэ, случалось, до ночи засиживался, все чего-то там изучает и себя чайком из самовара бодрит. Люди кричат, Рикл хочет удрать. Двое мужчин ее держат. Раввин начинает допрашивать.

Я рядом там не стояла. Обычно спать я ложилась рано, но в тот вечер у нас рубили капусту, девушки собрались. Так было заведено, все вместе рубим, заквашиваем в кадушки. Хлебом с гусиными шкварками лакомимся, рассказываем что пострашней. Сегодня сидим у одной, завтра — у другой. И попляшем, бывало, друг с дружкой; договариваемся: ты парень, я девушка. А тетка моя на гребешке умела дрынчать — ну там «Шер», «Дзень добри», «Обиду».

Когда вдруг слышим: шум, гармидер. Мы — на улицу.

Так вот, Рикл сперва ничего раввину объяснять не желала. Только кричит, чтоб ее отпустили. Файвл говорит: «Она в колодце утопиться хотела». Понимаете, он ухватил ее, когда она ногу уже перебросила.

— Как тебе такое могло прийти в голову? — спрашивает рэб Айзелэ, а она отвечает:

— Мне белый свет опротивел. Хочу узнать: что там, в лучшем мире?

Раввин ей втолковывает:

— Если такое над собой сотворить — никакого лучшего мира тебе не увидеть.

— Ну и что? — отвечает.— Ад — тоже для человека, не для коз.

И опять в крик: хочу к маме и папе! хочу к бабушке! хочу к дедушке! Не желаю, мол, больше жить в этой юдоли. Так прямо и говорит. Все сразу поняли, что это Цейтл ее просветила, потому что Цейтл разбиралась в подобных вещах. Кто-то и спрашивает: а где Цейтл? «Где Цейтл? — вздыхает Рикл.— Ей уже хорошо. Моя Цейтл уже там...» Милые мои, а Цейтл бросилась в тот же колодец. Чуть раньше, первой ушла.

Сбежалось полгорода. Зажгли факелы, всей толпою — к колодцу. Цейтл — вниз головой, голова в воде, ноги торчат. Спустили лестницу и вытащили ее мертвую.

Теперь надо же Рикл сторожить, отвели ее в хекдеш у кладбища, приставили к ней старика из нищих: глаз не спускать! Цейтл тут же и похоронили, но за оградой, конечно, внутри — нельзя. Рикл сделала вид, что одумалась и обо всем сожалеет. А рано утром, когда все еще спали, поднялась и — прямо к реке. Река льдом покрыта была, так она дырку пробила, камнем, наверно. Просыпаются — Рикл нет. Ну, следы на снегу, побежали к реке. Рикл ушла вслед за Цейтл. Ее рядом и похоронили, без могильного холмика, даже без дощечки.

Дом Цейтл городской начальник опечатал. Там нашли письмо от нее, она объясняла, почему покидает сей мир: чтобы узнать, что т а м.

В чужую голову не влезешь. Заберет себе человек какую-нибудь меланхолию, и начинает она в нем как тот веред расти. Понимаете, верховодила Цейтл, а Рикл смотрела ей в рот. Сорок лет прошло, они обе, конечно, уже отмаялись там, свое отстрадали.

До самого моего отъезда из города дом рэб Исроэла стоял заколоченный, никто не вселялся. Иногда в окнах видели огоньки. Кто-то рассказывал, как проходит он ночью и вдруг слышит два голоса: Цейтл что-то расспрашивает, а Рикл ей отвечает, а потом обе смеются, целуются, плачут. Бесприютные души, не могут, бедные, покинуть землю и сами не знают, что их место давно уже не здесь...

Слышала я, позже вселился туда офицер. В одно утро приходят к нему, а он в петле болтается.

Дом — это не просто бревна и доски. Человек, пока он в доме живет, что-нибудь в нем оставляет. Каждый. Ну, потом весь базар сгорел. Хорошо еще, что пожары случаются. А то накопилось бы этого дерьма до самых небес...

1966

Тайны каббалы

1

На Крахмальной улице все нас знали. Каждый день мы часами прохаживались в обнимку, моя рука — у него на плече, его рука — на моем, идем, разговариваем, как взрослые. Мы так увлекались своими историями, что натыкались с ним на прохожих, на груды зелени и овощей в ногах у торговок.

Тетки орали нам вслед:

— Поослепли, что ли? Олухи, халамитники!

Мне, Ичелэ, сыну уважаемого раввина, мойрэ хойдоэ, тогда было девять. Ему, Мойшелэ, шел одиннадцатый. У меня была тонкая шея, голубые глаза, красные, как огонь, волосы и белая кожа. Пейсы вечно растрепанные, как от ветра. Козырек бархатного картузика — набок, над ухом. Капота распахнута, из карманов книжки торчат, сказки, которые я брал почитать у книгоноши — две за грош, но с возвратом!

В хедер я уже не ходил, сам умел разобрать страницу-другую в Гемаре. А еще я был увлечен каббалой, этих книг у отца было много. И ничего там, конечно, не понимал. На титулах я рисовал разноцветными грифельками ангелов шестикрылых и двуглавых зверей, чертей с хоботами, рогами, извивающимися телами и телячьими ножками. По вечерам я выходил на балкон, смотрел в звездное небо и пытался понять, что было там до сотворения мира или куда долетит птица, если будет лететь и лететь в одну сторону...

Дома про меня говорили, что я буду, наверное, безумным философом, как тот профессор из Германии. Профессор долго что-то такое исследовал и вдруг пришел к выводу, что отныне он должен ходить вниз головой, то есть кверху ногами.

Я дружил с Мойше. Отец его был разносчиком, разносил в меш-

ках уголь. Раз в две недели он и нам насыпал большую корзину черного лома для печки на кухне, и мама расплачивалась с ним копейками.

Мойше был выше меня, смуглый как цыган, с густыми иссиня-черными волосами, нос вздернутый, ноздри широкие, ямочка на подбородке, глаза раскосые, как у татар. Он ходил в драной капоте и растоптанных башмаках. Семья их жила в одной маленькой комнатке, я даже номер запомнил: 13. Мать слепа на один глаз и торговала зеленью позади магазина. Сестра продавала цветы на Жабьей улице. Еще у Мойши был брат, но где-то в Америке.

Мы с ним ходили в обнимку и выдумывали небылицы, врали друг другу что на ум взбредет. И нам это не надоедало.

Был летний день. Мы до самого вечера слонялись по улице — туда и обратно, туда и обратно. Вдруг Мойше остановился и сообщил мне потрясающее известие, настоящую тайну: отец его только делает вид, что он уголь разносит, на самом же деле он — богач, он богаче самого Ротшильда! У него есть свой дворец и еще один замок в лесу, наполненный золотом, серебром и брильянтами. Я спросил Мойше, откуда взялись у них эти богатства, и он сказал:

— Поклянись на цицес, что не разболтаешь.

Я поклялся.

Он поднял прутик с земли:

— Перебей.

В татарских его глазах вспыхнули искры, глаза смеялись и грезили. Он ощерил веселый рот, полный редких, врозь торчащих зубов. Бесноватое что-то, лукавое промелькнуло у него на лице, и я вспомнил вдруг черных евреев из Йемена и стольного града, время от времени наезжающих к нам собирать деньги на Эрэц Исроэл[1]. Мойше сказал:

— Мой отец разбойник.

Ужас пополз у меня по спине.

— А кого он ограбил?

— Он прорыл под банк длинный подкоп и выгреб оттуда все золото. Он устраивает засады в лесах, на купцов. У него есть меч и ружье. А еще он волшебник. Он может войти в ствол дерева, и никто не заметит, где там вход.

— Зачем же он уголь таскает?

— Сбивает с толку полицию.

Мойше рассказал мне, что у них в комнате есть потайная дверца, там имеется спуск в подземелье, а из подземелья тянется ход аж до Скерневицких лесов. Отец у него не просто разбойник, но атаман отряда разбойников, их у него тысяча двести голов, двенадцать сотен головорезов! Отец рассылает их по всему свету, а они привозят ему награбленное. Одни из них нападают на морские суда, другие — на караваны в пустыне... Мойше сознался, что у отца — кроме жены, матери Мойше,— есть еще двенадцать наложниц, все — захваченные принцессы. А когда ему, Мойше, исполнится тринадцать лет, то есть после бармицвэ*, он тоже будет разбойником. И женится на дочери короля красноликих израильтян*, живущих далеко-далеко, за рекой Самбатьен*. Она уже дожидается его в замке, в ихнем лесу, у нее золотые волосы до самых лодыжек и золотые сандалии. А чтоб она не убежала, ее приковали золотою цепью к колонне.

— Зачем же ей убегать? — спросил я.

— Она очень скучает по маме.

Я прекрасно знал, что все это Мойше придумывает. Я даже вспомнил, из какой книжки он все это взял. Но все равно слушал как зачарованный.

Мы стояли у рыбного ряда. В садках плавали щуки, карпы, лини. Был четверг, и хозяйки впрок запасались рыбой-фиш на субботу. Тут

[1] То есть в фонд создания государства Израиль.

же рядом была и разделочная, где рыб потрошили. Гомон, гул, шум повис над базаром, голоса продавцов, покупателей, окрик извозчиков, кудахтанье кур, крик петухов, гогот гусей, кряканье уток, противные всхлипы индюшек. Нищий слепец с бородой как слежалая вата бренчал на своей мандолине и пел про корабль «Титаник». На плече у него стоял попугай, копошась клювом в перьях. Жена его, юная, ловкая, как акробатка, собирала звонкую мелочь в бубен, увешанный колокольцами.

На западе, в сторону Волина, садилось солнце. Оно было огромным, грузным и желтело, как золото, а поперек проплывало длинное облачко, как поясок. Позади растекалась туча серного, желто-зеленого цвета, расплавленная, как огненная река, текущая в русле из тлеющих углей.

Мы были с Мойше друзьями, но втайне соперничали с ним. Мойше не мог простить, что отец мой — почетный раввин и что мы занимаем две комнаты с кухней. С балконом. Он все время старался мне доказать, что сильней и умней меня, способней к ученью. Несколько раз мы с ним уже ссорились, но скучали один без другого и быстро мирились.

Теперь была моя очередь что-нибудь выдать, но что-нибудь, как решил я, такое, чтобы он ошалел! Я сказал:

— У меня тоже есть тайна. Знаешь какая?

У Мойши в глазах промелькнула издевка.

— Ну и какая?

— Поклянись, что не станешь болтать.

Он поклялся и хмыкнул. Он смеялся надо мной. Я сказал:

— Так знай же, что я каббалист. Я овладел каббалой.

— Чем-чем?

— Мне известны все тайны каббалы.

— Кто же тебе их открыл?

— Мой отец!

— А разве детей обучать каббале позволено?

— Нет. Но я не такой, как другие.

— Ну? Ну дальше.

— Я могу оживить бумажного голубя. Могу нацедить вина из стены. Сказать два таких слова, что полечу по воздуху.

— А еще?

— Могу сделать так, что дорога станет короче.

— Еще?

— Стать духом-невидимкой. Могу превратить камни в жемчуг.

Мойше стоял и накручивал пейсу на палец. Пейсы у него были густые, тугие, как два маленьких рога, не то что мои растрепыши.

— Ты, значит, можешь стать богаче всех богачей?

— Это проще простого.

— А где ж твои богатства?

— Понимаешь, каббала — это такая штука, лучше ею не пользоваться. Это очень опасно. Существует такое, например, заклинание, что, если скажешь его, небо станет красное-красное, а на море поднимется шторм, волны — до самых туч. Все живое потонет. Дома повалятся. Откроется черная бездна, и весь мир в нее упадет.

— И ты его знаешь? Заклинание это.

— Да. А хочешь, я все это сейчас разрушу?— Я показал рукой.

— Н-н-не-ет.

— Надо знать одно имя. Сказать я его не могу. О нем даже подумать нельзя.

— Какой же толк от твоей каббалы?

— Толк? А вот вырасту, выпрошу благословения у пророка Илии и полечу в Эрэц Исроэл. Поселюсь в развалинах Храма, а потом приведу с небес Мессию на землю.

— Тебя ждет конец Йосифа Дилэ-Рейне.

— А я не дам Сатане нюхать табак!

Мойше смотрел себе под ноги и скучал. Потом наклонился, поднял грязный обрывок бумаги и стал складывать из него птицу. Я подождал, мне хотелось, чтобы он еще порасспрашивал меня, но он упрямо молчал. Я понял, что перестарался. Но это же он, Мойше, сам подзадорил меня! Из-за него мне захотелось стать сильней и могущественнее всех! Теперь я сам испугался тех слов, что сказал. С каббалой не шутят. Еще ночью привидится что-нибудь. Я шепнул:

— Мойше, пошли домой.

— Ладно, пошли.

Мы вышли на Мировскую улицу. Уже не в обнимку. Небылицы наши сегодня не сблизили нас, напротив, мы стали как будто чужие. Но почему, почему?! Я посмотрел на Мойше и увидел, как он плохо одет. С капоты свисали лохмотья. Носок башмака на каждом шагу раскрывался, как пасть, а гвозди торчали, как зубы. Он старался ступать волоча левую ногу, не приподымая ее.

На Мировской свеже парился конский навоз, набросаны были огнилки зелени, вываленной торговками, шуршала солома, ветром сорванная с проезжающих фур. Магазины уже закрылись, и за окнами в них было видно, как из шлангов поливают полы. Между двумя магазинами стояло строеньице, где вырабатывали искусственный лед. Хотя было еще не темно, там зажгли электричество. Вертелись колеса, плавно скользили трансмиссии. Загорались сигнальные лампочки и снова гасли. Но там не было ни одного человека. Только отдаленный скрежет доносился до нас. Под решетками, вделанными в настил, были видны резервуары с водой, почти замороженной.

Мы долго стояли, смотрели. Неожиданно для себя я спросил:

— А кто ей приносит есть?

Мойше точно проснулся.

— Ты про кого?

— Про девушку в золотых сандалиях.

— Там есть слуги.

2

Проходя мимо следующего магазина, мы молчали. Я вдруг увидел на земле две монеты. Они лежали рядышком на тротуаре, словно кто-то аккуратно их там положил. Я нагнулся и поднял их. Мойше крикнул:

— Чур, на двоих!

Я сразу же отдал ему его долю, одну из них. Если б он заметил и поднял их первый, я бы, конечно, ничего от него не получил. Теперь Мойше стоял и рассматривал решку. Потом попробовал пальцами: настоящая или нет?

— Ты себе можешь наделать жемчуга из камней,— сказал он задумчиво,— на что тебе эта мелочь?

Мне тоже хотелось его спросить: на что ему этот мамончик, если отец у него — богатый разбойник? Но не спросил, утерпел. Потом Мойше усмехнулся, как-то хитро, и сунул монету в карман. Я посмотрел на его лицо: кожа желтая, скулы торчат. Про что-то мне это лицо говорило, но про что — понять я не мог. Это был язык сочленений и плоти, унаследованный от поколений. Мочки ушей приросли к щекам, крылья носа раздувались, как у лошади. В уголках рта змеилось что-то брезгливое. Глаза потемнели, но все так же были полны насмешки, издевки. Они презирали меня. Мойше спросил:

— Что ты купишь на это? Цукатиков? Леденцов?

— Отдам нищему, вот что!

— Кому?

— А нищему!

— Да? Так вон он сидит, беги отдавай!

На тротуаре, мешая прохожим, как пришпиленный к дощечке своей на колесиках, сидел человек, полчеловека. В правой и левой руке он держал по колодке, похожей на пресс-папье, этими колодками он отталкивался, когда ехал. На голове — каскетка с низко надвинутым козырьком. Странный потертый камзол. Подвешенная к шее жестянка для милостыни. Я на миг представил себе, чего бы мог накупить: книжку сказок, цветных карандашей, халвы! Но гордость взяла верх. Я приблизился, вытянул руку и бросил свой шестевик в жестянку. Я ждал, что там зазвенит, но монета лишь гулко стукнулась. Калека быстро откатился в сторону, точно боясь, что я передумаю и потребую деньги назад. Мойше сдвинул брови, переносица покрылась густыми морщинками. Но он пересилил себя и спросил:

— А ты когда учишь каббалу, ночью?

— Да, после молитвы.

— Ой, смотри, что это с небом?

Я поднял глаза. Небо было красным, багряным от края до края, а посередине черно-синим, как перед грозой. Две птицы, крича, пролетели, словно окликая друг дружку. Появилась луна. Минуту назад был еще день. Ночь опустилась разом, как обвалилась. Лоточницы спешно укладывали товар. Фигура с длинным шестом ходила от фонаря к фонарю, зажигая газовые светильники. Мне вдруг стало нестерпимо стыдно: зачем же я вру?

— Мойше, хватит брехать.

Мойше остановился.

— А ты чего такой злой? Что деньги отдал?

— Я не злой. Только у кого роскошный дворец в лесу, тот уголь в мешках не таскает. И никакой девушки в золотых сандалиях у тебя нет. Все это бабушкины сказки!

— Ты что, хочешь ругаться? Да? Рыжий пес!

— Черный котяра!

— Может, думаешь, что, если отец у тебя раввин, я подлизываться к тебе буду? Не буду! А что я тебе наврал и что правду сказал — ты все равно не узнаешь!

— И знать нечего! Тоже мне разбойник! Богатырь! Мастер с понтом!

— Да? А я вот возьму и по правде уеду! Если хочешь знать — в ешибот! Спрячусь в вагоне под лавку, зайцем...

— А тебя там найдут, арестуют и посадят в тюрьму!

— А я там стану настоящим разбойником!

— А после тебя будут поджаривать на углях в аду.

— Пусть жарят. А зато у меня любовь!

Я вздрогнул и остановился.

— Опять брешешь?

— Чтоб мне не сойти.

Значит, правда. Такой клятвой не разбрасываются. Тем более Мойше. Мне стало нехорошо. Точно кто-то холодными пальцами прикоснулся к затылку.

— Что, с девушкой любовь, да?

— А то с кем еще, с парнем? Она в нашем дворе живет, и мы скоро с ней станем жених и невеста. Мы уедем в Америку, к брату.

— А любовь — это же... позор!

— Да? У Иакова была любовь. Он целовался с Рахилью. Про это, если хочешь, даже в Библии есть.

— Развратник!

И я побежал. Мойше что-то кричал вдогонку. Мне казалось, он все время у меня за спиной и вот-вот нагонит. Я добежал до синагоги. В дверях, не проталкиваясь вовнутрь, стоял Мойшин отец, высокий, с острым кадыком, с бородой, по которой трудно было узнать, черна ли она сама по себе или от угольной пыли набившейся за день. Лицо темное, как у трубочиста. Штаны на бечевке держатся. Он раскачи-

вался, наклонялся, бил себя в грудь, приговаривая «виновен» и «грешен». Я подумал, он просит прощенья у Бога за грешника — сына. У восточной стены стоял мой отец и бормотал Шименэсрэ *. На нем была бархатная капота, капелач на голове и широкий расшитый пояс пониже груди. Он весь точно втиснулся в стену, стоял и вздыхал. Нет, каббалой я не владел, но в тот вечер все вокруг наполняли собою тайны каббалы. Чугунная тоска навалилась, всего меня обняла. Такое было со мной впервые. После молитвы я подошел к отцу и сказал:

— Папенька, мне с тобой надо поговорить.

Я сказал это так, что отец тревожно посмотрел на меня. Глаза у него были светлые, голубые.

— Что-нибудь случилось, а?

— Папенька, я хочу, чтобы ты меня обучал каббале.

— Вот что. Но в твоем возрасте изучать каббалу нельзя. Писано: до тридцати пусть никто не познает тайны каббалы.

— Папенька, я хочу сейчас.

Отец взял в кулак свою рыжую бороду.

— Что за спешка? Евреем можно быть и без каббалы.

— Папенька, а есть такое заклятие, чтобы разом разрушить весь мир?

— Древние умели все. Мы — ничего. Пойдем домой.

Отец ухватил меня под локоток. Мы прошли в ворота, где Ривкелэ, дочка пекаря, стояла с корзиной свежего хлеба, булок, баранок. Женщины выбирали на ощупь, и корочки хрустели в их пальцах. Мне очень хотелось подсмотреть, как Ривкелэ прячет бумажные деньги в мешочек под красной повязкой повыше чулка. Мы вышли на улицу. Фонари разливали лимонный свет. Наверху, между двумя печными трубами, плюющими дымом и искрами, висела луна, большая, как солнце, и красная, как цветок. Отец сказал:

— Смотри, луна!

— А правда, что там живут люди?— спросил я его.

Отец помолчал, потом отозвался:

— И что тебе только лезет в голову? Никто ничего на свете не знает... Каббала — это для крепких мозгов. А со слабой головушкой соваться в нее — можно, упаси Господи, спятить.

Слова отца напугали меня, просто в ужас повергли. Я и без того уже чувствовал, что близок к безумству: хотелось куда-то бежать, кричать, рвать на себе одежду. Отец угадал мое состояние и сказал:

— Ты еще мальчик. Когда, с божьей помощью, ам ирцэ хашем, ты подрастешь, потом женишься, станешь настоящим мужчиной, вот тогда...

— А я не женюсь.

— Как так? В парнях засидишься? Ты говоришь, как глупенький. Писано: лой тойу бэрэйо лэшабос йециро — не было субботы, пока шло сотворенье... Подрастешь, найдут тебе девушку, станешь ей женихом...

— А чьим женихом? Чьим?

— Как это чьим? Кто же может знать наперед?

И тут я понял, откуда моя тоска. Сколько на улице девочек, а я не знаю, кто из них — моя будущая невеста. Может, мы с ней в одной лавке сладости покупаем, а она про меня тоже не знает. Мимо проходим и не догадываемся, что мы — будущие муж и жена. Я принялся рассматривать всех проходящих: сколько девочек! И сверстниц моих, и немного помладше, и старше меня! Одна девочка шла и облизывала мороженое в стаканчике. Другая остановилась у кондитерской тети Эстер и ела пирог с сыром, взяв его осторожно двумя пальчиками — указательным и большим; мизинец она кокетливо оттопыривала. Девочка с красным бантом в косе, в плиссированной юбочке и репсовом фартуке несла под мышкой тетрадки и книжку, ноги

в черных чулках были выточенные, как у куклы. Улица пропахла стоком, свежими бубликами и ветерками, веявшими со стороны Вислы, из Пражского Леса. Вокруг фонарей вились мошки и мотыльки, привлеченные светом и поверившие, что ночь — это день. Я поднял глаза, там переливались огнями верхние этажи. Девочки стояли, облокотясь, на балконах, свешивались из окон. Слышно было, как они переговариваются, поют и смеются, доносился стрекот швейных машинок, труба граммофона. В одном из окон, за шторой, мерцал силуэт, тень девушки. Мне показалось, что она разглядывает меня сквозь плетение кружева. Я сказал:

— Папенька, а из каббалы можно узнать, чьим женихом станешь?

Отец долго молчал, наконец откликнулся:

— А зачем это знать человеку? Это известно на небесах...

Я ему не ответил. На небесах знают все, на земле — ничего. Все мы здесь бродим в этих потемках, точно слепые. Взрослая грусть охватила меня. Я грустил по девочке, которую я не знал, которая не знала меня, хотя нас уже с нею выбрали на небесах — и мы будем супружеской парой.

1966

Йохида и Йохид [1]

Аврому Суцкеверу

1

В замке, где дожидаются своей участи души, осужденные на изгнание в ад, то есть на Землю, как его еще называют, томилась душа женского пола, Йохида. Йохида много грешила в том мире, в котором жила, куда спустилась когда-то с Кисэ-Хаковед — с Престола Господа. Но души свое происхождение забывают. Пуро, ангел забвенья, владычествует повсюду, только Эн-Соф * ему неподвластен. Йохида позволяла себе дебоширить, устраивала скандалы, подозревала каждую ангелицу в шашнях со своим возлюбленным, с Йохидом. Случалось — и богохульствовала. А то и вовсе отрицала существование Бога. По нелепым ее представлениям получалось так, будто души никем не сотворены, а появляются как-то сами собой, безо всякой цели и замысла, и поэтому, значит, лэс дин вэлэс дайен — несть ни законов, ни судей. Судьи, однако, там есть, и законы они применяют по всей справедливости. Потому-то и приговорили они Йохиду — когда очередь дошла до нее — к изгнанию на маленькую планету Земля.

Адвокат подавал апелляции все выше и выше, вплоть до Верховного Демона, но мнение о Йохиде сложилось такое, что никто уже не мог ей помочь. Йохиду разлучили с Йохидом, отрубили ей крылья, остригли волосы и надели на нее длинное одеяние, саван для тех, кто подлежит аннигиляции. Ее перестали питать небесной музыкой, благоуханиями рая, тайнами Торы, лучезарным сиянием шхины — отблеском Бога. Она не купалась больше в бальзамных фонтанах. Сумрак нижнего мира, заранее поданный в камеру, наводил тоску. Но гораздо страшнее была тоска по Йохиду. Йохида потеряла способность общаться с ним телепатически. Связь ясновидения тоже между ними была прервана. Да что там, даже отняли слуг — несколько душ юных отроков и отроковиц. Ничего не оставили бедной Йохиде, кроме страха смерти.

Смерть — гостья вовсе не редкая там, но несчастье это обычно случалось с душами низменными, пустыми, не ведающими любви. Что происходит с умершей душой — этого Йохида не знала, да и не очень

[1] Единственная и Единственный *(иврит)*.

интересовалась. Скорее всего душа просто гаснет, исходит, как свечка. Хотя некоторые полагают, что искра духовности, некоей жизненной субстанции, сохраняется в ней. Снаружи, во всяком случае, душа сразу же принималась гнить, покрывалась коростой и струпьями. Потом могильщик опускал ее в могилу, которая называется: лоно. Там она превращалась в опухоль, фунгус, паразитическое образование, называемое: дитя. Затем наступали муки Исхода — рождения, роста, работы. Если верить мудрым книгам, то смерть — не конец, не последний приют бытия. Душа очищается в смерти и опять возвращается в родные пенаты. Откуда мудрые книги черпали все эти сведения? Ведь насколько Йохида себе представляла — а была она весьма просвещенной,— до сих пор с Земли никто еще не возвращался, да и что там может вернуться после того, как душа сгнивает дотла и рассеивается во мраке?

А теперь она, Йохида, сидит и ждет смерти. Ангел смерти — Малэхамовэс с его огненным мечом и тысячью глаз — мог появиться в любую минуту.

Первое время Йохида плакала, днем и ночью. Потом слезы иссякли, но мысли о Йохиде мучили ее не переставая, наяву и во сне. Где он сейчас? С кем он? Она отдавала себе отчет в том, что вечную верность хранить он не станет. Храмы полны юных девственниц, ангелиц, серафимиц и херувимиц, девиц-аралим и прочих прелестных созданий. Как долго сможет он устоять? Ему ведь считаться не с чем, ведь он, как и она, Йохида,— атеист. Собственно, это именно он и внушил ей, что дух — никакой не плод Творения, а побочный продукт природоестественного процесса, который он называл: эволюция. Йохид не признавал Божественного Промысла, свободы выбора, святости и греха. Что может теперь побудить его к воздержанию? Небось разлегся уже в коленях какой-нибудь крылатой бабенки и рассказывает ей про Йохиду, как рассказывал ей, Йохиде, про других. Хвастал своими победами. Как же быть? Что предпринять? Все каналы к нему перекрыты. Ждать милостей не от кого. Прощенья не будет. Путь один — вниз, на Землю, в неуютную плоть, в этот ужас, называемый: тело. Тело — мясо и кровь, нервы, мозг, дыханье и прочая мерзость, от которой при одной только мысли пробирает мороз. И эти еще, с их воскресением! Душа, видите ли, не остается, согласно их проповедям, вечно прозябать на Земле. По отбытию наказания душа якобы снова поднимается вверх, в мир, откуда спустилась. Какое ханжество, какое грубое суеверие, рассчитанное на простаков! О какой еще душе можно толковать после того, как она была тлением, гнилью, так называемой плотью? Нет, воскресение — это миф, греза, наукой не подтвержденная. Утешительная ложь для душ примитивных и трусливых. Почему-то никто еще добровольно на кладбище это — на Землю — не отправлялся. Разве что несколько помешанных самоубийц.

2

Как-то ночью, когда Йохида лежала в углу своей камеры, терзаясь воспоминаниями о Йохиде, о наслаждениях, которые он мастер был доставлять, о поцелуях его, о таинственном шепоте, играх, которым он ее научил,— явился Малэхамовэс. Точь-в-точь такой, как в мудрых книгах: с огненным мечом и тысячью глаз. Он обратился к ней:

— Сестра, твое время пришло.

— И нет никакого выхода?

— Живым отсюда никто еще не выходил.

— Что ж, делай что полагается.

— Не торопись. Сначала покайся в грехах. Раскаяние облегчает. Даже сейчас.

— Сейчас? Сейчас, когда меня собираются сбросить на Землю?

Нет уж, раскаиваться мне не в чем, разве только, может быть, в том, что я меньше грешила, чем могла бы.

Она умолкла и упрямо ждала. Молчал и Малэхамовэс. Потом он сказал:

— Сестра, я знаю, что ты гневаешься на меня. Но я-то в чем виноват? Я не сам назначил себя Малэхамовэсом — ангелом смерти. Я — благородного происхождения, из верхнего мира. Там я много грешил, как ты — здесь, и меня спустили сюда. И сделали палачом. Мне так же не хочется тебя убивать, как тебе — умирать. Но поверь, смерть не так уж страшна, какой ты себе ее рисуешь. Кое-что в моем ремесле я все же постиг. Да, спуск на Землю и погружение в лоно — дело малоприятное. Но затем — девять месяцев сладостного полубытия. Там ты все позабудешь. А потом — начало второго периода смерти, выход из лона. Тоже трудный момент. Зато детство — золотая пора. Тело гибкое, свежее. Ты обнаруживаешь и изучаешь все его слабости, познаешь законы нового существования, приспосабливаешься к нему. А потом оно так становится тебе дорого, что начинает казаться, будто смерть — это жизнь. А со временем начинаешь даже страшиться того дня, когда смерть прекратится...

— Если ты должен убить меня,— прервала его Йохида,— делай свое дело. Но слушать твой бред, твои вульгарные россказни я не желаю.

— Сестра, я говорю правду. Смерть длится только несколько десятилетий. Лишь самые закоренелые из преступников остаются в мертвых сто лет. Смерть, можно сказать,— это карантин перед новой жизнью...

— Красиво сказано... Ну, хватит!

— Тебе следует знать: там тоже — свобода выбора и ответственность за содеянное.

— И этот про свободу выбора... Знаешь, даже тебе, Малэхамовэсу, эта чушь не к лицу...

— Да, и свободный выбор, и ответственность за поступок. Среди ужасов смерти, в глубине преисподней — та же Тора, те же законы и воздаянье по ним. По тому, как пребывала ты в смерти, воздастся тебе, когда ты вернешься сюда. Смерть — как бы период реабилитации душ. И кто это понимает, тот ее не боится.

— Ну достаточно... Приступай.

— Не торопи меня. У тебя еще есть капля времени, и я должен дать тебе необходимые наставления. Так вот. На Земле тоже бывают деяния добрые и деяния злые. Самое большое преступление — это кого-нибудь оживить.

Даже в том горестном состоянии, в каком она находилась, Йохида расхохоталась:

— Это как же, один мертвец оживляет другого?

— Именно. Дело в том, что плоть состоит из такой непрочной материи, что от малейшего прикосновенья рассыпается в прах. Ты вот считаешь, что воскресение вещь невозможная. А между тем это проще всего. Смерть — она как паутина. Достаточно самого слабого дуновения ветра... Так что вернуть кому-нибудь жизнь, даже себе самой — страшное злодеяние. Сокращать срок смерти нельзя. За это последует новая кара и новая смерть. Но мертвецов не только нельзя оживлять — их нельзя убивать! Подобно тому как здесь — жизнь под охраной закона, там под охраной закона — смерть...

— Вранье. Ложь. Домыслы Малэхамовэса...

— Нет, все это истина. Все законы там зиждутся на одном принципе: смерть ближнего тебе так же должна быть дорога, как собственная твоя смерть. Запомни эти слова, они пригодятся тебе в дольнем мире.

— Все! Это невыносимо...

И Йохида заткнула уши.
— Пойдем, сестра.

3

Прошли годы. Йохида совсем позабыла тот мир, в котором когда-то жила. Но там оставалась мать — и каждый год она зажигала поминальные свечи по дочери. Здесь, на Земле, у Йохиды была новая мать — мертвая. Как и мертвый отец. И мертвые братья. Мертвые сестры. Йохида была студенткой горнорудного техникума и одновременно посещала семинар в университете. Университет носил пышное имя «Ригор мортис»[1] и располагался в центре молодежного городка мертвецов, поставляя мертвые кадры для кладбищенских нужд.

Была весна, время года, когда гниль на Земле расцветает всей своей коростой — зеленым и красным. От могил, от деревьев, надгробий, от вод, в которых омываются трупы,— поднималось зловоние. Мириады существ, еще недавно под снегом живых, выбирались на волю, становясь то цветами, то мухами, то бабочкой, то червяком — всякий сообразно своему преступлению и своему наказанию. Они исторгали крики, рычание, шорохи — разноголосье агонии. Но Йохида успела уже породниться с этим хэвэл-хавлоим, суетою сует мертвецов, и потому все вокруг представлялось ей жизнью. Она сидела в парке, на скамье, устремив взгляд к Луне — вечному черепу, освещавшему темную Землю. Как всякий мертвец женского пола, Йохида мечтала продлить свою смерть: предоставить могилу своего лона кому-нибудь из вновь умерших. Но чтоб это стало возможным, нужен был еще Он, мертвец-самец. С ним ей следовало соединиться, а как это сделать без ненависти — без чувства, которое на лживом языке мертвецов называют: любовь?

Йохида сидела на скамье, глядя в пустые глазницы и провал носа на черепе мертвой Луны, и тут на другой край скамьи присел молодой мертвячок, в белом саване, в соломенной шляпе и в башмаках, сшитых из кожи теленка. Два мертвеца стали в сумерках пялиться друг на друга, таращить глаза, которые и при солнечном-то свете — непроглядно-слепы. Потом незнакомец спросил:

— Извините, фройляйн, не скажете, который час?

А на этом обширном кладбище время всегда отмеряют. Каждый мертвец в глубине своего существа ждет, чтобы ссылка его поскорее закончилась. Ждет и надеется. Но сам про это не знает. Напротив, всем им даже кажется, что жаль каждой ушедшей минуты.

— Который час? — так и вздрогнула отчего-то Йохида.

На запястье у нее был некий прибор, отмеряющий время, деля его на доли и дольки. Но знаки на циферблате были так мелки, а свет такой тусклый, что она не могла разобрать. Заметив это, молодой мертвячок, не без умысла, придвинулся к ней, предложив:

— Позвольте, я взгляну. У меня стопроцентное зрение!

— Взгляните, пожалуйста.

Все, что на кладбище этом делается,— одно притворство. Для всего ищут повода, видимости, зацепки — чего-нибудь для отвода глаз. Не зря называют Землю: ойлом хашекер, ложный мир. Собеседник взял в свою руку руку Йохиды и наклонился над циферблатом. Не в первый раз ее за руку брало мужское существо, но сейчас она вся почему-то затрепетала. Он долго рассматривал цифры, потом сказал:

— Четверть одиннадцатого или около этого...

— Так поздно?— всполошилась Йохида.— Мне пора...

— Разрешите представиться, Йохид.

— Йохид? Как вы сказали: Йохид? Это же я — Йохида

— Йохида?.. Невозможно... Такое редкое имя — и вдруг!

---

[1] «Оплот мертвых» *(лат.)*.

Они оба умолкли. Оба сидели, прислушиваясь к смерти в крови. Потом Йохид сказал:

— Прекрасная ночь.

— Удивительная.

— Есть нечто в весне, чего словами не передашь.

— Словами ничего не передашь...

И как только она это произнесла, оба поняли, что обречены стать парой и подготовить могилу для нового мертвеца. Потому что, как ни мертвы мертвецы, в них всегда остается искра жизни — искра знания, заполняющего мир и не дающего нам заблудиться во мраке. Смерть — это маска, личина. Через эту личину всякий раз пробивается тоненький луч сверкающей правды. Мудрецы про смерть говорят: мыльный пузырь; он висит не больше мгновенья, и проткнуть его можно соломинкой. Но мертвецы — глупцы. И гордецы. Они, видите, стыдятся смерти своей! Обряжают ее словесами, иносказаниями. Чем мертвее мертвец, тем разговорчивей он, тем речистей.

— А можно спросить, где вы живете? — спросил Йохид.

«Где же я видела его?— мучительно припоминала Йохида.— Откуда мне так знаком этот голос?»

— Да здесь неподалеку,— отвечала она.

— Вы не будете возражать, если я вас провожу?

— В этом нет необходимости, благодарю вас... Но если вам хочется...

— Да, конечно! Все равно мне еще рано отправляться спать...

Йохид поднялся, Йохида встала следом за ним. «Так это и есть мой суженый, мой нареченный, тот, о ком я мечтала с детства? — спрашивала она себя.— Йохид! Это же надо, совпаденье какое! Случайно ль оно? Может, это судьба? Да, но что такое судьба? Лишь вчера профессор нам объяснил, что судьбы не бывает. Никакого Промысла Божьего нет. Вселенная — это определенный физико-химический процесс, результат космического взрыва...»

Мимо проехали дрожки, и Йохида услышала, как Йохид ей говорит:

— Вообще-то я по природе своей очень скромный... Не хотите ли прокатиться на дрожках?

— Прокатиться?.. Куда?

— Просто так. Прогуляться. Здесь такие аллеи...

Она не обиделась, не рассердилась, как обычно, когда ей, бывало, предлагали подобное. Она только сказала:

— Может, лучше не надо? Зачем же вам тратиться?..

— Ах, что деньги? Живем один раз!

Дрожки подъехали, и они сели. Йохида сознавала, что напрасно она согласилась так сразу, поехала, толком даже не зная с кем. И потом, что он подумает про нее? Что она какая-то шлюха, готовая с кем попало отправиться... Ей хотелось ему объяснить, что и она тоже скромная, очень, и совсем не такая, как может ему показаться,— но она поняла, что поздно: она безнадежно скомпрометировала себя! Йохида молча сидела, прислушиваясь к себе и удивляясь. Неведомой какой-то близостью веяло от него. Она почти могла читать его мысли. Ей хотелось, чтобы эта ночь не кончалась. Вот так ехать и ехать рядом с ним. Что это, любовь? Но разве так вот бывает — чтоб сразу? «И что же я, счастлива?»— спрашивала она себя. И снова прислушивалась к себе, и ответа не получала. Мертвецы счастливыми не бывают. Никогда. Даже пляшут они с тоскою в глазах. Йохида сказала:

— Странное у меня ощущение. Будто все это со мной уже было.

— В психологии это явление известное: дежа-вю.

— А что, если это так?

— Что именно?

— Что мы уже были с вами знакомы. В другом мире.

— В каком еще мире? У нас с вами один только мир — Земля.

— А у наших душ?

— Абсолютно исключено. И уж кому-кому, а мне это известно доподлинно. Я студент-медик.

Он вдруг обнял ее за талию. И хотя Йохида никому, даже приятелям детства, такого не позволяла, ей сейчас как-то было неловко начинать вырываться, требовать, чтобы он отнял руку. Она сидела потрясенная, сама поражаясь своей уступчивости, обо всем сожалея, стыдясь того, что случится с ней ночью. «У меня совсем нет характера,— ругала она себя.— Я ханжа: сама делаю то, что в других осуждаю. Ипокритка и лгунья. Но в одном он, конечно, прав: если не существует души, значит, нет и Бога, нет Закона, нет свободного выбора и ответственности за него. Мораль — надстройка, следствие экономических отношений...»

Йохида закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Лошадь ступала ровно, шаг за шагом. Ночь сгущалась. И всякий в этой ночи мертвец — человек и каждая тварь — громко оплакивал свою смерть: кто — хохоча, кто — крича, щебеча, кто шорохом крыл. Прошла группа скелетов, напившихся зелья, давшего им ненадолго забыться в этом гехенеме, в этом аду. Йохида вся погрузилась в себя; тишина и оцепенение объяли ее. Она задремала, совсем ненадолго, но когда мертвые спят, у них восстанавливается связь с прошлой жизнью. Во сне исчезает иллюзия времени и пространства, причины и следствия, масштаба и соразмерности. Во сне Йохида опять очутилась в родном ее мире. Видела мать, подруг и учителей. Йохид, должно быть, тоже вздремнул, потому что и он оказался там. Они узнали друг друга и обнялись. Смеялись от счастья и плакали. Им открылась истина: смерть на Земле только призрак. Только стадия, ступень на подъеме к высшей, более светлой любви. Юная парочка проезжала мимо дворцов, островов, где распевают небесные птицы, рощ, в которых пасутся божественные стада, мимо оазисов с выздоравливающими душами. Они поравнялись с тюрьмой, заглянули в оконце. Там сидела душа, приговоренная к изгнанью на Землю. Йохида знала, что это ее будущая дочь. И, уже просыпаясь, услышала голос:

— Могила и могильщик нашли друг друга. Погребенье — сегодня ночью.

1964

Глоссарий

Агада — книга сказаний и молитв, читаемых во время вечерней пасхальной трапезы.

Арн-койдеш — священный шкаф для хранения Торы.

Бармицвэ — религиозное совершеннолетие для мальчика (тринадцать лет).

Бесдин — судилище, помещение, в котором раввин разбирал конфликты членов общины.

Вайбершул — женское отделение в синагоге, обычно на галерее.

Габетша — жена габе, синагогального старосты.

Гемара — одна из двух составных частей Талмуда.

Елиаху — пророк Илия.

Емим-Нороим — религиозные праздники Новый год и Судный день.

Енох — дед мифологического Ноя.

Ешиботник — учащийся ешибота, высшей талмудической школы.

Идиш-тайч — старое название языка идиш.

Иосиф Дилэ-Рейне — искаженное Иосиф де ла Реина, имя легендарного каббалиста, погибшего, согласно преданию, во время каббалистического сеанса.

Йеваним (букв. — «сыны Явана») — наименование народов, населявших Македонию, Грецию, Сирию и др.; здесь, вероятно, обыгрывается созвучность с именем Иван.

Каббала — мистическое учение, включающее в себя элементы пифагореизма и христианства.

Кагал — еврейская община.

Кан-Ципор (букв.— «гнездо Ципоры») — понятие из Каббалы. Ципора (Сепфора) — жена Моисея; это имя означает «птица».

Капота — традиционное еврейское облачение, нечто вроде халата. Предмет верхней одежды.

Кнас (букв.— «наказание», «штраф») — неустойка при расторжении предварительного соглашения о браке.

Книга Творения (Сефер Йецира) — древнейший литературный каббалистический памятник; написан на классическом иврите.

Краснолики́е израильтя́не — мифические еврейские племена.

Ку́щи — осенний еврейский религиозный праздник.

Ле́вьосн — Левиафан, мифологическая рыба огромных размеров, мясом которой кормят благочестивых в раю.

Ли́лит — имя праматери чертей в еврейской демонологии.

Ме́зуза — амулет, прибитый к дверному косяку; охраняет дом от нечистой силы.

Меламе́д — учитель еврейской религиозной школы.

Ме́шорес — слуга.

Ми́ква — бассейн для ритуальных омовений.

Минье́н — десять лиц мужского пола не младше тринадцатилетнего возраста; минимальный кворум для моления «обществом».

Миснаге́д — противник хасидизма, приверженец ортодоксального иудаизма.

Моес-хи́тим — деньги на мацу, выдаваемые богатыми членами общины для бедняков.

Нэдове́э — деньги или вещи, которые состоятельные члены общины отдают неимущим; скорее благотворительность, чем милостыня.

Пу́рим — еврейский весенний полупраздник в память чудесного избавления от козней Амана (см. Книгу Эсфирь).

Ра́мбам — аббревиатура имени средневекового еврейского философа и раввинистского ученого, больше известного как Маймонид (1135—1204).

Ре́бе — учитель.

Самаи́л («яд Бога») — то же, что в европейской демонологии Люцифер.

Самба́тьен — сказочная река в древней и средневековой еврейской литературе.

Симхес-Тойре́э — праздник Торы, последний день Кущей.

Ситре́-Ахре́э — царство Дьявола.

Таар-шти́бл — помещение, где омывают покойника.

Тайч-Хумеш — Пятикнижие в переводе на идиш.

Тале́с — молитвенное облачение.

Талму́д — многотомный сборник еврейской религиозной литературы, состоит из двух частей — Гемары и Мишны.

Тишебо́в, Тише-Беа́в — девятое число месяца Ав, день поста и скорби в память разрушения Иерусалимского храма.

Тора — Пятикнижие Моисеево, первый раздел Библии.

Тхом-ша́бес — территория в населенном пункте, за границы которой нельзя выходить в субботу с поклажей.

Фра́нк Якоб Лейбович (1726—1791) — основатель еретической секты франкистов.

Харо́йсес — мелко истолченная смесь из яблок, орехов, миндаля с добавлением вина; готовится для пасхальной трапезы.

Ху́па — свадебный балдахин.

Ци́цес (цицит)—кисти из шерстяных ниток, прикрепляемые к молитвенному облачению.

Шадда́й — одно из десяти имен Бога.

Шалахмоне́с — праздничные гостинцы на Пурим.

Ша́мес — синагогальный служка.

Ши́ксэ — нееврейская девушка.

Шименэсре́э («Шема, Исроэл!») — главная молитва в иудаизме, «Слушай, Израиль!»

Шолэм-зохэр — первая суббота после рождения мальчика, когда совершается обряд обрезания.

Эн-Со́ф — неопределимая бесконечность в каббалистической интерпретации Бога.

Вознесение над стерней

«Моего деда,— рассказывал некий раввин, дед которого в свое время был учеником у Баалшема,— под старость разбил паралич. Однажды его попросили рассказать что-нибудь из жизни великого его наставника. Дед, среди прочего, стал описывать, как блаженный Баалшем подпрыгивал и приплясывал во время молитвы. Но ему так захотелось, чтобы слушатели воочию представили себе это, что он сам, не заметив, начал подпрыгивать и приплясывать на постели. И болезнь покинула его. Вот как следует рассказывать истории».

Рассказы Исаака Башевиса Зингера уходят своими сюжетами, как корнями, глубоко в народную почву, в национальное сознание. Тем сложнее процесс вхождения его прозы в сознание иноязычного народа, в новую для него литературу. «Изолированность культур», вопреки Шпенглеру, явление во многом преодолимое, но не в этом ли — рассуждая от обратного — причина того, что с легкостью неописуемой перекочевывают из одной словесности в другую фантастика, например, или детективы, чей природный состав не содержит сугубо национальных тканей, либо — самые поверхностные слои ее, волоконца?

Малая проза Зингера насквозь пронизана — нет, она сама и есть такой тканевый срез, правда, лишь с одного локального, географически-временно́го участка народного самосознания, а именно: хасидизма, особо расцветшего в местечках польского, с округой, региона. Не внедряясь в исторический и теологический аспект явления, укажем, что означенный хасидизм был для его носителей не просто мировоззренческой системой или, скажем, показателем принадлежности к той или иной социальной прослойке — это был способ самочувствования человека в природе и времени, в ежедневном быту, это было будничней, чем философствование, и укорененней, чем европейский модус вивенди где-нибудь в стране северной или стране южной. Под прессом реальности, «вытеснявшей», как воду под грузом, евреев из общенормального мира условий и отношений, хасид выплескивал свое бытие в иные, не всегда материальные измерения, тем более что древняя традиционная мистика предлагала готовые емкости и формы для заполнения их его экзальтированным,

отчаявшимся сознанием: вознесение (Енох, Ной, Илия); космическое общение (ангелы, серафы, небесные посланцы других пород); чудодейство (апокрифы и каббала); бесчисленное множество сатанинствующей малахэ-хаббалэ — целой иерархии нечисти от Самаила-Люцифера до ничтожнейшего бесенка-лапитута.

И в той же мере серьезности и достоверности, в какой подобное мироздание представало глазам хасида, этого «зачарованного странника»,— Зингер представляет сей странный мир нам, современным людям, при этом не отстраняясь от него как автор, не прибегая к старому и широко применявшемуся в таких художественных ситуациях способу самоотчуждения (почему-то сочтенному находкой нашего века — эффект Selbstverfremdung Брехта). И понятно, что самой естественной формой для наиболее полного вхождения в контур персонажа, в его размеры и жесты является монолог. Монолог как емкость для повышенно-эмоционального, «вытесненного» сознания дал форму величайшим произведениям во многих литературах; в русской, скажем, литературе это — и «Станционный смотритель» Пушкина, и «Очарованный странник» Лескова, не говоря уже о гоголевских «Записках сумасшедшего». Для прозаика еврейского (идишского) монолог — в силу языковых, психо-этнических и других причин — вообще, по-видимому, оптимальная литературная форма, и не случайно достигла она своего совершенства у великого Шолом-Алейхема (великого на самом деле, если читать его в оригинале, во всей стихии языка и разбушевавшегося, ищущего выход, одинокого сознания с его протуберанцами сжатой реальностью мысли: рефлексией, самоиронией, беспрестанными снижениями «по контрасту» — через «святой язык» библейских цитат...»)

Дважды — без заведомого намерения — тут был упомянут «очарованный странник», без намерения, но, видимо, неизбежно. Чем больше и ближе общаешься с персонажами зингеровских «хасидских» рассказов, тем чаще вспоминаются «странные люди» Лескова, а порой сходство — даже внешнее — приводит читающего в смущение: та же смещенность очертаний, та же воспаренность духа, широта объятья — та же, но на другом замесе, с другой молекулярной структурой. Хотя — если проникнуть еще глубже и позволить себе дерзновенное, «еретическое» наблюдение — вывод, в общем, один: древнееврейское визионерство, жарко полыхнувшее позже в крови русских богомольцев и странников, — вот общее, на атомарном уровне, ядрышко. Яркий блеск фантоматических видеокадров с «крылом храма» или «всеми царствами мира» (Евангелие от Матфея, 4, 5; 4, 8) — лишь отблеск тех мистических и мессианских озарений, которые вскоре, уже ко времени Маккавеев оформятся и будут сформулированы как хасидизм. В средние века эта зрелищность, кинематографичность Вселенной прокламируются Иудой-Хасидом в Германии (около 1200 г.), а позже — чудодеем и мистиком Исааком Лурье (1534—1572).

Основоположник хасидизма нового времени Израэл Баал Шем Тов (аббревиатура: Бешт; 1700—1760) внес это мироощущение в быт и будни галутных евреев, евреев галеса — рассеяния и тесной «черты оседлости». Но разве не в условиях глухого гетто — пусть и Пражского! — за два века до Бешта впавший в отчаянье руководитель еврейской общины раввин Лёве (1520—1602), мистик и каббалист, в ы н у ж д е н был для защиты паствы своей создать первого в истории человечества робота — болвана Голема?

«В первый день рош-гашона 1746 я, вернее, моя душа,— пишет Бешт,— при помощи знакомых тебе заклинаний поднялась в небо и увидела там такие чудеса, которые еще никто никогда не видел и нигде не описал. Когда душа моя очутилась у ворот рая, то она узнала много знакомых и незнакомых душ, облетавших мир от края до края на луче, о котором знают только те, кто сведущ в каббале». Не на этих сейчас страницах гадать, вобрал ли местечковый хасидизм заразительную склонность к экстазам украинских оксан, так волшебно воплощенных лет сто спустя Гоголем, или сами красавицы подхватили эту обморочность у пейсатых, сколь бы допрежь ни порубал их достославный Хмельницкий со товарищи — персонаж исторический и персонаж романа Зингера «Сатана из Горая». Да ведь и Шагал с Витебщины не каких-то там неведомых туземцев для «Мертвых душ» изображал, а все тех же восторженных либо одичавших в одиночестве, благочестивых либо эпикурействующих, изломанных, вытесненных из общенормальчого уровня условий и отношений хасидов, правда — хасидов-хохлов и хасидов-кацапов, хасидов-дворян и хасидов-чиновников, и даже нередко хасидов-хасидоедов.

«Вытесненность» — явление, увы, вполне доступное пониманию современного человека. Сложность «подачи» Зингера сегодняшнему русскому читателю не в непостижимости описываемого мира, а в полной неосвоенности этнических, религиозно-духовных и бытовых атрибутов этого социума, мало того — в иронико-негативном восприятии читателем тех немногих элементов антуража, которые ему все же понаслышке известны, например: евреи в синагоге (даже в синагоге) обделывают свои делишки. Да что ж, по ЦТ, что ли, объяснять (в который раз за многие столетия) населению страны, что синагога — это не «еврейская церковь», не бет-гамикдаш (Храм), а бет-гамидраш (дом учения, школа) или бет-кнессет (дом собраний, клуб), а евреи, не имея в условиях диаспоры Храма, заодно и молились здесь. (Помните у Есенина: «Молюсь осинам... Может, пригодится...») Но разве англичанин в своем клубе или русский дворянин в собрачии не мог назначить деловую встречу, а то и, извините за выражение, рандеву? Вспомним, что и Лютер переводил это слово — «бет-гамидраш» — как «школа».

Или, к примеру, пресловутое «гой». Это слово переводилось в многоязычной советской литературе как «мужик», «крестьянин», «поселянин», «сосед» — то есть любым эвфемизмом. А почему? Потому что и переводчики и редакторы шли на поводу «общественного» мнения, то есть расхожей обывательской сплетни об «оскорбительности» этого понятия. Но это — вредное ханжество, поддерживающее, по сути, многовековый навет, в который — в условиях нарастающей ассимиляции — готовы поверить уже и сами евреи. Слово «гой» мы встречаем в книге Бытия, оно входит составной частью в имя прародителя евреев Авраама, которое, собственно, является аббревиатурой «Ав хамойн гойим» — «Отец многих народов». В этом, кстати, можно увидеть изначальную открытость и лояльность евреев к другим племенам.

Об этом приходится говорить потому, что в рассказах Зингера читатель, несомненно, уловил непривычные для уха интонации — нет, не злобы и недоброжелательства! — некоей осторожности и оппозиции персонажей к «внешней» среде — внешней по отношению к черте оседлости, в которую они были загнаны. «Тюрьма народов» — это не выдумка, как утверждают сегодня некоторые митингующие на обширных площадях российских городов. Зингер, как писатель-реалист, не мог и не вправе был купировать историческую действительность во имя розово-облачных эгалите и фратерните, в легкоосуществимость которых не верил — и едко не верил! — другой, русский реалист, великий Щедрин.

Будучи писателем щедринского, или, как раньше говорили, мизантропического, склада, Зингер не полирует и не героизирует своих героев. Свой взгляд на человека и на его судьбу он не находит нужным менять, когда речь заходит о сородичах его — евреях. Можно сказать, что он вообще пишет не о евреях, он пишет просто о людях, но о людях, жизнь, устремления и психологию которых он знает лучше всего. Знает обширно и глубоко. Среди них вырос — в смысле буквальном, потому что они ежедневно приходили со всеми своими бедами и тяжбами в дом отца — раввина и религиозного судьи. Раввином был и дед писателя, этой семейной традиции остался верен и младший брат Моисей; к этой деятельности готовился и юный Ичелэ — Исаак, который много десятилетий спустя заметит: «Если я не стал раввином, то это не помешало мне верить в Бога. Я не верю, что Вселенная — случайное образование, простое химическое или физическое происшествие».

В том же интервью (по случаю присуждения ему Нобелевской премии) Зингер однозначно высказывается и по поводу «странности» мира его прозы. Интервьюер замечает: «Ваши книги населены демонами и вурдалаками, подстерегающими человека, и никто кроме вас самого не понимает, что они говорят. Более сорока лет вы пишете — и это в Соединенных Штатах! — на языке идиш и к тому же о мире, которого сегодня больше нет».

«Но этот мир,— отвечает писатель,— всегда жив для меня. Мои персонажи — не святые. Я их не восславляю. Да и вообще, святые не могут быть героями прозы (...) Для своих книг я использую еврейский фольклор с его фантастическими персонажами. Я верю, что мы окружены невидимыми силами, непознанными нами. Верю, что в XX веке люди так насытятся технологией, что предпримут ряд разведок внутрь себя и откроют там истинные чудеса».

Разумеется, объяснение автора, что «этот мир всегда жив» для него — не может служить аргументом для читателя: хасидский мир Польши, Галиции, Белоруссии и части Украины — это мир ушедший, утраченный для современности. Это — скошенная нива, стерня. Но разве в большей мере «современен» — если под этим термином понимать лишь внешнюю, эмпирическую актуальность — мир «Дублинцев» Джойса или даже мир казачества «Тихого Дона»? Герои Зингера и современны и актуальны — как одна из версий духовно-бытийного феномена человеческой жизни, как современен и актуален толстовский дядя Ерошка или лесковский Иван Северьяныч, чьи обе фигуры опять грандиозно вырастают сегодня в сознании русского читателя, в потрясенном и часто дезориентированном сознании человека конца двадцатого века. Слишком долго, пожалуй, современность понималась у нас как со-дневность, выдержанная во временном масштабе и эстетике ВДНХ.

Данная публикация — первая в нашей стране попытка представить русскому читателю, хоть малой толикой, творчество Зингера. Эта попытка, надо надеяться, будет поддержана переводчиками, а у Зингера есть что переводить! Одних не вышедших отдельными книгами, а печатавшихся лишь с продолжениями в прессе романов, по свидетельству зарубежной печати, — около двадцати. При этом называют: «Корабль в Америку», «Бунтари», «Тень над Гудзоном», «Потерянный род», «Человек из снов», «Шарлатан» и другие.

Разнообразны сюжеты и жанры зингеровской прозы. Но в первую очередь, думается, будущие переводчики должны для читателя выбрать те его произведения, в которых наиболее полно воплощено кредо писателя: «Я верен своим корням».

■

Из чешской поэзии

Поэзия — дело сугубо индивидуальное, но в ней гораздо явственнее, чем в других родах литературы, феномен поколения. Чешская поэзия XX века знает несколько сильных поколений. Прежде всего это блестящее созвездие революционных поэтов начала 20-х годов: В. Незвал, И. Волькер, Я. Сейферт. Поколение Я. Пиларжа и И. Скалы созревало в годы второй мировой войны, антифашистского Сопротивления и борьбы за путь Чехословакии к социализму. Во второй половине 50-х годов ярко выступило поколение М. Флориана, И. Шотолы, М. Голуба, выдвинувшее программу «поэзии будничного дня». А затем словно бы наступила пауза.

Но вот к концу 70-х в чешской критике заговорили о «тридцатипятилетних». Это поэты, родившиеся до 1945 г. или вскоре после войны: Карел Сыс, Йозеф Петерка, Михал Черник, Иржи Жачек, Йозеф Шимон, Яромир Пельц и другие. Сегодня творчество этих поэтов, за которыми так и закрепилось это случайное название, находится в центре внимания не только критики, но и читателей, на недостаток которых они никак не могут пожаловаться. Двум ведущим представителям этого поколения, Михалу Чернику (род. в 1943 г.) и Карелу Сысу (род. в 1946 г.), мы и предоставляем слово.

Студенческая молодость и приобщение к литературе этих авторов пришлись на исключительно противоречивую эпоху 60-х годов. Чешская поэзия, отбросив ложную патетику и лакировку, вступала тогда на путь углубленного проникновения в душу современного человека и современные конфликты. Но как и в общественной жизни тех лет, здоровые освободительные устремления в литературе сплетались с различными негативными тенденциями. Так, в молодой поэзии входил в моду крайний субъективизм, усложненность и зашифрованность образного языка. В какой-то мере это отразилось и на раннем творчестве поколения Сыса — Черника, но, по существу, взяв от 60-х годов лучшее, они утвердили себя как новое поэтическое явление в борении с искусством подобного рода. В сложнейшей обстановке первых послекризисных лет попытались возродить поэзию как средство взаимопонимания между людьми. Отличительной чертой их творчества стала предельная открытость, искренность, начиная с подчеркнутого автобиографизма. Они прямо включают в стихи факты своих биографий, историю своих семей. Если Черник говорит об отце, то он имеет в виду совершенно конкретного человека и реальные обстоятельства его жизни; если Сыс пишет о дедушке, то это именно его дед, а не литературный персонаж. В чешской поэзии существовала такая традиция. Скажем, из стихов Незвала или Сейферта тоже можно точно узнать и их происхождение, и все перипетии их жизни. Но поколение Сыса — Черника следовало этому принципу с большей настойчивостью и последовательностью, в полемике с поэтическим абстракционизмом они не просто восстановили утраченную преемственность, но словно бы заново открывали саму возможность такой тесной связи поэзии и жизни. Как заметил Иржи Жачек: автобиографизм «тридцатипятилетних» по-своему возродил доверие читателей к поэзии».

Но обращение к конкретным жизненным реалиям не имеет ничего общего с описательностью, с фактографией. С первых шагов на поэтическом поприще «тридцатипятилетних» мучил «вечный вопрос» об истинных и ложных ценностях, о нравственных критериях, о призвании человека. «Наше поколение,— говорит Сыс,— какое бы оно ни было, не скользит по поверхности». Сочетание философских «последних вопросов» и сегодняшней обыденной конкретности образует своеобразный контрапункт этой поэзии, которая в то же время, во всяком случае до сих пор, сторонится прямой публицистичности.

«Тридцатипятилетние» — размышляющее и теоретизирующее поколение, почти все они пишут не только стихи, но и прозу. Черник известен книгами для детей, путевыми репортажами, статьями о нравственности в искусстве. Сыс — прирожденный эссеист [1], задиристый полемист, который легко ввязывается в литературные споры и часто сам их вызывает. Они и внешне не похожи: Черник — плотный, с бородой, которую густо окрасила ранняя седина; Сыс — моложавый, почти «мальчишеского» вида. При общих корнях и принципиальном родстве позиций они столь же различны и в поэзии, ибо каждый проявил себя как яркая индивидуальность.

Первые стихи Сыса печатались в журналах 60-х годов, в 1969 г. вышел его первый поэтический сборник «Ньютон во время неурожая яблок». На фоне отрешенной от быта молодой поэзии тех лет книга обратила на себя внимание «заземленностью» образов и метафор, воспроизведением в стихах нехитрых радостей и нешуточных переживаний детства и ранней юности. А в завершающем сборник стихотворении, посвященном замечательному чешскому романтику Карелу Гинеку Махе, обозначилась сквозная и, может быть, самая важная тема Сыса — тема назначения поэзии:

Это тоска по чуду...

В следующей поэтической книге — «Полуоткрывшийся ангел» (1972) — можно было обнаружить следы некоторой растерянности; но уже «Долгое прощай», «Вдохни и — в полет» (обе — 1977), а тем более книги 80-х годов — «Американский счет» (1980), «Машина времени» (1984) и другие — отличают целенаправленный поиск, ясная поэтическая концепция, установившийся творческий почерк.

[1] Эссе о поэзии из книги Сыса «Поэт и К°» напечатаны в «ИЛ», 1985, № 2.

Карел Сыс сознательно воскрешает традиции чешской авангардной поэзии 20-х годов, прежде всего В. Незвала. Сыс постоянно акцентирует это — и в своих эссе, и как составитель интересной антологии из произведений Незвала «Поэт во множественном числе». Он убежден: «Так это и должно быть, на то и существует культура — передавать и принимать эстафету. Прибавь огня и — передай дальше». Демонстративная связь с поэзией Незвала особенно видна в сборнике «Книга пословиц» (1985). Незвал в период поэтизма писал стихи на все буквы алфавита, на все дни недели. Так же и Сыс пишет «Неделю в тихом доме», стихи на все четыре времени года, на все месяцы. Что с того, что об этом однажды уже написал великан чешской поэзии! Современный поэт опирается на свой собственный, совсем иной жизненный опыт. Конечно, читатель обязательно будет сравнивать Сыса с уже хрестоматийными стихами Незвала, и в этом своеобразном соревновании современный поэт далеко не всегда выйдет победителем, но интересен уже сам по себе этот дерзкий спор, и Сыса нельзя упрекнуть в подражательстве: он смотрит вроде и на то же самое, но время изменилось, все изменилось, и он видит иначе.

В свое время Иржи Тауфер упрекал Сыса в «хладнокровно-рационалистическом эротизме». Эротический подтекст присутствует во многих метафорах поэта, который считает, что «граница между искренностью и эксгибиционизмом совершенно ясна и очевидна — все, что на пользу стихотворению, не может быть злом». Эротическая смелость образов — дело вкуса, но несомненно, что Сысу принадлежат очень светлые стихи о любви.

Чистая, хотя, конечно же, и чувственная любовь, честный труд и истинная поэзия — вот те нетленные ценности, которые отстаивает в своих стихах Карел Сыс. Снова и снова возникает в них вопрос о смысле поэзии, но ведь это вопрос и о смысле жизни, ибо их нельзя разделить.

Если Сыс — мастер метафоры, то Черник с течением времени все отчетливее ищет поэтическую выразительность в другом: «То, что я хочу сказать, надо выразить точно...» В его первых поэтических сборниках «Запасной пейзаж» (1971) и «Урожай сердца» (1974) героями были человек и природа: сам поэт, его семья и окружающий его с детства пейзаж, в котором словно бы овеществилась история. Поэт и критик Я. Пельц, посвятивший «тридцатипятилетним» монографию «Новое содержание» (1977), так определил значение для творческого пути Черника его третьего поэтического сборника «Если мы ходим по дорогам» (1976): «Эта книга содержит прежде всего хорошо проработанную, последовательно гуманистическую систему ценностей». Общечеловеческие ценности отстаивает поэт и в сборниках «Далеко тень, далеко сад» (1979) и «Желаю счастья» (1984), откуда взяты публикуемые ниже стихи.

В поэзии Черника все подчинено стремлению передать мысль просто, почти прозаическими средствами, без метафорических затей. Такой подход к поэтической речи предъявляет повышенные требования к ее внутренней напряженности: каждый отдельный вроде бы обыденный образ в общей системе поэтического рассуждения должен получить новый смысл, заиграть новыми красками. Подчеркнутая автобиографичность — общая черта поколения — сочетается у Черника со страстным поиском ответа на глобальные общечеловеческие вопросы.

Когда окончилась война, мне было два года. Я — без воспоминаний,— так представляется нам поэт, естественно воспринимающий окончание второй мировой войны как начало нового летосчисления. «Я — без воспоминаний», — этим он словно бы признает ограниченность своих собственных суждений об ужасах войны. Но всем существом обычного, нормального современного человека он бунтует против самой идеи войны, отказывается восхищаться совершенствованием искусства убивать. Не против смерти как таковой поднимает он голос: что проку возражать против нее, если человек смертен, смерть заложена в самом даре его жизни, народная мудрость учит спокойно и с достоинством принимать свой неизбежный уход («Понятная жизнь»). Но всей силой души поэт восстает против противоестественного убивания одного человека другим.

В стихах Черника нет облегченно-оптимистических концовок, они проникнуты истинной тревогой. Но поэт не стремится «запугать» читателя: его стихи — попытка укрепить доверие между людьми. В этом — современность его поэзии, но и развитие традиций социалистической чешской поэзии — от Незвала и Сейферта до Завады и Скалы.

Чехословацкое общество и чехословацкая литература переживают сейчас непростое время. Назрела необходимость перестройки во всех областях жизни, остро встало требование большей правдивости, смелости и критичности художественного слова. Среди тех, кто готов взять и берет на себя риск движения вперед,— лучшие поэты из повзрослевших «тридцатипятилетних». Каким образом их поэзия участвует в общем деле? Об этом хорошо сказал М. Черник в новом стихотворении «Детективный фельетон» («Творба», 1988, № 13):

Я пришел к некоторым выводам
и сообщаю их в виде стихов
Знаю что расследование продолжат другие
Установят что это не то
и начнут все сначала — по-своему

С. ШЕРЛАИМОВА

КАРЕЛ СЫС

Перевод с чешского ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Пятнадцать стихотворных строк из анкеты

Мой дедушка настолько беден был
что ел рогалики вприкуску с хлебом
Сосиска и рогалик — что банальней?
Зато рогалик с хлебом это образ
и первая метафора моя

Мой дед был каменщик
из фартука его
мне сшили ученическую сумку
И долго в ней носил я камни знаний
образованья кирпичи

Уж полночь
Сижу я сытый и в надежном доме

Как мог я быть не с теми
кто эту башню вавилонскую воздвиг
кто жажду утолил как в Кане Галилейской
— но ежедневно —
и все же о себе не видит книг?

В ожидании Праги

На это было у меня двенадцать лет
Растратил
А теперь за три минуты
я должен
тебе сказать как я тебя люблю
Готовлюсь как артист в тени кулис
Перед глазами у меня пылает
квартиры нашей факел
пламя спальни
и огоньки кроваток детских

© Karel Sýs, 1980, 1984, 1985.

Я дрожу
Звонит звонок —
и поцелуев наших медные щенки
еще мгновение
и выбегают

Москва, 5 октября 1979 г.

Короткое замыкание

Застегнуть рубашку речки —
в том удел для гальки плоской
Совместить Париж и Писек [1] —
волшебство картинки броской

А соединить мгновенно
то что несоединимо
нынче завтра и когда-то собирая воедино

вещи все что подурнели от заброшенности — это
это волшебство и тайна и удел и честь поэта

* * *

Когда меня совсем разлюбишь ты
земная лопнет ось
каналы все на Марсе пересохнут

Когда меня совсем разлюбишь ты
то вымрет на земле любовь
и будут прозябать поэты в резервациях

Когда меня совсем разлюбишь ты
не шелохнется и листок
лишь бездна в сердце у меня разверзнется
в нее провалятся мои все «в следующий раз».

36 лет, Писек, 10 часов вечера

По самому древнему мосту в Чехии
гуляют юные чешские парочки
Они беззастенчиво спускаются
с пражского берега
в чащи саргассовые
А я наблюдаю за ними безучастно
и лениво как изгнанный Будда
Мужчина без прошлого
которому и будущее
до сих пор руки не протянуло
повисший в воздухе —
и пятки у него не на земле
и голова отнюдь не в облаках...

[1] Город в Чехии.

Осеннее купание

Плывешь
руками разбиваешь стынущую гладь
Так режет
словно ты в бочонке полном лезвий
На берегу смеются над тобой
но замерзает на губах улыбка

Не стыдно поздно начинать
и раззадоривать судьбу
чтоб вырубить в судьбе дыру
не утонув при этом

Новогоднее

Пока тарелкою жонглера не самом кончике у года
декабрь и крутится и ладится
слепой котенок января
уж к будущему ластится

Сейчас мы дням подводим счет
с нескладицами прежними
а завтра вновь нас окрылит
мечтами и надеждами

Бархат и напильник

Боятся бархата натруженные руки
мозоль и ссадина вытягивают нитки
а звук — как будто наждаком
да но зубной эмали
И тем не менее они вот эти руки
и заняты обивкой кресел мягких
нежнее детских пяток или ыха

Железо маломузыкально
не сказочно звучит железа ржавый лес
жесть из одной тональности в другую
вдруг перескакивает
Стель громоотвода
уходит в тучи
и электричество послушно вниз стекает
надежно бьется золотое сердце
в железных стенах

Хотела б мысль к созвездиям взлететь
но слово путается у нее в ногах
и заикается высовываясь робко
на волю — из-под валунов молчанья
Но слово бьется в стихотворной клетке
и вырывается и вдруг летит
из рук актера словно бы на крыльях

Поющая пыль

Картина
это подножка распаду
Распад стирает события тряпкой
стирает пейзажи
обнажает «ню»
и натюрморты шлет на помойку
Картина все это выхватывает
у него из-под носа

Внимание
улыбнитесь
сейчас вылетит птичка...
и она машет крылышками и трепещет
а тем часом все клетки и птицы мира
уже обратились в прах

МИХАЛ ЧЕРНИК

■

Перевод с чешского ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Человеческие стихи

С давних пор человечество ищет взаимного пониманья
с помощью языка и оружия
и постоянно рассчитывается
на элиту
и — на всех остальных.

Трагедия человеческой жизни
не в смерти, а в способе смерти.
В этом она скрывается,
трагедия человечества.

Еще ни один полководец
не заявил солдатам:
«Хочу, чтоб вы умирали
только своей смертью».

Банкиры зла, строители развалин,
водопроводчики крови,
основоположники кладбищ,
слышите, все время льются,
льются слезы, льются капли крови.

© Michal Černik, 1984.

Деформация логики

Всех защитила природа, но не одинаково.
Неповоротливой черепахе дала она панцирь,
мягкотелой змее — ядовитые зубы,
крошке-жаворонку — цвет защитный,
беззащитной газели — хорошую скорость;
у муравьев — организованность,
паразитизм — у вшей;
бабочке определила однодневную жизнь;
а человека она наградила мышленьем,
и он измыслил средства уничтожения.

Нынешнее человечество
может быть уничтожено
шестнадцать раз,
и теперь оно ведет переговоры на высшем уровне
о сниженье военного потенциала,
чтобы иметь возможность быть уничтоженным
только пять раз.

Никогда не пойму я подобной логики.
Мне вполне достаточно
умереть один раз.

Понятная жизнь

Бабушка Шульцова долгие годы
жила одиноко.
Вот умру —
надо, чтоб у меня было чисто.
А то еще скажут,
что была я неряхой.
Побелила она стены дома,
покрасила двери и рамы,
углубила свой погреб,
мастеров наняла: крышу ей починили.
Повыкидывала всякий хлам
со двора и из дома.
А ценные вещи свои
раздала.
Потом умерла
так естественно, как и жила.

Уж давно не ходила она в костел,
ни в какой не нуждалась религии,
а чужая вера
ей была не нужна.
Ей хватило ума,
чтоб понять смысл жизни,
она была достаточно мудрой,
чтоб понять смысл смерти,
и достаточно сильной,
чтоб прожить свою жизнь и уйти,
и такою великою быть,
чтоб и жизни другие наполнить.
И себе я желаю — хотя бы чуть-чуть
быть таким же прекрасно естественным
и понятным.

Бесы

Бесхребетные обвиняют в бесхребетности
честных,
тщеславные обвиняют простодушных
в тщеславии,
фальшивые обвиняют искренних в фальши,
мегаломаны говорят о грандомании скромных,
фразеры выступают против громких фраз,
бескомпромиссность используют
для получения благ,
снедаемые могучей жадностью —
лишь бы дорваться до власти.
Громче всех призывают к правде,
но и тени ее боятся. А понадобится — растопчут
правду. И, восславив врага,
от самих себя отрекутся.
Именем творчества уничтожающие творцов,
это благодатные персонажи
для романов и для трагедий.

«Люди, будьте бдительны!»

* * *

Первый снег — тишина, изумление детское.
Каждый год повторяется эта минута.
Эта искрящаяся минута прочнее
всех строений железобетонных.

■

ЙОЖЕФ МЕЛИУС

«Кафе «Транзит», «Западное кафе»

ФРАГМЕНТЫ КНИГ

Вступление и перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

В культуре различных регионов — и даже в самой близкой нам и как будто вполне освоенной европейской культуре — есть зоны, которые по разным причинам, в том числе политическим, с трудом раскрывают внешнему миру свои богатства. Часто такая относительная «закрытость» свойственна культуре проживающих в той или иной стране национальных меньшинств, у которых где-то, в отдалении или поблизости, есть за барьером географических, государственных границ «материнская» национальная среда, от которой они могут быть изолированы, но не оторваны духовно. Культура таких национальных сообществ нередко весьма интересна, значительна, самобытна; ее высокий уровень (как тот общепризнанный факт, что в смешанных браках чаще рождаются талантливые дети) обусловлен, видимо, плодотворным слиянием и взаимодействием разных духовных импульсов и традиций, исходящих и от «родного», и от «приемного» социума.

Одной из таких, к сожалению слишком мало нам, советским людям, известных, зон является культура венгерского национального меньшинства в Румынии. (Правда, слово «меньшинство» тут, наверное, не слишком подходит, так как венгров в Румынии более двух миллионов; для Центральной Европы — цифра вовсе не малая).

Мы представляем здесь ветерана венгерской литературы в Румынии — яркого поэта, прозаика, публициста, критика, общественного деятеля Йожефа Мелиуса (в январе этого года ему исполнилось 80 лет). Советской читательской общественности имя Мелиуса не совсем незнакомо: его стихотворения увидели свет на русском языке в антологии «Поэзия современной Румынии» (М., «Художественная литература», 1979); отдельные материалы о нем публиковались в нашем журнале [1] и в других периодических изданиях.

Печататься Й. Мелиус начал около шестидесяти лет назад, в 1930 году. Уже тогда в общих чертах определилось его лицо как художника и как гражданина: он на всю жизнь становится приверженцем того широкого направления в литературе XX века, которое принято называть революционным авангардом. Как чаще всего бывает, эта общая формула, когда ее применяешь к конкретной творческой личности, нуждается в уточнениях. Авангардизм его выражался не столько в стремлении сломать, взорвать освященные традициями каноны и правила (поэтическая манера Мелиуса больше всего, пожалуй, выдает влияние У. Уитмена), сколько в твердой приверженности принципам творческой свободы, в убежденности, что каждый писатель имеет право на суверенность, новаторство, на поиски своих, соответствующих его индивидуальности средств, приемов, стиля. Революционность же в данном случае не исчерпывалась сотрудничеством с коммунистами: наблюдая быстрое распространение фашизма, Мелиус много делал для того, чтобы создать условия для сплочения, объединения на антифашистской основе всех прогрессивно мыслящих деятелей европейской духовной и художественной жизни.

Творческий, да и жизненный путь Йожефа Мелиуса был не гладок. Его первый роман, «Город в тумане», написанный в 1939 году, тридцать лет ждал издания. Вторая книга прозы, «Судьба и символ» (1943), увидевшая свет в 1946 году, через три года была запрещена — и вновь издана лишь спустя полтора десятилетия. Активный участник общественной жизни Румынии, занимавший многие ответственные посты, он в 1949 году был репрессирован и семь лет провел в тюрьмах. Да и в последнее время жизнь его меньше всего напоминает безмятежное бытие литературного патриарха...

Уже на склоне лет Мелиус словно бы заново нашел себя в необычном жанре, который с трудом поддается какому-либо четкому определению, но вместе с тем логично вытекает из всего предшествующего развития писателя, как бы продолжая, развивая философско-медитативный настрой его поэзии, и как-то неуловимо, ор-

[1] См., в частности, «ИЛ», 1980, № 10.

ганично вписывается в то русло — прихотливое русло лиризации, даже подчас явной субъективизации, литературной игры, парадоксально сочетающихся с глубиной и философичностью, — в которое все более втягивается современная литература. Эта форма в творчестве Мелиуса возникла и случайно, и в то же время закономерно: в течение многих лет, путешествуя по странам Европы, он регулярно посылал в выходящий на венгерском языке бухарестский еженедельник «Хет» («Неделя») письма-очерки, содержащие путевые размышления, впечатления, воспоминания и т. д. Из этих путевых заметок, где мысль и фантазия автора, ничем не связанные, свободно странствуют во времени и пространстве, сложился цикл объемистых книг: «Кафе иллюзий» (1971), «Без кафе» (1977), «Кафе «Транзит» (1982), «Западное кафе» (1985).

Слово «кафе», повторяющееся в их названии, совсем не случайно. Не только потому, что свои очерки-корреспонденции Мелиус чаще всего писал за столиком какого-нибудь кафе. Но главным образом потому, что композиция, стиль, интонация этих книг как бы воспроизводят свободную, раскованную, доверительную и в то же время ироничную атмосферу кафе — традиционного места общения и работы творческой интеллигенции Западной и Центральной Европы. Сам Мелиус эти книги называет иногда романами-дневниками. За прихотливым ходом его фантазии вырисовывается определенная творческая цель, из массы штрихов и ассоциаций возникает целостная, объемная панорама Европы XX века — с автопортретом европейского интеллигента на ее фоне.

Ибо жизнь и быт европейских стран, то прекрасное, что в них есть, и то безобразное, чего в них тоже хватает, Мелиус наблюдает не со стороны. Подобно тому как в любом европейском кафе он чувствует себя дома, так и в любом европейском городе, куда он попадает, он неизменно и настойчиво ищет родственное, родное. И — находит, как только ему удается связать конкретные, впервые, может быть, увиденные улицы, здания, площади, изваяния с какими-либо явлениями той сферы, которая ему ближе всего и в которой для него не существует чуждого, непонятного,— сферы духовной культуры.

Показательно, что Мелиус отдает предпочтение таким фигурам, которые воплощают в себе, в своем творчестве дух не одного какого-либо народа, а по возможности нескольких или многих. В этом смысле особенно характерен Аполлинер, полуполяк-полуитальянец по рождению, француз по духу. Тот же Крлежа — не только великий хорватский писатель: он причастен и к венгерской культуре. Мелиусу дороги Т. Манн, Б. Брехт, М. Шагал и другие, подобные им (со многими из них он был знаком или дружен), чей гений — а часто и жизненная судьба — выводили их далеко за пределы конкретной национальной культуры. Сам Мелиус, венгр по языку и национальной принадлежности, румын по гражданству, европеец по духу, представляет собой прекрасный образец этого типа интеллигента. Интеллигента, который видит в общении народов, в общении культур только благо для своего и для других народов, только фактор ослабления взаимной злобы и недоверия.

В книгах Мелиуса встает прекрасный, живой, исполненный тепла и человечности образ Европы как сообщества близких друг другу, способных понять друг друга больших и малых наций, Европы как своеобразной демократической республики духа, прообраза будущего всемирного содружества народов.

Вероятно, в свете сказанного Мелиус может кому-то показаться этаким прекраснодушным идеалистом: господи, уж какая там республика духа, когда... и т. д. и т. п. Фрагменты, публикуемые здесь, убеждают в обратном: Йожеф Мелиус — в полном смысле человек XX века, он слишком много видел и пережил, чтобы сохранить в душе наивную веру во всесилие добра. Отыскивая — и находя! — везде, куда бы он ни ступал, свидетельства братства людей разных наций, он в то же время везде натыкается на следы, на живучие ростки сил, враждебных добру, красоте, а значит, отрицающих человека. Более того, садизм, изощренное изуверство, какое-то самоцельное унижение человеческого достоинства, параноидальное желание убить, стереть в людях даже крупицы воли и самоуважения — все это, как показала история XX века, было не патологией, не исключением а явлением довольно типичным, вовсе, увы, не ограничивающимся фашистской Германией. Эта мрачная, позорная сторона современной истории, современной цивилизации получает яркое воплощение в тюремных воспоминаниях автора, поданых не напрямую, в некоем двойном преломлении, через сны-видения Анны, и с нарочитой наивностью «закамуфлированных», перенесенных — почему-то — в Швецию. Почему именно туда? Может быть, потому, чтобы еще и этим абсурдным штрихом подчеркнуть абсурдную сущность реально происходившего... Другими словами, в окнах кафе, откуда Мелиус смотрит на прекрасную Европу, нет розовых фильтров: окна эти, когда через них видит мир настоящий художник, показывают действительность такой, какая она есть, со всеми теневыми ее сторонами.

За плечами у Мелиуса — большая, богатая, насыщенная жизнь, он много видел, знал много радостей и много страдал. В европейской культуре XX века он уже оставил определенный, еще недостаточно оцененный вклад (недаром его упоминает в своих дневниках Томас Манн; его высоко ценил Мирослав Крлежа). Очень хотелось бы, чтобы след этот остался и в сознании советских читателей, чтобы Йожеф Мелиус стал частью их знаний о мировой литературе...

Только что я получил от Й. Мелиуса его новую, изданную в 1988 году в Будапеште книгу под названием «Музей Ораса Коккери. Вдребезги разбитая элегия Ораса Коккери». Вымышленный образ поэта Ораса Коккери — как бы обобщенный порт-

рет европейского художника-авангардиста, в котором писатель подчеркивает рыцарское служение красоте и добру, внутреннюю свободу, подчас заставляющую людей нашего зарегламентированного, замордованного века видеть в таких личностях едва ли не анархистов. Орас Коккери — это, конечно, и сам Мелиус, но это и многие-многие другие писатели, художники, композиторы нашего века, чьи характеры, биографии, творческие и жизненные принципы получили художественное воплощение в индивидуализированном, живом образе.

Из книги «Кафе «Транзит»

Можно ли перед ней устоять?

Скажите, можно ли перед ней устоять, перед этой вечно юной, две тысячи шестьсот тридцатилетней блудницей, которую и любовники, и деловые партнеры, и завистники, и враги зовут одинаково — Рома?

Ненавидел ли ее кто-либо и когда-либо?

Нет.

Ей завидовали.

Блудница? Да, но только если блудницей была и Афродита, она же Венера; ведь всем известно: на рынках Олимпа не добродетель была самым ходким товаром.

Рома!

Баба с огромными ляжками, задом, грудями.

Сама необъятность, сама народная мощь.

Я люблю тебя, Рома!

Былые поработители лишь для того захватывали ее, чтобы, ограбив, овладеть ею и сладострастно смаковать то, что они в своем бесконечном духовном убожестве считали любовью; но ответом им была лишь беспощадная, роковая, губительная для них ненависть.

Рома, эта бессмертная баба, каждый раз, схоронив замученных и убитых родных своих сыновей и дочерей, оплакав жертвы массовых расстрелов, наведя порядок после пожаров и грабежей, строила новый дом для своих бесчисленных законных и незаконных детей, внуков, правнуков — хотя, как установлено многими грамотеями, у соблазнительной, нестареющей, неутомимой матроны никогда не было законного мужа: он бы только мешал ей в ее благодарном и целеустремленном занятии.

Она жила и живет — живет, как умеет — ради неисчислимых своих детей; ради них она выносила самые страшные испытания и буйные выходки кровавых диктаторов.

Бессмертная плебейка, когда это нужно было, не гнушалась переспать даже с папами, из-за толстой их мошны; охотно ложилась она и с великими мастерами Возрождения — с этими даже бесплатно; но с фашистами всех времен — никогда; в подобном грехе ей не приходилось исповедоваться ни Фра Анджелико, монаху-живописцу, ни кому-либо другому.

Ибо любой агрессивный национализм, любой террор, угнетение, полицейские бесчинства скрывают под собой стремление к диктатуре.

Терпеть подобное — не в характере нашей эпической дамы, синьоры Ромы, и не в характере ее детей.

Зато это в характере Нерона, в характере его лизоблюдов и подхалимов, в характере живших до и после него грабителей, кровопийц,

насильников, доносчиков, шпиков, линчевателей — всего того отребья, которое не так давно (в последний ли раз?), надев черные рубашки и взяв себе имя «фашисты», захватило власть и в обстановке террора, полицейского произвола разбойничало без всякого удержу.

Несравненная Рома с презрением отреклась от них, изгнав их из сонма своих потомков, из своей семьи; пока они были у власти, презрение это переполняло их ужасом, отравляло их сны, по ночам они просыпались в холодном поту и без охраны не смели шагу пройти по городу, появиться среди детей Ромы, среди народа, в то время как Рому, могучую бабу-плебейку, горячо и неистово обожали и латиняне, от Вергилия, Горация и Проперция (вспомним блистательные переводы Проперция, сделанные Ене Дшидои!) до Цицерона и Тицита, и писавшие уже не на латыни, а на итальянском, на языке народа, поэты от Данте до Унгаретти и Монтале и вплоть до самых новых, сегодняшних.

Вплоть до Феллини, в непревзойденном, единственном в своем роде фильме, носящем ее имя, «Рома», создавшего неумирающий памятник этой неотразимой, героической и распутной синьоре; Феллини, говорящий о ней на языке кино, на языке этого современного, неотрывного от двадцатого века искусства. Феллини — это, вне сомнения, удивительный, ни с кем не сравнимый художник, один из самых великих во второй половине двадцатого века, и сделала его таким она, его щедрая мать, Рома, да, Рома.

После завершения фильма он поведал о своей любви еще и в отдельном эссе, дав ему название «Синьора Рома».

И там он задал себе вопрос: «Что же это такое — Рома? Какой образ приходит мне в голову, когда я слышу это слово, Рома?» — «Большое лицо»,— таков ответ Феллини, данный себе самому, публично, перед всем миром; да, перед всем миром, говорю я, ибо, видимо, когда-нибудь людям станет ясно — да мы и сейчас это знаем,— что этот великий художник после второй мировой войны преобразил искусство, мир европейского духа так же сильно, как после первой мировой войны преобразили его Пруст, Джойс, Кафка, Аполлинер, Паунд, Брехт, Маяковский, Пикассо, Шагал, Кирико и прочие — почти все они находили понимание, отклик, горячих сторонников и у нас, венгров,— и возможно, беря всех их вместе, и отвечает себе самому Феллини: «Мне приходит в голову большое раскрасневшееся лицо, похожее... на лицо Анны Маньяни».

Знаменитый фильм Феллини мы видели с Анной четыре года назад в одном из пригородов Загреба; на афише — синьора Рома с открытой, бесстыдной грудью; дома, в моем кабинете, она глядит на меня со стены, когда я поднимаю глаза от письменного стола; трагический ее взгляд — это Европа двадцатого века, фигура ее — это наслаждение и героизм...

Смешавшись с пестрой толпой сыновей и дочерей Ромы, мы ищем ее, Рому, хотя она уже держит нас в своих горячих объятиях...

Да, мы устаем ужасно.

Мы устаем, как бездомные собаки. Особенно ощущается это вечером.

Часам к восьми вечера, когда мы все еще куда-то бежим.

Мчимся вверх по некрутому подъему от Пьяцца дель Пополо в сторону пригородного парка в Вилла Боргезе.

Чтобы в восемь часов, в пять минут девятого не оказаться, не дай бог, на улице.

Ибо после восьми, как объяснили нам старожилы, тебя могут пристукнуть, зарезать, задушить чулком, размазать радиатором автомашины по ближайшей стене, застрелить из бесшумного пистолета.

А если тебе лишь заклеют пластырем рот, разденут догола и отстегают ремнем, считай себя баловнем судьбы: ведь ты по крайней мере остался в живых...

Но, собственно говоря, я хотел лишь дать ответ на вопрос: устали ли мы?

Да, устали.

И если Валери Ларбо, этот путешественник, открыватель, а под небесами литературы — один из создателей нового, современного поэтического языка, если этот поэт и авантюрист давно уже написал: «Le vain travail voir tous les pays»[1], то почему бы нам не написать парафраз этого мудрого, пессимистического изречения: «Обойти все закоулки вечного города Рима — тщетный труд».

Точнее: бессмысленный труд.

Ибо Рим — непостижимый, мистический лабиринт.

И все же мы занимаемся этим бессмысленным делом, пусть без всякой надежды на успех.

Мы ходим, ходим и ходим, разглядывая Рим.

В этом есть что-то маниакальное.

Да, мы устали.

Загнанные, бездомные собаки.

Это тебе снилось, родная?..

Постой!

Сон еще не закончился...

Анна высвободила пальцы из руки Й. М. и, сложив одежду в аккуратный сверток, поместила себе под голову, словно научилась этому в тюрьме, то есть в своем сне.

Й. М. с подозрением посмотрел на нее: ведь это он вот так подкладывал под голову свою одежонку в кутузке, и было это не в Риме и не в Венеции.

Анна замолчала на минуту, словно ей передалась тревога Й. М., который опасался помешать ей, сбить ее с мысли.

Да, Й. М. опасался, что, заговори он, и все те осколки, обрывки, которые память Анны собирает, отыскивает во время этой минутной паузы, разлетятся в разные стороны.

Анна продолжила рассказ с того места, где остановилась, однако кое-что все-таки повторяла из сказанного раньше...

Тюремная безликая масса... они были тут лишь номерами в списках... У Й. М. тоже был номер, но Анна не могла его вспомнить...

Забыла, забыла...утром не записала, а после забыла... тюремный сброд, сидя, кто на нарах, кто на грязном кирпичном полу, хлебал деревянной, пахнущей кислым ложкой тепловатую баланду, которая считалась у них пищей; в жестяных котелках попадались нередко спички, камушки, пуговицы от брюк, пучки волос или лоскуты, а обвиненный в сотрудничестве с фашистами поэт, который пользовался уважением в камере, дружил с епископом и подолгу беседовал с ним о перспективах экуменического движения и будущем старокатолической церкви,— однажды вытащил из своей мамалыжной каши кошачью лапу.

Совсем сырую, даже еще в крови.

Это подтвердил и его преосвященство господин епископ: он тоже видел эту лапу и кровь на ней.

Лапа принадлежала серой кошке.

Обоих их вырвало.

Всякий мусор, вообще все, что попадалось под руку, бросали в котлы надзиратели или дежурные офицеры, бросали на глазах у поваров-заключенных и разносивших пищу дневальных, бросали от ску-

[1] Видеть все страны — тщетный труд *(франц.). (Здесь и далее прим. перев.)*

ки, для забавы или из преданности тому безумному «порядку», который они защищали; а может, из отвращения к доверенным им Другим, из ненависти к преступникам; они даже плевали в баки, в помои, называемые едой, хотя плевать туда по праву должны были бы не тюремщики, а те, кому все это предназначалось.

У охраны была иная, особая, жирная, богатая белками и витаминами пища, поскольку их служба приравнивалась к тяжелому труду под землей.

Анна во всяком случае утверждала, что была, во сне, свидетелем сцены, когда стражники с резиновыми дубинками, охраняющие кухню, по очереди — их было пятеро — подходили к одному из баков с едой и под общий хохот мочились в него.

И все это — во сне Анны — происходило в Швеции, в самом начале столетия, словно в стране, уже тогда одной из самых цивилизованных в Европе, решено было провести генеральную репетицию первой части «Божественной комедии», первой части того нескончаемого исторического спектакля, который начался в первую мировую войну и длился, как нескончаемый абсурдный кошмар, на протяжении долгих десятилетий...

Ты сидел по соседству со зловонной парашей, на нарах, взволнованно рассказывала Й. М. Анна, с отвращением хлебал недоваренную похлебку из кукурузной муки — и вдруг обнаружил в ней клочья подозрительного цвета ваты.

Ты тут же выплеснул содержимое котелка в стоящую рядом, по ночам до краев наполняющуюся бадью — и, лишь почувствовав, что вытошнил из себя все, чуть ли не вместе с кишками, и, вытерев грязным рукавом ледяной пот с лица, шеи, груди, обнаружил...

Анна вновь замолчала; Й. М. не смел повернуть голову и посмотреть на нее.

...обнаружил, что вокруг тебя сгрудилась стая голодных волков, и они последними словами поносят тебя за то, что ты вылил отвратительную кукурузную баланду, вылил, вместо того чтобы разделить ее между этими потерявшими человечье обличье существами.

От избиения тебя спас епископ, а вместе с ним тот поэт-фашист, о котором упоминалось выше.

После того как желудок Й. М. опустел, его стала мучить нестерпимая жажда, временами он весь горел, потом трясся в диком ознобе, но никто не дал ему ни глотка воды (епископ свою порцию раздал уже давно), не дал даже взаймы, в наказание за то, что выданные утром и рассчитанные на целый день сто пятьдесят граммов воды он истратил так нелепо, окуная в воду свой давно превратившийся в грязную тряпицу носовой платок и вытирая им тело.

Надо сказать, обитателей камеры не мучили ни вши, ни клопы; дело в том, что, как явствовало из сна Анны, порошок ДДТ был известен в Швеции уже в начале столетия,— Анна не была до конца уверена в том, что все приснившееся ей происходило в начале именно нашего века, а не предыдущего, и потому путала исторические эпохи; что же касается порошка ДДТ, то в крепости-тюрьме Нассёр пользоваться им заставляла не забота о здоровье заключенных — ведь в подземные камеры их бросали отнюдь не затем, чтобы сохранить им жизнь,— а исключительно боязнь эпидемии, которая представляет опасность и для откормленной, всегда в идеально чистых рубашках стражи с резиновыми дубинками, и для элегантных офицеров с револьверами.

Даже среди последних выделялись своей изысканной внешностью так называемые политические офицеры, которые бдительно следили за тем, чтобы заключенные не организовали заговор против государства,— место действия во сне Анны здесь незаметно переменилось, весь этот кошмар происходил теперь уже в третьем рейхе, в годы гитлеризма, а политический офицер носил уже не черные сапоги,

а высокие нилашистские ботинки на шнуровке и форму не серостальную, а цвета хаки; они выбирали из тюремного сброда стукачей и, давая им сигареты, подкармливая их время от времени, заставляли сообщать о всякого рода неосторожных высказываниях арестантов, особенно тех, кто не был еще осужден, разузнавать имена сообщников или хотя бы подозреваемых в сообщничестве, чтобы затем соответствующее управление внутренних дел арестовало их; политические офицеры старались выявить также усугубляющие вину факты, которые предполагаемым государственным преступникам, помещенным на всякий случай в тюрьму Нассёр, удалось, несмотря на всю изощренную технику ведения следствия, скрыть от допрашивающих их офицеров стокгольмского министерства внутренних дел; нассёрских политследователей, разумеется, нисколько не беспокоило, что осведомители их, мечтая еще об одной сигарете, или яблоке, или кружочке колбасы, или сахаре — господи! всего один кусочек настоящего пиленого сахара! — готовы были сочинять дикую несуразицу даже о лучших друзьях, которых они нашли среди сокамерников. Равно как и о тех, кого всей душой ненавидели: изголодавшемуся доносчику в какой-то момент, например, могло показаться, что соседу достался кусок хлеба побольше; рано или поздно этот психоз завладевает любым заключенным: его порция больше, чем моя, и потому он — Другой, а значит, на него надо донести, его надо уничтожить, растерзать...

Следователь же с чувством удовлетворения писал отчеты стокгольмскому начальству, демонстрируя, что выполняет свою политическую работу добросовестно и эффективно и заслуживает повышения в ранге.

Это снилось тебе, родная?..

Что можно знать наперед?..

Они одеваются и выходят, они идут по дорожке, окаймленной редковатой шеренгой старых и бесплодных уже оливковых деревьев, по аллее, огороженной низкой каменной изгородью, вдоль скалистого берега, откуда долетает соленая пыль разбивающихся о камни волн, мимо автомобильной стоянки, куда в этот предобеденный час приезжают старики-французы с большой пенсией или с большими процентами со своих капиталов, приезжают вдохнуть морского воздуха и сидят, не вылезая из машин, развернутых радиатором к бескрайнему простору, лишь немного приспустив стекло возле сиденья водителя, чтобы впустить свежую смесь кислорода, йода и горных ароматов; они глубоко дышат, изучают объявления в «Нис Матен» или подремывают, вскидывая голову, лишь когда на аллее, не слишком-то многолюдной, вдруг появляется какая-нибудь длинноногая молодая особа; минуту-другую они провожают ее взглядом, потом снова погружаются в дремоту, пока не кончатся предписанные врачом час или полчаса, и, заведя пыхтящий мотор, отправляются, между двенадцатью и часом, обедать...

Й. М. и Анна сворачивают с аллеи в чайную Mère Jeanine, мамаши Жанин, в эту белую птичью клетку, повисшую над скалами и волнами. Через огромные, во всю стену, выходящие на море окна чайной виден Рокбрюн-Кап-Мартен и, между новенькими роскошными виллами на берегу, вилла «Оризон», в которой они живут теперь благодаря великодушию месье Лайоша и мадам Жозиан,— а там, дальше, Ментона, Гараван, франко-итальянская граница, потом — ничего, лишь склон горы, спустивший ноги в морскую пену, потом Вентимилья, а за ней, в самом углу, который замыкает Ментонскую бухту с западной стороны, против Кап-Мартен,— уже, наверное, Сан-Ремо.

Все остальное — море, море, море.

Море и небо.

Идиллический край, залитый солнцем.

А ведь война была и здесь.

Й. М. и Анна еще видели в Альпах бункеры противовоздушной обороны.

Конструктивистские памятники войны?

Они садятся к столику возле окна.

Кроме них, в чайной никого.

Над их столом с белого лакового потолка свисает лампа с красным шелковым абажуром.

Удобные стулья с обтянутыми красным бархатом спинками, на столе, поверх белой камчатной скатерти, толстое, сверкающее стекло с отшлифованной гранью, в нем отражается красная стеариновая свеча в синем стеклянном подсвечнике, шесть свежесрезанных провансальских горных цветков, напоминающих наши маргаритки, в изящной вазе и треугольная синяя стеклянная пепельница.

В полной гармонии с белизной этой светлой, радостной клетки, с сине-красным ее убранством — темноволосая провансальская девушка-официантка в ослепительно белом платье с сине-красной вышивкой на манжетах и вороте; в ее дружелюбном, а не просто дежурно-любезном взгляде и улыбке словно бы читается: о, она помнит месье и мадам, они уже сиживали здесь когда-то, правда, чаще всего это было после обеда, ближе к вечеру, а сейчас утро; они подолгу смотрели на море, месье курил трубку, табак у него был невероятно вонючий, такого во Франции не найти, уж она-то в этом хорошо разбирается, ибо девственность свою отдала одному англичанину, чьей любовницей была целое лето, англичанин тоже курил трубку, но с ароматным табаком, не таким ужасным, как у месье, наверняка не англичанина.

Мадам же курила сигарету.

Месье вынул из кармана блокнот в черной обложке, вроде дневника, и обычным карандашом стал писать в нем что-то; может быть, месье — частный сыщик, или шпион, или профессор, если он не англичанин, а он явно не англичанин, то, может, он политический эмигрант, он, может, попал сюда из Швеции — может, как раз из Нассёра,— по-французски он говорит плохо, с мадам общается на каком-то совершенно неизвестном наречии; а вдруг он брачный аферист, мошенник, который, соблазнившись большими деньгами, акциями, бриллиантами этой хрупкой дамы, увез ее от глупого, но ревнивого мужа, чтобы в конце концов ограбить бедняжку и убить... тогда его фотография появится в «Нис Матен», такое случается здесь чуть ли не каждый день, она уже опознала в «Нис Матен» не одного своего клиента, по фотографии, а эти двое лишь сидят и смотрят на море, о чем они думают, один бог знает...

Мадам вынимает из сумочки мятую бумажку, внимательно вчитывается в нее и на том же неведомом, со множеством «э» и с твердым «р» языке говорит что-то месье, тот поднимает голову и отвечает ей, конечно, все на том же странном, жестком языке; они заказывают себе воду и две чашки кофе.

Из-за белой лаковой двери высовывается голова в завитушках: это сама хозяйка, пожилая, среднего роста особа; она только что вышла из своей сплошь автоматизированной кухни, где кушала на обед салат с парафиновым маслом, обильно сбрызнутый лимоном, без хлеба; с парафиновым — потому что оно помогает пищеварению, женщин в определенном возрасте часто беспокоят запоры и колики, это обычное дело; нет, она эту пару не помнит, никогда не видела, да если и видела, господи, в этом мире столько сумасшедших, столько злодеев, миллионеров, террористов, мошенников и бездельников, на которых ведь не написано, что их место, собственно, в сумасшедшем доме, или

в тюрьме, или, наоборот, на роскошной яхте, хотя, кто же их знает, эти месье и мадам вполне могут быть и благонамеренными, честными людьми, кто их знает?

В самом деле, кто их знает?..

Это снилось тебе, родная?..

Постой!

Сон еще не окончен...

В Нассёре еще что-то произошло.

Что-то жуткое, чего я не могу никак вспомнить.

Тщетно верчу в руках свою бумажку, тщетно терзаю себя: не помню, и все тут.

Когда я проснулась утром, тебя не было рядом, и я не могла сразу же рассказать тебе, что мне приснилось.

Ты сидел уже в кабинете.

Как жаль!

Ты правил рукопись, роман об Орасе Коккери, который твой редактор, Лаци Чики, ждет уже несколько лет, так что это очень важное дело, но ведь очень важно и то, чтобы я рассказала, что случилось с тобой в Нассёре...

Рассказывай, родная, все, что помнишь, рассказывай свой сон о Й. М. в Нассёре, в подземной тюрьме; рассказывай, и постепенно ты успокоишься.

Тут чего-то еще не хватает, сама не знаю чего; не то чтобы я совсем не могла это вспомнить...

Кажется, это о политических офицерах, о доносчиках в камере под землей.

Но что же?..

Да, какие-то детали все же всплывают... Например, о том, как из затхлой, не продохнуть, камеры арестантов водили на допрос к политическому офицеру, в лишенную всяческого комфорта, но довольно чистую комнату за распределителем, с кирпичным, чисто выметенным полом; на голой беленой стене не было даже портрета короля, Хенрика I, обязательной принадлежности любого служебного кабинета: вдруг какой-нибудь арестант сорвет его и, разбив стекло, перережет себе горло осколком; меры предосторожности в этом смысле были продуманы крайне тщательно; в комнате стоял простой, но всегда сверкающий полировкой стол, за ним стул, напротив, на почтительном расстоянии, еще один: здесь сидели допрашиваемые.

Но если уж речь зашла о допросах, я отчетливее всего вспоминаю вот что: когда по распоряжению, поступившему из канцелярии, кого-нибудь из нас вызывали на допрос — или, под предлогом допроса, осведомителя для доклада,— надзиратель с резиновой дубинкой грохал ногой в коричневую дверь камеры, открывал окошечко и выкрикивал чье-нибудь имя.

В гудящей, словно пчелиный улей, камере повисала мертвая тишина, а вызванный вскакивал с нар, едва не теряя сознание, даже если он не был доносчиком; не исключено, однако, что доносчиками были все, ведь, как ты узнал от поэта-фашиста, канцелярия время от времени пропускала через себя, поджаривая на допросах, как мясо на вертеле над углями, всех обитателей камеры; только епископа не вызывали ни разу, он уже два года заживо гнил в этой прихожей морга; а возможно, всех без исключения вызывали затем, чтобы все друг у друга были на подозрении и нельзя было догадаться, кто тут настоящий осведомитель, согласившийся на сотрудничество еще в те времена, когда его самого только начали обрабатывать.

Словом, вызванный, побледнев как смерть, вставал с нар, кровообращение у него ускорялось или, наоборот, замедлялось, и пока он тащился к двери, кровяное давление его так подскакивало или так падало, что его едва не хватал удар; впрочем, при тюремном голодном рационе, думаю, среди сидящих в подземной камере вряд ли нашелся бы человек, кому была бы опасна гипертония; как бы то ни было, десяток шагов, что предстояло пройти до двери, превращался для бедняги в мучительную пытку, а бешено колотящееся, рвущееся из груди сердце усугубляло его страдания; тяжко было и тем, кто оставался в камере, целыми часами они в полном молчании ждали, когда возвратится их товарищ и возвратится ли он вообще: как знать, может, эти несколько шагов были для него последними — по крайней мере, в этой камере; может, его выпустят на волю, или переведут в другую тюрьму, или посадят в соседнюю камеру, провокатором — таких кочующих провокаторов немало было в этой подземной, уменьшенной до размеров тюрьмы модели гитлеризма, в начале столетия или позже, в Швеции или в другой стране.

В оглушительной тишине, сжавшись на нарах в комочек, каждый думал, о ком из них и что именно расскажет или сочинит на допросе вызванный, какую он информацию даст о настроении в камере и каковы будут последствия — не новое ли ужесточение?

Но может, беднягу лишь просто еще раз допросят по его закрытому или незакрытому делу; а может, его будут натаскивать на роль лжесвидетеля для какого-нибудь очередного фантасмагорического процесса, где нет ни единого слова правды, готовить, как школьника, который должен вызубрить, а потом и отбарабанить урок.

Нет, совершенно ничего нельзя было знать о том, что происходит во время допроса, и даже если сокамерник возвращался, напрасно окружали его остальные: правды там нечего было ждать; ведь если даже он был доносчиком, он дрожал от страха, что другой доносчик выдаст его и он сам навлечет на себя беду, какую трудно даже предвидеть; любая высказанная вслух мысль, догадка, предположение, толкование, рассуждение были чреваты здесь роковыми последствиями.

Итак, когда вызванный, дрожа всем телом, без кровинки в лице, подходит к коричневой двери, в замке раздается скрежет и стражник с дубинкой просовывает в щель грязный, вонючий мешок, обычный мешок, но не обычных размеров, не тот, какие используют для картошки, зерна или кукурузы, а гораздо меньше, как те бумажные пакеты, что используются в бакалее, только из мешковины; арестант дрожащей рукой надевает его на голову и стоит, как слепой, с вытянутыми вперед руками, пока надзиратель охрипшим от пьянки голосом не рявкнет снаружи: fertig?— готов?— тогда из мешка, словно из погреба, слышится глухое: jawohl, так точно, после чего дверь раскрывается ровно настолько, чтобы надзиратель, бросив грозный взгляд на притихшую камеру, мог выдернуть вызванного в черный коридор и снова захлопнуть дверь, оставив за ней погруженных в неведение узников.

Еще одна тюрьма, тюрьма в тюрьме, пропитанная холодным потом тюрьма ужаса и догадок, порхающих, как летучие мыши; тюрьма ожидания.

Ожидания неизвестно чего, неизвестно ради чего.

И если вызванный больше сюда не вернется, то тишина камеры, тишина, которая состоит из тяжелого дыхания горячечных больных, из сухого кашля чахоточных, из кряхтения справляющих нужду на параше и прочих биологических звуков, то тишина камеры, тишина камеры...

Что-то я еще собиралась сказать о тишине камеры, но не могу сейчас вспомнить...

Это снилось тебе, родная?..

Постой!

Сон еще продолжается...

Тишина в камере.

Никак не вспомню, что я хотела сказать о той тишине; одно странное сопоставление почему-то приходит мне в голову: тишина в камере кончается совсем незаметно, так же незаметно, как исчезает звук последнего удара колокола ментонской церкви, раздающийся ровно в полночь, когда на море отлив; он еще долго гудит, его не поглощает ночной шум моря, звук все тише и тише, но нельзя уловить, когда умирает этот последний, двенадцатый удар.

А в нассёрской камере все так и не так.

Как на часах, где невидимые стрелки движутся в обратную сторону.

Но что это значит, в обратную сторону? Это значит, что и в нассёрской камере, среди сырых, покрытых плесенью стен, нельзя уловить, когда уходит тишина, немота и возникает гул: ты просто вдруг замечаешь, что он — вот он, здесь; сначала это лишь шепот, потом узники говорят все громче — и вот они уже ругаются и кричат, в преисподнюю возвращается жизнь, возвращается шум. Точно так же сюда, на открытый, свободный морской берег, после полуночи, после последнего, двенадцатого удара, возвращается тишина.

Сравнение это, быть может, не очень удачно, но что делать, если именно оно пришло мне в голову во сне.

Пожалуйста, попроси еще кофе, погорячее, мне отчего-то зябко...

У Анны стучат зубы, она молча смотрит на залитое солнечным сиянием море, на белые пенные гребешки над далекими, едва видными отсюда волнами, игривые гребешки — они то появляются, то исчезают куда-то: словно неисчислимое стадо белых овечек, бредущее из-за линии горизонта и заполняющее все видимое пространство.

Свежевыстиранные, белоснежные кружевные оборки, колышущиеся под ветром в бескрайней синеве.

Овечье стадо господа бога на его бескрайних владениях — на море.

Наверняка еще и по этой причине эти пенные гребни на южнопровансальском, приморском диалекте называют барашками.

Й. М., не зная почему, не смеет нарушить молчание.

Может быть, он боится, что, если заговорит, Анна — назовем ее здесь просто А. — разрыдается.

Напрасно боится.

За четверть века совместной жизни Й. М. лишь дважды, ну, может, трижды видел А. плачущей.

Хотя, кто знает, иногда, может быть, она все же потихоньку плачет...

Плакать можно лишь в одиночку; когда мы плачем, наш разум бездействует, мы одиноки в своем отчаянии, в безвыходной, тягостной неразделенности всех наших чувств, одиноки, как ты был тогда, в подземелье Нассёра,— сказала однажды, много позже А., вспоминая тот сон. Слезы — дело глубоко личное, это не номер для исполнения со сцены, не коллективный обряд, как в описанных антропологами древних похоронных ритуалах с воплями и причитаниями, и уж тем более ничего общего не имеют они с тем банальным лицемерием, к какому прибегают на допросах иные недалекие и запуганные арестанты, которые сами знают, однако, что слезами ничего не достигнут, так как вина их перед шведским государством давно, еще до того, как найдены доказательства, до того, как арестована жертва, определена наверху людьми, которые ведают наказанием, живя с этого; так что все напрасно, их слезы не тронут следователя, более того, видя подобные ухищрения, он станет еще ожесточеннее в своей не-

нависти, которая для него — и призвание, и цель, и вера, и моральное оправдание.

Да, слезы — дело сугубо личное.

Но понимают это, как я слышал, лишь высокоцивилизованные европейцы — кажется, англичане; не знаю, я с англичанами не знаком...

Конечно, про А. всегда говорили, что ее поведение — иное, чужое, не наше.

Когда Й. М. взял А. в жены — двое отверженных, непризнанных, одиноких людей заключили союз,— один его друг, яростный почвенник, с которым они четверть века, если не больше, вместе тянули по ухабам повозку революционного движения, сдвинув брови, сурово и назидательно сообщил ему, сообщил, по-видимому, от имени нации и народа: эта чужачка не станет своей среди нас.

Намек был недвусмыслен: субтильная эта особа — космополитка, подозрительной, ненадежной ее делает не только неясное социальное происхождение, но и расовая принадлежность, она «иная», чем «мы», а потому ей не может быть места в нашей среде, в среде испытанных революционеров и стопроцентных венгров — господи, это они-то, почвенник и Й. М., по «расовой» принадлежности — стопроцентные венгры? Правда, их предки семитами не были, среди них попадались даже, если угодно, чистые «арийцы»; среди предков Анны тоже есть чистые саксы; и все равно ее место не здесь, а где-нибудь там, бог знает где, может, на этом проклятом Западе, в загнивающей Европе, может, в тюрьме или в каком-нибудь лагере, в гетто, там, где место всяким «иным», подозрительным, где угодно, это ее дело, этой субтильной особы, в которой нет ни капли народной монументальности в духе Дежё Сабо [1], ни древнего героизма, ни балладной загадочности; и пусть она не смущает нас своим присутствием, своим существованием среди нас, она — «иная»; все они, «иные»,— порча нации!

Годы ненависти еще не кончились.

Ненависть все еще жива.

Жива нередко и в тех, кто некогда осуждал фашистскую расовую ненависть во имя национальной, революционной нравственности.

Ненависть эта в истории, в двадцатом столетии, в бассейне Дуная не только евреев толкала под гильотину подозрения, и там, в фашистской милитаристской Венгрии, и здесь, в фашистской милитаристской Румынии, но и сталкивала друг с другом народы: в глазах венгров непоправимо и поголовно были виновны румыны, в глазах румын — венгры; венграм — венгрово, румынам — румыново.

О, бессмертный Дарвин!

О, Эндре Ади, о, Аттила Йожеф, до чего же вы были наивны!

Обо всем этом, кстати говоря, Й. М. написал в своей жалкой книжонке «Судьба и символ».

Недаром ее вскоре конфисковали.

И лишь спустя четверть века издали заново, как бы простив ему, что выставили его за дверь и оплевали.

Это были годы ненависти...

Если б у А. не один, а по крайней мере два деда были германцами — как у того, кто ее отлучал,— и если бы этот один во имя любви, достойной пера Йокаи, не перешел бы в иудаизм,— он даже молитвенный дом построил; видно, совсем был сумасшедший! — а второй был бы «хотя бы» словаком или хорватом, как один из прадедов Й. М., или поляком, как другой его прадед, или даже пусть украинцем, или румыном, сербом, овенгеренными монархией, тогда все было бы в порядке, она не была бы чужой, космополиткой, она и такой

[1] Дежё Сабо (1879 — 1945) — венгерский писатель и публицист, один из идеологов венгерского расизма.

нашла бы место «у нас», в рядах чистокровной нации, в уютном лоне национального мифа.

В эти ряды, кстати говоря, А. ввел, окрестив ее в кальвинистскую веру в готической церкви на улице Фаркаш, чистокровнейший венгр, покойный преподобный отец Дежё Ласло, который, между прочим, после войны тоже пять или шесть лет отсидел в тюрьме, как старик-епископ во сне А., заживо гниющий в нассёрской камере.

Преподобный отец Дежё Ласло и не мог бы поступить по-другому: он был гуманист, человек широких взглядов, и уж кто-кто, а он-то... всей душой своей ненавидел гитлеризм, как и нилашизм, как и всякого рода фашистскую мерзость и варварство, он отвергал их во имя свободы веры, а потому, хотим мы того или нет, был заодно с теми, кто чувствами или тем более действием противостоял воинствующему фашизму, фашиствующему расизму, разбою, геноциду.

Но почему же Й. М. не расстелил перед фанатиками-националистами родословную А.?

Нет, только не это.

Подобные оправдания означали бы, что он «пускается в переговоры» с теми, кто стоит на заведомо неприемлемой точке зрения, что он пытается заключить компромисс с варварством, прийти к соглашению, то есть признать, принять пуристские принципы национальной исключительности.

Ненависть все еще жива?..

Сон еще не окончен?..

А.: Нет, сон еще не окончен.

Сон продолжается.

Хотя, ей-богу, не знаю, куда поместить ту картину, которая в эти минуты всплывает у меня перед глазами, и что было с тобой в Нассёре перед тем, до того, как стражник со свастикой на рукаве, нагнувшись к окошечку в двери камеры, выкрикнул твое имя и потом, схватив тебя за руку, вытащил в черный коридор, где ты рухнул на пол и незнакомые арестанты из других камер, одетые в серую арестантскую одежду со светлыми и темными полосами и, очевидно, находящиеся в привилегированном положении — раз уж им дали работу,— подхватили тебя и поволокли.

Самым странным тут было, однако, то, что и надзиратель, и откуда-то из глубины коридора наблюдавший офицер, ты видел лишь огонек его сигареты,— это я точно определила даже во сне, даже в адской тьме коридора,— так вот, и он, и надзиратель с резиновой дубинкой были в серо-стальной униформе отрядов внутренней безопасности шведской армии, однако на рукаве у них, выше локтя, как я сказала, была повязка с гитлеровской свастикой.

Ее-то я хорошо знаю.

Свастика.

Не знаю, как, почему в моем нассёрском сне появилась свастика...

Саксонка на четверть — или полусаксонка — полукосмополитка-кальвинистка — жидовское отродье А. (во время войны Йожеф Дарваш в письме просил летописца этого сна Анны достать свидетельство о рождении и крещении его отца, потому что там, в другой стране, он, видимо, тоже вызвал у кого-то подозрение, не принадлежит ли он к евреям или космополитам!), 19 марта 1944 года А. пережила в Будапеште вступление немцев; в 6 часов утра они вошли в город сразу водным, сухопутным и воздушным путями; нассёрская же свастика, увиденная ею во сне, напомнила ей все то, что последовало затем, вплоть до ее побега из дома с желтой звездой; ее разбудила

уборщица в отеле «Геллерт», она в ужасе кричала под дверью: «Барышня, барышня, выйдите на балкон, немцы...» И в самом деле, по Дунаю со стороны Ваца, то есть со стороны острова Маргит, к мосту Ференца-Йожефа, то есть к площади Борарош, плыли длинные баржи, а параллельно им, по обоим берегам Дуная, в ту же сторону, шли, грохоча, бронированные машины, на них неподвижно, как деревянные, сидели вооруженные до зубов солдаты гитлеровской армии, в новенькой униформе, в касках; видно было, что сапоги на них начищены, как для парада — грандиозного, ни на что не похожего, подчеркнуто-устрашающего парада, которым они пытались наглядно развеять то злорадное, широко распространившееся мнение, будто немецкая армия после Сталинграда разваливается на глазах, что конец войны близок; в небе было темно от немецких самолетов с черными крестами на крыльях, а на рукавах у солдат, сидящих, как манекены, на бронированных грузовиках, была, да, та самая повязка со свастикой, которую А. видела во сне на рукавах у офицера и надзирателя в подземном коридоре тюрьмы Нассёр; гитлеровцы вступили в Будапешт, вскоре объявлена была охота на евреев и начался кровавый шабаш венгерских пуристов; пришлось скрываться даже Дюле Ийешу — а кто мог похвастаться более чистой крестьянской кровью, чем он? — который вынужден был скрываться не только от немцев, но и от венгров, ему, исконному венгру,— и не ему одному — приходилось бояться и немцев и венгров.

И в этом — по крайней мере в этом — Дюла Ийеш и А. оказались равны, несмотря на классовые и «расовые» различия; их уравнял страх, страх смерти, они оба в конечном счете как бы стали стопроцентными евреями, годными лишь на то, чтобы поборники расовой чистоты варили из них мыло или сжигали их в печах...

А.: Вот оно! Вспомнила!

Хотя никакой прямой связи тут нет, но я сейчас вдруг отчетливо увидела, в каком плачевном состоянии выволокли тебя в коридор — уже, видимо, без сознания. Кто знает, по чьему указанию сверху ты все еще оставался в живых — ты бы сказал о себе: «я все еще не подох», но я-то не могу так говорить о тебе... ведь если суда над тобой не было, пусть хотя бы формального, как и над остальными, вместе с кем тебя забрали в одну ночь, и если ты не был осужден, то они, может быть, решили тебя использовать на каком-нибудь процессе свидетелем, причем, возможно, как раз против тех, с кем ты был арестован; иные из них со страха наговорили столько всего о других, подозреваемых в измене отечеству, что в конце концов сами себя утопили — ведь знать о преступлении это уже значит стать его соучастником!.. Кроме того, в голове у следователей, играющих роль прокуроров, или у тех, кто их направил, могла зародиться мысль: вдруг все-таки против тебя тоже появится какое-никакое обвинение — человек ведь грешен! — на основе которого тебя осудили бы, тем самым «узаконив» твой арест; и кто знает, когда, у кого из полицейских чиновников, после того как он по долгу службы прочел донесение из Нассёра, мелькнула мысль, что томящегося в заключении Й. М. по прошествии восьми месяцев следствия полагалось бы, собственно говоря, отпустить на свободу, потому что, как ты узнал спустя годы, у членов следственной группы, у каждого из них в отдельности, сложилось мнение, что никакой вины за тобой нет — конечно, добавим мы, тот, кто невиновен, вовсе не обязательно и безвреден, даже напротив... — но из тех, кто тебя допрашивал, не нашлось ни одного, кто взял бы на себя смелость подписать такой протокол, на это у них были весомые личные причины; не могли они это сделать и потому еще, что ты, будучи невиновным, тем не менее не соглашался ни на какое сотрудничество со шведской полицией внутренней безопасности, и вот это упрямство и делало тебя «факти-

чески» подозрительным, то есть потенциальным преступником, тогда как ты был разве что грешником, и то лишь в той мере, в какой грешен любой живой человек, а кажущееся твое упорство объяснялось не какой-то исключительной волей, силой характера, нравственными принципами — от всей этой мишуры уже через несколько месяцев, проведенных в тюрьме, даже без побоев и пыток не оставалось обычно и следа! — а странным, чисто биологическим коротким замыканием в твоей нервной системе: уже на третьем месяце все более частых и интенсивных допросов, в тот момент, когда ты перешагивал порог кабинета, тебя словно парализовало, и ты, как ни старался, не мог ничего вспомнить; то есть не мог, в сотрудничестве с допрашивающими тебя офицерами, исходя из фактов собственной памяти, выдумывать всякую галиматью о других людях или так толковать старые, действительно безобидные письменные и устные высказывания, чтобы те стали в протоколе доказательствами государственной измены; в таком состоянии ты был абсолютно не в силах помочь в раскрытии бог знает в каком безумном мозгу придуманного заговора, даже если бы и склонился наконец к этому из циничного ли оппортунизма или из страха, чтобы раскаяние свое, лояльность и теперь уже безусловно

Следствие амнезии?..

верность национальным идеалам доказать со всей убедительностью, попросив, например, для себя смертной казни, ибо ты самый что ни на есть закоренелый враг королевского дома, короны, шведской империи, родины, так называемой демократии, либерального общественного строя, свободы и общественной безопасности, ты — классовый враг, подлый предатель и с давних пор щедро оплачиваемый шпион; в сейфе одного швейцарского банка, Цюрхер Кредитанштальт, у тебя лежат, под паролем, полмиллиона долларов, пароль же — телефон виллы «Оризон», 93-35-78-80, а связные, помогающие тебе поддерживать контакт с твоими хозяевами в чужой, вражеской державе, которой ты служишь уже не одно десятилетие, это, внутри страны, афганский посол в Стокгольме, затем Сара Леандер и другие певицы, как говорят, лесбиянки и к тому же агенты гестапо и Интеллидженс сервис, за границей же это — лица, передающие тебе инструкции относительно покушений, которые ты должен был осуществить на территории Швеции, состоящие на службе ЦРУ и сотрудничающие с охранкой Артур Арагон и Луи Лондон, затем некий мистер Филд, с которым ты, стыдись не стыдись, состоял в гомосексуальной связи; кстати, этот мистер Филд, конечно же, космополит и еврей, каждые три месяца переводил тебе, в цюрихский банк, в сейф, открывающийся по паролю 93-35-78-80, иудину плату в долларах, ты самым что ни на есть подробным образом и до самого что ни на есть последнего слова подтверждаешь в своих показаниях, заверенных твоей собственной подписью, что действовал в соответствии с инструкциями, переданными тебе вышепоименованными лицами, организовывал различные покушения с применением бомб и преступные нападения с применением автоматов на двух высокопоставленных станционных начальников, кроме того, на твоей совести — семь политических убийств, успешно предотвращенных органами безопасности; более того, ты контрабандой ввозил в Швецию специалистов по организации диверсионных партизанских отрядов: из Греции печально известных Анраша Гаала и Габора Силади, из Югославии — Эуджена Богзу и Джео Жебеляну; а еще ты состоял в шифрованной переписке с находящимися в Калифорнии нацистскими шпионами по имени Берт Манн и Томас Брехт, а также с Пьером Шинко и Эрвином Дэксом; для осуществления своих подлых планов, разработанных на основе полученных из-за границы приказов, ты использовал ближайших друзей, из которых пока доста-

точно будет упомянуть лишь Яноша Саса, работающего проводником в международных спальных вагонах, интенданта королевских театров Дёрдя Харага и мастера по выделыванию кожи на обувной фабрике, романиста Шандора Хусара, в целом же речь идет о восемнадцати, а может, о двадцати злодеях со всей Швеции, среди них — университетские профессора, служащие, два каноника, корчмари, председатели профсоюзов, налоговые инспектора, поэты-сюрреалисты (последние, преуспев в предательстве национальных интересов, норовят подбить всех финноугорских пап и мам, чтобы те учили своих малолетних детей не родному финскому языку с изобилием «э», а французскому!), были среди них и домовладельцы, частные сыщики и даже говорящая по-французски старушка, состоящая при клозете одного аристократического стокгольмского отеля, то есть все те, вместе с кем тебя арестовали, совсем не случайно, ибо всю эту банду заговорщиков в конечном счете именно ты завербовал в сверхзаконспирированные ячейки террористической организации ФВБ, Финские вооруженные бригады, задача которой — уничтожение Швеции, а также подготовка захватнической акции со стороны упомянутой выше иностранной державы, и в конце ты просишь, чтобы глубокоуважаемый военный, а также шведский королевский чрезвычайный трибунал осудил на смерть не только тебя, но заодно и всех твоих сообщников.

Однако нет, ты, со своей травмированной допросами памятью, не смог настолько опуститься, дойти до такой тупости, наглости и цинизма, чем и вызвал у направляющих следствие высоких органов а также у шведского королевского дома — право, какая низость, какая безответственность!— глубочайшее разочарование и обрек себя, а также свою терпящую нужду и преследования маленькую семью на тяжкие испытания; более того, ты не сломался, и туман, который заволок твою память и твое, вообще-то весьма бойкое воображение, не рассеялся, даже когда допрашивающий тебя офицер, дохнув в лицо тебе перегаром балканской импортной палинки, со злорадной улыбкой положил перед тобой показания арестованных вместе с тобой членов ФВБ, показания против тебя, написанные от руки и, следовательно, неопровержимые; несчастным, у которых получены были эти показания, слетевшая с небес, подобно духу святому, несущая милосердие божие удача, что была дарована тебе, им не была дарована; их не спасли от полного морального краха потеря памяти и паралич воображения, как не спасли они и одного из твоих лучших друзей, пользующегося в ученых кругах балтийских государств большим авторитетом эстонского обществоведа и историка, который по некоторым версиям — например, по сведениям, содержащимся в деле 71-В. С. А./ 9199199, хранящимся в VII Секретном архиве министерства внутренних дел — на тысяче, а по воспоминаниям самого ученого («Жизнь, отданная отчизне», т. II. Стокгольм, б/д, с. 6531 и 7412) и других людей, на трехстах страницах подробно живописал целый антигосударственный комплот, немалую роль отведя в нем твоей особе; профессор кстати, до мельчайших деталей охарактеризовал структуру ФВБ, остановился на подпольной деятельности всех тридцати семи с половиной членов заговора, половина: подосланный провокатор, оперный певец, алкоголик,— а кроме того, назвал сорок шесть фамилий,— этих людей тоже следовало арестовать, ибо они, зная о том или не зная, тем или иным образом — каким именно образом и в какой степени, все это и предстояло расследовать!— вступали в родственные, деловые или служебные связи с предателями, членами ФВБ; короче говоря, этот бывший твой друг, эстонский профессор, самозабвенно сотрудничая с госбезопасностью, сочинением своим удовлетворил всем тем патриотическим требованиям, которым ты, ввиду прискорбного недостатка твоей памяти, так и не смог удовлетворить, хотя в ходе следствия начальник следственной группы, старый полковник с доброжелательным лицом, однажды привел тебя в свой комфортабельный

кабинет, где за чашкой горячего, дымящегося черного кофе сразу же направил разговор в нужное ему русло и пообещал тебе, что, если ты поступишь подобным же образом, тебя, правда, формально осудят

Почему же не состоялась договоренность?..

на несколько лет, но после вынесения приговора тут же выпустят, ты получишь паспорт на какое-нибудь другое имя и, как он выразился, вместе со своей горячо любимой маленькой семьей сможешь уехать в Парагвай, в Асунсьон, где — чтобы с тобой ни случилось того, что случилось со Львом Троцким!— для тебя уже снята небольшая «herzig»[1] (sic!) вилла с каменной высокой оградой и куда шведское посольство регулярно будет пересылать полагающуюся тебе за заслуги солидную пенсию, ибо, в конце концов, ты не только совершил преступление против государства, но и — именно показаниями своими — оказал неоценимую патриотическую услугу государству и королевскому дому, ведь благодаря тебе для всего мира очевидной станет подлая подрывная деятельность враждебной империалистической державы, направленная против Швеции,— ей-богу, такой пустяковой услуги Швеция вправе от тебя ожидать, причем за нее ты можешь рассчитывать на поистине сказочное великодушие властей; ты слушал его и уже думал, что ложь не сделает тебя еще большим преступником, очевидно, чтобы придать своему предложению больше веса, старый полковник позвонил, и тут же вошла улыбающаяся молодая женщина в мини-юбке, с длинными стройными ногами, с накрашенным, как на сцене, лицом, с глубочайшим декольте, предлагающим на всеобщее обозрение полуобнаженные груди с выглядывающим краешком темных, как у цыганки, кругов вокруг соска; на жестяном подносе в руках у нее лежала пачка сигарет «Голуаз», коробка спичек, сливочное печенье, три яблока сорта «машанцки»— такие яблоки росли в саду темешварского дома твоих родителей—психологические приемы старого полковника с добрым лицом были рассчитаны до последней мелочи!— и стакан малинового сиропа; женщина поставила все это на письменный стол, возле которого ты сидел в кожаном кресле, одетый в грязную, засаленную пижаму, которая, еще чистая, была на тебе, когда тебя забирали,— полковник же с добродушной улыбкой подмигнул тебе, как бы давая понять, что из собранного материала знает о твоей слабости к женскому полу — тогда ты был еще молод и горяч,— так что вовсе не исключено, что, когда ты сочинишь свои, имеющие историческое значение показания, эта длинноногая дама, имеющая, по всей вероятности, чин капитана, проведет с тобой ночь в специально для таких удовольствий предназначенной камере; но, к счастью, ни этот подкупающий намек, ни предложение насчет Парагвая со всеми его фантастическими перспективами — предложение это ты, конечно, не принял всерьез, зная, что, выжав нужные показания, тебя, не моргнув глазом, осудят на пожизненное заключение, а то и повесят, если же расстреляют, то это будет особая милость — не устранили короткого замыкания в твоей памяти, как не сняли его четыре с половиной месяца безуспешных допросов, как не сняла его даже та ночь, когда тебя, ровно в двенадцать часов, посадили на ветхую табуретку и ты провел на ней без перерыва девяносто шесть часов, в направленном на тебя сначала слепящем, потом сводящем с ума свете двухсотваттной лампы, как будто тебя допрашивало ФБР, и кто знает, может быть, действительно тебя допрашивало ФБР, пытаясь доказать, что ты являешься агентом ФБР; но кто на самом деле тебя допрашивал, ФБР ли, эсесовцы или кто-то — неизвестно, ведь во сне возможна любая нелепица; словом, ты сидел на шаткой табуретке против направленной на тебя лампы, из-за ко-

[1] Милая, прелестная *(нем.)*.

торой на тебя Ниагарой низвергались вопросы следователей, сменяющих друг друга каждые четверть часа, сыпались без малейшего перерыва, и тебя — очевидно, чтобы ослабить твою волю,— все время заставляли глотать какие-то белые таблетки, в уборную же тебя выводили, лишь когда моча текла тебе в ботинки и от тебя несло вонью; но все эти психические пытки, сделавшие совершенно излишними всякие оплеухи, зуботычины, удары под ребра, пинки в пах, обработку пяток, то есть традиционные методы политической полиции,— все эти способы воздействия на дух, волю тоже не подействовали на тебя, точнее, подействовали лишь в том смысле, что на девяносто шестом часу, ровно в полночь, в бессознательном состоянии ты поднялся, подошел, как лунатик, к столу и на подготовленном листе бумаги — следователи знали по опыту, когда примерно наступит этот момент,— пером, стертым от множества признаний, написал, что да, ты предатель, шпион, состоишь на службе одной из соседних держав — какой именно, ты не написал, поскольку не мог вспомнить названия ни одного соседнего государства; словом, понятия не имея о том, что делаешь, ты сделал первый шаг, а затем рухнул лицом на стол, сбив двухсотваттную лампу, та взорвалась, как граната, осколки поранили тебя, однако ты уже не чувствовал этого; сколько дней прошло, неизвестно, но однажды ты очнулся в своей прежней камере, с трудом встал на ноги, вытащил шнурок из пижамных штанов, сделал петлю на торчащей из стены трубке душа; ты готовил свое самоубийство как во сне, но тщательно и последовательно, а потом бросился к железной двери, пинал ее, колотил кулаками, бился лбом и вопил: к полковнику, отведите меня к полковнику!.. Когда ты сидел перед ним, он спросил тебя, ну, как поживаешь, угостил тебя сигаретой и молочным шоколадом и велел принести тебе кружку черного кофе, но кофе на сей раз принесла не дама с обнаженной грудью, а жирный, похожий на арабского евнуха, сладострастно вихляющий толстым задом ефрейтор, ты же хрипло потребовал перо и бумагу, чтобы взять обратно вырванное у тебя насилием и наркотиками признание; полковник погладил тебя по голове и ушел, а через некоторое время тебя повели в камеру, однако едва ты вышел под конвоем в коридор, как парализованная память вновь ожила, в голове у тебя мчались, обгоняя друг друга, имена и названия, и то, чему ты никогда не хотел верить, считая не более чем романтической легендой — будто у осужденных на казнь в последние минуты перед внутренним взором проходит вся прожитая жизнь,— ты сам испытал теперь, как испытал это, на пути к виселице, Достоевский — как описано у Стефана Цвейга,— ведь ты знал, что через несколько минут с грохотом захлопнется дверь твоей камеры, и ты встанешь на край унитаза, наденешь на шею петлю — и конец; так-то так, но когда тебя втолкнули в твою бетонную дыру, ты обнаружил, что на твоей постели сидит пахнущий одеколоном господин с уложенными волнистыми волосами и в новенькой пижаме, тогда как ты был в своей, драной; он поднялся, представился, протянул руку с маникюром, ты же ударил его в лицо и, забившись в угол, отчаянно, громко заплакал, заскулил, как затравленный зверь, ибо ты знал, что сосед твой по камере — не кто иной, как переодетый

Ты только что сказал: обедать?..

в пижаму провокатор: потом было несколько дней отдыха и инъекции, а так как из-за такой заведомо обреченной падали не стоит стараться, иглы шприцев не стерилизовали, и тебя заразили желтухой, потом все началось сначала: тебе давали твое признание и требовали, чтобы ты, теперь уже сам, по доброй воле подтвердил его и дополнил фактами; тебе угрожали, тебе обещали золотые горы, тебя обзывали последними словами, на протяжении многих недель тебя двадцать, тридцать раз за ночь таскали на допрос, как раз когда ты засыпал, однако память

твоя не работала, ты ничего не мог показать и назвать, твоя голова — которая тебе казалась огромной бочкой с квашеной капустой, где булькает и бродит рассол,—была в действительности пуста, во время допросов тебе ничегошеньки не приходило на ум, хотя в те минуты, когда ты был не у следователя, а валялся на бетонных нарах в своей камере, в воображении твоем все точнее вырисовывалась вся система твоих преступлений; да, да — убеждал ты сам себя вслух,— я предатель, я тогда-то и тогда-то совершил то-то и то-то против доброго правительства, которое, собственно говоря, неотделимо от меня, которое меня берегло, холило, нежило, а я подло предал его; и если бы у тебя под рукой было в тот момент перо и бумага, ты сам бы составил себе обвинительное заключение, ты что угодно смог бы сказать, написать, глядя в глаза следователю, ты полностью созрел, чтобы признать и подтвердить всю ту несусветную чушь, о которой и не подозревал до ареста, которая тебе даже во сне не снилась, а если б тебе кто-нибудь раньше сказал что-то подобное, ты бы расхохотался ему в лицо, да, ты дозрел, как лежащий в тепле, зачервивевший сыр, ты уже вонял от этой своей дозрелости — но в кабинете у следователя, переступив порог, ты не помнил даже того, что разложил по полочкам, выстроил в логическую систему перед самым порогом, чтобы с верой и убежденностью перечислить свои преступления, наполнить содержанием великую пустоту, превратить ее в детективную, волнующую историю, чтобы доказать себе и другим, да, ты заслужил этот ад, в котором тебя поджаривают, в котором не за что уцепиться, который не только окружает тебя со всех сторон, но и уже просочился вовнутрь, ты слился с ним, то есть отделился от самого себя, а личность твоя ушла глубоко-глубоко в подсознание, ты уже не был самим собой; но обо всем этом те, кто тебя допрашивал, не подозревали, они не знали, что душой и телом ты уже принадлежишь им, что они преуспели в унижении твоей индивидуальности; и в конце концов они пришли к выводу, что с тобой, видать, каши не сваришь; как-то незаметно они прекратили продолжавшиеся почти девять месяцев допросы и перевели тебя в транзит, в пересыльный лагерь, откуда, едва ты немного окреп, сунули сюда, в эту тюрьму тюрем, Нассёр; есть, правда, подозрение, что была для этого и иная причина, может быть, казнь или, точнее, ликвидация без судебного разбирательства — смутно вспоминается мне обрывок сна,— словом, смерть той женщины, о которой ты в тюрьме-преисподней, появившейся, как видение, в моем сне, не мог, конечно, иметь никаких известий, но, если эта глава сна — не просто сон, то, выйдя на свободу, ты попытался бы узнать, что стало с той женщиной, и, может быть, поднял бы шум, ведь тебя-то освободили, значит, невиновен, следовательно, и та женщина ни в чем не виновна, и тогда, вероятно, выяснилось бы, что Клара не выбросилась из окна четвертого этажа, как сообщили официально, словом, шведская королевская политическая полиция поступила согласно логике своей собственной структуры: она предприняла все меры, чтобы до тебя не дошли даже обрывки той истории, от которой волосы встают дыбом на голове, и, очевидно, поэтому среди допрашивающих тебя не нашлось ни одного, кто осмелился бы предложить, кто осмелился бы сформулировать: Й. М. невиновен, его нужно освободить; так что, если мои сделанные во сне предположения правильны, то обычная человеческая логика говорит о том, что у всего этого шведского высшего учреждения, у всех его офицеров и служащих со свастикой на рукаве не было никакой уверенности, что все, тайно творимое в стенах этого учреждения, никогда не просочится наружу, то есть система не полагалась сама на себя и, разумеется, была права, ибо в истории все тайное в конце концов становится явным, все и обо всех, без малейшего исключения, и даже самые что ни на есть секретные, тщательно сожженные протоколы воскресают из развеянного по ветру

пепла, мертвые начинают вдруг говорить, рассказывать, писать; будем, однако, объективны: что бы случилось, если бы ты в самом деле вытащил на свет божий ужасную правду о гибели той женщины, что бы случилось?— да ничего, ведь в шведской безумной империи под свастикой рассказывали столько действительно происшедших или порожденных воображением грустных и страшных историй, что еще одна едва ли заставила бы качнуться, пойти вниз отягощенную тоннами преступлений чашу весов Юстиции и подняться чуть выше другую, на которой мораль и право лежали так невесомо, как дохлая собачонка на фотографии какого-нибудь иллюстрированного журнала; как именно расправились с той женщиной, я забыла, хотя во сне знала, но я еще это вспомню, а то, что сейчас я это забыла,— всего лишь фрейдистская самоцензура, бегство от ужаса в забвение,— ясно лишь одно: мне снилось, что ее ликвидировали, прикончили, может быть, как раз тогда, когда ты в Нассёре, под землей, впал в то состояние, в каком надзиратель выволок тебя из камеры в черный коридор; да, ты потерял сознание, но это случилось много позже после того, как ты попал в камеру, по крайней мере я так полагаю, ибо ты лежал уже не в самом ужасном месте на нижних нарах, не возле параши, а наверху, где-то посередине; епископ, конечно, остался там же, с краю, внизу, в жуткой вони; когда тебя уносили, словно мешок с картошкой, он уже неделями не вставал с нар, его присохшую к костям кожу на лопатках, на пояснице покрывали гноящиеся раны, а есть он мог, лишь когда обращенный в праведную веру поэт-фашист кормил его, словно беспомощного младенца, своей деревянной ложкой, так как ложку епископа кто-то стащил; конечно, в камере не один епископ был в таком состоянии, но в конечном счете он и по возрасту, и по рекордному количеству лет, проведенных в камере, был самым старым, а значит, и самым слабым; да что говорить, ты тоже был где-то на грани.

Ты только что сказал: обедать?

Ну, как раз об этом мне есть что рассказать.

Эти картины твоей жизни, увиденные мною во сне, я помню довольно отчетливо...

Выходит, записывающему сон Анны даже нет нужды ставить вопрос: что тебе снилось, родная?..

И зачем ты только читала Данило Киша?..

Отточие, которым заканчивается предыдущая глава, означает — последовавшую долгую тишину прервал охрипший голос Й. М.: Я знаю, ты плачешь... не плачь... это же был сон...

Глядя на далекую, все уменьшающуюся яхту с красным парусом, Анна вздрагивает: нет, я не плачу, я никогда не плачу; смотри, красный парус исчезает; скажи, откуда тут взялся и куда держит путь корабль с красным парусом?.. Нет, я не плачу, но когда я так говорю, говорю без остановки, над синей морской водой, у меня иногда сжимается горло, я задыхаюсь, мне начинает казаться, что все это могло быть с тобой в действительности, что это был вовсе не сон и я тут, над пустотой моря, над голыми скалами, под умирающими оливковыми деревьями, в белой, насквозь лживой клетке мамаши Жанин лишь повторяю твои слова, это ты рассказываешь мне, а не я тебе; но мне снились куда более страшные вещи, чем те, о которых я сейчас говорю; я, конечно, прекрасно знаю, что, слава богу, все это мне лишь приснилось про тебя, мой родной...

Й. М.: Тебе это приснилось, и если я даже рассказал бы кому-нибудь этот сон, что приснился тебе про меня в эту нашу первую ночь на Кап-Мартен, то из этого не должно следовать ничего, кроме того, что должно следовать: сон, сны умрут в нас, ибо что мы такое, если

не бескрайнее, без памятников и крестов, кладбище снов; пожалуй, не стоило нам в Венеции и Риме осматривать старые тюрьмы... не надо было тебе в Риме читать вечерами подаренную Иштваном Бошняком, переведенную и на венгерский книгу Данило Киша «Гробница Бориса Давидовича», она и меня, эта книга, перевернула; но я, как и ты, не мог одолеть свое любопытство после всего, что рассказывал об этой книге Иштван Бошняк, который собирался писать о ней, и после того, как в Загребе Предраг Матвеевич поведал, какие страсти разгорелись вокруг нее,— поведал во время ужина, устроенного в нашу честь в далматинском подвальном ресторанчике, где он угощал нас блюдами из белой адриатической рыбы и белым далматинским вином, поскольку больной Мирослав Крлежа уехал лечиться куда-то в хорватские горы, нас же поручил своему доверенному лицу, этому блестящему эстетику, получившему образование во Франции,— словом, Предраг Матвеевич дал нам некоторое представление о том азиатском кошмаре двадцатого века, что вылез наружу — причем даже не на самой окраине старой Европы — не только в книге Данило Киша, но и в той яростной сербскохорватской утратившей всякий литературный характер стычке мнений — против Данило Киша и за Данило Киша,— стычке, в которой снова открыто выступили друг против друга, с одной стороны, человечность, пафос свободы, оперирующей аргументами и логикой, а с другой — дикий догматический консерватизм, объявивший варварство необходимостью, не останавливающийся и перед клеветой, невероятно живучий консерватизм с его плохо скрытым национальным пуризмом и антисемитизмом; с одной стороны, гуманизм XX века, с другой — слепая злоба средневековья... ах, не нужно было тебе читать книгу Данило Киша; и зачем ты только читала Данило Киша!.. Не плачь, сны умрут, вернутся на бескрайние кладбища в нашей душе, кладбища, откуда они восстали...

Анна: Я не плачу; нет-нет, сны не умрут никогда, ни сладкие сны со светлыми крыльями, ни кошмарные... впрочем, может быть, просто я приняла вечером мало мепронизина и мало диазепама от кошмаров... наши сны будут жить, пока живы мы; видишь... красный парус канул в лазурную синеву горизонта, и если он не утонул вместе с кораблем, плывущим неизвестно куда, то, значит, он жив, жив, даже если мы не видим его, сны тоже не умирают; рассказывать дальше?..

Й. М.: Рассказывай, только не волнуйся...

Анна: Ну, раз ты просишь, я продолжаю.

Итак, тебя поволокли по черному коридору.

Арестанты в полосатой одежде подхватили и понесли тебя.

Коричневая дверь с гулким звоном захлопнулась.

В камере стояла мертвая тишина.

Но в вашей камере мертвая тишина была и тогда, когда надзиратель прокричал твое имя в окошечко... может быть, об этих минутах я раньше рассказывала по-другому?.. не знаю уже... ты что-то сказал, и у меня в памяти все перепуталось... сейчас мне кажется, тишина была не только в вашей, но и в других камерах, уже много дней или, может, недель, во всей подземной тюрьме была тишина, как на сельском кладбище где-нибудь в глухомани.

Может быть... мне так помнится... голоса слышались иногда только в гулких одиночках, где месяцами, годами изолированные ото всех арестанты, сходя с ума от мертвой тишины, начинали вслух говорить сами с собой или даже вопили, мяукали, лаяли, чтобы удостовериться, что не оглохли за месяцы, годы, проведенные в вязкой, глухой темноте, с тех пор, как за ними закрыли железную дверь: одиночных от черного коридора отделяла не коричневая деревянная, а железная, черного цвета дверь; а может, когда одиночник бессвязно и долго — откуда знать арестанту, сколько именно времени?— вопил или лаял, он готовился к тому последнему моменту, когда в его камеру ворвется группа

ликвидации в серо-стальной униформе или в штатской одежде, с проволочными, как у мясников на бойне, крючьями, с автоматами, револьверами или просто со стальными прутьями и его ослепит белый свет дуговых ламп,— готовился к тому, чтобы в этот момент, в липком, предсмертном поту, не рухнуть без единого звука, как кусок грязной мешковины, которой вымыли пол, а вопить и протестовать, вопить ради одной лишь шизофренической, навязчивой надежды, что этот последний вопль немного переживет его...

Вынесенные на секретных заседаниях смертные приговоры приводились в исполнение на месте, в казематах Нассёра, с тех самых пор, когда правительство отказалось от этого старинного подземного сооружения как от оборонного объекта, и его, приурочив к национальному празднику, под министерские речи — ораторами были министры

«Там»?..

юстиции, обороны, внутренних дел — и под военный оркестр объявили новым оплотом внутренней безопасности родины; по этому случаю в огромном вестибюле Нассёра, вокруг фонтана с чашей из бутового камня, под национальными флагами с синим крестом были накрыты столы с шампанским и с огромными букетами роз,— в том самом вестибюле, откуда уже на следующий день, в соответствии с распоряжениями об укреплении безопасности, уводили по камерам раздетых догола арестантов...

Как, чуть позже, увели и тебя...

Из одиночных камер-изоляторов, лишенных окон, со стенами в метр толщиной, не доносились ни крики, ни револьверные выстрелы, ни короткие, как барабанная дробь, автоматные очереди, а уж тем более треск черепных костей под глухими ударами железной дубинки или свинцовой трубы, еще надежнее берегли стены визг или оборванный хрип, когда жертве накидывали сзади на шею проволочную петлю, затем быстро затягивали ее и закручивали; нет, отсюда не доносилось последнее, замирающее на синих губах проклятие, протестующий вопль и окончательное уже «нет!», то предсмертное НЕТ, которое никогда и нигде, во всем космосе больше не повторится!..

Кого там казнили в течение ста с лишним лет, кого ликвидировали на протяжении почти уже уходящих в забвение недавних черных десятилетий, по приговору или так, без всякого приговора, по сообщенному на ухо не очень высокому, а то и высочайшему указанию?

Этого не знает никто.

Протоколы, которые могли бы пролить свет на происходившее там, исчезли, и исчезли бесследно.

(?)

Не сохранились и устные распоряжения, произносимые с глазу на глаз, вдали от посторонних ушей, которые их могли бы слышать, вдали от всего, что могло бы когда-нибудь служить свидетельством,— распоряжения, которые без всякой возможности обжалования обрывали жизнь оклеветанному сопернику или просто в чем-нибудь заподозренному человеку.

Таков был и фашизм.

Нет, последний вопль ликвидируемых растаял бесследно.

(?)

Ямы с известью, засыпанные землею, не заговорят никогда.

(?)

Разве что несколько оставшихся в живых современников поднимут завесу над последними днями некоторых из жертв, бросив тем самым свет на природу всей системы, на судьбу всех остальных, на невероятные хитросплетения злодейств и на примитивные убийства...

Словно... словно в семи историях, описанных в книге Данило Ки-

ша «Гробница Бориса Давидовича», в несхожих, но одинаково страшных историях семи человек, в историях, где суть одна: это скрытая, утаенная история.

Ведь где-то сидят в тихих углах свидетели — чудом оставшиеся в живых!— которые смогли заглянуть за испачканный кровью, продырявленный пулями занавес, скрывающий вчерашнюю, беспощадную, одиночную или групповую борьбу за власть, а может быть, они сами участвовали в гладиаторских поединках, поединках не на жизнь, а на смерть, поединках без публики.

(?)

Сможем ли мы узнать у них хоть что-нибудь?

(?)

Ведь то, что совершалось, совершалось втайне, как, впрочем, и все в истории.

Еще живы свидетели, которые с края бывшего поля боя, а возможно, и из укрытия, где они оставлены были в роли резерва, многое видели, но благодаря своему опыту и пронырливости все же вышли сухими из воды.

А возможно, кое-где сидят в тишине уже забытые публикой бывшие сильные мира сего, которые в конечном счете не по собственной воле избежали своей участи, не попали в не ведающую жалости нассёрскую машину убийств, а износились, состарились, были выброшены на свалку, вышли из игры по возрасту, но именно поэтому завидуют «неправильно, незаслуженно» вылезшим на их место новым сильным мира сего — «предателям» — и, может быть, вспоминают еще.

Вспоминают не о своих, а об их злодействах.

И если вспоминают, то вспоминают тайно, ибо все еще панически — и не без причины — страшатся знать о чем бы то ни было, знать, что происходило, что стало прошлым, в том числе и их прошлым; если только сосуды их мозга еще не затянуло отложившейся известью, если их память не убита старческим слабоумием, настигшим их на пути не к мавзолеям из каррарского мрамора, закопченного вечным огнем, горящим в честь национальных героев, не к украшенному бронзовыми венками и статуями пантеону славных сынов отечества, а к какому-нибудь дальнему бедному кладбищу, будничному, поросшему сорняками, затоптанному и помеченному собаками, кладбищу, не овеянному никакими легендами; это — их судьба, которой им не удалось избежать, хоть они и не кончили свой путь в одной из братских могил нассёрского леса, а по небрежности или, может быть, по ошибке шведских органов безопасности остались в живых.

Затаившиеся эти счастливчики иногда, редко-редко, встряхнувшись и подняв голову из оппортунистской немоты, но на всякий случай все-таки боязливо и быстро осмотревшись, не слышит ли их слова какое-нибудь некомпетентное ухо, не идет ли по пятам наблюдатель с направленным на них микрофоном, скосив глаза, шепотком, осторожно — ибо, повторяю, они все еще чего-то боятся — рассказывают, что было «там»... Во сне моем в южном, садовом пригороде Стокгольма прогуливается с тобой один из бывших, тайный всесильный вельможа, ныне вышедший в тираж; не знаю, как вы с ним попали сюда; и он шепчет тебе на ухо: «там»... этот трясущийся, словно в белой горячке, старец, когда-то в самом деле тайный вельможа, обладавший безграничной властью, он — тот самый бывший фаворит из фаворитов, хорошо присмотритесь к нему!.. своему ремеслу он учился в охране царя Иосифа I, и вот он до сих пор безнаказанно бродит, шатаясь, по улицам Стокгольма, а персональная пенсия у него такая огромная, что он даже пропить ее не в силах.

Ты прав, не надо было мне читать «Гробницу Бориса Давидовича»...

Но нам пора, мадам Хильда уже ждет с обедом на вилле «Оризон».

И еще надо приготовиться, купить цветов, завтра приезжает мадам Жозиан...

Наконец-то у Крлежи?..

Мы не написали о том, как в свой первый приезд сюда хотели посетить Мирослава Крлежу, по протекции и с помощью Нандора Фаркаша, его венгерского издателя в Хорватии, и как Крлежа искал нас — судя по записи в дневнике Анны, 23 мая 1968 года, в четверг,— звонил нам, на квартиру к фрейлинам, не меньше десяти раз, до самого обеда, а в конце концов сердито велел передать: все, терпение его кончилось, он не желает с нами встречаться.

О чем нам и сообщили, когда мы вернулись, бледные, трясущиеся, перепуганные дамы в кружевах и жабо; mein Gott, что же будет!

Однако по настоянию Анны — она перед самой нашей поездкой прочла первые два тома удивительных, волшебных «Знамен», собрав всю свою былую журналистскую дерзость — ведь как-никак мы ввязались в эту романтическую поездку в Загреб, чтобы увидеть его (и семью Цветко Малушева),— а также благодаря поддержке вступившей с нами в сговор секретарши Крлежи я все-таки упросил — совесть моя чиста, ибо вины за мной не было,— господина Крлежу принять нас; он неохотно, но согласился.

С твердым условием: «только пять минут».

И вот 24 мая 1968 года, в пятницу, в 11 часов утра мы с Анной уселись в кресла перед огромным письменным столом писателя и стали смущенно рассказывать о действительной причине нашего рокового вчерашнего отсутствия: господин Крлежа потому не застал нас дома, что мы с раннего утра искали в старом городе, достойном сопернике исторической Буды и пражского Града, настоящей маленькой империи памятников, в этом царстве архитектуры, где разворачивалась новая история хорватов, складывалась их духовная культура,— в одном из самых впечатляющих, самых зрелищных мест Европы!— искали и в конце концов нашли, по описанию в романе узнали тот старинный дом, в котором жил один из самых замечательных героев романа Крлежи, Камил.

Пока мы, перебивая друг друга, отчитывались о невероятной удаче, постигшей нас в ходе наших историко-литературных разысканий, стараясь тем самым настроить перманентного бунтаря хорватской литературы, ее великого и такого сурового патриарха на более или менее мирный лад — ведь мы наконец-то находились рядом с ним, могли слышать его голос, могли сфотографировать взглядом, для альбома своей памяти, эту комнату с книжными застекленными шкафами (светлый вощеный дуб) до потолка, комнату, где наш, пока все еще недовольный, хозяин проводит свои рабочие часы, словом, пока мы, преодолевая робость, все раскованнее болтали о том о сем, господин Крлежа с ощутимо возрастающим интересом слушал наши оправдания и внимательно изучал нас, то Анну, то меня, строгое лицо его едва заметно смягчалось, затем он ехидно, но уже чуть-чуть улыбаясь, подвел итог нашему рассказу: описание, правда, точное, но мы не могли найти дом, где жил Камил, дом этот существует лишь в воображении автора...

Однако лед был расколот, воскресший благодаря Анне молодой журналист победил, прошло уже четыре раза по пять минут — я потихоньку взглянул на часы,— и начался диалог.

Я по сей день убежден, что мы действительно нашли дом Камила, дом, который писатель обрисовал настолько точно, что его ни с чем не спутаешь, и если он все же опроверг нас, то это было лишь нака-

зание за то, что накануне он так долго и безуспешно нас разыскивал, пока не разгневался; а может, он просто хотел, чтобы я не очень-то тешил себя иллюзией, будто сердце его можно завоевать без труда, не очень-то радовался, что обезоружил его и расположил к себе.

И тогда последовал жест прощения, великий момент — о том, что жест этот в самом деле значителен, мы уже знали от загребских друзей: Мирослав Крлежа поднялся с кресла и лично налил нам только что сваренный, ароматный, дымящийся кофе, пять же минут превратились в полтора часа беседы, с двумя кульминациями.

Кульминация первая: я, запинаясь, пролепетал, что в нашей, венгерской, литературе нет фундаментальных произведений, которые можно было бы отнести к особому жанру — литературе о монархии; создателями этого жанра были венские прозаики Карл Краус, Музиль, пражанин Кафка, а особенно он, Крлежа, с его эпикой; и по моему, хорошо продуманному мнению, первые 1500 страниц «Знамен», увидевшие свет здесь, в Загребе, в венгерском переводе, до появления сербскохорватского издания книги, это, даже если и написано по-хорватски, «один из величайших венгерских романов нашего столетия».

Писатель в ответ улыбался все с более довольным видом — фотопортрет его с чуть тронувшей губы, еще готовящейся улыбкой, вырезанный из загребской газеты «Вечерний лист», висит у меня на стене кабинета, рядом с портретами Шинко, Кашшака, Аттилы Йожефа, Фабри, Радноти, Брехта, Джебеляну, Богзы, Домокоша Силади (портрет Габора Гаала, в ряду самых близких мне покойников, на другой стене),— и после некоторого, может быть, растроганного молчания сказал: «Я сейчас себя чувствую как отварная рыба, которую смазывают майонезом».

Тут я сделал бы два замечания.

Первое: смотрите, какой наглядный, сугубо в духе Монархии, образ.

Второе: к временам Монархии относится и гастрономическая точность образа: ведь истинный гурман не станет смазывать майонезом — майонезом настоящим, то есть холодным соусом из оливкового масла, только что выжатого из маслин, и яичного желтка, с лимоном, горчицей, уксусом, перцем — жареную или печеную рыбу: нет, именно отварную.

И еще одно замечание, третье: венгерская литература для него значительна и важна, он прекрасно знает ее и рад, даже счастлив, что написал хороший венгерский, а не только хорватский роман.

Вторая кульминация разговора, состоявшегося с Мирославом Крлежей 24 мая 1968 года, в пятницу, между 11 и 12.30 дня: тут уже я почувствовал себя отварной рыбой, которую смазывают майонезом,— ведь начало жизни и первые ее впечатления у меня тоже относятся к временам Монархии; правда, когда я родился, Крлежа уже протирал штаны за партами пажеского училища в Пече, а в зреющем его самосознании уже, очевидно, искала форму выражения хорватская революционность... короче, я смущенно заерзал, когда он сказал, что прочел написанное мною после смерти Шинко[1] эссе — там появляется и он, и Тибор Дери — и что «это лучшее, что написано до сих пор о Шинко».

Я не просто покраснел от смущения; в голове у меня ослепительной, двухсотсвечовой лампой вспыхнуло: вот почему Крлежа с таким нетерпением целых полдня разыскивал нас накануне у бары-

[1] Эрвин Шинко (1898 — 1967) — венгерский писатель. Принимал участие в революционном движении, играл активную роль в событиях Венгерской Советской республики 1919 г.; в 20 — 30-х годах находился в эмиграции (Австрия, Франция, СССР). После 1945 г. жил в Югославии. Автор романов «Четырнадцать дней» (1950), «Оптимисты» (1953), книги автобиографического характера «Роман об одном романе (Московский дневник 1935 — 1937 гг.)» (1961).

шень — он хотел лично, как бы вручая высочайшую литературную награду, высказать мне эти слова...

И потом он долго еще говорил об Эрвине Шинко и Мици...

Об умерших уже Эрвине Шинко и Мици.

Когда мы в третий раз за время этого путешествия приехали в Загреб, Крлежу мы там не застали.

Вместо себя он прислал Предрага Матвеевича, лучшего знатока его жизни и творчества, верного молодого друга, почитателя и оппонента.

В организации этой встречи Крлежа был на высоте.

Как и во всем остальном...

Загреб, Коложвар, Париж?..

Большой и сердитый человек, Мирослав Крлежа, долго, с сочувствием и любовью, пожалуй даже растроганно, говорил о чете Шинко; наконец-то у него появилась возможность рассказать кому-то о них, его последователях и друзьях, которых он, с его критическим и капризным умом, принял как равных себе; он рассказывал, какими были эти верные его товарищи по духу, его единомышленники — пусть не хорваты, а венгры — по национальному и социальному нонконформизму, какими были они в гневе, негодующими против дикой, варварской безнравственности...

Мици — после того, как она привела в порядок литературное наследие мужа — совсем недавно я видел в Загребе, в хорватском историко-литературном архиве (куда меня водил Цветко Малушев): в четырех ящиках комода с ореховой фанеровкой в идеальном порядке уложены рукописи, письма (в том числе мои), и там же, в просторной комнате, стоит прекрасная старинная мебель из его квартиры (в Штосе находится музей Фабри, после Габора Гаала же — ни комнаты, ни мебели, ничего, кроме праха); я сидел в одном из уютных кресел обтянутого светло-коричневой свиной кожей английского гарнитура, в который, возможно, изредка погружался и Крлежа, чтобы сердито высказать свое мнение по поводу свинства и позорных явлений в духовной жизни, в литературе, политике, истории,— словом, когда Мици все привела в порядок, она постучалась к наставнику их обоих, исповедаться: свой долг она выполнила, все закончила, в жизни у нее больше нет никакой цели, она решила покинуть этот призрачный мир.

«Вы действительно сделали все, что должны были сделать?»— прозвучал последний строгий вопрос.

Ответ: «Да. Все».

Противоречащий всяким условным правилам, пустой псевдочеловечности, всяческому конформизму ответ друга, отпущение, последние обращенные к ней слова звучали как в финальной сцене какой-нибудь трагедии, еще не написанной Крлежей: «Что ж... тогда я не вправе мешать... я согласен».

И Мици, получив одобрение единственного человека, чье мнение что-то значило для нее, уже с полной уверенностью в правильности своего решения — хотя последнее свое намерение она выполнила бы и в том случае, если бы не получила согласия друга и покровителя!— вернулась домой, подарила прислуге свое пальто — та как раз мечтала о таком — и отослала ее на несколько дней в отпуск, в деревню...

Мици осталась в доме одна.

И открыла газ.

И с умиротворенной душой покинула этот мир...

Каждый раз, когда в течение тех полутора часов речь заходила о смерти Шинко и его жены — к этой теме мы возвращались снова

и снова,— наш хозяин, теперь уже полный доверия и дружелюбия, ни разу не сказал: «умер, умерли»; он пользовался другим глаголом: «ушел, ушли».

Словно двое влюбленных, прожив полную испытаний, бездомную, трудную, бунтарскую, творческую жизнь, просто пошли прогуляться, полюбоваться цветами на Мирогойское кладбище, как мы с Анной, когда ходили на их могилу — в тот самый день, когда Крлежа устроил нам торжественный обед в ресторане в стиле модерн, на Штроссмайеровской площади,— и пока мы стояли в молчании на одном из красивейших в Европе, обнесенном высокой, как бы средневековой стеной кладбище, перед пуританской каменной плитой, на которой обозначены были, словно на табличке очередной их квартиры, два имени, они смотрели на нас, спрятавшись за разросшимся кустом дикой розы, держась за руки и улыбаясь...

Они ушли, и мы с Анной, как и он, Крлежа, знаем, ибо прочли каждую доступную строку Эрвина, знаем, что они еще к нам вернутся, Шинко и Мици, вернутся обратно в Дунайскую Европу, вернутся, если по-другому никак невозможно, в книгах Шинко, писателя, художника, философа, вернутся, держась за руки, вернутся в единую — наконец-то — венгерскую литературу, и они уже возвращаются, как раз сейчас, благодаря, в частности, усилиям Иштвана Бошняка, который с невероятной добросовестностью, граничащей чуть ли не с самоотречением — для молодого пишущего человека это немалая жертва!— посвятил себя созданию филологической базы этого возвращения.

Все эти вещи я должен буду когда-нибудь описать не в торопливых записках, а точно и тщательно, в неизвестно еще скольких главах романа о Загребе.

Когда-нибудь после.

Если успею.

И если успею, то опишу еще, как во время второго нашего визита в Загреб и второй встречи с Крлежей он — выше я уже упоминал это — по-королевски принял нас на обеде, в сецессионном ресторане на Штроссмайеровской площади, напротив лексикографического института, где нас, когда мы вошли, ослепили белоснежные камчатные скатерти, где на нашем столике нас ждали белоснежные же, накрахмаленные салфетки, шеренга хрустальных рюмок, тарелки из тонкого, почти прозрачного фарфора в окружении серебряных вилок, ножей и ложек, в середине — розовые гвоздики в вазе и, наконец, меню, которые метрдотель протянул нам едва ли не в дипломатическом досье.

Из угла, из-за круглого мозаичного фонтана, доносились тихие звуки рояля, словно воспоминание о модной в былые времена Tafelmusik [1], и украшения на потолке, как и вся атмосфера этого бесшумного, сецессионного, светлого зала, были пропитаны сдержанной ностальгией по эпохе Монархии, и витало тут какое-то прустовское настроение.

Сам Крлежа, аристократического, великосветского вида, habitué [2] здесь, обсуждая с официантом меню и выбирая из далматинских вин самое подходящее по аромату, галантно обращаясь к даме стола и угадывая ее даже невысказанные желания, казался живым памятником старому аристократическому миру.

Мне довелось видеть одного-единственного настоящего мужчину вот таким же внимательным и галантным по отношению к даме: это был Аладар Кунц [3], в Коложваре, в обществе красивой вдовы Домокоша Шипоша [4], в маленьком ресторане на улице Йокаи, где я сидел с ними, ради соблюдения приличий, третьим за столиком, в свои

[1] Обеденная музыка *(нем.)*.

[2] Завсегдатай *(франц.)*.

[3] Аладар Кунц (1886 — 1931) — венгерский писатель и критик.

[4] Домокош Шипош (1892 — 1927) — венгерский писатель; жил в Трансильвании.

двадцать лет не только подмастерье в литературе, но и ученик в школе хороших манер, польщенный до глубины души, что могу быть очевидцем как тактично и обворожительно, будто в какой-нибудь истории Круди или в романе Мараи, можно ухаживать за дамой.

Пруст на два десятилетия старше Крлежи и всего на пятнадцать лет старше Кунца.

Крлежа, Кунц, Пруст...

Сегодня, вчера, позавчера...

Загреб, Коложвар, Париж...

Но тот Париж, куда мы попадем после загребских памятных дней, мы уже никогда не опишем...

Эссе или роман?..

В необозримой, на целую библиотеку литературе о Прусте — только венгерские работы даже перечислить трудно!— восторженно думаю я, едва ли еще кто-нибудь сформулировал так же точно неслыханную способность этого француза обращаться воспоминаниями в себя, в свою душу, умение охватить заключенное в себе пространство и время как нечто единое, другое, по духу, по чувству, по культуре отличное от его «я», и в то же время слиться с этим другим, едва ли еще кто-нибудь вот так же уловил суть романного потока, воскрешающего все, что было в жизни одного человека, оживляющего давно случившееся, многопланового, широко разветвленного и в то же время целостного,— как сделал это тридцатитрехлетний Крлежа в своем написанном в 1926 году эссе о Марселе Прусте.

Блестящий перевод Иштвана Сели, столь же твердо считаю я, так же передает страстный напор мысли Крлежи, напор, который и делает его неподражаемым, абсолютным художником,— как Альберт Дердяи в семи (к сожалению, пока лишь семи) венгерских томах Пруста передает, позволяет почувствовать образную стихию французского писателя.

Волшебный текст Крлежи.

Эссе.

Роман.

Воссоздание «В поисках утраченного времени», ибо это эссе действительно заставляет читателя относиться к себе как к роману.

Вращающийся зеркальный шар, отражающий прустовское отражение времени.

И всего сорок пять страниц. Я перечитывал их снова и снова, как и другие эссе Крлежи, тоже переведенные Иштваном Сели, в которых писатель, свободно перемещаясь на огромных пространствах от раннего ренессанса до авангарда, от общечеловеческого до национального, от личного до общественного, играет и очаровывает чудесами европейского духа, взаимосвязью этих чудес, с таким убийственным сарказмом, с такой ледяной логикой подводя к своим, вспыхивающим подобно молниям выводам, словно фокусник-виртуоз в своих поражающих воображение номерах.

Будто играючи, но без малейшего мошенничества, не только с холодным рационализмом, но и с чутким, бережным, почти эстетским наслаждением он анализирует свой предмет, как, думаю, очень немногие в европейской литературе; он заставляет видеть модели своих эссе так же, как персонажей своих романов, сверху, с высоты своего всезнания, одновременно извне и изнутри, показывает в согласии с их структурой и внутренними законами, в их тождестве самим себе, проникая под поверхность предмета, представленного как целостное явление, с помощью логических, предметных и метафизических ассоциаций демонстрируя выходящие за пределы эстетического

опыта отношения, связи, разрывы связей, воссоздавая полную внутреннюю реальность предмета, что всегда выход и во внешний мир, так связаны звезда и созвездие, в которое она входит, ибо предмет, даже взятый сам по себе, в нашем сознании всегда больше самого себя.

Мне кажется, объяснение этой невероятной писательской и осмысляющей литературу мощи в том, что действительность как Восточной, как и Западной Европы, весь накопленный здесь опыт, вся история, литература, искусство, все особенности душевного мира у него, как говорится, в кармане.

Культура Европы в его прекрасных эссе присутствует, при всей ее двойственности, при всех ее различиях, как общая и единая, и в этом его позиция резко расходится с позицией тех западных мыслителей, для которых Восток просто-напросто не существует, а если и существует, то лишь в той мере, в какой он — продолжение или отражение Запада, и такая позиция — лишь обратная сторона столь широко распространенной на отсталом Востоке ненависти к Западу или — что одно и то же — подражания Западу и в конечном счете призрачного и бесплодного мифа самоценности и самоцельности.

Крлежа в его сражениях с двумя полярными, но одинаково догматическими пониманиями культуры старался не спрятать, размыть непримиримые антиномии, а напротив, увидеть и сохранить тождественность, общность, родство, и в этом он был человек и художник с подлинно европейской душой и духом, один из немногих истинных плюралистов, которым действительно чужд догматизм.

Истинным европейцем был он и в том, как единую, при всех ее различиях, Европу защищал, отвергая всякую агрессивность, от варварства, глупости, ненависти, от реакции и фашизма, от мифа об исключительности и от тоталитаризма.

Истинным европейцем он был и в том, как, оставаясь хорватом, хорватским мыслителем и писателем, всегда чувствовал самым близким себе человеком не кого-нибудь, а Эндре Ади, ибо, как и венгерский поэт, был беспощадным, бесстрашным критиком и разоблачителем грехов как собственной, так и любой другой нации.

(Будь он француз, англичанин, итальянец, испанец, немец, Мирослава Крлежу слышали бы по всей Европе; хотя книги его переведены на многие языки Запада, его там еще не слышат.

Тем хуже для них!

Но мы, венгры, тоже должны осознать, что весомостью он обладает не меньшей, чем Сартр, Камю или Мальро.

Для нас — даже большей: у него речь идет о нас.)

Все это, о Крлеже и о его творчестве, я должен бы написать подробно, обстоятельно, обдумав каждое слово,— если бы хватило смелости.

Но смелости не хватает.

Боюсь...

Боюсь. Даже если я засучив рукава возьмусь, не жалея сил и усердия, за эту задачу, то все равно скоро сяду в лужу. И в этих путевых заметках я до сих пор наверняка потому не писал о нем, что боялся.

Боялся, что буду раздавлен его величием, что все слова мои останутся жалким лепетом и даже как набросок будут несостоятельны — ведь его творчество: это романы, и пьесы, и поэзия!..— тогда как о тех часах, что благодаря счастливому случаю мы смогли провести в его обществе, я мог бы писать и писать без конца...

А эссе Крлежи!..

Из этой книги, «Кафе «Транзит», я выбросил один трюк: во Флоренции, размышляя о Фра Анджелико, я собирался было под заголовком «Я ли это писал?..» привести без кавычек две совершенно волшебные страницы, которые он сочинил о Фра Джованни да Фьезоле,

и лишь в последней фразе присовокупить: нет, это писал не я, а он, Крлежа...

Но мне стало стыдно, я отказался от дешевого соблазна — покрасоваться в чужих перьях.

Вот если б я сам способен был написать две такие страницы!

А если бы выяснилось, что да, способен, то, написав их, я никогда больше не взял бы в руки перо, твердо зная: вот и мне удалось коечто написать; и если бы я не привык хохотать над такими напыщенными понятиями прошлого века — от которых еще и сегодня у многих кружится голова,— как, например, «бессмертие», то я смог бы, потупив глаза, сказать о себе, в темной комнате, без свидетелей, чтобы в последующие сто лет надо мной не смеялись стар и млад, да и я сам бы себя высмеял за подобные высказывания: таких двух страниц вполне достаточно для «бессмертия».

Крлежа написал тысячи и тысячи бессмертных страниц.

Каждая строчка его останется на века...

Я, будучи невероятно тщеславным и бесстыдно нескромным, удовлетворился бы двумя такими страницами, как написанные им о Фра Анджелико.

Эссе о Прусте я уже и не поминаю.

Там — сорок пять страниц...

В дневнике Крлежи?..

Сколько тысяч страниц написал господин Крлежа?..

Свой последний роман — мы упоминали первые тома «Знамен» — писатель думает уместить в двадцати томах; если судить по первым двум, это будет тысяч тридцать страниц.

Когда эту весть, почерпнутую из самого что ни на есть первоисточника, я сообщу в Париже, на перекрестке бульвара Монпарнас и улицы Распай, отлитому Роденом из бронзы полубогу Бальзаку, он сдвинет свои косматые брови, встряхнет гривой спадающих на шею волос и молча повернется спиной к Ротонде, к кафе «Купол» и ко мне.

«Ничего,— продолжу я,— вы измените свое мнение, мэтр, когда прочтете «Знамена», прочтете здесь, под флюоресцентными фонарями Монпарнаса, при свете вечерних прожекторов; пока же от всего сердца пожелаем господину Крлеже осуществить грандиозную эту мечту, а поскольку он яростный антиклерикал, то попросим Господа Бога дать ему для этой работы много здоровья и сил!»

Побольше здоровья и счастья ему, хорватскому писателю, с которым нас, венгров, связывает так много; да и ему, с его беспримерным романом, венгры не безразличны.

В конце концов, он ведь не только учился в венгерской офицерской школе, этом военном университете — откуда и вылетел пулей,— но и критическое и самокритическое его сознание, его хорватское самосознание формировалось в духовном горне кружка Галилея, в атмосфере венгерского радикализма, под влиянием Оскара Яси, писавшего фундаментальный труд о национальном вопросе в бассейне Дуная, и бунтарской лирики Ади.

Именно там он учился видеть нас — как и своих хорватов — одновременно изнутри и извне; именно там учился с реальных философских и исторических позиций отвечать на вопросы: что такое хорваты и что такое венгры, что такое Вена, Монархия, нетерпимость, национальное угнетение и национальная агрессивность, вообще что такое история Придунайской Европы история подлинная, не закамуфлированная национальными мифами и ни капли не романтичная?

Крлежа вдребезги разбивает всю совокупность мифов о национальном и о классовом превосходстве народов, живущих в Дунайском

бассейне; и, о, как драматично, если не трагично правдива эта картина, правдива именно потому, что он на своем, личном, ценой крови обретенном опыте знает и свой и другие народы, в том числе нас, венгров.

Ведь какая-то часть его «я» тождественна нам; та часть, которая складывалась среди нас и с нами.

Так что мы отражаемся в нем, видим самих себя, как в величайших из его современников, в Ади, Морице, Бабиче, Кашшаке, Дери, Шинко, Ийеше, Ч. Сабо... я мог бы перечислять и венгров и других: румын, славян, чехов, сербов, словенцев, австрийцев — один бог знает, сколько их и насколько они велики.

Увенчанные терновым венцом, неразрывно сплетенные истории живущих здесь народов.

Друг против друга и друг за друга.

После ярких, как молния, мгновений подъема, после великих пожаров и кратких вспышек — долгие провалы в истории, до следующих, далеких, иных молний, бурь, катаклизмов, до рождения, в грохоте гибельных землетрясений, новых надежд — и опять руины, опять упадок...

Об этом же говорят и «Знамена»: вздымающиеся под новыми и новыми знаменами, рождающиеся в кровавых муках переломные моменты истории, которые, едва родившись, уже несут в себе свой конец, несут зерна иных, новых сил, сил, которые свергнут власть тех, кто стал прошлым, которые заведомо беременны гибельными для них бурями, чтобы закономерный круговорот смены власти повторялся затем снова и снова...

Писатель этот не пессимист, он всего лишь — большая разница! — скептик: эмоции не уводят его с верного пути, страстность его есть нравственность критического разума.

Вот к чему я пришел, не только читая его книги, не только напряженно переживая его пьесы, но и размышляя над двумя нашими беседами и несколькими письмами: творчество и человек, писатель и его произведения тождественны, неразрывны друг с другом.

Гений, принадлежащий одному народу — и всему бассейну Дуная, всей Европе,— он, возможно, и есть та модель человека, которую строил, воспитывал в себе Ласло Немет и которая есть историческая целесообразность — пусть она кажется лишь рационалистической фантазией — в его этической утопии о Восточной и Центральной Европе.

Крлежа не изображает утопий: они для него заведомо — мифы.

Он — философ фактов, а не фантазий.

Он — из породы Декарта, Монтеня и Монтескье, редкий зверь в Дунайской Европе, повторяю, человек не сантимента, а ratio, неумолимого разума, бескомпромиссности.

Действительно, какой это огромный, поистине ренессансных масштабов художник, с высочайшей мерой морали, взирающий на людей с высоты нравственности ума, эпик, поэт и философ грехопадения, краха, провалов...

Но, великий он или средний, может ли быть для писателя награда лучшая, чем редкое слово признательности, слыша которое он ощущает себя «отварной рыбой, которую смазывают майонезом»?

Не «власть», не тиражи, не деньги — когда они есть (а когда нет, откуда им взяться?),— не овации, не лагерь приверженцев, не звания, не поклонение, не торжества, не манипуляции, не слава, не пресса, не факельные шествия, не музыка сфер, не премии, которые — за редкими исключениями,— появляются благодаря закулисным играм, взаимным услугам, кланам, тактике, конъюнктуре — и поэтому Крлежа, конечно же, не получил Нобелевской премии,— не эти и им подобные вещи, а услышанное иногда, очень редко, одно слово, одна фраза ото-

двигают живущую в каждом сердце, ноющую, чуткую к свету и тени тоску по признанию, по пониманию и приносят минуту спокойной уверенности, что быть писателем — это не праздное дело, не игра в бирюльки, а трудная, но нужная работа по созданию республики духа и человечности; ради этого стоит быть писателем.

В республике духа, чье население, даже если оно и сбивается воедино под знаменем самых высоких идей: гуманности, демократии, разума,— все равно остается сборищем разномастных, друг другу противоречащих, стремящихся обойти друг друга, а то и господствовать друг над другом умов; таким оно было в истории обществ всегда — будителем прогресса и его жертвой, в плюрализме своем и залогом свободы, и угрозой ей.

Но — существует ли свобода?

Если она существует, то где искать ее?

Вне нас?

Внутри?..

В третий раз мы уже не увидели в Загребе Крлежу, и все же он был с нами, куда бы мы ни пошли, куда бы ни посмотрели: он был везде.

Первую нашу встречу он упоминает в своем «Дневнике», опубликованном еще перед второй встречей...

Из книги «Западное кафе»

Что сказал бы на это Аполлинер?

Что сказал бы на это Аполлинер?

Что сказал бы он о вакханалии, разыгравшейся здесь прошлой ночью и по размаху соперничающей с карнавалом в Рио, о тех дурачествах, о той атмосфере, которые, даже не знаю, сумел ли я описать? Ведь когда-то, в начале века, он был некоронованным папой здесь, в этом уголке Парижа. Вот и Мари Лорансен изобразила Аполлинера на троне в виде владыки римской церкви, изобразила черной тушью, летящим штрихом, с трубкой в углу рта, с часами на левой руке, с поясом священника на объемистом животе — уж Мари-то знала, каков он, этот живот, и не только прикрытый одеждой,— с папской тиарой и с папским посохом в правой руке, с перстнем на пальце [1]. Или что он сказал бы на то, что отсюда, от лавки фанатиков Букен, от роскошного бистро, от «синема» и от проданной с аукциона старой пивной «Бильбоке» всего пара шагов до улицы, названной в 1963 году в его честь рю Гийом Аполлинер — пожалуй, самой коротенькой из крохотных улочек, каких в Париже несчетное множество,— на этой улочке, кроме таблички с белыми буквами на синем фоне, мы ни на одном из домов не найдем признаков почтения к нему, не прочтем, что здесь жил, писал, умер один из величайших франкоязычных поэтов века. Мы пишем пока «франкоязычных», ибо он был кем угодно, только не чистокровным, исконным французом, ни капли французской крови не «текло в его жилах», а был он полуитальянцем, полуполяком, говорившим по-французски, ну и — по матери, мадам Ангелике Костровицкой,— полуграфом; но вот мой дед по матери тоже был поляк, настоящий Бернацкий, но не граф, не придворный, а всего лишь цирюльник в Österreichisch-Ungarische[2] армии, буйствующей в Каринтии, усмиряющей итальянцев и словенцев, однако, будучи поляком, он состоял в некоем родстве и с польскими графами, в связи с чем я, будь здесь попрохладнее и будь я, подобно «франкоязычному» поэту, сочинителем легенд о самом себе, мог бы написать,

[1] Вероятно, Мелиус ошибается: описанный шарж принадлежит Пикассо.

[2] Австро-венгерской *(нем.)*.

что в каком-то там колене состою в родстве в Вильгельмом-Альбертом-Владимиром-Александром-Аполлинарием Костровицким,— чем бы и обеспечил впоследствии повод для здорового и злорадного хохота, обеспечил бы надолго, пока существует наша окраинная литература, пока она не канула в великое ничто,— но ходил и такой слух (говорили, что сам он его и придумал), будто римский папа зачал его с графиней Ангеликой-Александриной Костровицкой в своей ватиканской постели под балдахином, так что, может быть, именно это имела в виду Мари Лорансен, набрасывая свой рисунок [1]. В метрическом свидетельстве Аполлинера, конечно, не фигурирует имя подлинного совратителя графини, итальянского поместного дворянина и офицера Франческо Флуджи д'Аспермона, который подарил молодой полячке и второго сына, возложив на нее заботы по воспитанию обоих детей; эти заботы молодая мамаша облегчала себе за игорным столом и с помощью там же найденных покровителей, пока не обрела себе постоянную любовь и опору. Там, в школах и на улицах Лазурного берега, и стал франкоязычным итальянско-польский внебрачный ребенок, впоследствии Аполлинер. Задним числом спешу записать на полях, что в Монте-Карло, на стене одной гимназии, стоящей на склоне горы, я видел большую мраморную доску, которая сообщает хвастливо, что здесь учился великий поэт. Этот «нефранцуз» стал тем не менее ослепительным светочем французской литературы, которого коренные французские шовинисты, реакционеры, ультраконсерваторы обзывали «sale métèque» [2], паршивым проходимцем и еще русским, что на их расистском наречии означает: галицийский еврей с пейсами, но называли и прямо «грязным жидом», даже жидовским наемником; нынче, после недавних бурь 68 года, если бы он был еще жив, они прошипели бы, отлучая его от «grande nation» [3]: «Кон-Бендит». Ведь поэт, даже если у него и не было четких кредо, «программ» и утопий, всегда парил над катастрофически разрастающимися мусорными кучами их фанатического и всегда настроенного на насилие шовинизма, всегда в голубой вышине открытых для человечности духа и чувства, как те фигуры в кафтанах, влюбленные и скрипачи на крышах у Шагала, освобожденные от всякой унизительной ограниченности, заземленной мелочности, вредоносной глупости, агрессивного невежества, среди чистых красок и туч, несущих благотворный дождь, в ясной прозрачной музыке — в поэзии. Да, поэтический язык Аполлинера больше всего напоминает язык живописи Шагала... Этот «франкоязычный» поэт был, ей-богу, больше французом, чем те публицисты и политики, что воспевали французскую косность. Да, французом. Это и стало причиной, от которой умер «sale métèque», чужак, незаконнорожденный проходимец, космополит, освоивший, вобравший в себя все столетия французской поэзии,— да-да, не его растворила французская стихия, а он ассимилировал все, что в ней было самого национального, самого непреходящего: самого общечеловеческого, все, что было в ней совершенство, и человечность, и народ, улица и город, Париж, небосвод, стремительная вода и мосты над ней, и истинность духа, цвет, музыка,— ассимилировал, чтобы создать новую французскую поэзию, отрицая и продолжая,— прошу прощения за уже ставший шаблонным оборот! — творя иное, отличающееся от всего прежнего — это «иное» тоже стало уже общим местом,— и в конце концов продолжая только Бодлера, Лотреамона, Нерваля да еще включая сюда Уитмена, включая всю, вплоть до сегодняшнего, до завтрашнего дня, вселенную слова, старой и новой поэзии. Которая в одно прекрасное утро тоже превратится в прошлое, станет вчерашним днем, традицией, и найдутся

---

[1] Существует легенда, что Аполлинер — внук Наполеона I; версия, приведенная Мелиусом, в нашем литературоведении не упоминается.

[2] Грязный чужак *(франц.)*.

[3] Великая нация *(франц.)*.

люди, которые отшвырнут ее как отслужившее свой век старье. Теперь, по прошествии стольких лет, заметим на полях нашей рукописи: Аллен Гинсберг написал о нем одно из величайших поэтических произведений последних десятилетий, «У могилы Аполлинера»; без него, как и без Уитмена, не стала бы самою собой и поэзия битников 60-х годов. Не в одиночестве, а вместе с товарищами по поэзии и искусству, каждый из которых был ни с чем не сравнимой, неповторимой звездой, он шагнул через символизм и импрессионизм, достиг человеческой универсальности, подлинной современности двадцатого века. Достиг свободно. Ведь об этом как раз и шла, идет речь: быть свободным. Молодым, тридцативосьмилетним он погиб от того, что прежде всего и в конечном счете был французским поэтом. Французским.

Его поносители оставались в мировую войну в добром здравии, наслаждались остро приправленным бараньим жарким, пикантными соусами, тягучими винами, строчили восторженные передовицы и произносили пламенные речи, Аполлинер же вступил во французскую армию добровольцем, и осколок гранаты, пробивший синюю стальную каску, вонзился в череп ему в той самой точке, которую друг его, Кирико, в 1914 году, в год начала войны, возможно даже еще до ее объявления, пророчески обозначил над его лбом, на беломраморной голове молодого греко-римского бога, на голове Аполлона в пенсне с черной оправой, а на заднем плане, на криво висящем подносе, была нарисована то ли жареная, то ли дохлая рыба — французский консерватизм? — и загадочный профиль с тенью, может быть, профиль того немецкого артиллериста, который 17 марта 1916 года, ни о чем не подозревая, повернул в его сторону ствол своего орудия. Аполлон, которого французы, как и греки, зовут Аполлоном, а не Фебом, в их энциклопедиях — бог света; в течение столетий мифы об Аполлоне все разрастались, легендарные его свойства все умножались и умножались: провидец, бог музыки и поэзии, покровитель муз, в одно и то же время воин и добрый пастырь, очиститель и лекарь-знахарь, а как бог солнца он мстителен и неистов, часто им движет безрассудная ярость... Кирико, рисуя его портрет, не просто был предсказателем: изобразив голову Аполлона, он творил его миф (его мифологию), Аполлинер-Аполлон перенес чуть ли не смертельное ранение, когда осколок пробил ему височную кость и задел мозг; перенес он и операцию на мозге в Париже; но истерзанный организм его был сражен беспощадной — беспощаднее шовинистической ненависти — лихорадкой, вызванной эпидемией испанки, обрушившейся на Европу подобно атомному удару. Не будь раны на голове, могучий его организм одолел бы смерть. Так что в конце концов он умер от этой раны. Он добровольцем ушел во французскую армию, никто его к этому не обязывал. Почему? Биографы лишь строят догадки на этот счет. Может быть, вследствие неудачной любви? Ради куска хлеба насущного? Ведомый жаждой приключений? Из любопытства? Играя в какую-то игру? Играл он всегда. Играл различные роли для собственного удовольствия, для того, чтобы позабавить друзей и вызвать возмущение врагов, из тщеславия, для того, чтобы нравиться. Может быть, демонстративный его поступок был ответом французским шовинистам? Может быть, таким ответом было и то, что он, словно стремясь утвердить свое право умереть за Францию — и весьма удивив читателей — тоже заставил звучать патриотическую лиру? Как бы тем самым злорадно показывая язык шовинистам-ксенофобам: дескать, смотрите, «sale métèque» и на такое способен. Он еще переплюнет крикунов, брызжущих от злости слюной, он, мастер-виртуоз французского слова, французского стиля, его многоцветия и парения — повторите за ним, если сможете! Но, конечно же, вскоре он бросил эти ярмарочные фокусы... Задним числом мы вставляем сюда мнение Дюлы Ийеша, высказанное в беседе с Ласло Ч. Сабо (70-е годы): Аполлинер, утверж-

дает Ийеш, был «фанатиком-шовинистом»; правда, чуть дальше Ийеш немного смягчает свой приговор: «Прекрасно, когда человек, пусть даже преувеличивая, любит приютившую его родину». Так ли? Аполлинер был ведь не эмигрант, а от рождения человек без родины, который сам выбрал себе место для обитания. Эмигрант, пригретый другой страной, потерял свою настоящую родину, утратил корни, сформировавшую его личность среду, утратил чувства, мечты — все то, что живет в нем отныне лишь в форме воспоминаний. Аполлинер же не потерял, а напротив, обрел родину, которой у него не было прежде; его безграничная любовь к свободе помогла ему осознать: его родина — Франция. Ну, а мнение Ийеша, будто Аполлинер был «poéte mineur»? С этим мы даже спорить не станем. Даже самые великие, бывает, употребляют неудачное выражение или просто ошибаются в оценке; от своей промашки они не становятся менее великими; ошибался, бывало, и Ади. А уж как ошибался Эзра Паунд; но ни один из них не стал от этого «poéte mineur», в переводе — поэт без больших претензий, невысокого полета; Ч. Сабо, перебив собеседника, попытался смягчить его слова, переведя уничижительное французское выражение как «малый мастер»: ведь «малый мастер» — все-таки мастер. К первому сборнику Аполлинера, изданному в Венгрии Миклошем Радноти и Иштваном Вашем в 1940 году (!), предисловие написал Ч. Сабо. Но, возвращаясь к вопросу о «ненависти Аполлинера к немцам», о его «презрении к бошам»: кто в конце концов начал первую мировую войну — не дунайская ли kaiserlich und königlich империя в союзе с прусской, насквозь солдафонской Германией? Империю эту бичевал, например,— и как еще бичевал, какими безжалостными словами! — и австро-немецкий писатель Карл Краус. Настоящее «предательство родины»! А все творчество Музиля и Кафки? И ведь Барбюс тоже добровольцем пошел воевать против немцев. И даже, почти еще мальчиком, итальянец Малапарте. Правда, Жан Жорес, когда разразилась война, был убит французской же пулей. Это Аполлинеру, ей-богу, стоило бы принять во внимание! А Костолани в 1919 году, в то самое время, когда Ийеш бежал в Париж, стал сотрудничать в «Новом поколении», поддерживавшем контрреволюцию. И вообще в годы между двумя мировыми войнами чего только не случалось в литературе, чем только не грешили писатели? Аттила Йожеф грешил против Бабича, Бабич против Аттилы Йожефа, и во всем этом было, пожалуй, некоторое классовое предубеждение. А во вторую мировую войну? Мы уже поминали Эзру Паунда. Он был осужден за военную агитацию. Что же касается француза Жионо, чьи вещи до того времени переводил на венгерский язык Ийеш — Ийеш же уговаривал его бежать в Венгрию,— то он выбрал дружбу с Гитлером, за что и был после войны посажен в тюрьму, однако французы забыли его прегрешение, все простив ему за его выдающиеся послевоенные романы, причем за одну только художественную их ценность: в них не было и тени политического покаяния. Но примеры можно множить и дальше. Селин. И упомянем немцев. Эрнст Юнгер. И не забудем споткнувшихся, потерявших себя писателей в разных странах Дунайского бассейна. Назвать имена? Боюсь, кровля вспыхнет у нас над головой при одном лишь упоминании их имен. Ценность — это некая особая категория. Да простит меня Дюла Ийеш за эту полемику, в которой я ведь даже не привожу мнений величайших французских умов об Аполлинере. Если я спорю с ним, я вовсе не подвергаю сомнению его суверенное право думать о французском поэте так, как он считает правильным. Был у нас и такой спор — где я его защищал от него же,— который он так и не смог мне простить...—...— Еще более позднее дополнение: Дюла Ийеш умер. Ушел, чтобы вечной звездой сиять между звездами, чьи имена — Ади, Бабич, Костолани, Аттила Йожеф, Радноти. На косяке двери моего кабинета прикреплен текст «Одной фразы...», а за моим письменным столом, на двери мореного дуба, его цветное фото

на обложке журнала, в верхнем углу его — несколько сухих, коричневых липовых листьев с осеннего кладбища, что находится возле нашей энлакской церкви со старинными письменами. Будь я французом, я всегда бы видел на этом месте Аполлинера, а вместо липовых листьев там были бы пришпилены несколько высохших цветков из Ниццы... Словом, Аполлинер, по свидетельству современников, скоро бросил свое провокационное, вызывающее франкоманское, ура-патриотическое молодечество. У него — даже на фронте — было более важное дело. Любовь. Он как бы старался доказать всем и каждому — чем до сих пор он никогда не занимался, ибо жил и писал в конечном счете так, словно нес за это ответственность исключительно перед самим собой,— что тем «франционалистическим» бардом был совсем не он, не Аполлинер. Самый богатый и самый серьезный французский словарь имен собственных (Dictionnaire Universel des Noms Propres) называет Аполлинера «mystificateur» — фокусником, мистификатором. Обманщик, попросту говоря, даже если этот обман — шутка, игра. И действительно: он сочинял легенды о событиях, о других людях, о самом себе — незаконный сын папы римского! — однако подлинная реальность в том, что поэт сочинял, творил поэзию — как наяву, так и во сне — даже в те моменты, когда не сидел с карандашом в руке за мраморным столиком кафе «Флора» и не записывал строчки на крахмальном манжете по дороге в другое кафе, остановясь где-нибудь перед витриной антикварной лавки. Так что вовсе не Франция усыновила его, наоборот, он удочерил Францию, и не эмпирическая действительность, не очевидные вещи заковали его в свои цепи — он не описывал того, что его окружало,— наоборот, он раздвинул реальность силой своего неустанно бурлящего воображения, перешагивая через правила, чтобы посредством фикции проникнуть за рамки, границы непосредственной реальности в реальность, находящуюся за этими рамками, ибо за любой реальностью, или после нее, есть иная реальность, а за нею — снова иная. Да, перешагнуть через самого себя, посредством написанного ли, произнесенного ли слова, посредством воображения. Он был поэт. И в своей поэзии он воплотил — как самого себя — самый что ни на есть реальный образ Парижа. Современники называли его «briseur des conventions» — разрушителем условностей. Он разрушил традиционный стих — не только он, но и он среди прочих! — чтобы создать поэзию тотальную, охватывающую все сферы жизни и воображения. И сделал он это ради человека. Причем не пытаясь из своего подхода к поэзии сотворить закон, правило, предписание, приказ, диктатуру, догму. Ведь именно против всего этого и восставала его личная жажда свободы. Отпрыск римского папы? Да если бы на такую мистификацию, пускай на гораздо более скромную, отважился писатель в нашей маленькой литературе, если бы его поймали на этом обмане — пускай самообмане,— если бы он так, или пусть в меньшей степени, дал волю своей фантазии, то есть, попросту говоря, заврался бы, то немедленно, раз и навсегда лишился бы гражданского авторитета и даже как писатель непоправимо упал бы в глазах публики. Лгать у нас позволено лишь такому «писателю», который не писатель. У французов же подобные вещи — не более чем забавная, остроумная шутка, которая может быть даже очаровательной, вызывать эстетическое наслаждение; но всерьез принимается в расчет у писателя только и исключительно художественная ценность, только законченная, блестящая мысль, оригинальность стиля, образов, текста, интеллект и эмоциональность, чистота, блеск и сила человечности. Во всем этом, то есть в произведении,— характер поэта и возможность одолеть время. Все остальное — легенда, словесный сор, табачный дым, который спустя минуту, час, год будет вытянут из шумного зала литературного кафе электрическим вентилятором... Если бы в пророческом видении Кирико, в его фантастической, вполне в духе Аполлинера версии живописца висок поэта не соприкоснулся

с осколком гранаты (поэт в конечном счете любил немцев, несколько лет он жил на берегу Рейна, в доме одного немецкого аристократа, о его отношении к немцам свидетельствует и тамошняя его любовь, и стихотворение о «двух берегах»),— не знаю, как именно, но если бы он, пройдя тридцативосьмилетний рубеж, дожил бы как-нибудь, что совершенно невероятно, до второй мировой войны, то его вместо роковой испанки наверняка свалил бы с ног в каком-нибудь адском лагере, под свастикой, голод, холод, вши, побои, дизентерия, и в завершении всего его бросили бы под розетку газовой камеры, а оттуда его останки затолкали бы в куче трупов в электропечь крематория, материал для которой, превращающийся в вонючий дым, поставляли и французские националисты, как и националисты других стран в оккупированной нацистской Европе. Его просто нельзя было бы не сжечь. И его книги, и его самого. Он был поэт. Он был человек. Он написал — нисколько не «подстрекательского», не «шовинистского» — «Латинского еврея...», он даже в Праге любил бродить в еврейском квартале, глядя на идущие назад стрелки часов на башне синагоги; завсегдатаи кафе поминали его как юдофила, он знал священные книги евреев, история этого народа, всюду бездомного, весьма его занимала, он интересовался каббалистикой, некоторые его стихи заставляют вспомнить Гейне, и если он питал такой странный интерес к евреям, к иудаизму, то, вне всяких сомнений, одна из причин этого была в том, что, будучи французом с польско-итальянской родословной, особенно благодаря своим польским предкам, он для французской реакции был — мы уже писали об этом — не что иное, как «métèque», или, пользуясь ходячим в Венгрии тридцатых годов словом, «недофранцуз», что равнозначно презренным, грязным евреям, которые — в отличие от тех, что влились в высшую финансовую аристократию Парижа,— жили в особом квартале, Жюивери, на правом берегу Сены, откуда видны башни собора Нотр-Дам. Да, ксенофобия... Болезненная боязнь чужаков, становящаяся питательной почвой для ненависти к другим вообще; ведь человек, если он чего-то боится, хочет освободиться от объекта своей боязни, исключить его, уничтожить. В этом смысле Аполлинер был действительно равнозначен «евреям». И может быть, на фронт он отправился все же не ради игры, а чтобы защитить то, что и в самом деле принадлежало ему, защитить Париж, столетия французского духа, соборы Парижа, его многоцветный и все же неизменно тождественный себе самому дух, защитить друзей, книги, картины, мастерские литературы и искусства, защитить Пикассо и Мари Лорансен, Руссо-Таможенника на стене своей мансарды, свою постель, дым из трубки, весь порядок царящего тут беспорядка, защитить свои кафе: «Флора», «Дё Маго», «Клозери де Лила», и свои бистро, и мелочную лавчонку, где он покупал табак для трубки, и свой повешенный на гвоздь в день ухода в армию котелок — который французы называют «melon», то есть дыня и... и... и мост Мирабо... И что бы он, интересно, сказал об этих, спустя много лет посвященных ему страницах, написанных таким же бродягой с Востока, которого также, и не раз, называли там, на Востоке, «sale métèque»? (Задним числом дополним эти написанные давно строки: называли его и Кон-Бендитом, с тем оттенком, что, дескать, и Кон, и к тому же еще и бандит, но два писателя, европейский народник и урбанист-европеец, Шандор Каняди и Золтан Панек [1], подхватили этого бродягу с двух сторон и объяснили: не стоит обращать внимание на такую чушь! Если бы и Аполлинеру растолковали это, может быть, он не отправился бы на передовую и, хотя и столетним, жил бы до сих пор. При условии, что его не бросили бы в печь гитлеровцы...)

[1] Шандор Каняди (род. в 1929 г.) — венгерский поэт и переводчик. Золтан Панек (род. в 1928 г.) — венгерский писатель и журналист. Живут в Трансильвании.

С порога смерти

Вернувшись с порога смерти, с передовой линии светопреставления первой мировой войны, оставшись в живых, Аполлинер занимал в Париже всякого рода военные тыловые должности. Был он и цензором полевой почты, причем в такой армейской канцелярии, где письма появлялись от случая к случаю, если не считать писем, автором которых был сам Аполлинер: писем-стихов, или стихотворных писем, он написал друзьям целый букет. Синюю свою униформу с лейтенантскими знаками отличия он носил и вне канцелярии, словно специально придуманной для него; носил и дома, в своей голубятне, и здесь, во «Флоре», на знаменитых «средах», развеселых и шумных, в пять часов вечера, в час английского файфоклока, где он встречался с поэтами-ровесниками и сидел за одним и тем же столиком, на центральном месте, с охватывающим голову металлическим обручем, который скрывала белоснежная марлевая повязка. Естественно, ни один из друзей-живописцев не мог удержаться, чтобы не увековечить героя. В это время Аполлинер уже был знаменитой, даже легендарной личностью. С военным своим крестом, красующимся на груди, он не расстался бы ни за что на свете — хотя бы уже для того, чтобы подразнить — он, «métèque»,— «франционалистов». Военная награда! Крест за храбрость! Дед его, граф Костровицкий, театрально позировал фотографу или портретисту в польском шляхетском камзоле с брыжжами, а возможно, и ватиканском бархатном одеянии, так как, в соответствии с уже упомянутой выше энциклопедией Робера, вельможный пан имел ранг папского камергера... Логика ассоциаций заставляет нас сделать здесь вставку: может быть, против этого аристократизма и взбунтовалась дочь графа, Ангелика и, ведя — по чопорным буржуазным понятиям — распутный, точнее, свободный образ жизни, передала в наследство сыну-поэту гены своего бунта... На левом боку у графа висит изящная шпага с крестообразной золотой или серебряной рукоятью, аристократические икры обтянуты тесными голенищами сафьяновых сапог, на талии — широкий, в ладонь, заставляющий выпячивать грудь пояс с золотой или серебряной пряжкой, на груди, слева, почти у самого плеча, шесть сверкающих золотых или серебряных наград, и замыкает этот ряд блестящий металлический крест, добытый (не то что крест внука!) не в бою, а скорее всего свидетельствующий о принадлежности к Мальтийскому рыцарскому ордену,— и тоже из золота или серебра. Тщеславие внук вполне мог унаследовать от него, хотя этот внук и писал стихи пролетариям именно под таким названием: «Au Prolétaire»... Но, будучи тщеславным, Аполлинер никогда не проявлял склонности к барству, диктаторству, самодурству. Тем сильнее была в нем склонность любить людей. Любить других и заставлять любить себя. Что касается второго, ему казалось, что он обделен, что «его плохо любят». Не расстался он и со своим пробитым стальным шлемом, напоминающим половинку дыни, и поскольку носить его на бульварах Парижа или во «Флоре» было бы смешно, он поместил его на почетное место в своей комнате, рядом с той трубкой, которую курил, когда его ранило (табачная смола в трубке давно засохла, окаменела), выставил для себя, для Жаклин — первая женщина, которая согласилась стать его женой и самоотверженно, преданно цеплялась за свою любовь до самой смерти Аполлинера, да и после нее, которая одна не любила его «плохо»,— для навещавших его друзей как своего рода memento: он должен скоро умереть, так предназначено судьбой; в произведениях своих он повторял постоянно, ибо твердо знал: он должен умереть. Умереть для всего мира. А мир означал для него поэзию, любовь к женщинам, любовь к ближнему, дружбу. Действительность становилась действительностью в его душе. Действительность для него — это воспринима-

емое чувствами бытие, воображаемая и воплощаемая в образы фикция, бытие, которое прекрасно, которое переполняется любовью и в ней, в физической любви, достигает вершин и растворяется, как и должно быть, да, прекрасное, несчастное, губительное бытие, которое всегда Сейчас, и в то же время — воспоминание, и мечта, и perpetuum mobile видений и собственно воображения,— вот он, мир, его мир. А ему предстоит умереть. Как бунтарям и повстанцам под нацеленными на них стальными дулами, которые они видят в последний момент. Его последний момент тоже длится до бесконечности. Ему предстоит умереть. И что бы там он ни говорил в патриотическом угаре начала войны, умереть не ради «gloire» [1] хмельных шовинистов, не за их прикрытое драным трехцветным флагом национальное величие, которое в этой войне, как и в любой войне, основательно потрепали немцы, ничем не лучше, чем они. Их Толстая Берта, Diecke Berta, гигантская чудо-пушка, величайшее орудие первой мировой войны, обстреливала Париж. Обстреливала и в тот час, когда они с Жаклин венчались в церкви святого Фомы Аквинского, расположенной неподалеку от кафе «Флора» и от дома 202 на бульваре Сен-Жермен. Толстая Берта как бы предупреждала: ему предстоит умереть. Цветные, со свинцовыми переплетами, готические окна маленькой церкви вздрогнули не от торжественных залпов, как оно полагалось бы, а от грохота Толстой Берты, которая гремела и в тот час и день, 14 марта 1916 года, в Буа де Бютт, когда поблизости разорвался стопятидесятидюймовый снаряд и осколок его, просвистев, пробил сталь его каски и впился в височную кость. (Позже, из прекрасной книги об Аполлинере, написанной Палом Резом, я узнал, что в тот момент он читал свежий номер «Меркюр де Франс», сидя в только что выкопанной траншее). Немецкое орудие обстреливало кафедральный собор французской поэзии, который строился и из его слов, из его рифм, ритмов, аллитераций, образов, из связей его свободных строк, из его строф, но который война не смогла бы разрушить даже в том случае, если бы сам поэт был убит прямо в траншее и даже если снаряды превратили бы столицу европейской мысли, столицу европейского гуманизма в огромное поле руин, сровняли Париж с землей, как американская атомная бомба — Хиросиму. Можно разрушить, истребить город, народ, язык, но слова духа, поэзии, мысли останутся вечно, останутся, чтобы возглашать на весь мир, что убийственная ярость варварства, звериного безумия не смогла стереть их с лица земли; они останутся, даже погибнув, превратившись в память о языке, в призрак языка... Все говорило о том, что скоро ему предстоит умереть. Умереть в наказание за голос, за его собственный голос, который во вселенском обновлении двадцатого века звучал вместе с голосом Мореаса, Шарля-Луи Филиппа, Поля Фора, Сандрара, Кокто, Бретона, только что вылупившихся сюрреалистов, которых именно он нарек этим именем. Все они умерли после него. Они сидели здесь, рядом с ним и вокруг, за сдвинутыми мраморными столиками во «Флоре» — как мы спустя десять — двадцать лет, в Коложваре, в кафе «Палас» и «Нью-Йорк», или в шестидесятых годах, в бухарестском кафе «Атене»,— низвергая миры и творя новые, и, конечно, им в голову не приходило думать о том синдроме подозрительности и страха, что возникнет позже, став едва ли не знамением XX века; им в голову не приходило, что кто-то будет писать тайные доносы о их непочтительных речах, что кто-то из них станет шпиком; более того, они пока не могли даже думать о том, что погрузившийся в свою газету господин за соседним столиком с помощью потайного аппарата записывает их разговоры на магнитную ленту: ведь тогда и магнитной ленты не существовало. Жарри опередил их всех, в своем «Юбю», высмеяв земную власть, безумное желание силой завладеть всем. С ним они до

[1] Слава *(франц.)*.

самого 1907 года — когда Жарри умер — сидели в «Дё Маго», хохоча над бесконечными тирадами Юбю, которым улыбалась даже колокольня Сен-Жерменской церкви против их окна. Пикассо, Руссо-Таможенник, ближайшие его друзья, а также Кирико, Мари Лорансен, которая плохо любила его, постоянно терзала и даже спустя много лет после того, как ушла от него, и спустя много лет после смерти поэта все еще поносила его, затем Модильяни, монпарнасский самоубийца, Леже, Хуан Грис, Делони, Дюфи, Брак, Вламинк, Дерен и опять же Кокто — огромных размеров фрески в зале бракосочетаний Ментоны, в церкви на Лазурном берегу,— Ларионов, Метценже... Все они хоть раз да увековечили его, больше всех — Пикассо. О них, для них, с ними, из них говорил он; еще когда их высмеивали, как перед тем высмеивали импрессионистов. Все они творили параллельно ему. Все они умерли. Умерли и его музы. Все, чьи имена проходят через его поэзию, все они плохо любили его, кроме последней рыжекудрой красавицы; все они были его любовями: Марей, еврейка Линда; Анни Плейден, очаровательная англичанка; Мари Лорансен, с которой его изобразил Руссо-Таможенник; Лу, графиня с Лазурного берега; Мадлен; и все те, кого он не назвал, женщины на час; наконец она, Жаклин — она тоже знала, что ее поэт скоро должен умереть... Но да не останется не упомянутым тут Шагал. (Эва Гергей уже закончила редактировать эту книгу, когда сегодня, третьего марта 1985 года, транзистор у меня на столе проскрежетал: в мафусаиловом возрасте, достигнув девяноста восьми лет, в Вансе скончался Шагал; после завершения чернового варианта «Западного кафе» мы с Анной еще видели огромное, на целую галерею, количество его картин, «написанных» на темы Ветхого завета; это было более десяти лет тому назад, в Ницце, в персональном его музее на склоне горы, и там, в этом музее, я тоже думал об Аполлинере, но не сцены из Ветхого завета побудили меня к этому, а скорее то, что в творчестве их обоих поэтичность слов и образов отражает, мне кажется, некий общий славянский колорит, что-то идущее издалека, с Востока, из древности; вот и сейчас он, Аполлинер, побудил меня вспомнить Шагала, которого я люблю за постоянное ощущение чуда, насыщающее его полотна, и с которым я здесь прощаюсь: и с Шагалом, и со всеми остальными — словно в добавлении этом, в скобках, прощаюсь со всем нашим веком и почти уже и с самим собой. Скобки закрываются...) С ними, среди них жил и писал Анри Эрнтц, он бывал у Аполлинера, в его гнезде с покатым потолком, между небом и землей, и по средам, во время встреч, сидел с ним в кафе, за сдвинутыми столиками, и знал о нем так много всего, чего не знали другие; к нему, к мертвому, он обращался, когда писал в журнале «Эроп» незадолго до новой войны (привожу по памяти): «Я весь содрогаюсь, вспоминая Твое последнее появление, когда Ты на моих глазах ушел в мир теней. Накрытое черным сукном возвышение в церкви святого Фомы Аквинского, на нем многогранный, продолговатый ящик, сверху Твоя офицерская шапка. Это был самый величественный образ их тех, что Ты нам оставил... Невыносимое воспоминание». Вот так его окончательно и бесповоротно признали французом, признали на том самом месте, где он венчался с Жаклин, слыша голос Толстой Берты, напоминавшей о смерти, в то время как за спиной, на хорах, словно из поднебесных сфер, звучал орган. Жаклин стояла трогательная и счастливая, Аполлинер же думал о смерти. Он должен вскоре умереть. И если когда-то он написал, что «слово поэта и сам поэт могут быть одновременно в данном месте и где-то еще», то сейчас он, наверное, мысленно добавлял, что слово поэта и сам поэт могут быть сразу и в данном времени, и в другом. В церкви, на обряде венчания, и в окопе...

Литературная и художественная картина мира в двадцатом веке изменилась и под воздействием его ощущений; эта картина мира

выглядит по-иному, чем у предшественников (как и пространство и время в науке): в конечном счете как внечеловеческий мир и мир внутри человека, мир глубинный, действительность действительности. Все существует лишь в отношении к другому, ничего вечного нет. Вечно лишь изменение. В этом переворачивании всего, что было, и принял активное участие поэт, который с затянутого черным сукном возвышения в церкви святого Фомы Аквинского отправился в другую жизнь, к потомкам, чтобы там жить вечно и неизменно́ — неизменно, даже если интерпретаторы, толкователи его поэзии и авторы воспоминаний о нем воскрешают каждый своего Аполлинера. Он и сам был постоянно иным, он сознательно изменял самого себя. До самой смерти. Умереть — значит больше не изменяться. «Окончательный» образ, оставшийся после него, не играл для него никакой роли. Он не был пророком, в отличие от Ади. (Венгерский поэт, его современник, не встретился с ним в Париже; общими у них были лишь некоторые французские предшественники, так что они, ничего друг о друге не зная, все-таки соприкасались.) Он был антипророком. Он ничего не предсказывал. Кроме одного: условие жизни — постоянное изменение. Он настоятельно требовал от жизни сомнений, он требовал все подвергать сомнению. Спеша к финалу короткого своего пути, к преждевременной смерти — и при этом, под гнетом своих грустных мыслей, не уставая шутить, веселиться и веселить, иронизировать, фантазировать и смеяться,— он лишь одно знал наверняка: что любит Жаклин, любит своих друзей, любит Париж; все это было проникнуто знанием, что вскоре он должен умереть. Все, что он писал, он писал о себе самом. Свои мифы, выдумки, легенды, в том числе и о самом себе, он сочинял не для вечности, а для сегодняшнего момента, для настоящего, для тех, кто жил рядом с ним; пусть это звучит грубо: для кафе, а не для бессмертия. И все же — как писал о нем Макс Жакоб: «Двадцатый век — это век Аполлинера». Лишь одно не было плодом фантазии: то, что вскоре он должен умереть. Название одного из главных произведений, созданных им о самом себе: «Убийство поэта». Он должен умереть. А потом? Посмертная жизнь. Об этом он не говорил. Он не строил себе музей. Умереть. Еще до начала войны, в 1914 году, он переселился из аристократического квартала Отей, где жила неверная возлюбленная, бросившая его Мари Лорансен, переселился сюда, в постоянное, надежное, окончательное, неизменное пристанище — ибо это была последняя его станция,— в дом № 202 по бульвару Сен-Жермен, в голубятню под крышей, в серединку мира, в кусочек Парижа между кафе «Флора» и «Дё Маго», между церквами святого Фомы Аквинского и святого Жермена де Пре. Там, где он находился, была середина мира. И вот здесь, на стене дома № 202, висит мемориальная доска, которую мы, редко бывающие на Западе, напрасно искали на улочке Аполлинера. Мемориальные доски всегда означают конечный пункт. Здесь и произошло то, что он знал заранее. Здесь умер Аполлинер. С того дня, как он вернулся с порога смерти, он знал: скоро он должен умереть...

В думах об Аполлинере...

Весь в думах об Аполлинере, действительно ли это я скребу своей старенькой авторучкой во «Флоре», может быть, как раз за тем самым столиком, который был его постоянным приютом? Здесь, в этом помещении, напоминающем сцену, где — если не считать кофеварочной машины, шипящей, извергающей пар и готовящей кофе с раннего утра до двух часов пополуночи — декорации, по всей вероятности, остались неизменными с тех пор, когда он писал здесь правдивые, но замешанные на выдумке истории о самом себе и о мире. Неизменны красные диваны, стоящие вокруг, вдоль стен, и определяющие характер интерь-

ера, а с другой стороны столиков — стулья, скопированные с тех, давних. По крайней мере, я верю, что меня окружают те же самые декорации, что окружали тогда, в годы перед первой мировой войной, и потом, еще год, пока он был жив. И окружали тех, кто шел за ним, участников парижского духовного сопротивления во время второй мировой войны, когда он, в вечном плену в Потусторонней стране, уже не мог добровольцем пойти на фронт, чтобы и во второй раз, пускай с металлическим обручем вокруг черепа, сражаться против варварской свастики. И все же Аполлинер, пусть невидимый, присутствовал, растворенный здесь, он был вместе с подпольщиками, ведущими войну против Гитлера и Петена, против гестапо и его французских агентов, против варваров-оккупантов, с подпольщиками, которые во время оккупации собирались меж этих декораций, с людьми, создававшими подпольные — как тогда говорили: иллегальные — газеты и произведения, организовывавшими заговоры и покушения, со всем этим так называемым «сбродом», который фашистская диктатура мечтала уничтожить, который представлял для нее постоянный источник страха и опасности: ведь в нем воплощался непокоряемый, несдающийся дух, гордая мысль, логика, человечность, нравственность, солидарность и справедливое возмездие, то есть само действующее Сопротивление, Resistance. Имена некоторых писателей, из тех, что сидели во «Флоре», сейчас можно прочесть на колонне мучеников в Пантеоне. И он снова писал бы тогда патриотические стихи, которые на сей раз были бы вполне уместны, ибо имели бы совсем иной настрой, были бы крылатыми, пламенными, горячими, как любовные стихи, что наверняка рождались бы в новых, после Жаклин, любовях,— если бы... Если бы он дожил до второго мирового пожара, он, ненасытный в любви. И если бы он дожил до этого величайшего после гибели «Grande Armée» краха в истории Европы — и если б осколок снова не разворотил ему висок,— он тоже спасал бы обреченных на концлагерь евреев и не евреев, обреченных на истребление цыган и, может быть, прятал бы несчастных как раз в сводчатых подвалах под церковью святого Фомы Аквинского. Если бы, правда, его не схватили немцы или французские их агенты, чтобы отправить в товарном вагоне, среди трупов тех, кто умер в пути, в Биркенау, Освенцим, Берген-Бельзен, Дахау или уж не знаю какой лагерь смерти, а если бы он туда прибыл живым, его превратили бы в пепел и зловонный дым, до сих пор летающий над Европой, и если бы все это именно так и произошло, потомство и тогда сказало бы о нем, что он был не политиком, а поэтом; иные упрекали бы его за то, что он не был политиком, другие — за то, что он был мистификатором, то есть поэтом. Где-нибудь его громко высмеяли бы. Поэт? Что это такое?... Сплошь «если», и «может быть», и «наверное», и «словно бы», сплошь условное наклонение; все это выходит за пределы фактов, за рамки эмпирической действительности, уходит в действительность возможную или невозможную, созданную или могущую быть созданной в воображении... можно ли поверить, что я занимаю его место здесь, на диване во «Флоре»; а может быть, когда я сажусь на стул, я сижу на том самом стуле, на котором после войны, в тысяча девятьсот сорок седьмом году, сидел Дюла Ийеш за чашкой кофе — не крепкого настоящего кофе, а дрянного суррогата? Об этом кафе, всем кафе кафе, он написал стихотворение — в сущности моментальный снимок — под названием «Фабрика», о кафе, которое уже для предшественников, для Рембо и его соратников, «было некогда местом встреч». На одном из столиков венгерский поэт увидел «чернильницу-башню, наверное, из времен Рембо»; этот венгерский поэт был родственник сюрреалистов, но Аполлинера он не любил. Господи, у него было право на это. Однако, несмотря на такое свое мнение, он волшебно перевел на венгерский «Мост Мирабо» и предпослал ему объективные строки признания в своей книге «Открытая дверь» (1963). (Сейчас, когда я правлю этот машинописный лист,

Ийеш тоже в могиле; я оборачиваюсь и смотрю на цветную его фотографию, где он запечатлен в белой рубашке с раскрытым воротом, с книгами, папками рукописей за спиной.) Ийеш бросает взгляд на писателей, склонившихся над своими бумагами, на Рибмон-Дессеня, прежде тоже сюрреалиста, на русского Гори, ставшего французским писателем, и на Симону де Бовуар, которая потому лишь сидит здесь в кафе, грызя перо, чтобы дома мог спокойно работать «Янош» Сартр, который в этом, 1947 году пишет свою работу о Бодлере. Итак, неужели это я здесь, во «Флоре», скребу пером? Или нет? Может, я вовсе стою в сторонке, под безоблачным осенним небом цвета разведенных чернил? На площади между широкой, окаймленной деревьями улицей (бульвар, или «boulevard») Сен-Жермен, Святой Германус, и улицами Ренн, Эшоде и Аббей, на северной стороне этой площади, наискось от кафе «Две турецкие обезьяны», на западном углу базилики Сен-Жермен вздымается в небо Парижа колокольня. Я стою на площади непоколебимо вертикальный, то есть параллельный колокольне, и в то же время пишу эти строки, сидя за столиком в кафе «Флора». И стою на улочке, названной в честь Аполлинера, и вновь разглядываю исконно парижские дома — не только во времена Людовиков, но и в девятнадцатом веке парижская архитектура была исконно парижской,— топчусь перед колокольней и перед окружающей ее кирпичной стеной в сквере, по сравнению с другими совсем крохотном, оглядываюсь, осматриваюсь в моем третьем Париже, ибо образ его запечатлелся совсем иным в моих глазах, в моих органах чувств впервые, когда я, восемнадцатилетний, увидел его в 1927 году — если желторотый мальчишка вообще мог увидеть что-нибудь из всего того, что в те времена, как, впрочем, и всегда, несло в себе непреходящее духовное, историческое значение,— во второй же раз, десять лет спустя, в 1937-м, когда расцветал и креп дух Народного фронта, особенно в моем политическом сознании тех лет, и когда я догадывался, знал: в эти моменты решается судьба Европы, наша судьба, и больших людей, и маленьких, и Запада, и Востока, ибо Испания была уже охвачена пламенем, Пикассо уже написал «Гернику» — как раз в тот приезд я впервые ее увидел,— оттуда двинулась в свой поход вторая мировая война, там состоялась генеральная репетиция кровавого, убийственного, разрушительного спектакля. Смутное воспоминание: здесь, на площади Сен-Жермен-де-Пре, я видел тогда уличных циркачей: одетых в цветное трико, массивных, мускулистых силачей и поджарых огнеглотателей, а с ними красивую девушку, после каждого номера обходящую публику с тарелкой. Лишь одного я не знал, ни в первый, ни во второй свой приезд, того, что знаю сейчас: подальше, если свернуть за угол и потом свернуть еще раз, там, где улица Дю Фур — может быть, ее когда-нибудь назовут рю Бильбоке, но никогда рю Жан Букен — вливается в большой бульвар, как речушки вливаются в большую реку, находится историческая достопримечательность, о которой я и догадываться не мог, кафе «Флора», где сиживал, где творил сам Аполлинер, где он смешил друзей, выдумывая всякую всячину, где он был вождем племени — да что «вождем», папой,— зачинателем новой главы в истории литературы. Возможно, место, где я стою, было сквером уже в начале столетия, в годы первой мировой войны, в 1927-м и в 1937-м, когда я сюда приезжал в первый и во второй раз. Не помню. Как не помню точно, здесь или на Монпарнасе видел я уличных силачей и глотателей огня. Во всяком случае, скамьи с чугунными спинками в стиле классицизма свидетельствуют о том, что, видимо, уже тогда здесь зеленела миниатюрная рощица. Было бы чистой выдумкой, если бы я написал, что видел под этими древними, почти полуторатысячелетними парижскими стенами камни с высеченными на них надписями: обломки готических окон с каменными кружевами, ренессансные капители, оставшиеся за церковью от аббатства, по своим размерам не уступающего какому-нибудь древнему городку. Да, это была

бы выдумка, потому что ничего подобного я не помню. Полторы тысячи лет? Это же вся история Европы. Чудотворца святого Германуса похоронили здесь в шестом веке, когда базилику и обслуживающий ее монастырь окружала еще пустынная местность. Но почему в моем карманном, с зеленой обложкой путеводителе — я листаю его, сидя во «Флоре»,— на стр. 101, эти стены названы «campagnard», то есть деревенскими, провинциальными, мужицкими? Наткнувшись на этот французский эпитет, я чувствую себя оскорбленным. Сердито захлопываю путеводитель. На обложке забавная человеческая фигурка, составленная из белых колес, катит автомобильные шины: это реклама завода автопокрышек Мишлена. Я бы с удовольствием швырнул книжонку о ту самую стену, что характеризуется в ней столь уничижительно, но могу ли совершить такой грубый, деревенский, провинциальный, мужицкий — campagnard — поступок под стеной церкви, которую сам же с возмущением защищаю от поклепов; причем, конечно, не исключено, что у смущающего меня французского эпитета есть еще какое-нибудь, не фигурирующее в моем французско-венгерском словаре, вовсе не оскорбительное значение. Если да, то я совершенно напрасно разволновался, а волнений мне рекомендуется избегать, чтобы, не дай бог, не подскочило давление. И все-таки! Неужто она — «campagnard», эта стена, под которой я стою и над которой вздымается в небо из-за высоты своей кажущаяся стройной, плотная, колонообразная, редкостного романского стиля колокольня с четырьмя прилегающими к ее бокам контрфорсами? Колокольня, которая днем и ночью была доверенной созерцательницей некоторых моментов жизни поэта, подобно стенным часам в спальнях, наблюдающим самые интимные сцены. Это приходит мне в голову в связи с тем, что у колокольни нет рта, чтобы рассказать об увиденном, лишь два пуританских полукруглых окна под колоколами: два глаза, которые бессчетное число раз видели за зеркальными, во всю стену, стеклами «Дё Маго» доверительно поднимающего к ним глаза — мы уже упоминали его — Жарри, до 1907 года, до его смерти, и Аполлинера, беседующих целыми часами и сопровождающих свои слова живыми латинскими жестами; видели, как над столом порхали их руки, как пальцы поднимали ко рту кофейную чашечку или рюмку из цветного стекла, как Аполлинер, если он тогда еще был жив, набивал дешевым и крепким табаком «Житан» свою добрую, прокуренную трубку — точно так же, как только что, негодуя из-за эпитета «campagnard», делал это я,— и пока он сосал свою трубку, беспрестанно раскуривая ее, и бросал обгоревшие спички в уже полную до краев пепельницу, Жарри все говорил и говорил, хохоча во все горло над нелепостью собственных выдумок: в эти минуты он сам был Юбю. Если бы колокольня заговорила, она бы показала перед судом истории литературы, что именно это место было центром мира в начале XX века, после того, как — это пишет Леон-Поль Фарг — около 1910 года распалось королевство Монмартра, поскольку империю Пикассо, Брака, Утрилло, Ван Донгена, Макса Жакоба захватили «буржуазные орды, по-обезьяньи подражающие последнему крику моды горе-живописцы, живущие на подачки промышленных магнатов ремесленники, поставляющие рекламные плакаты, и враждебные искусству, но жадные до денег домовладельцы». Бегущие от них художники нашли приют на Монпарнасе, где обосновался еще Бодлер, избрав своей резиденцией кафе «Гранд Шомьер», «Большая хижина»; сюда и в другие, возмущающие буржуа заведения в окрестностях приходил уже и Аполлинер, а также Дерен, Мореас и, конечно, Жарри, Поль Фор, Андре Сальмон и Кремниц. В 1911 году к ним присоединились Пикассо и Руссо-Таможенник, потом Модильяни, Вламинк и Паскин — весь нынешний Музей современного искусства!— и Монпарнас превратился «в гигантскую международную железнодорожную станцию, в Мекку, в Рим, в пуп земли», стал огром-

ным «городом-раем, городом-адом между Монпарнасским вокзалом и площадью Распай», где я живу сейчас, в двух шагах отсюда: все это «своего рода Ватикан воображения», и «между 1920 и 1930 годами кафе «Ротонда» было одним из самых известных мест на земле — там я позже, в 1937 году, беседовал с глухонемым Лайошем Тихани,— «которое парижские гимназисты называют теперь, вместе с кафе «Купол», затонувшей Атлантидой»; художники и поэты покинули Монпарнас, но «очарование его осталось нетронутым, несмотря на то, что места в кафе, где сиживали Мореас, Ленин, Троцкий, Аполлинер, Пикассо, Дерен и Вламинк, заняли владельцы магазинов модной одежды и мелочных лавок, факиры и дантисты». Этот упадок — опять-таки пророчески — Аполлинер предусмотрел, переведя «пуп земли», «Ватикан фантазии» сюда, в кафе «Флора». Это кафе находилось ближе других к его жилищу; эпицентр Европы он сдвинул в этот пункт Сен-Жермен-де-Пре, где я сейчас сижу и пишу — или стою под древними стенами в сквере, не более тех, какие бывают при богатых буржуазных особняках, где-нибудь в пригороде Парижа... Итак, мы стоим, глазея, под колокольней? Пишем на мраморном столике в кафе «Флора»? Нет. И да. Ибо, пока мы обретаемся сразу в двух местах, мы еще существуем и в третьем пункте, вполне конкретном месте, но только в более позднее время, и тупо глядим на наше эссе «Что сказал бы на это Аполлинер?», появившееся давным-давно, еще в конце 1970 года, и размышляем, что останется от него в этой книге, размышляем в четырех с половиной тысячах километров от Парижа, в третьем месте и времени: бегущие, летящие образы и картины, порожденные нашим воображением, напоминают, как я сам замечаю, человеческие фигуры, дома, деревья, предметы, цветы и животных на поэмах-картинах Шагала; на темно-коричневом поле моего стола — карты Парижа, листки, которые я исписал во «Флоре», ворох более поздних заметок, словарь, газетные вырезки, книги, а у моих ног — купленный недавно в Чиксереде, выкрашенный в синий цвет «картюш» (этого слова я не могу найти ни в «Словаре истории языка» Габора Сарваша и Жигмонда Шимони, ни в «Словаре трансильванских диалектов» Яноша Кризы, ни в нынешнем «Толковом словаре венгерского языка», ни в «Историческом этимологическом словаре») с намалеванными на его боках наивными секейскими красными и белыми цветами о трех лепестках — это вполне могли бы быть и цветы, порожденные воображением Руссо-Таможенника,— уже до краев заполненный забракованными, смятыми, такими «урбанистическими» на вид страницами рукописи. Бумага. Бумага. Находясь тогда и там, я одновременно сижу здесь (?) и сейчас (?) перед белым бумажным листом, с той же самой авторучкой в руке, и озираюсь, словно впервые стою перед стеной Сен-Жермена. Я рассматриваю рю Аполлинер, продолжение улицы де Аббеи, потом смотрю на него самого, и он, Аполлинер, глядит прямо на меня. Между ним и стеной за низкой, чугунной оградой, окрашенной в черное, свежая зелень газона, клумбы с цветами, деревья, чьих названий я не знаю; растительность еще не тронута осенью. Огромная бронзовая голова. Аполлинер. Изваяние. Металлическое лицо со смутными, как бронзовый сон, уже покрытыми патиной чертами. Черты его видятся как бы в тумане, хотя солнце светит вовсю. Лицо его словно бы неохотно всплывает из глубин памяти, словно бы из глубокого сна переселяется в эту металлическую скульптуру. Мягкие, но от этого кажущиеся еще более крупными черты; их таинственная, свято хранящая свою тайну система, их взаимосвязь отражается в зеркале подвижных, замкнутых в мире души истин Аполлинера. Может быть, лицо его именно от размытости этой столь таинственно переполнено ясным смыслом? Из него лучится сразу и загадочное беспокойство, и чистая радость. Впрочем, пожалуй, не так. Я касаюсь ладонью правой руки его — здесь и теперь — ощутимого, охватываемого взглядом лица — полусна, полуобраза,— потом виска, того места,

куда его поразил осколок: металл холоден; я дважды обхожу скульптуру и снова встаю напротив: я смотрю на него, он — на меня. Хотя лицо его мирно, оно все же не радостно. Неслышимым языком металла оно рассказывает о боли, о горе, о неудачах, рассказывает о желаниях и надеждах, о неосуществленных стремлениях, о вереницe несостоявшихся или нелепо закончившихся любовей, о тех, кто неотделим друг от друга в пылу чувства, и прежде всего о ней, самой первой — так бы истолковал это Фрейд,— о матери, которую он не нашел в других: все другие «плохо любили его», все его оставляли, и только последняя перед смертью любила его по-другому, любила хорошо, не бросала, ухаживала за ним, принесла себя в жертву ради него, без остатка и без оглядки — даже после смерти Аполлинера, вплоть до собственной смерти,— преданно, даже не как возлюбленного, а как собственного ребенка любила его. Аполлинер умер счастливым? Он еще смог увидеть в театре свою пьесу «Груди Тиресия», первую скандальную сюрреалистическую театральную акцию — он сам определил ее так,— продолжающую «Юбю». Воплощение счастливого финала: последняя, настоящая, «хорошая» любовь, искрящееся волшебство сцены, успех, аплодисменты, заранее известная, не внезапная смерть, ласковая рука Жаклин закрывает ему глаза — вместо рук матери, Ангелики. Все это и таится в призрачном этом лице, в снах огромного бронзового лба. Сон — лишь ночная сторона бдения. Эта голова, это громадное, из бронзы и сна лицо — не только он. Это и лицо его создателя. Я говорю о создателе, ибо творение это божественно. Мифологично. И по-сегодняшнему реально. Высится божественная голова, слегка наклоненная, как бы на мраморном постаменте

На мраморном постаменте...

античной вечности, как портрет поэзии двадцатого века. И смотрит на нас, как раз на уровне наших глаз, сама Европа, сам Париж, Страсбург, Ницца, Кёльн, Рим, Амстердам, Лондон и Прага; сама Сена, Темза, Рейн, Висла, Дунай, лазурное Средиземное море; само наше столетие, восстание слов, поэзия как бунт, да, поэзия как бунт. Почтение к авторитетам? Ну уж нет. Отлитый в бронзе бунтарский сон. Магия. Все начиналось с Верлена, во второй половине девятнадцатого столетия. Выше мы, может быть, приводили фразу Аполлинера, которая то и дело появлялась, как призрак, вплоть до 68 года, до сегодняшнего Парижа, или позже писали в этой книге, чаще без кавычек: «Порядок рождает драму». Но, кажется, приводили и другую: «Дело поэта — творить действительность», что мы могли бы сформулировать и таким образом: творить иную действительность; ибо он, поэт, не слуга внешней, той Действительности-которая-как-раз-имеется-в-наличии, не отданный в услужение ей денщик, но и не рядовой солдат, замерший по стойке «смирно» и тем самым утративший свою личность, отказавшийся от нее,— и не лакей, ползающий на брюхе перед Приказом-который-как-раз-сейчас-издан,— нет, нет: да разве со времен средневековья ползал на брюхе перед кем бы то ни было французский или не французский поэт, если он был поэт? Хотя попадались и такие. А разве находился во все времена кто-нибудь, кто был больше и значительнее поэта? Даже изменивший сюрреалистам Арагон, который осудил его патриотизм 1914 года, Арагон, который проявлял рвение в ином плане,— даже он не писал стихов святому Иосифу, величайшему в истории, а писал Эльзе, целыми лавовыми потоками... А вот и создатель этого массивного, бронзово-реального Аполлинера, Аполлинера из сна, создатель новой действительности, друг поэта чуть ли не от начала его жизни и до конца, с 1905 года, когда они встретились в первый раз, до 1918-го, до его смерти и дальше: Пикассо, читаем мы в ос-

новании бронзового бюста знакомую, тысячи раз, везде и всюду виденную подпись. Пикассо. И под именем мастера год создания: 1936. А установлен был здесь, на этом месте, Аполлинер двадцать лет спустя; вокруг него, вокруг этого бронзово-реального Аполлинера — теперь я словно знаком с поэтом лично — растет, как я писал уже, кустарник, деревья, чьих названий я не знаю, деревья в высшей степени странные; они словно ждут, что из красных их крон выпорхнут странные, разноцветные птицы, свистящие, кричащие, вопящие, очаровательно поющие, влюбленные, но в конце концов изменяющие птицы, одна — Анни, другая — Мари, третья — Лу, там — Мадлен, а вот еще одна, с дивными рыжими локонами: Жаклин; но, может быть, именно она, Жаклин,— не кто иная, как Ангелика Костровицкая, мать. Они поют. Поют не песни, а нечто иное. Они выкрикивают слова любви, каких не писал в этом столетии ни один поэт, только один он, открывший разговорную речь. Птицы не поют, а говорят свои песни. Точно даже и не поймешь, какие именно песни. Стихи или прозу? Аполлинер стер границу между стихами и прозой. То, что они поют, выкрикивают, выплакивают, высвистывают, выговаривают,— все это его тексты. Поет он, Аполлинер. Все, что звучит здесь, вокруг огромного его черепа, не стянутого обручем, вокруг его бронзового портрета, под колокольней и под стеной,— все это он, это Текст. Текст поэтической реальности. Он отказался от мелодии стиха? Но ведь язык, французский язык — это сама мелодичность, сама музыка. Особенно нам, нашему уху, привыкшему к нашему, хотя и гибкому, но все-таки жесткому, ударному — самому прекрасному для нас — языку, нашим произносящим его губам. Птицы, его птицы кружатся здесь, над нами, вокруг. Вокруг Аполлинера, вокруг меня, в некоем сюрреалистическом фильме, птицы другой действительности, его действительности, одетые в платья из многоцветных перьев и пуха, как на картинах Руссо-Таможенника — Аполлинер и ему посвятил стихотворение. Я стою, расчувствовавшись. Я слышу стихи его по-венгерски, но все же с его неподражаемой музыкой, с его мелодичностью, слышу, как произносят его стихи голоса Бабича, Екели, Аттилы Йожефа, Кашшака, Костолани, Радноти, Дёрдя Шомьо, Арпада Тота, Иштвана Ваша, Шандора Вёреша. И пусть лишь одним стихотворением, но участвует в этом хоре, в полной мере передав всю звонкость Аполлинера, и Дюла Ийеш с «Мостом Мирабо», рядом с переводами Месея, Ронаи, Эрши, Ваша. Сплошь шедевры... В сторонке, на зеленых — или коричневых?— скамьях пожилые дамы с рукодельем — «petit point», вышивание по канве,— а пожилые господа читают «Фигаро» и утренний выпуск «Монд», только что появившейся и купленной в киоске напротив «Флоры»; юноши, девушки листают книги, кто-нибудь из них, возможно, как раз «Алкоголи» — или университетский конспект. Но смотрите-ка, разноцветные птицы уже не кружатся над нами, не кричат пронзительно, не поют. Они превратились в голубей, ходят по траве, по асфальту перед скамейками, клюют какие-то крошки, зерна; людей они не боятся. Дама в лиловой шляпке, с ярко накрашенными губами и подведенными глазами, когда-то, в свое время, должно быть, красивая, сыплет им птичий корм из полиэтиленового пакета. Перед ней — голубиное столпотворение. Рядом с обжигающими сердце, трагическими любовями, может быть, вот такими были его минутные увлечения? Имена их он забывал тут же, едва поднявшись с помятой постели. А ведь имена для него всегда были крайне важны. Не знаю, составлен ли каким-нибудь прилежным филологом перечень фигурирующих в его произведениях имен, одно страннее другого? Все их выдумал он. Каждое — отдельный, особый, самостоятельный мир. За каждым таился, пылал, красовался, бродил в различных временах и пространствах он сам... В этот момент Аполлинер словно бы обращается к нам, словно бы делает знак своей огромной, бронзовой головой, чтобы мы отошли, не заслоняли от взгляда названную в его честь

улицу, ведь в эти минуты из старинных, днем и ночью открытых ворот — под столетней кованой ручкой на них уже десять лет как сломался замок — дома № 3 по улице Аполлинера выходит та молодая женщина, которая так напоминает Жаклин: с мягкими вьющимися белокурыми волосами, но не в тюлевой блузке и юбке в складку — цвет их Аполлинер точно уже не помнит, но он вспоминает цвет одного из платьев Лу: лиловый — и не в тех изящных белых туфельках на высоких каблуках — «при нынешней моде на обувь ноги у женщин как у лошадок», — которые она носила, когда их вместе сфотографировали на балконе мансарды в доме № 202 на бульваре Сен-Жермен; он был в синем офицерском мундире, словно приехал в отпуск к возлюбленной и вот-вот отправится обратно на передовую, где его ожидает смерть. Фон — дворы, крыши, окна, трубы Парижа. Трубы Парижа, о которых писал и я, но он одной-единственной строчкой на вечные времена запечатлел их значение... как бишь там, не нахожу, не нахожу эту строчку, в отчаянии тщетно копаюсь в своей памяти. Трубы Парижа! Из ворот дома № 3 по улице Аполлинера в самом деле выходит молодая женщина. Он хочет видеть ее руки: похожи ли они на руки Жаклин? Он часто рассматривал ее руки, лежащие на столе, рядом с его собственными руками; когда он, как бы случайно, касался их, Жаклин не противилась, не отодвигалась, а поднимала на него свои серо-голубые глаза и краснела; о, эти не расплывшие, но округлые, кажущиеся такими мягкими руки, эти нежные пальцы, эта почти прозрачная, белая, мягкая кожа на пальцах, которую невидимые, в сто раз тоньше человеческого волоса, сосуды окрашивали в нежнейший розовый цвет, и карминно-красные аккуратные ногти, и та же округлость и тот же розовый цвет выше, до самых локтей, до рукава, прячущего верхнюю часть руки. Руки, что после операции каждый день надевали ему на голову металлический обруч — на фотографии, где они вдвоем на балконе, обруча на нем нет, — белые, мягкие руки, гладившие ему лицо и надолго затем замиравшие в его руках, и он тоже тогда затихал, боль уходила; руки эти, ее руки всегда были теплыми, теплота их была ровной, как в тот момент, когда он коснулся их в первый раз. О, эти чувственные руки! Сколько раз ему снилось то самое первое прикосновение, когда Жаклин подняла на него глаза, посмотрела и сказала беззвучно: да! То, что создавала его фантазия вокруг этих рук, мог бы описать лишь смелый Генри Миллер, ближайший друг Брашшаи; правда, в молодые годы Аполлинер и сам создавал секс-романы. Скоро выяснилось, что интуитивная догадка не обманула его. Округлые, мягкие, белые и все-таки розовые теплые руки Жаклин. Нет, он никогда не увидит рук той молодой белокурой женщины, рук, наверняка точно таких же, как у Жаклин, которую он полюбил раз и навсегда в тот момент, когда увидел ее руки и прикоснулся к ним... Я беру руку Анны, сжимаю ее... Вокруг нас — вокруг Аполлинера и нас с Анной — снуют машины. На площади — на «нашей площади» — возле угла бульвара, напротив огромных зеркальных окон кафе «Дё Маго», останавливается неуклюжий итальянский автобус, таскающий по Парижу туристов; за последним окном кафе сидит он с Жарри, он как раз раскуривает трубку и обугленную, еще горячую спичку бросает в полную до краев пепельницу, но спичка падает мимо, Жарри сдувает ее со столика, и официант в белом, который ставит как раз перед ними две рюмки кальвадоса, едва заметно сдвигает брови — толпа шумных итальянцев, вывалившись из автобуса, отсюда, от памятника, отправляется на пешеходный обзор Парижа. На массивный четырехгранный каменный постамент и на Аполлинера на нем никто не смотрит. Они уходят. Гид, протараторив несколько фраз, показывает на колокольню. Его не слушают. Они спешат, в этот день им столько предстоит осмотреть, одна за другой пойдут рю де Аббеи, рю Эшоде, рю Мабийон, рю де Катр-Ван — улица Четырех Ветров, — улица Конде, площадь Одеон — какой

скандал разразился в мае 1968 года в театре «Одеон»!— Театр де Франс, дворец Люксембург, рю де Турнон, церковь Сен-Сюльпис, рю де Канетт, рю де Сизо — и вот итальянцы снова на площади перед кафедральным собором. Уставшие как собаки. Где будет обед и какой? Его они просто не замечают. Великий мистификатор всегда знал, кого надо разыгрывать, кого дразнить, а кого просто-напросто не замечать. Конечно же, туристов, которые никогда не вылезают из мнимой реальности, которые тупо, бесчувственно топчутся в сегодняшнем дне, в пустоте, произносят пустые слова, но свято верят, что с быстротой кометы несутся к успеху, к еще лучшей, еще более полной жизни. (Сколько поистине удивительных слов, образов можно найти у Аполлинера о звездах!) Та молодая женщина с белокурыми завитками, чьих рук он не может видеть, вошла в книжную лавку «Галлимар». Спустя пять минут она появляется снова. С какой-то книгой под мышкой. Она посылает нам улыбку. Может быть, это последняя вышедшая при жизни его книга, «Каллиграммы». Женщина направляется в сторону Бильбоке, в сторону владений Букена. Походка ее — как у Жаклин. Те же не очень стройные ноги. Прямая спина. Круглый, как яблоко, зад. Господи, какой — наверняка не ленивый — задик! У стены, на асфальте, следы ночных развлечений: бумажные салфетки, осколки стаканов, недокуренные, испачканные помадой сигареты; негры-мусорщики сегодня делали свое дело небрежно, они, скорее всего, тоже не спали минувшей ночью. Аполлинер долго смотрит на улицу, названную в его честь — почему именно эту?— не может он понять и досадует,— смотрит, смотрит, как всегда, днем и ночью, ибо в сне он уже не нуждается. Он все знает про эту улочку: знает, какой жилец в каком доме каждое утро в один и тот же час, в одну и ту же минуту садится за руль своего автомобиля, воскресенья он узнает по тому, что машины утром не трогаются со своего места; он знает, к кому проскальзывает любовник, к кому любовница, пока жена или муж дома одни, а спустя час-другой любовник, втянув голову в плечи, а любовница — стараясь закрыть лицо носовым платком, выскальзывают, не глядя по сторонам, на улицу — возможно, впрочем, такая стыдливость давным-давно уже вывелась,— и лишь издали оглядываются на окно, в котором из-за занавески смотрит им вслед та женщина или тот мужчина: он знает, какого старика или старуху увезла белая, с синим крестом машина «скорой помощи» или черная, покойницкая; о том, что скоро должна прибыть черная машина, он догадывается, увидев, как настоятель его церкви, святого Фомы Аквинского — который венчал их с Жаклин и крестил Макса Жакоба,— склонив голову, сложив на груди руки и бормоча, судя по шевелящимся губам, молитву, направляется к умирающему, а следом идет служка с сосудом для посмертного помазания и с литургической книгой в черной обложке; он знает, в какой семье случилось такое редкое для Франции событие, как рождение ребенка — в сюрреалистской пьесе «Груди Тиресия» он призывал французов чаще рожать,— и рад этому, хотя бронзовое лицо его остается по-прежнему неподвижным, улыбаться он не умеет, особенно если задается вопросом, а кто же, собственно, отец новорожденного: может, папа римский?— он знает, кто сменил свою машину на более модную, более дорогую — о, этот нынешний «standing» [1]!— он знает, кто праздновал до утра именины или день рождения,— праздники, которые приходящий в упадок французский язык, «franglais»[2] называет сегодня американским словечком «party». Он охотно взглянул бы на колокольню, но вечность обрекает его на неподвижность и не позволяет ему повернуть голову — ведь именно для вечности Пикассо отлил его в бронзе, от-

[1] Статус *(англ.)*.

[2] Стяжение слов «francais» и «anglais»: французский язык, испорченный, засоренный английскими словами и выражениями.

лил одну лишь голову, ибо голова для него была всем, голова его была он сам, его мир, движение, изменение и еще Париж, Европа, фантазия, желание чего-то иного, эротика, мысль, эмоции,— в отличие от роденовского Бальзака, который стоит на уже совсем не шумном бульваре Монпарнас в полный рост, с макушки до пят погруженный в реальность девятнадцатого столетия. Это место, здесь, у подножия колокольни, больше подходит ему. Здесь он обрел свой последний приют. Взглянуть на колокольню. Невозможно. Что ж, тогда он взглянет на нее из окна кафе «Дё Маго», пока Жарри рассказывает про короля Юбю, то есть про самого себя. Итак, Аполлинер смотрит на улицу. Сейчас он залит предвечерним солнечным светом, залита светом и вся площадь Сен-Жермен; Сент Германус, как говорят венгры... В своих историях Аполлинер упомянул несколько венгерских имен, а в 1913 году даже встретился с одним живым венгром; тот очень плохо говорил по-французски, звали его Лайош Кашшак, и он первым опубликовал его стихи на этом жестком, странно звучащем, но ритмичном и гибком языке со множеством кратких «е», долгих «е» и раскатистых «р», что для французского уха как раскат грома,— лучи солнца заливают базилику, колокольню с контрфорсами и без часов, зато с глазами, аббатство, и вокруг головы Аполлинера возникает своего рода нимб — он не видит этого, но как-то знает об этом, будто видит во сне,— и словно языками пламени охвачена книжная лавка «Галлимар», но это лишь отражение солнца в витрине; нет, это не книги горят, в Париже никогда не жгли книг, даже при немцах, в годы убийственной для культуры войны здесь не обливали книги бензином, не складывали из книг костры — может быть потому, что тогда вспыхнул бы всеобщий мятеж. Может быть? Может быть... Аббатство строилось между 990 и 1021 годами, сегодня стены его от дыма парижских труб и выхлопных газов автомобильного стада выглядят темно-серыми, темно-коричневыми; когда-то за этими стенами возвышались дворцы, и даже тюрьма, и даже монастырь с девственными, полудевственными и далеко не девственными монахинями, монастырь, которому мог бы позавидовать сам Боккаччо,— и даже, пожалуй, приют для подкидышей; в ходе истории, в зависимости от того, какую политику проводило французское королевство, аббатство дало Риму целую вереницу пап, точным числом двадцать одного, это число, если наша догадка верна, и могло подсказать Аполлинеру легенду, согласно которой его зачал в Святом городе папа с Ангеликой Кровицкой, бойкой мамашей, пока дедушка, ясновельможный пан граф, в одежде папского камергера при свете масляной лампады резался в карты с рослыми швейцарскими гвардейцами в каком-нибудь укромном уголке Ватикана, а небо над Римом было усыпано звездами, и так далее, и так далее, и так далее... Гудят колокола Парижа. Где я их слышу? Здесь, дома, сидя за своим огромным письменным столом? Или здесь, под готической колокольней кафедрального собора Сен-Жермен, глядя в громадное бронзовое лицо Аполлинера и беззвучно обмениваясь с ним мыслями? Или же колокольный звон я слышу среди кулис кафе «Флора», трудолюбиво строча этот текст за столиком, где когда-то сидел Аполлинер? Скорее всего, и там, и там, и там, в трех местах одновременно, в одни и те же минуты, которые тем не менее не одни и те же... Слышишь, Анна — ты здесь?— ты слышишь колокола Аполлинера? Колокола Парижа гудят. Они звучат так, словно мы их слышим во сне, а по радио играет музыка — Моцарт, Бах? Дебюсси? — и мы знаем, что спим, мы действительно спим, но слышим и музыку. действительно слышим.... Я слышу Аполлинера... Или мне это только снится?..

■

Из классики XX века

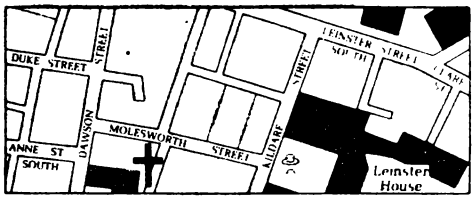
ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Улисс

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

9



Деликатно их успокаивая, квакер-библиотекарь вполголоса ворковал:

— И ведь у нас есть, не правда ли, эти бесценные страницы «Вильгельма Мейстера» *. Великий поэт — про своего великого собрата по ремеслу. Колеблющаяся душа, что в смертной схватке с целым морем бед, терзаемая сомнениями и противоречиями, как это бывает в реальной жизни.

Он выступил на шаг вперед в контрдансе скрипнув воловьей кожей и на шаг назад в контрдансе по торжественному паркету он отступил.

Безмолвный помощник, приотворив осторожно дверь, сделал ему безмолвный знак.

— Сию минуту,— сказал он, скрипуче двинувшись, чтоб идти, но медля. — Прекрасный и неприспособленный мечтатель в болезненном столкновении с жестокой реальностью. Постоянно убеждаешься, насколько истинны суждения Гёте. Истинны при более глубоком анализе.

Двускрипно в куранте унес он анализ прочь. Плешивый, с высшим вниманьем, у двери словам помощника подставил большое ухо: слова выслушал: удалился.

Остались двое.

Продолжение. Начало см. в № 1 — 3.

— Мсье де ла Палисс,— язвительно усмехнулся Стивен,— был еще жив за четверть часа до смерти *.

— А вы уже отыскали шестерку доблестных медиков,— вопросил желчным старцем Джон Эглинтон,— которые бы переписали «Потерянный Рай» под вашу диктовку? Он его называет «Горести Сатаны» *.

Усмехайся. Усмехайся усмешкой Крэнли.

Сперва ее облапил
Потом ее огладил
А после взял и вдруг
Катетер ей приладил.
Ведь он был просто доктор
Веселый парень док...

— Я думаю, для «Гамлета» вам понадобится на одного больше. Число семь драгоценно для мистиков. Сияющая седмица, как выражается В. Б.

Блескоглазый с рыжепоросшим черепом подле зеленой настольной лампы вглядывался туда где в еще более темнозеленой тени лицо, окаймленное бородой, оллав, святоокий. Он тихо рассмеялся: смех казеннокоштного питомца Тринити: безответный.

Многоголосый Сатана, рыдая,
Потоки слез лия, как ангелы их льют*.
Ed egli avea del cul fatto trombetta[1].

Мои безумства у него в заложниках.

Крэнли нужно одиннадцать молодцев из Уиклоу, чтобы освободить землю предков. Щербатую Кэтлин* с четырьмя изумрудными лугами*: чужак у нее в доме*. И одного бы еще, кто бы его приветствовал: аве, равви: * дюжина из Тайнахили. Он воркует в тени долины, сзывая их. Юность моей души я отдавал ему, ночь за ночью. Бог в помощь. Доброй охоты.

Моя телеграмма у Маллигана.

Безумство. Поупорствуем в нем.

— Нашим молодым ирландским бардам,— суровым цензором продолжал Джон Эглинтон,— еще предстоит создать такой образ, который мир поставил бы рядом с Гамлетом англосакса Шекспира, хоть я, как прежде старина Бен, им восхищаюсь, не доходя до идолопоклонства.

— Все это чисто академические вопросы,— провещал Рассел из своего темного угла,— о том, кто такой Гамлет — сам Шекспир или Яков Первый или же Эссекс. Споры церковников об историчности Иисуса. Искусство призвано раскрывать нам идеи, духовные сущности, лишенные формы. Краеугольный вопрос о произведении искусства — какова глубина жизни, породившей его. Живопись Гюстава Моро * — это живопись идей. Речи Гамлета, глубочайшие стихи Шелли дают нашему сознанию приобщиться вечной премудрости, платоновскому миру идей. А все прочее — праздномыслие учеников для учеников.

А. Э. рассказывал в одном интервью, которое он дал какому-то янки. Н-ну, тыща чертей, вы молодчага, проф!

— Ученые были сначала учениками,— сказал Стивен с высшею вежливостью. — Аристотель был в свое время учеником Платона.

— Смею надеяться, он и остался им,— процедил лениво Джон Эглинтон. — Так и видишь его примерным учеником с похвальной грамотой под мышкой.

Он снова рассмеялся, обращаясь к бородатому, ответно улыбнувшемуся лицу.

Лишенное формы духовное. Отец, Слово и Святое Дыхание. Все-

[1] А тот трубу изобразил из зада *(итал.)*. Данте, Ад, XXI. 139.

отец, небесный человек, Иэсос Кристос, чародей прекрасного. Логос, что в каждый миг страдает за нас. Это поистине есть то. Я огнь над алтарем. Я жертвенный жир.

Данлоп, Джадж, что римлянин был самый благородный, А. Э., Арвал, Несказанное Имя, в высоте небес: К. Х., их учитель, личность которого не является тайной для посвященных. Братья великой белой ложи неусыпно следят, не требуется ли их помощь. Христос с сестрою-невестой, влага света, рожденная от девы с обновленной душой, софия кающаяся, удалившаяся в план Будд. Эзотерическая жизнь не для обыкновенного человека. О. Ч. сначала должен избавиться от своей дурной кармы. Однажды миссис Купер Оукли на мгновение улицезрела астральное нашей выдающейся сестры Е. П. Б.*.

Фу, как нехорошо! Pfuiteufel! [2] Право, негоже, сударыня, совсем негоже глазеть, когда у дамы выглядывает астральное.

Вошел мистер Супер * — молодой, высокий, легкий и деликатный. Рука его с изяществом держала блокнот — большой, красивый, чистый и аккуратный.

— Вот этот примерный ученик,— сказал Стивен,— наверняка, считает, что размышления Гамлета о будущей жизни его сиятельной души — весь этот ненатуральный, ненужный, недраматичный монолог — такие же плоские, как и у Платона.

Джон Эглинтон сказал, нахмурившись, дыша ярым гневом:

— Я клянусь, что кровь моя закипает в жилах, когда я слышу, как сравнивают Аристотеля с Платоном.

— А кто из них,— спросил Стивен,— изгнал бы меня из своего Государства?

Кинжалы дефиниций — из ножен! Лошадность — это чтойность вселошади*. Они поклоняются эонам и волнам влечений. Бог — шум на улице: весьма в духе перипатетиков. Пространство — то, что у тебя хочешь не хочешь перед глазами. Через пространства, меньшие красных шариков человечьей крови, пролезали они следом за ягодицами Блейка в вечность, коей растительный мир сей — лишь тень *. Держись за здесь и теперь, сквозь которые будущее погружается в прошлое *.

Мистер Супер, полный дружеского расположения, подошел к своему коллеге.

— А Хейнс ушел,— сообщил он.

— Вот как?

— Я ему показывал эту книгу Жюбенвиля *. Он, понимаете, в полном восторге от «Любовных песен Коннахта» Хайда. Мне не удалось привести его сюда послушать дискуссию. Он тут же побежал к Гиллу покупать их.

Спеши скорей, мой скромный труд,
К надменной публике на суд.
Как горький рок, тебя постиг
Английский немощный язык*.

— Дым наших торфяников ему одурманил голову,— предположил Джон Эглинтон.

Мы, англичане, сознаем. Кающийся вор. Ушел. А я курил его табачок. Мерцающий зеленый камень. Смарагд, заключенный в оправу морей *.

— Люди не знают, как могут быть опасны любовные песни,— оккультно предостерегла расселова яйцевидная аура. — Движения, вызывающие мировые перевороты, рождаются из грез и видений в душе какого-нибудь крестьянина на склоне холма. Для них земля не почва для обработки, а живая мать. Разреженный воздух академии и арены рождает грошовый роман, кафешантанную песенку. Фран-

[2] Чертовски стыдно! *(нем.)*.

ция рождает в лице Малларме изысканнейший цветок развращенности, но вожделенная жизнь — такая, какой живут феаки * Гомера, открывается только нищим духом.

При этих словах мистер Супер обратил к Стивену свой миролюбивый взор.

— Понимаете,— сказал он,— у Малларме есть чудные стихотворения в прозе, Стивен Маккенна * мне их читал в Париже. Одно из них — о «Гамлете». Он говорит: «Il se promène, lisant au livre de lui-même»[3], понимаете, *читая книгу о самом себе*. Он описывает, как дают «Гамлета» во французском городке, понимаете, в провинции. Там выпустили такую афишу.

Его свободная рука изящно чертила в воздухе маленькие значки.

HAMLET
ou
LE DISTRAIT.

Pièce de Shakespeare [4]

Он повторил новонасупленному челу Джона Эглинтона:

— Pièce de Shakespeare, понимаете. Это так похоже на французов, совершенно в их духе. Hamlet ou...

— Беззаботный нищий *,— закончил Стивен.

Джон Эглинтон рассмеялся.

— Да, это подойдет, пожалуй,— согласился он. — Превосходные люди, нет сомнения, но в некоторых вещах ужасающе близоруки.

Торжественно-тупое нагроможденье убийств.

— Роберт Грин назвал его палачом души,— молвил Стивен. — Недаром он был сын мясника, который помахивал своим топором да поплевывал в ладонь. Девять жизней заплачено за одну — за жизнь его отца *. Отче Наш иже еси во чистилище. Гамлеты в хаки стреляют без колебаний *. Кровавая бойня пятого акта — предвидение концлагеря, воспетого Суинберном*.

Крэнли, я его бессловесный ординарец, следящий за битвами издалека.

> Врагов заклятых матери и дети,
> Которых кроме нас никто б не пощадил...

Улыбка сакса или ржанье янки. Сцилла и Харибда.

— Он будет доказывать, что «Гамлет» — это история о призраках,— заметил Джон Эглинтон к сведению мистера Супера. — Он, как жирный парень в «Пиквикском клубе», хочет, чтоб наша плоть застыла от ужаса *.

> О, слушай, слушай, слушай!

Моя плоть внимает ему: застыв, внимает.

> Если только ты...

— А что такое призрак? — спросил Стивен с энергией и волненьем. — Некто, ставший неощутимым вследствие смерти или отсутствия или смены нравов. Елизаветинский Лондон столь же далек от Стратфорда, как развращенный Париж от целомудренного Дублина. Кто же тот призрак, из limbo patrum [5] возвращающийся в мир, где его забыли? Кто король Гамлет?

Джон Эглинтон задвигался щуплым туловищем, откинулся назад, оценивая.

---

[3] Он прохаживается, читая в книге о самом себе *(франц.)*.

[4] Гамлет или Рассеянный* Пьеса Шекспира *(франц.)*.

[5] Край отцов *(лат.)*.

Клюнуло.

— Середина июня, это же время дня,— начал Стивен, быстрым взглядом прося внимания. — На крыше театра у реки поднят флаг. Невдалеке, в Парижском саду, ревет в своей яме медведь Саккерсон. Старые моряки, что плавали еще с Дрэйком, жуют колбаски среди публики на стоячих местах.

Местный колорит. Вали все, что знаешь. Вызови эффект присутствия.

— Шекспир вышел из дома гугенотов на Силвер-стрит. Вот он проходит по берегу мимо лебединых садков. Но он не задерживается, чтобы покормить самку, подгоняющую к тростникам свой выводок лебедят. У лебедя Эйвона иные думы.

Воображение места. Святой Игнатий Лойола, спеши на помощь! *

— Представление начинается. В полумраке возникает актер, одетый в старую кольчугу с плеча придворного щеголя, мужчина крепкого сложения, с низким голосом. Это — призрак, это король, король и не король, а актер — это Шекспир, который все годы своей жизни, не отданные суете сует, изучал «Гамлета», чтобы сыграть роль призрака. Он обращается со словами роли к Бербеджу *, молодому актеру, который стоит перед ним по ту сторону смертной завесы, и называет его по имени:

> Гамлет, я дух родного твоего отца

и требует себя выслушать. Он обращается к сыну, сыну души своей, юному принцу Гамлету, и к своему сыну по плоти, Гамнету Шекспиру, который умер в Стратфорде, чтобы взявший имя его мог бы жить вечно.

И неужели возможно, чтобы актер Шекспир, призрак в силу отсутствия, а в одеянии похороненного монарха Дании призрак и в силу смерти, говоря свои собственные слова носителю имени собственного сына (будь жив Гамнет Шекспир, он был бы близнецом принца Гамлета),— неужели это возможно, я спрашиваю, неужели вероятно, чтобы он не сделал или не предвидел бы логических выводов из этих посылок: ты обездоленный сын — я убитый отец — твоя мать преступная королева, Энн Шекспир, урожденная Хэтуэй?

— Но это копанье в частной жизни великого человека,— нетерпеливо вмешался Рассел.

Ага, старик, и ты?

— Интересно лишь для приходского писаря. У нас есть пьесы. И когда перед нами поэзия «Короля Лира» — что нам до того, как жил поэт? Обыденная жизнь — ее наши слуги могли бы прожить за нас, как заметил Вилье де Лиль *. Вынюхивать закулисные сплетни: поэт пил, поэт был в долгах. У нас есть «Король Лир» — и он бессмертен.

Лицо мистера Супера — адресат слов — выразило согласие.

> Стреми над ними струи вод, тебе подвластных*.
> Мананаан, Мананаан, Мак-Лир...

А как, любезный, насчет того фунта, что он одолжил тебе, когда ты голодал?

О, еще бы, я так нуждался.

Прими сей золотой.

Брось заливать! Ты его почти весь оставил в постели Джорджины Джонсон, дочки священника. Жагала сраму.

А ты намерен его отдать?

О, без сомнения.

Когда же? Сейчас?

Ну... нет пока.

Так когда же?

Я никому не должен. Я никому не должен.

Спокойствие. Он с того берега Бойна. С северо-востока. Долг за тобой.

Нет, погоди. Пять месяцев. Молекулы все меняются. Я уже другой я. Не тот, что занимал фунт.

Неужто? Ах-ах-ах!

Но я, энтелехия, форма форм, сохраняю я благодаря памяти, ибо формы меняются непрестанно.

Я, тот что грешил и молился и постился.

Ребенок, которого Конми спас от порки.

Я, я и я. Я.

А. Э. Я ваш должник.

— Вы собираетесь бросить вызов трехсотлетней традиции? — язвительно вопросил Джон Эглинтон. — Вот уж ее призрак никогда никого не тревожил. Она скончалась * — для литературы, во всяком случае,— прежде своего рождения.

— Она скончалась,— парировал Стивен,— через шестьдесят семь лет после своего рождения. Она видела его входящим в жизнь и покидающим ее. Она была его первой возлюбленной. Она родила ему детей. И она закрыла ему глаза, положив медяки на веки, когда он покоился на смертном одре.

Мать на смертном одре. Свеча. Занавешенное зеркало. Та, что дала мне жизнь, лежит здесь, с медяками на веках, убранная дешевыми цветами. Liliata rutilantium.

Я плакал один.

Джон Эглинтон глядел на свернувшегося светлячка в своей лампе.

— Принято считать, что Шекспир совершил ошибку,— произнес он,— но потом поскорее ее исправил, насколько мог.

— Вздор! — резко заявил Стивен. — Гений не совершает ошибок. Его блуждания намеренны, они — врата открытия.

Врата открытия распахнулись, чтобы впустить квакера-библиотекаря, скрипоногого, плешивого, ушастого, деловитого.

— Строптивицу,— возразил строптиво Джон Эглинтон,— с большим трудом представляешь вратами открытия. Какое, интересно, открытие Сократ сделал благодаря Ксантиппе?

— Диалектику,— отвечал Стивен,— а благодаря своей матери — искусство рожденья мыслей *. А чему научился он у своей другой жены, Мирто (absit nomen![6]), у Эпипсихидиона Сократидидиона, того не узнает уж ни один мужчина, тем паче женщина*. Однако ни мудрость повитухи, ни сварливые поучения не спасли его от архонтов * из Шинн Фейн и от их стопочки цикуты.

— Но все-таки Энн Хэтуэй? — прозвучал негромкий примирительный голос мистера Супера. — Кажется, мы забываем о ней, как прежде сам Шекспир.

Он переводил взгляд с задумчивой бороды на язвительный череп, дабы напомнить и доброжелательно упрекнуть, затем задержал его на лысорозовой тыкве лолларда *, безвинно подозреваемого.

— У него было на добрую деньгу ума,— сказал Стивен,— и память далеко не дырявая. Он нес свои воспоминания при себе, когда поспешал в град столичный, насвистывая «Оставил я свою подружку». Не будь даже время указано землетрясением *, мы бы должны были знать, где это все было — бедный зайчонок, дрожащий в своей норке под лай собак, и уздечка пестрая, и два голубых окна. Эти воспоминания, «Венера и Адонис», лежали в будуаре у каждой лондонской прелестницы. Разве вправду строптивая Катарина неказиста? Гортензио называет ее юною и прекрасной. Или вы думаете,

[6] Имя опустим! *(лат.)*

что автор «Антония и Клеопатры», страстный пилигрим *, вдруг настолько ослеп, что выбрал разделять свое ложе самую мерзкую мегеру во всем Уорикшире? Признаем: он оставил ее, чтобы покорить мир мужчин. Но его героини, которых играли юноши, это героини юношей. Их жизнь, их мысли, их речи — плоды мужского воображения. Он неудачно выбрал? Как мне кажется, это его выбрали. Бывал наш Вилл и с другими мил, но только Энн взяла его в плен. Бьюсь об заклад, что вина на ней. Она опутала его на славу, эта резвушка двадцати шести лет. Сероглазая богиня *, что склоняется над юношей Адонисом, нисходит, чтобы покорить*, словно пролог счастливый к возвышенью, это и есть бесстыжая бабенка из Стратфорда, что валит в пшеницу своего любовника, который моложе нее.

А мой черед? Когда?

Приди!

— В рожь,— уточнил мистер Супер светло и радостно, поднимая свой новый блокнот радостно и светло.

И с белокурым удовольствием для всеобщего сведения напомнил негромко:

> Во ржи густой слила уста
> Прелестных поселян чета.

Парис: угодник, которому угодили на славу.

Рослая фигура в волосатой домотканине поднялась из тени и извлекла свои кооперативные часы.

— К сожалению, мне пора в «Хомстед».

Куда ж это он? Почва для обработки.

— Как, вы уходите? — вопросили подвижные брови Джона Эглинтона. — А вечером мы увидимся у Мура? Там появится Пайпер.

— Пайпер? — переспросил мистер Супер. — Пайпер уже вернулся?

Питер Пайпер с перепою пересыпал персики каперсами.

— Не уверен, что я смогу. Четверг. У нас собрание. Если только получится уйти вовремя.

Йогобогомуть в меблирашках Доусона. «Изида без покрова»*. Их священную книгу на пали мы как-то пытались заложить. С понтом под зонтом, на поджатых ногах, восседает царственный ацтекский Логос, орудующий на разных астральных уровнях, их сверхдуша, махамахатма. Братия верных, герметисты, созревшие для посвященья в ученики, водят хороводы вокруг него, ожидают, дабы пролился свет. Луис Х. Виктори *, Т. Колфилд Ирвин *. Девы Лотоса * ловят их взгляды с обожаньем, шишковидные железы их так и пылают. Он же царствует, преисполненный своего бога, Будда под банановой сенью. Душ поглотитель и кружитель. Души мужчин, души женщин, душно от душ. С жалобным воплем кружимые, уносимые вихрем, они стенают, кружась.

> В глухую квинтэссенциальную ничтожность,
> В темницу плоти ввергнута душа.

— Говорят, что нас ожидает литературный сюрприз,— тоном дружеским и серьезным промолвил квакер-библиотекарь. — Разнесся слух, будто бы мистер Рассел подготовил сборник стихов наших молодых поэтов. Мы ждем с большим интересом.

С большим интересом он глянул в сноп ламповых лучей, где три лица высветились, блестя.

Смотри и запоминай.

Стивен глянул вниз на безглавую шляпенцию, болтающуюся на ручке тросточки у его колен. Мой шлем и меч. Слегка дотронуться указательными пальцами. Опыт Аристотеля. Одна или две? Необходимость есть то, в силу чего вещам становится невозможно быть по-другому. Значится, одна шляпа она и есть одна шляпа.

Внимай.

Юный Колем * и Старки *. Джордж Робертс * взял на себя коммерческие хлопоты. Лонгворт * как следует раструбит об этом в «Экспрессе». О, в самом деле? Мне понравился «Погонщик» Колема. Да, у него, пожалуй, имеется эта диковина, гениальность. Так вы считаете, в нем есть искра гениальности? Йейтс восхищался его двустишием: «Так в черной глубине земли Порой блеснет античный мрамор» *. В самом деле? Я надеюсь, вы все же появитесь сегодня. Мэйлахи Маллиган тоже придет. Мур попросил его привести Хейнса. Вы уже слышали остроту мисс Митчелл * насчет Мура и Мартина? О том, что Мур — это грехи молодости Мартина? Отлично найдено, не правда ли? Они вдвоем напоминают Дон Кихота и Санчо Пансу. Как любит повторять доктор Сигерсон *, наш национальный эпос еще не создан. Мур — тот человек, который способен на это. Наш дублинский рыцарь печального образа. В шафранной юбке? О'Нил Рассел? * Ну как же, он должен говорить на великом древнем наречии. А его Дульсинея? Джеймс Стивенс пишет весьма неглупые очерки. Пожалуй, мы приобретаем известный вес.

Корделия. Cordoglio [7]. Самая одинокая из дочерей Лира.

Глухомань. А теперь покажи свой парижский лоск.

— Покорнейше благодарю, мистер Рассел,— сказал Стивен, вставая. — Если вы будете столь любезны передать то письмо мистеру Норману...

— О, разумеется. Он его поместит, если сочтет важным. Знаете, у нас столько корреспонденции.

— Я понимаю,— отвечал Стивен. — Благодарю вас.

Дай тебе бог. Свиная газетка. Отменно быколюбива.

Синг тоже обещал мне статью для «Даны». Но будут ли нас читать? Сдается мне, что будут. Гэльская Лига хочет что-нибудь на ирландском. Надеюсь, что вы придете вечером. И прихватите Старки.

Стивен снова уселся.

Отделясь от прощающихся, подошел квакер-библиотекарь. Краснея, его личина произнесла:

— Мистер Дедал, ваши суждения поразительно проясняют всё.

Поскрипывая, он переступал на цыпочках туда и сюда, поближе к небесам на высоту каблука, и, заглушаемый уходящими шагами, спросил тихонько:

— Значит, по вашему мнению, она была неверна поэту?

Встревоженное лицо предо мной. Почему он подошел? Из вежливости или по внутреннему озарению?

— Где было примирение,— молвил Стивен,— там прежде должен был быть разрыв.

— Это верно.

Лис Христов * в грубых кожаных штанах, беглец, от облавы скрывавшийся в трухлявых дуплах. Не имеет подруги, в одиночку уходит от погони. Женщин, нежный пол, склонял он на свою сторону, блудниц вавилонских, судейских барынь, жен грубиянов-кабатчиков. Игра в гусей и лисицу. А в Нью-Плэйс — обрюзглое опозоренное существо, некогда столь миловидное, столь нежное, свежее как юное деревце, а ныне листья его опали все до единого, и страшится мрака могилы, и нет прощения.

— Это верно. Значит, вы полагаете...

Закрылась дверь за ушедшим.

Покой воцарился вдруг в укромной сводчатой келье, покой и тепло, располагающие к задумчивости.

Светильник весталки.

Тут он раздумывает о несбывшемся: о том, как бы жил Цезарь, если бы поверил прорицателю — о том, что бы могло быть — о воз-

[7] Скорбь *(итал.)*.

можностях возможного как такового — о неведомых вещах — о том, какое имя носил Ахилл, когда он жил среди женщин.

Вокруг меня мысли, заключенные в гробах, в саркофагах, набальзамированные словесными благовониями. Бог Тот, покровитель библиотек, птицебог, увенчанный луной. И услышал я глас египетского первосвященника. *Книг груды глиняных в чертогах расписных.*

Они недвижны. А некогда кипели в умах людей. Недвижны: но все еще пожирает их смертный зуд: хныча, нашептывать мне на ухо свои басни, навязывать мне свою волю.

— Бесспорно,— философствовал Джон Эглинтон,— из всех великих людей он самый загадочный. Мы ничего не знаем о нем, знаем лишь, что он жил и страдал. Верней, даже этого не знаем. Другие нам ответят на вопрос *. А все остальное покрыто мраком.

— Но ведь «Гамлет» — там столько личного, разве вы не находите? — выступил мистер Супер.— Я хочу сказать, это же почти как дневник, понимаете, дневник его личной жизни. Я хочу сказать, что меня вовсе не волнует, кто там, понимаете, преступник или кого убили...

Он положил девственно чистый блокнот на край стола, улыбкою заключив свой выпад. Его личный дневник в подлиннике. Та an bad ar an tir. Taim in mo shagart [8]. А ты это посыпь английской солью, малютка Джон *.

И глаголет малютка Джон Эглинтон:

— После того, что нам рассказывал Мэйлахи Маллиган, я мог ожидать парадоксов. Но должен предупредить: если вы хотите разрушить мое убеждение, что Шекспир это Гамлет, перед вами тяжелая задача.

Прошу немного терпения.

Стивен выдержал тяжелый взгляд скептика, ядовито посверкивающий из-под насупленных бровей. Василиск. E quando vede l'uomo l'attosca [9]. Мессир Брунетто *, благодарю тебя за подходящее слово.

— Подобно тому, как мы — или то матерь Дана? — сказал Стивен,— без конца ткем и распускаем телесную нашу ткань, молекулы которой день и ночь снуют взад-вперед,— так и художник без конца ткет и распускает ткань собственного образа. И подобно тому, как родинка у меня на груди по сей день там же, справа, где и была при рождении, хотя все тело уж много раз пересоткано из новой ткани,— так в призраке неупокоившегося отца вновь оживает образ почившего сына. В минуты высшего воодушевления, когда, по словам Шелли, наш дух словно пламенеющий уголь, сливаются воедино тот, кем я был, и тот, кто я есмь, и тот, кем мне, возможно, предстоит быть. Итак, в будущем, которое сестра прошлого, я, может быть, снова увижу себя сидящим здесь, как сейчас, но только глазами того, кем я буду тогда.

Сие покушение на высокий стиль — не без помощи Драммонда из Хоторндена.

— Да-да,— раздался юный голос мистера Супера.— Мне Гамлет кажется совсем юным. Возможно, что горечь в нем — от отца, но уж сцены с Офелией — несомненно, от сына.

Пальцем в небо. Он в моем отце. Я в его сыне.

— Вот родинка, которая исчезнет последней,— отозвался Стивен со смехом.

Джон Эглинтон сделал пренедовольную мину.

— Будь это знаком гения,— сказал он,— гении шли бы по дешевке в базарный день. Поздние пьесы Шекспира, которыми так восхищался Ренан, проникнуты иным духом.

---

[8] Корабль причалил к берегу. Я жрец* *(ирл.)*.

[9] И когда взглянет на человека, отравляет его *(итал.)*.

— Духом примирения,— шепнул проникновенно квакер-библиотекарь.

— Не может быть примирения,— сказал Стивен,— если прежде него не было разрыва.

Уже говорил.

— Если вы хотите узнать, тени каких событий легли на жуткие времена «Короля Лира», «Отелло», «Гамлета», «Троила и Крессиды»,— попробуйте разглядеть, когда же и как тени эти рассеиваются. Чем сердце смягчит человек, Истерзанный в бурях мира, Бывалый как сам Одиссей, Перикл, что был князем Тира?

Голова под красношапкой остроконечной, заушанная, слезоточивая.

— Младенец, девочка, у него на руках, Марина.

— Тяга софистов к окольным тропам апокрифов * — величина постоянная,— сделал открытие Джон Эглинтон.— Столбовые дороги скучны, однако они-то и ведут в город.

Старина Бэкон: уж весь заплесневел. Шекспир — грехи молодости Бэкона. Жонглеры цифрами и шифрами шагают по столбовым дорогам. Пытливые умы в великом поиске. Какой же город, почтеннейшие мудрецы? Обряжены в имена: А. Э.— эон; Маги — Джон Эглинтон. Восточнее солнца, западнее луны: Tir na n-og [10]. Парочка, оба в сапогах, с посохами*.

Сколько миль до Дублина?
Трижды пять и пять.
Долго ли при свечке нам до него скакать?*

— По мнению господина Брандеса,— заметил Стивен,— это первая из пьес заключительного периода.

— В самом деле? А что говорит мистер Сидней Ли, он же Симон Лазарь, как некоторые уверяют?

— Марина,— продолжал Стивен,— дитя бури, Миранда — чудо, Пердита — потерянная. Что было потеряно, вернулось к нему: дитя его дочери. Перикл говорит: «Моя милая жена была похожа на эту девочку». Спрашивается, как человек полюбит дочь, если он не любил ее мать?

— Искусство быть дедушкой*,— забормотал мистер Супер.— L'art d'être grandp...

— Не увидит ли он возрожденным в ней иной образ, и вкупе с ним память собственной юности?

Ты знаешь ли, о чем говоришь? Да, любовь. Слово, которое знают все. Amor vero aliquid alicui bonum vult unde et ea quae concupiscimus...[11]

— Для человека, у которого имеется эта диковина, гениальность, лишь его собственный образ служит мерилом всякого опыта, духовного и практического. Сходство такого рода тронет его. Но образы других мужей, ему родственных по крови, его оттолкнут. Он в них увидит только нелепые потуги природы предвосхитить или скопировать его самого.

Благосклонное чело квакера-библиотекаря осветилось розовою надеждой.

— Я надеюсь, мистер Дедал разовьет и дальше свою теорию на благо просвещения публики. И мы непременно должны упомянуть еще одного комментатора-ирландца — Джорджа Бернарда Шоу. Нельзя здесь не вспомнить и Фрэнка Харриса: у него блестящие статьи о Шекспире в «Сатердей ревью». Любопытно, что и он также настаивает на этом неудачном романе со смуглой леди сонетов. Счастливый соперник — Вильям Херберт, граф Пембрук. Но я убежден,

[10] Страна юности* (ирл.).

[11] Любовь же любому желает добра, почему эти вещи, коих мы вожделеем... (лат.)

что если даже поэт и оказался отвергнутым, это более гармонировало — как бы тут выразиться? — с нашими представлениями о том, чего не должно быть.

Довольный, он смолк, вытянув кротко к ним плешивую голову — гагачье яйцо, приз для победителя в споре.

Супружеская речь звучала бы у него суровым библейским слогом. Любишь ли мужа сего, Мириам? Данного тебе от Господа Твоего?

— И это не исключено,— отозвался Стивен. — У Гёте есть одно изречение, которое мистер Маги любит цитировать. Остерегайся того, к чему ты стремишься в юности, ибо ты получишь это сполна в зрелые лета. Почему он посылает к известной buonaroba [12], к той бухте, где все мужи бросали якорь, к фрейлине со скандальною славой еще в девичестве,— какого-то мелкого лордишку, чтобы тот поухаживал вместо него? Ведь он уже сам был лордом в словесности *, и успел стать отменным кавалером, и написал «Ромео и Джульетту». Так почему же тогда? Вера в себя была подорвана прежде времени. Он начал с того, что был повержен на пшеничном поле (виноват, на ржаном),— и после этого он уже никогда не сможет чувствовать себя победителем и не узнает победы в бойкой игре, в которой веселье и смех — путь к постели. Напускное донжуанство его не спасет. Он был отделан так, что не переделать. Кабаний клык его поразил туда, где кровью истекает любовь. Пусть даже строптивая и укрощена, ей всегда еще остается невидимое оружие женщины. Я чувствую за его словами, как плоть словно стрекалом толкает его к новой страсти, еще темней первой, затемняющей даже его понятия о самом себе. Похожая судьба и ожидает его — и оба безумия совьются в единый вихрь.

Они внимают. И я в ушные полости им лью.

— Его душа еще прежде была смертельно поражена, яд влит в ушную полость заснувшего. Но те, кого убили во сне, не могут знать, каким же способом они умерщвлены, если только Творец не наделит этим знанием их души в будущей жизни. Ни об отравлении, ни о звере с двумя спинами, что был причиной его, не мог бы знать призрак короля Гамлета, не будь он наделен этим знанием от творца своего. Вот почему его речь (его английский немощный язык) все время уходит куда-то в сторону, куда-то назад. Насильник и жертва, то, чего он хотел бы, но не хотел бы, следуют неотлучно за ним, от полушарий Лукреции цвета слоновой кости с синими жилками к обнаженной груди Имогены, где родинка как пять пурпурных точек. Он возвращается обратно, уставший от всех творений, которые он нагромоздил, чтобы спрятаться от себя самого, старый пес, зализывающий старую рану. Но его утраты — для него прибыль, личность его не оскудевает, и он движется к вечности, не почерпнув ничего из той мудрости, которую сам создал, и тех законов, которые сам открыл. Его забрало поднято. Он призрак, он тень сейчас, ветер в утесах Эльсинора, или что угодно, зов моря, слышный лишь в сердце того, кто сущность его тени, сын, единосущный отцу.

— Аминь! — раздался ответный возглас от дверей.

Нашел ты меня, враг мой!

Антракт.

Охальная физиономия с постной миной соборного настоятеля: Бык Маллиган в пестром шутовском наряде продвигался вперед, навстречу приветственным улыбкам. Моя телеграмма.

— Если не ошибаюсь, ты тут разглагольствуешь о газообразном позвоночном? — осведомился он у Стивена.

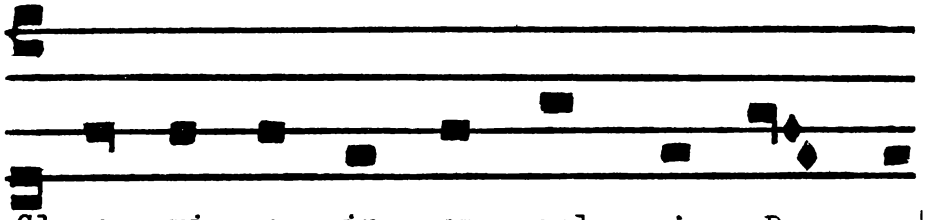
Лимонножилетный, он бодро слал всем приветствия, размахивая панамой словно шутовским жезлом.

[12] Здесь: модная красотка *(итал.)*.

Они оказывают ему теплый прием. Was Du verlachst, wirst Du noch dienen [13].

Орава зубоскалов: Фотий, псевдо-Малахия, Иоганн Мост *.

Тот, Кто зачал Сам Себя через посредство Святого Духа и Сам послал Себя Искупителем между Собой и другими, Кто взят был врагами Своими на поругание, и обнаженным бичеван, и пригвожден аки нетопырь к амбарной двери и умер от голода на кресте, Кто дал предать Его погребению, и восстал из гроба, и отомкнул ад, и вознесся на небеса где и восседает вот уже девятнадцать веков одесную Самого Себя но еще воротится в последний день судити живых и мертвых когда все живые будут уже мертвы.



Glo-o——ri——a in ex——cel——sis De——o.[14]

Он воздевает руки. Завесы падают. О, цветы! Колокола, колокола, сплошной гул колоколов.

— Да, именно так,— отвечал квакер-библиотекарь. — Очень ценная и поучительная беседа. Я уверен, что у мистера Маллигана тоже имеется своя теория по поводу пьесы и по поводу Шекспира. Надо учитывать все стороны жизни.

Он улыбнулся, обращая свою улыбку поровну во все стороны.

Бык Маллиган с интересом задумался.

— Шекспир? — переспросил он. — Мне кажется, я где-то слыхал это имя.

Быстрая улыбка солнечным лучиком скользнула по его рыхлым чертам.

— Ну, да! — радостно произнес он, припомнив. — Это же тот самый, который пишет как Синг*.

Мистер Супер обернулся к нему.

— Вас искал Хейнс,— сказал он. — Вы не видали его? Он собирался потом с вами встретиться в ДХК. А сейчас он направился к Гиллу покупать «Любовные песни Коннахта» Хайда.

— Я шел через музей,— ответил Бык Маллиган. — А он тут был?

— Соотечественникам великого барда,— заметил Джон Эглинтон,— наверняка уже надоели наши замечательные теории. Как я слышал, некая актриса в Дублине вчера играла Гамлета в четыреста восьмой раз. Вайнинг утверждал, будто бы принц был женщиной. Интересно, еще никто не догадался сделать из него ирландца? Мне помнится, судья Бартон занимается разысканиями на эту тему. Он — я имею в виду его высочество, а не его светлость — клянется святым Патриком *.

— Но замечательнее всего — этот рассказ Уайльда,— сказал мистер Супер, поднимая свой замечательный блокнот. — «Портрет В. Х.», где он доказывает, что сонеты были написаны неким Вилли Хьюзом, мужем, в чьей власти все цвета.

— Вы хотите сказать, посвящены Вилли Хьюзу? — переспросил квакер-библиотекарь.

Или Хилли Вьюзу? Или самому себе, Вильяму Художнику. В. Х.: угадай, кто я? *

[13] Над чем ты смеешься, тому и послужишь *(нем.)*.

[14] Слава в вышних Богу *(лат.)*.

— Да-да, конечно, посвящены,— признал мистер Супер, охотно внося поправку в свою ученую глоссу. — Понимаете, тут, конечно, сплошные парадоксы, Хьюз и hews, то есть, он режет, и hues, цвета, но это для него настолько типично, как он это все увязывает. Тут, понимаете, самая суть Уайльда. Воздушная легкость.

Его улыбчивый взгляд с воздушною легкостью скользнул по их лицам. Белокурый эфеб *. Выхолощенная суть Уайльда *.

До чего же ты остроумен. Пропустив пару стопочек на дукаты магистра Дизи.

Сколько же я истратил? Пустяк, несколько шиллингов.

На ватагу газетчиков. Юмор трезвый и пьяный.

Остроумие. Ты отдал бы все пять видов ума, не исключая его, за горделивый юности наряд, в котором он, красуясь, выступает. Приметы утоленного желанья *.

Их будет еще мно. Возьми ее для меня. В брачную пору. Юпитер, охлади их любовную горячку. Ага, поворкуй с ней.

Ева. Нагой пшеничнолонный грех. Змей обвивает ее своими кольцами, целует, его поцелуй — укус.

— Вы думаете, это всего только парадокс? — вопрошал квакер-библиотекарь. — Бывает, что насмешника не принимают всерьез, как раз когда он вполне серьезен.

Они с полной серьезностью обсуждали серьезность насмешника.

Бык Маллиган с застывшим выражением лица вдруг тяжко уставился на Стивена. Потом, мотая головой, он подошел вплотную к нему и вытащил из кармана сложенную телеграмму. Он принялся читать ее, шевеля проворными губами и вновь восторженно улыбаясь.

— Телеграмма! — воскликнул он. — Дивное вдохновение! Телеграмма! Папская булла!

Он уселся на краешек одного из столов без лампы и громко, весело прочитал:

— *Сентиментальным нужно назвать того, кто способен наслаждаться, не обременяя себя долгом ответственности за содеянное**. Подпись: Дедал. Откуда ж ты это отбил? Из бардака? Нет. Колледж Грин. Четыре золотых уже пропил? Тетушка грозится поговорить с твоим убогосущным отцом. Телеграмма! Мэйлахи Маллигану, «Корабль», Нижняя Эбби-стрит. О, бесподобный комедиант! В попы подавшийся Клинкианец!

Он бодро сунул телеграмму вместе с конвертом в карман и зачастил вдруг простонародным говорком:

— Вот я те и толкую, мил человек, сидим это мы там, я да Хейнс, преем да нюним, а тут те вдобавок эту несут. И этакая нас разбирает тоска по адскому пойлу, что, вот те крест, тут и монаха бы проняло, самого даже хилого на эти дела. А мы как бараны торчим у Коннери — час, потом два часа, потом три, да все ждем, когда нам достанется хотя бы по пинте на душу.

Он причитал:

— И вот торчим мы там, мой сердешный, а ты и в ус не дуешь да еще рассылаешь бумаженции такие что у нас языки отвисли наружу на целый локоть как у святых отцов с пересохшей глоткой которым без рюмашки хуже кондрашки.

Стивен расхохотался.

Бык Маллиган быстро наклонился к нему с предостерегающим жестом.

— Этот бродяга Синг тебя всюду ищет, чтобы убить,— сообщил он. — Ему рассказали, что это ты обоссал его дверь в Гластуле. И вот он рыскает везде в поршнях, хочет тебя убить.

— Меня! — возопил Стивен. — Это был твой вклад в литературу.

Бык Маллиган откинулся назад, донельзя довольный, и смех его вознесся к темному, чутко внимавшему потолку.

— Ей-ей, прикончит! — заливался он.

Грубое лицо, напоминающее старинных чудищ, на меня ополчалось, когда сиживали за месивом из требухи на улице Сент-Андре-дезар. Слова из слов ради слов, palabras [15]. Ойсин с Патриком *. Как он повстречал фавна в Кламарском лесу, размахивающего бутылкой вина. C'est vendredi saint! [16]. Мордует ирландский язык. Блуждая, повстречал он образ свой. А я — свой. Сейчас в лесу шута я встретил.

— Мистер Листер,— позвал помощник, приоткрыв дверь.

— ...где всякий может отыскать то, что ему по вкусу. Так судья Мэдден в своих «Записках магистра Вильяма Сайленса» отыскал у него охотничью терминологию... Да-да, в чем дело?

— Там пришел один джентльмен, сэр,— сказал помощник, подходя ближе и протягивая визитную карточку.— Он из «Фримена» и хотел бы просмотреть подшивку «Килкенни пипл» за прошлый год.

— Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста. А что, этот джентльмен..?

Он взял деловитую карточку, глянул, не рассмотрел, отложил, не взглянув, посмотрел снова, спросил, скрипнул, спросил:

— А он..? А, вон там!

Стремительно в гальярде он двинулся прочь, наружу. В коридоре, при свете дня, заговорил он велеречиво, исполнен усердия и доброжелательства, с сознанием долга, услужливейший, добрейший, честнейший из всех сущих квакеров.

— Вот этот джентльмен? «Фрименс джорнэл»? «Килкенни пипл»? Всенепременно. Добрый день, сэр. «Килкенни...» Ну, конечно, имеется...

Терпеливый силуэт слушал и ждал.

— Все ведущие провинциальные... «Нозерн виг», «Корк икземинер», «Эннискорти гардиан». За прошлый год, тысяча девятьсот третий... Желаете посмотреть? Ивенс, проводите джентльмена... Пожалуйте за этим служи... Или позвольте, я сам... Сюда... Пожалуйте, сэр...

Услужливый и велеречивый, он возглавлял шествие ко всем провинциальным газетам, и темный пригнувшийся силуэт поспешал за его скорым шагом.

Дверь затворилась.

— Это тот пархатый! — воскликнул Бык Маллиган.

Резво вскочив, он подобрал карточку.

— Как там его? Ицка Мойше?* Блум.

И тут же затараторил:

— Иегова, сборщик крайней плоти, больше не существует. Я этого встретил в музее, когда зашел туда поклониться пеннорожденной Афродите. Греческие уста, что никогда не изогнулись в молитве. Мы каждый день должны ей воздавать честь. «О, жизни жизнь, твои уста воспламеняют» *.

Неожиданно он обернулся к Стивену.

— Он знает тебя. И знает твоего старикана. Ого, я опасаюсь, что он погречистей самих греков. Глаза его, бледного галилеянина, были так и прикованы к ее нижней ложбинке. Венера Каллипига *. О, гром сих чресл! «Фавн преследует дев, те же укрыться спешат»*.

— Мы бы хотели послушать дальше,— решил Джон Эглинтон с одобрения мистера Супера.— Нас заинтересовала миссис Ш. Раньше мы о ней думали (если когда-нибудь приходилось) как об этакой верной Гризельде*, о Пенелопе у очага.

---

[15] Слова *(исп.)*.

[16] Нынче страстная пятница! *(франц.)*

— Антисфен, ученик Горгия,— начал Стивен,— отнял пальму первенства в красоте у племенной матки Кюриоса Менелая*, аргивянки Елены, у этой троянской кобылы, в которой квартировал целый полк героев,— и передал ее скромной Пенелопе. Он прожил в Лондоне двадцать лет, и были времена, когда он получал жалованья не меньше чем лорд-канцлер Ирландии*. Жил он богато. Его искусство, которое Уитмен назвал искусством феодализма, скорее уж было искусством пресыщения. Паштеты, зеленые кубки с хересом, соусы на меду, варенье из розовых лепестков, марципаны, голуби, начиненные крыжовником, засахаренные коренья. Когда явились арестовать сэра Уолтера Рэли, на нем был наряд в полмиллиона франков и, в том числе, корсет по последней моде. Ростовщица Элиза Тюдор роскошью своего белья могла бы поспорить с царицей Савской. Двадцать лет он порхал между супружеским ложем с его чистыми радостями и блудодейною любовью с ее порочными наслаждениями. Вы знаете эту историю Маннингема про то, как жена одного обывателя, увидев Дика Бербеджа в «Ричарде Третьем», позвала его погреться к себе в постель*, а Шекспир подслушал и, не делая много шума из ничего, прямиком взял корову за рога, и тут Бербедж приходит, стучится в дверь*, а Шекспир ему отвечает из-под одеял рогоносца: *Вильгельм Завоеватель царствует прежде Ричарда Третьего.* И милая резвушка миссис Фиттон, оседлай и воскликни: О! и его нежная птичка, леди Пенелопа Рич*, и холеная светская дама годится актеру, и девки с набережной, пенни за раз.

Кур-ля-Рен. Encore vingt sous. Nous ferons de petites cochonneries. Minette? Tu veux?[17]

— Сливки высшего света. И мамаша сэра Вильяма Дэвенанта из Оксфорда, у которой для каждого самца чарка винца*.

Бык Маллиган, подняв глаза к небу, молитвенно возгласил:

— О, блаженная Маргарита Мария Ксамцускок! *

— И дочь Генриха-шестиженца и прочие подруги из ближних поместий, коих воспел благородный поэт Лаун-Теннисон. Но как вы думаете, что делала все эти двадцать лет бедная Пенелопа в Стратфорде за ромбиками оконных переплетов?

Действуй, действуй. Содеянное. Вот он, седеющий шатен *, прогуливается в розарии ботаника Джерарда * на Феттер-лейн. Колокольчик, что голубей ее жилок. Фиалка, нежнее ресниц Юноны. Прогуливается. Всего одна жизнь нам дана. Одно тело. Действуй. Но только действуй. Невдалеке — грязь, пахучий дух похоти, руки лапают белизну.

Бык Маллиган с силою хлопнул по столу Джона Эглинтона.

— Так вы на кого думаете? — спросил он с нажимом.

— Допустим, он — брошенный любовник в сонетах. Брошенный один раз, потом другой. Однако придворная вертихвостка его бросила ради лорда, ради его бесценнаямоялюбовь.

Любовь, которая назвать себя не смеет.

— Вы хотите сказать,— вставил Джон бурбон Эглинтон,— что он, как истый англичанин, питал слабость к лордам.

У старых стен мелькают молнией юркие ящерицы. В Шарантоне я наблюдал за ними.

— Похоже, что так,— отвечал Стивен,— коль скоро он готов оказать и ему и всем другим и любому невспаханному одинокому лону ту святую услугу, какую конюх оказывает жеребцу. Быть может, он, совсем как Сократ, имел не только строптивую жену, но и мать-повитуху. Но та-то строптивая вертихвостка не нарушала супружеского обета. Две мысли терзают призрака: нарушенный обет и тупоголовый мужлан, ставший ее избранником, брат покойного супруга. У милой

[17] Добавь двадцать су. Устроим небольшой развратик. Хочешь, киска? *(франц.).*

Энн, я уверен, была горячая кровь. Соблазнившая один раз соблазнит и в другой.

Стивен резко повернулся на стуле.

— Бремя доказательства на вас, не на мне,— произнес он, нахмурив брови.— Если вы отрицаете, что в пятой сцене «Гамлета» он заклеймил ее бесчестьем,— тогда объясните мне, почему о ней нет ни единого упоминания за все тридцать четыре года, с того дня, когда она вышла за него, и до того, когда она его схоронила. Всем этим женщинам довелось проводить в могилу своих мужчин: Мэри — своего благоверного Джона, Энн — бедного дорогого Вилли, когда тот вернулся к ней умирать, в ярости, что ему первому, Джоан — четырех братьев, Джудит — мужа и всех сыновей, Сьюзен — тоже мужа, а дочка Сьюзен, Элизабет, если выразиться словами дедушки, вышла за второго, убравши первого на тот свет *. О да, упоминание есть. В те годы, когда он вел широкую жизнь в королевском Лондоне, ей, чтобы заплатить долг, пришлось занять сорок шиллингов у пастуха своего отца. Теперь объясните все это. А заодно объясните и ту лебединую песнь, в которой он представил ее потомкам.

Он обозрел их молчание.

На это Эглинтон: Так вы о завещанье *.
Юристы, кажется, его уж разъяснили.
Ей, как обычно, дали вдовью часть.
Все по законам. В них он был знаток,
Как говорят нам судьи.
А Сатана ему в ответ,
Насмешник:
И потому ни слова нет о ней
В наброске первом, но зато там есть
Подарки и для внучки, и для дочек,
И для сестры, и для друзей старинных
И в Стратфорде, и в Лондоне.
И потому, когда он все ж включил
(Сдается мне, отнюдь не добровольно)
Кой-что и ей, то он ей завещал
Свою, притом не лучшую,
Кровать.

Punkt [18].

Завещал
Ейкровать
Второсорт
Завещал
Второвать
Кровещал.

Тпру!

— В те времена у прелестных поселян бывало негусто движимого имущества,— заметил Джон Эглинтон,— как, впрочем, и ныне, если верить нашим пьесам из сельской жизни.

— Он был богатым землевладельцем,— возразил Стивен.— Он имел собственный герб, земельные угодья в Стратфорде, дом в Ирландском подворье. Он был пайщиком в финансовых предприятиях, занимался податными делами, мог повлиять на проведение закона в Парламенте. И почему он не оставил ей лучшую свою кровать, если он ей желал мирно прохрапеть остаток своих ночей?

— Были, наверное, две кровати, одна получше, а другая — так, второй сорт,— подал тонкую догадку мистер Второсорт Супер.

— Separatio a mensa et a thalamo [19],— улучшил Бык Маллиган, вызвав у всех улыбки.

[18] Точка, пункт *(нем.)*.

[19] Отлучение от стола и ложа* *(лат.)*.

— У древних упоминаются знаменитые постели. Сейчас попробую вспомнить,— наморщил лоб Второсорт Эглинтон, улыбаясь постельно.

— У древних упоминается,— перебил его Стивен,— что Стагирит, школьник-шалопай и лысый мудрец язычников, умирая в изгнании, отпустил на волю и одарил своих рабов, воздал почести предкам и завещал, чтобы его схоронили подле останков его покойной жены. Друзей же он просил позаботиться о своей давней любовнице (вспомним тут новую Герпиллис, Нелл Гвинн) и позволить ей жить на его вилле.

— А вы тоже считаете, что он умер так? — спросил мистер Супер слегка озабоченно.— Я имею в виду...

— Он умер, упившись в стельку *,— закрыл вопрос Бык Маллиган.— *Кварта эля — королевское блюдо.* Нет, вот я лучше расскажу вам, что изрек Доуден!

— А что? — вопросил Суперэглинтон.

Вильям Шекспир и Ко *, акционерное общество. Общедоступный Вильям. Об условиях справляться: Э. Доуден *, Хайфилд-хаус...

— Бесподобно! — вздохнул с восхищением Бык Маллиган.— Я у него спросил, что он думает насчет обвинения в педерастии, взводимого на поэта. А он воздел кверху руки и отвечает: *Мы можем единственно лишь сказать, что в те времена жизнь била ключом.* Бесподобно!

Извращенец.

— Чувство прекрасного совлекает нас с путей праведных,— сказал грустнопрекрасный Супер угловатому Углинтону.

А непреклонный Джон отвечал сурово:

— Смысл этих слов нам может разъяснить доктор. Невозможно, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Тако глаголеши? Неужели они будут оспаривать у нас, у меня пальму первенства в красоте? *

— А также и чувство собственности,— заметил Стивен.— Шейлока он извлек из собственных необъятных карманов. Сын ростовщика и торговца солодом, он и сам был ростовщик и торговец зерном, попридержавший десять мер зерна во время голодных бунтов. Те самые личности разных исповеданий, о которых говорит Четтл Фальстаф и которые засвидетельствовали его безупреччость в делах,— они все были, без сомнения, его должники. Он подал в суд на одного из своих собратьев-актеров за несколько мешков солода * и взыскивал людского мяса фунт в проценты за всякую занятую деньгу. А как бы еще конюх (по Обри) и помощник суфлера сумел так быстро разбогатеть? * Что бы ни делалось, он со всего имел свой навар. В Шейлоке слышны отзвуки той травли евреев, что разыгралась после того, как Лопеса, лекаря королевы, повесили и четвертовали, а его еврейское сердце, кстати, вырвали из груди, пока пархатый еще дышал; в «Гамлете» и «Макбете» — отзвуки восшествия на престол шотландского философуса, любившего поджаривать ведьм *. В «Бесплодных усилиях любви» он потешается над гибелью Великой Армады. Помпезные его хроники плывут на гребне восторгов в духе Мафекинга *. Судят ли иезуитов * из Уорикшира — тут же привратник поносит теорию двусмысленности. Вернулся ли «Отважный мореход» с Бермудских островов — пишется тут же пьеса, что восхитила Ренана, и в ней — Пэтси Калибан, наш американский кузен * Слащавые сонеты явились вслед за сонетами Сидни. А что до феи Элизабет, или же рыжей Бесс, разгульной девы, вдохновившей «Виндзорских проказниц», то уж пускай какой-нибудь герр из Неметчины всю жизнь раскапывает глубинные смыслы на дне корзины с грязным бельем.

Что ж, у тебя совсем недурно выходит. Вот только еще подпусти чего-нибудь теологофилологологического. Mingo, minxi, mictum, mingere [20].

[20] Мочусь, мочился, обмоченный, мочиться *(лат.)*.

— Докажите, что он был еврей,— решился предложить Джон Эглинтон.— Вот ваш декан утверждает, будто он был католик.

Sufflaminandus sum [21].

— В Германии,— отвечал Стивен,— из него сделали образцового французского лакировщика итальянских скандальных басен.

— Несметноликий человек,— сметливо припомнил мистер Супер.— Кольридж его назвал несметноликим.

Amplius. In societate humana hoc est maxime necessarium ut sit amicitia inter multos [22].

— Святой Фома,— начал Стивен...

— Ora pro nobis [23],— пробурчал Монах Маллиган, опускаясь в кресло.

И запричитал с жалобным подвываньем:

— Pogue mahone! Acushla machree! [24] Теперь не иначе пропали мы! Как пить дать пропали! *

Все внесли по улыбке.

— Святой Фома,— сказал улыбаясь Стивен,— чьи толстопузые тома мне столь приятно почитывать в оригинале, трактует о кровосмесительстве с иной точки зрения нежели та новая венская школа, о которой говорил мистер Маги. В своей мудрой и своеобычной манере, он сближает его со скупостью чувств. Имеется в виду, что, отдавая любовь близкому по крови, тем самым как бы скупятся наделить ею того, кто дальше, но кто, быть может, жаждет ее. Евреи, которым христиане приписывают скупость, больше всех наций привержены к единокровным бракам. Но обвинения эти — по злобе. Те же христианские законы, что дали евреям почву для накопления богатств (ведь им, как и лоллардам, убежищем служили бури), оковали стальными обручами круг их привязанностей. Грех это или добродетель — лишь старый Никтоотец * откроет нам в Судный день. Но человек, который так держится за то, что он именует своими правами на то, что он именует себе причитающимся,— он будет цепко держаться и за то, что он именует своими правами на ту, кого он именует своей женой. И пусть никакой окрестный сэр смайл не пожелает вола его, или жены его, или раба, или рабыни его, или осла его*.

— Или ослицы его,— возгласил антифонно Бык Маллиган.

— С нашим любезным Виллом сурово обошлись,— любезно заметил мистер Супер, сама любезность.

— С какой волей? [25]— мягко вмешался Бык Маллиган.— Мы рискуем запутаться.

— Воля к жизни,— пустился в философию Джон Эглинтон,— была волею к смерти для бедной Энн, вдовы Вилла.

— Requiescat! [26]— помолился Стивен.

Воли к действию уж нет
И в помине много лет...*

— И все же она положена, охладелая, на эту, на второсортную кровать: поруганная царица, хотя б вы и доказали, что в те дни кровать была такою же редкостью как ныне автомобиль, а резьба на ней вызывала восторги семи приходов. На склоне дней своих она сошлась с проповедниками (один из них останавливался в Нью-Плэйс и получал кварту хереса за счет города; однако не следует спрашивать, на какой кровати он спал) и прослышала, что у нее есть душа. Она прочла, или же ей прочли, книжицы из его котомки, предпочитая их «Проказницам», и, облегчаясь в ночной сосуд, размышляла о «Крюч-

[21] Надо унять меня *(лат.)*.

[22] Далее. В человеческом обществе крайне необходимо, чтобы узы дружбы связывали многих *(лат.)*.

[23] Молись за нас *(лат.)*.

[24] Поцелуй меня в задницу! Биенье сердца моего! *(ирл.)*

[25] Игра слов: воля, а также и завещание по-английски — will.

[26] Покойся! *(лат.)*

ках и Петлях для Штанов Истинно Верующего» и о «Наидуховнейшей Табакерке, что Заставляет Чихать Наиблагочестивейшие Души». Венера изогнула свои уста в молитве. Жагала сраму: угрызения совести. Возраст, когда распутство, выдохшись, начинает себе отыскивать бога.

— История подтверждает это,— inquit Eglintonus Chronologos[27].— Один возраст жизни сменяется другим. Однако мы знаем из высокоавторитетных источников, что худшие враги человека — его домашние и семья*. Мне кажется, Рассел прав. Какое нам дело до его жены, до отца? Я бы сказал, что семейная жизнь существует только у поэтов семейного очага. Фальстаф не был человеком семейного очага. А для меня тучный рыцарь — венец всех его созданий.

Тощий, откинулся он назад. Робкий, отрекись от сородичей своих, жестоковыйных праведников. Робкий, в застолье с безбожниками он тщится избегать чаши. Так ему наказал родитель из Ольстера, из графства Антрим. Навещает его тут в библиотеке ежеквартально. Мистер Маги, сэр, вас там желает видеть какой-то господин. Меня? Он говорит, что он ваш отец, сэр. Подайте-ка мне Вордсворта. Входит Маги Старший Мэтью *, в грубом сукне косматый керн, на нем штаны с гульфиком на пуговицах, чулки забрызганы грязью десяти лесов, и ветка яблони-дичка в руках.

А твой? Он знает твоего старикана. Вдовец.

Спеша из веселого Парижа в нищенскую лачугу к ее смертному ложу, на пристани я коснулся его руки. Голос, звучавший неожиданной теплотой. Ее лечит доктор Боб Кенни. Взгляд, что желает мне добра. Не зная меня, однако.

— Отец,— произнес Стивен, пытаясь побороть безнадежность,— это неизбежное зло. Он написал знаменитую пьесу вскоре после смерти отца *. Но если вы станете утверждать, что он, седеющий муж с двумя дочерьми на выданье, в возрасте тридцати пяти лет, nel mezzo del cammin di nostra vita [28], и добрых пятидесяти по своему опыту,— что он и есть безусый студиозус из Виттенберга *, тогда вам придется утверждать, что его старая мать, уже лет семидесяти, это похотливая королева. Нет. Труп Джона Шекспира не скитается по ночам. Он с часу и на час гниет. Отец мирно почиет, сложивши бремя отцовства и передав сие мистическое состояние сыну. Каландрино, герой Боккаччо, был первым и последним мужчиной, кто чувствовал, будто бы у него ребенок. Мужчина не знает отцовства в смысле сознательного порождения. Это — состоянье мистическое, апостольское преемство от единорождающего к единородному. Именно на этой тайне, а вовсе не на мадонне, которую лукавый итальянский разум швырнул европейским толпам, стоит церковь, и стоит непоколебимо, ибо стоит, как сам мир, макро- и микрокосм,— на пустоте. На недостоверном, невероятном. Возможно, что amor matris [29], родительный субъекта и объекта,— единственно подлинное в мире. Возможно, что отцовство — одна юридическая фикция. Где у любого сына такой отец, что любой сын должен его любить и сам он любого сына?

Куда это тебя понесло, черт побери?

Знаю. Заткнись. Ступай к черту. На то у меня причины.

Amplius. Adhuc. Iterum. Postea [30].

Или ты обречен этим заниматься?

— Телесный стыд разделяет их настолько прочной преградой, что мировые анналы преступности, испещренные всеми иными видами распутств и кровосмесительств, почти не сообщают о ее нарушениях. Сыновья с матерями, отцы с дочерьми, лесбиянки-сестры, любовь, которая назвать себя не смеет, племянники с бабушками, узники с замочными скважинами, королевы с быками-рекордистами *. Сын, пока

[27] Удостоверил Эглинтон Летописец *(лат.)*.
[28] Земную жизнь пройдя до половины* *(итал.)*.
[29] Любовь матери *(лат.)*
[30] Далее. Еще. Опять. После *(лат.)*.

не родился, портит фигуру; рождаясь, приносит муки, потом разделение привязанности, прибавку хлопот. И он новый мужчина: его восход — это закат отца, его молодость — отцу на зависть, его друг — враг отца.

Я додумался до этого на рю Мсье-ле-Пренс *.

— Что в природе их связывает? Миг слепой похоти.

А я отец? А если бы был?

Сморщенная неуверенная рука.

— Африканец Савеллий, хитрейший ересиарх из всех зверей полевых, утверждал, что Сам же Отец — Свой Собственный Сын. Бульдог Аквинский *, которого ни один довод не мог поставить в тупик, опровергает его. Отлично: если отец, у которого нет сына, уже не отец, то может ли сын, у которого нет отца, быть сыном? Когда Ратлендбэконсаутхемптоншекспир или другой какой-нибудь бард с тем же именем из этой комедии ошибок написал «Гамлета», он был не просто отцом своего сына, но, больше уже не будучи сыном, он был и он сознавал себя отцом всего своего рода, отцом собственного деда, отцом своего нерожденного внука, который, заметим в скобках, так никогда и не родился, ибо природа, как полагает мистер Маги, не терпит совершенства.

Глаза эглинтоньи, вмиг оживившись, искорку удовольствия метнули украдкой. Весел и радостен пуританина взгляд, хоть игл полн тон.

Польстить. Изредка. Но польстить.

— Сам себе отец,— пробормотал сам себе Сынмаллиган.— Постойте-постойте. Я забеременел. У меня нерожденное дитя в мозгу. Афина-Паллада! Пьеса! Пьеса, вот это что! Дайте мне разрешиться.

Он стиснул свой чреволоб акушерским жестом.

— Что до его семьи,— продолжал Стивен,— то род его матери живет еще и поныне в Арденском лесу. Ее смертью навеяна у него сцена с Волумнией в «Кориолане» *. Смерть его сына-мальчика — это сцена смерти юного Артура в «Короле Иоанне». Гамлет, черный принц, это Гамнет Шекспир. Кто были девушки в «Буре», в «Перикле», в «Зимней сказке» — мы уже знаем. Кто была Клеопатра, котел с мясом в земле Египетской, и кто Крессида, и кто Венера, мы можем догадываться *. Но есть и еще один член его семейства, чей след — на его страницах.

— Интрига усложняется,— заметил Джон Эглинтон.

Библиоквакер-прыгун вернулся, припрыгивая на цыпочках, личина его подрагивает, суетливо подпрыгивает, поквакивает.

Дверь затворилась. Келья. Огни.

Они внимают. Трое. Они.

Я. Ты. Он. Они.

Начнемте ж, судари.

Стивен. У него было три брата, Гилберт, Эдмунд, Ричард. Гилберт рассказывал в старости неким благородным господам, как однова случись Господин Кассир ему пожаловали вот не соврать дармовой билет и как видал он там в этом самом Лонноне свово брательника что сочиняет пьесы господина Виля в камеди со знатною потасовкой а у того здоровый детина сидел на закорках. Колбаса, что продавали в партере, преисполнила гилбертову душу восторгом. Он сгинул бесследно — но некий Эдмунд и некий Ричард присутствуют в сочинениях любящего Вильяма.

Магиглинджон. Имена! Что значит имя?

Супер. Ричард, понимаете, это же мое имя. Я надеюсь, у вас найдется доброе словечко про Ричарда, понимаете, уж ради меня.

Смех.

Бык Маллиган *(piano, diminuendo).*

Тут промолвил медик Дик
Своему коллеге Дэви...

Стивен. В его троице черных Виллов, злокозненных смутьянов, Яго, Ричард-горбун и Эдмунд в «Короле Лире», двоим присвоены имена злых дядюшек. И кстати еще, эту последнюю пьесу он писал или собирался писать в то самое время, когда его брат Эдмунд умирал в Саутуорке.

Супер. Я надеюсь, что на орехи попадет Эдмунду. Я не хочу, чтобы Ричард, мой тезка...

Смех.

Квакерлистер *(a tempo)*. Но тот, кто незапятнанное имя мое крадет...

Стивен (*stringendo*). Он запрятал свое имя, прекрасное имя, Вильям, в своих пьесах, дав его где статисту, где клоуну, как на картинах у старых итальянцев художник иногда пишет самого себя где-нибудь в незаметном уголку. Но он выставил его напоказ в Сонетах, где Вильям преизобилует. Как для Джона о'Гонта *, его имя дорого для него, столь же дорого, как щит и герб, ради которых он пресмыкался, на черном поясе золотое копье с серебряным острием, honorificabilitudinitatibus [31]*,— и дороже, чем слава величайшего в стране потрясателя сцены [32]. Что значит имя? Этот вопрос каждый задает себе в детстве, когда впервые пишет то имя, которое, как объясняют ему, есть «его имя». Звезда, сияющая и днем, огнедышащий дракон, поднялась в небесах при его рождении *. Она одиноко сияла средь бела дня, ярче, чем Венера ночью, а по ночам светила над дельтой Кассиопеи, созвездия, что разлеглось среди звезд, изображая его инициал. Его взгляд останавливался на ней, стоящей низко над горизонтом, восточней медведицы, когда в полночный час он проходил летними дремлющими полями, возвращаясь из Шоттери и из ее объятий.

Они оба довольны. Я тоже.

Только не говори им, что ему было девять лет, когда она исчезла. И из ее объятий.

Ждешь, пока тебя улестят и обольстят. Эх ты, тихоня. Кто тебя станет обольщать?

Читай в небесах. Аутонтиморуменос. Боус Стефаноуменос [33]*. Где же твое созвездие? Стиви-Стиви, съел все сливы. S. D.: sua donna. Già: di lui. Gelindo risolve di non amare S. D.[34].

— Но что же это было, мистер Дедал? — спросил квакер-библиотекарь.— Какое-нибудь небесное явление?

— Ночью — звезда,— отвечал Стивен.— Днем же — облачный столп.

О чем еще сказать?

Стивен окинул взглядом свою шляпу, трость, башмаки.

Стефанос [35], мой венец. Мой меч. А эти башмаки его только уродуют ноги. Надо купить пару. Носки дырявые. И носовой платок надо.

— Вы неплохо обыгрываете его имя,— признал Джон Эглинтон.— А ваше собственное довольно странно. Как мне кажется, оно объясняет ваш эксцентрический склад ума.

Я, Маги и Маллиган.

Легендарный искусник. Человек-сокол. Ты летал. Куда же? Ньюхейвен — Дьеп *, низшим классом. Париж и обратно. Зуек. Икар *. Pater, ait [36]*. Упал, барахтается в волнах, захлебывается. Зуек, вот ты кто. Быть зуйком.

Мистер Супер в тихом воодушевлении поднял блокнот:

---

[31] Находящийся в положении осыпанного почестями *(лат.)*.
[32] Shakespear(e) — потрясай копьем; shakescene — потрясай сцену *(англ.)*.
[33] Сам себя мучающий Стивен — бычья душа *(греч.)*.
[34] СД.: свою даму. Да-да: его. Охладевший решает не любить С. Д. *(итал.)*.
[35] Венок *(греч.)*.
[36] Отец, говорит *(лат.)*.

— Это очень интересно, потому что мотив брата, понимаете, встречается и в древнеирландских мифах. Как раз то, о чем вы говорите. Трое братьев Шекспиров. И то же самое у Гриммов, понимаете, в сказках. Там всегда третий брат — настоящий супер-герой, он женится на спящей принцессе, и все такое.

Супер из супер-братьев. Хороший, получше, супер.

Библиоквакер припрыгал и стал подле.

— Мне бы хотелось полюбопытствовать,— начал он,— о ком это вы из братьев... Как я понял, вы намекаете, что были предосудительные отношения с одним из братьев... Или, может быть, это я забегаю вперед?

Он поймал себя с поличным — поглядел на всех — смолк.

Помощник позвал с порога:

— Мистер Листер! Отец Дайнин * просит...

— Ах, отец Дайнин! Сейчас-сейчас!

Быстрым шагом час-час с бодрым скрипом час-час он час-час удалился.

Джон Эглинтон стал в позицию.

— Ну что ж,— произнес он.— Посмотрим, что у вас найдется сказать про Ричарда и Эдмунда. Вероятно, вы их приберегли напоследок?

— Ожидать, чтобы вы запомнили двух благородных родичей, дядюшку Ричи и дядюшку Эдмунда,— парировал Стивен,— как видно, значит ожидать слишком многого. Братьев забывают так же легко как зонтики.

Зуек.

А где твой брат? У аптекаря *. Мой оселок. Он, потом Крэнли, потом Маллиган — а теперь эти. Речи, речи. Но действуй же. Действуй речью. Они насмешничают, проверяя тебя. Действуй. Отвечай на действия.

Зуек.

Я устал от собственного голоса, голоса Исава. Полцарства за глоток *.

Вперед.

— Вы скажете, что это просто имена из тех хроник, откуда он брал себе материал для пьес. А почему тогда он выбрал эти, а не другие? Ричард, горбатый злодей, бастард, приударяет за овдовевшей Энн (что значит имя?), улещает и обольщает ее, злодей — веселую вдову. Ричард-завоеватель, третий брат, царствует после Вильяма-побежденного. И все остальные четыре акта драмы не то что зависят, а прямотаки висят на этом первом. Ричард — единственный из всех королей, кого Шекспир не ограждает почтенья долгом, суетным как мир. Почему побочный сюжет в «Короле Лире», где действует Эдмунд, утащен из «Аркадии» Сидни и пристегнут к кельтской легенде доисторической древности?

— Уж так делал Вилл,— вступился Джон Эглинтон.— Это не значит, что мы сегодня должны склеивать скандинавскую сагу с обрывком романа Мередита. Que voulez-vous? — как сказал бы Мур. У него и Богемия находится на берегу моря, а Одиссей цитирует Аристотеля.

— Почему? — продолжал Стивен, сам отвечая себе.— Потому что тема брата-обманщика, брата-захватчика, брата-прелюбодея или же брата, в котором все это сразу, была тем для Шекспира, чем нищие не были: тем, что всегда с собой*. Мотив изгнания, изгнания из сердца, изгнания из дома, звучит непрерывно, начиная с «Двух веронцев» и до того момента, когда Просперо ломает жезл свой, зарывает в землю и топит книги в глубине морской. Этот мотив раздваивается в середине его жизни, продолжается в другом, повторяется, протасис, эпитасис, катастасис, катастрофа. Он повторяется вновь, когда герой уже на краю могилы, а его замужняя дочь Сьюзен, вся в папочку, обвиняется в прелюбодеянии. Однако не что иное как сам первородный грех затемнил его понятия, расслабил волю и вселил в него упор-

ную тягу ко злу. Таковы точные слова господ епископов Мэйнутских *. Первородный грех, что содеян как первородный грех кем-то другим, грехами которого он также грешил. Он кроется между строками последних слов, им написанных, он застыл на его надгробии, под которым не суждено было покоиться останкам его жены. Время над ним не властно. Красота и безмятежность не вытеснили его. В тысячах видов он рассеян повсюду в мире, созданном им, в «Много шума из ничего», дважды — в «Как вам это понравится», в «Буре», в «Гамлете», в «Мере за меру» — и во всех прочих пьесах, коих я не читал.

Он рассмеялся, чтобы ум его сбросил оковы его ума.

— Истина посредине,— подытожил судия Эглинтон.— Он призрак и он принц. Он — все во всем.

— Именно так,— подтвердил Стивен.— Мальчишка из первого акта — это зрелый муж из акта пятого. Все во всем. В «Цимбелине», ь «Отелло» он сводник и рогоносец. Он действует и отвечает на действия. Влюбленный в идеал или в извращенье, он, как Хозе, убивает настоящую Кармен. Его неумолимый рассудок — это Яго, одержимый рогобоязнью и жаждущий, чтобы мавр в нем страдал, не зная покоя.

— Р-рога! Р-рога! — Рык Маллиган прорычал похабно.— Опасный звук! Приводит он мужей в испуг!

Темный купол уловил и откликнулся.

— Да, Яго! Что за характер! — воскликнул неиспугавшийся Джон Эглинтон.— Когда все уже сказано, остается лишь согласиться с Дюма-сыном. (Или с Дюма-отцом?) После Господа Бога больше всех создал Шекспир.

— Мужчины не занимают его, и женщины тоже,— молвил Стивен.— Всю жизнь свою проведя в отсутствии, он возвращается на тот клочок земли, где он был рожден и где оставался всегда, и в юные и в зрелые годы, немой свидетель. Здесь его жизненное странствие кончено, и он сажает в землю тутовое дерево. Потом умирает. Действие окончено. Могильщики зарывают Гамлета-отца и Гамлета-сына. Наконец-то король и принц в смерти, с подобающей музыкой. И оплакиваемый — хотя сперва ими же убитый и преданный — всеми нежными и чувствительными сердцами, ибо будь то у дублинских или датских жен, жалость к усопшим — единственный супруг, с которым они не пожелают развода. Если вам нравится эпилог, всмотритесь в него подольше: процветающий Просперо — вознагражденная добродетель, Лиззи* — дедушкина крошка-резвушка и дядюшка Ричи *— порок, сосланный поэтическим правосудием в места, уготованные для плохих негров. Большой занавес. Во внешнем мире он нашел воплощенным то, что жило как возможность в его внутреннем мире. Метерлинк говорит: *Если сегодня Сократ выйдет из дому, он обнаружит мудреца, сидящего у своих дверей. Если нынче Иуда пустится в путь, этот путь его приведет к Иуде.* Каждая жизнь — множество дней, чередой один за другим. Мы бредем сквозь самих себя, встречая разбойников, призраков, великанов, стариков, юношей, жен, вдов, братьев по духу, но всякий раз встречая самих себя. Тот драматург, что написал фолио мира сего*, и написал его скверно (сначала Он дал нам свет, а солнце — два дня спустя), властелин всего сущего, кого истые римляне из католиков зовут dio boia, бог-палач, вне всякого сомнения, есть все во всем в каждом из нас, он конюх и он мясник, и он был бы также сводником и рогоносцем, если бы не помешало то, что в устроительстве небесном, как предсказал Гамлет, нет больше браков и преображенный человек, ангел-андрогин, есть сам в себе и жена*.

— Эврика! — возопил Бык Маллиган.— Эврика!

Вдруг счастливо просияв, он вскочил и единым махом очутился у стола Эглинтона.

— Вы позволите? — спросил он.— Господь возговорил к Малахии.

Он принялся что-то кропать на библиотечном бланке.

Как будешь уходить — прихвати бланков со стойки.

— Кто уже в браке,— возвестил мистер Супер, сладостный герольд,— пусть так и живут, все, кроме одного. Остальные пускай по-прежнему воздерживаются.

В браке отнюдь не состоя, он засмеялся, глядя на Эглинтона Иоанна, искусств бакалавра[37], холостяка.

Не имея ни жены, ни интрижки, повсюду опасаясь сетей, они оба еженощно смакуют «Укрощение строптивой» с вариантами и комментариями *.

— Вы устроили надувательство,— без околичностей заявил Джон Эглинтон Стивену.— Вы нас заставили проделать весь этот путь, чтобы в конце показать банальнейший треугольник. Вы сами-то верите в собственную теорию?

— Нет,— отвечал Стивен незамедлительно.

— А вы не запишете все это? — спросил мистер Супер.— Вам нужно из этого сделать диалог, понимаете, как те платонические диалоги, что сочинял Уайльд.

Джон Эглинтон улыбнулся сугубо.

— В таком случае,— сказал он,— я не вижу, почему вы должны ожидать какой-то платы за это, коль скоро вы сами в это не верите. Доуден верит, что в «Гамлете» имеется какая-то тайна, но больше ничего говорить не желает. Герр Бляйбтрой, тот господин, с которым Пайпер встречался в Берлине, развивает версию насчет Ратленда и думает, что секрет таится в стратфордском памятнике. Пайпер говорил, будто бы он собирается нанести визит нынешнему герцогу и доказать ему, что пьесы были написаны его предком. Это будет такой сюрприз для его сиятельства. Однако он верит в свою теорию.

Верую, Господи, помоги моему неверию*. То есть, помоги мне верить или помоги мне не верить? Кто помогает верить? Egomen[38]*. А кто — не верить? Другой малый.

— Вы единственный из всех авторов «Даны», кто требует звонкой монеты. И я не уверен насчет ближайшего номера. Фред Райен хочет, чтобы ему оставили место для статьи по экономике.

Фредрайн. Две звонкие монеты он мне ссудил. Чтобы ты снялся с мели. Экономика.

— За одну гинею,— сказал Стивен,— вы можете опубликовать эту беседу.

Бык Маллиган перестал, посмеиваясь, кропать и, посмеиваясь, поднялся. Чинным голосом, с медоточивым коварством он известил:

— Нанеся визит барду Клинку в его летней резиденции на верхней Мекленбург-стрит, я обнаружил его погруженным в изучение «Summa contra Gentiles»[39], в обществе двух гонорейных леди, Нелли-Свеженькой и Розали, шлюхи с угольной пристани*.

Он оборвал себя.

— Пошли, Клинк. Пошли, скиталец Энгус с птицами.

Пошли, Клинк. Ты уже все доел после нас. О, я, разумеется, позабочусь о требухе и объедках для тебя.

Стивен поднялся.

Жизнь — множество дней. Этот кончится.

— Мы вас увидим вечером,— сказал Джон Эглинтон.— Notre ami[40] Мур надеется, что Мэйлахи Маллиган будет там.

Бык Маллиган раскланялся панамой и бланком.

— Мсье Мур,— сказал он,— просвещающий ирландскую молодежь по французской части. Я там буду. Пошли, Клинк, бардам надлежит выпить. Ты можешь ступать прямо?

---

[37] Bachelor — бакалавр; холостяк *(англ.)*.

[38] Само я *(лат.)*.

[39] «Сумма против язычников» *(лат.)*.

[40] Наш друг *(франц.)*.

Посмеивающийся...

Накачиваться до одиннадцати. Вечернее развлечение ирландцев*.

Паяц...

Стивен двигался за паяцем...

Однажды была у нас дискуссия в национальной библиотеке. Шекс. Потом. Спина его пая: за ней шагаю я. Наступаю ему на пятки.

Стивен, попрощавшись, как в воду опущенный, двигался за паяцем, шутом, ладнопричесанным, свежевыбритым, из сводчатой кельи на свет дневной, грохочущий и бездумный.

Что ж я постиг? О них? О себе?

Теперь иди как Хейнс.

Зал для постоянных читателей. В книге посетителей Кэшел Бойл О'Коннор Фицморис Тисделл Фаррелл кудрявым росчерком завершает свои полисиллабусы. Вопрос: был ли Гамлет безумцем? Лысина квакера с аббатиком в беседе елейнокнижной:

— О, конечно, извольте, сэр... Я буду просто счастлив...

С гримасой игривой Бык Маллиган базарил бездельно с самим собой, себе ж благосклонно кивая:

— Довольная задница.

Турникет.

Неужели..? Шляпка с голубой лентой..? Написано не спеша..? Что?.. Посмотрела..?

Закругление балюстрады: тихоструйный Минций*.

Пак Маллиган, под шлемом панамы, перескакивал со ступеньки на ступеньку, ямбами путь уснащая:

Джон Эглинтон, душка Джон,
Почему без женки он?

Потом вдруг разразился тирадой:

— Ох, уж этот китаец без подбородка! Чин Чон Эг Лин Тон. Мы с Хейнсом зашли как-то в этот их театришко, в зале слесарей*. Как раньше греки, как М. Метерлинк, наши актеры творят новое искусство для Европы. Театр Аббатства! Мне так и чуялся пот монашьих причинных мест*.

Он смачно сплюнул.

Забыл: что он никоим образом не забыл как его выпорол этот паршивый Люси. И еще: он бросил la femme de trente ans[41]. И почему не было других детей? И первенцем была девочка?

Задним умом. Беги, возвращайся.

Суровый затворник все еще там (имеет свой кусок пирога) и сладостный юнец, миньончик, федоновы шелковистые кудри приятно гладить*.

Э-э... Я тут вот... хотел... забыл сказать... э-э...

— Лонгворт и Маккерди Аткинсон* там тоже были...

Пак Маллиган, легко приплясывая, стрекотал:

Заслышу ль рутань в переулке
Иль встречу шлюху на прогулке,
Как сразу мысль на этом фоне
Об Ф Маккерди Аткинсоне,
Что с деревянною ногой.
С ним тут же рядышком другой,
Чья вкус винца не знает глотка,—
Маги, лишенный подбородка.
У них жениться духу нет,
И онанизм — весь их секрет.

Фиглярствуй дальше. Познай сам себя.

Остановился ниже меня, насмешливо мерит взглядом. Я останавливаюсь.

— Шут ты кладбищенский,— посетовал Бык Маллиган.— Синг уже перестал ходить в черном, чтоб быть как люди. Черны только вороны, попы и английский уголь.

[41] Женщина тридцати лет *(франц.)*.

Прерывистый смешок слетел с его уст.

— Лонгворт чуть ли не окочурился,— сообщил он,— из-за того, что ты написал про эту старую крысу Грегори. Ах ты, надравшийся жидоиезуит из инквизиции! Она тебя пристраивает в журнал, а ты в благодарность разносишь ее писульки к этакой матери. Разве нельзя было в стиле Йейтса?

Он продолжал спускаться, выделывая свои ужимки и плавно балансируя руками:

— Прекраснейшая из книг, что появились у нас в стране на моем веку. Невольно вспоминаешь Гомера*.

Он остановился у подножия лестницы.

— У меня зародилась пьеса! Бесовское измышление! — объявил он торжественно.

Зал с мавританскими колоннами, скрещивающиеся тени. Окончен мавританский танец девятерых в шляпах индексов.

Мелодичным голосом, с гибкими интонациями, Бык Маллиган принялся зачитывать свою скрижаль:

Каждый сам себе жена
или
Медовый месяц в руке
(национальное аморалите в трех оргазмах)
сочинение
Мудака Маллигана

Он обратил к Стивену ликующее мурло:

— Я опасаюсь, что маскировка слишком прозрачна. Но слушай же.

Он продолжал читать, marcato:

— Действующие лица:

ТОБИ ДРОЧИНЬСКИЙ (задроченный полячок)
МАНДАВОШ (лесной разбойник)
МЕДИК ДИК
и
МЕДИК ДЭВИ (двое за одного)
МАТУШКА ГРОГАН (водородица)
НЕЛЛИ-СВЕЖЕНЬКАЯ
и
РОЗАЛИ (шлюха с угольной пристани).

Он шел впереди Стивена, похохатывая, болтая головой туда и сюда — и весело обращался к теням, душам людей:

— О, та ночь в Кэмден-холл, когда дочери Эрина должны были поднимать юбки, чтобы переступить через тебя, лежащего в своей винноцветной, разноцветной и изобильной блевотине!

— Невиннейший из сыновей Эрина,— откликнулся Стивен,— ради которого когда-либо юбки поднимались.

Почти у самого выхода, ощутив чье-то присутствие сзади, он посторонился.

Расстаться. Подходящий момент. Ну, а куда? Если сегодня Сократ выйдет из дому, если нынче Иуда пустится в путь. Какая разница? Предрешенное пространство ожидает меня в предрешенное время— неизбежно.

Моя воля — и его воля, лицом к лицу. Между ними бездна.

Человек прошел между ними, вежливо кланяясь.

— Еще раз здравствуйте,— отвечал Бык Маллиган.

Портик.

Здесь я следил за птицами, гадая по их полету*. Энгус с птицами Они улетают, прилетают. Этой ночью и я летал*. Летал с легкостью Люди дивились. А потом квартал девок. Он мне протягивал нежную как сливки дыню Входи. Ты увидишь.

— Странствующий жид,— прошептал Бык Маллиган в комиче-

ском ужасе.— Ты не заметил его глаза? Он на тебя смотрел с вожделением. Страшусь тебя, о старый мореход*. Клинк, ты на краю гибели. Обзаводись поясом целомудрия.

Оксенфордские нравы*.

День. Тачка солнца над дугой моста*.

Темная спина двигалась впереди. Шаги леопарда, спустился, проходит воротами, под остриями решетки.

Они шли следом.

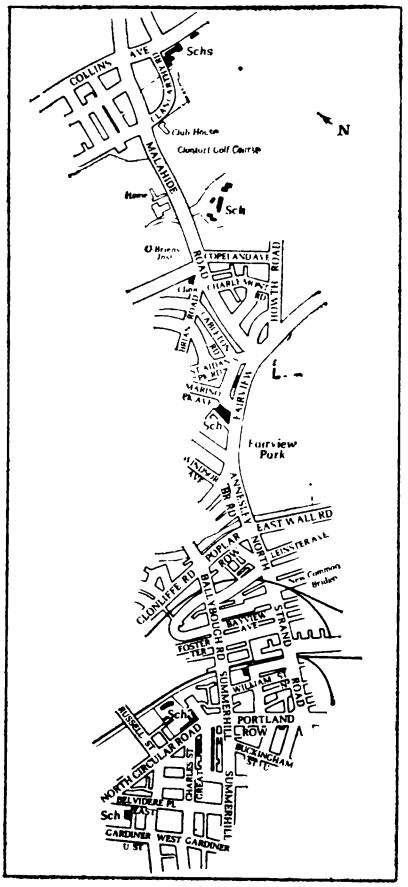
Продолжай оскорблять меня. Говори.

Приветливый воздух подчеркивал выступы домов на Килдер-стрит. Ни одной птицы. Из труб над домами подымались два хрупких пера, раскидывались оперением и под веющей мягкостью мягко таяли.

Прекрати сражаться. Мир цимбелиновых друидов*: мистериальный: просторная земля — алтарь.

Хвала богам! Пусть дым от алтарей
Несется к небу!*

10



Начальник дома, высокопреподобный Джон Конми, О. И., сойдя по ступенькам своего крыльца, опустил плоские часы обратно во внутренний карман. Без пяти три. Прекрасное время для прогулки в Артейн. Значит, как фамилия мальчика? Дигнам. Да. Vere dignum et iustum est[42]. Это следует к брату Свону *. Письмо мистера Каннингема. Да. Оказать ему эту услугу, если можно. Добрый католик, соблюдает обряды, участвует в благотворительных кампаниях.

Одноногий матрос, продвигаясь вперед ленивыми бросками своих костылей, прорычал какие-то звуки. Возле монастыря сестер милосердия он оборвал свои броски и протянул фуражку за подаянием к высокопреподобному Джону Конми, О. И. Отец Конми благословил его под щедрыми лучами солнца, памятуя, что в кошельке у него только серебряная крона.

Отец Конми свернул к Маунтджой-сквер. Мысли его ненадолго задержались на солдатах и матросах, которые лишились конечностей под пушечными ядрами и доживают остаток дней в нищенских приютах, а также на словах кардинала Волси *: *Если бы я служил Богу своему как я служил своему королю, Он бы не покинул меня в дни старости.* Он шел под деревьями, в тени играющей зайчиками листвы, навстречу же ему приближалась супруга мистера Дэвида Шихи, Ч. П.

— Благодарю вас, просто прекрасно. А вы, святой отец?

Отец Конми себя чувствовал поистине превосходно. Он собирал-

[42] Достойно и праведно есть *(лат.)*.

ся в Бакстон на воды. А как ее сыновья, у них все хорошо в Бельведере?* Правда? Отец Конми был поистине очень рад это слышать. А как сам мистер Шихи? Еще в Лондоне. Ну да, конечно, парламент ведь еще заседает. Какая прекрасная погода, право, на редкость. Да, это весьма возможно, что отец Бернард Вохен* возобновит свои проповеди. О да: огромный успех. Поистине необыкновенный человек.

Отец Конми был очень рад повидать супругу мистера Дэвида Шихи, Ч. П. и рад, что она так хорошо выглядит. Он попросил передать его наилучшие пожелания мистеру Дэвиду Шихи, Ч. П. Да, он непременно их навестит.

— Всего доброго, миссис Шихи.

Отец Конми приподнял свою шелковую шляпу и улыбнулся в прощальном приветствии стеклярусу ее мантильи, чернильно поблескивающему на солнце. И вновь улыбнулся, уходя. Он знал, что его зубы вычищены пастой с пальмовым маслом.

Отец Конми шел и на ходу улыбался, вспоминая чудаковатые глаза отца Бернарда Вохена и его сочные лондонские словечки.

— Пилат! Да что ж ты не разогнал весь этот сброд в шею?

Но в рвении ему не откажешь. Никоим образом. И, несомненно, приносил много пользы, на свой манер. Этого тоже не отнять. Он говорил, что любит Ирландию и любит ирландцев. Кстати, ведь из хорошей семьи, кто бы подумал? Кажется, из Уэльса.

О, берегитесь, чтоб не забыть*. Письмо к отцу провинциалу*.

Отец Конми остановил трех малышей-школьников на углу Маунтджой-сквер. Да: они были из Бельведера. Из приготовительного, ага. И хорошо себя ведут в школе? О-о. Ну, тогда очень хорошо. А как тебя зовут? Джек Сохен. А тебя? Джер. Галлахер. А этого молодого человека? Его звали Бранни Лайнем. Ну, как приятно носить такое красивое имя.

Отец Конми, достав письмо из внутреннего кармана, вручил его юному Бранни Лайнему и указал на красный столбик-ящик на углу Фицгиббон-стрит.

— Только смотри, заодно сам не проскочи в ящик, малыш,— пошутил он.

Мальчуганы, шестиглазея на отца Конми, засмеялись:

— О, сэр!

— Ну-с, посмотрю, сумеешь ли ты отправить письмо,— сказал отец Конми.

Юный Бранни Лайнем перебежал через дорогу и сунул письмо отца Конми к отцу провинциалу в щель ярко-красного почтового ящика. Отец Конми улыбнулся, кивнул, опять улыбнулся и зашагал по восточной стороне Маунтджой-сквер.

Мистер Дэнис Дж. Маджинни, учитель танцев и пр., в цилиндре, в серо-голубом сюртуке с шелковыми лацканами, в белом галстуке, в узких сиреневых брюках, канареечных перчатках и лаковых остроносых штиблетах, выступая с внушительною осанкой, наипочтительнейше свернул на обочину, обгоняя леди Максвелл на углу Дигнамскорт.

А это не миссис Макгиннесс?

Миссис Макгиннесс, статная, седовласая, поклонилась отцу Конми с соседнего тротуара, по которому она величаво проплывала. Отец Конми улыбнулся и отдал поклон. Как она поживает?

Какая великолепная манера. Есть нечто в ней, прямо как у Марии Стюарт. И только подумать — процентщица. Ну и ну! С такой... как бы это сказать?.. с такой царственной миной.

Отец Конми следовал по Грейт-Чарльз-стрит, поглядывая налево на закрытую протестантскую церковь. Преподобный Т. Р. Грин, бакалавр искусств, будет (D.V.[43]) читать проповедь. Он у них называется

[43] Deo Volente — волею Божией *(лат.)*.

бенефициарием. По-латыни, благодетель. Решил их облагодетельствовать проповедью. Но будем, однако, снисходительны. Непреодолимое неведение. Поступают по своему просвещению.

Отец Конми повернул за угол и зашагал по Северной окружной. Удивительно, что нет трамвайной линии на такой важной магистрали. Бесспорно, тут должна быть.

С Ричмонд-стрит высыпали гурьбой школьники с ранцами за спиной и все как один приподняли измятые фуражки. Отец Конми несколько раз благосклонно покивал им. Из школы христианских братьев.

С правой стороны до отца Конми донесся запах ладана. Церковь Святого Иосифа, Портленд-роу. Для престарелых и добродетельных особ женского пола. Отец Конми обнажил голову пред совершающимся Святым Таинством. Да, добродетельны — но иногда просто невыносимы.

Проходя мимо особняка Олдборо, отец Конми подумал про этого промотавшегося аристократа *. А теперь тут какая-то контора или нечто подобное.

Отец Конми вышел на Северную Стрэнд-роуд, где его приветствовал мистер Вильям Галлахер, стоявший в дверях своей лавки. Отец Конми приветствовал мистера Вильяма Галлахера и ощутил запахи, исходившие от пластов бекона и объемистых кубов масла. Он миновал табачную торговлю Грогана, опершись на которую, газетные щиты сообщали об ужасной катастрофе в Нью-Йорке. В Америке то и дело подобные происшествия. Какое несчастье для людей вот так умереть, без приуготовления. Хотя еще остается акт совершенного сокрушения.

Отец Конми прошел мимо трактира Дэниэла Бергина, возле окон которого прислонились к стене двое праздных мужчин. Они поклонились ему и получили ответный поклон.

Отец Конми миновал похоронное заведение Г. Дж. О'Нила, где Корни Келлехер, жуя сухую травинку, подбивал сумму в своем гроссбухе. Констебль, делавший обход, приветствовал отца Конми, и отец Конми приветствовал констебля. В витрине Юкстеттера, торговца свининой, отец Конми окинул взглядом свиные колбасы, белые, черные и красные, свернутые аккуратными кольцами. Под деревьями Чарлвилл-мэлл отец Конми увидел причаленную торфяную баржу, свесившую голову лошадь в лямках и лодочника в грязной соломенной шляпе, который сидел на барже, покуривая и глядя на ветку тополя над головой. Картина была идиллической — и отец Конми задумался о мудром провидении Творца, создавшего торф в болотах, дабы люди могли его извлекать оттуда и привозить в город и делать из него топливо, согревающее дома бедняков.

На мосту Ньюкомен высокопреподобный Джон Конми, О. И. из церкви святого Франциска Ксаверия, что на Верхней Гардинер-стрит, сел в трамвай, идущий от центра.

С трамвая, идущего к центру, на мост Ньюкомен сошел преподобный Николас Дадли, викарий церкви святой Агаты, что на Северной Вильям-стрит.

На мосту Ньюкомен отец Конми сел в трамвай, идущий от центра, поскольку он не любил ходить пешком по грязной дороге мимо Мадайленд.

Отец Конми уселся в углу вагона, аккуратно засунув синий билетик в глазок одной из своих толстых лайковых перчаток, а четыре шиллинга, шестипенсовик и пять монеток по пенни скользнули в его кошелек с ладони, обтянутой другою толстою лайковою перчаткой. Проезжая мимо церкви, увитой плющом, он размышлял о том, что контролер непременно является тогда, когда по беспечности выбросишь свой билет. Торжественный вид пассажиров казался отцу Конми излишним для такой краткой и дешевой поездки. Отец Конми любил непринужденную обстановку.

День был безмятежным. Джентльмен в очках, сидевший напротив отца Конми, перестал что-то объяснять и опустил взгляд. Жена его, подумал отец Конми.

Едва заметный зевок чуть-чуть приоткрыл рот жены джентльмена в очках. Она подняла маленький кулачок в перчатке, зевнула опять столь же деликатно, похлопывая себя по губам своим маленьким кулачком, и улыбнулась чуть-чуть, мягко-мягко.

Запах ее духов привлек внимание отца Конми. Его внимание также привлекло, что неуклюжий мужчина по другую сторону от нее сидит на самом краешке своего сиденья.

Отец Конми, стоя на амвоне, не без труда вложил гостию в рот неуклюжего старика с трясущейся головой.

Трамвай остановился на мосту Эннсли и уже трогался снова, когда какая-то старушка неожиданно поднялась к выходу. Кондуктор дернул за веревку звонка, чтобы остановить трамвай для нее. Она вышла с корзинкой и с рыночной плетенкой. Отец Конми видел, как кондуктор помогал ей сойти с этой корзинкою и плетенкой,— и, зная, что она чуть не проехала дальше, чем полагалось за пенни, отец Конми подумал, что она была одной из тех добрых душ, которым всегда надо повторять по два раза, *благословляю тебя, дитя мое,* что грехи им отпущены, *молись за меня.* Но ведь у них столько тревог в жизни, столько забот, бедные создания.

С афишных щитов мистер Юджин Стрэттон ухмылялся отцу Конми толстыми негритянскими губами.

Отец Конми подумал о душах всех чернокожих, темнокожих и желтокожих людей, о своей проповеди на тему о святом Петре Клавере, О. И. и Африканской миссии, о распространении истинной веры и о миллионах черных, коричневых и желтых душ, что не успели принять крещенья водой, когда их смертный час подкрался яко тать в нощи. Как полагал отец Конми, в той книге бельгийского иезуита, «Le nombre des élus»[44], отстаивалась разумная точка зрения. Ведь все миллионы человеческих душ, что не были (D.V.) обращены в истинную веру, были, тем не менее, души, которые сотворил Господь по Своему образу и подобию. Все это были Божьи души, сотворенные Богом. И отцу Конми казалось жаль, что все они должны быть потеряны, как пустые отходы, если так можно выразиться.

На остановке Хоут-роуд отец Конми высадился и, в ответ на прощальный поклон кондуктора, также поклонился ему.

Малахайд-роуд была безлюдна. Отцу Конми нравились и эта улица и ее название. Веселый звон колоколов над Малахайд плывет*. Лорд Толбот де Малахайд — по прямой линии наследный лорд-адмирал Малахайда и прилежащих морей. Свадебные колокола, и тут же — набат, к оружию, и она оказывается девицей, супругою и вдовой в один день. То были стародавние дни, пора беззаботных городков, не знавших крамолы, давняя баронская старина.

Отец Конми, продолжая путь, подумал о своей небольшой книжке «Баронская старина» и о той книге, которую можно было бы написать о домах иезуитов и о Мэри Рочфорт, дочери лорда Моулсворта, первой графине Бельведер.

Печальная женщина, немолодая уже, одиноко бродила по берегам озера Эннел, Мэри, первая графиня Бельведер, печально бродившая вечерами, и всплеск выдры, нырнувшей в воду, не вызывал у нее ни удивления, ни испуга. Кто мог знать правду? Не лорд Бельведер, снедаемый ревностью, и не ее исповедник, если только она не совершала прелюбодеяния до конца, до ejaculatio seminis inter vas naturale mulieris [45], с братом своего мужа? Она бы исповедалась лишь наполовину, если бы согрешила не до конца, женщины поступают так. И знали бы только Бог, и она, и он, брат ее мужа.

---

[44] «Число избранных» *(франц.).*

[45] Извержение семени в сосуд женского естества *(лат.).*

Отец Конми думал о неумолимом плотском влечении, без которого не может, однако, продлиться род людской на земле, и о путях Божиих, которые не суть пути наши.

Дон Джон Конми, продолжая идти, перенесся во времена оны. Он был там почитаем и добр. Он хранил в своей памяти исповедальные тайны и улыбался улыбающимся благородным лицам в гостиных с навощенным паркетом, с пышными гроздьями плодов по потолку. И руки жениха и невесты, благородного и благородной, соединял ладонями дон Джон Конми.

Стоял чудный день.

Сквозь калитку на поле отцу Конми показались гряды капусты, кочаны кланялись ему, широко разводя нижние листья. Небо показало ему стадо небольших белых облачков, медленно плывущих по ветру. Moutonner [46], говорят французы. Меткое слово, и такое уютное.

Отец Конми, читая молитвенное правило, следил за барашками облаков над Рэткоффи. Поля Клонгоуза покалывали своей стерней его лодыжки в тонких носках. По вечерам он гулял там, творя молитвы, и слушал возгласы мальчиков, занятых своими играми, юные возгласы в тихом вечернем воздухе. Он был у них ректором — и правил над ними с кротостью.

Отец Конми снял перчатки и вынул свой молитвенник с красными уголками. Закладка слоновой кости указывала страницу.

Час девятый. Это надо было прочесть еще до обеда. Но пришла леди Максвелл.

Отец Конми прочитал мысленно Отче наш и Аве Мария и перекрестился. Deus in adiutorium [47].

Он шел в спокойствии, неслышно читая службу девятого часа, шагал и шагал, читая, пока не дошел до Реш в Beati immaculati:

— Principium verborum tuorum veritas: in eternum omnia iudicia iustitiae tuae [48].

Раскрасневшийся юноша выбрался на тропу через просвет в живой изгороди, за ним девушка с поникшими полевыми ромашками в руке. Юноша поспешно приподнял свою шляпу; девушка поспешно поклонилась и старательно принялась снимать с юбки приставший к ней стебелек.

Отец Конми степенно благословил обоих и перевернул тоненькую страничку молитвенника. Шин:

— Principes persecuti sunt me gratis: et a verbis tuis formidavit cor meum [49].

* * *

Корни Келлехер захлопнул толстый гроссбух и глянул лениво на сосновую крышку гроба, стоявшую на часах в углу. Он выпрямился, подошел к ней и, повертев вокруг оси, осмотрел ее поверхность и медные украшения. Жуя сухую травинку, он положил крышку на пол и отошел к выходу. Там он надвинул шляпу так, чтобы тень падала на глаза, и прислонился к косяку двери, бесцельно глядя на улицу.

Отец Джон Конми на мосту Ньюкомен сел в трамвай в сторону Доллимаунта.

Корни Келлехер, сомкнув свои огромные башмаки, в надвинутой на лоб шляпе, глазел по сторонам, жуя сухую травинку.

Констебль 57 С, патрульный на обходе, остановился рядом с ним скоротать минутку.

— Отличный день, мистер Келлехер.

— Угу,— пробурчал Корни Келлехер.

---

[46] Завиваться в руно, барашком *(франц.)*.

[47] Поспеши, Боже, избавить меня *(лат.)*.

[48] Блаженны непорочные:

— Основание слова твоего истинно, и вечен всякий суд правды твоей *(лат.)*.

[49] Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова твоего *(лат.)*.

— Только вот душно,— сказал констебль.

Корни Келлехер пустил дугою сквозь зубы беззвучную струю травяного сока, а щедрая белая ручка бросила монетку из окна на Экклс-стрит.

— Ну, что хорошенького? — спросил он.

— Я видел означенного субъекта вчера вечером,— сказал, понизив голос, констебль.

* * *

Одноногий матрос проковылял за угол аптеки Макконнелла, обогнул тележку мороженщика от Рабайотти и запрыгал на костылях по Экклс-стрит. Приближаясь к Ларри О'Рурку, стоявшему у себя в дверях без пиджака, он вызывающе рявкнул:

— *За Англию...*

Резкими раскачивающимися рывками он продвинулся вперед, мимо Кейти и Буди Дедал, остановился и рявкнул:

— *дом и красу*.*

Бледному, изнуренному заботой лицу Дж. Дж. О'Моллоя было сказано, что мистер Лэмберт на складе, с посетителем.

Грузная дама остановилась, вынула медяк из своего кошелька и бросила в протянутую к ней фуражку. Матрос пробурчал благодарность, угрюмо глянул на безучастные окна и, опустив низко голову, сделал еще четыре раскачивающихся рывка вперед.

Потом остановился и в сердцах рявкнул:

— *За Англию...*

Двое босоногих мальчишек, сосущих длинные палочки лакрицы, остановились возле него, разинув на искалеченный обрубок свои желтослюнявые рты.

Он мощными рывками продвинулся еще вперед, остановился, поднял к окну голову и прорычал низким басом:

— *дом и красу.*

Веселое щебетанье и посвистывание за окном еще продолжалось один-два такта и смолкло. Занавеску на окне отодвинули в сторону. Табличка «Сдаются квартиры без мебели» соскользнула с рамы и упала. Мелькнула щедрая рука, оголенная и полная, выглядывающая, как было видно, из белой комбинации и тесных бретелек нижней юбки. Женская ручка бросила монету сквозь прутья решетки. Она упала на тротуар.

Один из мальчишек подбежал, поднял ее и опустил в фуражку певца со словами:

— Вот она, сэр.

* * *

Кейти и Буди Дедал ввалились в двери наполненной паром кухни.

— Ты отнесла книжки? — спросила Буди.

Мэгги у плиты дважды потыкала палкой, уминая сероватую массу в булькающих мыльных пузырях, и отерла лоб.

— За них не дают ничего,— сказала она.

Отец Конми шагал по полям в Клонгоузе, стерня покалывала его лодыжки в тонких носках.

— А ты где пробовала? — спросила Буди.

— У Макгиннесс.

Буди топнула ногой и швырнула на стол свой ранец.

— Чтоб этой толстомордой ни дна ни покрышки! — выкрикнула она.

Кейти подошла к плите и поглядела, прищурившись.

— А в чугуне что? — спросила она.

— Рубашки,— сказала Мэгги.

Буди сердито крикнула:

— Черт побери, выходит, есть нечего?

Кейти, приподняв крышку котелка подолом своей запачканной юбки, спросила:

— А в этом что?

Густой пахучий пар поднялся в ответ.

— Суп гороховый,— сказала Мэгги.

— Это откуда же? — спросила Кейти.

— Сестра Мэри Патрик,— сказала Мэгги.

Служитель позвонил в колокольчик.

— Брень!

Буди уселась за стол и жадно воскликнула:

— Давай-ка его сюда!

Мэгги налила густого желтого супу из котелка ей в тарелку. Кейти, сидевшая напротив Буди, спокойно сказала, на кончике пальца поднося ко рту хлебные крошки:

— Хорошо, что хоть это есть. А где Дилли?

— Пошла отца встречать,— ответила Мэгги.

Кроша в суп большие кусочки хлеба, Буди добавила:

— Отца нашего, иже не на небеси.

Наливая суп Кейти в тарелку, Мэгги воскликнула:

— Буди! Ну, как не стыдно!

Кораблик, скомканный листок, Илия грядет, легко покачиваясь, плыл вниз по Лиффи, под Окружным мостом, проскакивая стремнины, там, где вода бурлила вокруг устоев, держа на восток, мимо судов и якорных цепей, между старым доком Таможни и набережной короля Георга.

* * *

Блондинка у Торнтона устилала дно плетеной корзинки хрустящей гофрированной бумагой. Буян Бойлан передал ей бутылку, завернутую в розовую бумажную салфетку, и небольшой флакон.

— Первым делом вот это,— сказал он.

— Да, сэр,— ответила блондинка,— а фрукты сверху.

— Отлично, это будет победный мяч,— сказал Буян Бойлан.

Красиво и бережно она уложила пузатые груши, попарно, хвостиками в разные стороны, и между ними спелые рдеющие стыдом персики.

Буян Бойлан в новых темно-рыжих ботинках прохаживался по магазину, напитанному запахами плодов, трогал фрукты, сочные, молодые, морщинистые и пухлые красные помидоры, подносил к носу, нюхал.

H.E.L.Y'S, цепочка в белых цилиндрах, устало проследовали перед ним мимо Тэнджер-лейн, влачась к цели.

Внезапно он отвернулся от короба с земляникой, вытащил из кармашка золотые часы и поглядел на них, отставив руку на всю длину цепочки.

— А вы их можете отправить трамваем? Прямо сейчас?

Темноспинная фигура в пассаже Мерчентс-арч перебирала книги на лотке уличного торговца.

— Конечно, сэр. Это в городе?

— О да,— отвечал Буян Бойлан.— В десяти минутах езды.

Блондинка подала карточку и карандаш.

— Вы не напишете адрес, сэр?

Буян Бойлан за конторкой написал адрес и вернул ей карточку.

— Только пошлите сразу, договорились? — сказал он.— Это для больного.

— Да, сэр. Я сделаю, сэр.

Буян Бойлан весело позвякал деньгами в кармане брюк.

— И на сколько вы меня разорили? — вопросил он.

Тонкие пальчики блондинки пересчитали фрукты.

Буян Бойлан заглянул ей за вырез блузки. Юная птичка. Он взял красную гвоздику из высокого бокала.

— Идет мне? — спросил он фатовато.

Блондинка взглянула искоса на него, выпрямилась с независимым видом, на его галстук, слегка съехавший набок, зардевшись.

— Да, сэр,— сказала она.

Наклонившись, она снова пересчитала пузатые груши и зардевшиеся персики.

Буян Бойлан заглянул ей за блузку еще более благосклонно, зажав в смеющихся зубах стебель с красным цветком.

— Я скажу пару слов по вашему телефону, мисси? — спросил он развязно.

* * *

— Ma! [50] — сказал Альмидано Артифони.

Через плечо Стивена он рассеянно взирал на шишковатый череп Голдсмита *.

Медленно проехали два вагона с туристами, женщины сидели впереди, ухватившись за поручни. Бледнолицые. Руки мужчин без стеснения обвивали их щуплые талии. Они смотрели со стороны Тринити на глухой, весь в колоннах, портал Ирландского банка, где гургургулили голуби.

— Anch'io ho avuto di queste idee,— говорил Альмидано Артифони, — quand' ero giovine come Lei. Eppoi mi sono convinto che il mondo è una bestia. È peccato. Perchè la sua voce... sarebbe un cespite di rendita, via. Invece, Lei si sacrifica.

— Sacrifizio incruento [51],— сказал Стивен, улыбаясь и медленно, легонько покачивая взятой за середину ясеневой тросточкой.

— Speriamo,— дружелюбно произнесло круглое и усатое лицо.— Ma, dia: retta a me. Ci rifletta [52].

Под суровой каменной дланью Граттана *, велящей остановиться, трамвай из Инчикора высадил кучную ватагу солдат из оркестра Шотландского Горного полка.

— Ci rifletterò,— отвечал Стивен, глядя вниз на обширную штанину.

— Ma, sul serio, eh? [53] — говорил Альмидано Артифони.

Его тяжелая рука крепко сжала руку Стивена. Взгляд человека. Одно мгновение взгляд всматривался пытливо и тут же быстро перешел на подходивший трамвай из Долки.

— Eccolo,— торопливо и дружески сказал Альмидано Артифони.— Venga a trovarmi e ci pensi. Addio, caro.

— Arrivederla, maestro,— отозвался Стивен, высвободившейся рукою приподымая шляпу.— E grazie.

— Di che? — спросил Альмидано Артифони.— Scusi, eh? Tante belle cose! [54]

Альмидано Артифони, подняв как сигнал свернутые в трубку ноты, в своих обширных штанах устремился вслед за трамваем из Долки. Тщетно стремился он, подавая тщетно сигналы средь толчеи голоногих горцев, протаскивавших музыкальные принадлежности через ворота Тринити.

---

[50] Ho! *(итал.)*

[51] — У меня тоже были такие мысли... когда я был молод как вы Я был тогда убежден что мир — это животное. Каюсь. Однако ваш голос... он бы мог быть источником дохода, смотрите А вместо этого вы жертвуете собой.

— Это жертва обдуманная *(итал.)*.

[52] — Будем надеяться... Однако послушайте меня Поразмыслите *(итал.)*.

[53] — Поразмыслю.

— Но только серьезно, а? *(итал.)*

[54] — Вот он... Заходите ко мне и подумайте. Прощайте, мой дорогой.

— До свидания, маэстро... И спасибо.

— За что?.. Вы не сердитесь? Всего наилучшего! *(итал.)*

* * *

Мисс Данн засунула подальше в стол «Женщину в белом», взятую из библиотеки на Кейпл-стрит, и заправила в свою машинку цветастый лист почтовой бумаги.

Слишком тут много всего таинственного. Любит он эту Мэрион или нет?* Лучше поменять да взять что-нибудь Мэри Сесил Хэй*.

Диск скользнул вниз по желобку, немного покачался, затих и показал им в окошечке: шесть.

Мисс Данн отстучала по клавишам:

— 16 июня 1904.

Пять фигур в белых цилиндрах, с рекламными щитами, прозмеились между углом Монипени и постаментом, где не было статуи Вулфа Тона *, повернулись, показав H.E.L.Y'S, и проследовали назад, откуда пришли.

Потом она уставилась на большую афишу с изображением Марии Кендалл, очаровательной субретки, бездумно откинувшись и черкая в блокноте цифры шестнадцать и заглавные Эс. Горчичные волосы и размалеванные щеки. Что тут симпатичного? Юбчонка с ладонь, и ту еще задирает. Интересно, а он придет сегодня на музыку. Уговорить бы эту портниху, чтоб сделала плиссированную юбку как у Сьюзи Нэгл. Вид до того шикарный. Шаннон и все тузы из яхт-клуба от нее глаз не могли оторвать. Дай бог, повезет, он тут меня не продержит до семи.

Телефон резко зазвонил у нее под ухом.

— Алло. Да, сэр. Нет, сэр. Да, сэр. Я позвоню им после пяти. Только эти два, сэр, в Белфаст и Ливерпуль. Хорошо, сэр. Значит, я могу уходить после шести, если вы не вернетесь. В четверть седьмого. Да, сэр. Двадцать семь и шесть. Я скажу ему. Да: один фунт, семь и шесть.

Она нацарапала на конверте три цифры.

— Мистер Бойлан! Минутку! Этот господин из «Спорта» заходил, искал вас. Да, мистер Ленехан. Он сказал, что будет в четыре в «Ормонде». Нет, сэр. Да, сэр. Я позвоню им после пяти.

* * *

Два розовых лица выступили в мерцании слабого огонька.

— Кто это? — спросил Нед Лэмберт.— Это Кротти, что ли?

— Рингабелла и Кроссхейвен,— отозвался голос человека, нащупывающего ногой ступеньки.

— А, это вы, Джек, здравствуйте! — сказал Нед Лэмберт, приветственно поднимая свою гибкую рейку к мерцающим сводам.— Идите сюда. Учтите, что там ступеньки.

Спичка в поднятой руке священника изошла длинным гибким язычком пламени и была брошена. Ее последняя искорка умерла у их ног — и затхлый воздух сомкнулся вокруг них.

— Как интересно! — произнес отточенный выговор во мраке.

— Да, сэр,— подхватил с живостью Нед Лэмберт.— Мы с вами стоим в той самой исторической палате аббатства святой Марии, где на совете шелковый Томас объявил о начале мятежа в 1534 году. Это ведь самое историческое место во всем Дублине. О'Мэдден Берк собирается вскорости о нем что-нибудь написать. До Унии тут помещался старый Ирландский банк, и самый первый еврейский храм тоже тут был, пока они не построили свою синагогу на Аделаид-роуд. Джек, вы ведь тут раньше никогда не были?

— Нет, не случалось.

— Он въезжал через Дэйм-уок,— произнес отточенный выговор,— если мне память не изменяет. Замок Килдеров был в Томаскорт.

— Это верно,— сказал Нед Лэмберт.— Совершенно верно, сэр.

— Если вы будете столь добры,— произнес священник,— то, возможно, в следующий раз вы мне позволите...

— Ну, конечно,— сказал Нед Лэмберт.— Приносите фотоаппарат, когда вам угодно. Я распоряжусь, чтобы эти мешки убрали бы с окон. Вы сможете снимать вот отсюда или отсюда.

Он двигался в слабом мигающем свете, постукивая своей рейкой по грудам мешков с зерном и по удобным местам на полу.

С вытянутого лица нависали над шахматной доской борода и пристальный взгляд.

— Я глубоко признателен, мистер Лэмберт,— сказал священник.— Не буду более занимать вашего драгоценного времени...

— Всегда буду рад вам,— сказал Нед Лэмберт.— Заходите, когда угодно. Можно на следующей неделе. Вам видно?

— Да, да. Всего доброго, мистер Лэмберт. Было приятно познакомиться.

— Мне тоже очень приятно, сэр,— отвечал Нед Лэмберт.

Он проводил гостя к выходу и на дворе зашвырнул свою рейку между колонн. Вместе с Дж. Дж. О'Моллоем он прошел, не торопясь, в аббатство святой Марии, где ломовики нагружали на фургоны мешки с альгарробой и с пальмовой мукой для О'Коннора, Вексфорд.

Он остановился прочесть визитную карточку, которую держал в руке.

— Преподобный Хью К. Лав, Рэткоффи. Адрес в настоящее время: Сент-Майклс, Соллинс. Очень славный малый. Он мне сказал, он пишет книгу о Фицджеральдах *. В истории отлично подкован, ей-богу.

Девушка старательно принялась снимать с юбки приставший к ней стебелек.

— А я подумал, вы тут затеваете новый пороховой заговор,— сказал Дж. Дж. О'Моллой.

Нед Лэмберт щелкнул пальцами в воздухе.

— Фу, черт! — воскликнул он.— Я же забыл ему рассказать про герцога Килдерского, после того как тот поджег кафедральный собор в Кэшеле. Знаете эту историю? *Чертовски сожалею, что я это сделал,* так он сказал, *но только готов поклясться, я думал, что архиепископ был там внутри.* Хотя ему могло не понравиться. А? Нет, все равно расскажу ему. Это был великий герцог Фицджеральд. Они все были горячие головы, эти Джералдайны *.

Лошади, мимо которых он проходил, беспокойно подергивались в распущенной упряжи. Он шлепнул по чалопегому крупу, что вздрагивал совсем рядом с ним, и прикрикнул:

— Н-но, балуй!

Потом обернулся к Дж. Дж. О'Моллою и спросил:

— Ну, ладно, Джек. В чем дело? Что там стряслось? Ох, погодите минутку. Держитесь-ка.

Откинув далеко голову и разинув рот, он на мгновение застыл неподвижно, после чего громко чихнул.

— Ап-чхи! — произнес он.— Черт побери!

— Это пыль от мешков,— вежливо заметил Дж. Дж. О'Моллой.

— Да нет,— выдохнул Нед Лэмберт,— это я подхватил... холодная ночь поза... вот дьявол... ночь позавчера... и такие гуляли сквозняки...

Он приготовил носовой платок для уже подступающего...

— Я был... в Гласневине утром... бедный... как его зовут... Ап-чхи!.. Вот сатана!

* * *

Том Рочфорд взял верхний диск из стопки, которую он прижимал к своему бордовому жилету.

— Видите? — спросил он.— Допустим, сейчас идет шестой номер. Кладу вот сюда, смотрите. Номер На Сцене.

У них на глазах он опустил диск в левую щель. Диск скользнул вниз по желобку, слегка покачался и затих, показывая им в окошечке: шесть.

Юристы былых времен, важные и надменные, отправляя дела закона, взирали, как Ричи Гулдинг прошел из податного управления в гражданский суд с папкою фирмы Гулдинг, Коллис и Уорд, и слышали, как от адмиралтейского отделения королевского суда к суду апелляционному прошуршала пожилая особа женского пола с недоверчивой усмешкой, открывшей вставные зубы, в черной шелковой юбке, весьма пространной.

— Видите? — повторил он.— Смотрите, последний, что я опустил, теперь там сверху: Прошедшие Номера. Давление. Принцип рычага, понятно?

Он показал им растущую стопку дисков на правой стороне.

— Ловко придумано,— сказал Флинн Длинный Нос, сопя.— Значит, кто опоздал, может видеть, какой сейчас номер и какие уже прошли.

— Видите? — повторил Том Рочфорд.

Он опустил диск для собственного удовольствия — и наблюдал, как он скользит вниз, качается, затихает и показывает: четыре. Номер На Сцене.

— Я его сейчас увижу в «Ормонде»,— сказал Ленехан,— и я его прощупаю. Чтоб путный номер даром не помер.

— Давай,— одобрил Том Рочфорд.— Скажи ему, я уж тут сам стал Буян, так не терпится.

— Ну, я спать пошел,— сказал бесцеремонно Маккой.— Когда вы вдвоем заведетесь...

Флинн Длинный Нос склонился над рычагом, сопя.

— А как вот это действует, Томми? — спросил он.

— Труляля, голуби,— сказал Ленехан.— До скорой встречи.

Он последовал за Маккоем на улицу через крохотный квадрат Крэмптон-корта.

— Он герой,— сказал он просто.

— Я знаю,— отозвался Маккой.— Это вы про канаву.

— Канаву? — сказал Ленехан.— Да это было в люке.

Они миновали мюзик-холл Дэна Лаури, где на афише им улыбалась размалеванной улыбкой Мария Кендалл, очаровательная субретка.

Идя вниз по тротуару Сайкмор-стрит мимо мюзик-холла «Эмпайр», Ленехан представлял Маккою, как было дело. Один из этих чертовых люков прямо как газовая труба, и какой-то бедолага застрял там, причем наполовину уже задохся от канализационных газов. Ну, Том Рочфорд тут же лезет вниз, в чем был, при всем букмекерском параде, только обмотался канатом. И убей бог, он как-то ухитрился обмотать того бедолагу канатом, и обоих вытянули наружу.

— Геройский поступок,— заключил он.

У «Дельфина» они остановились и пропустили карету скорой помощи, галопом промчавшуюся на Джервис-стрит.

— Вот сюда,— сказал он, сворачивая направо.— Заскочу к Лайнему поглядеть начальные ставки на Корону. Сколько там на ваших золотых с цепью?

Маккой устремил взгляд в темную контору Маркуса Терциуса Мозеса, потом на часы О'Нила.

— Начало четвертого,— сказал он.— А кто жокей?

— О. Мэдден,— ответил Ленехан.— И у кобылки все шансы.

Оставшийся на Темпл-бар Маккой легонько столкнул носком банановую кожуру с дороги в канаву. Кто-нибудь будет возвращаться в темноте под хмельком — не успеет оглянуться, сломает шею.

Ворота в ограде резиденции распахнулись, открывая проезд кавалькаде вице-короля.

— Один к одному,— сказал Ленехан, вернувшись.— Я там натолкнулся на Бэнтама Лайонса, он ставил на какую-то пропащую клячу, кто-то ему подсказал, у которой ни малейшего шанса. Нам вот сюда.

Они поднялись по ступеням и прошли через пассаж Мерчентс-арч. Темноспиная фигура перебирала книги на лотке уличного торговца.

— А вот и он,— заметил Ленехан.

— Интересно, что он покупает,— сказал Маккой, оглядываясь назад.

— «Леопольдо или история заблумшей души»,— сказал Ленехан.

— Он просто помешан на распродажах,— сказал Маккой.— На днях мы шли с ним по Лиффи-стрит, и он купил книгу у какого-то старика за два шиллинга. Так в этой книге одни гравюры стоили вдвое, там звезды, луна, кометы с хвостами. Что-то насчет астрономии.

Ленехан рассмеялся.

— Сейчас вот я вам одну историйку про хвосты комет,— посулил он.— Выйдемте-ка на солнышко.

Они прошли по чугунному мосту и направились по набережной Веллингтона вдоль парапета.

Юный Патрик Алоизиус Дигнам вышел из мясной лавки Мангана, бывшей Ференбаха, неся полтора фунта свиных котлет.

— Устраивали шикарный прием в Гленкри, в колонии для малолетних,— с живостью начал Ленехан.— Знаете, этот ежегодный банкет. По полной парадной форме. Присутствовали и лорд-мэр, тогда это был Вэл Диллон, и сэр Чарльз Камерон, Дэн Доусон говорил речь, а потом был концерт. Бартель д'Арси пел и Бен Доллард...

— Я знаю,— прервал его Маккой.— Моя дражайшая пела там один раз.

— В самом деле? — сказал Ленехан.

Табличка «Сдаются квартиры без мебели» снова появилась на оконной раме номера 7 по Экклс-стрит.

Он замолк на мгновение, но тут же разразился отрывистым смехом.

— Да нет, дайте мне рассказать,— снова принялся он.— Делахант с Кэмден-стрит обеспечил весь стол, а ваш покорнейший был за главного виночерпия. Блум тоже там был со своей женой. Выпивки хоть залейся — портвейн, и херес, и кюрасо, и уж мы всему там воздали честь. Разгулялись на славу. От жидкостей — к твердым телам. Холодный филей навалом, паштеты...

— Я знаю,— сказал Маккой.— В тот год, когда моя дражайшая там была...

Ленехан с большим жаром обнял его под локоть.

— Да нет, дайте мне рассказать,— повторил он.— После всей этой увеселительности мы еще устроили легкий полночный завтрак, и когда мы отчалили, то уж было времени хренадцатый час того утра что после ночи. Домой возвращались в дивную зимнюю ночь через гору Фезербед. Блум и Крис Каллинан были на одной стороне кареты, а я с его женой — на другой. Мы там принялись распевать квартеты, дуэты: *Взгляни, уж первый луч зари**. А она изрядно нагрузилась тем делахантовым портвейном. И каждый раз, как эту чертову колымагу тряхнет, она валится прямо на меня. Недурная забава! У ней роскошная парочка, дай ей бог. Во-от такие.

Округлив ладони, он отставил их на целый локоть перед собой, наморщил лоб:

— А я снизу все подтыкал под ней плед и без конца на ней поправлял боа. Улавливаете, о чем я?

Руки его рисовали в воздухе полные округлости. От удовольствия он крепко зажмурился, всем телом подался вперед и нежно присвистнул.

— Одним словом, мальчик стоял навытяжку,— сказал он со вздохом.— А она кобылка норовистая, это точно. Блум между тем все показывал Крису Каллинану и кучеру разные звезды и кометы на небесах: вот тут большая медведица, и Геркулес, и дракон, и всякая прочая дребедень. Но я-то, можно сказать, совсем затерялся в млеч-

ном пути. Он знает их все наперечет, я клянусь. Наконец, она высмотрела где-то у черта на куличках самую махонькую-малюсенькую. И спрашивает: *А вот это, Польди, какая звездочка?* Приперла Блума в угол, ничего не попишешь. *Это вон та, что ли?* говорит Крис Каллинан, *да это так себе, маленький тычок в черноте.* Ну, тут уж он попал в точку.

Ленехан остановился и прислонился к парапету, захлебываясь от тихого смеха:

— Ох, не могу,— задыхался он.

Бледное лицо Маккоя, на миг улыбнувшись, приняло строгое выражение. Ленехан зашагал дальше. Он приподнял свою капитанку и быстрым движением почесал затылок. Под ярким солнцем он искоса бросил взгляд на Маккоя.

— Блум — человек знающий и культурный,— произнес он серьезно.— Это не какой-нибудь простофиля с улицы... понимаете... Наш старина Блум, в нем где-то чувствуется артист.

* * *

Мистер Блум лениво переворачивал страницы «Потрясающих разоблачений Марии Монк»*, потом «Шедевра» Аристотеля*. Нелепый шрифт, крючковатый. Цветные вклейки: младенцы клубком в кроваво-красных утробах, напоминают свежую бычью печень на бойне. Вот в эту самую минуту их множество таких во всем мире. И все тычутся головенками, хотят выйти оттуда. Каждую минуту рождается где-нибудь младенец. Миссис Пьюрфой.

Он отложил обе книжки и глянул на третью: «Истории из гетто», Леопольд фон Захер-Мазох*.

— Эту я читал,— сказал он, отодвигая ее.

Торговец шлепнул на прилавок два томика.

— Вот энти славная парочка,— посулил он.

Через прилавок разило луком из его гнилозубого рта. Он наклонился, набрал стопку других книг, прижал их к своей расстегнутой жилетке и унес за грязную занавеску.

На мосту О'Коннелла многочисленные лица могли наблюдать внушительную осанку и живописный наряд мистера Дэниса Дж. Маджинни, учителя танцев и пр.

Мистер Блум, оставшись один, оглядел названия книг. «Прекрасные мучительницы», Джеймс Лавберч. Розголюб. Понятно, какого это сорта. Была у меня? Да.

Он раскрыл книгу. Кажется, та самая.

Женский голос за грязной занавеской. Послушаем. Мужчина. Нет, ей такое не очень нравится. И уже приносил.

Он прочитал другое название: «Прелести греха». Пожалуй, более в ее вкусе. Давай посмотрим.

Раскрыв наугад, он прочел:

— И все эти доллары, которыми осыпал ее муж, она тратила в магазинах на роскошные платья и самые разорительные безделушки. Ради него! Ради Рауля!

Да. То что нужно. Еще посмотрим.

— Их губы слились в жадном и сладострастном поцелуе, а руки его ласкали ее пышные формы под легким дезабилье.

Да. Это подойдет. А в конце.

— Вы запоздали,— произнес он хриплым голосом, бросая на нее злобный и подозрительный взгляд.

Стройная красавица сбросила отороченное собольим мехом манто, явив взору свои роскошные плечи и пышно вздымающиеся округлости. Неуловимая улыбка тронула идеальные очертания ее губ, когда она спокойно повернулась к нему.

Мистер Блум перечел еще раз: *Стройная красавица...*

Теплота мягко охватила его, расслабляя все тело. Тела в сбившихся одеждах податливо уступают; белки глаз наливаются. Его ноздри расширились, вынюхивая добычу. Испаренья умащенных грудей *(ради него! ради Рауля!)*. Терпкий луковый пот подмышек. Склизкость рыбьего клея *(вздымающиеся округлости!)*. Коснуться! Сжать! Стиснуть, что только сил! Разящий серой львиный помет!

Молодость! Молодость!

Пожилая особа женского пола, уже давно не первой молодости, покинула здание суда лорда-канцлера и судов королевского, податного и гражданского, прослушав в первом дело о признании невменяемым Поттертона, во втором, в адмиралтейском отделении, в отсутствие одной из сторон — дело об иске владельцев «Леди Кэрнс» к владельцам барки «Мона» и в апелляционном суде — перенос слушания дела Харви против Морской страховой компании.

Клокочущий кашель сотряс воздух в книжной лавке, всколыхнув грязную занавеску. Высунулась седая нечесаная голова хозяина с небритым побагровевшим от кашля лицом. Он грубо прочистил горло и выблевал на пол сгусток. Потом наступил на свою харкотину сапогом, растер подошвой и наклонился, показывая голый череп с венчиком скудной растительности.

Мистер Блум обозрел череп.

Стараясь унять расходившееся дыхание, он сказал:

— Я возьму вот эту.

Продавец поднял глаза, гноящиеся от хронического насморка.

— «Прелести греха»,— произнес он, похлопывая по переплету.— Отличная книжка.

* * *

Служитель в дверях аукционного зала Диллона опять потряс колокольчиком, дважды, и погляделся в исчерченное мелом зеркало туалетного столика.

Дилли Дедал, стоя на тротуаре, слушала звонки колокольчика и возгласы аукционера, доносившиеся из зала. Четыре и девять. Вот чудные занавески. Пять шиллингов. Очень уютные занавески. Новые стоили бы две гиней. Пять шиллингов, кто больше? Продано за пять шиллингов.

Служитель поднял колокольчик и потряс им:

— Брень!

Удар колокола, возвещающий о последнем круге, заставил рвануться гоншиков. В заезде на полмили Дж. Э. Джексон, У. Э. Уайли, Э. Монро и Х. Т. Гахан, поводя вытянутыми шеями, обрабатывали вираж возле Университетской библиотеки.

Мистер Дедал, теребя длинный ус, появился со стороны Вильямсроу. Он остановился возле своей дочери.

— Тебе уже пора,— сказала она.

— Держись прямо, ради любви господа Иисуса! — воскликнул мистер Дедал.— Или ты, может, изображаешь своего дядюшку Джона, кларнетиста, голова в плечи? Тоскливый бог!

Дилли пожала плечами. Мистер Дедал, положив свои ладони на них, отогнул их назад.

— Держись прямо, девочка,— повторил он.— Ты заработаешь себе искривление позвоночника. Ты знаешь, какой у тебя вид?

Он неожиданно уронил голову вниз и вперед, поднял плечи горбом и отвесил нижнюю челюсть.

— Перестань, отец,— сказала Дилли.— На тебя люди смотрят.

Мистер Дедал выпрямился и вновь подергал свой ус.

— Ты достал денег? — спросила Дилли.

— Где это я достану? — отвечал мистер Дедал.— В Дублине ни одна душа не одолжит мне ни пенни.

— Нет, ты раздобыл что-то,— проговорила Дилли, глядя ему в глаза.

— А как это тебе известно? — спросил мистер Дедал, приняв таинственный вид.

Мистер Кернан, довольный заключенною сделкой, шагал, гордо приосанившись, по Джеймс-стрит.

— Вот уж известно,— сказала Дилли.— Ты сейчас был в Скотч-хаусе?

— Нет, я там не был,— промолвил мистер Дедал с улыбкой.— А это тебя монашки так научили дерзить? Держи-ка.

Он протянул ей шиллинг.

— Постарайтесь на это что-нибудь сделать,— сказал он.

— Я так думаю, что ты достал пять,— ответила Дилли.— Дай мне сколько-нибудь побольше.

— Ну, погоди же,— угрожающе произнес мистер Дедал.— Ты что, тоже как все остальные, да? С тех пор, как ваша бедная мать умерла, превратились в свору наглых щенков. Но погодите! Скоро увидите, у меня с вами будет разговор короткий. Разбой среди бела дня! Но я скоро от вас избавлюсь. Вам наплевать, если я лягу в гроб. Он умер. Жилец из верхней квартиры умер.

Он отвернулся и зашагал прочь. Дилли тут же нагнала его и потянула за рукав.

— Ну что, в чем дело? — произнес он, останавливаясь.

Служитель прозвонил в колокольчик у них за спиной.

— Брень!

— Язви твою окаянную душу! — воскликнул мистер Дедал, оборачиваясь к нему.

Служитель, уловив замечание, снова потряс звучным язычком колокольчика, но потише:

— Тринь!

Мистер Дедал пристально уставился на него.

— Полюбуйся-ка,— сказал он.— Это поучительно. Надеюсь, он нам милостиво позволит поговорить.

— Ты ведь достал больше, отец,— сказала Дилли.

— Я скоро с вами сыграю штуку,— посулил мистер Дедал.— Я с вами со всеми поступлю так, как Иисус с евреями. Смотри, вот все, что у меня есть. Я занял два шиллинга у Джека Пауэра и два пенса истратил, чтобы побриться перед похоронами.

Он с раздражением вытащил пригоршню медяков.

— А ты не можешь еще где-нибудь поискать денег? — спросила Дилли.

Мистер Дедал подумал и кивнул головой.

— Попробую,— сказал он с серьезным видом.— Я уже искал на О'Коннелл-стрит вдоль всей сточной канавы. А теперь попробую вдоль вот этой.

— Все остришь,— заметила Дилли с кривой усмешкой.

— Держи,— сказал мистер Дедал, протягивая ей два пенни.— Купи себе стакан молока и булочку или что-нибудь такое. Я скоро приду домой.

Он сунул остальные монеты в карман и зашагал прочь.

Кавалькада вице-короля показалась в воротах Парка, подобострастно приветствуемая полисменами.

— Я точно знаю, у тебя есть еще шиллинг,— сказала Дилли.

Служитель прозвонил громогласно.

Мистер Дедал, сопровождаемый трезвоном, удалялся и бормотал себе под нос, жеманно складывая губы сердечком.

— Монашенки! Милые хрупкие создания! О, ну конечно, они ничего такого! О, ну конечно, они никогда бы не стали! Неужели это сестрица Моника!

* * *

Довольный сделкой, которую он заключил для фирмы «Пулбрук и Робертсон», мистер Кернан гордо вышагивал по Джеймс-стрит, направляясь от солнечных часов к Джеймс-гейт, мимо конторы Шеклтона. Отлично провел всю сцену. Как поживаете, мистер Кримминс? Превосходно, сэр. Я опасался, что вы окажетесь в другом вашем заведении, в Пимлико. Как идут дела? Идут потихоньку. Чудесная погода стоит. Да, чудесная. Для полевых работ это хорошо. А то фермеры вечно ворчат. Пожалуй, я бы выпил глоток вашего отменного джина, мистер Кримминс. Малую порцию джина, сэр. Да, сэр. Что за ужасное происшествие этот взрыв на «Генерале Слокуме». Ужасно, ужасно! Около тысячи жертв. И душераздирающие сцены. Мужчины, топчущие ногами детей и женщин. Самая настоящая дикость. А что они говорят, какая причина? Внезапное возгорание. Выяснились скандальнейшие обстоятельства. Не было ни одной спасательной шлюпки исправной, и все пожарные шланги оказались дырявыми. Но я одного не пойму, как могла инспекция выпустить такой пароход... Ага, вот сейчас вы в самую точку, мистер Кримминс. Знаете, почему? Подмазали кого надо. Неужели это правда? Никакого сомнения. Вы только подумайте. И еще говорят, что Америка — это страна свободных людей. Я привык думать, у нас тут плохо.

Я улыбнулся ему. *Америка,* заявил я ему так спокойненько, *что это по сути такое? Мусор, выметенный из всех стран, включая и нашу. А что, разве это не верно?* Истинный факт.

Коррупция, дорогой сэр. Да, еще бы, везде, где пахнет деньгами, найдутся охотники до поживы.

Заметил, как он смотрел на мой рединготт. Костюм — первейшее дело. Самое главное иметь элегантный вид. Действует безотказно.

— Ба, Саймон! — сказал отец Каули.— Как делишки?

— Вижу старину Боба,— произнес, останавливаясь, мистер Дедал.

Мистер Кернан, задержав шаги у парикмахерской Питера Кеннеди, с большим одобрением оглядел себя в наклонном зеркале. Что и говорить, щегольской сюртук. От Скотта с Доусон-стрит. Вполне стоит полсоверена, что я за него отдал Нири. Сшить такой новый не меньше чем три гинеи. А как отлично сидит. Небось от какого-нибудь денди из клуба на Килдер-стрит. Вчера Джон Маллиган, управляющий Гибернийского банка, так на меня уставился, на мосту Карлайл, как будто хотел припомнить.

Хо-хо! С этими господами нужно держать марку. Коммивояжер-джентльмен. Рыцарь больших дорог. Так как, мистер Кримминс, не окажете ли вы нам снова честь вашим заказом, сэр. Чаша, что веселит, но не опьяняет, как говорится в старой пословице.

Мимо Северной стены и набережной сэра Джона Роджерсона, мимо судов и якорных цепей, плывя на запад, проплывал кораблик, скомканный листок, покачиваясь на волне от парома. Илия грядет.

Мистер Кернан бросил прощальный взгляд на свое отражение. Лицо красное, верно. Седеющие усы. Вернувшийся из Индии офицер. Браво расправив плечи, он двинулся вперед, обутые в гетры ноги легко несли коренастый торс. Это там не брат Неда Лэмберта, Сэм? А? Никак, он. Просто чертовски похож. Нет. Ветровое стекло автомобиля блеснуло на солнце. Из-за вспышки. Но чертовски похож.

Хо-хо! Жаркие пары можжевелового сока согревали его дыхание и внутренности. Славно пропустил рюмочку джина. Фалды его рединготта подмигивали под ярким солнцем в такт его грузной походке.

Вон там Эммет был повешен и четвертован. Черная засаленная веревка. Собаки еще слизывали кровь с улицы, когда жена лорда-наместника проезжала там в своем экипаже.

Нехорошее было время. Что поделаешь. Теперь с этим покончено. А как пили тогда. Накачивались бочонками.

Минутку. А похоронили его где, у святого Мичена? Хотя нет, ведь было в Гласневине погребение, в полночь. Внесли тело через потайную дверь в стене. Теперь и Дигнам там. Помер, не успели оглянуться. Что поделаешь. Лучше здесь повернуть. Обогну.

Мистер Кернан повернул и начал спускаться по наклонной Уотлинг-стрит, где на углу был зал ожидания для посетителей Гиннесса. У складов Дублинской винокуренной компании стояли дрожки без седока и без кучера, вожжи привязаны к колесу. Это же чертовски опасно. Какая-нибудь деревенская дубина из Типперери подвергает опасности жизни граждан. Стоит лошади понести.

Дэнис Брин со своими фолиантами, устав ждать больше часу в конторе Джона Генри Ментона, увлекал свою жену через мост О'Коннелла, направляясь в контору Коллиса и Уорда.

Мистер Кернан подошел к Айленд-стрит. Времена смуты. Надо бы попросить у Неда Лэмберта воспоминания сэра Ионы Барринг-тона. Когда смотришь на всю эту старину сейчас, с неким ретроспективным упорядочением. Картеж у Дэли. Шулеров тогда не водилось. Одному пригвоздили руку к столу кинжалом. Где-то тут лорд Эдвард Фицджеральд ускользнул от майора Серра. Конюшни за особняком Мойры *.

Чертовски славный был джин.

Блестящий молодой храбрец. Да еще из такого рода. А этот негодяй, этот самозваный помещик в лиловых перчатках, выдал его. Конечно, они боролись за неправое дело. Им выпал злой и смутный век. Прекрасное стихотворение Инграма *. Они были настоящие люди чести. Бен Доллард с таким чувством поет эту балладу. Мастерское исполнение.

В бою под Россом пал отец.

По набережной Пембрук проследовал кортеж мелкой рысью, форейторы мерно подскакивали — скок-скок — на седлах, на седлах. Рединготы. Кремовые зонтики.

Мистер Кернан заторопился, тяжело отдуваясь.

Его Сиятельство! Вот ведь не повезло! Какой-то секундой опоздал! Вот черт! Такая жалость!

* * *

Стивен Дедал наблюдал сквозь подернутое паутиной окно, как пальцы ювелира ощупывали потускневшую от времени цепочку. Пыль подернула паутиной окно и полки витрины. От пыли потемнели усердные пальцы с ястребиными когтями. Пыль дремала на тусклых завитках бронзы и серебра, на ромбиках киновари, на рубинах, изъеденных проказой винно-темных камнях.

Все это рождено во мгле червивой земли, холодные искорки, огоньки зла, светящие во тьме. Где падшие архангелы срывали звезды со своего чела *. Грязные свиные рыла, руки, роют и роют, хватают и тащат их.

Она пляшет в зловонном сумраке, где смешан дух чеснока и горящей смолы. Ржавобородый матрос, прихлебывая ром из кувшинчика, глядит на нее во все глаза. Долгая, вскормленная морем, немая похоть. Она пляшет, кружится, трясет своими окороками, на толстом брюхе подпрыгивает рубин размером с яйцо.

Старый Рассел еще потер камень старым куском замши, повернул его и поднес к концу своей моисеевой бороды. Дедушка орангутанг любуется украденным сокровищем.

А ты разве не откапываешь старые образы из могильной земли? Бредовые словеса софистов: Антисфен. Искусство усыплять ум. Пшеница восточная и бессмертная, сущая от века и до века.

Две старушки, отведав освежающих бризов, брели через Айриштаун по Лондон-бридж-роуд, одна с усталым пескообленным зон-

тиком, другая с сумкою повитухи, где перекатывались одиннадцать ракушек.

Шорох трансмиссий, жужжание динамомашин электростанции, доносясь к нему, звали дальше. Существа без сущности. Постой! А вечное биенье в тебе, помимо тебя. Все распеваешь о своем сердце. Я между ними. Где это? Между двумя грохочущими мирами, там, где они сливаются в одном вихре,— я. Стереть их в пыль, и один и оба. Но и меня оглушит ударом. Пускай сотрет меня в пыль, кто сможет. Сводник и мясник, так я сказал. Еще бы! Но погоди малость. Оглядись.

Да, совершенно верно. Большие, замечательные, прославленной точности. Совершенная правда, сэр. В понедельник утром, как вы сказали.

Стивен спускался по Бедфорд-роу, ясеневой рукояткой трости постукивая себя по лопатке. В витрине у Клохисси взгляд его привлекла выцветшая гравюра 1860 года, изображающая боксерский матч между Хиненом и Сейерсом. За канатами глазели на ринг сделавшие ставки зрители в допотопных шляпах. Тяжеловесы в тесных набедренниках любезно протягивали друг другу шарообразные кулаки. Они тоже бьются — сердца героев.

Он повернул за угол и остановился возле накренившегося лотка с книгами.

— Каждая по два пенса,— сказал торговец.— На шесть пенсов четыре.

Потрепанные страницы. «Ирландский пчеловод». «Жизнь и чудеса кюре из Арса». «Карманный путеводитель по Килларни».

Тут бы могли валяться и мои школьные награды, которые снесли в заклад. Stephano Dedalo, alumno optimo, palmam ferenti [55].

Отец Конми, закончив читать малые часы, шел через деревушку Донникарни, шепча вечерние молитвы.

Слишком хорош переплет, что бы это такое? Восьмая и девятая книги Моисеевы. Тайна всех тайн. Печать царя Давида. Захватанные страницы: читали и перечитывали. Кто здесь проходил до меня? Как размягчить потрескавшуюся кожу на руках. Рецепт для приготовления уксуса из белого вина. Как добиться любви женщины. Вот это для меня. Сложив руки, произнести трижды следующее заклинание:

— Se el yilo nebrakada femininum! Amor me solo! Sanktus! Amen [56].

Кто это написал? Заговоры и заклинания блаженнейшего аббата Питера Саланки *, обнародованные для всех истинно верующих. Не хуже, чем заговоры любого другого аббата, чем бормотанье Иоахима. Спустись, плешивец, не то мы будем прясть твою шерсть.

— Ты что тут делаешь, Стивен?

Дилли, высокие плечики и заношенное платье.

Закрой-ка живее книгу. Чтоб не увидела.

— А ты что делаешь? — сказал Стивен.

Лицо Стюарта, бесподобного Чарльза, обрамленное гладкими прядями. Горевшее румянцем, когда, сидя у огня, она в него подбрасывала старые башмаки. Я ей рассказывал о Париже. Любила подольше поваляться в постели, укрывшись старым тряпьем, без конца теребя свой браслетик под золото, подарок Дэна Келли. Nebrakada femininum.

— Что это у тебя? — спросил Стивен.

— На другом лотке купила за пенни,— сказала Дилли с нервным смешком.— Она годится на что-нибудь?

Говорят у нее мои глаза. Таким вот и видят меня другие? Живым, смелым и отчужденным. Тень моего ума.

Он взял у нее из рук книгу с оторванной обложкой. Шарденаль. французский язык для начинающих.

---

[55] Стефану Дедалу, примерному воспитаннику, в награду *(лат.)*.

[56] Маленькие мои небеса, блаженное женское естество! Люби одного меня! Свят! Аминь *(лат; искаж. исп., араб.)*.

— Зачем ты это купила? — спросил он.— Учиться по-французски?

Она кивнула, покраснев и сжав плотно губы.

Не показывай удивления. Вполне естественно.

— Держи,— сказал Стивен.— Годится, почему ж нет. Смотри, чтобы Мэгги ее не унесла у тебя в заклад. Я так думаю, мои книги туда все ушли.

— Часть из них,— ответила Дилли.— Нам пришлось.

Ведь она тонет. Жагала. Спасти ее. Жагала. Все против нас. Она утопит и меня с собой, глаза и волосы. Гладкие кольца волос-водорослей обвивают меня, мое сердце, душу. Горькая зеленая смерть.

Мы.

Жагала сраму. Сраму жагала.

Нищета! Нищета!

* * *

— Ба, Саймон! — сказал отец Каули.— Как делишки?

— Вижу старину Боба,— произнес, останавливаясь, мистер Дедал.

Они обменялись звучным рукопожатием возле магазина «Редди и Дочь». Отец Каули, сложив ладонь лодочкой, мелкими движениями пригладил усы.

— Ну, что хорошенького? — спросил мистер Дедал.

— Да небогато,— отвечал отец Каули.— Я тут, Саймон, забаррикадировался от двух молодчиков, которые караулят у дома, хотят проникнуть.

— Как это мило,— отозвался мистер Дедал.— А кто их прислал?

— Да так,— сказал отец Каули.— Некий процентщик из числа наших знакомых.

— Тот, что спина крюком? — спросил мистер Дедал.

— Он самый, Саймон,— отвечал отец Каули.— Рувим из колена Рувимова. Я тут как раз поджидаю Бена Долларда. Он должен пойти к Длинному Джону да замолвить за меня словечко, чтобы он убрал этих двух. Мне бы только дали немного времени.

В смутной надежде он кинул взгляд туда и сюда по набережной. Его крупный кадык заметно выдавался на шее.

— Знаю, знаю,— сказал, кивая, мистер Дедал.— Старый сердяга Бен! Вечно старается для кого-нибудь. Погодите-ка!

Он нацепил пенсне и на секунду всмотрелся в направлении чугунного моста.

— Подходит! — возвестил он.— Явился собственнозадно, прости Господи.

Старомодная шляпа и просторная синяя визитка Бена Долларда над мешковатыми брюками на всех парах двигались через набережную от чугунного моста. Он приближался к ним рысцой, усердно почесывая у себя под фалдами.

Мистер Дедал приветствовал его появление:

— Держите-ка мне вот этого в дурацких штанах.

— Ну-ну, давайте,— отозвался Бен Доллард.

Мистер Дедал с холодным презрением оглядел Бена Долларда с головы до ног. Затем, кивая на него отцу Каули, он язвительно процедил:

— Какой удачный наряд для летнего дня, не правда ли?

— Что-что? — прорычал свирепо Бен Доллард.— Да разрази вас гром, я на своем веку столько сносил костюмов, сколько вам и во сне не снилось.

Стоя рядом, он лучезарно улыбался им и своему пространному одеянию, с которого мистер Дедал сбивал там и сям пушинки, приговаривая:

— Нет, что ни говори, Бен, это сшито на мужчину в расцвете сил.

— Да провалиться тому еврею, который сшил это,— отозвался Бен Доллард.— Слава богу, ему еще не заплачено.

— А как поживает ваш basso profondo, Бенджамин? — спросил отец Каули.

Кэшел Бойл О'Коннор Фицморис Тисделл Фаррелл, омоноклив глаз, что-то невнятно бормоча, прошагал мимо клуба на Килдер-стрит.

Бен Доллард нахмурил брови и, сделав вдруг рот, как у певца, издал низкую ноту.

— О-о! — прогудел он.

— Вот это класс! — заметил мистер Дедал, одобрительно кивнув.

— Ну, как? — вопросил Бен Доллард.— Не заржавел пока? А? Он обернулся поочередно к обоим.

— Подходяще,— сказал отец Каули и тоже кивнул.

Преподобный Хью К. Лав шел от бывшего здания капитула аббатства святой Марии, мимо спиртоочистительного завода Джеймса и Чарльза Кеннеди, в сторону Фолсела, что за скотопрогонным бродом, и воображению его рисовались целые сонмы Джеральдайнов, один другого осанистей и отважней.

Бен Доллард, грузно кренясь в сторону магазинных витрин, увлекал их вперед, весело жестикулируя пальцами.

— Пойдемте-ка вместе со мной в полицию,— говорил он.— Я вам хочу показать, какого красавчика Рок недавно зачислил в приставы. Нечто среднее между вождем зулусов и Джеком Потрошителем. Стоит взглянуть, уверяю вас. Пойдемте. Я только что встретил случайно Джона Генри Ментона в Бодеге *, и это мне дорого обойдется, если я не... Погодите малость... Наше дело верное, Боб, можете мне поверить.

— Вы ему скажите, мне бы несколько дней,— сказал отец Каули с тоскливой тревогой.

Бен Доллард резко остановился и уставился на него, разинув свой звучный зев. Оторванная пуговица визитки, ярко поблескивая, закачалась на своей ниточке, когда он принялся вытирать слезящиеся глаза, чтобы лучше слышать.

— Какие еще несколько дней? — прогремел он.— Ваш домохозяин разве не подал ко взысканию?

— Подал,— сказал отец Каули.

— Ну, а тогда исполнительный лист нашего друга не стоит и той бумаги, на которой написан,— заявил Бен Доллард.— Право первого иска всегда за домохозяином. Я ему сообщил все сведения. Виндзор авеню, 29. Его фамилия Лав?

— Да, да,— сказал отец Каули.— Его преподобие мистер Лав. Он, кажется, священник где-то в провинции. Но вы точно уверены?

— Можете от меня передать Варавве,— сказал Бен Доллард,— чтобы он спрятал этот лист туда, где мартышки прячут орехи.

Он решительно увлекал за собой отца Каули, прикованного к его туше.

— Я думаю, не грецкие, а лесные,— пробормотал мистер Дедал, следуя за ними и опуская пенсне на лацканы своего сюртука.

* * *

— Насчет мальчика все в порядке,— сказал Мартин Каннингем, когда они проходили мимо ворот Касл-ярда.

Полисмен дотронулся до фуражки.

— Дай вам Бог,— ободряюще произнес Мартин Каннингем.

Он сделал знак поджидавшему кучеру, тот дернул вожжи и тронулся в сторону Лорд-Эдвард-стрит.

За бронзой золото, за головкой мисс Кеннеди головка мисс Дус, появились над занавеской отеля «Ормонд».

— Да-да,— сказал Мартин Каннингем, потрагивая бороду.— Я написал отцу Конми и все изложил ему.

— Вы бы могли попытаться и у нашего друга,— предложил задним числом мистер Пауэр.

— У Бойда? Благодарю покорно,— отрезал коротко Мартин Каннингем.

Джон Уайз Нолан, отставший за чтением списка, быстро пустился их нагонять по Корк-хилл.

На ступенях ратуши советник Наннетти, спускаясь, приветствовал поднимающихся олдермена Каули и советника Абрахама Лайона.

Муниципальный фургон, пустой, завернул на Верхнюю Экс-чейндж-стрит.

— Взгляните-ка, Мартин,— сказал Джон Уайз Нолан, догнав их возле редакции «Мейл».— Я тут вижу, что Блум подписался на пять шиллингов.

— Совершенно верно,— сказал Марин Каннингем, забирая у него лист.— Мало того, он их немедленно внес.

— Без громких речей,— заметил мистер Пауэр.

— Довольно странно, но факт,— добавил Мартин Каннингем.

Джон Уайз Нолан удивленно раскрыл глаза.

— Как много у еврея доброты *, замечу я,— щегольнул он цитатой.

Они направились по Парламент-стрит.

— А вот и Джимми Генри,— сказал мистер Пауэр,— как раз поспешает к Каване.

— Раз так,— сказал Мартин Каннингем,— то и мы за ним.

Возле la maison Claire Буян Бойлан изловил горбатого зятя Джека Муни, бывшего в подпитии и направлявшегося в Либертиз.

Джон Уайз Нолан с мистером Пауэром шли теперь позади, а Мартин Каннингем взял под руку маленького аккуратного человечка в сером с искрой костюме, который нетвердой торопливой походкой проходил мимо часового магазина Микки Андерсона.

— Видно, у помощника муниципального клерка мозоли дают себя знать,— заметил Джон Уайз Нолан мистеру Пауэру.

Они обогнули угол, следуя к винному погребу Джеймса Каваны. Пустой муниципальный фургон, стоявший у Эссекс-гейт, оказался перед самым носом у них. Мартин Каннингем все продолжал говорить, то и дело показывая Джимми Генри подписной лист, на который тот ни разу не глянул.

— И Длинный Джон Феннинг тоже здесь,— сказал Джон Уайз Нолан,— во всю натуральную величину.

Высокая фигура Длинного Джона Феннинга заполняла собой всю дверь.

— Добрый день, господин главный инспектор,— произнес Мартин Каннингем, и все остановились для обмена приветствиями.

Длинный Джон Феннинг не освободил им проход. Резким движением он вынул изо рта большую сигару, и его круглые глаза пронзительно окинули их умным и хищным взглядом.

— Сенаторы Рима продолжают предаваться мирной беседе? — проговорил он звучно и насмешливо, обращаясь к помощнику муниципального клерка.

Устроили там адские баталии, заговорил с раздражением Джимми Генри, вокруг своего треклятого ирландского языка. Он бы хотел знать, чем занимается церемониймейстер, когда надо поддерживать порядок в зале заседаний. А старый Барлоу, хранитель жезла, слег из-за своей астмы, жезла на столе нет, сплошной кавардак, нет даже кворума, и сам лорд-мэр Хатчинсон в Лландудно, а маленький Лоркан Шерлок изображает его locum tenens [57]. Пропади он пропадом, этот язык наших предков.

Длинный Джон Феннинг выпустил изо рта струю дыма.

Мартин Каннингем, покручивая кончик бороды, снова принялся говорить, обращаясь то к главному инспектору, то к помощнику муниципального клерка, а Джон Уайз Нолан мирно помалкивал.

[57] Исполняющий обязанности *(лат.)*.

— А какой это Дигнам? — спросил Длинный Джон Феннинг.

Джимми Генри сделал гримасу и потряс в воздухе левой ногой.

— Ох, мои мозоли! — жалобно простонал он.— Пойдемте, бога ради, наверх, чтобы я мог хоть присесть! У-у! Ох-хо-хо! Позвольте!

В сердцах он протиснулся сбоку от Длинного Джона Феннинга и поднялся по лестнице.

— Да, пойдемте наверх,— сказал Мартин Каннингем главному инспектору.— Мне кажется, что вы не знали его, хотя, конечно, возможно.

Мистер Пауэр и Джон Уайз Нолан последовали за ними.

— Он был скромный и честный малый,— поведал Джек Пауэр дюжей спине Длинного Джона Феннинга, которая поднималась навстречу Длинному Джону Феннингу в зеркале.

— Небольшой такой. Дигнам из конторы Ментона,— дополнил Мартин Каннингем.

Длинный Джон Феннинг не мог припомнить его.

В воздухе пронеслось цоканье лошадиных копыт.

— Что это? — спросил Мартин Каннингем.

Все обернулись, где кто стоял. Джон Уайз Нолан снова спустился вниз. Стоя в прохладной тени прохода, он видел, как кони двигались по Парламент-стрит, их сбруя и лоснящиеся бабки поблескивали на солнце. Весело, не спеша, они проследовали мимо под его холодным недружелюбным взглядом. Впереди скакали, впереди на седлах мерно подскакивали форейторы.

— Так что это там? — спросил Мартин Каннингем, когда они снова начали подниматься.

— Лорд-наместник и генерал-губернатор Ирландии,— отвечал Джон Уайз Нолан с нижней ступеньки.

* * *

Когда они шли по толстому ковру, Бык Маллиган, прикрывшись своей панамой, шепнул Хейнсу:

— Брат Парнелла. Вон в том углу.

Они выбрали маленький столик у окна, напротив человека с вытянутым лицом, борода и пристальный взгляд которого нависали над шахматной доской.

— Вот это он? — спросил Хейнс, поворачиваясь на своем сиденье.

— Да,— ответил Маллиган.— Это Джон Хауард, его брат, наш городской церемониймейстер.

Джон Хауард Парнелл спокойно передвинул белого слона и снова поднес грязноватый коготь ко лбу, где он и остался неподвижно. Через мгновение, из-под его заслона, глаза его бросили на противника быстрый, неуловимо сверкнувший взгляд и вновь устремились на критический участок доски.

— Мне кофе по-венски,— сказал Хейнс официантке.

— Два кофе по-венски,— сказал Маллиган.— И еще принесите нам масло, булочки и каких-нибудь пирожных.

Когда она удалилась, он со смехом сказал:

— Мы тут говорим, что ДХК значит дрянной холодный кофе. Да, но вы упустили дедаловы речи о «Гамлете».

Хейнс раскрыл свою свежеприобретенную книгу.

— Мне очень жаль,— сказал он.— Шекспир — это благодатная почва для тех умов, что утратили равновесие.

Одноногий матрос, приблизившись к Нельсон-стрит, 14, рявкнул:

— *Англия ждет...*

Лимонный жилет Быка Маллигана весело всколыхнулся от смеха.

— Вам стоит на него посмотреть,— сказал он,— когда его тело утрачивает равновесие. Я его называю Энгус-Скиталец.

— Я уверен, у него есть какая-то idée fixe,— сказал Хейнс, задумчиво пощипывая подбородок большим и указательным пальца-

ми. — И я раздумываю, в чем бы она могла быть. У таких людей она всегда есть.

Бык Маллиган с серьезным выражением наклонился к нему через стол.

— Ему свихнули мозги,— заявил он,— картинами адских мук. И теперь ему уж никогда не достичь эллинской ноты. Той ноты, что, из всех наших поэтов, была у одного Суинберна, «и смерти белизна и алое рожденье, едино суть» *. Вот в чем его трагедия. Ему никогда не стать поэтом. Радость творчества...

— Вечные мучения,— произнес Хейнс, учтиво кивая,— да, я понимаю. Сегодня утром я его слегка попытал на тему о вере. Я видел, у него что-то сидит в уме. Все это довольно любопытно, потому что в Вене профессор Покорный * из этого делает любопытные выводы.

Бык Маллиган, заметив бдительным оком приближение официантки, помог ей освободить поднос.

— В древнеирландском мифе ему не найти даже намека на ад,— промолвил Хейнс, оказавшись между бодрящих чаш.— Похоже, что там нет и нравственной идеи, нет чувства судьбы, возмездия. Довольно странно, что у него именно такая idée fixe. Он как-нибудь участвует в вашем литературном движении?

Ловким движением он сбоку запустил в чашку два куска сахара сквозь слой взбитых сливок. Бык Маллиган разрезал еще горячую булочку и намазал маслом дышащую парком мякоть. С большим аппетитом он основательно откусил от нее.

— Десять лет,— со смехом проговорил он, жуя.— Вот через столько он что-нибудь напишет.

— Довольно изрядный срок,— сказал Хейнс, задумчиво подняв ложечку.— И все же я не удивлюсь, если он сумеет, в конце концов.

Он снял и отведал ложечку с макушки белокремовой шапки на своей чашке.

— Надеюсь, что это настоящие ирландские сливки,— снисходительно произнес он.— Я не люблю быть объектом надувательства.

Легкий кораблик, скомканный бумажный листок, Илия, плыл рядом с бортами больших и малых судов, посреди архипелага пробок, минуя Нью-Воппинг-стрит, на восток, мимо парома Бенсона и рядом с трехмачтовой шхуной «Роузвин», шедшей из Бриджуотера с грузом кирпичей.

* * *

Альмидано Артифони миновал Холлс-стрит, потом двор Сьюэлла. Позади него Кэшел Бойл О'Коннор Фицморис Тисдалл Фаррелл, с болтающимся на руке тростезонтоплащом, далеко обошел фонарный столб перед домом мистера Лоу Смита и, перейдя улицу, зашагал по Меррион-сквер. Поодаль, позади него, слепой юноша выстукивал свой путь вдоль ограды университетского парка.

Кэшел Бойл О'Коннор Фицморис Тисдалл Фаррелл дошел до приветливых витрин мистера Льюиса Вернера, затем повернул и пошел обратно по Меррион-сквер, с болтающимся на руке тростезонтоплащом.

На углу дома Уайльда * он задержался, насупился на имя Илии, возвещаемое на стене Метрополитен-холла, затем на дальний газон герцогской усадьбы. Его монокль насупленно блеснул на солнце. Оскалив крысиные зубы, он пробормотал:

— Coactus volui [58].

И зашагал дальше, в сторону Клэр-стрит, пережевывая свои смелые слова.

Когда он вышагивал мимо окон мистера Блума, дантиста, его плащ, болтаясь, резко сбил в сторону тоненькую постукивавшую

[58] Я хотел, будучи принуждаем *(лат.)*.

тросточку и повлекся дальше, хлестнув по хилому телу. Слепой юноша повернул вслед прохожему свое болезненное лицо.

— Будь ты проклят, кто ты там есть! — воскликнул он с озлоблением.— Не я слепой, а ты, сукин ты сын!

* * *

Напротив бара Рогги О'Доноху юный Патрик Алоизиус Дигнам, прижимая к себе полтора фунта свиных котлет, за которыми его посылали в мясную лавку Мангана, бывшую Ференбаха, глазея по сторонам и наслаждаясь теплом, шагал по Уиклоу-стрит. Скука была до чертиков сидеть там в зале вместе с миссис Стор и миссис Квигли и миссис Макдауэлл, занавески задернуты, а они все всхлипывают, сморкаются и потягивают первосортный херес, что дядя Барни принес от Танни. Доедают остатки фруктового пирога, сидят до чертиков, да одно и то же толкут. И вздыхают.

За Уиклоу-лейн его заинтересовала витрина мадам Дойл, придворной портнихи. Он остановился, глядя на двух противников, голых до пояса, изготовившихся боксировать. Из боковых зеркал молча глазели два юных Дигнама в трауре. Майлер Кео, любимчик Дублина, встретится с сержантом Беннетом, портобелльским молотилой, приз пятьдесят соверенов, ух ты, вот это будет матч, посмотреть бы. Майлер Кео, это который атакует того, с зеленым поясом. За вход два шиллинга, с солдат половина. Мамку-то я запросто обхитрю. Левый Дигнам повернулся, когда он повернулся. А, это же я в трауре. Когда будет? Двадцать второго мая. Эх, жалко до чертиков, опоздал. Он повернулся тоже, шапка у него съехала набок, воротничок вылез. Задрав подбородок, чтобы его застегнуть, он увидел невдалеке от боксеров изображение Марии Кендалл, очаровательной субретки. Картинки с такими девками бывают в пачках от сигарет. Стор за окурками охотится, а его однажды родитель застукал как он курил и задал просто страшенную трепку.

Юный Дигнам заправил свой воротничок и двинулся дальше. По силе удара самый первый из боксеров это Фицсиммонс. Такой даст разочек в поддых, и ты очухаешься через неделю, дружок. Но самый первый по технике, это был Джем Корбетт, до тех пор, пока Фицсиммонс не вышиб из него все его хитрости, и все потроха в придачу.

На Грэфтон-стрит юный Дигнам увидал шикарного франта, у которого был во рту красный цветок, а на ногах ботинки — картинки, и ему какой-то пьяный все чего-то толкует, а он только ухмыляется.

Трамвая на Сэндимаунт все не было.

Юный Дигнам пошел по Нассау-стрит, переложив свиные котлеты в другую руку. Воротничок у него опять отстегнулся, и он запихнул его обратно. Уродская запонка, не подходит для этой дырки, надоела до чертиков. Ему повстречались школьники с ранцами. Завтра опять не пойду, останусь до понедельника. Навстречу еще шли школьники. Интересно, они заметили, что я в трауре? Дядя Барни сказал, он даст сегодня об этом в газету. Тогда все в газете увидят и прочитают мое имя напечатанным и папино имя.

Лицо у него вместо красного, как всегда было, сделалось совсем серое, и муха ползла по нему вверх, к глазам. Так скрипело, когда ввинчивали винты в гроб, и так глухо стукалось, когда несли вниз.

Папа был там внутри, а мама плакала в зале, а дядя Барни показывал, как пронести на повороте. Гроб был такой большой, высокий, тяжелый с виду. Как все это было? В последний вечер, когда папа напился, он стоял на лестничной площадке и орал, чтоб ему дали башмаки, он пойдет к Танни и там еще напьется, и он казался таким толстым и низеньким в рубашке. Больше никогда его не увижу. Это называется смерть. Папа умер. Мой отец умер. Он мне сказал, чтобы я был маме хорошим сыном. Я не мог разобрать, что он еще говорил, но я видел, как его язык и зубы что-то старались выговорить. Бедный

папа. Это был мистер Дигнам, мой отец. Я надеюсь, что он сейчас в чистилище, потому что он ходил к отцу Конрою на исповедь в субботу вечером.

* * *

Вильям Хамбл, граф Дадли, и леди Дадли, в сопровождении подполковника Хеселтайна, после завтрака выехали из резиденции вице-короля. В следующей карете находились почтенная миссис Пэджет, мисс де Курси и почтенный Джеральд Уорд, дежурный адъютант.

Кортеж проследовал через нижние ворота Феникс-парка, приветствуемый подобострастными полисменами, и мимо Королевского моста направился по северным набережным. На своем пути по улицам столицы вице-король повсюду встречал проявления самых наисердечнейших чувств. У Кровавого моста * мистер Томас Кернан, находившийся по ту сторону реки, тщетно посылал свои приветствия издали. Вице-королевские кареты лорда Дадли проследовали между мостом Королевы и мостом Уитворта, где не получили приветствия от мистера Дадли Уайта, бакалавра права и магистра искусств, стоявшего на Арран-куэй рядом с домом ростовщицы миссис М. И. Уайт, что на углу Арран-стрит, и потиравшего нос в раздумье, попадет ли он в Фибсборо быстрей трамваем с тремя пересадками или на извозчике или же пешком через Смитфилд, холм Конституции и вокзал Бродстоун. В портике Судебной палаты Ричи Гулдинг, с папкой фирмы Гулдинг, Коллис и Уорд, воззрился на него с удивлением. За мостом Ричмонд, в подъезде конторы Рувима Дж. Додда, присяжного поверенного, агента Патриотической страховой компании, пожилая особа женского пола, собравшаяся было войти, передумала и, следуя назад по своим стопам, возле окон конторы Кинга обратила доверчивую улыбку к наместнику Его Величества. Из своего стока в стене Вудкуэй, расположенного прямо под конторой Тома Девана, речушка Поддл представила верноподданные излияния своей вонючей струи. На бронзе золото, за головкой мисс Кеннеди головка мисс Дус, поверх занавески отеля «Ормонд», наблюдали с восхищением. На Ормонд-куэй мистер Саймон Дедал, направляясь из уличного сортира в полицейское управление, застыл неподвижно посреди улицы, низко опустив шляпу. Его Сиятельство с изяществом ответно приветствовал мистера Дедала. На углу типографии Кахилла преподобный Хью К. Лав, магистр искусств, погруженный в размышления о знатных сеньорах, которые в давние времена раздавали щедрой рукой завидные церковные привилегии, отвесил поклон, оставшийся незамеченным. На мосту Граттана Ленехан и Маккой, собравшись прощаться друг с другом, смотрели на проезжающие кареты. Проходя мимо конторы Роджера Грина и большого красного дома типографии Долларда, Герти Макдауэлл, которая несла своему больному отцу письма и образцы линолеума Кэтсби, догадалась по виду карет, что это были лорд-наместник с супругой, но так и не смогла разглядеть, в каком туалете была Ее Сиятельство, потому что трамвай и большой желтый мебельный фургон Спринга остановились как раз перед ней, именно из-за проезда лорда-наместника. За домом фирмы Ланди и Фута, Джон Уайз Нолан, стоя в темных дверях винного погреба Каваны, послал холодную незамеченную усмешку лорду-наместнику и генерал-губернатору Ирландии. Достопочтенный Вильям Хамбл, граф Дадли, кавалер Большого Креста ордена Виктории, миновал неумолчно тикающие часы Микки Андерсона и восковые манекены Генри и Джеймса, румянощекие, в элегантных костюмах, джентльмен Генри, dernier cri [59] Джеймс. Стоя спиной к Дэйм-гейт, Том Рочфорд и Флинн Длинный Нос наблюдали приближение кортежа. Том Рочфорд, увидев, что взгляд леди Дадли остановился на нем, поспешно вытащил большие пальцы из кармашков бордового жилета и снял с головы фуражку. Очаровательная субретка, великая Мария Кендалл,

[59] Последний крик *(франц.)*.

с размалеванными щеками и приподнятой юбочкой, посылала со своей афиши размалеванную улыбку Вильяму Хамблу, графу Дадли, а также полковнику Х. Дж. Хеселтайну, равно как и почтенному Джеральду Уорду, дежурному адъютанту. Из окон ДХК вице-королевский кортеж наблюдали Бык Маллиган и Хейнс, первый с видом смешливым, второй — серьезным, глядя между голов возбужденных посетителей, совсем загородивших от света шахматную доску, на которую был устремлен пристальный взгляд Джона Хауарда Парнелла. На Фаунс-стрит Дилли Дедал, подняв взгляд от французского учебника Шарденаля, увидала раскрытые зонтики и сверкающие, вертящиеся спицы колес. Джон Генри Ментон, стоя в дверях Торговой палаты, неподвижно выпучил набрякшие от вина глаза-устрицы, держа толстые золотые охотничьи часы в толстой левой руке, не глядя на них и уже не чувствуя их. Там, где в воздух вздымалась передняя нога лошади короля Билли, миссис Брин отдернула своего поторопившегося супруга назад из-под копыт форейторской лошади. Крича ему прямо в ухо, она разъяснила происходящее. Тот понял, прижал свои фолианты левой рукой и приветствовал вторую карету. Почтенный Джеральд Уорд, дежурный адъютант, будучи приятно изумлен, поспешил ответить. На углу возле Понсонби остановился, притомившись, белый флакон Н, и вслед за ним остановились еще четыре белых флакона в цилиндрах, E. L. Y. 'S, меж тем как мимо промчались кареты и верховые. Против торговли музыкальными инструментами Пиготта внушительно вышагивал в живописном наряде мистер Дэнис Дж. Маджинни, учитель танцев и пр., коего вице-король обогнал, не заметив. У ректорского же дома появился с беспечным видом Буян Бойлан, ноги которого в темно-рыжих ботинках и носках с небесно-голубыми стрелками переступали в такт мотивчику песенки «Моя йоркширская девчонка». В пику небесно-голубым налобникам и стремительному напору верховых Буян Бойлан выставил небесно-голубой галстук, соломенную широкополую шляпу, ухарски сдвинутую набекрень, и синий костюм тонкого шевиота. Его руки, засунутые в карманы пиджака, не нашли нужным снять шляпу, однако он презентовал трем дамам нахальное одобрение во взгляде и красный цветок в зубах. Проезжая по Нассау-стрит, Его Сиятельство привлек внимание своей супруги, милостиво кивавшей по сторонам, к музыкальной программе, исполнявшейся в Колледж-парке. Бравые парни с шотландских гор, невидимые, трубили и барабанили вослед процессии:

Моя девчонка — с фабрики,
Одета без затей.
Тарарабум.
Но сердце мое тянется,
Эх, к розочке из Йоркшира,
К возлюбленной моей.
Тарарабум.

По ту сторону стены участники гонки на четверть мили с гандикапом М. К. Грин, Х. Шрифт, Т. М. Пейти, К. Скейфи, Дж. Б. Джеффс, Г. Н. Морфи, Ф. Стивенсон, К. Эдрли и У. К. Хаггард стартовали поочередно. Шагая мимо отеля Финна, Кэшел Бойл О'Коннор Фицморис Тисдалл Фаррелл уставил рассерженный монокль поверх экипажей на голову мистера Е. М. Соломонса * в окне австро-венгерского вице-консульства. В глубине Ленстер-стрит, возле заднего входа Тринити, верноподданный Его Величества Хорнблоуэр притронулся к своей егерской фуражке. Когда гладко лоснящиеся кони галопом мчали по Меррион-сквер, ожидавший там юный Патрик Алоизиус Дигнам увидел, как все приветствуют господина в цилиндре, и тоже приподнял свою черную новенькую фуражку пальцами, жирными от обертки свиных котлет. Воротничок его опять отстегнулся. Вице-король, направлявшийся на торжественное открытие благотворительного базара

Майрас в пользу больницы Мерсера, проследовал со своею свитой в сторону Нижней Маунт-стрит. Возле лавки Бродбента они миновали слепого юношу. На Нижней Маунт-стрит пешеход в коричневом макинтоше, жуя черствую корку, быстро и беспрепятственно перебежал вице-королю дорогу. На мосту через Королевский канал мистер Юджин Стрэттон, ухмыляясь с афиши толстыми вывороченными губами, радушно приветствовал всех прибывающих в квартал Пембрук. На углу Хэддингтон-роуд две женщины, выпачканные в песке, несущие зонтик и сумку, где перекатывались одиннадцать ракушек, остановились в удивлении при виде лорд-мэра с лорд-мэршей, и без золотой цепи. На Нортамберленд-роуд и Лэндсдаун-роуд Его Сиятельство неукоснительно отвечал на поклоны редких прохожих мужского пола, на поклон двух малолетних школьников, стоявших у садовой калитки того дома, которым, как говорят, восхищалась покойная королева при своем посещении ирландской столицы вместе с супругом, принцем-консортом, в 1849 году, и на поклон обширных штанов Альмидано Артифони, мелькнувших в дверях, которые, поглотив их, захлопнулись.

(Продолжение следует)

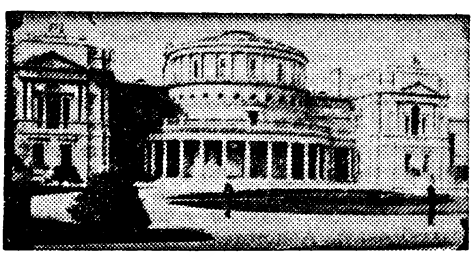
Комментарии

IX. Сцилла и Харибда

В центре эпизода — дискуссия о Шекспире, в первую очередь о «Гамлете», происходящая в два часа дня в Национальной библиотеке. Дискуссия, по-видимому, началась еще до «поднятия занавеса» и представляет собой весьма изощренный диалог в духе Платона. Недаром «техника» эпизода — диалектика, а орган, который символически представляет эпизод,— мозг, ум человека, равно способный к созиданию и разрушению.

Можно предположить, что дискуссия о Шекспире в основных своих моментах повторяет лекции о Шекспире, которые Джойс читал в Триесте с 4 ноября 1912 г. по 10 февраля 1913 г. (их текст пока не обнаружен). По отзывам современников известно, что лекции носили «психоаналитический» характер. Правда, сам Джойс отмечал, что Фрейд и Юнг («эти Шалтаи-Болтаи») не оказали на него сколько-нибудь серьезного влияния, что его собственные психоаналитические штудии не более чем «игра ума» и что вообще теория Фрейда «это только мост, через который он провел свои восемнадцать эпизодов»; когда же путь завершен, мост можно и взорвать.

Национальная библиотека.



«Искусство» эпизода — литература; действительно, все три рода литературы: лирика (многочисленные поэтические вкрапления в тексте), эпос (повествовательные пассажи), драма (мини-пьеса) — представлены здесь. «Сцилла и Харибда» — самый «литературный» эпизод «Улисса»: в нем в прямой, а по большей части в скрытой форме сосредоточено огромное количество цитат и аллюзий — столько же, сколько голов у мифологического чудовища Сциллы.

Сцилла и Харибда символизируют противоречивость ума, опасность спора, противопоставление аристотелевской и платоновской эстетики, мучительную духовную антиномию, колебания, сомнения, через которые обязательно должен пройти художник. Стивен внутренне мечется: он не знает, как и куда ему «плыть», где его место — в Париже или в Дублине. Он не знает и кто он: дерзкий юноша Икар или же зуек, который не может высоко летать.

В эпизоде возникает — правда, ненадолго — и Блум, практически никем, впрочем, не замеченный. Это придает действию особый драматизм. Пока интеллектуализирующему Стивену не до земного, реального Блума. Он не замечает его так же, как Телемак не заметил вернувшегося домой Одиссея.

Сцена в библиотеке не инородное тело в композиции романа. Напротив, именно здесь впервые дана в развернутом виде основная тема всего «Улисса» — тема отца и сына. Она-то как раз и является стержнем рассуждений Стивена о Шекспире. Стивен как бы отрекается от своего физического отца, Саймона Дедала и по признаку имени сближает себя с сыном Дедала Икаром.

В эпизоде участвует и упоминается ряд деятелей Ирландского Возрождения: поэт-мистик Джон Рассел, Уильям Батлер Йейтс, Эдвард Мартин (1859—1923), состоятельный

ирландский помещик, двоюродный брат Джорджа Мура, меценат, вместе с Йейтсом и Муром принимавший активное участие в создании ирландского национального театра.

Деятели Возрождения усердно занимались кельтским эпосом. Их литературный журнал был назван по имени матери богов Даны. Поэтому в эпизоде вспоминаются боги из кельтского пантеона: Энгус — бог юности, красоты, любви, находящийся в вечных поисках идеального друга, являющегося ему во сне; Мананаан Мак-Лир — легендарный богатырь, бог моря и т. д.

Рассказ Стивена о Шекспире — это, по сути дела, блистательный парад цитат и парафраз из трудов его исследователей и комментаторов: датского критика, литературоведа Георга Брандеса, Чарльза Уоллеса, Сидни Ли (настоящее имя — Соломон Лазарь Ли, что обыгрывается в тексте), Фрэнка Харриса. Знакомы Стивену суждения и английского поэта, драматурга, издателя Николаса Рау (1674—1718), полагавшего, что Шекспир сыграл за свою жизнь только одну роль — призрака в «Гамлете», и французского критика, писателя, ученого-филолога Эрнеста Ренана (1823—1892), назвавшего Шекспира «историком вечности». Вспоминает Стивен и «Лекции о Шекспире» Сэмюэла Колриджа, в которых поэт восхвалял этого «несметноликого» драматурга за то, что он всегда держался «столбовых дорог» жизни, а также труд ирландского юриста Гамильтона Мэддела (1840—1928), проделавшего титаническую работу и выявившего в пьесах Шекспира всю охотничью и спортивную терминологию.

Стивен мастерски жонглирует и отзывами современников Шекспира: «слащавые сонеты» — определение критика Фрэнсиса Мереса (1565—1647); «палач души» — слова из знаменитого памфлета соперника Шекспира драматурга Роберта Грина (ок. 1558—1592), которые ошибочно относят к Шекспиру. Впрочем, как видно из текста, в этом памфлете Грин действительно весьма нелестно отозвался о Шекспире. Памфлет Грина издал поэт Четтл (1560—1607), возможно послуживший прототипом Фальстафа (ср. у Джойса «Четтл Фальстаф»). Цитируется предисловие друга Шекспира, английского драматурга Бена Джонсона «Памяти Уильяма Шекспира» к первому фолио драм (1623), где он назвал автора «Гамлета» «лебедем Эйвона» и сказал, что «восхищается им, но не доходит до идолопоклонства». В эпизоде упоминаются друг Бена Джонсона, шотландский поэт Уильям Драммонд из Хоторндена (1585—1649); знаменитый поэт-елизаветинец, автор сонетов и пасторального романа «Аркадия» сэр Филип Сидни (1554—1586); отважные мореплаватели Дрейк и сэр Уолтер Рэли.

По существу в эпизоде пересказывается вся биография Шекспира. Обсуждается вопрос, кем по профессии был его отец Джон Шекспир (ум. в 1601 г.) — перчаточником, как свидетельствуют сохранившиеся источники, мясником, как предполагает английский антикварий Джон Обри (1629—1697), ростовщиком или торговцем солодом, как считают Харрис, Ли и Брандес. Приводятся и другие апокрифические детали, например, преследование Шекспира сэром Томасом Люси, якобы заставившее поэта покинуть Стратфорд.

Возникает вопрос и об авторстве пьес Шекспира. По одной из версий автором был английский философ, писатель Фрэнсис Бэкон (1561—1626), писавший в юности пьесы (ср. «Шекспир — грехи молодости Бэкона»). Автор этой теории—американская писательница Делия Солтер Бэкон (1811—1859), «открывшая» в пьесах Шекспира и бумагах Фрэнсиса Бэкона некий шифр, который, с ее точки зрения, подтверждает авторство Бэкона. Теория Делии Бэкон нашла приверженца в лице американского политического деятеля и эссеиста Игнатия Доннелли (1831—1901), автора труда «Великая криптограмма» (1887, ср. «жонглеры цифрами и шифрами шагают по столбовым дорогам»). Свои изыскания Доннелли осуществлял в городе Гастингсе (штат Миннесота), откуда ироническая фраза в тексте: «Какой же город, почтеннейшие мудрецы».

Естественно, что эпизод, посвященный Шекспиру, насыщен цитатами из Шекспира. Обычно они никак не выделены, но даны в речи действующих лиц или же в их внутреннем монологе, часто в гротескном виде. Особенно много — около двадцати — цитат из «Гамлета». Функции их многозначны: показать, скажем, в случае со Стивеном, собственную недюжинную эрудицию, передать внутреннее состояние говорящего или же думающего, найти в словах Шекспира аргумент в пользу какой-нибудь гипотезы о поэте, наконец, дать характеристику внешнего или внутреннего облика персонажа (например, о библиотекаре: «Он переступал на цыпочках туда и сюда, поближе к небесам, на высоту каблука — ср. акт II, сц. 2). Джойс неоднократно цитирует и другие пьесы Шекспира: «Троил и Крессида», «Как вам это понравится», «Перикл», «Король Лир», «Виндзорские насмешницы», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Ромео и Джульетта», «Буря», а также поэмы («Венера и Адонис», «Поругание Лукреции») и сонеты. Перечислить все цитаты невозможно и, видимо, не нужно: они тесно слиты с джойсовским текстом и «играют» лишь в контексте того или иного абзаца. В эпизоде встречаются также цитаты из Гёте, Мильтона, Малларме, Метерлинка, Блейка, Данте, Овидия, Мередита — список можно продолжать до бесконечности. Цитаты и литературные ассоциации чаще всего даны у Джойса в пародийном осмыслении. Например, прочтя телеграмму Стивена, Маллиган начинает пародировать стиль крестьянских «диалектных» пьес Синга; не менее жестоко Джойс расправляется с философами. Фома Аквинат — «толстопузый», его труд «Сумма против язычников» Стивен, по словам Маллигана, изучает в обществе «двух гонорейных леди». Аристотель у Стивена — «Стагирит, шалопай-школьник и лысый мудрец язычников» (Аристотель был родом из местечка Стагира в Македонии).

Стивен-Джойс все время «играет» историческими событиями и именами. Афинские старейшины, осудившие Сократа на смерть, отождествляются с шинфейнерами. Возлюбленную Аристотеля Герпиллис Джойс сопоставляет с фавориткой Карла II актри-

сой Нелл Гвин (1650—1687). Аристотель оставил Герпиллис один из своих домов, а Карл II, умирая, оставил наказ: «Сделайте так, чтобы бедная Нелл не голодала». Называя возлюбленную Сократа Мирто «Эпипсихидионом», Джойс намекает на одноименную поэму (1821) Шелли, в которой описывается платоническая любовь, а название которой с греческого можно перевести как «душа моей души». Обыграны имена и фамилии самого Стивена, Маллигана (Сынмаллиган, Рыкмаллиган, Пак Маллиган — по аналогии с проказником Паком из «Сна в летнюю ночь» Шекспира), Эглинтона (Игл полн тон, Чин Чон Эл Лин Тон), Листера (Квакерлистер), наконец, самого Шекспира (Ратлендбэконсаутхемптоншекспир) — в одном имени слиты три главных претендента на авторство шекспировских пьес: Роджер Мэннерс, пятый граф Ратленд; Фрэнсис Бэкон; Генри Райсли, третий граф Саутхемптон. К сожалению, один из самых эффектных приемов подобной игры на имени при переводе неизбежно теряется — «Вилл» (уменьшительное от «Вильям») по-английски означает «воля», «завещание».

....эти бесценные страницы «Вильгельма Мейстера» — ср. кн. 4, гл. XIII, кн. 5, гл. XII романа, где герой переводит «Гамлета» и готовит собственный вариант пьесы по роману к постановке.

Мсье де ла Палисс — французский маршал, проигравший после героического сопротивления битву при Павии в 1525 г. Слова солдат о смерти маршала — классический пример банальной истины.

«Горести Сатаны» (1897)—очень популярный на рубеже веков роман английской писательницы Марии Корелли (псевдоним Мэри Маккей, 1855 — 1924), которая была убеждена в собственной гениальности, считала себя «вторым Шекспиром». Ее Сатана — это романтический герой-богоборец, похожий на Сатану в поэме Блейка «Мильтон» (ок. 1804), которая была задумана как полемика с «Потерянным раем». Богоборческие настроения Блейка и Корелли близки Стивену Дедалу.

Многоголосый Сатана, рыдая, / Потоки слез лия, как ангелы их льют — ср. Мильтон, «Потерянный рай» (Кн. I, строки соотв. 196, 619 — 620).

Щербатая Кэтлин — Кэтлин — бедная старая женщина, символ прекрасной, но порабощенной Ирландии в пьесе Йейтса «Кэтлин ни Хулиен» (1902).

Четыре изумрудных луга — символическое название четырех графств Ирландии.

Чужак у нее в доме—распространенное среди ирландцев во время восстания 1798 г. название английских завоевателей.

...аве, равви — ср. Евангелие от Иоанна, 1, 38. С помощью евангельской цитаты Стивен высмеивает мессианские притязания Крэнли, уверенного, что при содействии двенадцати молодцев из Тайнахили, городка в Уиклоу, откуда он родом (ср. двенадцать апостолов), он сможет освободить Ирландию.

Гюстав Моро (1826 — 1898) — французский художник-романтик, один из любимых живописцев Рассела. Многие полотна Моро раскрывают в изысканно-символической форме библейские сюжеты.

Данлоп... Е.П.Б.— в этом абзаце упоминаются видные ирландские теософы — *Дэниэл Никкол Данлоп, Уильям Джадж* (цитата из «Юлия Цезаря» Шекспира — «римлянин был самый благородный», см. акт V, сц. 5 — применена к Джаджу иронически). После смерти Елены Петровны Блаватской (Е.П.Б.) Джадж объявил себя главой теософского общества, чем вызвал недовольство своих коллег, в частности Энн Безант, возбудившей против него судебный процесс. *Арвал* — центральный руководящий орган теософского движения. *Несказанное Имя* — иудейские законы запрещали произносить вслух имя Иеговы, также и теософы избегали называть имена своих верховных мастеров. *К. Х.*— тибетец Кут Хууми, наставник Блаватской. После смерти Джаджа американский теософ Кэтрин Тингли провела некоторые реформы и организовала *Великую белую ложу* или Великую ложу Центральной Азии. В этом же абзаце приводятся теософские теории рождения Христа и его бытования в мире. Под *О. Ч.* подразумевается «обычный человек». *Купер Оукли (1854—?)* — сподвижница Блаватской.

Супер — так в переводе обыгрывается фамилия Ричарда Ирвина Беста (1872 — 1959; best по-английски «лучший», «превосходный»), заместителя директора Национальной библиотеки (1904 — 1923), переводчика, основавшего в 1903 г. в Дублине Ирландский институт.

Лошадность — это чтойность вселошади — фраза Стивена восходит к знаменитому высказыванию оппонента Платона Антисфена «Платон, я вижу лошадь, но не вижу лошадности».

Через пространства, меньшие красных шариков человечьей крови, пролезали они следом за ягодицами Блейка в вечность... лишь тень — в этом отрывке содержатся аллюзии и на поэму Блейка «Мильтон», и на «Ад» Данте, где в конце Песни XXXIV Данте и Вергилий ползут по ягодицам Сатаны и таким образом покидают Ад. См. также Блейк, «Мильтон», Кн. I.

Держись за здесь и теперь, сквозь которые будущее погружается в прошлое — это ключевое для философии и эстетики Джойса положение восходит к труду Блаженного Августина (353 — 430) «О бессмертии души».

Мари Анри де Жюбенвиль (1827 — 1910) — французский кельтолог, автор труда «Ирландский мифологический цикл», который появился в 1903 г. в английском переводе, осуществленном Бестом.

Спеши скорей, мой скромный труд...— стихотворение Дугласа Хайда, в котором он попытался воспроизвести размер, характерный для ирландской бардической поэзии.

Мерцающий зеленый камень. Смарагд, заключенный в оправу морей — строки из стихотворения Генри Граттана Каррена (1800 — 1876) «Биение сердца моего», воспевающего Эрин.

Феаки — мирное и счастливое племя, проводящее время в пирах, танцах и пении,

с которым встречается Одиссей во время своих странствий.

Стивен Маккенна (1872 — 1954) — ирландский неоплатоник литератор.

«Рассеянный» — также название комедии Жана Франсуа Реньяра (1655 — 1709). Комическое сопоставление героя Шекспира с Леандром, «самым забывчивым человеком в мире», конечно, неслучайно и у Малларме, и — соответственно — у Джойса.

Беззаботный нищий — название популярного стихотворения Редьярда Киплинга, положенного на музыку Артуром Салливаном. Песенка имела определенную «дурную» славу: ее исполняли на благотворительных концертах в помощь английским солдатам на англо-бурской войне.

Девять жизней заплачено за одну — за жизнь его отца — в «Гамлете» — восемь смертей. Под девятой смертью Стивен, видимо, подразумевает смерть сына Шекспира Гамнета.

Гамлеты в хаки стреляют без колебаний — фраза, ставшая почти хрестоматийной. Намек на форму английских солдат во время англо-бурской войны, а также ироническое обыгрывание лозунга ирландских повстанцев («Стреляй без колебаний») во время волнений в Ирландии в 80-е гг. XIX в.

Кровавая бойня пятого акта — предвидение концлагеря, воспетого Суинберном — намек на сонет Суинберна «На смерть полковника Бенсона» (1901), где описывается смерть Бенсона в бурском лагере для военнопленных.

Он, как жирный парень в «Пиквикском клубе», хочет, чтоб наша плоть застыла от ужаса — речь идет о толстом Джо, который становится нечаянным свидетелем любовной сцены между мисс Уордль и одним из пиквикистов. Рассказывая об увиденном матери мисс Уордль, Джо и произносит: «Я хочу, чтоб ваша плоть застыла от ужаса».

Воображение места. Святой Игнатий Лойола, спеши на помощь! — в труде «Духовные упражнения» (1548) Игнатий Лойола особо выделяет умение увидеть место действия, представить себе его внутренним зрением.

Ричард Бербедж (ок. 1567 — 1619) — английский актер, принимал участие в создании театра «Глобус». Сыграл почти все главные роли в пьесах Шекспира.

Жан Мари Вилье де Лиль Адан (1838 — 1889) — французский поэт, драматург, предшественник символистов.

Стреми над ними струи вод... — строки из пьесы в стихах Рассела «Дейрдре» (1902).

Она скончалась — имеется в виду Энн Хэтуэй (1556 — 6 августа 1623).

...а благодаря своей матери... — Фанарета, мать Сократа, была повитухой.

...того не узнает уж ни один мужчина, тем паче женщина — намек на предание о слепом греческом пророке Тиресии, который в середине своей жизни по воле богов был превращен в женщину.

Архонты — старейшины Афин.

...на лысорозовой тыкве лолларда — подразумеваются религиозные воззрения Томаса Листера, который, будучи квакером и лоллардом, вызывал недоверие и подозрение у правоверных католиков.

Не будь даже время указано землетрясением... — сильное землетрясение случилось в Англии в 1580 г., когда Шекспиру было 16 лет.

Страстный пилигрим — так назывался сборник, вышедший в 1599 г. и приписываемый Шекспиру. Позднейшие разыскания показали, что Шекспиру принадлежат только четыре стихотворения.

Сероглазая богиня — такой изображена Венера в поэме Шекспира «Венера и Адонис». Гомер сероглазой называет Афину, богиню мудрости.

...нисходит, чтобы покорить — ср. с названием пьесы Оливера Голдсмита (1728 — 1774) «Она нисходит, чтобы покорить, или Ночь ошибок» (1773).

«Изида без покрова: ключ к тайнам древней и современной науки и теологии» (1876) — главное сочинение Блаватской.

Луис Х. Виктори — второстепенный ирландский литератор конца XIX в.

Т. Колфилд Ирвин (1823 — 1892) — ирландский поэт, сказочник, в конце жизни увлекся оккультизмом.

Девы Лотоса — нимфы в индуистской мифологии.

Падраик Колем (1881 — 1972) — ирландский поэт и драматург.

Джеймс С. Старки (1879 — 1958) — ирландский поэт, издатель, писал под псевдонимом Шеймас О'Салливан.

Джордж Робертс (? — 1952) — глава дублинского издательства «Монсел». В 1909 г. Робертс подписал с Джойсом контракт на издание «Дублинцев», однако, испугавшись судебного преследования по обвинению в диффамации, сжег гранки.

Эрнест Виктор Лонгворт (1874 — 1935) — ирландский издатель проанглийски настроенной газеты «Дейли экспресс».

Так в черной глубине земли/Порой блеснет античный мрамор — строки из стихотворения Колема «Бедный ученый в сороковые годы» (1907).

Сьюзен Митчелл (1866 — 1926) — ирландская поэтесса, издатель, пародистка, автор многих анекдотов.

Джордж Сигерсон (1838 — 1925) — ирландский врач, биолог, переводчик с гэльского, литератор. В эссе «Влияние Ирландии на европейскую литературу» (1904) Сигерсон утверждал, что ирландцы не создали ничего подобного «Нибелунгам», «Тристану и Изольде».

О'Нил Рассел (1828—1908) — кельтолог, лингвист.

Лис Христов — подразумевается Джордж Фокс (1624 — 1691; fox по-английски — «лиса»), основатель общества квакеров, сторонник опрощенчества, который в сознании Стивена всплывает по ассоциации с квакером Листером.

Другие нам ответят на вопрос — строка из сонета Мэтью Арнольда о Шекспире (1844)

Корабль причалил к берегу. Я жрец — примеры из учебника ирландского языка, составленного священником Юджином О'Краунн (1863 — 1899).

Малютка Джон — этим именем одного из соратников Робин Гуда Эглинтон называет Джорджа Мура.

Брунетто Латини (ок. 1210 — ок. 1294) — итальянский писатель. Центральное произ-

ведение Латини — сборник средневекового фольклора «Сокровище», в котором есть глава о василисках.

Тяга софистов к окольным тропам апокрифов — некоторые шекспироведы полагают, что значительная часть «Перикла» была написана не Шекспиром (ср. Ч. Уоллес, «Новые шекспировские открытия», 1910). С этой точки зрения «Перикл» — апокриф.

Страна юности — в кельтской мифологии край на западе Ирландии — земной рай, обитель вечного наслаждения.

Парочка, оба в сапогах, с посохами — намек на стиль одежды Рассела и Эглинтона.

Сколько миль до Дублина... — перефразированный популярный ирландский детский стишок «Сколько миль до Вавилона?»

Искусство быть дедушкой — стихотворение для детей (1877) Виктора Гюго. Здесь также обыгрывается звучание двух французских словосочетаний — l'art d'être grand («искусство быть великим») и l'art d'être grandpère.

Лорд в словесности — цитата из стихотворения Теннисона «Вергилию» (1882), а также из поэмы Уайльда «De Profundis» (1897, опубл. 1905).

Иоганн Мост (1846—1906) — немецкий издатель, по своим политическим убеждениям анархист, завоевавший симпатии ирландцев защитой террористов, совершивших убийство в Феникс-парке.

Это же тот самый, который пишет как Синг — как-то Йейтс заметил, что Синг пишет так же, как Эсхил. Постепенно эта фраза превратилась в популярную в Дублине шутку, на что и намекает Маллиган, сопоставляя Синга с Шекспиром.

Он — я имею в виду его высочество, а не его светлость — клянется святым Патриком — в акте I, сц. 5 Гамлет клянется именем святого Патрика.

«Портрет В. Х.»... мужем, в чьей власти все цвета... угадай, кто я? — в этой книге Уайльд обосновывает выдвинутую английским литературоведом Томасом Тирветтом (1730—1780) гипотезу о том, что сонеты были посвящены не Уильяму Херберту, а актеру Уилли Хьюзу. На эту мысль Уайльда натолкнула строка Сонета 20, где, возможно, обыгрывается одинаковое звучание фамилии Хьюза и слова «hues», которое означает «оттенки», «цвета». Помимо Уилли Хьюза и Уильяма Херберта, литературоведы претендентами на роль «В. Х.» называют книжного торговца, свояка Шекспира Уильяма Хэтуэя, племянника Шекспира Уильяма Харта и, наконец, самого Шекспира.

Эфеб — юноша, вступающий в пору зрелости.

Выхолощенная суть Уайльда — в анонимном сатирическом стишке «Суинберн об Уайльде», напечатанном в журнале «Панч» вскоре после суда над Уайльдом, есть такие слова: «Эстет из эстетов — что за имя его? Поэт Уайльд — но поэзия его выхолощена».

Приметы утоленного желанья — см. Блейк, «Ответ на вопрос» (из цикла «Стихотворения из манускрипта Россетти», 1793).

«Сентиментальным нужно назвать того...» — ср. с романом Мередита «Испытание Ричарда Феверела» (1859), имеющим безусловно значимый для Джойса подзаголовок «История сына и отца».

Грубое лицо, напоминающее старинных чудищ... Сент-Андре-дезар... Ойсин с Патриком — Стивен вспоминает встречу с Сингом в Париже в одном из дешевых кафе на улице Сент-Андре-дезар. В основу этой «литературной» встречи положена настоящая — между Джойсом и Сингом. Свою встречу с Сингом Джойс иронически сопоставляет со встречей св. Патрика с Ойсином в священном лесу, который здесь предстает в виде парижского предместья Кламар.

Ицка Мойше — комический тип еврея, бытовавший в различных, особенно драматических произведениях в конце XIX в.

О, жизни жизнь, твои уста воспламеняют — см. Шелли, «Прометей освобожденный» (1839).

Каллипига (греч.) — прекрасные чресла.

Фавн преследует дев, те же укрыться спешат — строка из пьесы Суинберна «Аталанта в Калидоне» (1865).

Верная Гризельда — героиня нескольких новелл Боккаччо в «Декамероне», символ терпеливой и добродетельной женщины.

Кюриос Менелай — т. е. царь Менелай.

Он прожил в Лондоне двадцать лет... — комментаторы Шекспира, в частности Ли, утверждают, что доход Шекспира во время жизни в Лондоне был весьма значительным.

Вы знаете эту историю Маннингема про то, как жена одного обывателя... — эта история встречается у Харриса, Ли, Уайльда, Брандеса. Джон Маннингем — судья, в его дневнике есть запись, которую, несколько изменив, и воспроизводит Стивен.

...стучится в дверь... — в «Макбете» стук в дверь — своеобразная комическая «прелюдия» к раскрытию преступления — убийства Дункана.

Леди Пенелопа Рич — некоторые шекспироведы XIX в. полагали, что именно она была «смуглой леди» шекспировских сонетов.

И мамаша сэра Вильяма Дэвенанта из Оксфорда... — намек на рассказанную Джоном Обри апокрифическую историю о связи Шекспира с женой владельца гостиницы Джона Дэвенанта, плодом которой стал поэт и драматург Уильям Дэвенант (1606 — 1668), сам никогда не опровергавший эту легенду.

О, блаженная Маргарита Мария Ксамцускок! — комическое обыгрывание имени французской монахини Маргариты Марии Алакок (1647 — 1690), у которой были частые видения.

...седеющий шатен... — по версии Харриса и Ли бюст Шекспира в стратфордской церкви был раскрашен. Волосы были выкрашены в коричневый цвет.

Джон Джерард (1545 — 1612) — смотритель садов королевы Елизаветы, известный ботаник.

...Мэри — своего благоверного Джона... — в этом отрывке перечисляются родственники Шекспира: его мать Мэри, отец Джон, сестра Джоан Харт, братья — Эдмунд, Ричард, Гилберт; Джудит — младшая дочь Шекспира, Джон Холл — ее муж, Элизабет — старшая дочь и ее мужья — Томас Нэш и Джон Бернард.

Так вы о завещанье — по одной из версий, разделяемой, в частности, Ли, Шекспир пытался лишить Энн Хэтуэй наследства.

Отлучение от стола и ложа — юридическое определение, бытовавшее в Англии до 1857 г., т. е. до времени официального введения разводов.

Он умер, упившись в стельку — Брандес, Харрис и Ли единодушны в том, что Шекспир умер после попойки с Беном Джонсоном.

Уильям Шекспир и Ко — название типографии при книжной лавке — знаменитом парижском литературном салоне, открытом в 1919 г. американкой Сильвией Бич (1887 — 1962) на улице Одеон, 12. В этой типографии в 1922 г. ограниченным тиражом был впервые напечатан «Улисс».

Эдвард Доуден (1843 — 1913) — видный ирландский критик, профессор английской литературы в колледже «Тринити»; считал неправомочными какие-либо намеки на педерастию в сонетах Шекспира.

Неужели они будут оспаривать у нас, у меня пальму первенства в красоте? — т. е. будут ли Фрейд и его последователи вести себя, как Антисфен, отнявший, по преданию, пальму первенства у прекрасной Елены и отдавший ее верной и добродетельной Пенелопе. Иными словами, кто будет предпочтен — моралист или же художник.

Он подал в суд на одного из своих собратьев-актеров... — некоторые комментаторы полагают, что Шекспир подал в суд на актера Филипа Роджера.

А как бы еще конюх (по Обри)... — иронический намек на теорию Обри о том, что отец Шекспира был мясником.

...шотландского философуса, любившего поджаривать ведьм — подразумевается Яков I, который до того, как стал королем Англии и Шотландии, очень увлекался демонологией, создал даже трактат на эту тему. Однако, став правителем, организовывал процессы против ведьм.

Мафекинг — город в Южной Африке, выдержавший длительную осаду во время англо-бурской войны. Буры осаждали Мафекинг 217 дней, но вынуждены были отступить. Гибель Армады и взрыв национальных чувств после этой победы Джойс сопоставляет с чувствами британцев после снятия осады с Мафекинга.

Судят ли иезуитов... — речь идет о пороховом заговоре, устроенном, католиками 5 ноября 1605 г. с целью убийства Якова I, который должен был прибыть на заседание парламента; под здание парламента были подложены бочки с порохом. В заговоре участвовал и глава английских иезуитов Генри Гарнет.

Пэтси... наш американский кузен — Пэтси — традиционная в XIX в. карикатурная фигура ирландского эмигранта.

Теперь не иначе пропали мы! Как пить дать пропали! — цитата из одноактной пьесы Синга «Скачущие к морю» (1904).

...старый Никтоотец — бог гнева, адского огня, ревнивый к радости собственного творения; название взято у Блейка (см. «К Никтоотцу» из «Манускрипта Россетти»).

И пусть никакой окрестный сэр смайл не пожелает вола его, или жены его, или раба, или рабыни его, или осла его — ср. Второзаконие, 5, 21.

Воли к действию уж нет / И в помине много лет — строки из стихотворения Рассела «Песня на дороге».

...худшие враги человека — его домашние и семья — ср. Евангелие от Матфея, 10, 35 — 36.

Входит Маги Старший Мэтью... — Мэтью — персонаж многих ранних произведений Вордсворта, чудак, приверженец моральной философии.

Он написал знаменитую пьесу вскоре после смерти отца—Брандес полагает, что «Гамлет» был написан в 1601 г.

Земную жизнь пройдя до половины — начальные слова песни I «Ада» Данте.

...он и есть безусый студиозус из Виттенберга — т. е. Гамлет.

...королевы с быками-рекордистами — Минос, король Крита, оскорбил Посейдона, и тот, мстя ему, заставил жену Миноса влюбиться в белого быка. От этого союза родился Минотавр — полубык-получеловек.

Мсье-ле-Пренс — улица в Париже, где в конце XIX в. помещались публичные дома.

Бульдог Аквинский — прозвище св. Фомы основано на игре слов: «Dominican» — «доминиканец»; «Domini canis» *(лат.)* — «собака Бога»; намекает на стойкость и упрямство св. Фомы в спорах и дискуссиях.

Что до его семьи... то род его матери живет еще и поныне в Арденском лесу. Ее смертью навеяна у него сцена... — мать Шекспира — урожденная Мэри Арден. Арденский лес — одновременно реально существующий лес в Англии и идиллическое место действия в комедии Шекспира «Как вам это понравится». Мэри Арден, возможно, послужила прообразом Волумнии в «Кориолане».

Кто была Клеопатра... и кто Крессида, и кто Венера... — три героини-соблазнительницы Клеопатра, Крессида («Троил и Крессида») и Венера («Венера и Адонис») «списаны», по мнению некоторых шекспироведов, с Энн Хэтуэй. *Котел с мясом в земле Египетской* — ср. Исход, 16, 3.

Джон О'Гонт — персонаж трагедии Шекспира «Ричард II».

Honorificabilitudinitatibus — это самое длинное латинское слово, шутку схоластов,

Сильвия Бич (ок. 1922 г.).

Шекспир употребляет в комической сцене в «Бесплодных усилиях любви» (акт V, сц. 1).

Звезда, сияющая и днем... поднялась в небесах при его рождении — датский астроном Тихо Браге (1546 — 1601) открыл в созвездии Кассиопеи звезду, которая появилась на небосклоне 11 июля 1572 г., когда Шекспиру было восемь с половиной лет.

Боус Стефаноуменос (школ. греч.) — так приятели по колледжу обращались к Стивену в «Портрете художника в юности» (ср. гл. V).

Ньюхейвен — Дьеп — подразумевается путь Стивена из Дублина в Париж.

Зуек. Икар — по Овидию, Икара при падении подхватила Афина и обратила в птицу-зуйка, однако зуек уже не мог высоко летать. Зуек упоминается и в Библии (см. Левит, 11, 19, Второзаконие, 14, 18) и сравнивается с летучей мышью. В кельтской мифологии зуек — птица, хранящая тайну.

Pater ait — крик падающего в море Икара вызывает в сознании Стивена ассоциацию с евангельским текстом («Иисус, возгласив громким голосом сказал: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» — Евангелие от Луки, 23, 46).

Отец Патрик Дайнин (1860 — ?) — ирландский писатель, филолог, издатель, переводчик; писал по-ирландски.

А где твой брат? У аптекаря — брат Дж. Джойса Станислав Джойс служил клерком у аптекаря на Меррион-стрит.

...голоса Исава Полцарства за глоток — слова из шекспировского «Ричарда III» «Полцарства за коня» объединяются в сознании Стивена с рассказом об Исаве, старшем сыне библейского Исаака, продавшем свое первородство за чечевичную похлебку (ср. Книга Бытия, 25, 27—34).

...чем нищие не были: тем, что всегда с собой — ср., например, Евангелие от Матфея, 26, 11: «Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете».

Таковы точные слова господ епископов Мэйнутских — клерикальный центр Ирландии находится в городе Мэйнуте. Стивен цитирует слова из катехизиса.

Лиззи — имеется в виду старшая дочь Шекспира Элизабет.

Ричи — это имя отсылает и к брату Шекспира, умершему в 1613 году, и к дядюшке Стивена.

Тот драматург, что написал фолио мира сего... — здесь продолжается сравнение Шекспира с Богом-творцом.

...в устроительстве небесном... есть сам в себе... — соединение двух цитат (см. «Гамлет», акт III, сц. 1, и Евангелие от Матфея, 22, 30).

...еженощно смакуют «Укрощение строптивой»... — имеется в виду «Новое шекспировское общество», созданное в 1874 г. критиком Фредериком Фэрнивалом и сразу же ушедшее в изучение мельчайших деталей в пьесах Шекспира.

...верую, Господи! помоги моему неверию — см. Евангелие от Марка, 9, 24.

Egomen — «игра в слова» — ср. egomen («само я») с названием журнала «Эгоист» (Egoist), где в феврале 1914 г. началась публикация романа Джойса «Портрет художника в юности», которая помогла писателю стать «egomen», т. е. поверить в собственные силы.

Нелли-свеженькая и Розали, шлюха с угольной пристани — героини малопристойных стихотворений Гогарти.

Вечернее развлечение ирландцев — пародийное обыгрывание названия сборника Патрика Маккола (1861 — 1919) «Вечернее развлечение фениев» (1897), представляющего собой сборник оссиановских легенд в духе «Тысячи и одной ночи», написанных на крестьянском диалекте.

...тихоструйный Минций — река, упоминаемая Вергилием в «Элегиях» и Мильтоном в «Ликиде».

...зал слесарей — обиходное название Института механики на Нижней Абби-стрит, в помещении которого после ремонта летом 1902 г. открылся Театр Аббатства.

Мне так и чуялся пот... — намек на оппозицию католической церкви деятельности Ирландского Возрождения, в частности, Театра Аббатства.

...федоновы шелковистые кудри приятно гладить — в «Федоне» Платона Сократ гладит шелковистые кудри юноши.

Лонгворт, Маккерди Аткинсон — люди из окружения Джорджа Мура, близкие к Ирландскому Возрождению и Театру Аббатства.

Прекраснейшая из книг, что появились у нас в стране на моем веку. Невольно вспоминаешь Гомера — слова из предисловия Йейтса к книге Синга «Кухулин» (1902), где Йейтс сравнивает это произведение, правда, не с эпосом Гомера, а с «Мабиногионом».

Здесь я следил за птицами, гадая по их полету — в гл. V «Портрета художника в юности» Стивен следит за полетом птиц, пытаясь по нему как это делали древние, предугадать свою судьбу.

Этой ночью и я летал — Стивен вспоминает свой сон минувшей ночью. Во сне он был Икаром.

Страшусь тебя о старый мореход — ср. Колридж, «Сказание о Старом Мореходе» (1798).

Оксенфордские нравы — подразумевается гомосексуализм.

Тачка солнца над дугой моста — намек на английского критика и социального реформатора Джона Рескина (1819 — 1900), который вместе с учениками потратил немало сил на строительство дорог в Англии, надеясь таким образом улучшить облик страны.

Мир цимбелиновых друидов — имеется в виду финальная сцена в «Цимбелине» Шекспира, где пророчитель читает пророчество.

Хвала богам... — последние строки «Цимбелина».

X. Бродячие скалы

Название эпизода отсылает к «бродячим» утесам, мимо которых пролегает путь Одиссея. Композиция этого эпизода уникальна. Он состоит из девятнадцати коротеньких сценок, в которых практически все действующие лица романа одновременно идут по Дублину между гремя и четырьмя часами дня.

«Бродячими скалами» в эпизоде становятся блуждающие по городу дублинцы, которые то приближаются друг к другу, то отдаляются. Одновременность происходящего подчеркнута вкрапленными в каждую сценку фрагментами или фразами из других сценок. Все странствия и пути персонажей объединяет движущийся по городу кортеж вице-короля Ирландии, за которым наблюдают все персонажи. Структуру и технику эпизода можно назвать «лабиринтом». В известной степени композиция, стилистика «Бродячих скал» — модель всего «Улисса» и даже более того — многих романов в зарубежной литературе XX в. (ср., например, с романом В. Вулф «Миссис Дэллоуэй», «ИЛ», 1984, № 4).

«Искусство» эпизода — механика (в тексте немало ссылок на всевозможные механические изобретения и всякие механические «штуки»). Орган, который символически представляет текст,— кровеносная система человека: Дублин — тело человека, а его многочисленные улицы — артерии, по которым течет «кровь жизни».

Любопытна игра, которую Джойс ведет здесь с читателем. Он как бы сбивает с толку читающего, предлагая ему распознать того или другого, иногда уже даже встречавшегося героя под другим, иногда «ошибочным» именем. Иными словами, и в этом, совсем «неинтеллектуальном» (особенно по сравнению со «Сциллой и Харибдой»), эпизоде по-прежнему важной остается сама идея имени, лица, личности. С идеей обмана тесно связана и идея иллюзий, разрабатываемая в эпизоде. Речь идет о самых разных иллюзиях — оптических, исторических, биографических, литературных.

Графтон-стрит днем.

Это следует к брату Свону — преподобный Уильям Свон — глава приюта для бедных детей.

Кардинал Томас Волси (1475 — 1530?) — один из ближайших советников короля Генриха VIII; решительное противодействие Волси первому бракоразводному процессу короля привело его на скамью подсудимых по обвинению в государственной измене.

Бельведер — иезуитская школа в Дублине.

Бернард Вохен (1847 — 1922) — английский иезуит, шотландец по происхождению, блистательный проповедник.

О, берегитесь, чтоб не забыть — ср. Киплинг, «Последнее песнопение» (1898).

Отец провинциал — одно из главных лиц в иезуитском ордене.

Проходя мимо особняка Олдборо, отец Конми подумал про этого промотавшегося аристократа — лорд Олдборо (? — 1801) потратил на строительство своего особняка 400 000 фунтов, однако его жена, которой не понравилось местоположение дома, не пожелала жить в нем.

Веселый звон колоколов над Малахайд плывет — начальная строка стихотворения «Свадебный пир в Малахайд» ирландского поэта Джеральда Гриффина (1803 — 1840).

За Англию, дом и красу — песня Джона Брейема «Смерть Нельсона» на слова С. Арнольда.

...он рассеянно взирал на шишковатый череп Голдсмита — статуя Оливера Голдсмита работы ирландского скульптора Джона Фоули (1818 — 1874) стоит за оградой колледжа «Тринити».

Под суровой каменной дланью Граттана — речь идет о другой работе Дж. Фоули, статуе Генри Граттана перед зданием Ирландского банка, в котором первоначально помещался ирландский парламент, где не раз блистательно выступал Граттан.

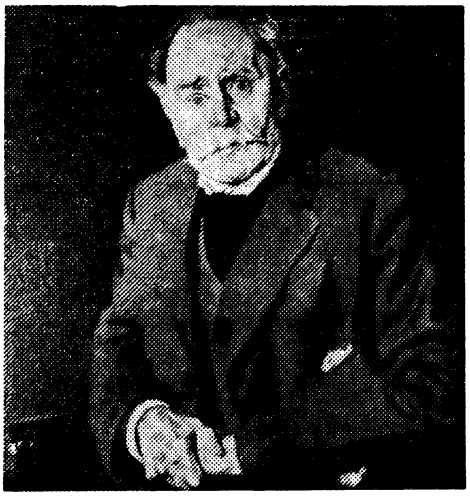
Любит он эту Мэрион или нет? — речь идет о Мэриен, одной из героинь романа Уилки Коллинза «Женщина в белом». Безусловно, обращает на себя внимание «ошибка» Джойса — ср. Мэрион Блум.

Мэри Сесил Хэй (1840? — 1886) — популярная сентиментальная романистка XIX в.

...и постаментом, где не было статуи Вулфа Тона — Теобальд Вулф Тон (1763—1798) — ирландский революционер, один из основателей общества «Объединенные ирландцы» (1791). Во время восстания 1798 г. Тон был захвачен властями и покончил самоубийством в тюрьме перед казнью. В 1898 г. было заложено основание для памятника Тону на Стивенс-Грин, но статуя так и не была установлена.

Фицджеральды... эти Джералдайны — древняя англо-ирландская семья, корни которой уходят в XII в.

Взгляни, уж первый луч зари...— строчка из оперы Балфа «Осада Ла Рошели» (1835) на либретто Эдварда Фицболла.



Джон Джойс, отец писателя (с портрета П. Тьюохи).

«Потрясающие разоблачения Марии Монк» (1836) — книга канадки Марии Монк (1817? — 1850). Покинув монастырь в Монреале, М. Монк написала о его ужасных нравах и обычаях. Книга имела огромный успех

«Шедевр» Аристотеля — «порнографическая» книга, приписываемая Аристотелю; получила широкое распространение в Англии XVII — XVIII вв.

Леопольд фон Захер-Мазох (1836—1895)— австрийский романист, автор сборника «Еврейские рассказы» о преследовании евреев и зверствах, которым они подвергались.

Где-то тут лорд Эдвард Фицджеральд ускользнул от майора Серра. Конюшни за особняком Мойры — Эдвард Фицджеральд (1763—1798) — глава военного совета во время восстания «Объединенных ирландцев»; в марте 1798 г. был объявлен вне закона и скрывался в Дублине. Генри Чарльз Серр (1764—1841)—мэр Дублина; в 1798 г. устроил засаду Фицджеральду на Уотлинг-стрит (улице, по которой идет Кернан). Фицджеральд ускользнул от Серра, но позже был пойман, ранен и умер в тюрьме. Его жена Памела пряталась в доме, принадлежащем другу Фицджеральда, графу Мойре (1745—1823). Конюшни — место, где тайком встречались супруги.

Джон Келлз Инграм (1823 — 1907) — ирландский поэт. Здесь подразумевается его стихотворение «Памяти мертвых» (1843), посвященное погибшим в восстании 1798 г.

Все это рождено во мгле червивой земли, холодные искорки, огоньки зла, светящие во тьме. Где падшие архангелы срывали звезды... — ср. со строками в поэме «Потерянный рай» Мильтона. Книга I, 670—692, а также с Евангелием от Иоанна, 1,5 и с «Откровением Иоанна Богослова», 12, 4.

Питер Саланка — настоятель монастыря траппистов в Испании.

... в Бодеге — т. е. у торговцев спиртным.

Как много у еврея доброты — слова Антонио о Шейлоке (Шекспир, «Венецианский купец», акт I, сц. 3).

И смерти белизна и алое рожденье, едино суть — ср. Суинберн, «Бытие» (1870), из цикла «Песни перед рассветом» (1871).

Джулиус Покорный — кельтолог, автор «Истории Ирландии» (1916).

На углу дома Уайльда — отец Уайльда, видный дублинский врач, и его мать жили на Меррион-стрит.

У Кровавого моста — т. е. у Казарменного моста. «Кровавым» он стал называться после драматических событий 1670 г., когда заговорщики попытались уничтожить его.

Е. М. Соломонс — владелец крупного магазина по продаже оптических товаров и всевозможных измерительных инструментов.

Е. ГЕНИЕВА

■

От редакции

У каждого писателя — своя издательская судьба. У Джойса она более чем своеобразна: ни одна публикация ни в одной стране не обходилась без сложностей, нелепостей, неприятностей, а иногда и драм — вплоть до судебного процесса. Всегда что-то делалось не так, как хотел того сначала Джойс, а после 1941 г.— его издатели.

Есть небольшая «накладка» и в нашей публикации. Конечно, уже в № 1 надо было сообщить читателям о том, что после пятидесятилетнего перерыва «Улисс» вновь появился на страницах советского журнала: «Литературная учеба» в № 1 за 1988 г. напечатала эпизоды «Нестор», «Калипсо» и фрагменты из «Быков Гелиоса», а в № 6 — отрывки из «Цирцеи». Мы приносим извинения нашим коллегам из «Литературной учебы» и с опозданием поздравляем их с публикацией, которая, несомненно, войдет в историю русской джойсианы.

Публицистика

АРТУР ЛОНДОН

ПРИЗНАНИЕ*

Перевод с французского К. НАУМОВА и М. ЗЛОБИНОЙ

Моим товарищам по несчастью, безвинно казненным или погибшим в тюрьме

Всем жертвам процессов

Всем товарищам по борьбе, известным и безвестным, отдавшим жизнь за лучшее будущее

Всем тем, кто продолжает бороться, чтобы вернуть социализму человеческое лицо

Часть первая

КОЛОДЕЕ

Не могу больше. Я решил во что бы то ни стало пойти в это воскресенье к Осику и еще раз попросить о помощи. Осик — Освальд Заводский — начальник службы госбезопасности, мой товарищ по испанской войне и Сопротивлению во Франции. Мы были вместе в Маутхаузене. Но в последние месяцы я не мог не заметить, что он избегает меня. Похоже, и он не устоял перед психозом подозрительности, охватившим партию и страну. Годы совместной борьбы должны бы, кажется, служить мне порукой. Неужели он стал трусом?

После ареста Павлика и Фейгла, а в особенности с тех пор, как исчез Ноэл Филд и его имя было названо на процессе Райка, чувствую, что меня обложили как зверя. Меня допрашивали. Долго. Я думал, с этим покончено. Но слежка возобновилась, и такая откровенная, что ее заметил кое-кто из окружающих. В том числе мой шофер. Позже я узнаю, что госбезопасность поручила ему подробно докладывать о всех моих передвижениях. В Министерстве иностранных дел мое положение становится невыносимым...

Осик живет напротив Министерства внутренних дел, в большом доме на Летне, заселенном в основном партийными работниками. Я захожу сперва к Оскарv Валешу, который тоже работает в госбезопасности. Мы с ним подружились еще в Испании и по-прежнему очень близки. У него широкий взгляд на вещи, новая работа не испортила его. Я знаю, что могу ему довериться, могу поговорить по душам. И я не ошибся. Узнав, в чем дело, Валеш сам предлагает пойти со мной к Заводскому, чтобы мы могли объясниться.

Заводский не один. У него Тонда Свобода и Отто Громадко, пришедший со своими дочурками. Оба говорят, что, гуляя, случайно забрели в этот район. Вот и решили заглянуть, оказавшись поблизости. Но скорее их привело смутное чувство тревоги, даже растерянности; потребность хоть что-то узнать у Осика...

Заводский сходил за Павелом, который живет этажом выше. Теперь нас шестеро — шестеро бывших бойцов Интербригад. Но где наш былой пыл, радость встречи, радость воспоминаний — о Теруэле, Мадриде, Каса дель Кампо, Альбасете?..

Мы говорим лишь о том, что происходит в стране, то есть об арестах. Об аресте Шлинга, ветерана испанской войны, члена ЦК партии и секретаря обкома Брно. Об арестах других наших знакомых. Павел считает — это еще пустяки по сравнению с тем, что нам грозит. Мы еще дождемся своего процесса Райка.

Вот уже несколько недель как Павел больше не замминистра внутренних дел. Его сначала назначили командующим пограничными войсками, затем направили слушателем в Центральную партшколу. И Свобода уже не возглавляет Отдел вооруженных сил ЦК. Его послали на «повышение квалификации» в Военную академию. Отто также переведен из Политуправления армии в Военную академию. Только Валеш и Заводский занимают свои прежние должности. Что до меня, то я хотел бы уйти из МИДа. Павел уверяет, что доволен своим новым назначением. И добав-

* Журнальный вариант

ляет: «Это была прекрасная мысль — составить докладную о добровольцах Интербригад и передать ее руководству партии. Таким образом нам, возможно, удастся избежать многих недоразумений и защитить испанских ветеранов от нынешней чистки».

Осик спрашивает, что у меня нового. Узнав, что возобновилась слежка, прекратившаяся было в результате его вмешательства, он потрясен. Он нервно ходит по комнате: «Ты уверен, что не ошибся? Почему ты думаешь, что это машины госбезопасности?»

Я подхожу к окну. Внизу вижу машину, ехавшую за мной. Показываю ее Осику и даю ему листок, на котором записал номера машин, преследовавших меня по пятам в последние дни. Он долго смотрит на список и не говорит ни слова...

В курсе дела один Оскар Валеш, и я объясняю ситуацию остальным. Они не склонны принимать ее слишком всерьез. Тонда Свобода острит насчет неискоренимых привычек «легавых», Громадко бросает Осику: «Сапожник всегда без сапог».

Только Павел не отзывается. Примолк. Чувствуется, что он в напряжении. После долгой паузы обращается к Осику: «Если, несмотря на твое вмешательство, все продолжается, дело плохо. Ты должен непременно выяснить, откуда исходит приказ. Если от того, о ком я думаю,— берегись, это может быть очень опасно!»

Я слушаю его с удивлением, не понимая, кого он имеет в виду

Осик все больше нервничает. Разговор не клеится. Первым уходит Павел, за ним остальные. Ухожу и я. Веду машину медленно и замечаю в зеркальце автомобиль госбезопасности. Я злюсь и в то же время чувствую себя оскорбленным.

К концу дня я еду в министерство за газетами. Слежка продолжается. Тогда я решаю опять поехать к Осику

На этот раз он один и явно не в восторге от моего появления. Прежде чем я успеваю сказать ему, зачем приехал, он спрашивает, следили ли за мной по пути. Когда я отвечаю, что следили, бледнеет. Погасив свет, он подходит к окну и разглядывает стоящую на улице машину, на которую я указываю.

Я наконец взрываюсь: «К черту! Надоело! Чего от меня хотят? Разве я не ответил на все вопросы по поводу Филда? Вам ничего не стоит проверить мои слова. И не надо считать меня дураком. Я знаю, что Филд сидит в Венгрии. Если вы мне не верите, устройте нам очную ставку!»

Я еще не подозреваю, что госбезопасность умеет заставить признаться кого угодно в чем угодно.

Разбушевавшись, я упрекаю Осика: «Ты бросаешь товарищей. Неужели ты не понимаешь, что если взялись за меня, за Деву Клейн, то подбираются и к тебе!» Я рассказываю ему о разговоре, который у меня недавно был с «его» министром Ладиславом Копрживой. До мая 1950 года тот заведовал Отделом кадров ЦК. Потом его назначили министром госбезопасности. Министерство это было только что создано из нескольких ведомств (одно из них возглавлял Заводский), которые ранее входили в МВД. Копржива вызвал меня исключительно для того, чтобы задать несколько вопросов о Заводском, взял с меня слово что я сохраню этот разговор в тайне. Но сейчас между нами не может быть тайн. «Некто обвиняет тебя в том, что во время войны ты совершил предательство. И даже утверждает, что на твоей совести смерть товарищей...»

Осик отвечает: слухи об этом до него дошли. но он и мысли не допускал, что подобные обвинения кто-нибудь примет всерьез. «Что ты сказал Копрживе?»

«Что твое поведение всегда считалось безупречным, и Французская компартия может это подтвердить».

Все больше нервничая, он ходит взад и вперед по темной комнате. Нас освещает только отблеск уличного фонаря. Говорит он сбивчиво, и я не могу уследить за ходом его мысли. Он боится и уже не скрывает этого. В конце концов все же обещает разобраться в моем деле и держать меня в курсе происходящего.

Я ухожу.

Отъезжаю, как мы договорились, очень медленно. Черная машина тотчас же трогается за мной. Мне страшно. Что за таинственная сила преследует меня? Чем объяснить, что машины госбезопасности следуют за мной днем и ночью, вопреки приказам одного из ее руководителей?

Хочу поскорее вернуться домой, оказаться среди своих, отвлечься от мрачных мыслей. Щебетание Мишеля, чей первый день рождения мы только что отпраздновали, игры Жерара и Франсуазы, разговоры с женой и ее родителями обычно успокаивают меня. Но сегодня ничто не помогает. Я предчувствую — для меня все кончится скверно. Что станет тогда с ними, без знания языка в чужой стране?

В понедельник утром, когда еду в министерство, за мной опять увязывается машина. Решаю снова переговорить с моим шефом Широким, который сменил снятого в 1950 году Клементиса на посту министра иностранных дел. Расскажу ему обо всем, что происходит, подам, на сей раз окончательно, заявление об отставке. Он хорошо знает меня. В Париже в 1939—1940 годах мы с ним работали в тесном содружестве, встречались почти ежедневно. Он знает, что я добросовестно и успешно выполнял все поручения представительства Компартии Чехословакии во Франции, членом которого он был. Знает мою семью, которая всегда принимала его очень радушно. Он в курсе моих неприятностей, начавшихся год назад. Я сообщил ему обо всем, правда, он повел себя по отношению ко мне совсем не так, как я рассчитывал, и это одна из причин моей мучительной тоски.

Потом я прикидываю, что уже две недели не видел Широкого. Он больше не собирает своих заместителей, как раньше, а вызывает моих коллег поодиночке для решения текущих дел. Мне же дал знать через секретаршу, что очень занят и просит передавать доклады через нее. Это затормозило мою работу, и я просил секретаршу сообщить министру, что очень удивлен новым порядком. Никакого результата. Тогда я попросил — опять же через секретаршу,— чтобы он срочно принял меня по личному вопросу. В субботу, когда я уже решил, что разговор не состоится, она сообщила — Широкий примет меня в понедельник утром.

Я не приду на прием. И Широкому, должно быть, это известно заранее...

И вот настало роковое воскресенье 28 января 1951 года. К нам в этот день пришел Тонда Гавел (с ним меня познакомил Отто Громадко). Бывший батрак, он вступил в партию в 1933 году. Сейчас он руководит госхозом. Человек с большим практическим опытом, заменяющим ему диплом, Гавел постоянно воюет с районными и областными руководителями, которые механически выполняют полученные сверху распоряжения, пусть даже те не годятся для местных условий. Он считает, что на ответственных постах много бездарей, которые ничего не понимают в деле.

После обеда я должен отвезти Гавела Отто. Я иду в сад, где жена играет с нашими мальчиками. Франсуазы нет, она приглашена на день рождения к школьной подруге. На Лиз сегодня широкая синяя накидка. У нее на руках наш маленький Мишель, Жерар бегает вокруг них.

Мне грустно покидать их, и я прошу Лиз, чтобы она вместе с ребятами поехала со мной прокатиться по городу. Чувствую, ей тоже хочется побыть со мной, но увлеченный игрой Жерар говорит: «Ты же обещала, что сегодня будешь играть со мной! Я не хочу кататься». Лиз улыбается мне: «Уговор дороже денег. Поезжай и возвращайся поскорее».

Поцеловав Лиз, я сажусь в машину. Мне никогда не забыть эти минуты, когда я в последний раз перед долгой разлукой видел жену и обоих моих мальчиков.

Я настолько привык к слежке, что машинально гляжу в зеркальце и с радостью убеждаюсь, что сегодня за мной не следят.

Проезжая перед Градом, в который раз восхищаюсь простирающимся внизу городом. Сквозь дымку тумана проступают красноватые, бронзовые и темно-золотые пятна крыш. На улицах полно прохожих, одетых по-зимнему. Вдруг я вижу в зеркальце, что за нами увязалась «татра» — одна из тех самых машин. Мрачное предчувствие охватывает меня. Прошу Гавела запомнить номер машины. Нарочно петляю и прошу его проверить, следует ли она за нами.

«Да, а в чем дело?»

«Мы переживаем трудные для коммунистов времена, происходят серьезные вещи, которые в интересах партии необходимо выяснить. Но все уладится».

Мне кажется, он не понял смысла моих слов.

Проезжая мимо группы гуляющих, узнаю Дору Клейн — она катит перед собой коляску с сынишкой. Я встречал ее в Испании, там она была врачом в Интербригадах, затем — во Франции, где во время войны она работала в чешской группе ОРИ[1]. Дору арестовали в Париже, она попала в Освенцим, откуда вернулась к себе на родину в Польшу. Но после погрома в Кельце решила переехать в Прагу, где когда-то училась на медицинском факультете. Здесь и познакомилась с Жизель — женой писателя Эгона Эрвина Киша, которую я вижу сейчас рядом с нею.

Заметив меня, обе улыбаются, я машу им рукой. Я знаю, и у них в последнее время были неприятности. Они тоже знали Филда, но вроде бы все уладилось. А я, кажется, на всех парах несусь к катастрофе!

У Гавела не укладывается в голове, как это за мной, старым партийцем, испанским добровольцем, участником Сопротивления, могут устраивать подобную слежку. Он возмущается. Я ему объясняю, каким образом оказался замешан в темное дело, исход которого остается для меня неясным, хотя я ни в чем не виноват. У дома Громадко Гавел прощается. В голове мелькает — не пойти ли с ним к Отто? Я так нуждаюсь в дружеской поддержке. Но я отказываюсь от этой мысли. Не хочу его компрометировать.

Машина госбезопасности остановилась позади моей; в другом конце переулка остановилась вторая, точно такая же — в ней сидят трое. Я трогаюсь, еду, сам не зная куда.

Обе машины следуют за мной. Сначала заеду домой, предупредить Лиз. Потом — к Осику.

Проехав метров триста, я сворачиваю в переулок, идущий вдоль Тосканского дворца. В этот момент одна из машин обгоняет меня и, резко затормозив, преграждает дорогу. Из машин выскакивают шестеро вооруженных людей, вытаскивают меня из кабины, надевают наручники, бросают в первую машину, которая тут же трогается и мчится на бешеной скорости. Я сопротивляюсь. Протестую. Требую, чтобы эти люди назвали себя. Мне завязывают глаза. «Заткнись! Никаких вопросов! Скоро узнаешь, кто мы».

Это не арест, это похищение. Как в гангстерских фильмах или романах «черной серии». Подобные сцены мне всегда казались надуманными. И вот среди бела дня в центре Праги я сам оказался жертвой такого налета. Проносится мысль — это диверсанты. В последнее время поговаривали о том, что западные разведки заслали к нам вооруженные группы и у них даже были стычки с работниками госбезопасности...

Беру себя в руки. Снова протестую. Требую у этих типов, чтобы они сняли с меня повязку и показали свои удостоверения. «Заткнись! Требовать вздумал! Тебе каюк!»

Шум города постепенно стихает. Под шинами шуршит гравий. Взвизгнули тормоза. Меня вытаскивают из машины и куда-то волокут. Я по-прежнему ничего не вижу. Мы поднимаемся и спускаемся по лестницам, идем по каким-то коридорам. Наконец, после многих поворотов, с меня срывают повязку и снимают наручники. Я в маленькой, совершенно пустой комнате без окон. Свет падает от крохотной лампочки, висящей в углу над столом. Вся остальная часть комнаты погружена во мрак.

Меня заставляют раздеться, облачиться в подобие рабочей спецовки без пуговиц, надеть на ноги стоптанные шлепанцы. Я требую, чтобы меня немедленно выслушал представитель партии. В ответ — поток оскорблений и угроз. Имеющиеся при мне ценные вещи отнимают и заставляют расписаться в том, что я их сдал на хранение. Когда я кладу на стол валютные сертификаты, примерно на 1200 крон, один из моих похитителей хватает их и направляется к двери. Другой бросается за ним: «Эй, ты куда, положи

[1] ОРИ — Организация рабочих-иммигрантов. Создана вскоре после окончания первой мировой войны по инициативе ФКП и профсоюзов. Ставила своей целью защиту интересов рабочих-иммигрантов и привлечение их к революционной борьбе совместно с трудящимися Франции *(прим. автора)*.

на место!» Позже я смогу убедиться, что все эти вещи у меня украдены.

Мне вновь завязывают глаза полотенцем, и так туго, что перехватывает дыхание. Снова иду по коридорам, поднимаюсь и спускаюсь по лестницам, натыкаюсь на стены. Наконец с меня грубо срывают повязку. Я в камере, в углу лежат два свернутых одеяла и тюфяк.

Прежде чем закрылась дверь, раздается приказ: «Сидеть запрещено. Ходите!»

Оставшись в камере один, я впадаю в отчаяние и в то же время, как это ни странно, испытываю некоторое облегчение. После более чем года подозрений и мучительной слежки, совершенно издергавшей меня, я наконец узнаю, в чем меня обвиняют. Я смогу защищаться. Все выяснится — партия в этом заинтересована. Я цепляюсь за эту надежду хотя мой арест уж никак не вписывается в нормы коммунистической этики. На мгновение я останавливаюсь. Я так устал! Дверь с грохотом распахивается. Двое надзирателей хватают меня, трясут, бьют головой о стену, «чтобы вправить мозги». И добавляют, что так будет всякий раз, когда я остановлюсь. Надзиратели в форме, на фуражках у них пятиконечные звезды. Сомнений быть не может: я в руках госбезопасности.

Наступила ночь, за матовым стеклом — ни проблеска.

Я не сомневаюсь, что мне вскоре удастся увидеть кого-нибудь из руководителей партии. Быть может, Широкого? Он знает мою работу в прошлом и в настоящем. Или Копржива? Встреча с ним позволила бы выяснить наконец эту историю с Филдом, в которой, как он знает, я оказался замешан совершенно случайно. Я убеждаю себя, что мой арест наделал шума — как-никак заместитель министра иностранных дел — и что товарищи, знающие мое прошлое, вступятся за меня.

Думаю о своих близких. Стараюсь представить себе, что они сейчас делают. Сначала они, вероятно, подумали, что я заболтался с приятелями. Потом начали беспокоиться. Лиз принялась звонить повсюду, чтобы узнать, не попал ли я в аварию.

Сейчас Лиз, наверное, уже сообщили, что со мной случилось. Что ей сказали?..

За дверью слышится глухой стук. Время раздачи похлебки. Сколько тюрем осталось позади, начиная с Острава в начале тридцатых до Санте, Пуасси, Блуа в годы оккупации Франции... Там раздача похлебки сопровождалась суетой, позвякиванием мисок, скрипом тележек, стуком сабо, криками надзирателей. Здесь же царит тишина. За дверью камеры я слышу лишь тихие шаги и шепот.

Раздатчик не останавливается перед моей дверью. Мне похлебки не дадут. Впрочем, это не важно, я не в состоянии проглотить вообще ничего. Я еще не догадываюсь, что меня будут пытать голодом.

А сейчас моя пытка — мысль о близких. Какая страшная ночь их ждет!

Наконец мне разрешают лечь. Вытягиваюсь на тюфяке. Смотрю на лампочку. Эта камера ничем не отличается от той, в которую меня заперли двадцать лет тому назад. Только тогда у меня была железная койка, а теперь тюфяк брошен на пол.

Тогда мне было шестнадцать, и это был мой первый арест.

Опять возвращаюсь мыслями к жене. Я часто говорил Лиз об окружающей меня атмосфере недоверия, о постоянной слежке. Говорил о своих тщетных попытках добиться приема в Секретариате партии, а в последнее время — у Широкого. Но, по правде говоря, я преуменьшал свои опасения. Я видел, как ей трудно в чужой стране, как она растеряна, как жалеет о своей прежней журналистской работе.

Однажды, в середине ноября, глубокой ночью раздался телефонный звонок. Полусонная Лиз взяла трубку. Пьяный голос прорычал: «А, это ты, француженка... Твоего мужа скоро повесят...» Лиз спросила: «Кто это говорит?» А на том конце провода хохочут, хохочут, видимо, их целая компания, веселятся после попойки... Лиз сказала мне: «Не надо обращать внимания. Хулиганы».

Часы идут. Растет тревога. В памяти всплывают осколки прошлого. Москва 1935—1937 годов с ее давящей атмосферой. Люди, исчезавшие внезапно и бесследно... В наших интернациональных кругах не принято было задавать вопросы. Исчезновение могло означать возвращение на родину для подпольной работы. Запретная тема

Из всех исчезнувших мы встретили только одну: Марту, польку, выросшую во Франции, где она училась, прежде чем поехала работать в СССР. В Москве французская колония приняла ее как родную. Это был очень милый человек, и все ее любили. Она исчезла в начале 1937-го. Никто больше не произносил ее имени. Мы встретили ее в Париже в 1945-м, вскоре после нашего возвращения из гитлеровских лагерей. Лиз спросила ее: «Ты тоже была в лагере?» Она-то, конечно, имела в виду нацистский лагерь. Марта расплакалась. «Да, в лагере, но в Сибири. В очень строгом лагере,— сказала она. И стыдливо добавила:— Не будем об этом. Это черная страница нашей истории, но с этим покончено».

Мы с Лиз много говорили о Марте. Три года, которые мы провели в тюрьмах оккупированной Франции и в концлагерях, не шли ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю Марты,— ведь ее арестовали свои! Мы пытались как-то объяснить себе подобные ошибки, оправдать их требованиями беспощадной борьбы, которую вели. Мы скрывали сомнения.

Вспоминаю свою юность — мне не было еще четырнадцати, когда очертя голову я ринулся в революционные битвы. В моем поколении столь юный возраст был обычным для революционера. Коммунистическая молодежь и вправду была молодой.

Рожденные в годы войны, мы испытали тяготы и ее и тех трудных времен, которые затем наступили: безработица, нищета, кровавые столкновения с полицией; фашизм в Италии, установление реакционных режимов в Польше, Болгарии, Венгрии. И еще — дело Сакко и Ванцетти. Вместе с отцом я шел в колонне демонстрантов по улицам Остравы, протестуя против легального убийства, которое готовилась совершить Америка.

Еще комсомольцем я стал активно работать в рядах партии. Несмотря на юный возраст, меня включили в антимилитаристскую группу. В то время в глазах каждого коммуниста высший долг рабочего класса и партии состоял в том, чтобы не дать уничтожить первую страну социализма. Отсюда — необходимость вести в армиях капиталисти-

ческих государств пропаганду против империалистической войны, разъяснять молодым солдатам идеи революционного пораженчества. В «Интернационал» даже добавили строфу в этом духе:

И если эти каннибалы
Героев сделать из нас захотят,
В наших собственных генералов
Наши пули тогда полетят.

Мне было поручено хранить у себя пропагандистские материалы, которые я сам забирал из подпольной типографии, и передавать товарищам, распространявшим листовки в казармах. Листовки я прятал в отцовской мастерской и под кроватью брата Оскара, в нашей крохотной комнатушке. 1 августа 1931 года было объявлено «Международным днем борьбы против войны». А накануне мне на работу позвонила соседка и сообщила, что к нам нагрянула полиция и конфисковала листовки. Я едва успел предупредить товарища, работавшего вместе со мной, как за мной пришли двое полицейских: «Не вздумайте сопротивляться, а то придется надеть на вас наручники!»

Давно это было...

Все еще ночь. Через короткие промежутки глазок в двери открывается. Но вот в окне проступает грязно-серое зимнее небо. За окном свистит дрозд. Как и я, ты, должно быть, не спишь, Лиз, в этот предрассветный час. О чем ты думаешь? Как могли мы дойти до этого?

Наконец тюрьма пробуждается. Дверь распахивается. Надзиратель приказывает мне сложить одеяло и ходить. Снова начинается ожидание, полное сомнений, тревоги и унижений.

Мне кажется, я хожу уже целую вечность, когда дверь резко открывается. Надзиратель, держа в руках тетрадь, кричит: «Просьбы или жалобы есть?» Я отвечаю: «Когда я смогу увидеть...», но он тотчас перебивает меня воплем: «Стоять смирно! Навытяжку! Здесь у вас нет имени, только номер!» А я забыл, какой мне дали номер, забыл, что называть свое имя запрещено.

Тупо хожу взад и вперед. В полдень первый раз ем похлебку. Мне не разрешают сесть. Начинает темнеть, когда за мной наконец приходят. Завязывают глаза, выталкивают из камеры и ведут по лестницам и коридорам. Спускаемся. Меня приводят в подвал, в подземную камеру без окон. Вскоре приносят костюм, который велят надеть взамен тюремной одежды. Наконец-то наступил час объяснений!

Но дверь запирается, и я вновь оказываюсь в полной темноте. Долго хожу во мраке, то и дело ослепляемый светом мощной лампы: она зажигается всякий раз, когда надзиратель заглядывает в глазок, чтобы проверить, что я делаю, а иногда еще мигает беспрерывно минут по десять, что совершенно нестерпимо.

И вот за мной опять приходят, надевают мне вместо повязки мотоциклетные очки, в которых стекла заменены черной материей, защелкивают наручники. Меня выводят из помещения, впихивают в машину, и двое охранников садятся по бокам. Куда мы едем? Спрашивать моих конвоиров бесполезно — они не раскроют рта до самого прибытия.

Гораздо позже я узнаю, что находился в замке Колодее, километрах в пятнадцати от Праги. До того как Готвальда избрали Президентом Республики, тут была его летняя резиденция. Потом госбезопасность устроила в замке свои курсы специальной и политической подготовки.

Чьи-то грубые руки толкают меня, ставят лицом к стене. С меня срывают галстук и пояс, заламывают руки за спину и снова надевают наручники. Заталкивают в какую-то комнату, сдергивают маску и приказывают ходить без остановки.

Помещение слабо освещено лампочкой без абажура, свисающей с потолка. Мое внимание привлекают толстые доски, которыми забито окно. Это не обычная тюрьма. Комната, в которой я нахожусь, ничем не напоминает камеру. Она абсолютно пуста. В обыкновенной двери кое-как проделан глазок. Подхожу к окну, чтобы попытаться разглядеть в щелку, где же я нахожусь. Но ничего не могу разобрать, доски прибиты вплотную, без зазоров. Вздрагиваю от удара ногой в дверь.

Голос, который я уже слышал, приказывает мне ходить.

От стены до двери четыре шага. Глазок открывают очень часто. Время от времени за дверью вроде перешептываются. Вновь тяжкая и загадочная тишина. Холодно. Хожу быстро, чтобы согреться. Наручники впиваются в кожу, руки распухли, онемели и совершенно закоченели.

Эта вторая ночь тянется бесконечно. На шум моих шагов в камере, словно эхо, отвечают другие шаги. Другие испытывают те же страдания! Но кто они? Хожу от стены к стене, погруженный в свои мысли, и как только останавливаюсь, безымянный голос призывает меня «к порядку». Таким образом, я знаю, что через глазок за мной неотступно следят. У меня нет больше сил, трудно держаться на ногах.

За мной приходят. Опять надевают на меня маску, и после нового путешествия через лабиринт я оказываюсь в натопленной комнате. Когда снимают маску, ослепляет яркий свет небольшого прожектора, направленного мне в лицо. Остальная часть комнаты погружена во мрак. Голос с сильным украинским или русским акцентом говорит: «Вы находитесь здесь по очень серьезной причине. Партия приказала арестовать вас и поручила нам вести дознание. Повторяю, дело очень серьезное, международное дело о предательстве и шпионаже против Советского Союза и стран народной демократии. Ваш долг помочь раскрытию истины. Не вы один арестованы. В этом деле замешаны и другие высокопоставленные лица. Вы не можете рассчитывать ни на чью помощь. Вы давно в партии, и я призываю вас помочь Советскому Союзу и нашей партии. Хотите ли заявить что-либо?»

Слова эти меня ошеломляют. Вдобавок я не могу понять, с кем имею дело: с советским? Позже я узнал, что это был Яноушек, долго живший в СССР и уже много лет работавший в МВД. Заводский отстранил его от должности за грубость, он чудовищно обращался с подследственными на допросах. Говорили, он наркоман. Своего бывшего начальника и всех нас, находившихся теперь в его власти, он люто ненавидел. После отставки советские советники привлекли его для работы в особом отделе, который они создали в госбезопасности.

Я постепенно привыкаю к слепящему свету и уже различаю две фигуры рядом с челове-

ком, который обращается ко мне. «Хотите ли вы сделать какое-нибудь заявление,— продолжает он,— по поводу Филда и вражеской деятельности добровольцев Интербригад?»

Я отвечаю: несмотря на тяжелое потрясение, вызванное арестом и условиями заключения, мне сейчас легче оттого, что я наконец вижу человека, которому партия поручила выяснить все, что касается меня; я все время требовал, чтобы партия меня выслушала, и готов ответить на все вопросы.

Тот же голос обрывает меня: «Отлично, тогда мы с вами сейчас напишем протокол». Повернувшись к одной из смутно виднеющихся фигур, он приказывает: «Начинайте!— Затем бросает второй фигуре:— Записывайте!»

Слышу, как закладывают бумагу в машинку и другой голос спрашивает меня: «С каких пор и где вы установили связь с американской разведкой, руководимой Алленом Даллесом, кем вы были завербованы и когда именно? Кто работал с вами?»

Я кричу: «Никогда! Нигде! Никем!» Яростно протестую против таких вздорных обвинений. Позже я узнаю, что допрос ведет майор Смола. Его назначили руководителем группы следователей, которым поручено допрашивать бывших бойцов Интербригад.

Первый голос — голос Яноушека — вопит: «Молчать! Предупреждаю, в этом деле полетят головы! У нас имеются все доказательства! Мы применим методы, которые заставят удивят, но заставим сознаться во всем, что нам нужно. Ваша судьба зависит от нас. Или вы во всем признаетесь, чтобы попытаться искупить вину, или будете упорствовать и останетесь врагом Советского Союза и партии до самой виселицы. А теперь для начала отвечайте на заданный вам вопрос».

Я продолжаю возмущенно протестовать. Яноушек вызывает надзирателя и приказывает увести меня: «Отправляйтесь в камеру и подумайте. И пусть это размышление пойдет вам на пользу, иначе вы горько пожалеете».

Снова маска, снова камера и голос, приказывающий мне ходить. Я в ужасе. Перебираю всю свою жизнь и никак не могу понять, за что попал сюда.

Париж нарядился в белые снежные одежды, чтобы встретить наш эшелон узников Маутхаузена, репатриированных Международным Красным Крестом. Еще шла война, и возвращение на родину было предусмотрено только для выходцев из западных стран. Но подпольное руководство лагеря решило включить в эшелон иностранцев, которые были арестованы во Франции. Таким образом Заводский и я вместе вернулись в Париж. Там мы нашли Лацо Хольдоша, тоже бывшего интербригадовца, прилетевшего накануне самолетом из Бухенвальда.

Итак, 1 мая 1945 года шел снег, и мы вместе с несколькими десятками товарищей, также уцелевших после лагерей, прошли в рядах огромного народного шествия от площади Республики до площади Нации. В нашем лице Париж приветствовал первых узников, вернувшихся из лагерей смерти. Люди плакали, глядя на нас, такими изможденными и худыми мы были. На всем протяжении шествия нас останавливали мужчины, женщины, дети и показывали фотографии: «Не встречали ли вы моего отца... мужа... сына... брата?..» Для них мы были надеждой, но мы-то знали, какая это хрупкая надежда! Нас окажется так мало на последней перекличке. Мы не смели сказать правду, столь ужасную, что она казалась невероятной. Недолго же нам пришлось ждать, чтоб раздались голоса в основном тех самых, кто отправлял людей в лагеря: «Но как это получилось, что вы, именно вы уцелели?»

Пройдет немного времени, и эту же фразу мне придется услышать в тюрьмах моей страны!

Я наконец смог увидеть сына, родившегося за два года до того в тюрьме Рокет. Я вновь увидел дочь, уже большую семилетнюю девочку, вновь увидел родителей жены. Но Лиз не было. Мы ничего о ней не знали. Что ни день, мы отправлялись в гостиницу «Лютеция», где был устроен Центр по приему бывших узников концлагерей,— там вывешивали списки оставшихся в живых. Лиз вернулась лишь в конце мая.

С какой радостью мы тогда встретили наших боевых товарищей Свободу и Зину, Громадко и Веру, Ицковича и Изабеллу, Нелли Штефкову, которым удалось уцелеть в буре и участвовать в боях за освобождение Парижа.

Все готовились вернуться в Прагу. Но для меня вопрос стоял несколько иначе: моя жена работала во Французской коммунистической партии. Ее только что избрали национальным секретарем Союза французских женщин, поручив руководство прессой. Андре Марти, который в то время курировал Отдел кадров ЦК ФКП, объявил, что мне целесообразнее вернуться в свою страну, а моя жена должна остаться во Франции. Нам такое решение показалось жестоким и неприемлемым.

До сих пор помню разговор, который у нас был по этому поводу с Морисом Торезом за обедом у родителей моей жены, Риколей. «Андре неправ. Вопрос поставлен неверно. Ведь мы интернационалисты. Ты давно живешь во Франции, работаешь в нашей партии, участвовал в Сопротивлении, у тебя здесь много товарищей и друзей, да, наконец, семья твоя здесь. Зачем тебе ехать, раз ты и здесь можешь продолжать работу коммуниста?»

В конце концов Секретариат партии поручил мне — после отъезда Бруно-Гройновского и Эрве-Каминского на родину, в Польшу,— политическое руководство Организацией рабочих-иммигрантов во Франции. Во второй половине 1946 года в Париже были созданы Информационное бюро Чехословакии и газета Франко-чехословацкой дружбы «Параллель 50». По просьбе Клементиса и Копецкого, который был тогда министром информации и культуры, я согласился взять на себя политическое руководство бюро и газетой. Сперва я делал эту работу, так сказать, на общественных началах, позже был зачислен в штат.

В начале 1947 года у меня снова открылся процесс в обоих легких. Для лечения нужно было ехать в Швейцарию. Кто мог тогда предположить, что настанет день, когда это пребывание в Швейцарии будет мне поставлено в вину как преступление? Я не получал ни жалованья, ни лечебного пособия, и потому Французская компартия разрешила моему товарищу по работе в ОРИ Эрве-Каминскому испросить для меня временное

пособие у «Юнитэриен сервис» — американской благотворительной организации, во время войны помогавшей беженцам-антифашистам. Пансионы, которыми она располагала во Франции, в частности в Савойе, были предоставлены в распоряжение депортированных, вернувшихся из лагерей. Многие испанские республиканцы, в том числе раненые бойцы, лечившиеся в госпитале возле Тулузы, тоже пользовались ее помощью.

Вот так я познакомился с Ноэлом Филдом, американским гражданином, проживавшим в Женеве и руководившим европейским отделом «Юнитэриен сервис». У меня было рекомендательное письмо от его представительницы во Франции Герты Темпи. Он согласился оказать мне единовременную помощь. Три месяца спустя, когда через женевского атташе по культуре Йозефа Щупа я наконец получил свое жалованье, я сообщил Филду, что более не нуждаюсь в пособии, но написал и о том, как был тронут его добрым отношением.

В 1948 году состояние моего здоровья улучшилось. К тому времени я стал получать зарплату в Министерстве иностранных дел Чехословакии, новый руководитель которого, Клементис, хотел, чтобы я занял пост первого советника при Гофмейстере, назначенном послом в Париж.

Но обстоятельства помешали этому. Только что произошел «Пражский переворот», как говорили на Западе, и моя страна подвергалась яростным нападкам. В этой обстановке журналисты — видимо, по подсказке эмигрантов — сочинили, что я приехал в Швейцарию вовсе не для лечения, а чтобы установить связь между Французской компартией и Швейцарской партией труда. В нормальное время смехотворность этого обвинения была бы ясна любому. Ведь получалось, что для установления этой тайной связи я не придумал ничего лучшего, чем остановиться у одного из секретарей швейцарской партии. Но тогда, после разрыва СССР с титовской Югославией, «холодная война» была в полном разгаре. Поэтому глупейшая кампания, которая не выдерживала ни малейшей критики, привела к тому, что мне не разрешили оставаться в Швейцарии. А главное, я не успел вовремя получить согласие французского правительства и занять предназначенный мне дипломатический пост. Так что в конце 1948 года мне пришлось вернуться в Прагу и дожидаться там французской визы. В феврале 1949 года она все еще не была получена, и партия выдвинула меня на пост заместителя министра иностранных дел. Так мое возвращение стало окончательным, и семья переехала ко мне.

Едва мы устроились, едва я успел освоиться с новой работой, как прошел слух об аресте Райка. Во время поездки в Чехословакию исчез Ноэл Филд. Говорили, что он был связан с людьми, арестованными в Венгрии. В министерстве я видел, как идет обмен многочисленными нотами по поводу Филда между американским правительством и нашим.

Узнав об этом, я тотчас же пошел к Бедржиху Геминдеру. Как заведующий Международным отделом ЦК, он руководил работой коммунистов МИДа, и я счел нужным проинформировать его о своих связях с Филдом. Он посоветовал мне сообщить обо всем Отделу кадров ЦК, которым тогда руководил Копржива, а также Швабу и моему другу Заводскому, занимавшемуся вопросами бдительности в партии. Я сообщил им обо всем устно, потом написал докладную и думал, что покончил со всей этой историей.

Но я ошибался. Вскоре были арестованы пять товарищей, которых я хорошо знал. Причина их ареста — Филд! Павлик и его жена, участники Венгерской коммуны, были мне представлены в 1939 году в Париже Широким, который рекомендовал привлечь их к работе в нашей чешской группе. Фейгла мне также рекомендовал Широкий. Фейгл работал во Франции представителем крупной американской фирмы, принадлежавшей одному из его двоюродных братьев. Он очень хорошо зарабатывал и регулярно снабжал нас деньгами для подпольной работы. Кроме того, в 1940—1942 годах Фейгл составлял для руководства Французской компартии информационный бюллетень по экономическим вопросам, основанный на материалах иностранной прессы и радиоперехвата. Его жена Власта Весела была в Испании в санитарной службе Интербригад. Обе семьи позже встретились в Марселе, где поддерживали связь с нашей чешской группой. Потом все четверо уехали в Швейцарию, где и пробыли до конца войны.

Алиса Кон, тоже бывшая интербригадовка, после немецкой оккупации эмигрировала в США, где развернула энергичную деятельность в чешских и словацких кругах, организуя помощь испанским ветеранам, в частности инвалидам, заключенным в лагеря «свободной зоны». Поддерживая связь с нашей группой в Марселе, она давала деньги на нашу подпольную работу во Франции.

В Центральном Комитете меня допрашивал Шваб. «Странное дело, все арестованные ссылаются на тебя». Меня покоробила эта беседа с Швабом, во время которой он держался скорее как полицейский, нежели как товарищ.

В августе 1949 года Шваб сообщил мне, что в Праге находится жена Филда. Она пыталась узнать, что стало с ее мужем. Несколько раз просила о встрече со мной. В ЦК ей говорили, что я в отпуске, не желая, чтобы мы встретились. Но она так настаивала, что Секретариат партии согласился удовлетворить ее просьбу. Таким образом я встретился с г-жой Филд в гостинице «Париж». Рыдая, она рассказала мне о жизни своего мужа, о жертвах, принесенных им делу коммунизма. Ее ужасное состояние, ее слезы потрясли меня, но я был не в силах помочь ей. Я тотчас отправился в Центральный Комитет, чтобы доложить Швабу о нашей беседе. Он попросил дать ему письменный отчет. Я отказался: «Нет, дай мне стенографистку, я продиктую его немедленно. Сейчас у меня все свежо в памяти. Таким образом вы не найдете потом пропусков или расхождений с той записью, которую вы, конечно, не преминули сделать в гостинице». Шваб криво улыбнулся: «Интересно, откуда тебе известно о таких вещах?»

Месяц спустя, в сентябре 1949 года, состоялся процесс Райка, на котором Филд фигурировал как крупный шпион, работавший на американскую разведку против стран народной демократии. «Юнитэриен сервис» называли не иначе как шпионским гнездом. Сёни — заведующий Отделом кадров ЦК Венгерской партии трудящихся, приговоренный

к смерти на процессе Райка,— признался, что он и члены его группы получали в Швейцарии деньги от Филда и что расписка, которую он ему дал, послужила орудием нажима при их вербовке. Он заявил также, что Филд и американский разведывательный центр создали в Чехословакии тайную организацию. Наконец, Райк, бывший испанский доброволец, отсидевший в концлагере во Франции, признался, что большинство интербригадовцев находилось под влиянием троцкизма, распространяемого югославами. Что многие из них были завербованы французским Вторым бюро, а также гестапо и американской разведкой. Что во время войны гестапо организовало возвращение многих бывших добровольцев на родину с заданием работать на немцев...

А ведь я лично участвовал — в качестве одного из руководителей ОРИ — в репатриации многих добровольцев, включая и югославов, с тем, чтобы они могли продолжать борьбу против своих правительств, сотрудничавших с нацистами, или против немецких оккупантов. Это делалось по указанию Коминтерна, директиву которого в данном случае выполняла Французская компартия...

Я решил снова поговорить с Геминдером и добиться, чтобы мое дело было незамедлительно рассмотрено партией. Поскольку разговор этот не дал никаких результатов, я попросил его устроить мне встречу со Сланским, Генеральным секретарем партии. Ежедневно я звонил ему и напоминал о своей просьбе. В конце концов Геминдер сказал мне (и по его смущенному тону я догадался, что Сланский просто не хочет меня видеть): «У него очень много работы, он сам вызовет тебя, как только сможет». Но вызвать меня Сланский так и не смог...

Тут на меня свалилась новая напасть.

Один из наших дипломатов, работавший в Швейцарии и тесно связанный с Филдом, прислал мне незапечатанное письмо, с просьбой передать в ЦК. Он писал, что считает своим долгом информировать партию о следующем: по моему приказанию он пересылал с диппочтой письма Ноэла Филда, разоблаченного как шпиона на процессе Райка. На самом деле той весной его жена привезла в Прагу письма друзьям Ноэла Филда Жизель Киш, Доре Клейн и открытку мне с поздравлением по поводу моего назначения заместителем министра. Об этом я сказал Швабу и Заводскому в первый же раз, когда говорил им о своих контактах с Филдом.

Я передал письмо, сопроводив его опровержением. А вскоре узнал от моего друга и сотрудника Вавро Гайду, что этого дипломата и его жену вызвали в Прагу. Приказ должен был пройти через мой отдел, и я попросил Широкого объяснить мне, почему действовали без моего ведома в деле, относящемся к моей компетенции. Он холодно ответил, что поступает так, как считает нужным.

Через несколько дней анонимным телефонным звонком меня вызвали в Министерство внутренних дел. С восьми часов утра до девяти вечера трое сотрудников госбезопасности придирчиво допрашивали меня. По моему требованию мне устроили очную ставку с дипломатом и его женой. Он тотчас взял свои обвинения обратно и удивился: «Я ведь уже несколько дней назад заявил, что это была ошибка».

В середине дня пришел какой-то капитан госбезопасности; он присутствовал на допросе и несколько раз вмешивался, сдерживая пыл моих следователей. Затем, переговорив с ними отдельно, он попросил меня сделать самокритичное заявление, чтобы положить конец допросу. Я письменно признал, что в случае с Филдом оказался недостаточно бдительным. Позже я узнал, что этого капитана прислал Освальд Заводский — он должен был помешать моему аресту, которым мог завершиться допрос.

В это время было арестовано еще несколько человек, знавших Ноэла Филда или его брата Германа, который пропал без вести в Польше. 5 января 1950 года личный секретарь Клементиса Тео Флорин был арестован на улице по дороге в министерство. Клементис тщетно пытался узнать, почему его арестовали и что с ним стало. Даже министр внутренних дел Вацлав Носек заявил, что ему ничего не известно об этом деле. Подобный ответ, о котором Клементис сообщил мне и моему коллеге Вавро Гайду, нас озадачил: неужели служба госбезопасности могла полностью выйти из-под контроля министра, которому подчинялась?

Неделей позже я оказался свидетелем сцены, которая произвела на меня удручающее впечатление. Вместе с Вавро Гайду мы вошли в кабинет министра. Клементис не слышал, как мы постучали в дверь, он стоял у окна, осторожно приподняв занавеску и оглядывая улицу. Он нервничал, был взволнован и сказал нам, что с этого утра к его личной охране прибавили дополнительную группу сотрудников госбезопасности. Эти люди все время находились в коридоре и в приемной, у входа в кабинет министра. Им было приказано «охранять» его днем и ночью. Когда он обратился к Носеку, чтобы узнать причины такого надзора, последний сообщил, что в отношении его самого приняты такие же меры. По словам шефа госбезопасности, это было связано с необходимостью усилить охрану некоторых руководителей, жизни которых угрожают иностранные агенты.

Но эти объяснения не успокоили Клементиса. Арест Флорина приобретал теперь для него иное значение. Он чувствовал, что сам находится под ударом. Чтобы объяснить мне, почему он боится за свое будущее, он привел в пример Андре Симона. Ведь и тот пользовался доверием, уважением руководства партии и лично Готвальда — и вдруг попал в опалу. Клементис рассказал, как это произошло. Во время конференции в Париже, осенью 1946 года, Молотов, тогдашний министр иностранных дел СССР, спросил у Сланского в присутствии Клементиса, какую роль играет Симон на конференции, презрительно бросив: «Что тут делает этот космополит?» Сланский передал это замечание Молотова в Прагу остальным руководителям Политбюро. Вскоре Симон был снят с поста заведующего международным отделом «Руде право» — центрального органа КПЧ. Статьи для газет и комментарии для радио ему пришлось подписывать псевдонимом.

13 марта 1950 года Клементис вызвал меня к себе. Он только что вернулся из Градчан, из дворца Президента Республики. Он сообщил мне, что Готвальд потребовал его отставки из-за «ошибок в кадровой политике». Я был поражен: «Готвальд привел какие-ни-

будь конкретные примеры?» Клементис отрицательно покачал головой. «Значит, речь идет и о моей работе, ведь в этой области мы уже год работаем вместе?» Клементис только пожал плечами. Я спросил его, не касался ли Готвальд его политической позиции в 1939 году, когда Клементис выступал против германо-советского пакта, оккупации Западной Украины и Белоруссии Красной Армией и советско-финской войны. Клементис ответил, что об этом не было речи, но согласился, что истинную причину следует искать в этом направлении. Через два дня нам официально сообщили об отставке Клементиса и о назначении министром иностранных дел Широкого.

В министерстве единственным, у кого я по-прежнему находил поддержку, был Вавро Гайду. Его высокая профессиональная компетентность, опыт и знания очень помогли мне ориентироваться в новой для меня работе. Ведь я не был в Праге пятнадцать лет, да к тому же никогда не состоял на государственной службе. С февраля 1948 года министерство стало особенно трудным участком. Кроме текущих неприятностей, в частности многочисленных побегов дипломатов, «избиравших свободу», я встретился там с атмосферой интриг и даже коррупции. Вдобавок госбезопасность вербовала многих наших сотрудников, что вело к доносительству, подсиживанию и всеобщему взаимному недоверию.

Я без колебаний боролся с этими нездоровыми явлениями. Даже закрыл работникам органов доступ в министерство и предупредил заведующих отделами, чтобы они никому, в том числе и представителям МВД, не давали никаких сведений иначе как письменно и только по указанию своего непосредственного начальства. По поводу этих моих распоряжений у меня несколько раз бывали резкие столкновения с представителями МВД. Впрочем, в этом вопросе я имел поддержку Клементиса, Геминдера и даже Широкого, которых я информировал по ходу дела.

В июне 1950 года я узнал, что Центральная контрольная комиссия ЦК и служба госбезопасности допрашивали обо мне нескольких чиновников министерства. Мой кабинет обыскивали. Однажды я обнаружил, что ящики стола взломаны. Как раз в это время я заметил, что какие-то машины повсюду следуют за мной или с погашенными фарами стоят ночью возле моего дома. Телефон мой прослушивался. Все чаще и чаще кто-то звонил и не откликался, когда я отвечал. Если возникали вопросы, которые нужно было решить с руководителями партии, те всегда отсылали меня к кому-нибудь из подчиненных. На собраниях и приемах они меня избегали.

К тому же дело Филда, как оказалось, имело продолжение в ГДР. Многие ответственные работники партии и государственного аппарата, которых я знал по Испании или Франции, получили взыскания за то, что общались с ним. На приеме в Гоаде подвыпивший Шваб бросил мне: «Твое дело чудовищно разбухает. Видал, что творится в Германии? Да и у нас это дело далеко не кончено!»

Мог ли я вообразить, что Шваб, с таким остервенением преследовавший меня, вскоре окажется в одной тюрьме со мной?..

Мои размышления прерывает грохот распахнутой двери. На пороге стоит пограничник в полевой форме, на голове у него ушанка с красной звездой, в руках — направленный на меня автомат. Другой охранник ставит прямо на пол котелок, из которого идет пар, и снимает с меня наручники. Какое облегчение! Но оно длится лишь минуту: мне снова заковывают руки — только спереди. Охранники выходят, не проронив ни слова.

Меня мучит жажда. Я продрог. С недоумением смотрю на котелок, стоящий у моих ног. Проходит несколько минут. Хлопают двери, уже слышится звяканье собираемых пустых котелков, и я понимаю, что мне так и не дадут ложки и не освободят рук. Опускаюсь на колени, кое-как беру котелок и с трудом подношу его к губам. Но как же есть? Пытаюсь ухватить губами куски овощей. В это мгновение дверь распахивается: «Дайте сюда!— рявкает надзиратель, вырывая котелок.—А теперь — ходить!»

С закованными спереди руками ходить немного легче. Который час? Мне кажется, что с тех пор, как я здесь, прошла целая вечность. Я так устал, что каждый шаг для меня — пытка. Что же делать? Остается только повиноваться и тем самым доказать свою добрую волю и сговорчивость. Невыносимо ноют плечи и спина. Не могу больше думать. Мысли путаются. У меня отобрали теплое белье, свитер и пальто, мне ужасно холодно. Когда вновь принесут котелок с едой, я уже не растеряюсь! Попробую есть, несмотря на наручники. Ждать, наверное, уже осталось недолго. Слышу хлопанье дверей и грохот котелков, но у моей двери ни звука. Пытаюсь обмануть себя мыслью, что до меня еще не дошла очередь. Однако вскоре слышу — собирают пустые котелки. Обо мне забыли!

Продолжаю ходить. Со вчерашнего дня я ничего не пил и не ел. Первые лучи рассвета пробиваются сквозь доски, которыми забрано окно. Я не выдерживаю и ложусь на пол. Тотчас грубый голос приказывает мне: «Ходить!» Так как я не подчиняюсь, надзиратель распахивает дверь и осыпает меня бранью. Я отказываюсь подняться, говорю, что нельзя так обращаться с человеком, тем более невинным. Он зовет на подмогу другого надзирателя. На меня сыплются оскорбления и удары: «Здесь не пройдут ваши вражеские штучки. Будете выполнять приказы, или мы вас проучим» Я не хочу, чтобы мой протест был истолкован как враждебный акт. С трудом поднимаюсь и опять хожу до самого вечера, когда за мной приходят и, снова завязав глаза, отводят в другое здание.

Руки сковывают за спиной. Снимают маску. Передо мной неизвестный человек среднего роста коренастый, элегантно одетый (позже я узнаю, что это пражский адвокат, неудачник, предложивший свои услуги госбезопасности). Это следователь, которому поручено меня допрашивать.

Я ожидаю от него четких вопросов, требующих таких же четких ответов, которые позволят мне оправдаться. Ничего подобного: всю ночь я слышу лишь оскорбления и без конца повторяемую фразу: «Сознайтесь, кто вы, признайтесь в своих преступлениях, у таких людей, как вы, есть имя, назовите же себя своим настоящим именем». Я не понимаю смысла этих вопросов. Кто я? Артур Лондон! Мне не в чем признаваться! Допрашивающий вне себя от ярости. Он хватает меня за во-

рот, стягивая как удавкой шею, бьет головой об стену, приговаривая: «Сознайтесь, кто вы, признайтесь в ваших преступлениях». Похоже, я имею дело с сумасшедшим, но надо сохранять хладнокровие.

Затем следователь принимается за моих близких, объявляет мою семью «вражеским гнездом». Я замечаю, что в этом «вражеском гнезде» есть член Политбюро Французской компартии — муж сестры Лиз. Он не унимается и вопит: «Все вы враги, и ваш свояк тоже! Теперь мы знаем, какова его истинная роль!»

Допрос, вернее истерический монолог, заканчивается лишь к утру. Уже почти рассвело, когда следователь вызывает охранника, чтобы меня отвели в камеру. На пороге я оборачиваюсь и говорю ему: «В сейфе моего кабинета в министерстве, наверное, нашли пачку долларов. Прежде чем вы займетесь самыми дикими домыслами, хочу вам сообщить, что эти деньги являются собственностью Всемирного Совета Мира. Мне их доверила моя свояченица Фернанда Гюйо, административный секретарь Совета, чтобы я хранил их, пока она отдыхает в горах».

Следователь смущенно смотрит на меня. Поручив охраннику следить за мной, он выходит из кабинета. Вернувшись, заставляет меня повторить заявление относительно долларов. Затем печатает на машинке записку.

Я вижу, что он обозлен, словно собака, у которой отняли кость. Ведь у него в руках было такое прекрасное доказательство моей продажности!

Когда меня ведут обратно в камеру, сквозь маску проникает дневной свет. В коридоре я слышу, как распахиваются и захлопываются двери: собирают пустые котелки. Я опять опоздал! Меня терзают голод, холод. Я снова в той же камере. И снова — изнуряющая ходьба!

Думаю о словах следователя. Как передать на волю, что я невиновен? Предполагаю, что, как во всех тюрьмах, которые мне довелось узнать, белье отправляют семьям для стирки и замены. Непременно надо сообщить жене, что я невиновен. У окна замечаю слабо вбитый гвоздь, мне удается его вырвать. С трудом вынимаю из воротничка сорочки вставленную в него целлулоидную пластинку. Хотя теперь руки у меня скованы спереди, движения очень затруднены. Но отчаяние придает мне силы, и в короткие мгновения, когда глазок закрыт, я выцарапываю на пластинке букву за буквой — «Я невиновен». Мысль о том, что Лиз, привыкшая во время оккупации к приемам подпольной борьбы, найдет мое послание, немного успокаивает меня. Но рубашка с этим посланием никогда не попадет ко мне домой...

Я страшно устал и замерз. От голода судороги в желудке. Я еще не вполне осознал то, что пережил, увидел, услышал, то, что со мной произошло.

Стучу в дверь. По моей просьбе приносят парашу. Надзиратель отказывается снять с меня наручники и все время держит меня под дулом своего автомата. Мне приходится справлять нужду стоя, да еще со скованными руками... Какое унижение! Чувствую себя низведенным до состояния скотины.

Поздним утром за мной приходят. Вновь маска. Меня толкают, ударяюсь о какие-то доски. Долго остаюсь в темноте. Несколько голосов шепчутся у меня за спиной. Наконец слышу, как распахивается дверь. Чьи-то руки грубо поворачивают меня, срывают маску и отшвыривают меня спиной к перегородке. Вижу перед собой четверых — один в штатском. Это майор Смола, который хватает меня за горло и кричит с ненавистью: «Мы сумеем уничтожить вас и вашу паршивую расу! Не все, что делал Гитлер, было хорошо, но с жидами он расправлялся отлично. Жаль, что не все они попали в газовые камеры, многие улизнули. Но то, что он не доделал, завершим мы.— И яростно топая ногами: — На десять метров под землю, вот куда мы вас загоним — вас и ваше паршивое отродье!»

Эти слова произносит человек, у которого в петлице пиджака значок партии, в присутствии троих в форме, молчаливо одобряющих его. Неужели дух «черной сотни», дух СС воскрес в наших рядах? Эти люди одержимы той же темной силой, что и те, кто расстрелял моего брата Жана, кто отправил в Освенцим, а затем в газовую камеру мою мать, мою сестру Жюльетту с мужем и десятки членов моей семьи. Я скрыл свое происхождение от гитлеровцев, неужто я должен был сделать то же в моей социалистической стране?

Смола толкает меня в угол: «Вы будете говорить! Вы признаетесь в своих преступлениях! Мы все знаем. Вы здесь не один. Ваши дружки, которые вас покрывали, все уже здесь, и они не молчат. У вас лишь одна возможность спасти свою голову — говорить и признаться раньше остальных».

С этими словами он покидает комнату. Остальные рассаживаются за столом. Одного из них я знаю. Видел несколько раз у себя в министерстве, куда он приходил для выяснения вопросов, касающихся МВД. С ним-то и были у меня те стычки из-за вмешательства госбезопасности в дела моего участка, о которых я уже упоминал. Теперь он сидит передо мной в качестве судьи. Но из них лишь он один смотрит на меня без ненависти.

«В прошлое воскресенье ваша троцкистская группа бывших интербригадовцев собралась на тайное совещание у Заводского. Вы знали, что вас разоблачили, чувствовали себя затравленными. Какое вы приняли решение, чтобы выкрутиться?» Вопросы сыплются одновременно с трех сторон, вопросы, которые даже не требуют ответа. Трое инквизиторов бросают мне в лицо имена добровольцев, сражавшихся в Испании,—некоторых я не видел с 1939 года,— имена людей разных национальностей, в том числе поляков Рваля и Винклера, сгинувших в Москве; венгров Райка, Банета; югославов Чопича, Дапчевича; советского журналиста Кольцова. Они спрашивают меня об Анне Зегерс, об Эгоне Эрвине Кише и его жене, которых обвиняют в организации собраний троцкистской интеллигенции в Париже и в Праге. Куда они клонят? Всякий раз, когда я делаю попытку ответить, опровергнуть — меня прерывают, орут, бросают самые дикие обвинения, оскорбляют, выкрикивают наугад названия городов: Париж, Марсель, Барселона, Альбасете... Упоминают встречи то с одним, то с другим человеком, но ничего не уточняют.

Они знают все о нашей жизни, о нашей борьбе — чего же еще они доискиваются? Кто кроме врагов сочтет нашу деятельность преступной? Все мы можем гордиться своим

прошлым. «Признайтесь в ваших преступлениях!— кричат мне.— Выкладывайте нам все, это для вас единственный шанс спасти голову. Другие признаются, поступайте, как они, иначе вам — крышка. Ваша песенка спета. Все ваши дружки здесь. Вам не удастся свергнуть наш строй. У нас сорняки не растут до неба, мы их вовремя выпалываем!» Я продолжаю яростно защищаться: «Я хочу объясниться, дайте же мне объясниться». Все тщетно!..

Из кучи документов на столе они достают какие-то листки: «Что вам известно о таком-то?» Пытаюсь собраться с мыслями, вспомнить, но мне не дают времени. «Мы знаем, что он дезертировал». О другом говорят, что он плохо вел себя в концлагерях во Франции. У третьего были троцкистские настроения. А такого-то Компартия Испании считала подозрительным, враждебным элементом...

Но что это за материалы у них? По мере того как они меня расспрашивают, суют под нос листки, я начинаю понимать, что это отчеты о добровольцах, составлявшиеся в Испании парторганизациями рот, батальонов, бригад. Отчеты эти писались в духе эпохи, часто слишком нетерпимом, догматичном писались к тому же в огне войны, в окопах, между боями.

Следователи выбирают из них лишь «негатив». Конечно, эти «материалы для отдела кадров», как мы называли их на партийном жаргоне, должны были содержать строгую оценку возможных недостатков наших товарищей, поскольку считалось, что их достоинства и без того известны. Но ведь это политические характеристики, а не полицейские донесения. Они принадлежат Центральному Комитету партии, и здесь им не место. Кто же передал их в госбезопасность? Партия? Зачем? Я вспоминаю о том, как мы писали эти характеристики. Думаю о нашей нетерпимости. Такими нас сделало политическое воспитание — мы учились беспощадной строгости у большевиков и ревниво следили за тем, чтобы сохранить в чистоте наше знамя, не запятнать нашего служения испанскому народу. Нам казалось необходимым подчеркнуть каждую тень, каждую ошибку. И вот что делают из нашей требовательности к самим себе! Все вдруг стало мелочным, грязным, подлым. Все вывернуто наизнанку.

Распахивается дверь. Смола бросает на стол новую пачку бумаг. Схватив меня за горло, он кричит: «Здесь все! Заводский во всем сознался. Вы уже не можете сказать нам ничего нового. Вам остается лишь во всем признаться и дополнить его показания. Вся ваша антипартийная деятельность нам известна. Ваша деятельность в Марселе. Ваше сотрудничество с американской разведкой. Ваши связи с Филдом. Все это здесь, вот в этих бумагах. Признавайтесь».

В отрывках, которые он мне читает, я нахожу отголоски некоторых своих разговоров с Заводским. Этого выдумать нельзя! Но все наши мысли и поступки определены как подрывные. Получается так, словно с незапамятных времен мы организовали троцкистскую группу, ведущую враждебную партии деятельность. Я отрицательно мотаю головой: «Нет, это неправда. Если отдельные упомянутые вами факты и имели место, их толкование, а также ваши выводы ложны. Я не верю, что Заводский написал этот бред».

Град пощечин. Смола бьет меня головой о стену.

«Нет, это неправда, неправда!»

«Вы же знаете его почерк, поглядите на подпись».

И он протягивает мне листочки — на каждом стоит внизу подпись Заводского. Да, это его подпись! Я слишком хорошо знаю ее, чтобы ошибиться. Смола сует мне под нос страницу, озаглавленную: «Моя работа на ФБР в Марселе». Заводский рассказывает, как, будучи троцкистом, он связался с американскими агентами...

Я совершенно ошеломлен, подавлен. Я абсолютно ничего не понимаю и только повторяю: «Это неправда!» Тогда Смола протягивает мне рукописный листок: «Вы хорошо знаете почерк вашего сообщника. Прочитайте написанные им собственноручно признания и сравните их с тем, что я вам говорю».

Это действительно почерк Заводского. Но то, что он пишет,— смесь лжи, вымысла и, что гораздо хуже, полуправды. Он пересказывает наши разговоры, пишет о нашей деятельности, но дает всему этому самую фантастическую интерпретацию, которая должна всех нас привести прямо на виселицу! Как мог Осик участвовать в подобной фальсификации? Особенно он?!

Я видел его в деле во время испанской войны и во Франции. Вспоминаю, как в оккупированном Париже он раздобыл свой первый пистолет. Осик заметил, что в парикмахерских немецкие офицеры, прежде чем сесть в кресло, цепляли на вешалку портупею с кобурой. В один прекрасный день случай представился: он зашел к парикмахеру в то время, как там брился немецкий офицер. Осик схватил пистолет и пустился наутек. Он быстро стал опытным бойцом и принимал участие в самых отчаянных операциях. Осенью 1942 года вместе с двумя соотечественниками участвовал в нападении на занятую немцами гостиницу на улице Алезии, в одном из рабочих кварталов Парижа. В результате около тридцати немецких офицеров было убито и ранено.

Как же Заводский, который, работая в органах, лучше всех знал что к чему, мог согласиться дать столь чудовищные показания?

Смола и один из следователей уходят. Я остаюсь вдвоем с тем чиновником, которого встречал у себя в министерстве. С минуту он молча смотрит на меня.

«Ты в очень тяжелом положении. То, что они тебе говорили, не шутка. Заводский признался. Его арестовали в субботу, за сутки до тебя. Через полчаса после того, как его привезли сюда, он уже делал свои первые признания. Те тридцать страниц, что ты здесь видел, он написал в ночь с субботы на воскресенье. И с тех пор все пишет и пишет. Я в этом деле человек незаинтересованный, во всяком случае мне незачем тебе вредить. В прошлом ты всегда был со мной корректен, и я хочу дать тебе совет: признавайся. Поверь мне, надо во всем сознаться и сделать это раньше других. Иначе, поскольку во Франции ты был их руководителем, у тебя не будет ни малейшего шанса выпутаться».

«Но ведь то, что пишет Заводский, неправда! Ведь есть доказательства, есть официальные документы. Остальные так же, как я,

откажутся подтвердить эти показания. Все можно проверить. Достаточно обратиться к живым свидетелям, к Французской компартии, к другим организациям Сопротивления».

«Ты бессилен против этих показаний. Остальные тоже начали признаваться. А те, кто еще не сделал этого, рано или поздно сделают. Поверь: здесь все признаются. И пойми одну простую вещь — во внимание будут приняты лишь показания Заводского, потому что это не только обвинение против тебя, но и признание твоего сообщника. Смотри, как он пишет: «Я занимался шпионажем в пользу американцев с целью свергнуть существующий строй... В этой вражеской деятельности мною руководил Артур Лондон». Неужели ты не понимаешь, что подобных показаний будет достаточно для суда? Человек обвиняет себя в самых ужасных преступлениях и добавляет, что совершал их по твоему приказу. Кому поверят: тебе или Заводскому?»

Он говорит спокойно, почти дружески.

«Но ведь это неправда! Не могу же я, в самом деле, признаться в преступлениях, которых не совершал?!»

«Важны признания. Почему, ты думаешь, признается Заводский? Да еще в том, что может стоить ему головы? Потому что он хочет спасти свою жизнь. Он знает, что здесь можно сделать только одно — сознаться, сознаться как можно скорее».

Меня мучит жажда, и я прошу пить. Следователь протягивает мне кружку, сам подносит ее к моим губам, скованные руки у меня совсем затекли.

Он продолжает говорить, пытаясь вразумить меня. В это время остальные двое возвращаются. Услышав, как говорит со мной следователь, Смола орет:

«Не смей обращаться к нему на «ты». Ты не с товарищем говоришь, а с разоблаченным врагом партии. Он предатель, преступник, по нему виселица плачет».

Допрос продолжается. Мне зачитывают признания других добровольцев Интернациональных бригад. Они подтверждают показания Заводского. Обвиняют и себя, и меня. И везде, в каждом заявлении я нахожу какую-то долю правды, только изуродованную и ложно истолкованную, а также откровенную ложь. Меня все больше смущают «признания» Заводского и только что услышанные мною заявления. Следователи без устали повторяют:

«Неужели вы полагаете, что, если бы, как вы утверждаете, все это была ложь, партия приказала бы вас арестовать?»

Я начинаю сомневаться в моих товарищах, спрашивать себя: а что, если с того давнего времени, когда я перестал общаться с некоторыми из них, находившимися в лагерях для интернированных во Франции, в Африке или в эмиграции в Лондоне, а также со всеми теми, кто оставался в Чехословакии, пока я был в Париже, они продались врагу?..

Следователи не скупятся на неизвестные мне подробности относительно мнимой вражеской деятельности этих людей. Я все больше теряюсь, смущенный намеками, которые они то и дело бросают:

«Вы не поняли, с кем имели дело. Они обвели вас вокруг пальца. У вас остается один способ доказать свою честность — рассказать все, что вам известно».

Вначале изо всех сил стремишься помочь партии, добросовестно, подробнейшим образом отвечаешь на все вопросы. Хочешь помочь партии разобраться; хочешь разобраться в себе, разобраться в других. Хочешь понять, почему ты оказался здесь, какая неведомая ошибка привела тебя сюда. Годы борьбы, привычка к партийной дисциплине, все наше прошлое воспитание приучили нас к мысли, что партия никогда не ошибается, что СССР всегда прав. Ты готов к самокритике, готов признать, что невольно совершил ошибку в работе, ошибку, которая повредила партии.

А потом замечаешь, что сотрудники госбезопасности выворачивают наизнанку не один ответ, не несколько, а все. Полностью искажают их смысл. В результате каждый твой поступок, каждая твоя мысль становятся преступными. Пытаешься понять, зачем они это делают, но тщетно.

Знакомого мне чиновника вызывают из комнаты. Я никогда его больше не увижу.

Теперь следователи, сменяясь, допрашивают меня поодиночке. Они требуют, чтобы я рассказал о связях с Филдом, о моей работе во Франции, о работе в министерстве. Вопросы по-прежнему провокационные; мне пытаются внушить чувство вины, хотят сбить с толку, обезоружить, запутать.

Постепенно допрос становится менее грубым. Дежурный следователь читает мне отрывки из показаний Заводского, рассказывает о нем страшные вещи. То же самое он делает в отношении Валеша и Павела. В конце концов я уже не могу отличить правду от лжи, ибо все построено на полуправде. Следователи утверждают, что Павел согласился работать на гестапо, когда сидел в лагере Верне, а Валеш был завербован Интеллидженс сервис в Англии, где жил во время войны... Я отказываюсь верить, и тогда они приводят массу подробностей. По их словам, Павелу предложили выбирать: быть репатриированным в немецкий протекторат Чехии и Моравии (где он пошел бы под суд и был бы непременно приговорен к смерти) или же оставаться в лагере во Франции, откуда его отправят в Африку, но при условии, что после выхода на свободу он будет работать на гестапо. Валеша английская полиция якобы хотела выслать в Канаду. Незадолго до того корабль, перевозивший военнопленных, был потоплен в Атлантике немецкой подводной лодкой. По словам следователя, Валеш из страха перед подобной участью обязался работать после войны на Интеллидженс сервис.

Мне сообщают также уйму подробностей относительно предательства Заводского после его ареста во Франции в 1942 году. Я повторяю то, что уже говорил министру Копрживе: когда мы вернулись из нацистских лагерей, нам стало известно, что в Париже Заводского допрашивала Особая антитеррористическая бригада. Несмотря на страшные избиения, он держался хорошо. В ответ на мои слова следователь зачитывает отрывки из рукописных «признаний» Заводского: «Будучи арестован в 1942 году, я выдал гестапо многих моих товарищей, которые впоследствии были схвачены и высланы в Германию. Некоторые из них не вернулись. В награду за то, что я согласился работать на гестапо, меня не отдали под суд военного трибунала, который приговорил бы меня к смерти. По

приказу ОСД[1] я был просто выслан в Маутхаузен.

Когда я узнал, что Лондон — агент Филда, и получил доказательства того, что он является основным резидентом американской разведки в Чехословакии, я сделал все необходимое, чтобы скрыть эти сведения. Я помешал его аресту, ибо знал, что Лондону известно, как я выдал своих товарищей гестапо, и что он меня покрывает. Его арест повлек бы за собой мой собственный арест, а также арест остальных членов нашей троцкистской группы — бывших бойцов Интербригад».

Позже, уже после ареста Неквасила, мне покажут протокол его допроса, где он подтверждает эти факты и заявляет: «Лондон знал, что Заводский выдал своих товарищей гестапо. У него даже были протоколы допросов Заводского, свидетельствовавшие о его предательстве. Лондон говорил мне об этом после своего возвращения из Маутхаузена». Следователь добавил, что эти «признания» доказывают, будто я держал про запас сведения о предательстве Заводского, чтобы заставить его покрывать мою собственную шпионскую деятельность.

Эти «признания» будут иметь страшные последствия для всех нас. Они станут одним из основных элементов всей созданной госбезопасностью конструкции, доказывающей нашу «вину» и мой «сговор с Заводским».

А ведь факты было так легко проверить. Почему было не обратиться, как я просил с самого начала, к руководству Французской компартии? Как просто было при желании в одно мгновение распутать эту преступную мистификацию!

После моего освобождения в 1956 году я рассказал Лиз об обвинениях, выдвинутых против Заводского. Я просил ее, как только она поедет во Францию, связаться с девушкой, «ставшей жертвой предательства Заводского», а именно — с Региной Ицкович, сестрой нашего друга Соломона. Я хотел представить Комиссии ЦК по реабилитации еще одно опровержение фальшивок и ложных обвинений, сфабрикованных госбезопасностью. Я хотел ускорить реабилитацию испанских ветеранов, еще находившихся в тюрьмах, и тех, кому уже вернули свободу, но не вернули доброго имени.

Сам факт смерти Регины уже был чистейшей выдумкой. Но Лиз тем не менее должна была проверить все остальные пункты обвинения. Поэтому она сказала Регине, что товарищи по Сопротивлению просили узнать все обстоятельства ее ареста и допросов. Регина была очень взволнована, она думала, что сомнению подвергается ее собственное поведение. Вот что она рассказала:

«Никто меня не выдавал. Меня арестовали после того, как схватили моего руководителя, румынского товарища из нашей организации. При нашей очередной встрече он должен был передать мне новое удостоверение личности. Во время обыска при нем нашли эту бумажку, и таким образом полиция добралась до меня».

«А с Заводским у тебя была очная ставка?»

«Нет, никогда. Да ты можешь у него спросить. (Она ничего не знала о судьбе Осика.) Когда после возвращения из концлагеря мы встретились в столовой для бывших узников, он подошел ко мне, поцеловал и поздравил, сказав, что я очень хорошо держалась в полиции».

Подписанный Региной протокол этого разговора, который я передал в 1956 году в Комиссию окончательно опрокидывал все обвинения против Заводского. (Его казнили в марте 1954 года, после того как его просьба о помиловании была отклонена).

До рассвета следователь читает мне другие доносы и показания направленные против Свободы, Хольдоша, Громадко и Павела, не говоря мне, однако, от кого они исходят. При этом он постоянно прибегает к психологическому нажиму, стремясь убедить меня, что товарищи злоупотребили моим доверием и честностью и что таким образом я оказался втянутым в организацию троцкистов и шпионов. Он долбит мне это до прихода своего сменщика.

Новый следователь, просмотрев заметки, сделанные его предшественником, продолжает в том же духе. Всех добровольцев он обвиняет в моральном разложении, предательстве.

Сколько я ни ссылаюсь на десятки свидетелей, живых и заслуживающих полного доверия, на членов братских компартий, которые могут поручиться за нас,— все тщетно.

Показания сомнительных элементов быстро выявленных нами в Испании или в лагерях Франции, используются теперь, чтобы возвести поклеп на нас. Не останавливаются даже перед тем, чтобы объявить их хорошими коммунистами, сделать из них жертв нашей «троцкистской банды». Могу себе представить, как легко было работникам госбезопасности получить от этих людей лживые заявления против нас. Какое это было для них удовольствие — отомстить нам и вместе с тем воспользоваться ситуацией, чтобы обрести политическую невинность.

...Уже полдень. С момента моего ареста я за семьдесят часов ел только один раз и выпил только кружку воды, которую мне дал жалостливый следователь. Наконец раскрывается дверь, и мне приносят котелок супа и ложку. Даже разрешают сесть. Я с трудом пользуюсь скованными руками — затекшие пальцы отказываются повиноваться; все же мне удается поесть. Но передышка короткая. Я снова стою в углу, допрос возобновляется и кончается лишь в ночь с четверга на пятницу, не дав никаких результатов.

Я в подвале. Это настоящая яма площадью примерно в четыре квадратных метра, не больше. Две стены сложены наполовину из кирпича, наполовину из глины, две другие — из неотесанных бревен. Сырость такая, что моя одежда сразу становится мокрой. Вижу сосульки. На полу грязь. Я хожу, как мне приказали или, вернее, кружусь, словно зверь в клетке.

В какое-то мгновение приходит в голову мысль — броситься на пол в том углу, где землю прикрывают две доски, и отказаться ходить. Но вспоминаю замечание следователя во время одного из предыдущих допросов: «Каждый день мы отправляем руководству

[1] Немецкое главное управление службы безопасности *(прим. автора)*.

партии докладную, где сообщаем о ходе следствия и поведении обвиняемых. Ваш отказ сознаться подтверждает, что мы имеем дело с закоренелым преступником». Я не должен давать им повода писать, что бунтую.

Время от времени где-то рядом раздаются удары о дощатую перегородку и окрики: «Ходить, вы должны ходить!» Значит, я не один в этом подземелье, весьма обширном, если судить по гулкому эху. Каждые четверть часа надзиратель стучит в дверь. Я должен тогда встать навытяжку перед глазком и тихо сказать: «Заключенный номер такой-то... Здесь!» По голосам пытаюсь узнать своих соседей. Но до меня доносится только слабый шепот, шум открываемых и закрываемых дверей, звуки приближающихся и удаляющихся шагов. День неотличим от ночи.

Мне все труднее двигаться, я ужасно устал. Грудь, спина, плечи, руки, ноги — все тело ноет. Больше нет сил. Падаю. Несколько мгновений спустя в дверь начинают дубасить ногами. Чей-то голос кричит: «Встать! Ходить! Ходить!» Я не подчиняюсь. Дверь распахивается, двое надзирателей хватают меня под мышки, поднимают, трясут, бьют головой о перегородку. «Ходите, делайте, что вам велено!» Я отказываюсь, потому что сил больше нет. На подмогу прибегает третий надзиратель с ведром ледяной воды. Он хватает меня и несколько раз окунает головой в воду. «А теперь ходить, а то мы все это повторим».

Они оставляют меня, и я продолжаю ходить как в бреду. Потом слышу голоса за дверью. Несколько человек по очереди заглядывают в глазок, издеваются надо мной. Они оскорбляют меня и моих близких, похабно острят. Это продолжается долго. Я не реагирую. Наконец им это надоедает, и они уходят.

Бесконечно кружу и кружу по каземату. Тело мое — средоточие боли. И как же мне хочется спать! Мало-помалу все окружающее расплывается, словно я гляжу сквозь вуаль. Ударяюсь о доски и прихожу в себя уже на полу. Меня снова хватают, бьют ногами под ребра, раздевают до пояса и обливают ледяной водой. Таким образом мне не дают заснуть, и все время, пока я буду находиться здесь, мне придется терпеть эту муку по нескольку раз в день. Я снова начинаю ходить, то и дело спотыкаясь. Сплю на ходу и вижу сны, мне слышатся голоса, перед глазами проносятся видения, и я уже не могу отличить действительное от воображаемого.

Много времени спустя, в ночь с воскресенья на понедельник (это я узнаю уже потом, увидев календарь на столе моего инквизитора), я слышу, как кто-то говорит мне по-словацки через глазок в двери: «Что вы такого сделали?» Я не сразу понимаю, только догадываюсь, что за дверью кто-то есть. Сообразив наконец, я подхожу ближе. Голос шепчет: «Что вы такого сделали?» «Ничего, я невиновен, я не знаю, почему я здесь. Я не понимаю, чего от меня хотят, я невиновен». Голос продолжает: «Нам запрещают поить и кормить вас. Что вы могли натворить, чтобы заслужить такое обращение? Вы один на таком режиме. Я вам принесу воды».

Жажда мучительнее голода. У меня, наверное, жар. Я испытываю колющую боль в легких. Мне трудно дышать. Это последствия многочисленных воспалений легких. У меня туберкулез, и в прошлый понедельник мне должны были делать поддувание.

Через какое-то время (оно кажется мне бесконечно долгим) дверь тихо отворяется. Я вижу перед собой молодого надзирателя в форме и в ушанке с красной звездой. В руке у него бутылка с водой. Он подносит горлышко бутылки к моим губам и терпеливо держит ее, пока я не выпиваю всю воду. Предостерегает: «Никому не говорите об этом, а то мне несдобровать. Через несколько часов вас, вероятно, вызовут, тогда вы сможете потребовать, чтобы вам дали есть и пить».

Его человечное отношение ободряет меня. Значит, даже здесь не надо отчаиваться. Обессиленный, я с трудом продолжаю ходить. Наконец за мной приходят, чтобы отвести на новый допрос. Снова иду вслепую по лестницам и коридорам. Мне трудно подниматься на верхние этажи, трудно дышать. Я готов упасть, но сильные руки подхватывают меня, толкают, волокут.

Когда с меня снимают повязку, я вижу перед собой совершенно незнакомого человека. Он велит мне встать в угол и долго глядит на меня: «Что с вами? Вы очень плохо выглядите...»

«Вот уже неделя, как я здесь (я только что заметил календарь на столе), и за это время я почти ничего не ел и не пил. Я спал всего два часа. Я провел три ночи и три дня в подвале, где меня заставляли ходить не останавливаясь. У меня больше нет сил. Вы совершаете преступление. Вы не имеете права применять подобные методы. Я ни в чем не виноват. Спрашивайте меня о чем хотите, но дайте возможность отвечать нормально и точно записывайте мои ответы. Я хочу видеть кого-нибудь из ответственных партийных работников».

Мой собеседник делает вид, что удивлен: «Как так, вам ничего не давали ни есть, ни пить, и вы не спали? Я разберусь. Это, наверное, вина надзирателя».

В дальнейшем зловещая комедия будет повторяться очень часто. Во всем будут виноваты надзиратели. Прошлой ночью благодаря молодому словаку я мог убедиться, что приказ исходит от госбезопасности, а надзиратели только выполняют его.

Следователь снимает с меня наручники и сковывает мне руки спереди. Выходит. Я слышу — он отдает какое-то распоряжение. Через мгновение передо мной миска с горячей похлебкой и кусок хлеба. Я буквально набрасываюсь на еду.

Следователь говорит: «Относительно вашей просьбы встретиться с ответственным представителем партии должен повторить, что здесь партию представляю я и мои коллеги. Партия поручила нам допрашивать вас, информировать ее о вашем поведении, о вашем согласии или отказе помочь разобраться в тех серьезных проблемах, которые ее беспокоят. Считайте, что вы здесь находитесь перед лицом партии. Я не могу выразиться яснее! Вы обязаны во всем признаться, обязаны помочь партии».

Я стою спиной к стене со скованными руками. Вопросы сыплются градом. Следователи сменяются, а я все стою. Прежде чем покинуть кабинет, каждый из них печатает на машинке записку для своего сменщика, очевидно, чтобы сообщить ему о ходе допро-

са. Новый следователь изучает ее и начинает задавать мне все те же вопросы. Записывая мои показания, касающиеся кого-нибудь из добровольцев, они систематически опускают все, что может говорить в мою пользу.

Я отказываюсь подписывать подобные протоколы.

Время тянется бесконечно. Часто, не в силах больше стоять, я падаю на колени. Сплю стоя. Тогда следователь тащит меня к умывальнику, наполняет раковину водой и окунает туда мою голову. Допросы возобновляются. Мне не дают есть. Лишь время от времени, когда от сухости во рту у меня деревенеет язык и я с трудом говорю, следователь протягивает кружку воды.

Вопросы, без конца вопросы. Некоторые напоминают мне о процессе Райка. Я восклицаю: «Но ведь эти самые вопросы задавали Райку, когда его судили!»

«Видно, вы хорошо изучили этот процесс, господин Лондон. Впрочем, в вашем лице мы имеем дело с участником того же самого заговора. Теперь наш черед сделать то, что уже сделали венгры. Не думайте, что, если вы были по ту сторону Пиренеев, нам ничего не известно о вашей деятельности в Испании! И Альпы тоже не скрыли от нас ваших происков в Швейцарии! Мы не одни, нам помогает советская разведка. Мы пользуемся опытом московских процессов и чисток, без которых, как известно, Советский Союз не смог бы выиграть войну. Так вот, советская разведка помогает нам получить полную картину вашей деятельности в Испании, во Франции и в Швейцарии».

Для меня это удар. Я знал, что в Праге работают советники из СССР. Я узнал о них потому, что Министерство иностранных дел просили предоставить «советским специалистам» особые продуктовые карточки и прочие привилегии, которыми пользовались члены дипломатического корпуса. Мы, впрочем, отказали. Но присутствие советских советников на ключевых участках казалось нам вещью нормальной—олицетворением принципа помощи со стороны старшего социалистического брата.

Мне приходят на память сомнения, которые вызвали у меня некоторые выдвинутые против Райка обвинения. Неужели те же люди, что сегодня действуют здесь, были и за кулисами процесса Райка? Все эти мысли проносятся у меня в голове, но мне некогда в них разобраться, потому что нужно отвечать, отвечать без передышки, на вопросы, которые обрушиваются на меня в бешеном темпе.

«Вы не можете отрицать, что знали Райка!»

«Конечно, знал его по Испании. Мы несколько раз встречались в Альбасете, на базе Интербригад, в 1938 году».

Меня долго допрашивают о Банете, нашем общем друге в Испании. Выходец из Словакии, он был политическим комиссаром венгерского батальона имени Ракоши. Я узнал от друзей, что вскоре после ареста Райка он застрелился.

Меня спрашивают о болгарских добровольцах. Потом следователи требуют, чтобы я рассказал о моих дружеских связях с югославскими добровольцами, сохранившими верность Тито. Вопрос, впрочем, задается в следующей форме: «Расскажите нам о титовце-имяреке, знакомом вам по Испании»

Обессилев, я падаю. Меня тащат к умывальнику, окунают головой в воду, и снова адская карусель: допрос, сопровождаемый ударами, оскорблениями, угрозами по адресу моей семьи, в особенности жены, которую грозятся арестовать. Отвечаю механически, словно автомат. Я уже не знаю, что говорю. Я уже не различаю сменяющихся свидетелей, их лица сливаются для меня в одно. Не знаю, какой сегодня день. Начинаю говорить на разных языках. Удивляюсь тому, что меня допрашивают по-испански, потом по-французски, затем по-русски, по-немецки, и я перехожу с одного языка на другой.

Потом я уже говорю не со следователем, а с моим другом Вагнером. Мы оба в Москве, в 1936 году, во время чисток. Он работает в Коминтерне. Он заходит ко мне, в мою маленькую комнатку в гостинице «Союзная». Он подавлен, обескуражен. Его только что выгнали с работы, потому что в новой автобиографии, которую его заставили написать— по меньшей мере в десятый раз за последние годы,— заметили ничтожное расхождение в изложении давнего эпизода, относящегося к тому времени, когда он еще жил в Маньчжурии. Его отец, служивший при царе на железной дороге, был послан на работу в Маньчжурию и взял туда свою семью. Вагнер был подпольным работником в Компартии Китая. Позже он работал в аппарате Коминтерна, осуществлял связь с Кантоном, Шанхаем и другими крупными китайскими центрами, нелегально переправлял корейских коммунистов через советско-китайскую и китайско-корейскую границы. Когда его положение в Маньчжурии стало опасным, он приехал в Москву.

Начальник его отдела был арестован во время последней чистки Коминтерна. Тогда принялись еще раз сличать многочисленные анкеты Вагнера. Он говорит мне, что различие в формулировке было подчеркнуто красным и черным карандашами. Его выгнали, отобрали документы, партбилет, выселили из комнаты в гостинице «Люкс», где живет большинство работников Коминтерна. Он оказался на улице — без денег, без партбилета, без удостоверения личности. Тогда он пришел ко мне. Я пытаюсь его успокоить: все его знают, уважают, все быстро уладится. Теперь он стоит передо мной в кабинете следователя, стоит, опустив голову, и в глазах у него отчаяние.

А вот к нам присоединяется мой соотечественник, который познакомил меня с Вагнером. Однорукий. Только что закончил в Харькове курсы журналистов и собирается вернуться в Чехословакию, где должен возглавить партийную газету Прикарпатской области. В те годы мы подолгу спорили с ним по поводу убийства Кирова, арестов, процессов Зиновьева и Каменева, бесконечных проверок, которые за этим последовали, чисток в Коминтерне и КИМе

Вот мы снова собрались втроем, и я не понимаю, почему следователь все время вмешивается в наш разговор. Почему он кричит: «Говорите по-чешски, по-чешски! Что вы там бормочете?» Он-то что лезет? Ведь его не было с нами в Москве. И с какой стати он все время говорит со мной об испанцах, об Испании? Ведь я еще не был там. Откуда он меня знает? Зачем он трясет меня, зачем

окунает мою голову в воду? Слышу, как он орет, но смысл его слов от меня ускользает.

Кто-то говорит: «Вы бредите. Вы не в своем уме». На меня надевают маску, опять отводят в подвал. Когда мне развязывают глаза, я вижу свою новую темницу. Она немного больше предыдущей. Посередине нечто вроде канализационной трубы, из которой через короткие промежутки времени вытекает, заливая пол, зловонная черная жижа. Ноги у меня по щиколотку в этой грязи. Надзиратель снова долбит: «Ходить!» Я бреду как лунатик. В глазах темнеет, я больше ничего не различаю, не вижу стен, ударяюсь о них. Падаю Вижу вокруг себя густую сеть паутины, пытаюсь защититься от огромных черных пауков, которые набрасываются на меня, но всякий раз между моими руками и чудовищными мохнатыми тварями возникает черно-белая решетка. Встаю. Вновь ударяюсь о стены. Потом — полный мрак.

В какой-то момент смутно осознаю, что отворяется дверь и чей-то голос говорит: «Пусть сидит, мы его сейчас заберем». С моей одежды стекает вода Меня волокут и укладывают на доски, настеленные в углу камеры. Когда меня затем выводят куда-то на свежий воздух, передо мной возникает прекрасное видение: я — в Монте-Карло (где никогда в жизни не был), на великолепном, сияющем огнями пляже. На рейде целая флотилия военных кораблей. Небо расцвечено фейерверком. Слышится тихая музыка — играют венские вальсы...

Прихожу в сознание. Я лежу на полу. По свету, проникающему в щели между досками, понимаю, что наступил день. Сколько времени я проспал? Четыре часа, пять? Получаю миску супа и кусок хлеба.

Во второй половине дня допрос возобновляется. По календарю на столе следователя вижу — сегодня уже пятница. Значит, прошла еще одна неделя почти без еды и питья, да и без сна; если не считать последних четырех часов — я все время на ногах под непрерывным допросом. На этот раз допрос продлится до ночи с воскресенья на понедельник.

Они становятся все грубее. Теперь их сразу двое или трое. Когда меня дубасят кулаками или бьют головой о стену, то предварительно завязывают глаза. Зачем? Чтобы я не знал, кто именно из них троих меня бьет? Чтобы усугубить мою растерянность?

Внезапно двое следователей хватают меня и, завязав глаза, волокут в коридор. Спускаюсь по лестнице и оказываюсь на свежем воздухе. Чувствую, как мне накидывают на шею петлю — возможно, это шарф — и волокут, как собаку, на поводке. Я задыхаюсь, но они продолжают тянуть: «Вперед!» Меня заставляют бежать. Чувствую под ногами рыхлую землю. Падаю, меня поднимают, подтягивают за петлю. «Вперед! Марш!» Иду «Теперь бегом!» Падаю. Сильные руки подхватывают меня Ведут по ступенькам вниз. По ледяному воздуху и затхлому запаху догадываюсь: я опять в подвале. Чей-то голос ругает меня по-русски: «Сволочь, троцкистская падла! Уже в Союзе ты начал свое троцкистское паскудство. Признавайся! Теперь ты нам расскажешь, кто были там твои сообщники. А мы тебя расстреляем как троцкиста!» Это говорит не русский, у него чешский акцент. Я отвечаю: «Я не троцкист и никогда им не был. Вы не заставите меня говорить неправду». Меня бьют. Продолжают оскорблять по-русски, но я знаю, что передо мной чехи. Опять волокут на допрос. На лице у меня маска. Всякий раз, когда я отрицаю приписываемые мне преступления, меня избивают. Падаю. Меня поднимают. Новые удары и новые вопросы. Наконец срывают маску Глаза ничего не различают, все вокруг идет ходуном. В голове одна мысль: спать!

В ночь с воскресенья на понедельник в кабинете появляется Смола. Он применяет новую тактику — говорит спокойно и пытается улестить меня: «Ведь совершенно ясно, господин Лондон, что в руководстве Французской компартии кишмя кишели враги. Тому доказательство — политика этого руководства после поражения, и вашей большой заслугой стала бы помощь в его разоблачении. Для вас это было бы возможностью искупить свои преступления». Он взывает к моей партийности, к моей преданности СССР, к моей коммунистической сознательности, чтобы добиться от меня того, чего не удалось добиться физическими и моральными пытками.

После трех дней и ночей непрерывных допросов я окончательно истощен. У меня вновь начинаются галлюцинации, мне слышатся чьи-то голоса, потом я узнаю в коридорах голоса Лиз и детей, говорю с воображаемыми людьми, брежу. Несколько раз я валюсь замертво. Смола решает, что может заставить меня что-нибудь подписать. Он печатает протокол, в котором говорится о политических ошибках ФКП. Несмотря на свое состояние, я протестую против тех формулировок, которые он мне зачитывает. Чтобы не погубить всю затею, он соглашается изменить, смягчить эти формулировки: «В моей работе я совершил ошибки, проистекавшие из ошибок руководства Французской коммунистической партии. У меня были контакты с Алисой Кон, Властой Весела, Павликом и Фейглом, осужденными за связь с Филдом (кроме Власты Весела, покончившей самоубийством в тюрьме Рузине во время следствия); я принимал для подпольной работы партии деньги американских империалистов» (так госбезопасность трактовала помощь, которую мы получали от Филда во время оккупации).

Я не запомнил содержание этих заявлений, помешало мое тогдашнее состояние. Я готов был подписать все что угодно о самом себе, лишь бы мне дали поспать хоть пять минут.

Гордый тем, что он считает «своей» победой, Смола тотчас отправляет меня в камеру, где мне дают поспать несколько часов. Когда на следующий день допрос возобновляется, я первым делом отказываюсь от моей подписи на вчерашнем протоколе. Я заявляю что у меня ее вырвали в бессознательном состоянии, под физическим и моральным давлением

Смола вне себя от ярости. «Ничего, вам развяжут язык!»

Допросы следуют один за другим и ведутся со все большим ожесточением. Лишенный сна, еды и питья, я нахожусь в ужасном физическом состоянии А ведь им отлично известно, что я тяжелобольной человек. С самого начала я предупредил следователей о

моей болезни и о необходимости сделать мне поддувание. Но меня не лечат. «Вас покажут врачу, когда вы сознаетесь в своей троцкистской и шпионской деятельности»,— вот единственный ответ, который я получил.

Из-за того, что я постоянно в наручниках, руки мои превратились в огромные культяпки, которые все время болят. Меня продолжают допрашивать столь же грубо, заставляют все время стоять, а следователи регулярно сменяются. Иногда они собираются по двое, по трое и забрасывают меня вопросами и оскорблениями. Время от времени меня отводят в совершенно пустую камеру или в подвал. Одно изменение: руки мне теперь сковывают спереди, чтобы надзирателю не нужно было лишний раз снимать и надевать мне наручники, когда я справляю нужду в его присутствии. Если надзиратель попадается добрый, он помогает мне натянуть брюки. Миску с едой ставят прямо на пол, руки скованы — я опускаюсь на колени и пытаюсь есть, но удается это с большим трудом.

И все же я хочу жить, я решил бороться! От первой своей подписи я отказался. Пусть издохну, но не поддамся им. Они меня так не возьмут! Я должен драться ради самого себя, ради своего прошлого, ради своих друзей — это мой долг перед товарищами, перед семьей.

Нет больше ни дня, ни ночи. Все долетающие до меня звуки — это шаги в соседней камере, рыдания, женские голоса, стук в дверь, шум побоев и грубый приказ: «Ходить!» Кого-то куда-то волокут.

Во время допросов я узнаю, что ночь кончается, когда следователь начинает зевать и потягиваться. На рассвете атмосфера становится какой-то ватной. У меня такое чувство, будто я живу вне времени, вне реальности.

Некоторые из моих мучителей, похоже, убеждены, что выполняют «почетное задание», помогая партии «сорвать со злодеев маску». Их так воспитали, им внушили — все средства хороши, чтобы вырвать у врагов партии те признания, которых требует начальство. Методы, применяемые для достижения этой цели — мистификации, подтасовки, моральное и физическое давление, даже провокации,— кажутся им вполне нормальными. Законными.

Многие следователи на этой работе недавно. Кое-кто набран на заводах. В органах они получили ускоренную и примитивную подготовку, о чем говорит их крайне низкий политический уровень. Впрочем, большинство — просто твердолобые тупицы. Трудно, даже невозможно заставить их понять самые элементарные вещи, касающиеся борьбы подпольных компартий и их политики.

«Почему после оккупации Франции вы продолжали поддерживать связи с консульством Чехословакии в Марселе, которым руководили сторонники Бенеша? Почему не обратились в советское посольство в Виши, чтобы оно снабдило вас деньгами для подпольной работы?»

Когда я говорю об образовании во Франции Национального фронта чехословацких эмигрантов, куда входили сторонники Бенеша, коммунисты и беспартийные, следователь усматривает в этом отказ от коммунистических принципов: «Как это возможно, чтоб коммунисты сотрудничали с бенешистами? Думаете, мы идиоты?»

Другой приходит в ярость, когда я объясняю ему суть движения ФТПФ[1] в Париже: «Так я вам и поверил, что партизаны могли действовать в городах, а тем более в Париже! Партизаны были только в деревнях и лесах...» Третий следователь просто-напросто начисто отрицает значение вооруженного сопротивления в западных странах, так как «в этой войне идет в счет только то, что сделала Красная Армия...» Еще один не может понять, почему ФКП не взяла власть после высадки союзников в Нормандии.

И все убеждены, что каждый, кто побывал на Западе,—по меньшей мере подозрительная личность, потенциальный шпион.

Думаю, таких людей не случайно подбирают в аппарат госбезопасности, ибо ими можно управлять, как роботами. С гарантией, что все доводы обвиняемых, пусть даже самые убедительные, не прошибут броню их невежества и глупости, не поколеблют их понятия о «признаниях», которые необходимо выбить любой ценой.

Постепенно в ходе допросов мне открывается структура этого аппарата. Вот она.

Каждой группой следователей руководит начальник в чине капитана или майора. Подполковник Доубек координирует работу всех групп и поддерживает контакт с министром госбезопасности. Начальники групп уже не простые исполнители. Они ведут допросы с большей ловкостью и хитростью, чем их подчиненные. Они гибкие и послушные орудия в руках советских советников, которые лично дают им указания; таким образом, они знают часть созданной главарями «конструкции», которой с помощью своих подчиненных-следователей должны придать видимость реальности.

Вот что я узнаю после своей реабилитации в 1956 году от Алоиса Са́мета, бывшего интербригадовца, который поначалу сотрудничал с советскими советниками, работавшими в системе госбезопасности:

«Они появились в Чехословакии осенью 1949 года, после процесса Райка. Говорили, что у нас наверняка тоже существует заговор против государства. Что враги, пытающиеся свергнуть наш строй, проникли повсюду — и в партию, и в правительственный аппарат. По указанию этих советников арестовывали людей, которые по характеру своей работы и связям «могли бы» заниматься антиправительственной деятельностью. А доказательства искали потом.

Один из советников — Борисов — приказал мне передавать ему лично после каждого допроса копию каждого протокола, составленного вместе с подследственным. Я заметил, что Генеральный секретарь ЦК партии уже получает копии протоколов. Он резко поставил меня на место и запретил обсуждать его распоряжения.

Я имел дело также с другими советскими советниками, в частности с Лихачевым и Смирновым. Они собирали компрометирующие сведения на всех, особенно на людей,

[1] ФТПФ (Французские «вольные стрелки» и партизаны) — крупнейшая боевая организация движения Сопротивления во Франции в 1941—1944 годах *(прим. перев.)*.

занимавших высокие посты, включая Сланского и Готвальда...

Они навязали нам и расширили свою власть, пользуясь доверием к ним со стороны руководства партии, видевшего в них гарантию высококвалифицированной и надежной работы органов безопасности. В каждом серьезном случае Готвальд прибегал к их советам. По их инициативе принималось большинство серьезных решений Министерства госбезопасности, и они этим пользовались, вводя у нас методы, применявшиеся в СССР. Все чаще, вместо того чтобы обращаться по инстанции, работники госбезопасности, особенно работники следственной части, шли за распоряжениями к ним.

Сразу же после прибытия они стали обрабатывать весь аппарат госбезопасности через своих «доверенных лиц», преданных им душой и телом. Таким образом им быстро удалось создать внутри госбезопасности, где они официально работали, параллельную полицию, которая подчинялась им одним...»

В Рузине во время ежедневных допросов, продолжавшихся в течение двадцати двух месяцев моего заключения, до самого суда, я мог убедиться в существовании этих «доверенных лиц» не только среди начальников следственных групп, но и среди простых следователей. Этим людям их «настоящие руководители» поручали конфиденциальные и особые задания, которые те должны были выполнять, минуя иерархию подчинения. Я не раз имел возможность убедиться в антагонизме между официальным аппаратом и тайным, созданным внутри него советскими советниками.

Так, за два или три дня до процесса, то есть в середине ноября 1952 года, в кабинет, где меня допрашивали, вошел капитан Когоутек. Он сказал следователю: «Дай мне все протоколы тех, кого будут судить. Приехал министр Раис и хочет взглянуть на них...» Замечу, кстати, что министр юстиции ознакомился с протоколами допросов обвиняемых только накануне процесса! Оказалось к тому же, что эти протоколы вовсе не были предназначены для глаз министра. Когоутек и следователь стали судорожно рыться в папках и изымать оттуда многочисленные листы, которые поспешно запихали в ящик стола и заперли. Это были протоколы допросов, где речь шла о самом министре — Стефане Раисе. «Признания» доказывали его связь с центром антигосударственного заговора. Разве он не занимал пост министра юстиции? Следовательно, нужно было иметь в запасе материал и на него. Тем более что он еврей.

И в центральной тюрьме Леопольдова, куда меня переведут в 1954 году, я опять увижу доверенных лиц советских советников, занятых тем же делом. Они приезжали допрашивать нашего товарища по несчастью Олдржиха Черного, обвиняемого в троцкистской деятельности и осужденного по делу, связанному с нашим. От него требовали подтверждения военных преступлений, совершенных... самим Президентом Республики Антонином Запотоцким. Запотоцкий действительно совершил «непростительное преступление»: был отправлен в немецкий лагерь Заксенхаузен и вдобавок участвовал там в движении Сопротивления. Советники запугивали Черного, стремясь собрать на Президента обвинительный материал вроде того, который позволил на нашем процессе приговорить к смерти Йозефа Франка и Шваба.

К тому же в Рузине все важные протоколы переводились на русский язык, и именно этот текст считался аутентичным. Советники вносили туда дополнения и поправки, какие считали нужными, прежде чем вернуть текст начальникам групп, которые и должны были вырвать у подследственного подпись под этим сочинением.

Подобная система позволяла не только следить за допросами на всех этапах, но и устанавливать каждый раз общее направление «признаний», а также организовывать соревнование между следственными группами и внутри этих групп — между рядовыми сотрудниками. Нужно было не только выполнить спущенный сверху план «признаний», но еще и внести в это дело некий личный вклад. Наши следователи хвастались друг перед другом своими формулировками, будто тщеславные рифмоплеты.

Почти сразу же, где-то в начале апреля, мне представился случай в этом убедиться. В то время как меня допрашивал Смола, в кабинет вбежал один из следователей, размахивая какой-то бумажкой. Он сказал: «Погляди, какую я получил формулировочку. В ней все, что нам нужно...» Уходя, он оставил майору Смоле копию, чтобы тот мог ознакомиться с текстом. Уже на пороге он снова повторил: «Да, вот это здорово, это удача!»

Полчаса спустя, выведенный из себя тем, что я упорно все отрицаю, Смола, по своему обыкновению, хватает меня за горло и яростно трясет. Тут же он показывает мне тот самый «удачный» отрывок, и я узнаю, что речь идет о допросе Свободы. «Это все, что я имею сказать по поводу троцкистской группы добровольцев Интербригад во время их пребывания в Париже». Следователь счел своим личным успехом, что в протокол допроса Свободы было вставлено выражение «троцкистская группа». Это, кстати сказать, выводит из себя Смолу, которому пока не удается добиться того же от меня.

Когда позже, имея дело уже с Когоутеком, который заменил Смолу в руководстве допросами, я запротестовал против применения эпитета «троцкистская группа» по отношению к бывшим интербригадовцам, он цинично ответил мне: «Это все пустяки. Я буду еще писать «шпионская троцкистская организация», и вам придется принять эту формулировку».

В отношении интербригадовцев, как и в отношении евреев, царят погромные настроения. Еще в 1953 году это найдет выражение в направленном всем государственным учреждениям циркуляре госбезопасности, где интербригадовцы приравниваются к чинам полиции и армии немецкого протектората Чехии и Моравии и к словацкой фашистской гвардии Глинки. Интернациональные бригады в Испании попросту ставятся на одну доску с частями интервентов, сражавшимися против Красной Армии в 1918—1922 годах и против Советов в Венгрии в 1919 году. Подобное отношение распространяется на Интернациональные бригады в целом. Не щадят никого. Так, например, меня долго допрашивают по поводу ужина в Праге в 1950 году, на котором Павел, Свобода, Заводский, Валеш, я и другие встретились с Луиджи Лон-

со, нынешним Генеральным секретарем Итальянской компартии, который в Испании был генеральным инспектором Интернациональных бригад.

Меня допрашивают также по поводу обеда, который я устроил в честь болгарского министра Димо Дичева, когда он приезжал в Чехословакию. Он тогда выразил желание встретиться кое с кем из интербригадовцев, знакомых ему по Испании. На этом обеде совершенно случайно присутствовали также и мой зять Реймон Гюйо, член Политбюро ФКП, и его жена, находившиеся тогда проездом в Праге. Следователь просто взвился, услышав эту подробность. Он поручил меня напарнику, сказав, что сам должен немедленно отправиться к «нашим друзьям», чтобы сообщить им важный факт. Вернувшись через четверть часа, он жестоко меня избил и потребовал признания в том, что я организовал этот обед с целью свести Гюйо с Дичевым, чтобы первый мог с помощью второго создать «свою шпионскую сеть в Европе».

Испания! Я восстаю против всей этой грязи и, оставшись один, пытаюсь мысленно воскресить в памяти нашу Испанию. Ту Испанию, что я ношу в своем сердце...

Как-то ночью, попивая кофе, следователь сообщает мне, что получен приказ работать над нашим делом круглосуточно, чтобы собрать материал для Пленума Центрального Комитета, который состоится в этом месяце. На Пленуме товарищ Готвальд должен объяснить и оправдать перед партией и страной арест добровольцев Интербригад. Так, используя «признания» Заводского, ложные показания, доносы, заправилы госбезопасности рассчитывают получить санкцию ЦК на сфабрикованное ими дело о троцкистском заговоре добровольцев Интербригад.

И вот 22 февраля 1951 года Готвальд, выступая перед Центральным Комитетом, заявляет: «...Сегодня мы наблюдаем еще одно подобное явление. Речь идет о судьбе многих людей, сражавшихся в Испании. После падения республиканской Испании многие добровольцы Интернациональных бригад оказались в лагерях во Франции. Они находились там в очень тяжелых условиях и подвергались нажиму и шантажу со стороны сначала французской шпионской службы, затем американской, позже немецкой и других. Пользуясь тяжелым физическим и моральным состоянием добровольцев, эти шпионские службы сумели завербовать многих из них в качестве своих агентов... Те, кого завербовали французы или американцы, непосредственно служили западным империалистам, а завербованные гестапо после разгрома гитлеровской Германии, как и все агенты гестапо, были переданы американской шпионской службе».

А в это время я и многие другие еще бились, пытаясь доказать свою невиновность. Но мы уже были обречены. Слова Готвальда становятся отныне «неопровержимым доказательством» нашей вины и оправдывают применяемые следователями методы — ведь так велит партия, и, пытая нас, они доказывают свою преданность ей!

Хотя место допросов часто меняется, дневной свет неизменно отсутствует. В моих воспоминаниях этот мир остается погруженным в тусклый или слепящий свет электрических лампочек. После каждого допроса меня переводят в новую камеру. Чаще всего — в подвал, чтобы привести в соответствующее состояние для продолжения допроса. Но и оказаться в комнате с сухим полом и тюфяком в углу не лучше. Тогда мне приходится со скованными руками развертывать матрас, а уходя на допрос, опять сворачивать его и мыть пол — тоже в наручниках. Мне так больно, что я с сожалением вспоминаю о сыром подвале, где, по крайней мере, я был избавлен от этой пытки. Запястья и пальцы чудовищно распухли, наручники все глубже врезаются в тело.

До сих пор меня преследует воспоминание о наручниках, и осталась навязчивая привычка поглаживать и массировать запястья... Из-за постоянного наклона туловища вперед плечи и спина страшно устают, начинаются судороги. Окаменевшие руки с тяжелым грузом на кистях пригибают меня к земле во время бесконечного, безумного хождения по камере. Опущенная голова стукается о стену, если мне случается задремать на ходу, и когда я просыпаюсь от удара, уже не могу отличить явь от бреда. Я все реже остаюсь в подвале один — меня сопровождают и преследуют страшные фантастические видения. Когда усталость, боль и сон валят меня на землю, меня окатывают холодной водой, заставляют делать приседания и убирать камеру.

Даже еда, которой ждешь с таким нетерпением, превращается в новую пытку: дымящийся в ледяном воздухе котелок всегда ставят прямо на пол. В камере нет ни стола, ни табурета. Со скованными руками, опустившись на четвереньки, я пытаюсь хлебать, но это не так легко. У человека нет сноровки животного, и когда наступает время собирать котелки, мой уносят почти полным. Я постоянно голоден, и от этого галлюцинации усиливаются.

Со временем допросы принимают более определенную направленность. Я начинаю понимать, что меня намечают (сначала вместе с Павелом, а затем одного) на роль руководителя «разложившейся троцкистской группы бывших добровольцев Интербригад».

Позднее я узнаю причины этого изменения тактики.

В 1953 году, через несколько месяцев после процесса и моего осуждения, я окажусь в кабинете одного из следователей, которые сейчас допрашивают меня. Он скажет мне: «Не думайте, господин Лондон, что вы с самого начала были выбраны на роль руководителя группы. Вы ведь в течение многих лет жили за пределами Чехословакии. И вернулись лишь после 1948 года, что создавало нам некоторые затруднения. Сначала мы пытались ориентироваться на Павела как руководителя группы, потом на Хольдоша, но это не удовлетворяло нас полностью. И тогда выбор пал на вас, потому что вы долго оставались на Западе и там, как и здесь, занимали ответственные посты, были руководителем добровольцев во Франции. Вы были знакомы с Филдом и имели обширные международные связи. И к тому же вы по происхождению еврей. Словом, вы обладали всеми необходимыми для нашей концепции качествами».

Но пока я еще в самом начале пути, в конце которого мне откроется смысл происходящего. Кружа по камерам и подвалам, я

стараюсь привести в порядок свои мысли, но всякий раз сталкиваюсь с непреодолимыми трудностями. Даже если внешняя обстановка обострилась, даже если раскрыт заговор против нашего социалистического государства, при чем тут бывшие испанские добровольцы? Вначале я думал, что речь идет только обо мне — из-за знакомства с Филдом,— но теперь эта история как будто отступает на второй план. Первые атаки против испанских добровольцев восходят к югославскому делу. На процессе Райка они приняли более ожесточенный характер. И вот теперь Готвальд выносит нам безапелляционный и окончательный приговор...

Как мог Готвальд скопом осудить сотни людей, которые не колеблясь оставили по призыву партии тепло домашнего очага, спокойную работу и любимых, чтобы отправиться на фронты Мадрида, Арагона — туда, где кипели бои, — и при этом верили, что, сражаясь в Испании, они защищают свою родину? Как могла партия вынести решение на основе полицейских фальсификаций, даже не пытаясь проверить их? И почему за спиной следователей скрываются советские советники? Советники, управляющие ими, словно марионетками?! Мне никак не удается распутать этот клубок.

В который уже раз мне завязывают глаза и куда-то ведут. В подвал? Я вдыхаю чистый воздух, жадно глотаю его. Мы на улице. Меня вталкивают в машину, и пока мы едем. я не перестаю лихорадочно думать: куда меня везут? А вдруг мне вернут свободу?

Машина останавливается. Я поднимаюсь по лестнице, иду по длинным коридорам. Когда с меня снимают повязку, оказываюсь в обычной камере, похожей на десятки других, в которых мне довелось побывать за свою жизнь. Дверь немедленно захлопывается, снаружи раздается голос: «Можете лечь». Это распоряжение излишне, я уже и так рухнул в угол и тотчас же заснул. Просыпаюсь от толчков. Надо мною два человека, один из них снимает с меня наручники. Как описать облегчение, испытываемое мною, когда освобождаются руки и я могу пошевелить пальцами и выпрямиться! Отныне мне станут сковывать руки за спиной лишь раз в неделю — во время бритья.

Мне выдают куртку без пуговиц, брюки на резинке и огромные тяжелые войлочные шлепанцы с жесткими и колючими стельками, сплетенными из волокон кокосового ореха. Я еще не знаю, что пытка наручниками сменится новой.

И опять приказ ходить. Первые же шаги причиняют мне мучительную боль. Я ступаю словно по лезвию бритвы, ноги сразу вспухают. Однако после недавнего ада уже одно то, что меня поместили в нормальную тюремную камеру, пробуждает надежду. Мне дают дымящийся котелок и кусок хлеба. В виде исключения позволяют присесть на табуретку, чтобы поесть. Я чувствую, что оживаю.

Немного позднее меня снова куда-то ведут, как всегда с завязанными глазами. Я оказываюсь перед Смолой. С минуту он разглядывает меня: «Если бы вы могли на себя взглянуть, то не узнали бы себя. — И продолжает: — Сегодня 1 марта. Вы находитесь в тюрьме госбезопасности. Мы начнем допрос заново, с самого начала. Партия поручила нам ваше и другие дела. Мы будем информировать ее каждый день о вашем поведении на следствии и отношении к нам. Если вы хотите искупить свою вину, у вас есть только один путь: признайтесь во всем, что совершили вы и остальные».

«Я готов ответить на все ваши вопросы, но при одном условии: чтобы мои ответы заносились в протокол со всей точностью, а не так, как это пытались делать до сих пор».

«Вы рискуете головой. Обдумайте хорошенько свое поведение».

Итак, уже 1 марта! Значит, я провел в Колодее больше месяца.

Зная энергичный характер жены, я уверен — она сделала все возможное и невозможное, чтобы узнать, где я, и добиться объяснений.

Позднее она расскажет мне, что произошло у нас дома после моего ареста. Вот ее рассказ: «Мы прождали тебя полдня. Меня огорчало и сердило твое затянувшееся отсутствие: ведь ты обещал вернуться как можно скорее. Когда наступил час обеда, я стала обзванивать всех твоих друзей, но никто тебя не видел. Когда мы уже садились за стол, я услышала, как перед домом остановилась машина. Поспешила к двери, думая, что это ты. Но в дом вломились, оттеснив меня, четыре человека. Они были совсем молодые и оживленно размахивали руками.

«Мы пришли сделать обыск».

«На каком основании? Предъявите ордер».

У них ничего не было, и я со всей решительностью загородила дверь в гостиную и не позволила им пройти дальше. Сказала, что немедленно свяжусь по телефону со Сланским и с министром госбезопасности, чтобы сообщить об этом вторжении и потребовать защиты. Они не разрешили мне звонить, но, посовещавшись, послали одного из четверки за инструкциями. Остальные, в ожидании его возвращения, уселись на диване в передней.

Мне удается убедить маму, едва стоящую на ногах — так велико ее потрясение,— пойти в свою комнату и лечь. Отец шагает взад и вперед по гостиной. Мишель ходит от кресла к креслу, лепеча «папа», «папа» — это его первое слово. Он тянется к молодым людям, которые явно смущены, цепляется за их ноги: «Папа-папа»—и смеется. Кто-то из них спрашивает меня: «Сколько ему?» «Год и месяц». «И уже так хорошо ходит? Забавно, что он все время зовет отца». Я предлагаю им кофе, рассказываю, что мой отец — испанец, шахтер по профессии и старый активист Французской коммунистической партии. Видно, что наша стойкость производит на них впечатление, они становятся вежливыми и стараются держаться незаметно.

Через три часа подъезжает новая машина, и в дом ураганом врывается новая шайка горилл. Их не меньше шести. Один — по-видимому, начальник — предъявляет мне бумагу и, не дожидаясь, пока я прочту ее, отталкивает меня и приказывает приступить к обыску, который длится почти всю ночь. Мне удается внушить им, чтобы они не шумели в детской: ребята было открыли глаза, но я их успокоила, и они снова заснули. У родителей тоже обшарили все, перевернули вверх дном все их вещи. Мама лежала и молча плакала. И я сказала им: «Вы ведете себя не лучше нацистских полицейских, ко-

торые арестовали меня и мужа в 1942 году!»

Группа, явившаяся позднее, уехала, забрав целый чемодан документов и семейных бумаг. Трое остались.

Утром я готовлю завтрак, кормлю на кухне детей, словно ничего не произошло. Они, как обычно, отправляются в школу. Немного погодя за своими коллегами приезжает на машине сотрудник госбезопасности. Он советует мне не говорить никому о случившемся и пойти, как всегда, на работу. В обычный час приходит машина из министерства, чтобы отвезти меня на службу. Шофер явно не в своей тарелке, но не задает никаких вопросов. Прежде чем уехать, набираю номер телефона Широкого, воспользовавшись прямым проводом, соединяющим нашу квартиру с министерством и Центральным Комитетом партии. Я сообщаю ему о твоем аресте и прошу немедленно принять меня. Он назначает мне встречу на завтрашнее утро.

И вот я вхожу в кабинет Широкого. Он выглядит очень смущенным. Говорит, что после моего звонка навел справки о тебе, что я не должна принимать все это трагически. Что ты вовсе не арестован. Речь идет лишь о временной изоляции, необходимой для выяснения некоторых важных и сугубо секретных проблем. Что ты должен помочь «размотать» запутанный клубок очень серьезных дел, которые тревожат партию, или что-то в этом роде. Я говорю ему, что вчера тебе должны были делать поддувание в легкие. Он успокаивает меня, уверяя, что за тобой прекрасный уход. На прощание говорит, что машина и шофер по-прежнему остаются в моем распоряжении. Короче, этот разговор вернул мне надежду.

Я продолжала ходить на службу. Никто из моих коллег не догадывался о драме, которую я переживала. В среду к дому подъехал на старой «шкоде» незнакомый шофер, сказавший, что министерство направило его в мое распоряжение вместо прежнего. Я сильно подозревала, что он шпик, но мне это было безразлично. Я не могла сделать без него и шагу. В течение двух месяцев он повсюду сопровождал меня — вплоть до того дня, когда стало известно, что партком министерства исключил тебя из партии...»

Сразу же после встречи с Широким Лиз послала письмо руководству партии. Оно датировано 30 января 1951 года.

«В Секретариат ЦК партии.
Вручить товарищу Сланскому.
Дорогие товарищи!

Мне выпало тяжкое испытание, несомненно, самое тяжелое, какое мне только пришлось пережить, хотя жизнь отнюдь не щадила меня. Будучи членом партии и комсомолкой с 1930 года, я всегда пользовалась доверием партии. В отделе кадров есть моя биография, так что я не буду здесь пересказывать ее.

В прошлое воскресенье сотрудники госбезопасности дважды, двумя бригадами произвели у нас обыск. Они держались так, словно имели дело с врагами режима, с фашистами. Тогда же я узнала с глубокой горечью, что мой муж арестован. Товарищ Широкий, которого я видела вчера в министерстве, сказал, что в данном случае не следует употреблять это слово, однако все выглядит именно как арест!

Мне очень трудно говорить об этом. Да и как мне не быть в отчаянии, если мой муж, которому я полностью доверяю, подвергается столь суровому испытанию: разве есть что-нибудь страшнее мысли, что партия больше не доверяет тебе?

Однако я с величайшим спокойствием ожидаю разъяснения этого недоразумения. Я прожила бок о бок с Жераром[1] более пятнадцати лет. И абсолютно уверена в его политической честности, в его преданности партии, которая была путеводной нитью всей его жизни. Я говорю о своем муже совершенно спокойно и беспристрастно. Я не ослеплена любовью. Я сужу о нем как коммунистка, сознающая его достоинства и недостатки. Я достаточно долго состою в партии, чтобы понимать, что она имеет право знать каждого своего бойца, что она в любую минуту может потребовать от него объяснений относительно его жизни и действий. Это правило распространяется на всех членов партии, и если есть проблемы, которые Жерар должен разъяснить, я понимаю, что его долг — сделать это.

Тем не менее я считаю, что методы, пущенные в ход, несправедливы. Ничто в нашем поведении не давало оснований для подобного отношения. Уверяю вас, я бы не обиделась, если бы товарищи попросили у меня разрешения просмотреть наши бумаги. Но подвергать меня такому обращению — совершенно недопустимо.

Я убеждена, что в настоящую минуту Жерар тоже очень спокоен и исполнен мужества, что он стремится помочь разъяснению всех запутанных вопросов. И в этом он тоже будет действовать как сознательный коммунист и не позволит себе поддаться отчаянию, которое могут вызвать методы, применявшиеся против нас.

Я безгранично доверяю Жерару и потому скрыла от всех — сослуживцев и знакомых — драму, выпавшую на мою долю. Потому что я уверена — мой муж вернется к нам, и не надо поднимать шума вокруг этих событий, чтобы не повредить партии. Я прошу руководство партии принять со своей стороны все меры, чтобы разобраться в этом деле как можно скорее.

С коммунистическим приветом,

Лиз Риколь-Лондон».

Только после освобождения я нашел среди возвращенных мне бумаг письма, которые моя жена и дочь написали через четыре дня после моего ареста, чтобы поздравить с днем рождения, и которые мне так и не передали.

«1 февраля, 22 часа.

Мой Жерар!

Сегодня твой день рождения. Я уверена, что ты думаешь о нас, как и мы — о тебе. Ни на мгновение я не расстаюсь с тобой, не поддаюсь горю, играю с детьми, работаю. Я бесконечно доверяю тебе, верю в тебя, и так же безгранична моя вера в партию. Конечно, я предпочла бы не знать этого испытания, самого горького из всех, но мы с тобой старые коммунисты и потому должны мужественно противостоять трудностям и бороться, чтобы преодолеть их.

Вот что я хотела тебе сказать в этот вечер, мой Жерар. Я верю тебе и жду. Я люблю тебя.

Твоя Лиз».

[1] Партийная кличка А. Лондона *(прим. перев.)*.

«Прага, 1/II 1951 года

Мой дорогой и любимый папочка!

Я пишу это письмо по случаю твоего дня рождения, чтобы пожелать тебе всего наилучшего и сказать, как много я думаю о тебе во время твоего отсутствия. Я очень довольна, что могу тебе сообщить: у меня хорошие отметки и я надеюсь скоро получить пионерский галстук. Я думаю о том, как ты будешь рад увидеть меня с пионерским галстуком, ведь тебе так хотелось этого. У Жерара тоже хорошие отметки, он гордится тем, что может сказать: «Когда папа вернется, он будет очень доволен мной и отпустит меня учиться в СССР». Мишель научился играть в футбол и взбираться в кресло. Мама подстригла ему волосы кружочком, и теперь он очень похож на девочку. Завтра мы с дедушкой пойдем смотреть фильм «Великий гражданин», в котором показана жизнь Кирова. В школе учителя стали очень строгими, теперь нельзя даже чуть-чуть поболтать с соседями. Мама кончила читать «Далеко от Москвы», и скоро я примусь за эту книгу. Сейчас я заканчиваю «Жизнь Олега Кошевого».

Мы все здоровы, чего и тебе желаю.

Твоя любящая дочь

Франсуаза».

Часть вторая

РУЗИНЕ

Мне так и не скажут, в какой тюрьме я нахожусь. Частый и громкий гул авиационных моторов заставляет предположить, что я в Рузиньской тюрьме, расположенной рядом с Пражским аэропортом. Этот гул — мой единственный ориентир. Двадцать семь месяцев я проведу здесь в абсолютном одиночестве. Я вижу лишь надзирателей и следователей. Когда меня ведут из камеры в комнату, где проходят допросы, мне всегда завязывают глаза. Повязку надевают в камере и снимают только у следователя. После окончания допроса или в перерывах та же процедура повторяется в обратном порядке.

Камера маленькая и узкая. Окно с двойными рамами и матовыми стеклами открывается всего на несколько минут в сутки для проветривания, причем каждый раз меня заставляют отойти в другой конец камеры. В тех случаях, когда меня не ставят лицом к стене, я вижу кусочек неба и верхушки тополей. Впоследствии, когда меня переведут в другую камеру, расположенную в новом здании, я буду лишен и этого зрелища, поскольку вентиляционная система там устроена таким образом, что окон открывать не надо.

О своей первой камере я вспоминаю почти с нежностью. В перерывах между допросами она служила мне убежищем. Сюда доносились из внешнего мира шумы жизни: отдаленные голоса, лай собак, чириканье воробьев, пение птиц. А иногда звуки похоронного марша — должно быть, мое окно выходило на Рузиньское кладбище.

Небольшой деревянный стол, две табуретки, прикрепленные цепью к стене, соломенный тюфяк и параша в углу — в общем, камера как камера. Я научился узнавать время по расположению солнечных лучей и теней и понемногу начал разбираться в тюремных звуках. Итак, снова — в который раз — одиночка, но какая! Такого страшного одиночества, такой полной изоляции, такого строгого надзора мне еще не доводилось испытывать. Когда мне разрешают спать, тюфяк должен находиться против глазка. Лампа на потолке остается включенной всю ночь, и свет падает прямо в глаза. В камере очень холодно. Арестантская куртка нисколько не греет. Вечером я должен ее тщательнейшим образом свернуть и положить на табуретку, и если надзиратель решит, что я сделал это недостаточно аккуратно, то разбудит меня — иногда несколько раз,— чтобы я заново сложил ее.

Иногда я слышу яростные удары в соседнюю дверь, ужасные вопли, торопливые шаги надзирателей, шум борьбы, порой шарканье, возню, приглушенные стоны — кого-то волокут по коридору. Через несколько минут дверь снова открывается и захлопывается — моего соседа водворяют обратно. Из перешептывания надзирателей мне удается понять, что ему надели смирительную рубашку и заткнули кляпом рот, чтобы затем потащить под холодный душ. Некоторых заключенных держат в смирительной рубашке по двадцать четыре и даже по сорок восемь часов кряду. Вскоре мне тоже придется познакомиться с этой камерой, или, вернее, карцером.

Я не получаю никаких писем. Совершенно не знаю, что происходит на воле. Я всегда один — наедине со своими мыслями. Каждое утро во время обхода надзиратель неизменно произносит: «Жалобы и претензии?». И я автоматически повторяю все ту же просьбу: «Я хочу написать в ЦК. Я хочу встретиться с представителями партийного руководства».

Хотя я получаю здесь более регулярное питание, чем в Колодее, меня постоянно мучит голод: паек так мал! Однажды ночью следователь, заметив, с какой жадностью я гляжу на его бутерброд, сказал: «Есть хочется, да? Что ж, признаете свою вину, тогда вас будут кормить получше». Несмотря на то, что минуту назад мы яростно спорили, он все же предложил мне кусок хлеба. Мы оказались земляками — он тоже из Остравы.

Но хуже всего недосыпание, оно особенно изматывает потому, что я все время на ногах — на допросах и в камере, где должен, не переставая, ходить.

Тюрьма просыпается рано — между пятью и шестью утра. Нужно встать, сложить одеяло, свернуть матрас, убрать камеру, умыться. И снова ходить...

В начале моего пребывания в Рузине допросы продолжались днем и ночью. Начинались с утра и кончались назавтра между четырьмя и пятью часами, причем мне не разрешалось даже присесть. Когда следователи обедают или ужинают, меня уводят в камеру, где я должен ходить до тех пор, пока за мной снова не явятся. А иногда меня заставляли ходить весь день до захода солнца, после чего вели на допрос, который продолжался без перерыва до самого утра.

Если же мне разрешают спать те четыре часа, на которые я теоретически «имею право», то и это превращается в новую пытку: я должен лежать на спине, вытянув руки вдоль тела, обязательно поверх одеяла. Стоит только мне повернуться на бок, как надзиратель, не отходящий от глазка, сразу же

будит меня, заставляет встать, сложить постель, сделать несколько приседаний, вытянув руки вперед, и раздеться, затем обливает водой и заставляет ходить по камере. И только после этого разрешает лечь. Случается, подобные наказания повторяют три-четыре раза подряд.

Одно время у меня был такой режим: днем хожу по камере, после отбоя стелю постель и засыпаю как убитый, потому что изнурен до предела. Едва я засыпаю, надзиратель расталкивает меня и ведет на допрос. Через час-другой меня отправляют обратно в камеру. Снова ложусь и засыпаю, но вскоре меня опять будят и ведут на допрос. И так — всю ночь.

Результат недосыпания в течение долгих недель и месяцев — приступы помешательства и постоянно преследующие меня галлюцинации. Я уже не могу управлять своим мозгом, боюсь сойти с ума. Порой я впадаю в состояние полной апатии и отупения, передвигаюсь и действую, словно автомат.

Это самая страшная пытка — когда тебе не дают спать. Я много раз был в тюрьме — при Первой республике, потом во Франции в период оккупации. В Париже меня допрашивала Особая антитеррористическая бригада, известная своими зверствами. Я прошел через нацистские концлагеря, притом самые худшие — Нойе Бремме, Маутхаузен. Но оскорбления, угрозы, побои, голод, жажда — все это детские игры по сравнению с лишением сна, с этой планомерной адской пыткой, которая опустошает мозг человека, превращая его в животное, подчиняющееся лишь инстинкту самосохранения.

А ведь и другие средства физического и морального принуждения тоже использовались вовсю. Например, беспрерывное хождение. Я был в Нойе Бремме и знаю, что такое гестаповский лагерь строгого режима; этот метод эффективно использовался нацистской системой и там — в качестве подготовки к Маутхаузену. Но тогда это длилось всего двадцать шесть дней. Здесь же выматывающее хождение, особенно мучительное из-за приказа держать руки по швам, продолжается целые месяцы. К тому же, благодаря тапочкам, чьей-то «удачной» находке (их выдали мне по прибытии и заменяют новыми, едва только стелька становится мягче), уже после пары часов ходьбы мои ступни покрываются волдырями; несколько дней спустя ноги распухают, словно я страдаю слоновой болезнью. Когда на пальцах возле ногтей лопаются волдыри, превращаясь в гнойные раны, я уже не могу влезть в тапочки и хожу босиком, за что получаю жестокий нагоняй. Со временем эта пытка становится не менее ужасной, чем истязание наручниками.

Несмотря на мои просьбы вызвать врача, меня не лечат. Два дня подряд я харкаю кровью. Когда в конце марта меня все же решат отправить в больницу в Буловке, чтобы сделать поддувание, майор Смола уточнит: «Не думайте, что мы делаем это из-за заботы о вашем здоровье. Нет, вас лечат исключительно для того, чтобы вы дотянули до процесса и могли живым отправиться на виселицу».

Допросы ведутся в нарастающем темпе. Все усилия госбезопасности направлены на то, чтобы сделать из меня «главаря троцкистской группы добровольцев Интернациональных бригад» и «руководителя троцкистского заговора в Чехословакии». На каждом новом допросе мне предъявляют новые обвинения. Мне показывают новые «признания», вырванные у моих «сообщников»—Заводского, Доры Клейн, Свободы, Хольдоша, Громадко, Павлика, Фейгла, Шпирка, Неквасила и других. Позже я узнаю, что протокол с «признанием» Валеша полностью сфабрикован следователями и он его даже не видел. Разумеется, это далеко не единственная фальшивка, используемая для моей «обработки». Органы госбезопасности и партийные организации собрали против нас десятки заявлений. Это ответ на клич, брошенный партией: каждый, кто с нами знаком, должен написать все что знает, чтобы помочь разоблачить предателей. Этот призыв к доносительству развязывает вспышку истерии и коллективного психоза, необходимых для подготовки общественного мнения к нашему процессу.

Каждый день я вижу, как на столе следователя растет кипа доносов, присланных по почте. Он любезно показывает их мне. Авторы этих доносов, под влиянием газетных статей и выступлений руководителей партии, клеймящих нас, задним числом истолковывают самые обычные факты как преступления. Одни — чтобы внести свой вклад в общее дело, другие — из страха. Сами того не подозревая, они выполняют ту же работу, что и органы госбезопасности.

Некоторые непосредственно участвуют в травле и с полной готовностью выдумывают все, что угодно нашим обвинителям. Сколько карьер было построено и упрочено на этом фундаменте! Люди, занимающие разные должности в посольствах или партийном аппарате, даже если они едва знакомы со мной, сочиняют целые приключенческие романы. Иные делают это, чтобы отмежеваться от меня и обеспечить собственную безопасность. Тем не менее некоторые будут арестованы на основании своих же докладных: ознакомившись с ними, органы госбезопасности решат, что личность авторов вполне соответствует концепции «заговора» и что они уже созрели для того, чтобы перейти к собственным «признаниям».

Большинство писем адресовано в Центральный Комитет партии. Многие из них мне читали, другие я сам держал в руках. На одном я видел пометку сотрудника Отдела кадров: «Передать министру Копрживе», а ниже, другим почерком: «Передать товарищу Доубеку». Таким образом, аппарат Центрального Комитета обслуживал органы госбезопасности.

Между тем я начинаю замечать нетерпение моих следователей. Еще в Колодее один из них предупредил меня,что они день и ночь работают над нашим делом. Тогда это делалось для того, чтобы Центральный Комитет санкционировал наш арест. Теперь — чтобы как можно скорее передать дело в суд, потому что публичный процесс над нашей группой стал «политической необходимостью». Возбужденный Смола добавляет: «Это будет большой процесс в Верховном суде. Ваша банда будет разоблачена перед рабочим классом страны. Вы понимаете, что это означает для вас? Верховный суд не станет миндальничать!..»

Поскольку я по-прежнему отказываюсь подписать свои «признания», мне угрожают за-

крытым судом. «Вы заплатите головой,— постоянно слышу я.—И без вашего признания доказательств, которыми мы располагаем, показаний свидетелей достаточно, чтобы осудить вас».

Значит, они могут добиться суда при закрытых дверях? И тогда никто никогда не узнает, что я невиновен?! Эта угроза пострашнее всех остальных. Но и она не оказывает на меня решающего воздействия, потому что, хотя моя надежда и уменьшается день ото дня, подобно шагреневой коже, я все же отказываюсь верить, что не получу возможности объясниться. Зачем, ради чего станет партия покрывать подобные преступления? Это для меня просто непостижимо. И я продолжаю держаться.

В конце мая какой-то следователь, присутствовавший при моем допросе, бросил мне перед уходом: «Когда вы решитесь перейти к признаниям, вы не сообщите нам ничего такого, чего бы мы уже не знали. Рядом с вами Райк просто мальчишка». И в самом деле, они изо всех сил старались доказать, что моя «группа» работала параллельно с «группой Райка». Во всех признаниях, вырванных у моих подельников, повторяются показания, фигурировавшие на процессе Райка. Следователи берут за основу схему этого процесса и выдвигают против нас те же обвинения.

Кто может остановить эту адскую машину?

Вот уже четыре месяца, как я попал в ее шестерни.

Главные распорядители, задающие тон в Рузине, в совершенстве овладели искусством пробуждать чувство вины у тех, кого они «обрабатывают». Пользуясь тем, что человек, находящийся перед ними, не понимает, в чем его обвиняют, тем, что он рассказывает свою жизнь, словно верующий на исповеди, и без конца ищет причину недоразумения между ним и партией в ошибках и оплошностях, которые мог допустить в работе и личной жизни, в непонимании тех или иных решений партии, они умело обнаруживают в ходе допросов «рудоносную жилу». Вернее, они нащупывают слабое место, которое можно будет использовать в их целях. Они учтут его в своих дальнейших построениях. Они станут ловко манипулировать «объективностью» и «субъективностью», чтобы вынудить у жертвы признание вины. У них есть опыт и привычка, время на размышления, свобода и возможность взглянуть на все со стороны. Они направляют игру издалека, через посредников. Человек, попавший в их капкан, догадывается об их существовании лишь по случайным намекам! И тайна, окружающая их, тоже увеличивает их власть и могущество, а тем самым — отчаяние жертвы, чувствующей их мертвую хватку. Эти заправилы — советские советники.

Я нашел у Кьеркегора описание того, что пережил в то время: «Человек, охваченный отчаянием — не от вины, а оттого, что ему приписывают ее,— становится виновным». Это чувство собственной виновности свойственно каждому индивидууму — даже в повседневной жизни,— оно присуще человеческому сознанию. Кто из нас в школьные годы не краснел до самых ушей — не будучи, однако, ни в чем виноват,— когда учитель, обращаясь ко всему классу, требовал, чтобы ученик, совершивший ту или иную шалость, назвал себя?! Кто не спрашивал себя, глядя на направляющегося к нему полицейского: «Какое нарушение я допустил?»—еще прежде, чем тот откроет рот? Кто из арестованных подпольщиков не думал: «Если бы я строже соблюдал требования конспирации... Если бы... если бы...».

К тому же в нашей революционной и партийной деятельности постоянная самокритика и стремление к совершенству приучили нас возлагать на самих себя ответственность за недостатки, ошибки и неудачи. Мы сформировались под знаком этой самодисциплины, не подозревая о том, что сталинские методы, которые позднее обобщит термин «культ личности», в конце концов придадут ей характер неосознанной религиозности. И если даже на свободе мы испытывали некую смутную вину перед обожествленной партией, то как могли мы противиться этому чувству в состоянии потрясения, вызванного арестом, который был произведен по приказу партии, одобрен ее руководством и принят как должное советскими советниками?

Я на себе испытал силу этого оружия органов госбезопасности, и если сегодня уже могу анализировать механизм его воздействия, то тогда об этом не могло быть и речи. Я был его жертвой. «Каждый поступок, каждый факт,— говорили мне,— должен получить объективное отражение в протоколе. Позднее мы рассмотрим его субъективную сторону». Это означало, что раз я был связан с Филдом, а Филд был разоблачен как шпион на процессе Райка, я должен признать свою «объективную» вину, вытекающую из этой связи, даже если «субъективно» я в то время не знал о роли Филда. Это означало, что раз мои товарищи из Интернациональных бригад подписали показания, в которых признавали себя виновными в различных преступлениях против государства, я «объективно виновен», поскольку был их руководителем. И так день за днем, ночь за ночью, допрос за допросом мне будут твердить об «объективной виновности».

«Отдел кадров министерства иностранных дел находился в вашем ведении в то время, когда в Швейцарию был послан Бротан, а в Индию—Кратохвил. Оба отказались вернуться в Чехословакию. Следовательно, они изменники! Вы не можете отрицать, что послали за границу предателей? Как следует назвать кадровую политику, которая состоит в том, чтобы посылать за границу предателей? Объективно это политика саботажа и предательства!» Следователи утверждают также, что передача любой информации, даже если она взята из центрального органа КПЧ «Руде право», какому-нибудь иностранцу — даже если он коммунист—считается по нашим законам шпионской акцией. «Разговоры, которые вы вели с вашими французскими гостями, когда принимали их у себя дома,—а откуда вы знаете, что среди них не было шпионов? — касались положения в нашей стране. Следовательно, объективно эти разговоры имели шпионский характер».

Один из следователей наглядно продемонстрировал мне, как фабрикуется обвинение в шпионаже: «Мы прекрасно знаем, что Филд не представился вам в качестве шпиона. Эти люди работают иначе... Он попросил вас дать ему некоторые сведения, что вы и сделали:

сообщили адрес Радиокомитета в Праге и имя его директора Лаштовички; адрес отдела культурных связей Министерства информации и культуры, имя руководителя этого отдела Адольфа Гофмейстера. Вы сообщили ему, что являетесь главным редактором парижского еженедельника «Параллель 50». И все это— человеку, разоблаченному в качестве шпиона. Объективно это означает сотрудничество со шпионом, и именно так ваше поведение квалифицируется нашими законами».

Он продолжает:

«Вы были знакомы с Филдом? Вы поддерживали с ним связь?»

«Да».

«Филд был разоблачен в качестве американского шпиона на процессе Райка?»

«Да».

«Как называется связь, поддерживаемая со шпионами? Это шпионская связь. Не так ли? А тот, кто поддерживает шпионскую связь со шпионом, сам является шпионом. Зачем бояться этих слов? Тот, кто выпекает хлеб, называется пекарем, а не иначе...»

И так как я решительно возражаю против столь недобросовестного истолкования фактов — ведь сведения, которые я сообщил Филду, широко известны и он мог бы сам отыскать адреса в телефонном справочнике Праги,— следователь отвечает: «Если солдат говорит вам, что калибр его винтовки 7,92 — это шпионаж, даже если накануне подробное описание этой винтовки опубликовано в прессе...»

Ни один факт не ускользает от подобного истолкования и искажения. И едва только под воздействием этой рузиньской «логики» (или других методов давления) допрашиваемый признает себя «объективно» виновным в том или ином факте, следователь меняет пластинку. Исходя из этого «признания», в протоколе начинают писать, что не только «объективно», но и «субъективно» обвиняемый является врагом. «Вы же сами сказали, сами признались, что поддерживали знакомство с титовцами, находились в шпионской связи со шпионом Филдом, саботировали кадровую политику в Министерстве иностранных дел... Если вы действовали таким образом, то потому, что вы предатель, потому, что хотели нанести ущерб партии и правительству...»

Даже если не учитывать всего остального, этих «объективных» превращений было бы вполне достаточно, чтобы свести с ума кого угодно. Вдобавок вопросы, которыми советские советники выдают свое присутствие, свидетельствуют об их полном незнании условий жизни на Западе и нежелании разобраться в них, понять политическую ситуацию. Все, что мы делали, оценивается и квалифицируется в свете нынешней международной ситуации, в соответствии с политическими нормами, принятыми в настоящий момент в СССР. Если, скажем, в 1937 году в Испании я был знаком с югославским коммунистом, то об этом в протоколе пишут так: «Еще до войны я поддерживал связь с титовцем Иксом...» Один из рузиньских следователей, доверенное лицо советских советников однажды сказал мне буквально следующее: «Мы должны рассматривать факты и вашу прошлую деятельность в свете сегодняшних событий, а не в контексте тогдашней ситуации. Иначе мы никогда не сможем подготовить процесс, а партии нужен процесс».

Время от времени используется другая тактика: «Как старый и дисциплинированный член партии, вы должны подчиниться ее приговору и признать то, что требуется». Доубек, хозяин Рузине, выражает ту же мысль «поэтически»: «Единственный способ доказать вашу верность партии — это усвоить ее *нынешнюю* точку зрения на события *прошлого*. Представьте себе, что партия находится на том берегу. Вам остается лишь броситься в воду и плыть, чтобы добраться до нее.— И заключает: — В любом случае партия возьмет верх. Если же вы согласитесь действовать в ее интересах, мы обещаем, что это вам зачтется». «Но если я верный сын партии,— отвечаю я,— почему же я здесь? А если я враг и троцкист, по вашему утверждению, то как же вы можете взывать к моей коммунистической сознательности?»

Я обдумываю эту проблему и никак не могу уразуметь, что же побудило Заводского «признаться» во всем в первый же день. Быть может, его сломила гнусность предъявленного ему обвинения в сотрудничестве с гестапо... Но и этого недостаточно.

Теперь-то я понимаю смысл реплики следователя из Колодее, заметившего, что Заводский знает, как ведутся дела в госбезопасности. Он знал о существовании службы, руководимой советскими советниками, знал, что в их руках обвиняемый рано или поздно начнет «признаваться», как это было на московских процессах. Он предпочел опередить события. Он сдался без сопротивления просто потому, что знал больше нас.

Как-то ночью майора Смолу, который допрашивал меня, вызвали к телефону. Он оставил меня с завязанными глазами в коридоре под присмотром следователя, работавшего в соседней комнате. Последний приоткрыл дверь и встал на пороге, чтобы иметь возможность наблюдать за мной. Мой слух, обостренный одиночеством, позволил мне уловить разговор вполголоса. Я узнал голос Заводского. Он спросил следователя: «Кто это в коридоре?» «Лондон». После паузы снова голос Заводского: «Как он, должно быть, устал!» Следователь заявил, что я лишь получил по заслугам, что я вынослив, но моя участь все равно решена. Тогда Заводский спросил, какая участь уготована ему, и ответом было: «Скорее всего вас изолируют, отправят в какой-нибудь совхоз — лет на пять, пока не забудется все это дело...»

Позднее, после моей реабилитации, мне довелось встретить этого следователя, и я попросил его объяснить, как они добились «признаний» Заводского. Он ответил, что по личному приказу министра госбезопасности Копржива для Заводского были созданы привилегированные условия и с ним обращались как с товарищем. По прошествии двух месяцев без всяких объяснений этот приказ был отменен.

«Признания» других заключенных были вырваны бесчеловечными методами и под воздействием «признаний» Заводского. Эти новые «признания» должны были подтвердить показания Заводского, а также снабдить следователей новыми данными, которые позволят усилить нажим на меня.

Например, Павела заставляли сказать, что в 1944 году во Франции он получил от меня

указание вести «враждебную» работу в Чехословакии. На мой ответ: «Как же я мог это сделать, если в 1944 году был в Маутхаузене?» Когоутек, к тому времени сменивший Смолу, заявил, чтобы еще больше обескуражить и деморализовать меня: «Вот видите, как они все бросаются на вас — словно волки, готовые вас разорвать».

Потому что это — последнее оружие органов госбезопасности.

С дьявольской хитростью нас натравливают друг на друга, разжигают взаимную неприязнь, пробуждают и поддерживают личные обиды и разногласия. Нас обманывают: «Такой-то сказал о вас то-то». «Подлец!» «Он еще и не то сказал, а вы, глупец, щадите его». Таким образом удается спровоцировать взаимные обвинения, погрузить нас в трясину грязной склоки, из которой следователи бесстыдно черпают свои «доказательства». Они цитируют показания. Я нахожу в них отражение разногласий, существовавших между Громадко и Свободой с Неквасилом, Неквасилом и Заводским, Клейн и Громадко. Эти разногласия, обостренные и искаженные, переводятся, в обычной манере следователей, из личного плана в политический. До чего они довели этих честных, мужественных борцов, обрабатывая их подобным способом!

Нажим на меня усиливается: «Вот видите, каковы люди, бывшие у вас под началом. Их личности как нельзя лучше освещают личность руководителя».

Где она, боевая солидарность, объединявшая в буржуазных и нацистских тюрьмах политзаключенных и составлявшая одну из основ их мужественного, героического поведения перед лицом полицейских, судей и палачей?

Я вижу себя во дворе мрачной средневековой тюрьмы в Пуаси в сентябре 1943 года, среди двадцати четырех других политзаключенных, приговоренных к крайне тяжелым мерам наказания. Вооруженные до зубов команды вишистской и немецкой полиции ждали, когда тюремная администрация передаст нас в их руки. Обычно таким образом поступали с заложниками, которых вели на расстрел. Все мы думали, что нас ожидает та же участь. Мы пели «Марсельезу» и «Интернационал», кричали «Да здравствует Франция!», «Да здравствует де Голль!», «Да здравствует Красная Армия!», «Да здравствует Сталин!», и к нашей демонстрации присоединились другие политзаключенные, находившиеся в камерах. И вдруг я слышу, что кто-то громко зовет меня: «Жерар! Жерар!» Я вглядываюсь в лица людей, гроздьями повисших на решетках окон, которые выходят во двор, и узнаю Лацо — он машет мне изо всех сил. Я подхожу ближе, тоже машу рукой, приветствуя его: «Прощай, Лацо!» Он плачет и кричит: «Я хочу к вам! Хочу умереть с вами!»

Что сделали с нами здесь?

Следователи в конце концов добились того, что заключенные стали по-волчьи кидаться друг на друга. Эти бесовские методы способствовали фабрикации целой серии самых грубых и мерзких фальшивок о наших «преступлениях» и «измене».

Каждый день мое дело обогащается новыми «обвинениями», каждый день следователи приписывают мне все более тяжкие преступления: «Ваша шпионская деятельность началась еще до 1947 года, когда вы связались с Ноэлом Филдом. Вы занимались ею еще в Испании. Доказательство...» Оно формулируется так: «Лондон помог Международной комиссии Лиги Наций проникнуть в лагеря, где находились чехословацкие добровольцы, чтобы дать ей возможность вступить с ними в личные контакты и заставить их заполнить анкеты... Таким образом он осуществлял шпионаж в международном масштабе...»

Я вспоминаю осень 1938 года, когда по предложению испанского республиканского правительства Лига Наций приняла решение об отзыве всех иностранных военных сил из Испании. Для наблюдения за тем, как выполняется это решение обеими воюющими сторонами, была создана Международная комиссия, действовавшая как в зоне, оккупированной Франко, так и на республиканской территории. Добровольцы были отозваны с фронтов и в ожидании отправки на родину жили в лагерях в Каталонии.

После регистрации всех добровольцев члены комиссии получили право поговорить без свидетелей с каждым, дабы убедиться, что на них не было оказано никакого давления. Главный вопрос, который надо было выяснить: в какую страну хотел репатриироваться доброволец. Это было особенно важно для выходцев из стран, находившихся под фашистским господством, поскольку возвращение на родину означало для них тюремное заключение.

В ту пору я был инструктором ЦК Компартии Испании среди чехословацких добровольцев. В этом качестве я принял бывшего офицера Интербригад, нашего соотечественника Смрчку, работавшего переводчиком при Международной комиссии. Он хотел нас предупредить, что во время бесед добровольцев с членами комиссии самые наивные выбалтывали подробности относительно каналов, которыми пользовались, чтобы попасть в Испанию, в частности называли имена людей, работавших в Комитете помощи республиканской Испании и принимавших участие в вербовке и отправке добровольцев в Испанию. Иные даже записали свои сообщения на особых бланках.

Если учесть ситуацию в Чехословакии после Мюнхенского сговора, это могло иметь серьезные последствия, тем более что большинство наших товарищей выразили желание вернуться на родину, чтобы продолжать борьбу против Гитлера, который уже оккупировал Судеты и готовился проглотить остальную Чехословакию. Благодаря помощи Смрчки удалось получить эти бланки обратно. Мы убедили наших товарищей заполнить новые, опустив все подробности, которые могли бы повредить антифашистским и коммунистическим активистам Чехословакии. А теперь мое сотрудничество с Смрчкой, который так много сделал для нашей партии, родины и интернационального антифашистского движения, превращают в доказательство моей «шпионской деятельности в пользу Международной комиссии Лиги Наций».

Этот кадровый офицер, приехавший в Испанию, чтобы сражаться в рядах Интернациональных бригад, был назначен связистом в штаб 15-й бригады. Его поведение в Интер

бригадах было безупречным. Он умея говорить с людьми, пользовался большой симпатией солдат.

Исключительная храбрость Смрчки вызывала восхищение и уважение. После одной из атак, предпринятой его бригадой против фашистских позиций, раненый политкомиссар части остался лежать в нескольких метрах от вражеской траншеи. Все попытки вынести его проваливались. Каждый раз, когда кто-нибудь приближался к нему, фашисты открывали заградительный огонь. Смрчка сам вызвался пойти. Прижимаясь к земле, он дополз до комиссара и, рискуя жизнью, вынес его с поля боя. В сражениях он был семь раз ранен. Лишился глаза... После войны мы узнали, что он был казнен гестапо — то ли в 1943-м, то ли в 1944 году. Таков человек, знакомство с которым мне инкриминируется.

Следователи только издеваются над моими объяснениями. «Итак, вы занимались шпионажем в Испании вместе со своим сообщником Смрчкой».

А вот и новое обвинение: я — «агент Тито». Оно основано на моих дружеских и партийных связях со многими югославскими товарищами. Чехословацкие добровольцы в Испании сражались в смешанных частях, в которые входили и югославы (129-я чехо-балканская бригада, батальон «Дивисионарио» 25-й дивизии и др.). Естественно, между чехами и югославами, общавшимися ежедневно, завязывались дружеские отношения. Да и могло ли быть иначе? Люди жили бок о бок в одних и тех же траншеях, госпиталях, населенных пунктах, а позднее — в тех же лагерях для интернированных. Но поскольку для органов каждый югослав сегодня «титовец», каждого бывшего добровольца, естественно, обвиняют в том, что он еще в Испании встречался с «титовцами» и теперь является «агентом Тито».

Что касается меня, то поскольку в 1939—1940 годах я работал с представителем югославской компартии в Париже Кидричем, который сейчас занимает в своей стране пост министра и, согласно советской терминологии, является «одним из руководителей титовской клики», моя давняя изменническая деятельность в пользу титовцев считается совершенно доказанной, даже если речь тогда шла о том, чтобы добыть фальшивые паспорта для Швермы и Широкого, то есть руководителей представительства КПЧ во Франции.

После моего перевода из Колодее в Рузине я каждый день во время утреннего обхода прошу разрешения написать письмо в ЦК или Президенту Готвальду. Я обращаюсь с той же просьбой и к следователям, и к майору Смоле, который всякий раз отвечает мне: «Партия скажет вам то же, что и мы. Партия здесь — это мы. Вы — преступник. Партии не о чем с вами разговаривать. Докажите свое желание искупить вину, признав свои преступления и шпионскую деятельность, и тогда партия выслушает вас».

Тем не менее я каждый день повторяю все ту же просьбу. Наконец. 3 апреля меня ведут в какую-то комнату и когда снимают с глаз повязку, я вижу перед собой министра госбезопасности Копрживу. Комендант Рузине Доубек и Смола присутствуют при этой встрече.

Копржива яростно набрасывается на меня: «Так как же? Ты все еще отказываешься говорить? И долго это будет продолжаться?» «С первого дня я прошу, чтобы протоколы вели должным образом: тогда я смогу отвечать на все задаваемые мне вопросы. Но я абсолютно не могу согласиться с тем, чтобы в протокол записывали лживые измышления, которых от меня хотят добиться».

Копржива приходит в ярость: «Ты скажешь, кто давал тебе приказы и направлял подрывную троцкистскую деятельность твоей банды!» «Я не понимаю, что все это означает. Я делал лишь то, что приказывала мне партия». Он грубо, со злостью прерывает меня: «Ты передал Заводскому,что я спрашивал тебя о нем!» Я пытаюсь объясниться, но он не дает мне вымолвить ни слова: «Ты врешь, как всегда! Мы уничтожим тебя! Признаешься ты или нет, мы тебя уничтожим, можешь быть уверен, на суде мы добьемся своего!» И он отдает распоряжение увести меня в камеру. На пороге я оборачиваюсь к нему: «Разрешите, по крайней мере, передать моей семье, детям деньги, которые были при мне в момент ареста». Все с той же яростью он отвечает: «После того, как признаешься».

Меня снова приводят в кабинет Смолы. Тот злорадствует: «Ну что ж, вот вы и получили возможность поговорить с партией! Вас предупреждали... Разве министр не сказал вам то же, что и я? — И заключает: — А теперь вас отправят в карцер». «Почему?» «Потому что вы имели наглость обратиться с жалобой к министру, не признав своей вины».

И вот я снова в карцере — без одеяла и без матраца. Я шагаю в абсолютной темноте, ослепляемый через регулярные промежутки времени—всякий раз, когда открывается глазок, — резким светом лампы. Я решаю, что все это уже не имеет значения. Мне — конец. Я останавливаюсь и ложусь на пол. Надзиратель приказывает мне подняться. Я отказываюсь. Второй надзиратель выливает на меня ведро воды. Я не шевелюсь. Совместными усилиями они пытаются поднять меня и поставить на ноги. Но я словно окаменел и мешком валюсь на пол. Они угрожают мне смирительной рубашкой. Я продолжаю неподвижно лежать на полу. Один из них выходит: наверное, отправился за инструкциями. Потом выходит и второй. Беготня и топот за дверью стихают. Я лежу на полу и дрожу от холода в своей мокрой куртке.

После встречи с Копржи вой — членом Политбюро и министром госбезопасности — все мои надежды рухнули. Оказаться на положении политзаключенного в социалистическом государстве для коммуниста — уже само по себе страшное испытание. Теперь же, после этой встречи, я больше не сомневаюсь, что партия вынесла мне приговор. Я одинок, слаб, безоружен перед «представителями» этой партии, которой посвятил всю свою жизнь, этого строя, созданию которого помогал в течение стольких лет борьбы и жертв. Я вспоминаю слова моей жены после процесса Райка: «Как это должно быть ужасно для коммунистки — узнать вот так, в один прекрасный день, что человек, с которым она жила и от которого родила детей,— предатель». На этот раз все — и моя жена тоже — будут считать, что предатель я!

Моя встреча с Копржи вой состоялась в зна-

менательный для меня день — день рождения моего сына Жерара. Он родился 3 апреля 1943 года в тюрьме Птит-Рокет в Париже, где в то время находилась Лиз. «Сегодня в шесть утра у тебя родился мальчик, красивый и здоровый,— писала мне Одетт Дюге, арестованная по тому же делу, что и моя жена.—Он сразу же подал голос, ты бы только слышал, как он заорал!» Все прошло благополучно. Лиз держалась очень мужественно и все время думала о тебе. Их обоих только что унесли на носилках в Бодлок...»

15 апреля ее вместе с младенцем перевели в тюрьму Френ. В огромном ледяном зале, где оформляли вновь прибывших заключенных, жена беспомощно наблюдала, как сестра из роддома, сопровождавшая ее, раздела ребенка догола, чтобы забрать больничные пеленки. Жена получила его совершенно голеньким, с одной лишь марлевой повязкой вокруг животика. Это был один из самых мучительных моментов ее заключения. Она скрыла от меня подробности, как и все другие горести, выпавшие на ее долю. Она писала мне веселые, бодрые и оптимистичные письма. Ни одной жалобы... А между тем каждую ночь она думала о том, как будет держаться, поднимаясь на эшафот!

Я был тогда в тюрьме Санте.

В те времена нашей спутницей была смерть. Но наша жизнь была прекрасна и богата событиями.

Нас с женой арестовали 12 августа 1942 года на нелегальной квартире, хозяев которой кто-то выдал,— там полиция устроила засаду. Жену разыскивала Особая антитеррористическая бригада после событий 1 августа, когда среди бела дня на авеню Орлеан близ Данфер-Рошро была организована большая патриотическая демонстрация. В те дни все стены Парижа были обклеены объявлениями комендатуры, предупреждавшими население о том, какая участь ждет партизан, задержанных с оружием в руках, и каким репрессиям подвергнутся члены их семей. Мадлен Марзен и члены ФТПФ, арестованные незадолго до того, после демонстрации на улице Бюси, были приговорены к смерти. Для устрашения населения по парижским улицам разъезжали танки...

В такой атмосфере сотни женщин, мобилизованных женскими комитетами Парижа (одним из которых руководила моя жена), собрались в назначенном месте. От магазина «Феликс-Потен», что на углу улицы Дагер и авеню Орлеан, тянулась очередь домохозяек. Вокруг, на тротуарах — толпы прохожих... Подпольщики, которым поручили защищать демонстрантов, были уже на постах. Ровно в три часа моя жена вскочила на прилавок и обратилась к толпе, призывая к вооруженной борьбе против оккупантов и к саботажу гитлеровской военно-промышленной машины. Со всех сторон летели листовки, слышалась «Марсельеза» Двое полицейских с револьверами в руках пытались схватить Лиз, но она, отбиваясь от них, сумела ускользнуть. Подпольщики прикрыли ее бегство, убив преследовавших ее полицейских и немецкого офицера, стрелявшего в толпу. Среди демонстрантов были убитые и раненые. Свидетели этой демонстрации говорили: «Эти женщины — настоящие воительницы». Лондонское и московское радио в своих передачах много раз упоминали об этой демонстрации.

После ареста мы десять дней были в руках страшной Особой бригады. Допросы шли днем и ночью. Жена держалась замечательно; она и не думала ничего отрицать, она гордилась тем, что выступила перед демонстрантами. «Я как француженка лишь выполнила свой долг... Я не жалею о своем поступке и готова нести за него полную ответственность. Лица, арестованные вместе со мной или в связи со мной, не имеют к этому делу никакого отношения. Мой отец и муж ничего не знают о моей деятельности».

Ее старик отец Фредерик Риколь был арестован вслед за нами в качестве заложника— для того, чтобы усилить давление на Лиз. На очной ставке он разыгрывал удивление, узнав «все такое о своей дочери», и простодушно доказывал, что это невозможно, незаметно подмигивая при этом Лиз, чтобы подбодрить ее.

Полицейским не удалось вырвать у нас ни одного имени, ни одного факта, которые позволили бы им нащупать какие-то нити и привели к новым арестам.

Моей жене, взявшей на себя всю ответственность за «дело улицы Дагер», были предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство, в организации сборища злоумышленников, в коммунистической и террористической деятельности. Еще до нашего перевода из Особой бригады в полицейский участок, мы узнали, что Мадлен Марзен, которой заменили смертный приговор пожизненными каторжными работами, удалось бежать во время переезда в центральную тюрьму Рена. Видя радость моей жены, надзиратель заметил: «Теперь у вас нет ни единого шанса спасти свою голову...»

Кто сказал, что чудес не бывает? По прибытии в тюрьму жене стало дурно, и она поняла, что ждет ребенка. Ее судили примерно год спустя, 16 июля 1943 года, и от смерти ее спасло лишь рождение нашего сына, которому было к тому времени чуть больше трех месяцев. Она отделалась пожизненными каторжными работами. За два месяца до того меня приговорили к десяти годам каторжных работ; я проходил по категории заложников и позднее был отправлен в Германию в числе подлежащих операции «Мрак и туман».

Но тогда я был окружен товарищами, у меня была партия, была надежда, я гордился своими делами. Теперь нет ничего, кроме беспредельного отчаяния...

Осознав все это, я решил покончить самоубийством вместо того, чтобы дать повесить себя как изменника.

В Рузине очень трудно убить себя; так же трудно, как добиться торжества правды. Капитан Когоутек потом скажет мне: «Если бы мы не принимали мер предосторожности, большинство людей, находящихся здесь, попытались бы покончить с собой». Поэтому я выбираю единственную возможность, которая у меня остается,— умереть с голоду; при этом надо, чтобы никто не догадался о моем намерении, ибо в тех случаях, когда заключенный объявляет голодовку, его кормят принудительно. Я надеялся, что многодневные лишения вызовут обострение туберку-

лезного процесса, и я быстро умру. Чтобы поскорее истощить организм, я дважды под предлогом запора прошу слабительное. В течение восемнадцати дней я поддерживаю свои силы только водой. Еду незаметно выбрасываю.

Я худею на глазах. На третий день чувствую жар, жажда усиливается. Я стараюсь пить как можно меньше, чтобы сократить срок своих мучений. Однако во время допросов я вынужден просить воды, потому что язык меня не слушается; разбухнув, он заполняет весь рот, словно какой-то посторонний предмет. Я плохо выговариваю слова. Я боюсь, что следователи что-нибудь заподозрят — они так странно смотрят на меня. Дело кончается тем, что мне дают пить без ограничений. У меня в ногах стоит бутылка с водой. и я постоянно прикладываюсь к ней, чтобы иметь возможность держаться во время допросов. Я страшно похудел, штаны сваливаются, чувствую ужасную слабость, кружится голова. Губы растрескались, вены на руках вздулись и выступают, словно веревки. Я грежу с открытыми глазами, мне кажется, будто в углу моей камеры бьет фонтан с шипучей водой, смешанной с малиновым сиропом, и я жадно вдыхаю его пьянящий аромат. В течение многих дней этот запах неотступно преследует меня.

На восемнадцатый день моей голодовки меня допрашивают о Милане Реймане, сотруднике канцелярии Председателя Совета Министров, арестованном за связь с Филдом. Следователь говорит: «Его самоубийство в тюрьме доказывает, что на его совести много преступлений». Это замечание вызывает в моей памяти выступление Копржива на заседании ЦК в феврале 1950 года, на котором я присутствовал. Он говорил о самоубийстве Реймана точно теми же словами. И так же будет со мной. Самоубийство не только не спасет мою честь, но станет в глазах партии и всего света подтверждением моих преступлений.

Я решаю опять начать есть, чтобы сохранить свои силы до дня суда, на котором я заявлю о своей невиновности и разоблачу преступные методы госбезопасности. Несмотря на мое жалкое состояние, принятое мною решение держаться возвращает мне волю к жизни и борьбе. Но теперь, когда я решил жить, после первой же попытки поесть я чуть не подыхаю. Следователей поражает мое физическое состояние. Их тревожит мысль, что я могу ускользнуть у них из рук. Они заинтересованы в том, чтобы я остался жив, ведь на мне держатся все их построения. Они сообщают о своих опасениях Смоле, который приходит взглянуть на меня во время допроса. «Что это с вами происходит? — спрашивает он.— Ну и видик у вас. Как у ощипанного цыпленка».

Они решают послать меня на медицинский осмотр, и тюремный врач Соммер, отнюдь не пользующийся репутацией жалостливого человека, чувствительного к страданиям арестантов, обследуя меня, с трудом скрывает свое удивление. Я вешу 51 кг. Следовательно, я потерял 15 кг. Он тут же назначает уколы кальция. Отныне я получаю сверх обычного пайка, в котором мне до сих пор отказывали, еще и прибавку, полагающуюся туберкулезнику. В сопровождении тюремной сестры и нового следователя меня отправляют в больницу, чтобы сделать мне поддувание. Врач осматривает меня. Обеспокоенный, он задает вопросы о самочувствии и долго прослушивает меня. Поддувание идет плохо, ему приходится трижды приступать к делу.

На обратном пути следователь забывает завязать мне глаза. Мы едем в сторону Рузине. Эта дорога мне прекрасно знакома — каждый день я ездил этим путем из министерства домой. Я знаю, что через несколько минут мы проедем мимо нашего дома! Вдруг все переворачивается во мне: на углу улицы Ломена я вижу своего тестя; сгорбленный, подавленный, он толкает перед собой детскую колясочку, за которую цепляется мой маленький Мишель. На мальчике розовый костюмчик, который жена привезла ему из Парижа, и белые башмачки. Его большие черные глаза широко открыты, он семенит с обычным для него серьезным выражением лица. Я не в силах сдержать слез. Удивленный следователь спрашивает, что со мной. Мне трудно говорить. Когда до него доходит, что я видел сына с тестем, он не может удержаться от проявления сочувствия. Дает мне сигарету, просит успокоиться, потом завязывает мне глаза, сказав: «Для вас было бы лучше, если бы я сделал это раньше».

После нескольких дней послабления режим становится столь же суровым, как и прежде. Я продолжаю бороться. Я кричу следователю: «Вы можете меня повесить, но ничего не добьетесь от меня вашими методами. Мир уже знал Ежова, по распоряжению которого были расстреляны сотни товарищей, но кончилось тем, что и он, в свою очередь, заплатил за это. У нас тоже настанет день, когда здешние ежовы понесут возмездие!»

Следователь принимает мои слова как милую шутку. Он смеется: «Я всякого насмотрелся, знал и несговорчивых людей вроде вас. Одного из них приговорили к смерти... Я видел его после приговора — он ползал перед нами на коленях».

Позднее я узнаю, что речь шла об Отто Эрнесте, секретаре Лацо Новомеского, выдающегося словацкого поэта. Эрнест в самом деле был приговорен к смерти и подал прошение о помиловании. Органы госбезопасности воспользовались этим, чтобы вырвать у него в обмен на жизнь нужные им показания. Ему сообщили о помиловании лишь после того, как выжали его, словно лимон... Я встретил его потом в центральной тюрьме Леопольдова, где он рассказал мне о пережитых муках. То, что он перенес, было выше человеческих сил. После своего освобождения в 1962 году он покончил самоубийством. Да, он был обречен. Своими «признаниями» он выиграл лишь возможность выбрать время и способ умереть. И все это — во имя «социалистического гуманизма»!

Ежедневно майор Смола или его подручные угрожают мне смертью. «Вам не избежать виселицы. Так покажите, по крайней мере, своим детям, что перед смертью вы искупили часть вины, признав свои преступления!»

1 мая мне разрешают написать коротенькое письмо жене, первое после ареста. Главная моя забота — убедить Лиз в том, что она не жена предателя или шпиона. Но Смо-

ла возвращает это письмо, и его рвут на моих глазах. Я должен писать только о здоровье и семейных делах. Следователь, передающий мне эти инструкции, добавляет: «Это мы будем делать выводы — шпион вы и предатель или нет. Даже на суде вы не сможете говорить с женой. Если вы не измените свое поведение, вас будут судить при закрытых дверях. Ваша семья не сможет присутствовать на процессе. Будут только два человека, из наших. Они и сообщат вашей жене о приговоре».

Предусмотрено все, чтобы нас обесчестить, они не оставили ничего на волю случая. И я написал так, как, наверное, писали из гестаповских тюрем свои последние письма приговоренные к смерти, тоже не зная — дойдут ли они. «Моя Лиз! Прошло уже больше шестнадцати лет после нашего первого поцелуя. Я каждый день вспоминаю о том времени и о всех годах нашей жизни, открывших мне, как чиста и сильна твоя любовь. Отныне только на тебе держится будущее наших дорогих детей и родителей. Подумай, не лучше ли будет для вас всех вернуться во Францию, от которой я вас оторвал. Там твоя родня, твой родной язык. Там ты сможешь найти более подходящую работу и при поддержке сестры и брата тебе легче будет обеспечить семью. Может быть, кто-нибудь из товарищей по партии посоветует, как быть. Что касается меня, то я думаю, это наилучшее решение. Но мне так трудно отсюда давать тебе советы! До свидания, любимая. До следующего письма. Целую вас всех».

Некоторое время спустя Смола показывает мне письмо жены. Он прикрывает текст так, чтобы я мог прочесть только подпись и одну фразу: «Конечно, нелегко содержать шесть человек, но с помощью партии я справлюсь». Он объявляет мне, что жена отказалась от меня и разводится со мной. Итак, сперва я потерял партию, теперь теряю жену и детей. В то время как я продолжаю бороться, от меня отрекаются все, кого я люблю.

Меня еще долго оставляют в этом заблуждении. Только после моих «признаний» мне отдадут письма жены и детей. Тогда я узнаю, как подло меня обманывали и в этом отношении.

После пяти месяцев допросов я знаю, что даже высочайшая самоотверженность, проявленная в антифашистской борьбе, не может защитить от обвинений, которые фабрикуют следователи. Они оклеветали Сиротека, которого гестаповцы оскальпировали, но не заставили говорить; Вейросту, который покончил с собой, проглотив цианистый калий; Куну, Гонека, Фоманека, Маршалека, обезглавленных немцами; Грюнбаума, погибшего во время восстания в варшавском гетто. Что же говорить о нас, вернувшихся живыми из лагерей смерти!

И вот наступает день, когда мне предъявляют обвинение, которое можно назвать венцом этих позорных построений, в течение стольких дней возводившихся у меня на глазах. На основе моей деятельности по организации репатриации добровольцев делается вывод, что я «выдал гестапо подпольный Центральный Комитет Коммунистической партии Чехословакии во главе с Фучиком и Яном Черным». Ни более, ни менее!..

Для меня это самое страшное. Ничто не ранит меня столь глубоко, как эта гнусность. К тому же я хорошо знал Фучика и Черного — мы сблизились еще в тридцатые годы в Москве. Фучик, загорелый и бородатый как геолог, только что вернулся из длительной поездки по Средней Азии, которая дала ему материал для некоторых из его замечательных очерков о Советском Союзе. Мы проводили вместе вечера, и мне посчастливилось услышать его рассказы об увиденном. С Черным мы ездили 1 мая 1935 года в составе чехословацкой делегации в Горький и Чувашскую автономную область. Нам довелось снова встретиться в Испании в 1938 году. Он был сначала политическим комиссаром батальона имени Димитрова, получил тяжелое ранение. После выздоровления руководил отделом чехословацких кадров на базе Интербригад в Альбасете. В течение нескольких месяцев я жил в одной комнате с ним и Кливаром, который в то время был представителем партии в Испании.

И вот теперь меня обвиняют в том, что я выдал их палачам. Для этого я будто бы воспользовался репатриацией Клецана. Клецан был одним из интернированных в Верне добровольцев. Бывший руководитель комсомольской организации шахтерского района Кладно, он превосходно держался в бою. Но поскольку мы считали его недисциплинированным, то приказали ему не искать контактов с руководством партии, а создать собственную боевую группу. В письме подпольному Центральному Комитету, приложенному к списку репатриированных товарищей, мы повторили эту рекомендацию. Разумеется, окончательное решение должно было вынести партийное руководство на месте. Черный, знавший Клецана по Испании, включил его в аппарат Центрального Комитета.

Клецан вместе с Черным и Фучиком стал жертвой той трагической облавы, которая обезглавила партийное руководство. В «Репортаже с петлей на шее» Фучик высказывает предположение о том, что Клецан не выдержал пыток и заговорил.

Таковы факты. Но все множатся «признания» и «свидетельские показания», вырванные у моих подельников, которые рассказывают со всевозможными подробностями, что слышали, как я дал приказ Клецану выдать гестапо партийное руководство (с которым я на самом деле запретил ему поддерживать связь)...

Смола пойдет еще дальше: «Вы несете ответственность за аресты чешских и словацких добровольцев, которых вы репатриировали. Вы умышленно послали их на смерть...» И это тоже подкрепляется необходимыми «свидетельскими показаниями». Больше ничто не может меня удивить. Вот уже я оказываюсь виновником смерти сотен евреев во Франции. Меня обвиняют в том, что я хотел выдать Широкого французской полиции... Но к чему продолжать перечень преступлений, которые мне приписывают? Я чувствую себя раздавленным этой пирамидой лжи. Выполняя данный им приказ, специалисты трудятся день и ночь, чтобы сделать из меня руководителя троцкистского заговора.

Следователи стараются добиться от моих подельников, а также от других заключенных любых показаний, соответствующих отведенной мне роли. При этом органы всегда

придерживаются одного и того же метода: чтобы показания выглядели убедительнее и могли составить неопровержимое доказательство против «главаря», мои «сообщники» должны начать с признания «своей собственной вины». Их заверяют, что заявления, которые они сделают против меня и которые могут скомпрометировать их самих, не будут обращены им во вред. «Партия учтет проявленную вами добрую волю, и ваши показания будут использованы только в ходе следствия...» Разумеется, всякий, кто поддался на эти уговоры, обнаруживает в один прекрасный день — однако слишком поздно! — что ни одно из его признаний не забыто, и оказывается перед судом, несмотря на все свои дальнейшие попытки отказаться от прежних заявлений.

Госбезопасность никогда не выпускает свою добычу из рук.

Один из моих друзей расскажет мне после нашей реабилитации, что он в течение многих недель и месяцев отрицал все — даже собственную подпись и имя, так как думал, будто его просто подвергают испытанию, чтобы проверить, обладает ли он качествами, необходимыми для той ответственной должности в системе госбезопасности, которую он занимал до своего ареста. Смеясь, он скажет мне: «Когда меня бросили в карцер, я потирал руки и думал: это последнее испытание. Сегодня вторник, а освобождают по пятницам. Значит, мне осталось всего три дня...» И только когда он оказался перед судом и услышал, что его приговорили к двадцати годам тюрьмы... только в этот момент он понял, что эта крестная мука не имела ничего общего с «проверкой»!

Однажды незнакомый следователь, присутствующий на допросе, говорит мне: «Уж не думаете ли вы, что сможете еще долго отпираться? Вы принадлежите к числу самых закоренелых, самых упорных врагов, каких мы когда-либо видели. В то время как другие уже покаялись перед партией и сознались в своих преступлениях, вы с редким цинизмом продолжаете упорствовать. Берите пример с Хольдоша: своими признаниями и всем своим поведением он доказал, что в нем еще сохранилась живая искра коммунистического духа и достаточно подуть, чтобы из этой искры возгорелось пламя! Вы уже измотали немало следователей. Когда вы доведете тех двоих, которые вас допрашивают сейчас, их сменят другие. Мы еще посмотрим, кто выдохнется первым. Такой человек, как Радек, держался три месяца. А кончил тем, что все признал. Вы держитесь около четырех месяцев. Уж не думаете ли вы, что эта игра может еще долго продолжаться? Впрочем, вы получите свое сполна, несмотря на отсрочку. Ваши преступления столь велики, что одной веревки для вас мало. Вам понадобятся по крайней мере четыре!»

Угрозы все те же, однако это упоминание о Радеке... Значит, я верно угадал. В самом деле, это замечание подтверждает, какое тесное сотрудничество существует между следователями и советскими советниками, ведь никто, кроме них, не может знать, как вел себя Радек до суда.

И вот теперь следователи принимаются упорно разрабатывать еще одну тему, которая уже проскальзывала во время моих первых допросов в Колодее. Самые фантастические и гнусные обвинения бросаются в адрес руководства Французской компартии и ее политики в период войны. Все средства давления, вплоть до побоев, пущены в ход, чтобы вынудить меня дать показания, компрометирующие лидеров ФКП. Будто бы в течение всей войны они сохраняли и поддерживали внутри партии «руководящий орган европейского троцкизма — ОРИ, являвшуюся секцией IV Интернационала, этого сборища сионистов» (поскольку в его руководстве было три еврея). Будто бы гестапо и гитлеровская разведка имели своих людей в руководстве партии, и поэтому было дано распоряжение репатриировать в оккупированные страны «троцкистских» членов Интербригад и других врагов партии. Когда я возражаю, что работу ОРИ контролировал лично Жак Дюкло, мне отвечают: «Ну и что это меняет?»

Заблуждения и ошибки, допущенные в начале оккупации Франции (например, попытку добиться легального выхода «Юманите»), следователи хотят превратить в доказательства умышленного сотрудничества тогдашнего руководства партии с нацистами. Планомерная атака органов против Французской компартии и ее руководства продолжается в мае и июне. Меня хотят во что бы то ни стало заставить «признаться», что зять моей жены Реймон Гюйо является агентом английской разведки. Что именно благодаря стараниям англичан он был сброшен на парашюте во Францию в период немецкой оккупации; что он был в курсе моей троцкистской деятельности, которую покрывал и поддерживал; что он является руководителем шпионской сети в Европе. Майор Смола, который ведет эти допросы с особой жестокостью, утверждает, что «наши советские друзья располагают всем материалом по этим фактам, их разведка раскрыла все». Он уверяет, что действует от их имени. Кроме того, он показывает мне «признания» некоторых моих подельников, подтверждающие эти обвинения против Реймона Гюйо и Жака Дюкло, и спокойно заявляет: «Подождите, вот изменится государственный строй во Франции, и вы увидите, что сделают с вашим свояком и ему подобными!»

Даже теперь я так и не понял, какова была цель этих атак против Французской компартии. Их вдохновителями были не рузиньские следователи и даже не советские распорядители игры, стоявшие за их спиной. Наверняка инициатива исходила из гораздо более высоких сфер, непосредственно от Берии.

У нас с женой было много друзей во Франции. Когда некоторые из них приезжали в Прагу, то были рады повидать нас. Почти каждую неделю кто-либо из французских товарищей бывал в нашем доме. Напрасно я объясняю следователям, что все наши гости были членами ЦК Французской компартии или видными деятелями массовых организаций,— они утверждают, будто мой дом в Праге был логовом троцкистов и шпионов Второго бюро. Они обвиняют мою жену в том, что она была нашей связной.

Теперь почти каждый день они угрожают, что арестуют жену, если я не признаюсь. Майор Смола внушает мне, что ее арест неминуем. Как-то раз он объявляет мне, что она уже арестована. Я полагаю, в то время органы госбезопасности действительно пыта-

лись добиться от руководства КПЧ согласия на ее арест.

Мне показывают заявления, вырванные у некоторых моих подельников. Они обвиняют Лиз в том, что она играла активную роль в нашей «троцкистской группе» и вела другую антипартийную деятельность а один из моих товарищей «признался», что был ее любовником. Когда впоследствии я встречу его в Леопольдове, он объяснит мне происхождение этого признания. Во время одной из поездок Лиз в Прагу она зашла к нему в кабинет в здании ЦК. Это было как раз в тот день, когда была опубликована резолюция Коминформа относительно Югославии. Жена, опираясь о плечо моего друга, слушала, как он переводит ей текст. В это время открылась дверь, и вошел один из сотрудников аппарата ЦК, чтобы передать какую-то папку. Мой друг представил ему Лиз. И вот на основе доноса этого сотрудника следователи ставят вопрос таким образом: «Если она опиралась на ваше плечо, значит, у вас были интимные отношения?» «Да нет, не интимные, а просто дружеские». «Опиралась она на ваше плечо или нет?» «Да». «Это доказывает, что отношения были интимными. Именно таково точное значение этого слова, как указывается в словаре». «Ладно, пусть будут интимные». И после нового искажения из этой фразы сделали: «Она была моей любовницей». Мне сообщают также, будто Шваб заявил, что она была любовницей Геминдера...

В Рузине довольно часто допрашивают заключенных о всяких «интимных» историях, разумеется, с позиций самой суровой добродетели. Делается это для того, чтобы с одной стороны, усилить моральное давление на заключенного и усугубить его комплекс вины, а с другой — представить его в протоколах и отчетах, посылаемых партийному руководству, как распутника. Обычно обвиняемые без сопротивления уступают в этих вопросах, что дает им своего рода передышку, которую они используют, дабы собраться с силами для защиты от главных обвинений. В Рузине известен случай, когда некую молодую особу чуть ли не дюжина обвиняемых «признали» своей любовницей. Между тем, когда позднее ее подвергли гинекологическому осмотру, выяснилось, что она девушка.

Следователи хватаются за любой предлог, чтобы скомпрометировать мою жену. Так, ей ставятся в вину знакомство и дружба с бывшим депутатом от Праги Хильдой Синковой, покончившей с собой летом 1950 года. Госбезопасность рассматривает это самоубийство как доказательство ее антипартийной деятельности, которую вот-вот должны были разоблачить.

Хильда Синкова была умной женщиной, энергичной и удивительно человечной. Когда в начале 1944 года моя жена попала в Равенсбрюк, именно Хильда, пробывшая там уже два года, ввела ее в курс лагерной жизни. Обеим чудом удалось сохранить фотографии своих дочерей — Франсуазы и Ганки. Они мечтали когда-нибудь познакомить дочек, что и осуществилось во время каникул 1946 года. Хильда часто рассказывала Лиз о своем муже Отто Синеке и его брате Викторе: оба были членами первого подпольного ЦК Компартии Чехословакии. Отто был замучен нацистами. Она говорила: «Труднее всего нам придется, когда мы выйдем на свободу. Вот тогда мы почувствуем пустоту».

После переезда в Прагу они продолжали встречаться. Девочки тоже. Хильда покончила самоубийством летом 1950-го, пережив тяжелую нервную депрессию. Накануне она зашла к нам, чтобы посоветоваться со мной по поводу своего назначения на пост заместителя министра здравоохранения. Она показалась нам очень подавленной. В то время были серьезные трения между ЦК и Пражским комитетом КПЧ, одним из секретарей которого была Хильда. Она то и дело вспоминала о братстве и дружбе, одушевлявшей коммунистов до войны. Жаловалась, что эти чувства сменились равнодушием и даже подозрительностью, что руководители стали замкнутой кастой, оторванной от партии и народа. Жена горько оплакивала Хильду. А теперь ей вменяют в преступление эту дружбу. Я ничего не понимаю, но разве можно что-нибудь понять на этой фабрике чудовищной лжи?!

Вот уже они принялись стряпать дело Данга! Летом 1949 года Данг, представлявший во Франции Демократическую Республику Вьетнам, переехал вместе со своей женой Льен в Прагу. Мы знали их по Парижу и продолжали поддерживать с ними дружеские отношения. Министр культуры назначил Льен стипендию, чтобы она могла закончить свое музыкальное образование в Пражской консерватории. Он взял на себя также расходы по лечению Данга, который был тяжело болен после длительного пребывания на французской каторге. Данг вернулся на родину незадолго до моего ареста. Он умер в 1952 году и был похоронен со всеми официальными почестями, как заслуженный деятель Партии трудящихся Вьетнама. Но здесь из него делают главаря вьетнамского троцкизма и обвиняют меня в том, что я ввел «своего сообщника» в партийные и правительственные круги...

Все это еще больше убеждает меня в одном: инициатива исходит не от какого-то Смолы или, тем паче, других следователей, слишком примитивных, чтобы сочинить подобный план — речь идет о линии, разработанной главными распорядителями игры. Я все яснее понимаю — советский аппарат не только «советует», но определяет общее направление и канву процесса. Иначе нельзя объяснить тот факт, что госбезопасность ставит себя не только над нашей партией, но и над руководством компартий других стран, в частности Франции. Все, что является предметом самых тяжких обвинений, предъявляемых нам, делалось с ведома, под контролем, а чаще всего — по прямому распоряжению руководства обеих партий. А ведь Сланский, Генеральный секретарь КПЧ, внимательно следит за ходом следствия. Почему же он допускает все это?

Когда я ссылаюсь в свою защиту на Сланского или Готвальда, Широкого, Геминдера, Копецкого, Кёлера, меня прерывают с неизменным негодованием: «Такой преступник, как вы, не имеет права произносить в этих стенах уважаемое имя Сланского!» Но если его имя, как и имя Готвальда, столь почитается, то как же решаются следователи называть преступными действия, которые я совершал по их личному указанию? Выходит, партия сознательно отдала нас на заклание?

Но кто это решал, почему выбрали нас? Даже если цель оправдывает средства, то какова цель этого жертвоприношения?..

Если вы можете вообразить себя жертвой судебной ошибки или фракционных интриг, то еще найдете в себе силы для борьбы. Но когда вы сознаете, что сама партия решила вас погубить, что ваша судьба предопределена, вы чувствуете себя просто раздавленным. Иллюзия, надежда на спасение и справедливость, поддержала бы меня. Ясное понимание ситуации подрывает мои силы.

И снова дверь камеры с грохотом захлопывается за мной. Я машинально принимаюсь ходить. Превозмогая боль в ногах, стараюсь двигаться быстрее, чтобы согреться. Пытаюсь представить лица своих друзей, брошенных в такие же камеры, терзаемых теми же мыслями, таким же отчаянием. Воображаю, как подействовало на них это несправедливое заключение, эти бесчеловечные и преступные методы. Может быть, теперь они полны ненависти и проклинают жизнь... Они вступили в партию, чтобы построить более справедливое и человечное общество. Ради этого боролись, не зная отдыха, вплоть до того дня, когда... Я представляю себе, как они, подобно мне, пытаются бежать от настоящего и укрыться в своих воспоминаниях — единственном сокровище, которое никто не может у нас отнять.

Четыре шага до стены, поворот, четыре шага до другой стены... Трещины в стенах, на которые неизменно падает мой взгляд, мало-помалу принимают человеческие черты. Сначала я намеренно, забавы ради, стараюсь усмотреть в них сходство с моими товарищами. А потом эти призрачные видения оживают. Трещины расширяются, пропуская моих друзей. Как при родах, сперва показываются их головы, потом тела. И вот они здесь, возле меня, улыбаются мне: они заполняют мою камеру, ходят вместе со мной, и мы подолгу беседуем.

Сохраняет ли еще смысл наша борьба, наши идеалы после всего того, что вытворяют над нами в этой тюрьме? Товарищи качают головой. Как невозможно избавиться от своего прошлого, в котором непрестанно ищешь забвения от настоящего, так невозможно и отречься от борьбы, дружбы, мужества, наполнявших мою жизнь...

И вот между допросами моя камера стала убежищем, где я вновь обретаю товарищей. Наверное, мне случалось говорить вслух,— иногда дверь открывается и раздраженный надзиратель орет: «Кончишь ты говорить со стенами!» Один из охранников подает рапорт о моем странном поведении. Но я, несмотря на неотвязную мысль о подстерегающем меня безумии, с радостью возвращаюсь в круг друзей...

...Станислав и Эдвин, товарищи юности. Это с ними я собирался взорвать полицейскую префектуру моего родного города. Сколько собраний и боевых операций мы подготовили и провели... Вскоре после моего отъезда в Остраву, летом 1935 года, Станислав вступил в подпольную организацию, работавшую в сотрудничестве с Компартией Германии. Он перевозил через границу листовки и нелегальные газеты для распространения в гитлеровском рейхе. Его приговорили к десяти годам тюрьмы, которые он провел в одиночной камере крепости Бреслау. Эсэсовцы убили его в последние дни войны при эвакуации тюрьмы. Эдвин, арестованный за антифашистскую деятельность в Остраве, был казнен нацистами во время войны при обстоятельствах, которые мне не удалось выяснить.

Потом я вновь вижу товарищей, живших со мной в Москве, в номере гостиницы «Союзная». Обычно нас бывало двенадцать, но иногда ставили дополнительные кровати, и в комнате ночевало до восемнадцати человек. Сколько споров разгоралось здесь — обо всех проблемах и всех странах, о мировом революционном движении и советской действительности...

Борис вместе с Димитровым и Коларовым принимал участие в софийском восстании сентября 1923 года, за что отсидел десять лет. Альберто прибыл из итальянской тюрьмы: он помогал нам объясняться с испанцами Хосе и Рамоном, но наш переводчик не поспевал за их стремительной речью, когда они рассказывали о перипетиях битвы в Астурии.

В большой комнате под номером 18 говорили на всех языках. А два наших китайских товарища, которых тюремщики Чан Кайши подвергали таким ужасным пыткам... А молчаливый, таинственный кореец. А мой польский друг, которого Лиз прозвала Жердинкой...

Тогда и спать-то было грешно! Мы вместе выходили гулять по ночам, иногда в час или в два, когда на московских улицах завывала пурга. В такую погоду, когда сухой снег кружится вихрями, мы любили гулять по Красной площади. Нам чудилось, что там вот-вот оживут тени прошлого и перед нами возникнут сцены Великой Октябрьской революции...

То было необычайное, захватывающее время. Революционное прошлое казалось таким близким, и повсюду в мире разворачивалась борьба... Баррикады в Австрии, уличные бои во Франции, восстание в Астурии... Мы были полны веры и оптимизма: завтра революция грянет повсюду!

Каждый раз, возвращаясь с допроса, я поворачиваюсь к стене и жду, когда передо мной появятся мои друзья. Хоровод дружбы, хоровод наших былых надежд. Хоровод моего безумия. Но это безумие дорого мне. Оно помогает держаться: надо быть безумным, чтобы выстоять в Рузине.

Майор Смола так и не сумел добиться от меня «признаний», хотя пошел уже шестой месяц моего заключения, шестой месяц обработки. Меня перевели в группу капитана Когоутека. Вместо приветствия он говорит мне: «Вы измотали добрую дюжину следователей. Мы решили вновь допрашивать вас с самого начала. Мы не торопимся. У нас достаточно сотрудников для подмены, пусть даже это продлится год или больше. Рано или поздно вы наконец дадите нужные нам показания. Мы далеко не исчерпали всех наших методов. Вы даже не подозреваете, какая карусель вас ждет!»

У Смолы, которому перевалило за пятьдесят, были седеющие виски, тяжелый подбородок, стальной взгляд и повадки фанатика.

Он всегда держался со мной как с врагом, неистовствуя в припадках ненависти и безудержной жестокости. Когда он переходил к мягкой манере обращения — взывал к моим чувствам коммуниста,— я быстро замечал, что он повторяет затверженный урок. Однако только в такие моменты он хоть немного выходил из своей роли — роли машины для выбивания признаний. В остальное время он никогда не высказывал никакого личного мнения, оставаясь глухим ко всему, что не относилось к его обязанностям.

Я испытывал такое отвращение к этому тупому, жестокому типу, что, если бы он продолжал меня допрашивать, я б, наверное, сдох, но ничего не подписал, лишь бы сопротивляться ему до конца.

Когоутек был полной противоположностью Смоле. Видный мужчина лет сорока, начинающий полнеть, он всегда выглядел элегантным, будь на нем капитанская форма или гражданский костюм. Он никогда не был грубым или жестоким ни в словах, ни в поступках, не выказывал никакой враждебности к своим «подопечным» и даже задавал вежливые вопросы о здоровье, настроении, семье. Я быстро заметил, что он относится к своей работе с неприкрытым цинизмом. На его взгляд, наше дело связано с очередным этапом развития КПЧ: партия должна разом перечеркнуть обременяющие ее ошибки и недостатки, очиститься. Этой цели и послужит процесс. Он позволит в то же время осуществить скачок вперед, избавив партию от известной категории людей, которые будут отстранены от власти и сняты с ответственных постов.

Но на луке Когоутека не одна тетива. Лапы у него бархатные, но он умеет и выпускать острые когти. В нем есть что-то от кошки, играющей с мышью. Как бы то ни было, с самого начала «карусель», как он это называет, пущена в ход. Допросы длятся по двадцать и более часов кряду. Я все время стою на ногах. Когда меня приводят в камеру, то не позволяют даже прилечь, не говоря уже о сне. После пяти с лишним месяцев такого бесчеловечного режима карусель Когоутека меня доконала. Но еще больше подорвал мои силы его цинизм, намеки на политический маневр, который обделывают за наш счет...

Позже мне удалось узнать, что в прошлом Когоутек был полицейским комиссаром, проводившим репрессии против коммунистов — и как раз в моей родной Остраве. Итак, при двух разных режимах он выполнял ту же работу против тех же самых людей... То-то он, должно быть, радовался!

До сих пор я в известной мере рассчитывал на пресловутый процесс «вражеской троцкистской группы добровольцев Интербригад», приблизительную дату которого Смола и его подручные относили на май—июнь. Я напрягал все силы, чтобы привести в исполнение свой замысел: объявить на суде о моей невиновности и о преступных методах органов госбезопасности по отношению к нам. Тот, кто понимает, что может спастись только чудом, начинает верить в чудо. Я даже убедил себя, что множество товарищей, знающих о нашей прошлой работе, не дадут себя обмануть, они потребуют объяснений и не допустят нашего осуждения... которое стало бы и их осуждением!

И потом, во всяком случае этот процесс положил бы конец мерзкому, унизительному существованию, на которое меня обрекают вот уже почти шесть месяцев и которое мало-помалу превращает меня в полуживотное. Но теперь, когда срок близок, Когоутек больше не говорит, что процесс состоится. Самое худшее — это когда знаешь, что ничто тебе не поможет. Так теперь обстоит дело со мной...

Тем более что все время повторяется угроза: меня будут судить при закрытых дверях и повесят. Это означало бы гибель во мраке, несмываемое клеймо предателя, смерть без надежды на то, что истина когда-либо раскроется — ведь мертвые умолкают навсегда! Должен ли я принять такую смерть, отрицая все до конца? Кто может согласиться так умереть? Жертва имеет смысл, лишь когда человек отдает жизнь за правое, сознательно выбранное дело.

Оставшемуся в живых брезжит свет, слабый, конечно, но все же свет надежды на то, что в один прекрасный день ему удастся раскрыть истину и доказать свою невиновность. Ибо в самых глубоких тайниках души гнездится вера: положение когда-нибудь изменится, появится возможность восстановить правду.

Передо мной — жестокая дилемма. До войны я сталкивался с чешской полицией и судом, во время оккупации—с Особой антитеррористической бригадой и французским Верховным судом. Я прошел через нацистские концлагеря. Но здесь я у себя на родине, в народно-демократической республике Чехословакии: люди, сидящие передо мной, действуют от имени партии, от имени Советского Союза. В битве против классового врага или нацистских оккупантов героизм естествен. В молодости, в Испании, во время подпольной работы, находясь в руках полиции, в тюрьмах и концлагерях, я всегда вел себя мужественно, ни разу не дрогнул перед опасностью и этим снискал доверие и привязанность всех своих товарищей. Но здесь я нахожусь по воле моей партии. Не кто-нибудь, а член Политбюро сказал мне: «Тебя уничтожат, признаешься ты или нет!»

Можно ли сражаться с таким противником? Каждое мое движение, каждый отказ перейти к «признаниям» истолковывается как продолжение борьбы против партии, как позиция ожесточенного врага, который даже после ареста не желает раскаяться в своих преступлениях. В таких условиях для коммуниста желание доказать свою невиновность не только невыполнимо, но ставит перед совестью абсурдный, ошеломляющий, однако неотвратимый выбор: вы соглашаетесь подписать «признания» — тогда в глазах партии вы вступаете на путь искупления. Вы отказываетесь подписать их, так как невиновны,— тогда вы закоренелый преступник, которого надо безжалостно ликвидировать.

Когоутек весьма умело играет на моей преданности партии, а также на чувстве вины, которое я испытываю с тех пор, как Филд был разоблачен в качестве шпиона на процессе Райка. Я виновен уже в том, что знал его, воспользовался его денежной помощью. Когоутек приводит доводы: «Господин Лондон!

Вы знаете, что Сёни был приговорен к смертной казни как шпион. Он получил от Филда всего лишь 300 швейцарских франков! А вы, сколько вы получили?»

Он опутывает меня силлогизмами: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Вы возглавляете группу людей, которые признаются в троцкистской деятельности. Значит, кто вы такой, говоря объективно? Руководитель группы троцкистов! А кто такой руководитель группы троцкистов? Троцкист!» Он подводит итог: «Не будьте же наивны. Вам известно о признаниях Заводского, Свободы, Хольдоша, Доры Клейн, Громадко, разоблачительных показаниях Неквасила и Штефки, а также десятках полученных нами писем с обвинениями против вас. Пусть вы ничего не совершили, зато другие обвиняемые признались, что вели многолетнюю подрывную работу на решающих участках: в партии, органах госбезопасности, армии. И все они утверждают — вы их руководитель. Вы сами не можете это отрицать. Значит, за совершенные ими преступления несете ответственность и вы, даже если субъективно вы невиновны. Единственный выход для вас и ваш долг — положиться на снисхождение партии. До сих пор вы вели себя как злобный враг, вы должны изменить свое поведение!»

«Единственный выход для вас...» Я дошел до такой степени физического изнеможения, что это слово имеет для меня буквальный смысл. Но главное — Когоутек сумел изнурить меня духовно. Он сумел отнять у меня всякую надежду на возможность борьбы. Быть может, он или распорядители игры рассчитали, что одолеют меня, лишив мое сопротивление всякого смысла, а не пытаясь сломить его. Я действительно больше не вижу выхода. Когда вы обнаруживаете, что все усилия бесцельны, наваливается усталость. Я начинаю думать, что мое упорство только без толку продлевает пытку.

В один из июльских дней, окончательно выбившись из сил, я соглашаюсь подписать первые «признания»: «Поскольку бывшие добровольцы Интербригад признают, что они троцкисты и предатели, тот факт, что я был их руководителем, ставит меня в один с ними ряд. Поскольку Филд — шпион, а я общался с ним, объективно я виновен...»

Моя жена упорно продолжала писать мне. Еще в 1942 году во время нашего ареста, когда следователь запретил всякую переписку со мной, она сумела пробить эту стену, и уже через месяц мне передали целую пачку писем. На этот раз после моих первых «признаний» я получил письмо, из которого Смола привел мне выдержку, и два других. Вот они:

«4 мая 1951 года.

Жерар, вчера я получила твое письмо. Я несколько раз перечитывала его, пытаясь найти между строк ответ на вопросы, которые осаждают меня с того злосчастного дня 28 января, когда ты ушел из дому и не вернулся. Как мы ждали тебя! Заслышав шум автомобиля, каждый раз думали, что это возвращаешься ты. Но прошли дни, недели, месяцы, а ты не вернулся.

Я так верила в тебя, мой Жерар. Возможно ли, что ты оказался недостойным моего доверия? Я люблю тебя, Жерар, но ты знаешь — прежде всего я коммунистка. Несмотря на безмерную боль, я сумею вырвать тебя из своего сердца, если буду убеждена в твоем недостойном поведении.

Написав эти слова, я плачу горькими слезами. Никто лучше тебя не знает, как я тебя любила, как люблю. Но я не могу жить в разладе с совестью. Я все надеялась, что ты вернешься реабилитированным и наша жизнь возобновится с той самой страницы, на которой была прервана. Но твое письмо написано как бы под знаком «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Я не могу привыкнуть к этой мысли; когда мне объяснят, когда я пойму, что к чему, мне будет легче смириться.

Я вижу, как ты озабочен нашим материальным положением. Разумеется, нелегко содержать шесть человек, но — с помощью партии — я справлюсь с этим. Ибо, если ты и виновен, Жерар, наши дети и родные тут ни при чем и не должны расплачиваться. Я имею в виду — материально. Морально дело обстоит совсем по-другому. Мои родители страдали и продолжают страдать наравне со мной. Мысль, что ты — самый любимый человек — оказался недостойным принадлежать к великой коммунистической семье, мучит нас.

Я работаю, пишу, занимаюсь детьми, много читаю, стараюсь максимально заполнить свой день, чтобы отвлечься от неотвязных мыслей, которые кружат и кружат все в одном и том же направлении...

Франсуаза и Жерар, судя по отметкам, учатся неплохо. Жерар — сущий чертенок, я еще намучаюсь с ним. Франсуаза за последние месяцы очень повзрослела, даже слишком. У малыша Мишеля уже восемь зубов. Он меня просто обожает, когда я дома, для него никто больше не существует. Это счастье, что у меня есть Мишель...

В заключение хочу тебе напомнить, Жерар, слова Яна Гуса: «Правда победит!» Если ты невиновен, воюй, бейся, чтобы доказать это. Если нет, расплачивайся за свои поступки, это справедливо.

Пиши. Дети обнимают тебя. До свидания, мой Жерар.

Лиз».

«Конец мая.

Мой Жерар, первое письмо, наверное, показалось тебе суровым. Но как объяснить все, что я чувствую? Я жду твоего ответа с таким нетерпением, но, увы, больше ничего от тебя нет. Я надеюсь, твое письмо подтвердит то, о чем говорит мое сердце: невозможно, чтобы ты совершил поступки, враждебные партии, родине.

Я ломаю голову, пытаясь разобраться в происшедшем, но вокруг меня непроглядный мрак. И все время, везде я вижу твое лицо — такое открытое,— твои добрые глаза, нежную улыбку. Мне чудится, я слышу твои слова: «Не сомневайся во мне, моя Лиз!» Я не сомневаюсь в тебе, Жерар, но я также верю партии, и раз партия санкционировала подобные меры, я говорю себе, что это чем-то оправдано. Родители и дети обнимают тебя. Я люблю тебя, мой Жерар. И если ты тоже любишь меня, ты найдешь силы добиться того, чтобы правда победила. А правда, я верю, на твоей стороне. Ведь так?

Твоя Лиз».

«15 июня 1951 года

Мой Жерар!

Мы уже обосновались на новой квартире. Наш адрес — Диринка, 1, Прага 19. Дом расположен на холме, и из окна открывается великолепный вид. Я не жалею, что мы переехали. Здесь я больше чувствую себя дома, чем в Стршешовице. Жерар, я убеждена, что все разъяснится и ты скоро будешь с нами. Иначе и быть не может. С июня я буду работать на заводе.

Главное, не беспокойся о нас, Жерар. Мы все здоровы и ждем тебя. Почему с первого мая ты мне больше не писал? Умоляю, пиши нам. Если бы ты знал, с каким нетерпением ждем мы весточки от тебя. Вся семья обнимает тебя. Я люблю тебя, Жерар.

Лиз».

Прочитав эти письма, я был тем более потрясен, что понял, до какой степени меня обманывал Смола. По отрывку из письма Лиз, который он мне прочел, вырвав из контекста, я заключил, что она отреклась от меня. И вот теперь я виновен еще и в том, что усомнился в Лиз! Лиз мужественно стоит за меня. Она выражает мне нерушимое доверие.

Несколько строк, приписанных Франсуазой и Жераром, которым она сказала, что я в санатории, лучше всего говорят о ее вере в будущее.

И эти письма мне дали теперь, после того, как я подписал первые «признания». Я представляю себе, какой это будет для нее ужасный удар, когда она узнает, что ожидание ее оказалось напрасным. Какая трагедия для нее и всей семьи, как трудно им придется в этой стране, где она и так уже— пария... Никогда я не чувствовал себя более близким к моей Лиз и впервые пожалел, что не был в свое время расстрелян как заложник и вернулся из нацистского лагеря живым. Тогда Лиз была бы избавлена от того, что переживает теперь.

Но как же она простодушна, как непоколебимо верит в справедливость и правый суд партии! И какой разрыв между этим безграничным доверием, коммунистическим кредо — ПАРТИЯ НИКОГДА НЕ ОШИБАЕТСЯ! — и практикой, жертвой которой я являюсь вот уже полгода и которая доказывает мне наивность безоговорочной веры в абстрактную идею партии — веры, приводящей к отречению от мысли. Да, можно верить в партию, если иметь в виду то, чем она должна быть, то есть воплощением разума и воли масс, но ни в коем случае, если речь идет о бюрократическом аппарате, который злоупотребляет преданностью, доверием, самоотверженностью коммунистов, чтобы увлечь их на путь, не имеющий ничего общего с идеалами и программой партии.

У меня теперь только одно желание: убедить Лиз уехать с родителями и детьми во Францию. Если она вернется к своим, в родную страну, к товарищам и друзьям, ей легче будет перенести известие о моем осуждении.

В каждом моем письме Лиз ловит малейшее слово или намек, которые оправдали бы ее веру в меня и надежду на наше будущее. Но я не могу сказать ей этого слова, напротив, надо подготовить ее к зловещей драме, которая вскоре разыграется, дать ей понять, что я погиб, убедить, что я виновен. Иначе она откажется покинуть меня, а я хочу, чтобы она со всей семьей уехала подальше отсюда.

7 августа я снова получаю разрешение написать ей.

«...В том, что касается моей любви к тебе, я прошу тебя, моя Лиз, не сомневайся и верь мне — я всегда любил и люблю тебя.

Но в другом, моя Лиз, твое доверие неоправданно. Я виновен и должен за это ответить. Мой долг — сообщить тебе об этом, чтобы ты могла принять меры, касающиеся тебя и наших родных. Я не хочу больше лгать и начинаю с этой правды, самой мучительной. Я знаю, что причиняю тебе сильную боль. Но чем раньше ты взглянешь истине в лицо, тем лучше. Я знаю, как ты мужественна и крепка духом, знаю, что какое бы решение ты ни приняла, оно будет правильным. Поверь, с каждым словом, которое я пишу, отрывается кусок от моего сердца, кусок от жизни, которая была так прекрасна рядом с тобой. Я держусь мужественно, как ты просишь меня держаться, но моего мужества сейчас было бы недостаточно, если бы не было еще рассудительности и большой любви к тебе. Вот почему сказать тебе правду — моя первейшая обязанность. Напиши мне, моя Лиз, что ты намерена предпринять.

Теперь ты, конечно, понимаешь, почему я предложил тебе подумать о возвращении во Францию. Неужели ты думаешь, что в противном случае я мог бы вообразить себе жизнь без тебя, без детей и родителей?..»

Несмотря на это, Лиз не отступается от меня.

«9 августа 1951 г.

Мой Жерар!

Ты говоришь, что совершил ошибки, за которые должен ответить. Но я не представляю себе, насколько серьезны эти ошибки. Я не смогу принять решения, отвечающего моей коммунистической чести, пока не буду точно знать, в чем они состоят. Сталин учил нас, что человек — это самый ценный капитал, и если человек тонет, надо помочь ему выплыть, а не бросать его в беде.

Каждый коммунист на протяжении какого-то периода своей жизни может совершить ошибки и должен отвечать за них, согласна, но жизнь продолжается, и жизнь позволит ему, если в нем есть что-то хорошее и если он умеет извлекать уроки из своих ошибок, искупить свою вину и двигаться вперед. Если так обстоит дело с тобой, Жерар, я все еще согласна помочь тебе на этом пути, такое отношение представляется мне совместимым с моим коммунистическим долгом.

Если бы ты был предателем, разговаривать было бы не о чем. С предателем не говорят. Ему плюют в лицо. Моя позиция предельно ясна...

Я верю в тебя как человека. Я знаю, что в тебе есть доброе начало и что мое время не будет потрачено впустую, в особенности после сурового жизненного урока, который, я уверена, принесет свои плоды.

Вот главное, что я хотела тебе сказать.

С работой я вполне справляюсь. Я за неделю освоила все производственные операции, хотя мне дали на это целый месяц. Старый мастер не устает нахваливать мою сноровку. Я довольна этим, да и время теперь идет бы-

стрей. Франсуаза и Жерар за городом. Родители чувствуют себя хорошо, а маленький Мишель с каждым днем все прелестней.

Надеюсь, я все еще могу тебе сказать: я люблю тебя, Жерар».

«Прага, 12 августа 1951 года.

Жерар!

Сегодня воскресенье, 12 августа. Вспомнил ли ты, что значит эта дата в нашей жизни? Девять лет назад мы были арестованы в Париже, и началась трехлетняя разлука. Беременность в тюрьме, роды в лазарете Рокет, ожидание смерти, депортация, разлучившая меня с моим маленьким Жераром, мысль о том, что я никогда больше не увижу тебя,— все это были мучительные испытания, но какими легкими кажутся они мне по сравнению с нынешними страданиями!

Я жду от тебя ответа на мое последнее письмо, ответа, который даст мне знать, можно ли искупить совершенные тобой ошибки, или же они таковы, что ты навсегда потерян для партии и я должна поставить на тебе крест.

Жерар, не может быть, чтобы ты обманывал меня, чтобы ты преступно действовал против партии, против идеала всей нашей жизни. Это было бы слишком ужасно. Нет-нет, это невозможно!

Повторяю то, что я написала в предыдущем письме: я не откажусь помочь тебе и снова идти вперед рука об руку с тобой, если твои ошибки таковы, что их можно искупить.

Лиз».

Часть третья

НОВАЯ ВЕРСИЯ

Как-то на исходе ночи, после нескончаемого допроса, следователь неожиданно сменил тему: «Расскажите о вашем прошлом, о вашей работе в молодости. Словом, изложите свою биографию».

Сначала я удивился. Зная, в каком виде они намерены представить меня, в каких нелепостях обвиняют, я недоумевал — чем, в каком отношении моя биография может интересовать следователя? Я было подумал, что он устал и ищет предлог, чтобы устроить себе передышку. Я ошибся. Речь шла о новой тактике, карикатурном подобии метода, применяемого для проверки партийных работников, которых кадровики заставляют по многу раз переписывать автобиографию, чтобы затем путем сличения обнаружить возможные отклонения от истины. И вот целые две недели, день за днем, по двадцать часов подряд я пересказываю свою жизнь, начиная с детства до 28 января 1951 года, когда я был арестован в Праге прямо на улице. Уже полгода, как я в их руках а до сих пор еще не усвоил, что вступил в мир назойливых, тошнотворных повторений. Я начал «признаваться», понимая это слово в его обычном смысле, хотя содержание моих «признаний» было лишено всякого смысла. Я еще не знаю, какой рубеж перешел. Можно сказать, идет мое посвящение. Посвящение в абсурдную, всепожирающую, разрушительную деятельность: фабрикацию признаний.

Итак, поначалу предложение моего утомившегося инквизитора как будто сулит мне некоторое облегчение. Рассказ о моей жизни должен избавить меня хотя бы на несколько часов от непрерывной, изнурительной, мерзостной пытки, словом, от идиотских вопросов, которые меня терзают, унижают, ставят в тупик и на которые тем не менее надо отвечать. Я буду рассказывать о себе, вновь обрету себя.

С каким-то благоговением погружаюсь в события прошлого. Вновь возвращаюсь в мир, сияющий светом и братством, которых здесь так остро недостает. Я обращаюсь не к следователю, а к себе, к Лиз и детям, к родным, товарищам и друзьям, самым близким и дорогим мне людям. Говорю так, словно впервые за все эти месяцы мне наконец представился случай объяснить, опираясь на историю своей жизни, кто я. Словно мне дан последний шанс оправдаться.

Нас было пятеро—братьев и сестер, но после гитлеровской бойни в живых остались только двое. Да и то, быть может, ненадолго...

Наш отец, Эмиль, был пятым из восьми детей моравского железнодорожника. Нужда очень рано разметала их по свету. Вспоминая об отце, я думаю о своих истоках—воды их чисты... В конце девяностых годов отец был подмастерьем в Вене, там и вступил в социалистическую партию. Потом жил в Швейцарии, где сблизился с русскими эмигрантами, а в начале века перебрался в Америку. Отец быстро овладел английским языком и, движимый жаждой знаний — он так и останется до конца своих дней ревностным самоучкой,— изучал литературу, поэзию и историю этой страны. Я помню, как он читал наизусть стихи Уитмена и целые отрывки из речей и сочинений Пейна и Джефферсона. Он заботливо хранил полное собрание сочинений своего любимого поэта Генриха Гейне.

В Нью-Йорке он познакомился с моей матерью. Днем она работала в гостинице горничной, а ночью — на кухне большого ресторана. Тут-то они и встретились, когда отец, лишившись работы после забастовки у Форда, нанялся мойщиком посуды. Они поженились, и вскоре появилась на свет моя сестра Флора. Родившись в Нью-Йорке, она имела право на американское гражданство, что впоследствии спасло ее. Когда в 1939 году немцы заняли Остраву, она уехала в США и таким образом избежала смерти в нацистских лагерях.

После рождения Флоры родители вернулись на родину, в Чехословакию, о чем не раз потом жалели...

В первую мировую войну отец был санитаром, попал на русский фронт, а под конец, после ранения, служил в госпитале. Помогая по мере сил русским военнопленным, он сблизился с большевиками. Октябрьскую революцию принял всей душой и сделался ее пламенным пропагандистом.

Жилось нам нелегко. Отец был простым рабочим — его скудного заработка едва хватало, чтобы прокормить семь ртов. К тому же из-за конфликтов с хозяевами отец часто терял работу, что наконец побудило его открыть собственную мастерскую, и он снял маленькое помещение в соседнем дворе. Отец рассчитывал, что теперь будет пользоваться большей свободой. С этого времени он

еще активнее включился в политическую борьбу и стал одним из основателей ячейки коммунистической партии в Остраве.

Бойкотируемый зажиточными семьями и еврейской общиной, которая считала его предателем, отец с трудом добывал себе работу. Он чинил диваны и перебирал матрацы. Большинство его клиентов, не имея денег, платили в рассрочку и крайне нерегулярно. К концу недели у нас повторялась одна и та же сцена: мать сердилась и ворчала, не зная, как свести концы с концами. Родственники считали отца блаженным, который компрометирует всю семью, и если иногда одалживали деньги, чтобы он мог выкупить швейную машинку, заложенную или описанную за неуплату долгов, то уж неизменно читали ему мораль.

От отца я впервые услышал о Бебеле, Либкнехте, Розе Люксембург, о спартаковцах, о русских большевиках, о Ленине, Луначарском, Троцком, Джоне Риде, о Кантонской коммуне. Уцепившись за его руку, я еще ребенком шел с ним в рядах первых в моей жизни уличных демонстраций.

Под его влиянием я в тринадцать с половиной лет вступил в комсомол. В этом же возрасте начал работать, ибо в нашей семье образование могли дать, да и то ценой больших жертв, только одному ребенку. Учиться пошел мой старший брат Оскар.

В городе отец пользовался большой популярностью, его прозвали «старым большевиком». Каждый вечер перед нашим домом вокруг отца собирались люди — друзья и противники, социалисты и коммунисты — и обсуждали с ним текущие события. Какие это были горячие споры!

Несмотря на столь активную деятельность, отец только дважды имел столкновения с властями. Первый раз — из-за того, что отказался снять шапку при исполнении национального гимна. Он заявил тогда, что единственный гимн, ради которого он снимет шапку,— «Интернационал». Второй раз это случилось из-за меня. В феврале 1932 года среди ночи за мной пришла полиция. Одеваясь, я, к удивлению отца, взял его пальто — в карманах моего еще оставались листовки, за распространение которых меня и арестовали. В префектуре, когда я выложил все из карманов, полицейские быстро сообразили, что я надел отцовское пальто. Они тотчас вернулись к нам домой, но отец уже успел припрятать все, что могло меня скомпрометировать. Полиция учинила обыск по всем правилам, пыталась запугать отца, но так ничего и не добилась.

В последний раз я видел отца в Москве летом 1935 года, после смерти брата Оскара. Не зная точно, когда он приедет, мы с Лиз в тот день отправились на авиационный праздник в Тушино. Транспорта не было, возвращались мы пешком. В вестибюле гостиницы, ожидая нас, дремал на диване отец. Он очень постарел. Отец был счастлив увидеть меня и познакомиться с моей женой. Ради этого он и приехал сюда с туристской группой. Его интересовало все. Гуляя с ним по улицам города, я должен был отвечать на его бесчисленные вопросы, что было не так-то просто.

«Почему в такую жару многие обуты в валенки или лапти — и это через восемнадцать лет после революции? Почему в интуристской гостинице апельсин стоит целый доллар?».

Ему хотелось все записать в свой блокнот — и размеры квартирной платы, и заработки разных категорий трудящихся, и цены на театральные билеты и книги.

Помню, как в Парке культуры имени Горького, у стенда, посвященного Биробиджану, он допекал своими вопросами молодого экскурсовода: «Зачем вообще нужен этот Биробиджан? Ведь коммунисты не признают евреев нацией? И если мы против эмиграции в Палестину, к чему Биробиджан — ведь это одно и то же?..»

Отец добросовестно готовился к лекциям, которые собирался по возвращении прочесть в Обществе друзей СССР, и хотел рассказать об увиденном объективно. Не все ему нравилось. Многого он не мог понять. Но в общем остался доволен.

Больше мне не суждено было увидеть отца. Ни его, ни маму, ни Жана, ни Жюльетту...

В 1928—1933 годах нас, чехословацких комсомольцев, было немного, но боевой дух восполнял нашу малочисленность. Мы делали все: разбрасывали листовки, писали на стенах лозунги, расклеивали плакаты. Мы принимали участие в митингах и демонстрациях, распространяли газеты, вели агитацию среди молодых заводских рабочих и шахтеров, организовывали новые комсомольские группы...

Тюрьмы. Голодовка, которую мы объявили в камерах префектуры, куда нас — двадцать пять юношей — засадили после демонстрации. Канун Первого мая в окружной тюрьме — здесь в одном из окон мы вывесили красный флаг. Стычки с фашистами, чьи сборища мы срывали...

Вижу, как мы, четверо комсомольцев, пробираемся ночью к польскому консульству. Пишем своей кровью на листе белой бумаги: «Мы отомстим за убитых польских братьев!», разбиваем камнями стекла и, наколов наше послание на кинжал, бросаем его в окно. Это было после расстрела стачечников в Польше.

Помню, во время забастовки в наших краях полиция открыла огонь — людей так и косило вокруг меня. В ответ на полицейский террор я и двое моих товарищей решили взорвать здание префектуры. Из динамитных шашек, которые нам дали шахтеры, мы смастерили бомбу замедленного действия. У нас все уже было готово, но один из товарищей кому-то похвастался, и весть о нашей затее дошла до секретаря местной парторганизации. Он быстро образумил нас, объяснив, насколько опасна подобная анархистская выходка.

Я рассказываю о своей деятельности в руководстве комсомола, среди рабочей молодежи Остравы. И о поездке с группой товарищей в 1931 году на Спартакиаду в Берлин. О том, как, не добившись оформления паспортов, мы нелегально перешли границу.

Это была моя первая нелегальная поездка в Германию. Поскольку Спартакиаду запретили, мы все отправились в Хемниц в Саксонии, чтобы принять участие в демонстрации против этого запрета. Таких, как мы, приехавших в Германию без документов, набралось очень много: тут были швейцарцы, австрийцы, итальянцы, чехи и словаки... Нас охраняли одетые в форму члены Боевого со-

юза антифашистов — организации самозащиты, созданной при КПГ.

Я вспоминаю и другую нелегальную поездку, осенью 1932 года, незадолго до прихода Гитлера к власти — мы хотели своими глазами увидеть, как проходит плебисцит...

В начале января 1933 года полиция по доносу нагрянула в помещение, где я делал доклад о революционном пораженчестве группе молодых коммунистов. Меня арестовали.

После трех месяцев предварительного заключения я был освобожден условно — сыграли свою роль объявленная мною голодовка, демонстрации протеста и вмешательство нашего депутата Климента.

Вспоминаю, как мне удалось ускользнуть от полицейских и избежать ареста — я должен был предстать перед судом по обвинению в покушении на безопасность Республики. Центральный Комитет партии постановил перевести меня на нелегальное положение, ибо мне грозило тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.

Так я оказался в Праге. Мне предстояло возглавить областную молодежную организацию, однако полиция продолжала разыскивать меня и мое положение было ненадежным. Поэтому партийное руководство решило переправить меня в Москву.

Крепкий мороз сразу пробирает меня, едва я выхожу из вагона на московском вокзале. Мое демисезонное чешское пальто не годится для здешней зимы! Я прощаюсь с моими попутчиками, которых встречают родные, и направляюсь в зал ожидания, куда за мной должен прийти Мирко Крейзл, представитель чешской коммунистической молодежи в КИМе. Я с любопытством оглядываю окружающих меня людей. Ловлю обрывки их разговоров. Мирко все нет. Я начинаю нервничать, хожу взад-вперед. Вдруг я замечаю моих дорожных спутников с их семьями. Они тоже видят меня и, поколебавшись, подходят: «Кого вы ждете?»

Я смущен: инструкция строго запрещает объяснять кому бы то ни было цель моего приезда. И все же испытываю огромное облегчение — я чувствовал себя таким одиноким в незнакомой стране. Они предлагают заехать к ним и перекусить.

На улице метель. Скорее угадываешь, чем видишь большую площадь, тонущую в плотной ночной тьме. Метрах в тридцати тускло светится раскачиваемый ветром фонарь. Мимо быстро скользят сани. Я широко раскрываю глаза — вот они тройки, именно такие, как я представлял, с извозчиками в рукавицах и тулупах, в меховых шапках. Ледяной ветер дует в лицо, облепляет нас снежными хлопьями. Мы садимся в сани и несемся по темным московским улицам к дому моих новых друзей. Я впервые знакомлюсь с милым русским гостеприимством. Я не чувствую себя чужим в этой семье, хотя едва понимаю, о чем идет разговор. Меня угощают настоящим русским обедом с множеством закусок и водкой, и когда настает время уходить, я почти жалею об этом. Старшая дочь хозяина, которая немного говорит по-немецки, вызывается проводить меня. Она спрашивает, куда меня везти. Я вынужден открыться ей: «В Коминтерн!» Все удивлены, но понимают, почему я не хотел об этом говорить. Мы садимся с ней в трамвай, делаем по пути две пересадки и наконец добираемся до Манежной площади. Она знает, что Коминтерн где-то здесь, но не знает, где именно. Спрашивает об этом милиционера, дежурящего перед каким-то зданием. Он пожимает плечами: «Не знаю!» Мы настаиваем, но он твердит свое: «Не знаю!»

Минуту растерянно молчим и вдруг за спиной милиционера замечаем вывеску: «Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала».

Я у цели...

В Москве в мою жизнь вошла живая легенда!

Вдова Ленина — Крупская — дважды принимала нас и подолгу беседовала с нами о своем муже и его товарищах. Мы встречались со старыми большевиками, знавшими Ленина, Троцкого, Каменева, Мартова, Плеханова, разжигавшими пожар революции в Петрограде, Москве, Одессе; с немецкими коммунистами, которые сражались в рядах спартаковцев бок о бок с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом, итальянскими коммунистами, боровшимися под руководством Грамши против Муссолини...

В Коминтерне я встретил Белу Куна. Я разговаривал с бойцами Венгерской коммуны и участниками болгарского восстания 1923 года.

Видел крупных деятелей международного коммунистического движения той поры — Мориса Тореза, Марселя Кашена, Эркoли-Тольятти, Пасионарию, Хосе Диаса, Вильгельма Пика, Браудера, Поллита, Престеса и многих других. На VII Конгрессе Коминтерна я слышал доклад Димитрова о рабочем и антифашистском единстве. С таким же напряженным вниманием я слушал выступавшего с той же трибуны китайского представителя Ван Мина, который поведал о долгом походе Мао Цзэдуна и Чжу Дэ, показывая их путь на большой карте...

Я видел Горького, беседовал со строителями Магнитогорска и Комсомольска...

На различных революционных торжествах и демонстрациях, даже на похоронах Кирова, Горького, Орджоникидзе я, шагая в рядах москвичей, как и все, искал глазами нашего кумира — Сталина и, увидев его, обмирал от счастья. Я был в настоящем экстазе, когда он на короткое время появился на VII Конгрессе Коминтерна, а когда он давал интервью, даже его простые «да» или «нет» казались мне гениальными... Как и все международное коммунистическое движение, я с жаром исповедовал культ его личности!

Так день за днем я с мельчайшими подробностями рассказываю о пережитом. В памяти всплывают все новые события, важные и незначительные; эпизод за эпизодом я, словно четки, перебираю дни своей жизни, пришедшей к такому плачевному финалу. Следователь уже давно не слушает меня. Когда я произношу последние слова: «И вот 28 января 1951 года меня арестовали», — он говорит: «Начинайте сначала!»

Два раза, десять раз, сто раз! Это просто безумие! И если вначале воспоминания уводили меня из этого отвратительного места, помогали забыть о моих инквизиторах, то спустя

несколько дней я уже изнемогаю. Я начинаю ненавидеть себя, свое прошлое, ненавидеть все, что составляет мою собственную жизнь. Без передышки повторяя свой рассказ перед этими тупицами, которые умеют лишь слепо повиноваться полученным приказам и даже не слушают меня, твердя в нужный момент как автоматы: «Сначала!» — я становлюсь сам себе противен, словно мне плюют в лицо. Я и так унижен до предела, грязный, нечесаный, обросший бородой. От меня дурно пахнет, штаны то и дело сваливаются, а теперь вдобавок я превращен в машину, в фонограф, который, стоит только его завести, повторяет без конца одну и ту же песню.

С какой стати я должен рассказывать им то, что принадлежит только мне, и больше никому?

Я уже понимаю, что они берут меня измором. Но им надо не просто измотать и унизить меня — вся эта карусель затеяна Когоутеком, чтобы обесценить в моих собственных глазах, лишить смысла мою жизнь, заставить меня смириться с тем, что к ней прибавят, что убавят, и покорно влезть в шкуру предателя.

Скоро я буду иметь возможность убедиться, что, когда Когоутеку и его подручным действительно понадобятся сведения обо мне, они и не подумают использовать мой рассказ, а просто заглянут в ту автобиографию, которую я написал для Центрального Комитета по возвращении в Чехословакию.

К счастью, это испытание приходит к концу раньше, чем моя выносливость. Оба следователя, которые, сменяясь, ведут этот странный допрос, так же устали слушать меня, как я устал рассказывать, а может быть, даже больше. Для них эта карусель не имеет смысла, она и их превращает в автоматы. И эти автоматы начинают отказывать, от скуки их клонит в сон... И тогда в течение нескольких мгновений я отдыхаю — надо только произносить какие-нибудь звуки, ибо стоит мне замолчать, мои мучители тут же просыпаются.

Я бормочу что попало, все, что приходит в голову: алфавит, стихи. Как-то среди ночи следователь, внезапно проснувшись, требует: «А ну-ка повторите, что вы сейчас сказали о Хольдоше, с которым вместе были в Страсбурге!» «Но я никогда не бывал в Страсбурге, ни один, ни с Хольдошем!» Он в бешенстве, требует повторить то, что я сейчас рассказывал. Я уже не знаю, кто из нас сходит с ума!

Я начинаю думать о своем друге Лацо Хольдоше. Вспоминаю его лицо, вспоминаю нашу дружбу, упроченную многими годами совместной борьбы, которая привела нас с одних и тех же полей сражений в концлагеря. Недели две тому назад мне прочитали длинные выдержки из его «признаний».

Следователь снова задремывает. Я пользуюсь этим, чтобы прислониться к стене, а потом с большими предосторожностями придвигаю табуретку и сажусь.

Я продолжаю бубнить, описывая все, что окружает меня: «В углу стоит железный сейф серого цвета с двумя дверцами, в замке торчит ключ...»

Мой мучитель усердно храпит. Внезапно приоткрывается дверь, входит Доубек. Он видит, что я сижу! Видит, что следователь спит!

Доубек грубо трясет его за плечо и приказывает: «Отведи этого в камеру и сразу ко мне!»

Благодаря этому происшествию я выигрываю несколько часов сна.

Назавтра второй следователь встречает меня таким приветствием: «Негодяй, из-за вас мой коллега заработал восемь суток...»

И я снова повторяю: «Я родился в Остраве 1 февраля 1915 года...»

Ночь, тишина, пустота. Мне все безразлично. Жизнь кончена, меня больше нет. В тишине ночи, прерываемой только криками и ударами, доносящимися из соседних кабинетов, я жду, когда небо начнет медленно сереть, раздастся стук дятла, а вслед за ним весь утренний птичий концерт.

«Вы ждете дятла?» — спрашивает следователь, испытывающий такое же облегчение при виде занимающегося дня. Он смотрит на часы. Он тоже вымотался. Через несколько минут он завяжет мне глаза, и в камере меня встретит дружное чириканье воробьев и свист дроздов за окном.

Для меня начинается еще один полный отчаяния день.

Неужели я был так наивен, чтобы хоть на мгновение поверить, будто инквизиторы удовольствуются моим «признанием» в причастности к «троцкистской группе» бывших интербригадовцев и в сотрудничестве с Филдом. Я полагал, что этого признания им хватит для суда надо мной. Теперь-то я знаю, что оно послужило лишь трамплином для того, чтобы толкнуть меня еще дальше!

Отныне следователи все настойчивее вынуждают меня признать, что я занялся троцкистской деятельностью задолго до переезда во Францию, что уже в Испании я был агентом Троцкого. А Когоутек, развивая идеи своих подчиненных, утверждает: «Троцкистом вы стали еще раньше, когда жили в СССР».

Он проявил чудеса изобретательности, стараясь заставить меня признать это, и, убедившись, что не добьется своего, цинично заявил: «Таково мнение наших советских друзей. Поэтому я вынужден включить что-нибудь в этом роде в протокол...» Он знает, что в Москве я жил в течение нескольких недель в гостинице «Люкс»—это было в 1935-м, во время первого процесса Зиновьева и Каменева. Тогда там был произведен ряд арестов. И он вписывает в протокол: «Уже в Москве я жил в гостинице, где было арестовано много троцкистов».

Это заявление представляется мне столь глупым, что я соглашаюсь его подписать не без тайного удовлетворения. Смешное убивает! Ни один из ответственных товарищей, которые будут читать эти заявления, не сможет принять их всерьез. Ведь в 1934—1937 годах и позже в этой гостинице останавливались такие крупные руководители партии, как Готвальд, Сланский, Копецкий, Геминдер и другие. Разве это доказывает, что они троцкисты?

В течение известного периода я пытаюсь использовать эту тактику, стремясь дискредитировать протоколы, ибо рассчитываю — мне это твердят каждый день,— что ответст-

венный партийный орган, состоящий из самых квалифицированных работников Политбюро и Секретариата, будет рассматривать мои «признания».

Однажды, например, я признаю себя ответственным за назначение Кратохвила послом в Нью-Дели, Фишла — в Берлин, за ряд других решений, находившихся непосредственно в компетенции Готвальда и министра иностранных дел. Не может быть, говорил я себе, чтобы Готвальд не понял, на какие мистификации пошли следственные органы. Точно так же я не мог предположить, что Кёлер и Широкий примут как ни в чем не бывало мои «признания», в которых все, что я делал в 1939 и 1940 годах по их прямому указанию, расценивается как преступление. Я надеялся, что таким образом партия будет предупреждена и пересмотрит свои решения. Увы, я ошибся.

Вот, например, какие показания заставили дать на суде Марголюса:

«ПРОКУРОР: Следствие доказало, что вы занимались подрывной деятельностью уже в 1949 году, ведя переговоры с Англией о торговом и политическом соглашении.

МАРГОЛЮС: Да, я заключил соглашение в 1949 году, согласно инструкциям, полученным мною от Лёбла. Вредный и подрывной характер этого соглашения состоял главным образом в том, что оно обеспечивало большие выгоды британским капиталистам. Я возложил на Чехословацкую республику обязательство выплатить займы, заключенные еще до Мюнхенского соглашения и в период войны, как домюнхенским правительством, так и эмигрантским правительством в Лондоне. Кроме того, я дал согласие на выплату отдельным капиталистам долгов, на которые имелись гарантии, выданные домюнхенским правительством. Эти долги надлежало выплатить в основном за счет продукции кожевенной и текстильной промышленности, продукции, выработанной на базе импортного сырья, оплаченного фунтами стерлингов. Все это практически означает, что изделия, выработанные на базе импортного сырья, были бесплатно отданы Англии...»

Подготавливая упомянутое соглашение с Англией, Марголюс лишь выполнял распоряжения Готвальда, Доланского и Грегора. Однако все трое без малейших возражений позволили советским советникам и нашим следователям назвать «преступными» переговоры, которые вел Марголюс, судить его и приговорить к смертной казни. Подобные факты можно найти в деле каждого из четырнадцати обвиняемых.

Такова была тактика советников из СССР: объявить преступными переговоры, соглашения, политические акты, подготовленные высшими руководителями партии и государства или по их непосредственному распоряжению, возложить ответственность за них на обвиняемых и тем самым занести дамоклов меч над Готвальдом и другими, заставить их опасаться за собственную участь и таким образом превратить их, связанных собственным отступничеством, в своих послушных рабов.

Теперь следователи лезут из кожи вон, отыскивая истоки моего троцкизма. И они нашли их: я стал троцкистом потому, что прежде был анархистом...

С этой целью они используют эпизод, о котором я сообщил в автобиографии, написанной для ЦК,— намерение взорвать префектуру в Остраве, оставшееся неосуществленным благодаря бдительности секретаря местной партийной организации. Исходя из этой мальчишеской выходки — мне было шестнадцать, — они шьют мне прошлое ярого анархиста.

Объединенными усилиями Когоутека и Доубека родилась следующая формулировка, которая сама по себе представляет маленький шедевр превращения полуправды в грубейшую ложь: «Мои анархистские убеждения окрепли в Испании. Гораздо большее уважение я испытывал к руководителям-анархистам, чем к коммунистам...»

Я пытаюсь сопротивляться, но в ответ Когоутек и Доубек в один голос твердят: «Принимая во внимание вашу анархистскую деятельность в годы юности, совершенно исключено, что в Испании вы могли занимать другую позицию.—И добавляют: — Впрочем, все это чистая формальность, которая нужна просто для полноты картины. Ведь с точки зрения закона тут нет состава преступления».

Они знают, что самое важное — всячески преуменьшить значение признания, которое они хотят у меня вырвать. Последний их аргумент таков: «Это лишь служебный протокол, не предназначенный для суда». По их словам, существуют чисто служебные материалы, бумажки, которые подписываются только для проформы и идут в архив.

Но от одного служебного протокола к другому формулировки постепенно меняются, отклоняясь от своего первоначального смысла. Речь идет уже вовсе не о фактах, не об истине, а только о формулировках. Это как в мире схоластики и религиозных ересей. Там тоже четко определены еретические формулировки и надо подвести обвиняемого — от признания к признанию — к тому, чтобы он произнес роковые слова, которые сделают его преступником. Бригады циничных и нередко тупых следователей, действуя с механическим упорством, день за днем повторяя и «улучшая» в ходе бессчетного переписывания текст «служебных» протоколов, в конце концов подтачивают вашу сопротивляемость. Вы перестаете биться за конкретные слова, потому что сама фраза утратила для вас всякий реальный смысл. А слово, которое вы уступили, влечет за собой другую фразу, другое слово, которые вам сначала предложат, а потом навяжут.

Вот так и обретает плоть мое «анархистское» и «троцкистское» прошлое. А это, в точном соответствии с шаблоном московских процессов, кончится для меня обвинением в шпионаже.

Уже в первые дни заключения я столкнулся с оголтелым, чисто гитлеровским антисемитизмом, но в то время готов был приписать его личным качествам отдельных следователей. Для столь грязного занятия, думал я, госбезопасность, разумеется, не могла набрать порядочных людей. Но теперь я уже знаю, что дух антисемитизма, время от времени проявляющийся на допросах, свидетельствует о вполне определенной установке.

Как только выплывает новое имя, следователи настойчиво осведомляются, не еврей ли тот, о ком идет речь. Те, что половчее, ставят вопрос следующим образом: «А как его звали раньше? Не переменил ли он фамилию

в 1945 году?» Если этот человек действительно оказывается евреем, его под любым предлогом включают в протокол, и перед именем ставится ритуальное — «сионист».

В протоколах стараются «накопить» как можно больше евреев. Если из двух-трех фамилий находится одна явно еврейская, ее и заносят в протокол. Систематическое повторение еврейских имен, при всей примитивности этого приема, в конце концов производит желаемое впечатление, а именно — что обвиняемый имел дело только с евреями или во всяком случае по преимуществу с евреями.

Кстати сказать, слово «еврей» в протоколах не встречается. Допрашивая меня о Гайду, следователь прямо просит указывать при упоминании о каждом новом лице — еврей это или не еврей. И всякий раз, переписывая протокол, он вместо слова «еврей» ставит — «сионист». «Мы служим в аппарате госбезопасности демократической республики. Слово «жид»[1] оскорбительно. Поэтому мы пишем «сионист». Я обращаю его внимание на то, что «сионист» — термин политический. Он отвечает, что это неправда и что таковы полученные им инструкции. И добавляет: «В СССР слово «жид» также запрещено». Ему приказано писать «сионист» — и дело с концом.

Так до конца ярлык «сионист» и будет повторяться в сочетании с именами людей, никогда не имевших с сионизмом ничего общего.

Впрочем, когда будет составляться мой протокол для суда, в нем будет указано: «по национальности еврей» (как и в протоколах десяти других обвиняемых). Позднее, не знаю уж по чьей инициативе, эту формулировку заменят фразой: «по происхождению еврей»; она и сохранится в материалах процесса.

Первое время следователи просто состязались в проявлениях антисемитизма. Однажды я возразил одному из них, что, даже если встать на его точку зрения, непонятно, как можно назвать сионистами группу бывших интербригадовцев, в которой кроме Валеша и меня евреев не было. Он ответил мне с полной серьезностью: «Вы забыли про их жен. Они все — еврейки».

На этот счет в Рузине существует целая теория, и мне не раз излагали ее: «В семье всегда верховодит жена. Если она арийка, а муж еврей, последний лишается особенностей характера, свойственных ему от природы, и приноравливается к характеру жены. Например, вы, господин Лондон!.. Ну, а если ариец женится на еврейке, он неминуемо подпадает под ее влияние и становится юдофилом. Это играет большую роль в нынешнем следствии, ибо многие из наших соотечественников, которые во время войны эмигрировали на Запад, вернулись оттуда с женами-еврейками... Свóбода не еврей. Ну, а его жена? Бессарабская еврейка!.. Громадко не еврей, но его жена— еврейка. У Заводского, Павела и многих других — тоже... Что это доказывает? Что там, куда иудейство не смогло проникнуть прямо, оно проникло окольным путем, навязывая вам жен-евреек...»

Нескончаемая обработка словно жерновом размалывает тело и мозг. С каждым днем пирамида моих преступлений все растет. Их хватило бы на добрый десяток злодеев:

— Троцкистская деятельность в Испании и сотрудничество с Международной комиссией Лиги Наций, а также с Филдом и американской разведкой.

— Сотрудничество с французской полицией, с гестапо.

— Репатриация троцкистов в Чехословакию и другие страны народной демократии во время войны с целью выдачи подпольных партийных организаций и их руководителей агентам гестапо и подготовки позиций на будущее.

— Переправка Мирека Клецана в Чехословакию в период оккупации с целью выдачи гестапо Фучика и подпольного Центрального Комитета.

— Образование сети троцкистских организаций, опирающихся на шпионскую сеть во всех странах народной демократии.

— Выполнение миссии уполномоченного от IV Интернационала по восточным странам.

— Контакты и сотрудничество с группами Райка и Костова.

— Контакт с важной шпионской группой, действовавшей в Венгрии (название я забыл).

— Руководство троцкистской организацией в Чехословакии, ядро которой состояло из бывших интербригадовцев.

— Шпионская деятельность в качестве главного резидента американской разведки в Чехословакии под руководством Филда — эмиссара Аллена Даллеса.

— Связь с приспешниками Тито и подготовка государственного переворота в Чехословакии.

— Предательство, повлекшее за собой смерть сотен евреев во Франции во время войны.

— Сотрудничество с гестапо в Маутхаузене...

В июле капитан Когоутек снова грозит арестовать мою жену. Он говорит, что госбезопасность уже давно намерена это сделать. И между прочим, она будет не первой женой обвиняемого, заключенной в эту тюрьму. «А главное, не думайте, что этому помешает ее французское подданство, как раз наоборот. Мы скажем, что она агент Второго бюро, которое через нее завербовало вас, и можете мне поверить, найдется достаточно свидетелей, готовых это подтвердить».

Следователи ополчаются и на родителей моей жены, честных, простых людей, посвятивших жизнь семье и партии. Их обвиняют в том, что они антипартийные космополиты. В Рузине такой ярлык клеят, как правило, евреям, интеллигентам и вообще всем, кто был во время войны за границей. Применительно к родителям моей жены это особенно нелепо. Во Францию Риколи прибыли из Испании в начале века, покинув скудную землю Арагона,— она не могла прокормить многодетную крестьянскую семью. Отец Лиз стал шахтером. Он вступил во Французскую компартию в 1920-м, в год ее основания. Малограмотный, он с трудом, по складам читал статьи в «Юманите». Мать жены — католичка, но в ее сознании коммунизм естественно сочетается с учением Христа. Мой тесть Фредерик Риколь воспитывал детей в духе простодушной и безу-

[1] По-чешски — еврей *(прим. перев.)*.

словной веры в коммунистические идеалы. Для всей их семьи СССР и Сталин воплощали добро, гарантию счастливого будущего, которое освободит человека от рабства.

Брата моей жены также обвиняют в том, что он — антипартийный элемент, шпион Второго бюро, тогда как он с юности известен своей активной партийной деятельностью, завоевавшей ему большое уважение во Франции.

Беспрерывные угрозы арестовать жену очень меня удручают. Я уже хорошо знаком с методами, применяемыми в Рузине, и знаю, как легко госбезопасности сфабриковать ложные свидетельские показания и осуществить свой замысел. Я знаю, что в этой тюрьме содержатся и женщины, и уже гадаю, нет ли среди них Лиз.

На сей раз эта угроза производит на меня особенно тяжелое впечатление, так как мне удалось разобрать несколько слов из лежавшей на столе Когоутека бумаги: «Лиз Лондон сказала мне вчера...» Из этого я заключаю: ее окружили стукачами, которые пишут на нее доносы в органы госбезопасности. Потом я узнал, что так оно и было.

В действительности же все это лишь новая психологическая подготовка, новый вид обработки. Много позднее я пойму смысл изменений, наметившихся в допросах.

В конце июля Когоутек приходит за мной в кабинет, где меня допрашивает один из его помощников, и уводит к себе.

«Партия,— говорит он,— обнаружила существование крупного антигосударственного заговора, который возглавляет один из высших руководителей страны». И перечисляет поименно всех членов Политбюро: «Не этот, не этот...» Когда неназванным остается только Сланский, Когоутек спрашивает: «Вы поняли, о ком идет речь?»

«Вы имеете в виду Сланского?»

«Да, именно Сланского. Вас будут допрашивать обо всех контактах, которые имели с ним вы и другие бывшие интербригадовцы из вашей группы. Вы должны рассказать абсолютно все, что вам известно, до мельчайших деталей».

Он прибавляет: «Вы не первый, кого партия поручила нам допрашивать о Сланском. У нас имеется множество показаний против него, причем некоторые даны уже давно. Кстати, и вы сами давали показания против Сланского». Я смотрю на него в полном ошеломлении: «Я?» «Ну, разумеется. Разве вы не заявляли много раз, что не имеете отношения к выдвижению ваших сообщников после их возвращения из Франции? Разве вы не сказали, что Сланский лично дал им указание поскорее вернуться в Прагу, что он лично принял их, когда они прибыли, а затем доверил им ответственные посты в партийном и государственном аппарате?»

Моя растерянность усиливается: «Почему же до сих пор вы всегда обрывали меня, когда я пытался объяснить это и даже запрещали произносить имя Сланского?» Он отвечает: «Потому что вы упрямо отрицали, что являетесь руководителем троцкистской группы, отрицали вашу шпионскую связь с Филдом. Но теперь, после того как вы подписали свои первые признания, партия считает, что мы должны пойти дальше».

В заключение Когоутек наставительно говорит мне: «Господин Лондон, подумайте хорошенько. Кто, по-вашему, дал приказ арестовать вас и других интербригадовцев? Ведь без указания Сланского мы не могли бы этого сделать! Он пожертвовал вами, полагая, что, выбросив вас за борт, спасется сам».

Вернувшись в камеру, я еще долго не могу прийти в себя и освоиться с радикальным поворотом событий. Если Сланский арестован [1], значит, партия понимает всю низость махинации, жертвами которой оказались я и мои товарищи.

Однако в моих рассуждениях есть существенная ошибка. Внушая мне мысль о том, что все мы являемся жертвами Сланского, Когоутек уже дает понять: мы были в то же время его сообщниками.

Но суть от этого не меняется: именно на Сланском лежит ответственность за все, что происходит с нами и со многими другими.

И потом, если наш процесс не состоялся в намеченный срок, если замышлявшееся повторение дела Райка сорвалось, то не потому ли, что им не удалось получить от меня, мнимого руководителя группы, «признания» так скоро, как нужно было для осуществления их плана?

Я цепляюсь за мысль, что партия приняла решение об аресте своего Генерального секретаря, поняв: «какая-то в державе датской гниль». Подобно всем заключенным, отрезанным от мира и реальных событий, я строю воздушные замки, вдохновляясь малейшей искоркой надежды.

В один из последующих дней Когоутек дает мне бумагу, карандаш и требует, чтобы я своей рукой написал обо всем, что касается контактов Сланского со мной и другими интербригадовцами. Но мой текст явно не устраивает его. Обозленный, он выходит из комнаты, сказав, что должен проконсультироваться с «настоящими начальниками». Вернувшись через час, Когоутек говорит, что начальники отказываются принять мои формулировки, и рвет написанные мною страницы.

«Я обратился к вам от имени партии, а вы отделываетесь какими-то байками. Вы отлично понимаете, что я, простой капитан госбезопасности, не по собственному почину допрашиваю вас о Генеральном секретаре ЦК партии! Вы отлично понимаете, что если б я не имел приказа высших партийных инстанций, то ни в коем случае не посмел бы это сделать! Вы должны довериться партии и руководствоваться ее указаниями. Если вы откажетесь, мы применим к вам методы, о которых вы еще не имеете понятия. И очень возможно, что тогда вы не выберетесь отсюда живым». Он добавляет, что мои предыдущие признания в любом случае остаются в силе...

---

[1] Я ошибался. Сланский в это время все еще находился на посту Генерального секретаря партии. Немного позднее, 31 июля 1951 года, торжественно отмечалось его 50-летие. Он получил из рук Готвальда высший государственный орден. 6 сентября он выступил на Пленуме ЦК с самокритикой по поводу работы Секретариата ЦК. По предложению Готвальда, ЦК назначит Сланского заместителем Председателя Совета Министров. Он уже больше не будет Генеральным секретарем, но останется членом Секретариата ЦК. Он будет арестован лишь в ночь с 23 на 24 ноября 1951 года *(прим. автора)*.

С этого дня и до начала августа Когоутек ведет себя со мною, как рыболов, который подсек рыбу и медленно, сантиметр за сантиметром вытягивает ее, хотя она отчаянно бьется и вырывается.

Телеграмма, посланная Сланским в Париж в 1945 году, в которой он просил о срочном возвращении в Прагу бывших интербригадовцев, моя беседа с ним в 1946 году, когда он говорил мне о своем намерении выдвинуть кое-кого из нас на более ответственные посты, превращаются теперь в «доказательства» преступного сговора между мной, бывшими интербригадовцами и Сланским.

С помощью словесной акробатики, тенденциозных истолкований и просто фальшивок постепенно вырисовывается картина моей «вражеской деятельности в сговоре со Сланским».

Наша «группа», поначалу призванная сама по себе дать материал для процесса, подобного процессу Райка, теперь уже превращается в ответвление «центра», а я, как ее глава, становлюсь одним из четырнадцати руководителей «заговорщического антигосударственного центра, возглавляемого Сланским». Моих «сообщников», за исключением Павела, которого будут судить отдельно, распределяют по другим процессам, «вытекающим» из «большого процесса». Что же до Лацо Хольдоша, то ему обвинение в «троцкизме» заменят на «словацкий буржуазный национализм», за что и осудят в 1954 году в группе Новомеского, Гусака и других.

К тому моменту, когда я подписал свои первые признания, я уже был в состоянии полного физического и нравственного истощения. Бесконечная карусель выводит меня за пределы человеческой сопротивляемости. Мне невыносима мысль о том, что эти мучения будут продолжаться. Я больше не могу, я дошел до точки.

И все же что-то не дает мне отказаться от борьбы.

Когоутек начинает составлять «частичные служебные протоколы».

Он не жалеет сил, чтобы добиться формулировок в духе новой концепции, изобретенной советскими советниками. Вот что он мне заявляет: «В нашем протоколе, который пойдет в суд, будет две части: одна обвинительная, другая защитительная. Во вторую часть вы сможете включить все, что говорит в вашу пользу или является, по вашему мнению, смягчающим вину обстоятельством. Здесь же, вполне естественно, мы будем касаться только отрицательных сторон вашей деятельности. Не наше дело готовить документ в вашу защиту! К тому же у вас будет адвокат, с которым вы его и напишете».

На самом деле это просто чудовищное мошенничество. Когда дело дойдет до написания протокола, предназначенного «для суда», будет получено указание ни в коем случае не смягчать формулировок. О второй же, защитительной части никто и не вспомнит.

В любой цивилизованной стране это называется вымогательством подписи. Здесь оно возведено в принцип. Сломив после долгих месяцев пыток сопротивление обвиняемого по какому-либо одному вопросу, следователи принимаются расширять брешь, вымогая подпись за подписью, протокол за протоколом, и накапливают всю ту гору бумаг, которая в этой системе преступной бюрократии заменяет правду и факты. К чему продолжать бесцельную борьбу, думает обвиняемый, ведь мне будет предоставлена возможность оправдаться в том единственном протоколе, который предназначен для суда!.. Тем более что вначале, не понимая полностью замысла советских советников и следователей, ты допускаешь как несущественные легкие изменения формулировок, потому что не улавливаешь, к чему это приведет. Будь ты виновен, ты бы догадался. Но ты так далек от всего этого детективного романа и от навязанной тебе роли, что поначалу просто не можешь понять, куда клонит следователь.

Иногда я целый день бьюсь из-за одного слова, бесконечно, днями и ночами борюсь из-за одной фразы. Но ничто не может заставить Когоутека отклониться от своей цели. Вновь и вновь я слышу словно заклинание: «Вы должны довериться партии, отдаться ее воле. Это в ваших собственных интересах». И еще, в который раз: «Я говорю с вами от имени партии». Я, Когоутек — человек, на совести которого бесконечные пытки, лживые формулировки, вымогательство подписей,— говорю от имени партии...

Он ничуть не стесняется передо мной того, что ни в грош не ставит собранные им «доказательства», если они уже не соответствуют новой концепции. Он легко отказывается от множества обвинений и «признаний» моих соратников по «троцкистской группе». Зато вводит новые обвинения, которые должны придать нужные черты персонажу, чью роль мне надлежит играть в заговоре Сланского. Ведь он должен доказать, что я «в течение длительного времени, до самого ареста, состоял в преступной связи с главарями заговора (Сланским, Геминдером, Фрейкой, Клементисом, Рейцином, Івабом, Гайду, Лёблом, Марголюсом, Фишлом, Шлингом, Симоном и другими лицами), имевшего целью уничтожение независимости Республики и свержение народно-демократического строя, гарантированного Конституцией, и с той же целью вступил в связь с одной иностранной державой...»

В течение трех недель августа Когоутек неутомимо шлифует свое сочинение. Отредактировав и переписав, согласно полученным от советских советников замечаниям, одну-две страницы моих «признаний», он покидает меня, чтобы показать проделанную работу тем, кого с гордостью называет «своими настоящими начальниками». По возвращении он при мне перепечатывает эти страницы, изменяя текст согласно вновь полученным указаниям. А то и прямо заявляет мне, что текст моих «признаний» станет окончательным только после того, как его переведут на русский язык и он будет апробирован «начальниками».

В его рвении и упорстве есть что-то ошеломляющее. Никогда бы не подумал, что человек может так долго и кропотливо, словно муравей, трудиться над формулировками. Когоутек вновь и вновь печатает на машинке каждый отрывок, вымогая мою подпись под каждым новым вариантом. От поправки к поправке, от отрывка к отрывку, от формули-

ровки к формулировке смысл все более удаляется от оригинала, сохраняя с ним, впрочем, некое «фамильное сходство». Но от меня все это ускользает. Да ведь так оно, наверное, и задумано — чтобы смысл от меня ускользал, чтобы слова мне уже не принадлежали, чтобы описание моих поступков, изложение моих мыслей постепенно стало для меня чужим. Но не чересчур, чтобы я не встал на дыбы и не нарушил хода этого изматывающего процесса, который, очевидно, не должен прерываться. Но сейчас я слишком поглощен им, заморочен, устал, слишком раздавлен физически, чтобы взглянуть на все со стороны и уловить смысл происходящего.

Понадобится неожиданный инцидент, небольшая осечка, чтобы я понял, с помощью какого механизма Когоутек хочет меня сокрушить.

К концу августа 1951 года, когда накопилась уже весьма внушительная кипа служебных протоколов, я с удивлением увидел, как в кабинете, где Когоутек так старательно оттачивает свои формулировки, появился министр госбезопасности Копржива в сопровождении Доубека. «Ты все же решил давать показания. Да, для тебя это единственный выход»,— бросает он мне вместо приветствия.

Некоторое время Копржива слушает, потом начинает сам задавать мне вопросы. Я хорошо запомнил наш первый разговор и его заключительную фразу: «Сознаешься ты или нет, тебя все равно уничтожат!»

Раз уж он отказался мне поверить, когда я еще ничего не подписал и упорно добивался, чтобы партия узнала правду, то теперь и подавно не поверит тому, что идет вразрез с его предвзятым мнением... Единственный шанс заставить его выслушать меня — это не возражать, а воспользоваться его присутствием, чтобы как можно объективнее ответить на вопросы. Иными словами, не оспаривая своей виновности в целом, получить возможность говорить правду по каждому отдельному пункту и таким образом показать разницу между моими истинными ответами и тем, во что они превращаются после обработки Когоутека и его «настоящих начальников». Копржива не сможет не заметить этого, так как явился сюда с моими служебными протоколами в руках. К тому же он то и дело заглядывает в них.

Все это сразу же принимает характер контрольного допроса. Копржива спрашивает меня, кто руководил в Чехословакии группой бывших интербригадовцев. Я отвечаю: сначала Павел, но после моего возвращения на родину эту ответственность разделял с ним я. На его вопрос: «Кто избрал или назначил Павела?» — я отвечаю: «Никто! Он не был ни избран, ни назначен. Для всех испанских ветеранов он был авторитетом, потому что в Испании у него было самое высокое воинское звание и он всегда находился на руководящей работе в Интернациональных бригадах.— И добавляю:— То же самое и я. И в Испании, и во Франции я всегда решал важные политические задачи и поэтому пользовался авторитетом среди бывших интербригадовцев».

Копржива, по-видимому, удивлен и раздражен моими ответами. Он листает протокол и что-то там ищет... «Почему все бывшие интербригадовцы поддерживают друг друга?» «Из чувства товарищества». Он продолжает: «Зачем было ставить их повсюду на руководящие посты в государственном аппарате, как ты сам это делал в Министерстве иностранных дел?» «Потому что я их знал. К тому же это неплохие работники».

Убеждаюсь, что его мнение об испанских ветеранах не изменилось. Он снова спрашивает: «Почему и с какой целью вы поставили бывших интербригадовцев во все звенья госаппарата?» «У нас не было никакой цели!» Но так как он все грубее и яростнее настаивает, я отвечаю невразумительным набором штампов: «У нас не было никакой цели, но если объективно это рассматривается как ослабление государственного аппарата, и поскольку всякое ослабление государства является в каком-то смысле вредительством, а всякое вредительство приводит в конечном счете к ослаблению социализма и к укреплению сил, стремящихся к реставрации капитализма...»

Копржива слушает раскрыв рот. У меня такое впечатление, что он обозлен и одновременно растерян, сбит с толку моими ответами. Хоть я и боюсь последствий своего поступка, но все же доволен, что на этот раз сумел заставить его выслушать меня. Я также надеюсь, что заронил в нем сомнения относительно того, что творится здесь, в Рузине. Недаром и Доубек и Когоутек делают мне из-за спины министра угрожающие жесты.

После ухода Копрживы и Доубека Когоутек яростно набрасывается на меня. Он говорит, что я вел себя в присутствии министра из рук вон плохо. Что другие обвиняемые, которых министр допрашивал до меня, отвечали вполне удовлетворительно. И что подобное поведение может иметь для меня очень серьезные последствия. Потом он велит отвести меня в камеру.

Вечером Когоутек вызывает меня снова. Он в бешенстве и говорит, что из-за меня получил суровый нагоняй от своих начальников; что он еще недостаточно «поработал» надо мной; что мое поведение и ответы смутили министра и заставили его на какой-то момент усомниться в истинности моих «признаний». Но тут же добавляет, что «друзья» поговорили с Копрживой и сумели его убедить,— они надеются, что министр сделает «хороший доклад Президенту, несмотря на плохое впечатление, которое произвели ваши ответы».

Затем Когоутек снова осыпает меня угрозами. Он говорит, чтобы я хорошенько вбил себе в голову одно: надо подтверждать свои «признания» при любых обстоятельствах и перед кем бы то ни было, иначе мне не сносить головы и семье тоже придется плохо.

В последующие дни Когоутек продолжает редактировать свои «служебные протоколы». Когда дело подходит к концу, он говорит мне: «Первую часть протоколов, которые мы с вами составили, показали Президенту Готвальду. Он выразил свое удовлетворение и прибавил, что с Лондоном надо продолжать в том же духе...»

Итак, я волей-неволей должен признать очевидный факт: для Готвальда и партии последнее слово всегда останется за

советскими советниками и их подручными из Рузине.

Закончив первый общий набросок моих «признаний», Когоутек в начале сентября объявляет, что уходит в отпуск. И вновь предупреждает: «Если дорожите жизнью и в особенности если не хотите впутать во все это вашу семью, не вздумайте воспользоваться моим отсутствием, чтобы взять свои признания обратно. Подумайте о своих детях!»

У меня нет никаких оснований не верить Когоутеку. Я понимаю, чего мне может стоить дальнейшее сопротивление, и одновременно сознаю полную невозможность обратиться к кому-либо, кто поверил бы мне, кто не был бы участником адской карусели, запущенной советскими советниками. Я стою перед пропастью и яснее, чем когда-либо, вижу, как она глубока.

Впервые за семь с лишним месяцев заключения меня не вызывают на допросы. Впервые я получил разрешение курить, и мне удалось спрятать в камере семьдесят сигарет. Во время последнего допроса у Когоутека я стащил спички.

Я думаю о Лиз, о детях, о ее родителях. Мне страшно за них как никогда. Пусть поскорее кончится для меня эта трагедия, только бы пощадили моих близких! Пусть забудут меня и продолжают жить! Но оставят ли их в покое?

В письмах Лиз столько уверенности! Она ждет меня. И дети тоже. Подумать только, я ничего не могу им сообщить, у меня нет возможности оградить их от тяжкого удара, которым будет для них мой процесс и приговор.

Они поверят, что я виновен... Но если когда-нибудь им суждено будет узнать правду, страдания их будут еще горше. Так пусть уж лучше они останутся в неведении и вычеркнут меня из памяти.

Глухие раскаты грома и слепящий блеск молнии. Я поднимаю глаза к свинцовому небу. Порывы сырого ветра проникают в камеру. Крупные капли дождя барабанят по стеклу. С воли доносится сладковатый аромат мокрых лугов.

Хорошо бы пройтись под дождем, подставляя лицо ветру,— пусть капли стекают по волосам, лбу, носу, щекам... Жить бы и жить с теми, кого я люблю — с моей Лиз, с детьми. Почему мой конец должен быть столь ужасным? Почему все это так долго тянется?

Слезы текут по моим щекам, носу, подбородку. В отчаянии я бьюсь головой о стену: о боже, покончить со всем этим! Покончить немедля!

С грохотом распахивается дверь камеры. Надзиратель злобно набрасывается на меня: «Вы не умеете себя вести в тюрьме! Видно, совесть мучает... Но теперь уже поздно!..»

Он тащит меня к умывальнику, срывает рубашку и окатывает мою голову и плечи струей ледяной воды.

Я решаю: лучшее, что я могу сделать,— это воспользоваться отсутствием Когоутека и покончить счеты с жизнью.

Для начала я не ем и не пью в течение четырех дней, чтобы ослабить организм. У меня не хватает мужества длить муки голода, и я перехожу ко второй фазе самоубийства: крошу в суп пятьдесят сигарет, которые у меня остались, добавляю туда головки от десяти украденных мною спичек. Съедаю все это в надежде, что организм, изнуренный голодовкой, постоянным недоеданием и зверским режимом, который я терплю уже столько месяцев, не вынесет отравления никотином и серой...

Мне было очень плохо. Я думал, на этот раз моя попытка удастся. Ценой отчаянных усилий я скрывал свое состояние от надзирателей. Излишне рассказывать все подробности моей пытки... но и на этот раз сорвалось!

Именно тогда доктор Соммер распорядился, чтобы меня перевели в камеру тюремного лазарета. Действительно, я в таком состоянии, что требуется лечение — иначе дальнейшие допросы невозможны. Мне делают уколы, дают лекарства. Я не знаю ни состава их, ни действия. Само собой, я по-прежнему строго изолирован и из лазарета меня отправят прямо в суд.

Много позже я узнал, что Лиз не сдавалась.

Поскольку все попытки добиться, чтобы ее выслушали партия и органы госбезопасности, которым она хотела помочь разобраться в моем деле, ни к чему не привели, в конце сентября 1951 года Лиз написала длинное письмо Клементу Готвальду. Начиналось оно так:

«Дорогой товарищ,

обращаюсь лично к тебе как к Председателю нашей партии, чтобы изложить все, что мне известно по делу моего мужа Артура Лондона, с которым я прожила шестнадцать лет и который уже восемь месяцев находится в предварительном заключении.

Прежде чем приехать к моему мужу в Прагу в 1949 году, я была членом Французской коммунистической партии, где занимала ответственные посты. Я была избрана X и переизбрана XI съездом партии в Центральную контрольную комиссию, а со времени Первого Конгресса Союза французских женщин в 1945 году была национальным секретарем этой массовой организации. Я коммунистка с 1930 года и никогда, ни на одном посту, ни на одной работе, которую мне поручали во время войны и после нее, не подводила партию. Я обращаюсь к тебе, дорогой товарищ, как коммунистка, сознающая свою ответственность, чтобы попытаться внести ясность в дело моего мужа».

Затем Лиз подробно излагала мою биографию, начиная с отъезда в 1933 году в Москву и кончая работой в МИДе, описывала всю историю моих взаимоотношений с Филдом и выражала уверенность, что я стал жертвой провокации, что в партии и органах госбезопасности есть скрытые враги, которые «хотят поднять шум вокруг дела Лондона, чтобы отвлечь внимание от них самих».

Далее она писала: «Я думала, что меня, как жену Лондона, с которым я прожила шестнадцать лет, и коммунистку с двадцатилетним стажем, допросят после ареста мужа, ибо я хорошо знаю его жизнь, деятельность и политические убеждения. Само собой разумеется, что, будучи сознательной комму-

нисткой, я не могу действовать иначе как в интересах партии и не собиралась ничего утаивать, даже если б это шло во вред моему мужу. Я считаю, что могу помочь разобраться в деле Лондона. В июне этого года я написала заявление в органы госбезопасности с просьбой допросить меня. Товарищ, к которому я обратилась, обещал, что меня скоро вызовут, но вызова я не дождалась. В июле я написала товарищу Кёлеру, заведующему Отделом кадров ЦК, и снова попросила, чтобы меня вызвали и дали возможность сообщить партии все, что мне известно. Я высказывала также уверенность в невиновности мужа и свое доверие к партии, которая сумеет в конце концов выяснить правду и разобраться в его деле. И если бы эта правда говорила против него, мне, как коммунистке, не оставалось бы ничего иного, как признать этот факт. В таком случае шестнадцать лет нашей совместной жизни и даже то, что Лондон — отец моих троих детей, не много бы значили на весах моей совести.

На это письмо я, к моему величайшему изумлению, получила ответ, который привожу дословно:

«Секретариат Центрального Комитета
Коммунистической партии Чехословакии
Товарищу Лиз Риколь-Лондон

Товарищ,

на твое письмо товарищу Кёлеру, находящемуся в настоящее время в отпуске, отвечаю следующее: ты хочешь сообщить все, что тебе известно о твоем муже, но по тону твоего письма ясно, что ты снова собираешься защищать его. У нас подобную позицию называют «действиями в пользу обвиняемого», и мы не можем с ней согласиться. Советую тебе вести себя как подобает дисциплинированному члену партии и сообщить свое мнение суду, когда последний сочтет нужным обратиться к тебе.

С товарищеским приветом,
Барамова».

Позволь мне, товарищ Готвальд, ответить на это следующее:

1. Обращаясь в Отдел кадров ЦК, я делала это в уверенности, что обращаюсь к партийной инстанции, которая призвана помогать коммунистам в решении их личных и партийных проблем. Полученный мной ответ написан так, словно он исходит не от Отдела кадров Центрального Комитета, а скорее от государственного прокурора и адресован лжесвидетелю.

Я с гордостью ношу звание члена партии, зная, что вся моя жизнь и деятельность дают мне право высоко держать голову, и не могу позволить ни товарищу Барамовой, ни кому бы то ни было другому обращаться со мной таким образом.

2. Из того, что мне пишет товарищ Барамова («подобная позиция называется у нас «действиями в пользу обвиняемого»), следует: коммунисту недопустимо высказывать свое мнение партии, если оно не соответствует мнению, принятому в данный момент. Это означало бы не что иное, как зажим критики, и способствовало бы созданию атмосферы страха, при которой коммунисты боялись бы брать на себя личную ответственность.

3. Я считаю, подобная позиция прямо противоречит тому, ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ И ЧЕМУ ТЫ УЧИШЬ, а именно — что всякий член партии должен с полным доверием обращаться к ней со всеми своими проблемами и соображениями. Но при таком отношении к людям, какое я встретила со стороны Отдела кадров, коммунисты не могут с полной откровенностью говорить с партией.

Я прошу тебя, дорогой товарищ, сделать все необходимое, чтобы меня выслушали. Я уверена, что обратилась к тебе не напрасно, и не сомневаюсь, особенно теперь, когда руководство партией полностью сосредоточено в твоих руках, что это дело будет решено по справедливости.

С искренним коммунистическим приветом,
Лиз Риколь-Лондон».

Дней через десять после того, как Лиз отнесла письмо в секретариат Президента Готвальда в Градчанах, ее вызвали в ЦК. Там ее встретил и провел в кабинет сотрудник, подписавший повестку. Через несколько минут явился другой человек, который уселся напротив нее за стол. Первым делом он включил настольную лампу и направил свет в лицо моей жене. «Вы хотели, чтобы вас выслушали. Говорите. Что вы имеете сказать?» Несмотря на удивление, которое вызвал у нее подобный прием, Лиз на какое-то мгновение испытала прилив безумной надежды: человек, сидевший против нее, говорил с русским акцентом. (Судя по описанию Лиз, это был Яношек.) Жена подумала, что советские, узнав, какие дела творятся в стране, решили провести свое собственное расследование и что благодаря им будет установлена истина. Разве не попыталась она через несколько месяцев после моего ареста поставить в известность об этом деле руководство большевистской партии? Она составила докладную записку, которую передала некой девушке, выросшей в СССР и работавшей в МИДе. Лиз познакомилась с ней через одного из бывших интербригадовцев. Эта девушка утверждала, что непосредственно связана с советским послом... Моя Лиз была так счастлива, что нашла этот ход, а он, без всякого сомнения, вел прямо к советским советникам!

И вот жена снова повторяет все, что писала Готвальду. Она добавляет некоторые подробности и факты. Говорит с полной убежденностью — ведь так легко проверить по первоисточникам всю мою деятельность. Невозмутимый и неподвижный как истукан, человек не произносит ни слова. Когда Лиз умолкает в ожидании вопросов, он с каменным лицом роняет: «Это все?» Растерянная Лиз снова все объясняет, стараясь повторить лишь то, что считает самым важным. Но сидящий перед ней человек молчит, на лице у него не дрогнул ни один мускул, он не мигая смотрит ей в глаза пустым взглядом, и Лиз снова умолкает. Потом спрашивает его: «Можете вы наконец сказать, что случилось с моим мужем? В чем его обвиняют? Вот уже восемь месяцев, как он арестован, а я знаю не больше, чем в первый день». Тогда человек отвечает: «Обвинения против вашего мужа пока не выдвинуты. Он все еще находится в предварительном заключении. Может быть, его выпустят. Все, что вам остается делать,— это запастись терпением,

продолжать ему писать. Если для него дело примет дурной оборот, партия вам сообщит и поможет».

Лиз вне себя от радости. Значит, после восьми месяцев заключения меня все еще не рассматривают как обвиняемого. Еще ничего не потеряно — настоящих виновников разоблачат! Ее наивность и доверчивость подкрепляются тем, что именно в это время в руководстве партии произошли крупные изменения. И главное — ведь ее наконец-то выслушали!

Последняя встреча Лиз с Андре Симоном в конце ноября 1951 года лишний раз показывает, как долго и упорно многие наши товарищи сохраняли иллюзии. Симоны жили неподалеку от моих близких. Выходя из дому на прогулку или по делам, Лиз и ее родители часто встречали их: Симоны не избегали членов моей семьи, как это, к сожалению, делало большинство наших прежних знакомых, а всегда выражали им свое сочувствие и старались ободрить. Однажды вечером — это было уже после сообщения об аресте Сланского — жена, сев на Вацлавской площади в трамвай, увидела Симона. Тот окликнул ее, они сели рядом.

«Скоро все твои несчастья кончатся,— сказал он сразу же.— Теперь, после ареста Сланского, все прояснилось. Если он арестован, значит, Готвальд наконец разгадал его игру. Ты же знаешь, что Готвальд осудил кадровую политику Секретариата ЦК за последние годы. Меня самого буквально преследовали. Но теперь, я уверен, эти черные времена скоро кончатся. Вот увидишь, Лиз. Скоро все уладится!» Он рассказал ей, каким унижениям, какой дискриминации подвергали его уже в течение многих месяцев. «В тот вечер,— вспоминала впоследствии Лиз,— он был такой веселый, бодрый, помолодевший — словно лет десять сбросил. Как борец перед выходом на арену...»

А ведь все мы были старыми партийными работниками с богатым опытом, приобретенным на самых различных участках международного коммунистического движения. Мы мнили себя мудрыми и реалистически мыслящими марксистами. Но жили мы вне реальности, в собственных мечтах. И в тяжелые минуты цеплялись за свои иллюзии, ждали чуда, боялись правды и не желали ее знать...

Через несколько месяцев после встречи с Лиз Андре Симон был в свою очередь арестован. А через год он в числе четырнадцати обвиняемых предстанет перед судом на «процессе руководителей антигосударственного заговора»... Вместе со Сланским, в качестве его сообщника.

Вот уже около девяти месяцев, как я арестован. Мне уже знакомы казематы Колодее, невыносимые физические и психические пытки, ярость Смолы и «карусель» Когоутека. И все же, если бы мне сказали, что после возвращения Когоутека из отпуска допросы будут продолжаться изо дня в день еще двенадцать месяцев и мне придется еще бесчисленное множество раз участвовать в переписывании служебных протоколов, я бы просто этому не поверил.

Теперь я догадываюсь о некоторых причинах подобной тактики. Арест Сланского в ноябре, арест Геминдера и других, их допросы, их «признания» не могли не повлечь за собой новые формулировки в служебных протоколах, касающихся тех обвиняемых, которые должны были участвовать в процессе. Но с того дня, как меня стали допрашивать о Сланском и его «сообщниках» (Когоутек изображал их как предателей партии с самого начала их деятельности), я думал, они давно уже арестованы. По-моему, ни один нормальный человек не в состоянии представить себе, что руководители партии могли допустить нагромождение таких обвинений против других руководителей без ведома последних, остававшихся на своих постах еще в течение многих месяцев.

Сланский только в сентябре был смещен с поста Генерального секретаря и назначен заместителем Председателя Совета Министров — пилюлю все же подсластили. То, что происходило с нами, проливает яркий свет на способы фабрикации подобных процессов. Сначала измышляют обвинения, сценарий процесса, и только потом арестовывают жертвы, намеченные на роль преступников.

Целый год стряпали эти протоколы, полные гнусной лжи. На это ушли конец осени, долгая зима, вся весна, лето и снова осень...

Вписывать отрывки, монтировать их с другими, переделывать этот протокол-монтаж; переходить от «служебных протоколов» к «подготовительным», а от них — к «протоколам для суда»; выбирать из протоколов других обвиняемых, даже никак не связанных со мной, «выигрышные» фрагменты и включать эти фрагменты, вырванные из контекста, в мои протоколы; превращать их затем в мои собственные показания против моих же подельников, а в их уста вкладывать заявления, взятые из моих протоколов и соответственно трансформированные; вставлять все новые имена — в вопросы и в мои ответы, в «признания» моих подельников — на языке Когоутека и его подручных это называется «синтезировать материалы следствия».

В моей памяти всплывают несколько эпизодов. Быть может, они имеют отношение к тем фальшивкам, против которых я дольше всего боролся, быть может — к тем, что сильнее всего ранили и унижали меня. Мне вспоминается долгое, нескончаемое сражение во тьме. Быть может, я удержал в памяти лишь самое простое.

По мере того как следователи набивают руку в переписывании протоколов, они все искуснее жульничают. Опуская лишь одно имя, эти писаки творят чудеса. Так, например, я в энный раз повторяю: «В 1940 году Широкий связал меня с Фейглом и дал указание сохранять эту связь, давать Фейглу определенные партийные задания и принимать от него суммы, которые тот каждый месяц будет вносить в фонд партии. До 1940 года Широкий сам поддерживал эту связь и получал деньги. Сведя меня с Фейглом, Широкий сообщил, что в 1937 году его исключили из партии, но это решение было ошибочным. Потом сказал, что хорошо знаком с материалами этого дела и после войны добьется его пересмотра. Действительно, в 1945 году Фейгл решением Центрального Комитета был восстановлен в КПЧ».

Вот как излагаются эти факты в протоколе:

«В 1940 году я вступил в связь с Фейглом, хотя и знал, что он был ранее разоблачен как враг партии и исключен из ее рядов. Несмотря на это, я давал Фейглу различные партийные задания и принимал вносимые им ежемесячно денежные суммы, зная, что эти деньги поступают от американских империалистов».

Постоянное повторение одного и того же слова, одной и той же фразы в течение часов, дней, ночей, целых недель, до тех пор, пока она не врезается в ваш мозг...

На допросе о марсельской «троцкистской» группе бывших интербригадовцев следователь спрашивает меня:

«Что это была за группа, господин Лондон?»

«Группа бывших интербригадовцев в Марселе».

«Троцкистская группа, господин Лондон! Повторите: какая группа?»

«Группа бывших...»

«Нет! Троцкистская группа».

Следователь, обозлившись, прерывает допрос, чтобы подвергнуть меня наказанию. И снова — та же песня.

По поводу Ноэла Филда рассказываю:

«Я вступил в контакт с Ноэлом Филдом в Женеве, в 1947 году».

Он прерывает меня:

«В какой контакт, господин Лондон?»

«Просто в контакт!»

«Нет! В шпионскую связь. Начинайте снова и называйте вещи своими именами».

Слыша одни и те же слова, одни и те же выражения изо дня в день в течение недель, месяцев, лет, вы в конце концов начинаете сами автоматически, как машина, повторять подсказанное. На земле уже нет ни одного человека без ярлыка «троцкист», «буржуазный националист», «сионист», «бывший интербригадовец», «шпион»... И если вас спросят о вашем младшем ребенке, вы уже готовы заявить: «Моему сыну, маленькому троцкисту Мишелю, только что исполнился год».

Как-то раз Когоутек принимается настойчиво меня допрашивать об отношениях между Каваном и Зиллиакусом. Я говорю, что ничего об этом не знаю. Он свирепеет и тычет мне копию письма, в котором Каван сообщает о предложении Зиллиакуса написать статью для «Творбы», еженедельника КПЧ, и копию моей телеграммы, где я указываю, что «Творба» в статье не заинтересована. Я совершенно не помню этого обмена корреспонденцией и не понимаю, почему он предосудителен. Тем не менее эта переписка, входившая в наши служебные обязанности, становится «преступлением» в зачитанном на процессе обвинительном акте. Прокурор предъявит суду «копии письма Павла Кавана от 5 февраля 1949 года и телеграфный ответ Лондона Кавану, которые доказывают, что Лондон находился в антигосударственной связи с Зиллиакусом»...

Затем меня превращают в «одно из звеньев шпионской цепи, связывавшей Сланского и Геминдера с Кони Зиллиакусом, давним агентом Интеллидженс сервис. Последний был самой значительной фигурой, обеспечивавшей контакт между ядром антигосударственного заговора и руководящими кругами западных империалистов»...

Неприметно, на протяжении месяцев, я перехожу от стадии, когда протоколы составляются на основе моих слов, затем обрабатываются, формулируются заново, переписываются, извращаются,— к другой стадии, когда меня просто-напросто заставляют выучивать наизусть окончательный текст, состряпанный следователями и их начальством. Это уже подготовка к процессу, где нам предстоит разыграть роли в пьесе, сочиненной о нас и против нас.

По мере переписывания протоколов следователи все дальше отходят от истины. Им уже совершенно неважно, что реальные факты, как, например, мое социальное происхождение, могут быть проверены кем угодно. Они заставляют меня сказать, что я выходец из буржуазной семьи и получил буржуазное воспитание. И у меня даже нет надежды, что это кого-то удивит и заставит понять, к чему меня принудили. То же будет и с моей пресловутой троцкистской деятельностью в рядах французского рабочего движения. Десяткам партийных работников, занимающих ответственные посты во французской и испанской компартиях, не говоря уже о чешской, известно, какова была моя истинная деятельность. Но и это не имеет ровно никакого значения.

Основываясь на пятнадцатилетнем опыте, который до сих пор еще их не подводил, советские советники рассчитывают: тот, кто знает правду по какому-то одному пункту, будет молчать. Во-первых, потому, что он, разумеется, не в курсе других пунктов обвинения, а их масштабы не позволят ему придавать значение деталям. Во-вторых, потому, что советники исходят из принципа, которым руководствовался и Геббельс,—чем грубее ложь, тем легче в нее верят. И наконец, потому, что они полагаются на дисциплину коммунистов, на доверие к партии. Как можно вступать в спор со своей партией по поводу частностей и ставить себя в положение человека, вступающегося за предателей... особенно в окружающей нас атмосфере охоты на ведьм?

Итак, в начале 1952 года Когоутек дает приказ своим подручным составить краткий протокол всей моей «преступной» деятельности, чтобы передать его руководству партии. Но поскольку Когоутек доверяет лишь себе самому, то в конце концов сам составляет резюме на семнадцати страницах. Текст поистине чудовищен. Содержащиеся в нем обвинения уже не имеют никакого отношения к вырванным у меня «свидетельствам» и «признаниям», к предыдущим фальсификациям. Эти куда хуже! Не обращая на меня внимания, Когоутек пишет в моем присутствии целые страницы вопросов и ответов. Когда он протягивает их мне для подписи, я, несмотря на то, что уже подписал ряд других «признаний», с негодованием отвергаю новую формулировку обвинений, приобретающих более грозный смысл.

Когоутек пытается меня успокоить, говорит, что это всего лишь «информационный» протокол, не предназначенный для суда, что это как бы рабочая основа. К тому же он прекрасно мог бы написать его, вовсе не ставя меня об этом в известность.

Каждый раз, когда я пытаюсь воспротивиться подобному нажиму — а так будет продолжаться до самого суда, — надо мной, как дамоклов меч, нависает угроза: «Ваша

судьба зависит только от вашего поведения. Знайте, что приговор, который вам вынесут, не зависит от степени вашей виновности. Партия может поступить с вами как захочет: приговорить к очень тяжкому наказанию при отсутствии серьезного материала против вас или к легкому наказанию при наличии веских улик. Единственный ваш шанс спасти свою голову — это всецело положиться на милость партии».

Теперь, по крайней мере, все ясно.

Во второй половине марта 1952 года Когоутек объявляет, что завтра у меня будет очная ставка со Сланским. Он дает мне отпечатанный на машинке текст, содержащий показания, которые сделает Сланский, и мои ответы. В Рузине ничего не оставляют на волю случая! Когоутек рекомендует выучить весь текст наизусть, и для верности следователи заставляют меня повторять его вслух много раз.

В субботу меня снова приводят к Когоутеку. Он еще раз проверяет, хорошо ли я вызубрил урок. Сообщает, что Сланский уже имел очные ставки со многими обвиняемыми для уточнения некоторых деталей в его «признаниях». Для чего нужны такие «очные ставки»? Разве только, чтобы придать всей этой комедии видимость соблюдения закона, включив их протоколы в материалы процесса? Эти предосторожности, право же, излишни...

В комнату входит Доубек. Когоутек докладывает ему, что проэкзаменовал меня и что я прекрасно выучил текст.

Сопровождая меня на очную ставку, Когоутек уточняет последние детали предстоящего спектакля: «Вы должны смотреть Сланскому в глаза, говорить медленно, не смущаться, а главное — придерживаться текста».

Я даже не задумываюсь над тем, что автор явно не уверен в успехе своей пьесы. Я настолько привык к кропотливости следователей в выработке формулировок, к холопской боязни не достигнуть результата, который вполне бы удовлетворил советских советников, их «настоящих начальников», что наставления Когоутека кажутся мне само собой разумеющимися.

И вот я перед Сланским. Лицо у него осунувшееся и очень усталое. Как-то я сам выгляжу в его глазах? Он, должно быть, подсчитал, что я уже более четырнадцати месяцев нахожусь в этом застенке. С тех пор как я попал сюда, у меня не было случая посмотреться в зеркало, но, глядя на Сланского, могу себе представить, какой вид у меня!

Сланский начинает говорить. Как предусмотрено, он признает себя главой заговора против Чехословацкого государства, но, дойдя до того места, где речь идет обо мне, вдруг отклоняется от текста. И говорит, что я не мог участвовать в заговоре, поскольку долгое время находился за пределами страны.

У меня перехватывает дыхание. С минуту я колеблюсь. Как поступить? Первый порыв — воспользоваться этим случаем, чтобы заявить о своей невиновности. Но я боюсь. Да и какой в этом толк, если мы со Сланским одни перед Доубеком, Когоутеком и их подручными. Что будет, если я выйду из роли? У меня нет ни времени, ни возможности обдумать это.

И главное, чего ради Сланский станет меня щадить? С какой целью отклоняется от текста, который, как и я, выучил наизусть, если не для того, чтобы отвертеться от связи со мной? Ведь он знает, какая роль мне отводится в «троцкистском заговоре», знает все предъявленные мне обвинения — он сам их в некотором роде санкционировал, когда еще был Генеральным секретарем ЦК партии...

Итак, я произношу как автомат, строго придерживаясь текста: «Я участвовал в руководимом Сланским заговоре против государства...»

Потом меня снова отводят в кабинет Когоутека; сам он появляется через четверть часа. «Вы прекрасно сделали, что ответили так, как мы условились,— говорит он.— Другое поведение имело бы для вас пагубные последствия». И добавляет, что «друзья» и Президент просили информировать их о ходе этой очной ставки. Потом он комментирует позицию Сланского как попытку снять с себя ответственность за инкриминируемые мне, как и другим обвиняемым, акты шпионажа и ограничить свою роль идеологическим руководством деятельности «центра». То же самое позже скажет Доубек.

Летом 1952 года Когоутек сообщает мне, что я снова увижусь со Сланским. «На этот раз,— говорит он,— речь идет не об очной ставке, вы должны лишь повторить в его присутствии то, что вам сказал Шверма в Париже в 1939 году».

И вот я в кабинете Доубека, где уже находится Сланский. Я повторяю: «В 1939 году в Париже Шверма сказал мне, что Сланский не любит людей из окружения Готвальда».

Кончено! Меня отводят в камеру. Вот так в Рузине инсценируются «очные ставки».

В первых числах сентября Когоутек объявляет мне, что началась подготовка протокола для суда. Я не принимаю в этом практически никакого участия.

Правда, я присутствую в комнате, где следователи печатают этот протокол на машинке, но только для проформы. Я не имею к нему никакого отношения. Иногда Когоутек приносит целые страницы, которые его подчиненные перепечатывают и вставляют в свое собственное произведение. По мере того как идет дело, они передают готовый текст Когоутеку, а тот потом приносит листки, которые надлежащим образом исправил «по указанию партии и друзей», усилив формулировки обвинений или включив новые «факты».

Из груды составленных таким способом служебных протоколов фабрикуют новые: некоторые обвинения оставляют, а другие выбрасывают. Это вполне продуманная тактика. Сначала на вас обрушивают целую лавину обвинений — от политических ошибок и уклонов до шпионажа и убийств с целью ограбления, а в конце концов отбирают только то, что согласуется с ролью, предназначенной вам на процессе. При этом непременно замечают: «Вот видите, мы не хотим погубить вас. Из этого вороха мы берем лишь несколько обвинений. А остальное вам прощают!»

Например, в речи Копецкого [1] на пленуме Центрального Комитета в 1951 году Шлинг был обвинен в убийстве матери, якобы установленном в ходе дознания. На процессе об этом не упоминалось ни разу, даже намеком.

Обвиняемые — я знаю это по собственному опыту — испытывают истинное облегчение, когда из протокола изымают упоминание о самых гнусных из приписываемых им преступлений.

Так было изъято особенно мучительное для меня обвинение — будто я во время войны послал Клецана в Чехословакию с заданием выдать гестапо подпольный ЦК во главе с Фучиком и Черным. Объявляя, что с меня сняли это обвинение, Когоутек добавляет: «Его взял на себя Рейцин».

Что до меня, то я, разумеется, предпочитаю считаться агентом Филда, Зиллиакуса и еще кого угодно, чем изображать мерзавца, предавшего своих товарищей гитлеровским палачам. Снятие этого обвинения — весьма эффективное средство, чтобы заставить меня подписать протокол, предназначенный для суда.

Как только протокол готов, Когоутек передает его советским советникам, которые (как он проговорился мне) образовали координационную комиссию, имеющую своей задачей устранить возможные разночтения между всеми протоколами, показаниями обвиняемых и свидетелей. Ведь нужно, чтобы личность человека, какой она вырисовывается из обвинительного акта и «признаний», хорошо вписывалась в рамки трагического фарса, который готовятся разыграть. Все заговорщики должны быть связаны одной веревкой.

Случается, я еще ерепенюсь, когда следователь читает мне вслух новые формулировки. Тогда зовут Когоутека, и он говорит: «Если вы не согласитесь, чтобы протокол был составлен в такой редакции,— а в какой именно, решаем только мы,— вы сильно рискуете, что вас будут судить отдельно. Между тем на процессе Сланского вы не будете главной фигурой, поскольку ваша деятельность не идет ни в какое сравнение с преступлениями остальных. Таким образом, у вас есть шансы спасти свою голову. Но если мы примем решение судить вас как главаря троцкистской группы бывших интербригадовцев, вы прекрасно знаете, чем это для вас кончится».

После столь убедительных аргументов сопротивляться бесполезно: пусть пишут все что угодно. И следователи включают в новую редакцию протокола еще и упоминание о «шпионской деятельности в пользу Сланского», которую я будто бы вел во французском рабочем движении, и другие ранее опущенные обвинения.

Когда мне предъявляют окончательный вариант, я не могу сдержать возмущения. Когоутек говорит: «Не вам одному это не нравится. Но все в конце концов смирились. Геминдер только и делает, что плачет, с тех пор как подписал»...

Бедржих Геминдер!.. Я знаю его с тех пор, как помню себя: наши отцы были друзьями. Несмотря на разницу в возрасте, мы сблизились с ним, когда снова встретились в Москве, где он с 1935 года работал в пресс-бюро Коминтерна. Он был сотрудником Димитрова, который относился к нему с большим доверием. Во время войны руководил передачами московского радио на иностранных языках. После победы Геминдер хотел остаться в Москве — он уже привык жить там, и лишь по настоянию Готвальда и Сланского в 1948 году вернулся на родину, где возглавил Международный отдел ЦК КПЧ.

Он был холост, жил в семье Сланского и поддерживал близкие отношения только с кругом старых друзей, главным образом с Готвальдом. Многие считали Геминдера кем-то вроде тайного «кремлевского советника», тем более что свою застенчивость он скрывал за внешней резкостью, а это восстанавливало против него тех, кто мало его знал и не догадывался, сколько в нем сердечности и великодушия. Бедный Бедржих! Каково-то ему теперь вспоминать о московской жизни и о привязанности Готвальда...

Начинается новый этап. Мне сообщают, что теперь я должен выучить наизусть мой протокол для суда. В течение шести недель, до самого процесса, меня каждый день приводят к следователю, и я отвечаю ему урок. Он дает мне задания: «До субботы эти десять страниц... До четверга эти пятнадцать страниц...»

Меня стали лучше кормить, дают черный кофе и сигареты, каждый день выводят на прогулку. Внезапно принимаются изо всех сил печься о моем здоровье. Доктор Соммер прописывает мне облучение ультрафиолетовыми лучами, уколы. Одним словом, со мной всячески нянчатся.

При таком режиме я поправляюсь, лицо покрывается загаром, словно я только приехал с высокогорного курорта. Как-то раз Когоутек с довольным видом оглядывает меня, и я спрашиваю, уж не думает ли он, что я обманываюсь насчет причин его заботливости? «Вы просто хотите, чтобы я хорошо выглядел на суде,— говорю я.— Так моя бабушка откармливала гусей к рождеству...» Он посмеивается.

До самого процесса Когоутек повторяет мне на все лады: «Ваше счастье, что вас включили в процесс Сланского. Это ваш единственный шанс сохранить жизнь... Главное, не делайте глупостей!» Он говорит мне также, что на случай «невыдержанности» с моей стороны подготовлены многочисленные свидетели обвинения, которые дадут против меня соответствующие показания.

Однажды утром Когоутек объявляет — Доубек лично проверит, знаю ли я наизусть протокол. Меня приводят в его кабинет. Там сидит человек, которого я раньше не видел. Не произнося ни единого слова, он чрезвычайно внимательно слушает, как я отвечаю урок. Быть может, это один из «настоящих начальников»? Что касается Доубека, то он доволен: я успешно выдержал экзамен.

Вечером Доубек входит в комнату, где вместе со своим следователем нахожусь я. Его сопровождает штатский, которого он представляет нам как доктора Новака, председателя суда. Тот спрашивает, хочу ли я

[1] Министр информации и культуры, сыгравший весьма важную роль в подготовке процесса и пытавшийся найти ему идеологическое оправдание *(прим автора)*.

сам прочесть обвинительный акт или предпочитаю, чтобы мне его зачитали. Я прошу, чтобы его прочел следователь. Мне уже все безразлично.

На следующий день доктор Новак является в сопровождении секретаря, чтобы задать мне вопросы о моем гражданском состоянии: имя, возраст и прочее. Он спрашивает меня, был ли я ранее судим. «Да, во время Первой республики, в 1931—1933-м, а также во время войны, в 1942 году в Париже». Секретарь записывает мои ответы. Доктор Новак продолжает: «За что вас судили?» «За коммунистическую деятельность и за участие в вооруженной борьбе против нацистских оккупантов во Франции». Тут он останавливает секретаря: «Это не надо записывать».

В тот же день следователь объявляет, что я увижусь со своим адвокатом доктором Ружичкой. Мне завязывают глаза и отводят в комнату, где ждет мой защитник. Наша короткая беседа проходит в присутствии следователя.

Адвокат говорит, что ознакомился с обвинительным актом, и подчеркивает тяжесть предъявленных мне обвинений: «Вам угрожает смертная казнь. Ваш единственный шанс — признать себя виновным и хорошо вести себя на суде». Тот же язык, которым говорят со мной следователи!

Я больше не увижу своего адвоката до самого процесса. Когда меня отвезут в тюрьму Панкрац, где в течение семи дней будет проходить процесс, я тщетно стану просить встречи с ним. Он явится ко мне только после оглашения приговора.

К концу нашей первой встречи я попросил его повидать мою жену, подготовить ее к предстоящему суду и к участи, которая меня ждет. Я просил его также передать ей, чтобы она не присутствовала на процессе, так как, если я буду знать, что она в зале, у меня недостанет сил повторить свои показания. Он пообещал, но ничего не сделал.

В течение долгих месяцев меня поддерживала мысль, что на процессе я смогу публично разоблачить все их беззакония. Но теперь, когда приближается день суда, я отдаю себе отчет в том, что этот путь для меня закрыт. Теперь я понимаю, почему мои предшественники не воспользовались открытыми процессами для того, чтобы объявить во всеуслышание, что они вынесли. Нас загнали в угол. Всех. И не я один восстанавливаю в памяти московские процессы, пытаясь найти возможности для сопротивления или, вернее, предусмотреть ловушки, которые нам еще могут расставить. Теперь мне ясна подоплека поведения Сланского во время нашей первой очной ставки. Думаю, он хотел вести ту же линию защиты, что Зиновьев и Бухарин, которые были готовы признать свою политическую, в некотором роде сугубо интеллектуальную ответственность за организацию заговора, рассчитывая таким образом избежать обвинений в конкретных шпионских акциях. Но эти надежды рухнули. Те, кто придумал заговор, позаботились сочинить и все то, что должно ему сопутствовать — шпионаж, убийства и прочие преступления. Это педантичные авторы. Они дорожат малейшими деталями своих лживых построений, потому что прекрасно знают: стоит разоблачить одну ложь, раскроются и все остальные...

Я невольно вспоминаю Москву времен чисток и процессов.

В течение трех лет, что я там жил, я подружился с людьми разных национальностей — с немцами, итальянцами, поляками, болгарами, югославами, французами, бельгийцами, англичанами, испанцами. Это были либо политические эмигранты, либо представители коммунистических партий и революционного движения, которые работали в международных организациях или учились в Ленинской школе, а затем, после более или менее длительного пребывания в Москве, возвращались на родину, чтобы продолжить борьбу. Были у меня и многочисленные советские друзья.

Нас связывали поистине братские узы. Слово «товарищ» было паролем, открывавшим наши сердца; мы говорили на разных языках, но тем не менее прекрасно понимали друг друга. Впрочем, мы быстро научились объясняться с помощью небольшого набора слов из всех языков понемногу.

После убийства Кирова атмосфера резко изменилась. Советские товарищи, боясь доносов, отдалились от иностранцев и явно избегали встреч с нами. Выдающиеся деятели, которых я встречал в гостинице «Люкс» и в кулуарах Коминтерна — Бела Кун, Гейнц Нойман и многие другие известные руководители мирового коммунистического движения,— исчезали один за другим. Шепотом передавались ошеломляющие слухи, будто они замешаны в каких-то серьезных делах, но пока не следует об этом говорить, нужно ждать разъяснений. Однако никаких разъяснений так и не последовало. А тем временем люди продолжали исчезать.

Я вспоминаю первый процесс Зиновьева и Каменева и потрясение, которое испытал каждый из нас, видя бывших соратников Ленина на скамье позора. А потом их второй процесс и вынесенный им смертный приговор. Мы вели долгие споры, старались понять, как люди с таким прошлым могли столь низко пасть, стать агентами империализма и совершить гнуснейшие преступления против своей родины, своего народа, своих братьев по борьбе, своей партии.

Я еще помню, как однажды вечером мой друг Секотин, придя с митинга, где выступал Ежов, рассказывал об энтузиазме, охватившем зал, когда этот невысокий человек потребовал самой беспощадной кары для всех предателей. Секотин был доволен. Он, как и все, думал, что теперь, когда истинные виновники обнаружены, дела пойдут лучше и несправедливо арестованные товарищи будут освобождены. Увы, дела шли все хуже.

Чехословацкую колонию, становившуюся все малочисленнее, время от времени навещал Сверидюк, приехавший в Москву из Праги, где он жил как польский эмигрант и работал в аппарате ЦК Коммунистической партии Чехословакии. Вскоре он исчез вместе со своей женой. Говорили, что у него были неприятности из-за брата, одного из руководителей Коммунистической партии Польши, приговоренного к смертной казни. Больше я никогда о Сверидюке не слыхал.

Встречаясь в коридорах, люди боялись здороваться, а тем более разговаривать друг с другом. На моем этаже остались одни

женщины; их мужья получили назначения за пределами Москвы — так, по крайней мере, говорили. Через некоторое время эти женщины тоже уехали с вещами куда-то в отдаленные районы. От Секотина я узнал, что на самом деле их мужья были арестованы. Секотин, знавший их по подпольной работе в Польше, пытался как-то им помочь — писал письма, лично обращался в НКВД, собирал положительные отзывы о заключенных, убежденный в том, что они арестованы по ошибке. Он объяснил мне, что троцкисты и другие оппозиционные силы внутри СССР, действующие по указке капиталистов, организовали заговор с целью свержения существующего строя и что в борьбе, которую ведут советские чекисты за разоблачение этого заговора, могли быть допущены некоторые ошибки. Но и он, мой друг Секотин, исчез в этом урагане, и я уже больше никогда не слыхал о нем.

Когда я вновь встретился с Лиз в Валенсии, я описал ей эту гнетущую московскую атмосферу. Я поведал ей о том, как меня потрясло исчезновение моих товарищей, пропадавших один за другим. Говорил о процессах, на которых были осуждены соратники Ленина. Лиз знала обо всем этом лишь из газет: обвиняемые были предателями, они сами сознались в своих преступлениях...

А несколько месяцев спустя состоялся процесс «антисоветского правотроцкистского блока». Стенографический отчет о нем я прочел вскоре после моего возвращения в Париж. Я вспоминаю, какое сильное впечатление произвела на меня история с Крестинским. Когда Вышинский в начале судебного заседания задал двадцати одному обвиняемому обычный вопрос, признают ли они себя виновными, все, кроме него, ответили: «Да».

На протяжении всего допроса Крестинского на этом судебном заседании он упорно боролся, отвергая одно за другим все обвинения.

Тем ужаснее, что на следующий день, вновь представ перед судом, Крестинский подтвердил все свои «признания», сделанные на предварительном следствии. И когда Вышинский упрекнул обвиняемого за позицию, занятую накануне, которую, по его словам, нельзя рассматривать иначе, как троцкистскую провокацию, Крестинский ответил: «Вчера под влиянием мимолетного, но острого чувства ложного стыда... я не мог сказать правду. сказать, что я виновен... Прошу суд занести в протокол мое заявление: я целиком и безоговорочно признаю себя виновным и готов понести полную ответственность за свое вероломство и предательство...».

При обсуждении материалов процесса в партийных организациях поведение Крестинского квалифицировалось как вылазка самого закоренелого врага, который даже на суде пытался дискредитировать большевистскую партию и советскую юстицию.

Я вспоминаю также о последнем слове Бухарина — оно и тогда взволновало меня, но все же не заставило усомниться в подлинности процесса.

Теперь я понимаю — московские процессы были прообразом наших. С той лишь разницей, что там главные обвиняемые в прошлом выражали несогласие с официальной линией партии и представляли оппозиционные течения — это в известной мере оправдывает наше тогдашнее легковерие.

Вспоминаю сравнительно недавний софийский процесс. Костов тоже попытался на суде взять обратно все признания, которые сделал во время следствия. Его микрофон немедленно отключили. А потом перед судом прошли многочисленные свидетели обвинения, изобличавшие его. В конце концов он написал письмо руководству партии — его факсимиле с подписью было воспроизведено в книге о процессе, попавшей мне в руки незадолго до моего ареста. В этом письме Костов умолял партию простить ему враждебную позицию, которую он занял накануне; он писал о своем раскаянии и выражал надежду, что ему будет сохранена жизнь, дабы он мог когда-нибудь искупить свою вину.

Я все больше убеждаюсь в том, что подобная попытка с моей стороны провалится точно так же. Тем более что следователи предупреждают меня: «Главное, не воображайте, будто сможете на суде взять свои показания обратно или отклониться от текста. На случай, если вы вздумаете перехитрить нас, все предусмотрено. В зале вас больше не услышат, и слово будет предоставлено двадцати свидетелям обвинения, которые уже подготовлены!»

Позже я узна́ю, что предшествовавшая процессу репетиция наших показаний была записана на магнитофонную ленту. Система сигнализации связывала председателя суда с группой следователей, которые могли сразу же дать ему знак прервать судебное заседание в случае, если кто-либо из обвиняемых отклонится от текста.

Я уверен, что, откажись я от своих «признаний», прежде всего поднимется улюлюканье в зале; позже на таких же собраниях, как те, где я присутствовал, когда речь шла о Крестинском и Костове, и в коммунистической прессе всего мира будут точно так же клеймить мое преступное поведение. На сей раз закоренелым врагом, который даже у подножия виселицы оплевывает партию, пытается дискредитировать ее перед мировым общественным мнением, буду я.

И когда за два или три дня до процесса меня приводят в комнату, где я оказываюсь лицом к лицу с членом Политбюро, новым министром госбезопасности Каролем Бацилеком, одетым в парадную генеральскую форму, и он говорит со мной не от своего собственного имени, а «от имени партии, от имени товарища Готвальда», я уже знаю — моя карта бита...

Он объявляет, что партия призывает меня придерживаться моих показаний в том виде, в каком они сформулированы в предназначенном для суда протоколе, и что, поступая так, я окажу партии большую услугу. Добавляет: обстановка крайне напряженная, назревает угроза войны, партия ожидает от меня, что я буду руководствоваться ЕЕ интересами и что, если я буду действовать соответственно, это мне зачтется...

Это укрепляет мое убеждение: если я попытаюсь на суде отказаться от своих признаний, если возопию о своей невиновности, никто мне не поверит, и меня повесят.

И потом, хоть вы и знаете, что вы невинная и беззащитная жертва в руках преступных, бессовестных людей, которые пустили в ход все средства, чтобы душевно опустошить вас, подавить волю и разум свободного человека и коммуниста, вы знаете и другое: за этим залом суда, этими следователями, этими советскими советниками стоит партия, объединяющая массу преданных коммунистов, стоит Советский Союз и его народ, принесший столько жертв делу коммунизма. Есть лагерь мира, миллионы людей, ведущих в разных странах борьбу за тот самый социалистический идеал, которому вы посвятили всю свою жизнь. Вы знаете, что холодная война в полном разгаре и любой предлог может быть использован империалистами, чтобы развязать войну в прямом смысле слова. Ваша коммунистическая сознательность не позволяет вам в этих условиях «объективно оказаться пособником империалистов».

И вот вы приходите к заключению, что, поскольку вам так и так погибать, уж лучше умолчать о своей невиновности и признать «свои преступления».

Мое физическое состояние за последние недели значительно улучшилось. Я жалею об этом, наверное, гораздо легче подставить шею петле, когда чувствуешь себя слабым и раздавленным.

Сколько раз я представлял себе этот момент! Мне снится виселица. И когда во сне одеяло касается шеи, это прикосновение автоматически вызывает все тот же кошмар.

Я пытаюсь прогнать подобные мысли, но, по мере того как процесс приближается, они все неотступнее преследуют меня. Мне дают книги. Я силюсь читать, но не воспринимаю смысла, а лишь вижу между строк, как в последний раз прощаюсь с этим миром; думаю о тяжкой участи моих близких. Для меня драма окончится... Но Лиз и дети будут нести на себе ее печать всю свою жизнь. И даже если я чудом избегну виселицы, после такого процесса меня никогда не выпустят из тюрьмы.

Приносят «Дон Кихота». Хотя я читаю его в четвертый раз, удается отвлечься от мрачных мыслей. Из камеры я переношусь в мир Сервантеса и вдруг ловлю себя на том, что от души смеюсь над репликами Санчо Пансы, который очень похож на моего тестя Риколя. А Дон Кихот сейчас растрогал меня как никогда.

И вот наступает последняя ночь перед процессом. Я не сплю. Скорее угадываю, чем слышу, мягкие шаги в коридоре. Глазок оставлен открытым, дабы я не замечал наблюдения.

Бацилек обещал, что представитель партии поговорит с моей женой и подготовит ее к процессу. Когда я высказал ему свои опасения о будущем моих близких, которые окажутся в чужой стране на положении отверженных, он заявил, что партия позаботится о моей семье. Я не очень-то верю этим обещаниям, но как бы то ни было, я их получил...

Возвращаюсь мыслями к своему детству. Пробуждение моего политического сознания началось во время дела Сакко и Ванцетти, когда, уцепившись за руку отца, я пытался петь вместе с сотнями мужчин и женщин «Интернационал» — тогда я еще плохо знал его слова. Сакко и Ванцетти были казнены, несмотря на потрясший мир могучий крик протеста: «Они невиновны!»

Через несколько часов начнется наш процесс. Насколько иначе обстоит дело для нас! Трагедия этих двух мучеников, ознаменовавшая зарю моей сознательной жизни, жизни коммуниста, навсегда врезалась в память.

Должен ли я жалеть о том, что вступил на этот путь?

За два года, проведенных здесь, я так часто задавал себе этот вопрос. И всегда отвечал: нет, я горжусь своим прошлым.

Борьба, которую вели наши старшие товарищи и мы — борьба за интернационалистский идеал братства, справедливости и мира,— не утратила своего высокого смысла. Лишь бюрократическое искажение основ социализма, догматизм, забвение демократических принципов и их подмена приказными методами и произволом, удушение критики, обожествление партии посредством злоупотребления формулами типа «партия всегда права», «партия требует» толкнули нас на путь, ведущий к преступлениям. Сколько несправедливостей, беззакония и жестокостей было допущено по отношению к членам партии! В наших рядах систематически культивировали подозрительность. Для оценки партийных работников использовались полицейские донесения. В результате в партии и стране воцарилась атмосфера недоверия, страха, а потом и террора.

Как много я мог бы сказать жене, детям, друзьям и товарищам по борьбе! Никогда еще я не чувствовал так свою близость к ним. И подумать только — завтра они проклянут меня и сочтут предателем...

Снова приходит мысль о Сакко и Ванцетти: ребенком я плакал, читая их последнее письмо, их прощальный привет. Без вины казненные, они остались в нашей памяти героями...

Вот оно! Дверь открывается. Надзиратель говорит: «Приготовьтесь». Моя жизнь кончается. Понадобится немало мужества, чтобы продержаться эти несколько дней.

Меня лихорадит. Прошу пить. Одеваясь, узнаю костюм, который мне принесли. Он из дому! Наверное, адвокат видел моих близких. Наверное, подготовил их к предстоящей трагедии.

Мне завязывают глаза, ведут во двор. А потом я проваливаюсь в черную пропасть — теряю сознание. Очнувшись, вижу склонившихся надо мной следователей. Приходит доктор Соммер. Щупает мой пульс, слушает сердце, дает таблетки.

Я сажусь в «черный ворон», и он трогается.

Часть четвертая

ПРОЦЕСС В ПАНКРАЦЕ

Еще до рассвета мы приезжаем в Панкрац. Это старинная тюрьма, расположенная в рабочем квартале Праги, нечто вроде парижской Санте, объединенной с Сурисьер и Дворцом правосудия. Не выходя из Панкра-

ца, заключенные попадают и в кабинет следователя, и в зал суда.

В наручниках, под конвоем охранников и следователей, меня ведут по длинному коридору подвального помещения, по обе стороны которого находятся камеры. Меня запирают в одну из них. Глазок остается открытым, как во Франции в камерах смертников. У двери неотлучно дежурит надзиратель. В одном углу камеры матрац, в другом — стул. На протяжении всех ночей, которые я проведу здесь, на этом стуле будет сидеть надзиратель. Видимо, мы во что бы то ни стало нужны им живыми — до приговора.

Когоутек сообщает, что сегодня, 20 ноября 1952 года, прокурор зачитает обвинительное заключение в присутствии четырнадцати обвиняемых, после чего начнется слушание дела. Первым будут допрашивать Сланского. Меня тем временем отправят обратно в Рузине и снова привезут в Панкрац, когда настанет моя очередь давать показания. После того как меня допросят, я займу свое место на скамье подсудимых и останусь здесь до вынесения приговора.

Перед началом процесса доктор Соммер, которого сопровождает медицинская сестра, выслушивает меня, измеряет давление и заставляет принять какие-то пилюли. Этот ритуал повторяется каждый день на протяжении всего процесса, а иногда даже в перерывах между заседаниями.

Около девяти утра меня выводят из камеры.

Открываются двери соседних камер, и мои подельники тоже выходят в коридор. Нас выстраивают в цепочку. Между нами — через одного — встают конвоиры; это надзиратели из Рузине. В первый раз нас собрали всех вместе. Единственный, кого я не знаю лично — это Фрейка.

Наша цепочка трогается. Впереди идет Сланский, за ним Геминдер и Клементис, потом я, за мной Гайду, Андре Симон, Фрейка, Франк, Лёбл, Марголюс, Фишл, Шваб, Рейцин и Шлинг.

У всех замкнутые, напряженные лица. Мои товарищи изможденны, вид у них отсутствующий. Мы даже не глядим друг на друга.

Снова длинный лабиринт коридоров, лестниц. Внезапно мы оказываемся в огромном, ярко освещенном, битком набитом зале. Я стараюсь не смотреть на публику: боюсь увидеть жену, хоть и надеюсь, что мой адвокат побывал у нее, как обещал, и уговорил не приходить на суд.

В ряду, где сидят журналисты, замечаю знакомое лицо — с этим человеком я встречался когда-то в Остраве.

Нас рассаживают на скамье подсудимых. Между нами садятся охранники. Спустя несколько минут входят судьи.

У меня такое чувство, будто все мы — я, мои тринадцать товарищей и члены суда — находимся на сцене театра. Каждый готов играть свою роль в грандиозном спектакле, тщательно отрепетированном специалистами из Рузине. Не упущена ни одна деталь. Начало представления проходит без заминки. Чувствуется уверенная рука многоопытных фальсификаторов, поднаторевших в подготовке подобных процессов. Повсюду расставлены микрофоны. Прожекторы, извивающиеся по полу провода... Пышная премьера, да и только!

Председатель суда доктор Новак открывает заседание. Согласно установленному порядку, он обращается к нам и с самым серьезным видом спрашивает, соблюден ли в отношении нас предусмотренный законом срок предварительного следствия. Мы, как положено, по очереди отвечаем утвердительно. Затем он советует нам внимательно слушать обвинительное заключение, а также следить за ходом процесса и использовать предоставленное нам право высказывать свои замечания относительно тех или иных показаний. Более того, он даже напоминает нам о нашем праве защищаться в той форме, какую мы сочтем для себя удобной. После этого он предоставляет слово прокурору Урвалеку, который обвиняет подсудимых в том, что они:

«...как предатели, троцкисты-титовцы, сионисты, буржуазные националисты и враги чешского и словацкого народов, народной демократии и социализма, состоя на службе у американских империалистов и действуя по указке вражеских западных разведок, создали антигосударственный заговорщический центр, стремились подорвать основы народной демократии, воспрепятствовать построению социализма, нанести ущерб народному хозяйству, занимались шпионской деятельностью, пытались ослабить единство нашего народа и обороноспособность Республики с тем, чтобы подорвать ее прочный союз и нерушимую дружбу с СССР с тем, чтобы ликвидировать народно-демократический строй в Чехословакии, реставрировать капитализм, вновь втянуть нашу Республику в империалистический лагерь, уничтожив ее суверенитет и национальную независимость» [1].

Никто из нас и бровью не повел, слушая длинный обвинительный акт, в котором приводятся «признания и заявления» большинства обвиняемых, особенно часто Сланского, Фрейки и Франка, показания множества свидетелей и отрывки из докладов экспертных комиссий по вопросам экономики и промышленности. Спектр наших преступлений широк — от измены родине, включая шпионаж и вредительство, до военной измены...

Согласно обвинениям, предъявляемым Урвалеком от имени чешского и словацкого народов, «заговорщики делали все возможное, чтобы препятствовать поставкам наших товаров в СССР и другие страны народной демократии, не считаясь с договорами и запрашивая цены, значительно превышавшие установленные на мировом рынке. В капиталистические страны они, напротив, продавали эти же товары по ценам значительно более низким, чем те, которые назначались СССР, и сильно заниженным по сравнению с теми, что действовали на мировом рынке».

Урвалек зачитывает показания Сланского:

«Мы препятствовали развитию торговли с СССР, импортируя, например, важное оборудование и аппаратуру из капиталистических стран, хотя то же оборудование и аппарату-

[1] Этот отрывок из обвинительного заключения, как и другие отрывки из судебных протоколов, взят из книги «Процесс над руководителями антигосударственного заговорщического центра, возглавлявшегося Рудольфом Сланским» *(прим. автора)*.

ра изготовлялись в СССР, где их можно было купить по более выгодным ценам. Значительное число советских заказов отклонялось под тем предлогом, что чехословацкая промышленность не изготовляет данных товаров, в то время как на самом деле они изготовлялись.

В других случаях торговля с Советским Союзом тормозилась при помощи умышленного завышения цен, или же советские заказы принимались лишь частично, под предлогом якобы недостаточной мощности заводов, а поставка готовых товаров саботировалась... Аналогичным образом поступали и с заказами из стран народной демократии, в результате чего объем торговли с этими странами сократился...»

Урвалек заканчивает перечисление наших преступлений против государства и народа.

«Происки этих преступников против свободы, суверенитета и независимости нашей родины тем вероломнее и чудовищнее, что обвиняемые злоупотребили членством в партии, которая столь дорога нашим трудящимся, злоупотребили доверенными им высокими постами, чтобы вступить в сговор с нашими заклятыми врагами — американскими империалистами и их пособниками — и вновь ввергнуть нашу страну в капиталистическое рабство.

Однако хотя заговорщики во главе со Сланским сумели закрепить за собой ответственные партийные и государственные посты... им не удалось, как Тито в Югославии, подчинить себе высшие партийные и государственные органы, захватить власть и таким образом осуществить свои преступные цели.

Благодаря бдительности, прозорливости и решительности товарища Клемента Готвальда, вождя нашего народа, благодаря братскому единству Центрального Комитета партии, тесно сплотившегося вокруг товарища Клемента Готвальда, благодаря непоколебимой преданности чешского и словацкого народов партии, правительству и товарищу Клементу Готвальду, благодаря неизменной верности нашего народа Советскому Союзу заговор был раскрыт и посягательства преступников пресечены... Верные народу, правительству, партии и товарищу Клементу Готвальду органы госбезопасности вовремя остановили преступные действия заговорщиков.

На основании изложенных фактов:

Рудольф СЛАНСКИЙ, р. 31. 7. 1901 г., по происхождению еврей, из семьи коммерсантов, бывший Генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии, до ареста заместитель Председателя Совета Министров Чехословацкой Республики.

Бедржих ГЕМИНДЕР, р. 19.11. 1901 г., по происхождению еврей, сын торговца, владельца ресторана, бывший заведующий Международным отделом Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии.

Людвиг ФРЕЙКА, р. 15.1. 1904 г., по происхождению еврей, сын врача, бывший заведующий экономическим отделом канцелярии Президента Чехословацкой Республики.

Йозеф ФРАНК, р. 15.2. 1909 г., чех, из рабочей семьи, бывший заместитель Генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии.

Владимир КЛЕМЕНТИС, р. 20.9. 1902 г., словак, из буржуазной семьи, бывший министр иностранных дел.

Бедржих РЕЙЦИН, р. 29.9 1911 г., по происхождению еврей, из буржуазной семьи, бывший заместитель министра национальной обороны.

Карел ШВАБ, р. 13.5. 1904 г., чех, из рабочей семьи, бывший заместитель министра государственной безопасности.

Артур ЛОНДОН, р. 1.2. 1915 г., по происхождению еврей, сын торговца, бывший заместитель министра иностранных дел.

Вавро ГАЙДУ, р. 8.8. 1913 г., по происхождению еврей, сын владельца бань в Смрдаки, бывший заместитель министра иностранных дел.

Эуген ЛЁБЛ, р. 14.5. 1907 г., по происхождению еврей, сын оптового торговца, бывший заместитель министра внешней торговли.

Рудольф МАРГОЛЮС, р. 31.8. 1913 г., по происхождению еврей, сын оптового торговца, бывший заместитель министра внешней торговли.

Отто ФИШЛ, р. 17.8. 1902 г., по происхождению еврей, сын торговца, бывший заместитель министра финансов.

Отто ШЛИНГ, р. 24.8. 1912 г., по происхождению еврей, сын фабриканта, бывший секретарь областного комитета Коммунистической партии Чехословакии в Брно.

Андре СИМОН, р. 27.5. 1895 г., по происхождению еврей, сын фабриканта, бывший редактор газеты «Руде право»,— обвиняются в том, что...»

В течение трех часов, пока продолжается чтение обвинительного акта, в зале царит абсолютная тишина. Время от времени нас ослепляет свет юпитеров. Нас снимают для кинохроники! Эти кадры будут демонстрировать перед показом основного фильма...

Заседание прерывается, и нас отводят обратно в камеры. В полдень меня увозят в Рузине. Я совершенно обессилен, равнодушен ко всему. Конвейер подхватил меня, и теперь я уже только бесчувственная деталь, которую движущаяся лента неумолимо протаскивает сквозь зубья обрабатывающей ее машины.

Через день, 22 ноября, за мной приходят. Настала моя очередь давать показания. Все отрепетировано до мелочей. Я даже знаю, в каком именно месте меня прервет прокурор или председатель суда и какие вопросы они мне зададут.

Когда я дожидаюсь за кулисами в отведенной мне комнатушке своего выхода на сцену, ко мне заглядывает Когоутек. Он сообщает, что партийное руководство внимательно следит за ходом процесса и надеется, что все обвиняемые будут на высоте. Он советует не забывать о том, что сказал министр Бацилек: моя судьба зависит от моего поведения. Потом он высказывает свои предположения о приговорах. По его мнению, смертных казней не будет. «Я повторяю,— уверенно говорит он,— партии нужны не ваши головы, а политический процесс большого масштаба...»

В качестве примера он рассказывает со всеми подробностями о московском «процессе Промпартии». Вынесенные тогда суровые приговоры, включая и смертные, были потом заменены сравнительно мягкими наказаниями. Он вспоминает Рамзина, главного обвиняемого, сравнивая его со Сланским. Рамзин был приговорен к высшей мере, но партия заменила смертную казнь десятью годами тюремного заключения, из которых он отбыл толь-

ко половину. Когоутек добавляет, что за свою работу во время заключения Рамзин был даже награжден одним из высших орденов Советского Союза.

Рассказ Когоутека действует на меня словно успокоительное, тем более что он произносит все это с твердой убежденностью и, по-видимому, сам верит в то, что говорит. Мне тоже хочется в это верить, и я пытаюсь подкрепить свою надежду такими доводами: в течение этих двух лет Когоутек и все остальные следователи проявили полное незнание истории; касаясь событий прошлого, они лишь повторяли услышанные ими обрывки разговоров между советскими советниками, вроде школьников, плохо выучивших урок; значит, то, что сейчас говорит мне Когоутек, придумать он не мог и наверняка повторяет мнение советских советников.

И вот меня вводят в зал. Я оказываюсь перед микрофоном, лицом к суду. На скамье подсудимых — только трое: Сланский, Геминдер, Клементис. Они уже дали показания.

На вопрос председателя, ясен ли мне обвинительный акт, я отвечаю утвердительно. Председатель спрашивает меня затем, в чем я признаю себя виновным. Я отвечаю весь свой урок без запинки. Произношу текст спокойно, старательно, как если бы меня все это не касалось. У меня даже такое чувство, будто я присутствую на допросе своего двойника.

«Я признаю себя виновным в том, что с 1948 года до дня ареста активно участвовал в направленной против чехословацкого государства деятельности заговорщического центра, организованного и возглавляемого Рудольфом Сланским...

...Я полностью признаю себя виновным в том, что как участник заговора обеспечивал шпионские связи Сланского с английским агентом Зиллиакусом, используя в этих целях дипломатическую почту Министерства иностранных дел. Помимо этого, я сам поддерживал шпионские связи с американским агентом Ноэлом Филдом и передавал ему шпионские сведения...»

ПРОКУРОР: «Что привело вас к активной подрывной деятельности против Чехословацкой Народно-Демократической Республики?»

«Я вырос в буржуазной среде. Трудящиеся массы всегда оставались чуждыми мне, и я руководствовался своими буржуазными, эгоистическими соображениями, которые состояли в том, чтобы обеспечить себе карьеру и личное благополучие. Но главное — из-за пребывания на Западе, продолжавшегося более одиннадцати лет, я полностью оторвался от Чехословакии, так что по существу совсем не знал нашего народа, его обычаев, потерял связь с его освободительной борьбой. На Западе я стал космополитом и полностью перешел в буржуазный лагерь. Это привело меня в 1940 году во Франции в троцкистскую группу ветеранов Интернациональных бригад, сражавшихся в свое время в Испании. Эта группа действовала в Марселе и субсидировалась американской организацией ХАМЛ[1] и ее чехословацкой секцией «Центр помощи Чехословакии», являвшейся органом американской разведки и действовавшей под руководством шпиона Лаури и троцкиста Дубины».

ПРОКУРОР: «Расскажите подробнее о троцкистской группе, с которой вы были связаны во Франции в 1940 году».

«В 1940 году я как эмигрант работал в ОРИ. Там я узнал о существовании троцкистской организации в Марселе, состоявшей из чешских интербригадовцев. Я связался с этой группой, приобрел в ней влияние и благодаря своим французским связям перетянул ее в Париж... В эту группу входили Освальд Заводский, Лацо Хольдош, Антонин Свобода и другие. Все они в конце второй мировой войны перебрались в Чехословакию и благодаря прямому содействию Сланского заняли ответственные посты в партийном и государственном аппарате, а также в армии.

...Сланский действовал таким образом потому, что он сам был троцкистом, целиком перешел на буржуазные позиции и привлекал к себе людей того же сорта, рассчитывая на них в осуществлении своих предательских планов. Именно на основе этой группировки и образовался заговорщический центр Сланского...»

Я заявляю, что на VIII съезде партии Сланский «в беседе, которая продолжалась два дня с перерывами», посвятил меня в свои преступные планы и предложил сотрудничать с ним; что «Сланский поручил мне подрывную и шпионскую работу против прогрессивного движения во Франции и что те же задачи были возложены на Геминдера и Заводского...»; что «я вернулся в Прагу, закончив курс лечения в Швейцарии, и Сланский устроил меня в Министерство иностранных дел, где я должен был работать в тесном сотрудничестве с другими его сообщниками — Клементисом и Гайду...»; что, как и я, «десятки других сообщников Сланского, также являющихся враждебными элементами, получили в государственном аппарате столь же ответственные посты...»; что я «использовал дипломатическую почту в целях передачи шпионских сведений, добытых заговорщическим центром, и был таким образом звеном в шпионской цепи, соединявшей Сланского и Геминдера с бывшим агентом Интеллидженс сервис Кони Зиллиакусом — весьма важным лицом, осуществлявшим связь центра с правящими кругами империалистических держав Запада... в целях изменения государственного строя в Чехословакии».

Я продолжаю:

«...в Англии связь с Зиллиакусом обеспечивали посол Чехословацкой Республики Кратохвил, советник посольства Гольдштюкер и Павел Каван. Они передавали Зиллиакусу секретную корреспонденцию, которую Геминдер и Сланский посылали дипломатической почтой».

ПРОКУРОР: «Расскажите теперь о ваших связях с американским агентом Ноэлом Филдом».

«Я связался с известным американским агентом Ноэлом Филдом в 1947 году, в Швейцарии, в Женеве...

Под видом помощи, осуществляемой американской организацией «Юнитэриен сервис», американская разведывательная служба пыталась через посредство различных лиц из Восточной Европы проникнуть в страны народной демократии и организовать там подрывную и шпионскую деятельность. Филд заводил знакомства и связи, предлагая отдельным лицам разные виды помощи и фи-

[1] Христианская ассоциация молодых людей *(прим. перев.)*.

нансовую поддержку. Он привлекал их к себе и создавал соответствующие условия, чтобы завербовать их и заставить работать на американскую разведку. Таким образом Филд обеспечивал себе важные источники информации для шпионажа против стран народной демократии, что и было доказано на процессе Райка в Венгрии. Эта шпионская сеть, работавшая на американскую разведку, создавалась Филдом из людей, которые по возвращении к себе на родину, в страны народной демократии, занимали высокие посты в государственных и партийных органах...»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Вы говорили кому-нибудь о ваших шпионских связях с Филдом?»

«Да, я неоднократно говорил об этом со Сланским и Геминдером, а позднее и с Карелом Швабом. Шваб намеками дал мне понять, что только благодаря Сланскому, Геминдеру и ему самому мое сотрудничество с Филдом остается нераскрытым».

ПРОКУРОР: «Значит, Сланский, Геминдер и Шваб покровительствовали вам как своему сообщнику и не допускали разоблачения?»

«Да. Это еще крепче связало меня со Сланским. И с тех пор я еще активнее стал проводить его преступную политику, направленную против Чехословакии...»

ПРОКУРОР: «О чем шла речь на конспиративной встрече у Заводского в январе 1951 года?»

«У нас появились опасения за свою судьбу. Поэтому в начале января 1951 года мы встретились, чтобы обсудить, каким образом избежать разоблачения. Мы решили, что нам следует опираться на Сланского, так как он, пока находится на своем посту, будет всячески защищать нас. Мы были уверены в этом, ведь однажды он уже выручил нас...»

ПРОКУРОР: «Когда и каким образом это произошло?»

«Это было вскоре после процесса Райка в Венгрии, примерно в конце лета 1949 года, когда партия заинтересовалась прошлым коекого из добровольцев Интернациональных бригад, их деятельностью в Испании и во Франции. Мы составили тогда по наущению Павела список интербригадовцев, так или иначе запятнавших себя. Таким образом мы отвлекли внимание от нашей темной троцкистской деятельности в Испании и во Франции».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Вы все рассказали о вашей подрывной деятельности против государства?»

«Да, я не скрыл ничего ни на следствии, ни на суде. Я рассказал все о своем участии в происках заговорщического антигосударственного центра, руководимого Сланским, я даже сознался в том, что как участник заговора вел подрывную деятельность в Министерстве иностранных дел вместе со своими сообщниками Клементисом, Геминдером, Гайду, Дуфеком и другими».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Нам известно, однако, что в начале следствия вы скрыли некоторые факты. Какие именно?»

«В начале следствия я скрыл свое главное преступление — участие в заговоре. Я сделал это, ибо знал, что глава заговора Рудольф Сланский находится на свободе и занимает один из самых важных постов в государстве. Я рассчитывал на него, надеялся на его поддержку. В ходе следствия я убедился в бесплодности такой линии поведения, поскольку ожидаемая помощь не приходила. Потому я решил сознаться во всем и делаю это с полной искренностью».

В качестве свидетелей обвинения против меня выступают мои «сообщники» — Гольдштюкер, Каван, Клингер, Горват, Дуфек, Гаек, Заводский, Шваб и один свидетель, находящийся на свободе,— Борек, нынешний заместитель министра иностранных дел.

Вот несколько характерных отрывков из показаний моего подельника Шваба.

ПРОКУРОР: «Кто конкретно входил в заговорщический антигосударственный центр?»

ШВАБ: «Помимо Рудольфа Сланского, руководившего всей нашей враждебной деятельностью, и меня, военного преступника и вредителя, саботировавшего работу органов государственной безопасности и имевшего своей задачей предотвратить разоблачение центра, в руководящее ядро которого входили также Владимир Клементис, агент, связанный с французской разведкой, и словацкий буржуазный националист; Бедржих Геминдер, космополит и еврейский буржуазный националист; Бедржих Рейцин, еврейский буржуазный националист, саботировавший укрепление чехословацкой армии; Йозеф Франк, крупный спекулянт и ближайший сотрудник Сланского; троцкист Артур Лондон, еврейский буржуазный националист и шпион; Людвиг Фрейка, еврейский буржуазный националист, шпион и сообщник американского агента Эмануэля Воски; Отто Шлинг, еврейский буржуазный националист; Эуген Лёбл, шпион, выпестованный реакционной кликой Бенеша в Лондоне; Отто Фишл, еврейский буржуазный националист и агент империалистического государства Израиль, и Андре Симон-Кац, еврейский буржуазный националист и шпион...

Я покрывал также и других членов центра, передавая компрометирующие их документы Сланскому и лично предупреждая каждого из членов центра, которому грозила опасность».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Кого вы имеете в виду?»

ШВАБ: «Я имею в виду Артура Лондона, о котором Сланский и я знали, что он троцкист и сообщник американского шпиона Ноэла Филда».

ПРОКУРОР: «Каким образом Сланский и вы сами саботировали проводившееся в Чехословакии расследование враждебной деятельности американского шпиона Ноэла Филда?».

ШВАБ: «Американский шпион Ноэл Филд, разоблаченный на процессе в Венгрии, показал, что он создал шпионскую сеть в Чехословакии и что его сообщники развивали широкую деятельность...».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Как же вам удалось скрыть то, что вы знали о Филде?».

ШВАБ: «Когда Сланский и я уже не могли больше игнорировать показания Филда, Сланский распорядился, чтобы расследование деятельности некоторых членов центра, замешанных в этом деле, было проведено чисто формально. В ходе расследования всем им было сообщено содержание показаний Филда, с тем чтобы они могли подготовиться к защите...»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «На кого главным образом опирался Сланский?»

ШВАБ: «Он опирался главным образом, как и Тито, на хорошо организованную группу троцкистов из числа бывших интербригадовцев, которые покрывали друг друга. Эту группу возглавляли троцкисты Йозеф Павел, Освальд Заводский и шпион Лондон... Я препятствовал разоблачению этой группы и сознательно отвлекал внимание органов госбезопасности от всех троцкистских элементов, давая понять, что троцкисты нам не страшны...»

ПРОКУРОР: «Получали ли вы указания от Сланского относительно вашей деятельности в органах безопасности?»

ШВАБ: «Да. Я сам спросил Сланского, как мне себя вести. Он посоветовал мне прочесть книгу знаменитого французского министра полиции Фуше и извлечь из нее уроки. В этой книге Фуше, считавший себя специалистом в подобного рода делах, рассказывает об интригах, подлогах, заговорах, о создании провокационных групп, инсценировании судебных процессов в целях компрометации, а иногда и физического уничтожения неугодных лиц».

Какое бесстыдство, какой цинизм со стороны тех, кто вложил в уста Шваба свой собственный символ веры!

И с тем же бесстыдством они заставили свидетельствовать против Шваба его собственную сестру, Швермову: «В органах безопасности Сланский использовал в целях своей враждебной деятельности Карела Шваба».

Слушая показания Карела Шваба, я вспоминаю все, что перенес из-за него: долгие месяцы душевного напряжения, подавленности, отчаяния, страха. В конце концов я стал считать его одним из главных виновников моего несчастья, одним из носителей полицейского духа и полицейских методов в партии.

Позднее, когда я понял на допросах, что он тоже арестован, образ палача стал постепенно вытесняться образом жертвы. Итак, советские советники, которым он так слепо доверил «меч пролетарского правосудия», устранили его самого. Они заставили его служить им, а использовав, тоже арестовали и в конце концов присовокупили к делу Сланского, потому что понадобился представитель вражеских сил в органах госбезопасности.

Карел Шваб был рабочим, сыном активного социалиста, тоже рабочего. В 1918 году в Германии, где жила в то время его семья, этот Гаврош, которому было тогда четырнадцать лет, подносил боеприпасы сражавшимся спартаковцам. В 1929 году он приехал в Советский Союз, окончил курсы Спортинтерна и с тех пор проникся чувством беспредельного восхищения страной социализма. После вступления гитлеровцев в Прагу Шваб был арестован одним из первых и провел всю войну в тюрьмах и концлагерях. В Заксенхаузене-Ораниенбурге он стал членом группы Сопротивления, сблизился с Запотоцким и Доланским.

Теперь его заставляют «признаться», как заставили «признаться» Франка, в том, что он был военным преступником, агентом гестапо в концлагерях. А его товарищи по заключению и борьбе в лагере, Запотоцкий — Председатель Совета Министров и Доланский — заместитель Председателя Совета Министров, оба члены Политбюро — молча допускают это...

Уже заканчивая эту книгу, я узнал от родственников Шваба, которые в 1963 году, когда он был реабилитирован, получили доступ к его досье, что в ноябре 1950 года Шваб выказал недоверие Центральной контрольной комиссии, усомнившись в результатах проведенного ею расследования деятельности врагов внутри партии. Он отказался отдать распоряжение об арестах, рекомендованных этой комиссией.

Таким образом Карел Шваб подписал свой собственный приговор. В декабре 1950 года по требованию советских советников, фактически руководивших Центральной контрольной комиссией, он был снят со своего поста, а 16 февраля 1951 года арестован.

Теперь наступает очередь Заводского давать показания против своего бывшего начальника Шваба и против меня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Что вы знаете о деятельности Карела Шваба?»

ЗАВОДСКИЙ: «Я знал, что Шваб верно служит Рудольфу Сланскому и что он входит во вражескую группировку, объединившуюся вокруг Сланского...

Я сам по прямому распоряжению Сланского помогал Карелу Швабу прикрывать деятельность Артура Лондона, разоблаченного американского шпиона».

Все идет так, как предсказывал Когоутек. Прокурор и председатель суда задают вопросы именно в тех местах, которые заранее обозначены в моем протоколе. Они слово в слово повторяют то, что было написано в заученном мною тексте. Ни слова от себя, ни единой заминки.

Мой защитник не задает ни одного вопроса. Это не предусмотрено в сценарии.

Как могло случиться, что юристы, и притом занимавшие самые ответственные должности, люди, назначение и долг которых в том и состоит, чтобы стоять на страже закона, с такой холопской готовностью согласились стать орудиями заведомого беззакония и произвола?

Они не просто послушны — им нельзя отказать в усердии!

У меня слезы выступили на глазах, когда мне случилось впоследствии прочесть протокол допроса Геминдера и я увидел, с каким рвением председатель суда и Урвалек старались унизить беззащитного человека:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Кто вы по национальности?»

ГЕМИНДЕР: «Чех».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Вы хорошо говорите по-чешски?»

ГЕМИНДЕР: «Да».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Вам не нужен переводчик?»

ГЕМИНДЕР: «Нет».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Вы понимаете задаваемые вам вопросы и можете отвечать на них на чешском языке?»

ГЕМИНДЕР: «Да».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: «Вы сознаете и понимаете, в чем состоит преступление, в котором вы обвиняетесь согласно обвинительному заключению Генерального прокурора?»

ГЕМИНДЕР: «Да, я признаю себя виновным по всем пунктам обвинительного заключения».

ПРОКУРОР: «Как вы относились к нашему трудовому народу?»

ГЕМИНДЕР: «Мне были безразличны чаяния чешского и словацкого народов, я никогда не был связан с ними, их национальные интересы всегда оставались мне чуждыми».

ПРОКУРОР: «В какой школе вы учились?»

ГЕМИНДЕР: «Я учился в немецкой школе в Остраве. В 1919 году я уехал из Чехословакии и закончил свое образование в Берлине, где получил степень бакалавра. После этого я продолжал вращаться в мелкобуржуазной, космополитической и сионистской среде, где встречался с людьми немецкой национальности, из-за чего так и не овладел в совершенстве чешским языком...»

ПРОКУРОР: «И за все это время вы не научились хорошо говорить по-чешски, даже после 1946 года, когда приехали в Чехословакию и заняли ответственные посты в аппарате Коммунистической партии?»

ГЕМИНДЕР: «Нет, я не научился хорошо говорить по-чешски».

ПРОКУРОР: «Какой язык вы знаете в совершенстве?»

ГЕМИНДЕР: «Немецкий».

ПРОКУРОР: «Вы действительно хорошо знаете немецкий?»

ГЕМИНДЕР: «Я уже давно не говорил по-немецки, но я владею этим языком».

ПРОКУРОР: «Вы владеете немецким примерно так же, как чешским?»

ГЕМИНДЕР: «Да».

ПРОКУРОР: «Таким образом, вы, по существу, не владеете в должной мере никаким языком. Вы типичный космополит. И в этом качестве вы втерлись в Коммунистическую партию».

ГЕМИНДЕР: «Я вступил в Коммунистическую партию Чехословакии в 1921 году и оставался ее членом вплоть до 1951 года, когда был разоблачен...»

Таким образом Геминдеру хотели отказать в принадлежности к чешскому народу на том основании, что он, как и я, родился в еврейской семье, проживавшей в пограничном районе, где язык национального меньшинства признавался республикой Масарика как равноправный. Чехословакия справедливо гордится как своим национальным достоянием произведениями замечательных мыслителей, историков, писателей, художников, публицистов, для которых родным языком был немецкий. Вспомним Кафку, Р.-М. Рильке, Верфеля, Э. Э. Киша, Макса Брода, Вайскопфа, Фюрнберга...

Готвальд, Копржива, Бацилек, Широкий, Доланский, Кёлер утверждали все фальшивки советских советников и их подручных в Рузине, в которых наша деятельность, проходившая под контролем партийного руководства, перекраивалась в предательские и преступные акты. В каждом из нас жила безумная надежда, что наступит день, когда лидерам КПЧ бросится в глаза чудовищная нелепость вырванных у нас признаний. Но в ответ они прислали к нам Бацилека, давая понять, что знают о лживости наших «признаний» и именем партии требуют, чтобы мы их придерживались. Да еще шантажируют — ведь наша жизнь в их руках.

И судьи, нарушая свой профессиональный долг, прикрываются распоряжениями вождей партии. Во Франции мне приходилось иметь дело с петеновскими судьями, они тоже в период нацистской оккупации мирились с чрезвычайным законодательством, с уничтожением прав защиты. Но те представляли буржуазный репрессивный аппарат. И они не выступали пособниками полиции столь явно, столь неприкрыто. Они соблюдали, по крайней мере формально, принцип презумпции невиновности. Они не возвели в закон положение Вышинского, что «признание уже само по себе есть достаточное доказательство виновности». Даже официальные защитники и те пытались использовать юридические возможности, чтобы помочь своим клиентам. После ареста в 1942 году и я, и моя жена получили право подготовить защиту совместно с нашим адвокатом.

Здесь же, в Панкраце, нет ничего подобного. Прокурора и судей не может оправдать то, что мы «добровольно» даем показания — ведь они, как и мы, просто выучили наизусть сценарий советских советников и их подручных из Рузине. Они знают, что все это фарс, но сознательно участвуют в нем. И это их соучастие заключается не только в том, что они вынуждают нас заявлять, будто в отношении нас соблюдены гарантии, предоставляемые законом, тогда как они сами же их нарушили, но прежде всего в том, что эти люди постоянно и неизменно выступают пособниками лжи.

Разве не так поступает председатель суда Новак, опуская в протоколах предварительного опроса причины моих многочисленных арестов — в 1931, 1932, 1933-м в Остраве и в августе 1942-го в Париже,— мое заключение в Маутхаузен и всю мою антифашистскую деятельность? Ведь им нужно слепить законченный образ шпиона, притом еще с темным прошлым...

Неудивительно поэтому, что в дело идут — без малейшей проверки — любые материалы, которые предоставляют им органы госбезопасности.

Как доказательство моей «гнусной деятельности» принимаются даже письма и деловые документы из архивов МИДа и Международного отдела ЦК, и эти материалы фигурируют на процессе в качестве улик.

Когда во время моего пребывания в СССР я посетил Кунцевскую исправительную колонию для беспризорников, расположенную в подмосковном лесу, ее директор много рассказывал мне о суровых, но в то же время гуманных методах, которые применяет советское правосудие. И я, и все убежденные коммунисты свято верили, что подлинная социалистическая демократия невозможна без законности и юридических гарантий, так же как невозможен справедливый правопорядок без социалистической демократии. Кто из нас не прошел через увлечение удивительно человечной книгой Макаренко «Флаги на башнях», кого не тронул до слез превосходный фильм «Путевка в жизнь»?

Для меня, как и для всех, кто, борясь за свои идеи, многие годы провел за решеткой, кто на себе испытал произвол и бесчеловечность буржуазной юстиции, коммунизм воплощал также и новое правосудие. И вот теперь наш процесс дополнит собой длинный список других предшествовавших ему процессов, обесчестивших наш коммунистический идеал. Я и мои тринадцать товарищей являемся жертвами этого вырождения. Но вы, товарищи, по-прежнему обманываетесь.

Вы будете видеть во мне, в них, во всех тех, кто позже последует за нами, заклятых врагов. А те, кто опозорил нас всех (нас — перед тем, как расправиться с нами, вас — заставляя аплодировать этой расправе), важно шествуют не только во главе партии, но и во главе всего нашего движения...

Как могли мы дойти до такого искажения общей идеи? Разве сам я в течение многих лет не боролся против тех, кто обвинял Сталина в обмане? А теперь я думаю о будущих процессах, о сотнях имен, уже включенных «про запас» в служебные протоколы Рузине. Кстати, заявление, которым Сланский закончит свое последнее слово и которое будет изъято из всех официальных документов, подтвердит мои опасения. Сланский ошеломит нас всех, заявив: «Наш антигосударственный заговорщический центр насчитывал сотни членов...» Поскольку, включая свидетелей, нас, так или иначе замешанных в деле, всего человек семьдесят-восемьдесят — это новое «признание» обещает хорошую поживу головорезам из Рузине и их начальникам...

Публика состоит в основном из сотрудников Министерства госбезопасности в штатском и тщательно отобранных «представителей трудящихся». Последние допускаются по пригласительным билетам, действительным только на один день. Таким образом их состав ежедневно меняется. В зале присутствуют также чешские журналисты и корреспонденты органов печати зарубежных компартий. С некоторыми, например с Пьером Анжесом, я знаком. Тем беспощаднее напишет он обо мне в своих репортажах.

Семьи обвиняемых не были извещены о начале процесса. Только из газет и по радио они узнали, что судят их отцов, мужей, братьев и сыновей...

Во время перерывов в судебном заседании охранники отводят нас в коридор, примыкающий к залу суда. По одну сторону коридора расположены восемь фанерных боксов, в один из них помещают меня. Напротив — две камеры, двери которых не закрываются, там — Сланский и Клементис. Перед каждым боксом и в дверях камер стоит по надзирателю, чтобы мы не могли общаться между собой. Я нахожусь между Геминдером и Гайду. Напротив — камера Клементиса. Мы отлично видим друг друга и с первого дня обмениваемся дружескими знаками.

Сланского я вижу каждый раз, когда его проводят в камеру. Он осунулся, но выглядит спокойным. Проходя мимо, он смотрит прямо перед собой, словно бы не замечая нас. Время от времени в его камере появляется следователь с тарелкой, спрятанной между двумя папками. Может быть, по состоянию здоровья ему необходимо дополнительное питание?..

У Геминдера совершенно отсутствующий вид. Погруженный в свои мысли, он ходит словно автомат или сидит в своем боксе не шевелясь. Он не отвечает ни на улыбки, ни на приветственные жесты. Хотя со Сланским Геминдер связан старой дружбой, при встречах он неизменно отворачивается.

Андре Симон, страдающий поносом, во время перерывов часто проходит мимо моего бокса в туалет. Выглядит он очень плохо. Он страшно изменился. Совсем старик — щеки запали, подбородок выдается вперед. Я не могу скрыть изумления, и мой следователь объясняет, что в тюрьме разбили зубной протез Симона, потому-то так изменились его черты. Теперь он не может прожевывать пищу и у него непрерывный понос. Что они с ним сделали, с этим живым и остроумным человеком? Когда Вилема Нового, который долгое время работал с ним в редакции «Руде право», вызвали в суд для дачи показаний против Симона и председатель предложил ему опознать Андре среди обвиняемых, Новый повернулся и обвел нас взглядом, ни на ком не остановившись. Потом присмотрелся повнимательнее, внезапно вздрогнул, и на лице его отразилась растерянность — он еле узнал Андре Симона в этом жалком подобии некогда блестящего журналиста.

Мой друг Гайду находится в соседнем боксе. Он мрачен, нервно курит одну сигарету за другой. Когда следователь приносит ему чашку кофе, он хмуро бросает: «Отнесите Лондону!»— совсем как раньше, когда мы завтракали вместе. Он никогда не питал пристрастия к кофе и знает, что я, напротив, его обожаю. В суде мы с Гайду сидим рядом, между нами только охранник. Я смотрю на Ваврo. На лице у него — гримаса отвращения, он все время почесывает ладони. Он юрист и поэтому, слушая чудовищный вздор, который несут члены суда, ругается сквозь зубы. Во время речи своего защитника Гайду с трудом сдерживает гнев. «Говнюк, идиот, мерзавец, болван!» — бормочет он. Охранник несколько раз толкает его локтем в бок, призывая к порядку...

Марголюс держится с достоинством. Он умеет владеть собой, как и Фрейка и Франк, тоже сохраняющие невозмутимость. Фишл, напротив, производит впечатление сломленного человека. Лёбл сохраняет хладнокровие. Во время перерывов он подолгу беседует со своим следователем.

Рейцин и Шваб внимательно следят за происходящим. Шлинг ведет себя свободнее всех, он самый живой и непосредственный из нас. Завидев меня, он сразу приветливо улыбнулся и теперь всякий раз, проходя мимо, делает мне дружеские знаки. Хотя он страшно похудел за два года, проведенных в тюрьме, он в большей мере, чем все мы, остался самим собой.

Давая показания, Шлинг оживленно жестикулирует и не успевает вовремя подхватить штаны, которые ему слишком широки, — они падают. Комический вид нашего товарища в кальсонах вызывает у нас взрыв безудержного, истерического хохота. Шлинг, подтягивая штаны, прыскает первым и кое-как продолжает давать показания.

Клементис смеется громче всех. Он пытается остановиться, изо всех сил сжимает зубами свою трубку. Сланский плачет от смеха и сотрясается всем телом. Только Геминдер невозмутим.

Члены суда и зал заражаются нашим смехом. Прокурор прячет лицо за раскрытой газетой, члены суда утыкаются в папки с делами. Охранники повизгивают, пытаясь сдержаться.

Смех, вызванный нелепым происшествием со Шлингом, явился своего рода раз-

рядкой для исполнителей этой жуткой трагедии.

Председатель вынужден прервать заседание.

Когоутек и его помощники вне себя от гнева. Во время перерыва они твердят нам, что Шлинг нарочно решил разыграть из себя шута. Наклонившись, чтобы подтянуть брюки, он весьма непочтительно показал публике зад! Это-де доказывает, что Шлинг — отпетый хулиган, который плюет на всех и вся.

На протяжении всей недели, пока идут судебные заседания, штаб Рузине во главе с Доубеком мобилизован в Панкрац. Нас кормят лучше, чем обычно, дают кофе и сигареты. Если заседание затягивается, приносят бутерброды. Во время перерывов по коридорам суда и подвальным переходам, ведущим к нашим камерам, непрестанно снуют люди. Начальники из Рузине по многу раз в день навещают вверенных им обвиняемых, чтобы поддержать их моральный дух.

Когоутек, по обыкновению, многословен и позволяет себе говорить лишнее. Он утверждает, что партия удовлетворена, что «наши друзья» беседовали с партийным руководством, которое внимательнейшим образом следит за ходом процесса. Его прогнозы относительно приговоров еще оптимистичнее, чем до суда.

Но по мере того как разворачивается процесс, нами овладевают мрачные предчувствия. Мы в тревоге ждем, что развязка трагедии, последний акт которой подходит к концу, окажется гораздо более зловещей.

Враждебность публики все явственнее. Вероятно, людей подбирали с учетом того, на какой стадии находится слушание дела. Нас окружает гнетущая атмосфера ненависти. Суд заслушивает показания свидетелей, самое ужасное из которых — выступление Густы Фучиковой, обвиняющей Рейцина в том, что он выдал гестапо ее мужа. Зал разражается неистовыми аплодисментами, когда она в своей речи цитирует последние слова Фучика из книги «Репортаж с петлей на шее»:

«Тот, кто жил для прекрасного будущего и честно пал в борьбе за него, воздвиг себе нетленный памятник. Но тот, кто хотел из праха прошлого построить плотину, преграждающую путь революционному потоку, останется в памяти людей всего лишь трухлявой марионеткой, даже если на плечах у него были золотые эполеты. Люди, я любил вас, будьте бдительны!»

За день до обвинительной речи прокурора Когоутек спрашивает меня во время перерыва, каких приговоров, по моему мнению, потребует прокурор. Я отвечаю, что процесс будет стоить жизни всем обвиняемым. Он смотрит на меня своими стеклянными глазами и медленно качает головой: «Это невозможно. Не могут же они вас всех повесить!»

По вечерам до глубокой ночи и утром до начала заседаний в наши камеры, расположенные в подвале, доносится стук пишущих машинок. Мой следователь проговорился, что даже здесь идут допросы и стряпаются дела на людей, еще находящихся на воле.

Иногда во время перерыва между заседаниями кому-нибудь из обвиняемых приносят лист бумаги, чтобы он записал новые имена, которые должен будет дополнительно включить в свои показания. Мне удается уловить имена генерала Свóболы, министра Грегора и некоторые другие.

Сообщая мне, что слушание моих показаний, назначенное на утро 22 ноября, откладывается на более поздний час, Когоутек объясняет, что сперва будет вызван Клементис, так как «партия, ознакомившись с его вчерашними показаниями, сочла необходимым, чтобы он сделал дополнительное заявление о словацком буржуазном национализме». Значит, его последний протокол для суда был составлен ночью, и Клементису пришлось выучить текст до начала утреннего заседания, которое открылось его показаниями.

Накануне того дня, когда прокурор должен произнести обвинительную речь, Когоутек приносит мне в камеру бумагу и карандаш и велит написать мое последнее слово перед вынесением приговора. «Вы должны придерживаться общей линии ваших показаний,— говорит он,— и заверить партию, что до конца оправдаете ее ожидания».

Через некоторое время я вручаю ему набросок. Он тут же уходит посоветоваться со своими «начальниками». Наутро, очень рано, возвращает мне черновик с соответствующими поправками. Три фразы вычеркнуты, кое-что добавлено. Он упрекает меня за то, что я не слишком ломал себе голову над составлением текста. «А теперь,— говорит он,— выучите свое заявление наизусть. И главное, ничего в нем не меняйте, не то вам придется об этом пожалеть». И это тоже говорится от имени партии!

Хорошо, что текст короткий, потому что память отказывает мне. В последние дни я уже с трудом слежу за ходом процесса. До моего сознания доходят только обрывки вопросов и показаний, все остальное сливается в невнятный гул. Постепенно во мне нарастает ощущение раздвоения личности: я — актер, но в то же время и зритель. Меня преследует мысль: «Значит, вот как все было на процессах в Москве, Будапеште, Софии... Как же мог я, и вместе со мной множество коммунистов, множество честных людей во всем мире, принимать за чистую монету эти инсценировки?»

На седьмой день, после того как четырнадцать обвиняемых и тридцать три свидетеля обвинения, ни разу не сбившись,—спектакль отрепетирован хорошо,— дали свои показания, генеральный прокурор Йозеф Урвалек произносит обвинительную речь:

«Граждане судьи!

Никогда еще на человеческой памяти ни одному из наших народно-демократических судов не приходилось рассматривать дела, подобного делу преступников, которые ныне сидят на скамье подсудимых и которых вы должны судить...

...Разоблаченные преступления показали нам истинные причины серьезных недостатков, которые обнаружились во многих областях деятельности нашей партии, нашего государства и хозяйственных органов... Точно спруты с тысячью щупалец, эти люди прилипли к телу нашей республики и высасывали из нее кровь и мозг...

...Центр заговора возник на Западе еще во время второй мировой войны и служил целям порабощения, которые преследовали в этой войне западные империалисты...

...Американские империалисты, эти оголтелые последователи Гитлера, стремятся помешать историческому развитию, которое должно неминуемо привести к их падению...

...Буржуазия остается верна своей старой привычке вербовать шпионов и провокаторов в рядах самих партий рабочего класса, разлагать эти партии изнутри и подчинять их себе. В Югославии ей это удалось...

...Благодаря огромному опыту, накопленному на протяжении своей истории Коммунистической партией Советского Союза, клика Тито, которой предназначалось сыграть гнусную, предательскую роль в случае развязывания империалистами войны против Советского Союза, была разоблачена, и ее замыслы раскрыты перед всем миром... Выведена на чистую воду и обезврежена банда предателей, которых в Венгрии возглавлял Ласло Райк, в Болгарии — Трайчо Костов, в Албании — Кочи Дзодзе, в Румынии — Патраскану и в Польше — Гомулка...

...По приказу американских империалистов Сланский сгруппировал вокруг себя банду заговорщиков и стал их «атаманом», то есть общепризнанным главарем... Среди обвиняемых — одиннадцать приверженцев сионистских организаций, состоявших на службе у американских империалистов.

...Преступники, которых вы видите на скамье подсудимых, бесстыдно спекулировали на том, что чешский и словацкий народы всегда испытывали отвращение к антисемитизму, в особенности после второй мировой войны, когда гитлеровцы, одержимые расистским бешенством, подвергали евреев массовому истреблению в концентрационных лагерях, в газовых камерах. Евреи-фабриканты, коммерсанты, всякого рода буржуазные элементы воспользовались этим, чтобы пролезть в партию, где могли, козыряя страданиями, которые перенесли евреи во время нацистского разгула, маскировать свой облик — облик заклятых врагов нации.

Наш народ прекрасно знает, что наша партия никогда не откажется от пролетарского интернационализма и что даже на этом процессе мы судим только преступников, посягавших на безопасность государства, сионистских торгашей высокого полета, агентов западных империалистов.

...Первой заботой Сланского и его приспешников было обеспечить себе абсолютное господство в партии и превратить ее из орудия рабочего класса для построения социализма в орудие реставрации капитализма... Пользуясь своим положением в партийном аппарате, они готовились в удобный момент подвести партию к крутому повороту, завлечь ее по примеру Тито в лагерь предателей социализма и поставить республику под контроль американских империалистов... Заговорщики направляли свои преступные усилия даже на ослабление армии, чтобы лишить ее способности защищать нашу землю, нашу независимость и наше счастье...

...Заговорщики обеспечили себе также ключевые позиции в аппарате госбезопасности, чтобы иметь возможность скрывать свои злодеяния, заметать следы и таким образом избежать разоблачения... облегчать подрывную деятельность империалистических разведывательных служб и всякого рода реакционных элементов...

...Сланский не остановился даже перед покушением на Клемента Готвальда. Он уже принял меры к тому, чтобы умертвить горячо любимого вождя народа. Он приставил к Президенту Готвальду в качестве лечащего врача доктора Гашковеца, франкмасона, коллаборациониста и врага народа! Если Сланский признает: «Я считал, что в случае захвата власти нам будет необходимо избавиться от Клемента Готвальда»,— то, конечно, потому, что он не может этого отрицать! «Я мог бы использовать доктора Гашковеца, чтобы избавиться от Клемента Готвальда и прийти к власти»,— признается Сланский, и нет сомнения, что он сделал бы это.

Все главные пункты обвинения, равно как их составные части, инкриминируемые преступления, упомянутые в обвинительном акте, подтверждены предъявленными суду доказательствами и признаниями обвиняемых... Они тщетно маскировались. Партия... во главе с Президентом Готвальдом вовремя разгромила эту банду предателей... Наш народ бесконечно благодарен товарищу Готвальду за то, что он систематически расстраивал преступные планы заговорщиков, направленные против Республики.

Чехословакия не станет новой Югославией!

Граждане судьи!

На XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза товарищ Маленков подчеркнул огромное значение, которое имела для победы в Великой Отечественной войне беспощадная борьба большевистской партии против троцкистско-бухаринских выродков, закончившаяся их полным разгромом. Мы имеем дело с предателями и продажными наймитами того же пошиба. Эта банда тоже готовилась воткнуть нож в спину народа в случае, если наша страна подвергнется нападению врага, и таким образом сослужить службу американским империалистам. Эти преступники — враги не только нашей страны, но и всего миролюбивого человечества. Вот почему, если они арестованы и обезврежены, это не только победа нашей страны, но в то же время и новое тяжкое поражение американских империалистов, новая победа лагеря мира и демократии...»

Во время речи прокурора в зале царит абсолютная тишина. Я слушаю с неослабным вниманием, от волнения у меня перехватывает дыхание. Приближается развязка. Двадцать два месяца я провел в тюрьме, оторванный от семьи, от друзей, заживо похороненный в этой могиле...

Прокурор Урвалек говорит убежденно. У него дрожит голос, когда он упоминает партию и вождя нашего народа Клемента Готвальда. Гневные раскаты звучат в его голосе, когда он обличает банду предателей и преступников, которых отдает на суд народа. Эти раскаты точно рассчитаны — хорошо выучил свою роль. Я думаю: как может он изображать такое негодование, так ловко разыгрывать комедию?! А судьи, которые слушают его с такой сосредоточенностью? Ведь они знают, что приговор, ко-

торый они завтра вынесут именем Республики, нисколько от них не зависит. Они ждут распоряжений от Президента и руководства партии.

Это отвратительно, и меня прямо-таки тошнит. Я смотрю на своих товарищей. Бледные, измученные, они, как и я, ловят каждое слово прокурора.

Заседание закрывается. Охранники отводят нас в подвал, в камеры, где нам предстоит еще одна бессонная ночь. Я начинаю завидовать судьбе христиан, которых отдавали на растерзание диким зверям на арене цирка — там конец наступал быстрее. Завтра будут слушаться речи защитников, а потом каждый из обвиняемых произнесет свое последнее слово. Я уже выучил то, что должен сказать, Когоутек меня проверил, и мне остается теперь уповать на милость бо... нет, партии!

Сегодня, 26 ноября, слово предоставлено защите. Хотя процесс уже приближается к концу, мне так и не удалось, несмотря на все мои настойчивые требования, добиться разрешения поговорить с моим адвокатом. Меня мучает неотвязная мысль: выполнил ли он свое обещание повидаться с Лиз и подготовить ее? Связалось ли с ней партийное руководство, как мне обещал Бацилек во время нашего разговора?

Я с облегчением узнал от Когоутека, что Лиз нет в зале и что, по крайней мере, она избавлена от этого спектакля.

Мы слушаем теперь речи «представителей защиты», которые выходят один за другим, чтобы отбарабанить свой урок.

Эти речи, стоящие одна другой, могли бы сами по себе заменить и обвинительное заключение, и выступление прокурора...

Каждый адвокат защищает трех обвиняемых, за исключением доктора Бартоша, который защищает двоих — Сланского и Марголюса. Вот некоторые перлы из речи защитника Бартоша: «...Ни по делу обвиняемого Сланского, ни по делу обвиняемого Марголюса я не буду в своей речи останавливаться на подробностях их преступной деятельности, потому что их вина, как ее определил государственный прокурор, ясно доказана и не оставляет сомнений. Для их деятельности нет оправданий, к тому же оба обвиняемых сами полностью признали свою вину, и главная трудность защиты в том и состоит, что, с юридической точки зрения, по существу невозможно выдвинуть никаких возражений против обвинения ни в части определения преступлений, ни в части квалификации этих преступлений.

Вещественные доказательства, собранные во время следствия и фигурирующие в деле, показания свидетелей, а также подробные признания обоих обвиняемых, подкрепленные другими доказательствами, в своей совокупности не оставляя места для сомнений, подтверждают не только факты, содержащиеся в части обвинения, непосредственно касающейся обоих моих подзащитных, но и факты обвинения в целом...»

Мой защитник, доктор юридических наук Ружичка, должен в одной и той же речи защищать меня, Людвига Фрейку и Андре Симона. Он говорит обо мне:

«...Что касается обвиняемого Артура Лондона, вина его доказана, и обвиняемый полностью признал ее. Мне остается, следовательно, лишь сказать несколько слов об обстоятельствах, которые привели Лондона к тому, что он стал троцкистом, продался Ноэлу Филду, вошел в заговорщический центр и развернул свою преступную деятельность.

Обвиняемый Лондон позже всех начал сотрудничать со Сланским и решился на это только под сильным нажимом и из страха, что ему припомнят его прошлую деятельность...

Я прошу вас поэтому, граждане судьи, не приговаривать обвиняемого Лондона к высшей мере наказания, которой требует прокурор, а присудить к тюремному заключению, что дало бы ему возможность искупить трудом свою тяжкую вину».

Вот они, современные рыцари, заступники слабых и безвинных, вдов и сирот!.. Многие чехословацкие юристы предпочли, правда, стать мойщиками машин, шахтерами, слесарями или швейцарами, лишь бы не участвовать в надругательстве над законом. А те, кто признал новое судопроизводство, установленное рузиньскими заправилами,— все они одинаковы, и нет никакой разницы между адвокатами и «судьями», выносящими приговор.

После выступлений защитников нас всех вызывают поочередно для произнесения последнего слова.

Точно так же, как следователи требовали, чтобы наши «показания» выглядели предельно искренними, так и теперь они настоятельно советуют нам говорить в тоне чистосердечного раскаяния. И главное, не проявлять ни малейших колебаний, идти до конца и «довериться партии».

СЛАНСКИЙ заканчивает свое заявление следующими словами:

«Я не заслуживаю иного конца своей преступной жизни, кроме того, что требует государственный прокурор...»

ГЕМИНДЕР: «Я сознаю, что как бы суров ни был приговор,— а он в любом случае будет справедлив,— я уже не смогу ни искупить свою вину, ни возместить тот огромный ущерб, который причинил...»

ФРЕЙКА: «Моя вина так велика, что я заранее принимаю любой приговор суда как справедливую кару от руки трудового народа Чехословакии...»

ФРАНК: «Я прошу суд со всей строгостью взвесить тяжесть и последствия моей вины и вынести суровый приговор...»

КЛЕМЕНТИС: «...К какой бы суровой каре ни приговорил меня суд народа, она будет лишь справедливым возмездием...»

РЕЙЦИН: «...Я сознаю, что заслужил самое суровое наказание за совершенные мной преступления...»

ШВАБ: «...Я прошу суд покарать меня за предательство со всей суровостью и твердостью...»

ЛОНДОН: «...Я знаю, что приговор, который мне вынесут, будет справедлив...»

ГАЙДУ: «...Я хочу лишь сказать, что сожалею о совершенных мной преступлениях...»

ЛЁБЛ: «...Я искренне сожалею о том, что совершил, и сознаю, что заслуживаю суровой и справедливой кары...»

МАРГОЛЮС: «...Я могу лишь просить о самом суровом наказании...»

ФИШЛ: «...Я прошу также вынести мне приговор, отвечающий тяжести моей вины...»

ШЛИНГ: «...Я достоин презрения и заслуживаю самого строгого, самого сурового наказания...»

СИМОН: «...Я прошу суд приговорить меня к самой суровой каре...»

Председатель закрывает заседание и объявляет, что завтрашнее заседание откроется оглашением приговора.

И вот наступает 27 ноября 1952 года — последний день процесса. Охранникам не приходится нас будить, никто не сомкнул глаз.

Нас выводят в коридор. Мы смотрим друг на друга — в потухших взглядах ни искры жизни. У меня такое чувство, будто мое тело — сосуд, до краев наполненный тревожным ожиданием и страхом, и мои товарищи, судя по их виду, испытывают то же самое.

Мы шагаем как автоматы. Занимаем свои места на скамье позора. Ждем...

В зале тишина. Входит суд. Одиннадцать часов тридцать минут. Председатель Новак объявляет:

«Заседание открыто. Встать! Оглашается приговор!»

Охранники толкают нас локтем в бок, дергают за рукава, чтобы заставить подняться. Стоя, я слышу как во сне: «...Приговор. Именем Республики...»

Оглашение приговора кажется мне бесконечным... Я не понимаю, что говорит председатель, я слышу только глухое жужжание.

Не знаю почему, мне вспоминается один из участников Сопротивления, о котором мне когда-то рассказали и с которым я теперь себя сравниваю. Его вызвали однажды в лес где-то в Ландах на свидание с руководителями ФТПФ, и он сразу догадался, что товарищи решили убить его, заподозрив в измене. В ужасе он понимает, что спасения нет. И когда пуля уже настигла его, он еще нашел в себе силы, падая, крикнуть: «Да здравствует компартия!— и уже на последнем дыхании:— Товарищи... товарищи-и-и... това...»

Существует ли для миллионов людей во всем мире, мечтающих избавить человечество от страданий и построить разумное, справедливое общество, какая-нибудь иная возможность, иная надежда, кроме той, что мы возлагали на партию? Если б мы разоблачили обман, разве не было бы это предательством по отношению к нашим товарищам, нашим друзьям? Теперь, когда мы на пороге новой войны? Впрочем, этот вопрос не имеет смысла, потому что мы все равно не могли этого сделать — как по моральным соображениям, так и практически...

Я снова думаю о Советском Союзе. Вижу его мужественный, достойный восхищения народ, который я узнал и полюбил. Сколько жертв он принес и продолжает приносить, сколько сил положил на дело революции.. могильщиком которой стал Сталин!

На лбу у меня выступают крупные капли пота, холодные ручейки стекают по спине. даже носки промокли. Мне дурно... Я стараюсь совладать с собой и понять, что говорит председатель. Несколько раз слышу свое имя, упоминаемое среди других в общем перечне преступлений, но это еще не приговор...

И вот оно, вот — я слушаю с напряженным вниманием:

«...За что и приговариваются:

I. Обвиняемые Рудольф Сланский, Бедржих Геминдер, Людвиг Фрейка, Йозеф Франк, Владимир Клементис, Бедржих Рейцин, Карел Шваб, Рудольф Марголюс, Отто Фишл, Отто Шлинг и Андре Симон в соответствии с параграфом 3 статьи 78 уголовного кодекса и с учетом в отношении всех обвиняемых, за исключением Карела Шваба, параграфа 1 статьи 22 уголовного кодекса —

К СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

II. Обвиняемые Артур Лондон и Вавро Гайду, в соответствии с параграфом 3 статьи 78 уголовного кодекса и с учетом параграфа 1 статьи 22 уголовного кодекса,

Эуген Лёбл, в соответствии с параграфом 3 статьи 1 закона № 231/48, с учетом положений статьи 34 уголовного кодекса 1852 года и с учетом в отношении всех обвиняемых параграфа 2 статьи 29 уголовного кодекса, а в отношении Эугена Лёбла с учетом положений статьи 12 уголовного кодекса —

К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ.

В соответствии со статьей 23 уголовного кодекса время, проведенное Артуром Лондоном, Вавро Гайду и Эугеном Лёблом в предварительном заключении, вычитается из их срока лишения свободы».

Тишина, сковавшая зал после оглашения приговора, свидетельствует, что даже эта тщательно подготовленная публика поражена его исключительной суровостью.

Кто бы мог подумать, что в Чехословакии, стране древней культуры и демократических традиций, зайдут еще дальше, чем в Венгрии и Болгарии, Польше и Румынии: одиннадцать смертных приговоров! Троих — к пожизненному заключению!

Ни хлопка, ни единого знака одобрения... Напротив, кажется, что зала коснулось ледяное дыхание ужаса.

Публика, уже поднявшаяся со своих мест, словно застыла и, пока мы выходим из зала, не сводит с нас глаз, по-прежнему безмолвствуя.

Совершенно уничтоженные, в сопровождении охранников мы возвращаемся в свои боксы.

А ведь сколько раз мы рисовали себе смерть! Но понимая, что только смертью может увенчаться этот процесс, мы тем не менее цеплялись за каждую соломинку надежды, которую нам подсовывали единственные люди, с которыми мы общались,— следователи, те, кто олицетворял для нас партию!

В коридоре уже нет надзирателей из Рузине. Но что еще хуже, исчезли и наши следователи.

На протяжении всего процесса они не покидали нас. Мы привыкли видеть их у своих боксов во время перерывов. Они болтали с нами, подбадривали нас. А теперь, после приговора, по которому одиннадцать из нас идут на виселицу, они испарились.

В глазах товарищей я читаю растерянность — рядом в эти минуты нет никого, кроме незнакомых охранников. И вот мы все начинаем требовать, чтобы к нам вызвали следователей.

Наши следователи! Месяцы, годы мы — палачи и их жертвы — виделись изо дня в день, жили бок о бок, и между нами установились какие-то необъяснимые связи, протянулись, вопреки всему, ниточки человеческих отношений.

Разве они не обещали нам от имени партии иной исход, если мы будем вести себя в соответствии с ее интересами? Когда они твердили нам, что если мы отдадимся на волю партии, наше поведение будет учтено, мне кажется, с их стороны это не было просто полицейской уловкой. Некоторые из них верили в то, что говорили. Не все же были прирожденными палачами! Прежде чем стать послушными орудиями рузиньских заправил, они тоже прошли соответствующую обработку.

Наблюдая за ними, разве не узнавал я наше собственное прошлое? Искажение принципа демократического централизма в пользу централизма постепенно привело к тому, что мы разучились мыслить самостоятельно, предоставляя все партии, верховному вождю. Мы забыли о своем праве мыслить и не соглашаться. Не всегда мы сохраняли человечность. А наши следователи зашли на этом пути еще дальше, так далеко, что согласились во имя партии и СССР растоптать самые священные права человека.

Быть может, это и был в их понимании пролетарский гуманизм или, по крайней мере, способ служить ему.

Теперь они знают все. Как и мы.

И вот мы требуем, чтобы к нам вызвали следователей. Мои товарищи, приговоренные к смерти, выходят из боксов и хватают за рукава незнакомых охранников: «Где мой следователь? Позовите моего следователя! Я хочу видеть моего следователя!»

Эти чиновники, которые терзали их час за часом, день за днем, месяц за месяцем, но также говорили с ними, кормили их надеждами, обещаниями, служили посредниками между ними и внешним миром, партией, Готвальдом, олицетворяют для них последний шанс остаться в живых.

И вдруг больше нет этой надежды, этого прибежища.

Исчезновение следователей означает, что все кончено. Остаются только «признания», но не люди, которые их сочиняли,— «признания» и обусловленный ими приговор. Нет больше обещаний. Осужденные выполнили свое обязательство вплоть до позорного конца. Партия не хочет знать своих обязательств, она отказывается от них.

В это время являются адвокаты. Когда мы уже осуждены! Мой защитник спрашивает, как я намерен поступить. «Я не согласен с приговором, я обжалую его». Слышу, что Гайду говорит то же самое своему. Они уходят, но несколько минут спустя возвращаются чуть ли не бегом. Торопливо сообщают, что только что консультировались с особо компетентными лицами и те решительно не советуют нам подавать апелляцию. «Вы не представляете себе, что творится за этими стенами. Со всех концов страны—с заводов, из учреждений, деревень — мешками поступают резолюции, требующие смертной казни для всех четырнадцати. К тому же международное положение сейчас очень напряженное. Эйзенхауэр избран президентом США. Мы на пороге новой войны...»

Заседание открывается — в последний раз. Председатель вызывает нас по фамилии. Мы по очереди встаем и один за другим глухими, монотонными голосами говорим одно и то же: «Я согласен с приговором и отказываюсь от своего права обжалования».

Спектакль окончен.

Занавес падает.

Когоутек как-то сказал мне: «Партии не нужны ваши головы. Партии нужен процесс». Партия получила свой процесс и наши головы в придачу...

Нас отводят обратно в подвал. Мы в полной растерянности, молча ждем, когда отопрут камеры. Первым уходит Шлинг. Прежде чем войти в свою камеру, он оборачивается к нам, и на губах его появляется едва уловимая улыбка. Он машет нам. Я не знаю, как это понимать: Шлинг, товарищ мой, что означала улыбка, с которой ты ушел от нас?

Могильная тишина царит в подвале. Лёбл, Гайду и я проводим часа два в камерах, пока за нами не приходят, чтобы увезти в Рузине, и все это время я думаю о своих одиннадцати товарищах; мысли о них заставляют меня забыть о собственной судьбе.

Воспоминания об одиннадцати товарищах еще долго будут преследовать меня в тюрьме. Но о том, что они казнены, я узнаю лишь много времени спустя. Я все еще надеюсь, что Готвальд помилует их.

«Казнили их?»— был первый вопрос, который я задал следователю, когда меня через несколько недель — уже не помню зачем — привели к нему в кабинет. Он не ответил.

Прошло несколько месяцев, прежде чем я узнал от Лиз, что все они были повешены. Чтобы убедить меня в этом,— потому что я еще отказывался верить,— один из моих товарищей по заключению показал мне вырезку из газеты, в которой сообщалось: приговор, вынесенный одиннадцати осужденным, приведен в исполнение.

Впоследствии я узнал — все, за исключением Сланского, перед смертью написали письма своим близким и Клементу Готвальду. В этих прощальных письмах они говорят о своей невиновности и заверяют, что «признания» они сделали исключительно в интересах партии и социализма.

ОТТО ШЛИНГ: «Я заявляю перед казнью, и это чистая правда, что никогда не был шпионом...»

КАРЕЛ ШВАБ: «Я признавался потому, что считал это своим долгом и политической необходимостью...»

ЛЮДВИГ ФРЕЙКА: «Я признавался потому, что хотел по мере сил выполнить свой долг перед трудящимися и перед Коммунистической партией Чехословакии...»

АНДРЕ СИМОН: «Я никогда не был заговорщиком, членом антигосударственного конспиративного центра Сланского, никогда не был предателем, не был шпионом, не был агентом западных разведок...»

Только после публичной реабилитации всех невинно осужденных, во время Пражской весны 1968 года эти письма, обнаруженные в архивах Министерства госбезопасности, получили адресаты — вдовы и сироты.

Когда я писал эту книгу, я с болью и негодованием прочел в чешской печати об ужасном конце своих товарищей:

«...Когда одиннадцать осужденных были казнены, следователь Д. случайно оказался в Рузиньской тюрьме у советника (советского) Галкина. У Галкина находились в это время шофер и двое следователей, которым было

поручено вывезти пепел. Они доложили, что насыпали пепел в мешок из-под картофеля и поехали в пригород Праги, чтобы выбросить содержимое мешка где-нибудь в поле. Однако, заметив, что шоссе обледенело, они решили рассыпать пепел прямо на дороге. Шофер со смехом сказал, что ему еще никогда не приходилось возить в своей «татре» четырнадцать человек зараз: трех живых и одиннадцать, уместившихся в мешке...»

* * *

Ниже следует краткое изложение двух последних частей книги: «Мои близкие» и «Правда победит».

После суда Лондона снова отправили в одиночную камеру Рузиньской тюрьмы. Он уверен, что его, Гайду и Лёбла как опасных свидетелей не оставят в живых. С другой стороны, убогое существование, на которое он отныне обречен, кажется ему едва ли предпочтительнее скорой смерти.

Лондон много размышляет о процессе, показавшем «безграничное презрение к массам и к мировому общественному мнению». Он с горечью думает и о коммунистах капиталистических стран, которые поливают грязью и предают анафеме осужденных. А между тем против руководителей их собственных партий уже собирают материал, который «доказывает» измену и приберегается до той поры, когда появится возможность его использовать. Та же угроза нависла и над чехословацкими руководителями — как теми, что несут ответственность за процесс, так и новыми, занявшими места казненных. В этой связи Лондон вспоминает, как за несколько дней до суда Когоутек допрашивал его об Антонине Новотном, который уже тогда исполнял обязанности первого секретаря ЦК партии.

Лондон уже не сомневается, что адскую машину, жертвой которой стал он и его товарищи, запустил Сталин и его приспешники: уничтожив большевистские кадры, они стали расправляться с другими партиями. Но Лондон тщетно задает себе вопрос — зачем? Тщетно пытается найти «цель, которая оправдывала бы такие средства». Он решительно не согласен с теми, кто, «пытаясь объяснить это явление, говорит: революцию надо принимать в целом, включая и тот несомненный факт, что она всегда пожирает своих собственных детей. Наоборот, когда террор, направленный против врагов, она обращает на своих собственных творцов, это явный признак вырождения революции».

В марте 1953 года Лондону сообщают, что на следующий же день после его показаний на суде жена подала заявление о разводе. Он охотно дает согласие, вполне понимая мотивы, толкнувшие Лиз на этот шаг, и сознавая, что для нее это единственная возможность обеспечить относительно спокойную жизнь детям и родителям. Вскоре он получает письмо от Лиз, в котором она просит его не настаивать на свиданиях с детьми (положенных ему по закону).

В апреле с помощью сочувствующего следователя Лондон все же получает свидание. Лиз приходит со всеми тремя детьми, которых как и жену, он не видел более двух лет. Дети, заранее подученные матерью, затевают шумную возню, отвлекая присутствующего на свидании следователя. Это дает возможность родителям, вопреки запрету, перейти на французский и наконец объясниться. Услышав от мужа, что он ни в чем не виновен, Лиз отбрасывает все свои сомнения. Она потрясена, счастлива, готова снова бороться за него; решает немедленно взять назад свое заявление о разводе, а затем обратиться к Широкому и Кёлеру, чтобы сообщить им правду о процессе.

Однако Лондон категорически возражает:

«Ни в коем случае не делай этого, Лиз. Если ты меня еще любишь и хочешь, чтобы я остался в живых, прошу тебя, не предпринимай ничего».

Лиз сурово смотрит на меня:

«Но, Жерар, не забывай: живы те, кто борется!»

«В данном случае это означало бы мою смерть. Поверь, пока ты ничего не можешь сделать для меня, напротив, погубишь нас обоих, если попытаешься вмешаться. Прошу тебя не только ничего не предпринимать, но уехать, вернуться во Францию вместе с родителями и детьми. Вам во что бы то ни стало надо уехать. Тогда у меня будут развязаны руки».

Обведя взглядом комнату, где проходит свидание, и, увидев на стенах портреты Сталина и Готвальда, Лиз внезапно осознает, что Лондон в своем заточении полностью отрезан от внешнего мира, и сообщает ему о смерти Сталина.

«От этой новости у меня перехватывает дыхание, и я в ошеломлении гляжу на Лиз:

«Я не знал об этом, но тем лучше!»

Теперь Лиз, в свою очередь, ошеломленно смотрит на меня, и я до сих пор не могу без смеха вспомнить тот испепеляющий взгляд, который она бросила на меня:

«Надеюсь, ты остался коммунистом?!»

«Ну, разумеется. Именно поэтому я и повторяю: тем лучше!»

Лиз продолжает:

«Готвальд тоже умер. Ты знаешь об этом?»

«Нет, но поверь, я не стану его оплакивать!»

Жена не может понять моей реакции».

На том же свидании Лиз сообщает Лондону о деле «врачей-отравителей» и их беспрецедентной реабилитации, пробудившей у нее надежду.

Далее Лондон со слов жены рассказывает о мытарствах и унижениях, которые ей пришлось претерпеть с момента его ареста: о том, как она оказалась в тягостной изоляции, покинутая почти всеми знакомыми, которые прежде искали ее общества, а теперь отшатнулись, словно от зачумленной; как ее сняли с работы в Радиокомитете, а потом уволили и с завода, где Лиз неплохо зарабатывала; как на другом заводе, куда ей пришлось поступить, ее использовали на самой тяжелой и низкооплачиваемой работе; как по указанию ЦК ее исключили из партии без всякого разбора персонального дела и даже без объяснения причин; как их четырнадцатилетней дочери, успешно окончившей восемь классов, не позволили продолжить учебу в средней школе, ибо «сначала ей надо было бы загладить свое прошлое».

Все эти санкции были обрушены на Лиз, несмотря на то, что ее поведение с точки зрения партийной этики оставалось безупречным...

Услышав по радио показания мужа на суде, Лиз сочла, что все кончено.

«Я думала: раз он признает себя виновным, значит, он виновен! Я знаю, как ты вел себя

во время войны, когда мы были оба арестованы Особой антитеррористической бригадой и нас допрашивали день и ночь... Твоим мучителям не удалось вырвать у тебя ни слова... Как могла я подумать, что человек, способный держаться в подобных условиях, признает себя виновным, если это неправда?! Как могла я вообразить, что существуют методы, позволяющие сделать виновного из невинного?! Такая мысль даже не приходила мне в голову. Ведь я должна была бы усомниться в партии! А на это я тогда была не способна».

Этим и объяснялось ее письмо к Готвальду, которым не преминула воспользоваться пресса. Лиз писала:

«Увы, после того как был зачитан обвинительный акт и заслушаны признания обвиняемых, мои надежды рухнули: мой муж был не жертвой, а предателем партии, предателем родины... Хоть я и знаю, что связи с отцом, братом, мужем, сыном отступают на задний план перед интересами партии и народа, мое горе велико, и это естественно. Но как коммунистка я должна радоваться: для блага чехословацкого народа и в интересах сохранения мира во всем мире антигосударственный заговорщический центр раскрыт, и я присоединяюсь ко всем честным людям страны, требующим справедливой кары для предателей».

Однако и тогда далеко не все принимали «признания» обвиняемых на веру. Так, Карел Бергер, бывший директор завода, где сперва работала Лиз, а ко времени процесса — простой рабочий на том же заводе, встретив ее, сказал: «Я знаю, как ты искренна, и не сомневаюсь — ты написала то, что диктовала совесть. Но тебе не следовало этого делать, потому что твой муж невиновен!» «Но ведь ты слышал по радио, как он признавал себя виновным?» — спросила изумленная Лиз. «Слышал. Но я не верю в этот процесс. И обвинительный акт, и все показания звучат фальшиво». «Но, Карел,— возразила Лиз,— ведь за этим процессом стоит партия. Надо думать, она предварительно проверила обвинения. Зачем было партии устраивать такой процесс, если все это неправда?»

«Я сам все время задаю себе этот вопрос. Но партия не всегда поступает правильно. Стоит только посмотреть на отношение к тебе и твоей семье. Разве вы его заслужили? Нет. Я считаю, партия уже не та, что прежде. Она утратила человечность. Ты не очень хорошо понимаешь чешский, иначе бы тебя не провели! Например, в обвинительном акте, да и во всем судебном разбирательстве был привкус антисемитизма, с которым я не могу смириться. И потом, как объяснить, что вчерашние герои вдруг становятся предателями, шпионами? Поскольку я этого не понимаю и с этим не согласен, я решил выйти из партии».

Так он и сделал.

Мастер цеха, в который перевели Лиз после начала процесса, тоже сказал ей:

«Все в этом процессе — вранье! Вы недостаточно хорошо знаете чешский, чтобы это понять. Запомните мои слова: наступит день, когда вы с мужем снова будете вместе. Готов заключить с вами пари на этот счет...»

Даже отец Лиз, принимавший за чистую монету миф о заговоре, был возмущен антисемитским духом процесса. «Когда ему перевели анкетные данные обвиняемых, где у одиннадцати вслед за именем стояло «по происхождению еврей», у него в первую минуту пропал голос, а потом вырвалось: «Черт побери, при чем тут это? С тех пор как я в партии, я всегда слышал, что антисемитизм — это орудие реакции для разжигания национальной розни. Зачем же примешивать сюда это? Еврей? Ну и что? Ведь о других не пишут — по происхождению протестант или католик!»

Что касается самой Лиз, она все еще не могла избавиться от пут слепой веры. «По мере того как мне переводили материалы процесса,— рассказывает она мужу,— я все сильнее сомневалась в твоей виновности, но тем больше старалась держаться линии партии. То, что я тогда испытывала, можно сравнить с душевным смятением монахини, которая боится, что ее искушает дьявол, и все усерднее молится и умерщвляет плоть. Я боялась, что любовь к тебе ослепляет меня. Мне казалось невозможным, чтобы я была права, а вся партия не права».

В июне 1953 года Лондона, так же как Гайду и Лёбла, переводят в рабочую команду, обслуживающую Рузиньскую тюрьму, и они наконец оказываются вместе среди других заключенных, преимущественно уголовников или коллаборационистов.

Более того, сам Доубек объявляет им, что получил от президента Запотоцкого указание облегчить их судьбу — отныне они будут иметь еженедельные свидания с родными в тюремном саду, получать передачи и письма, а часть конфискованного у них имущества возвратят их семьям.

Однако очень скоро их положение снова ухудшается. Обещания Доубека не выполняются, режим становится все более строгим; по отношению к Лондону, Гайду и Лёблу применяются дискриминационные меры, как к особо опасным преступникам; их окружают стукачами... Когоутек предупреждает, что если они хотят когда-нибудь выйти живыми из тюрьмы, то «должны неизменно подтверждать свои «признания» при всех обстоятельствах и перед кем угодно, будь то представители государства и партии или судьи... Перед Генеральным прокурором, и перед Секретарем ЦК партии, и даже перед Президентом Республики».

У рузиньских заправил крепнет уверенность, что в Чехословакии не произойдет радикального изменения политической ситуации, что не следует опасаться пересмотра процесса Сланского, и мало-помалу возобновляется подготовка серии дополнительных процессов, на которых в качестве обвиняемых должны фигурировать более шестидесяти человек, арестованных в связи с делом «антигосударственного заговорщического центра» и все еще находящихся в заключении. Весной 1953 года руководство принимает соответствующее решение по докладу министра госбезопасности Бацилека, представившего план ликвидации «остатков вражеских группировок»: группы экономистов во главе с Гольдманом; «троцкистской группы Влка»; группы «словацких буржуазных националистов» во главе с Гусаком; группы бывших работников органов госбезопасности во главе с Заводским; армейской группы во главе с Дргачем и, наконец, группы бывших сотрудников Министерства иностранных дел во главе с Гольдштюкером.

Процессы всех этих групп (за исключением суда над бывшими сотрудниками Министерства иностранных дел, который проходил в мае, вскоре после смерти Сталина и Готвальда) состоялись в конце 1953-го и в 1954 году, когда

в СССР Берия уже был осужден и расстрелян, а тысячи репрессированных возвращались из тюрем и лагерей.

Последним был казнен Освальд Заводский, которому было отказано в помиловании в марте 1954 года.

Лондона неотступно преследует мысль, что истина может быть окончательно погребена вместе с ним и его товарищами. Сознавая, что из разговоров с ним во время свиданий Лиз могла получить лишь самое общее представление о механизме фабрикации «признаний» и что в любом случае никто не поверит ей на слово, он решает во что бы то ни стало написать точный и по возможности полный обличительный документ.

Ему удается раздобыть бумагу, карандаш и обломок бритвенного лезвия, чтобы чинить его. Через Кевича, бывшего югославского консула в Братиславе, тоже приговоренного к пожизненному тюремному заключению, он получает специально изготовленный одним товарищем, работающим в столярной мастерской, ящичек — из тех, в каких заключенные обычно держат табак и окурки, однако с полой крышкой. Внутри этой крышки Лондон прячет исписанные с обеих сторон мельчайшим почерком четвертушки бумаги. Писать он может только урывками, в отсутствие своего сокамерника — убийцы-рецидивиста, который работает на кухне и возвращается позже, да, кроме того, дежурит по воскресеньям.

Каждый исписанный листок Лондон вкладывает в книжечку курительной бумаги, купленную в тюремном ларьке, и затем с помощью Гайду, посвященного в план, спрессовывает под каландром для отжима белья в прачечной, где они оба работают.

В письме к Лиз Лондон просит ее принести на очередное свидание книжечки курительной бумаги того же сорта, так как он «предпочитает теперь сам сворачивать сигареты». Во время свидания он неприметно обменивает свою книжечку на ту, которую жена кладет на стол. Первая часть его послания оказывается таким образом в руках Лиз. На следующем свидании, спустя три месяца, он передает вторую часть.

Все вместе после перепечатки составляет более шестидесяти машинописных страниц. По приезде во Францию Лиз должна ознакомить с этим документом Мориса Тореза. «Мы полагали,— пишет Лондон,— когда Торез будет информирован о проблемах такой важности, в особенности когда узнает, что дело касается и руководства ФКП и что целая сфера ее политической деятельности в период оккупации поставлена под сомнение, он наверняка вмешается и потребует объяснений». Кроме того, Лондон надеялся, что тюремщики не посмеют расправиться с ним, если Торез будет обо всем осведомлен.

В конце мая 1954 года Лондона вместе с Гайду и Лёблом переводят в Леопольдовский централ. Он подробно описывает ужасающие условия, в которых содержатся заключенные в этой тюрьме — крайнюю скученность, пренебрежение самыми элементарными требованиями санитарии, голодный рацион, каторжную работу и так далее. Несмотря на болезнь легких, Лондона направляют в мастерскую по обработке пуха и пера. Он не получает никаких лекарств и не может добиться приема у врача. Состояние его здоровья резко ухудшается.

Вдобавок ко всему «старожилы» встречают вновь прибывших в штыки, преследуют их, избивают и подвергают всякого рода издевательствам. Сторонники Бенеша, социал-демократы, католики и другие политзаключенные, часть которых действительно представляла оппозицию, а часть попала сюда в результате наветов, видят в Лондоне и его товарищах создателей режима, жертвами которого они являются. Бывшие добровольцы фашистской гвардии Глинки, коллаборационисты, немецкие военные преступники не упускают случая поглумиться над евреями и коммунистами...

В октябре 1954 года Лондона привозят в Прагу на последнее свидание с семьей, которая уезжает во Францию. Прощаясь с женой, он говорит ей: «Условия жизни в Леопольдове для меня смертельны. Меня не лечат, я чувствую себя день ото дня все хуже. При таком режиме я долго не протяну. Постарайся действовать как можно быстрее».

Из этой поездки Лондон возвращается в таком состоянии, что на следующий день его с температурой 41° на носилках доставляют в тюремный госпиталь, где врач констатирует бронхопневмонию с обострением туберкулезного процесса. По ночам, за отсутствием круглосуточных дежурств медицинского персонала, уколы ему делает один из заключенных, бывший нацист, воевавший в эсэсовской дивизии «Рейх». Он рассказывает Лондону историю своей жизни и заканчивает словами:

«Видишь, к чему мы оба пришли?! Каждый из нас расплачивается за свою веру: я — в Гитлера, а ты — в Сталина!»

В конце октября 1954 года Лондона вызывают к прибывшему в Леопольдов военному прокурору, который допрашивает его о Павеле, хотя тот уже осужден и находится в этой же тюрьме.

Собравшись с силами, Лондон заявляет: «Все обвинения против Павела ложны. Он ни в чем не повинен!» И тут же добавляет, что это полностью относится и к нему самому, и к другим, осужденным по тому же делу; что все показания, легшие в основу материалов суда, получены путем физического и психологического нажима, шантажа, угроз, словом — весь процесс Сланского сфабрикован.

«Поскольку моя семья находится уже за пределами страны и ей более не угрожают репрессии, поскольку я в первый раз нахожусь перед должностным лицом, которое не является сотрудником органов госбезопасности, я наконец имею возможность сделать это заявление. В то же время я прошу принять меры, обеспечивающие мою безопасность, так как, повторяю, мне угрожали, что раздавят меня, как крысу, если я откажусь от своих «признаний»...

Заявление Лондона производит на прокурора впечатление разорвавшейся бомбы.

«Господин Лондон,— говорит он,— сделанные вами разоблачения имеют огромное значение, и потому я считаю своим долгом сообщить о них вышестоящим инстанциям...»

На следующий день Лондон, испросив специальное разрешение тюремной администрации, пишет краткое заявление того же содержания на имя Генерального прокурора Республики.

Вскоре после этого его неожиданно увозят в Прагу, в Панкрац, где помещают в одиночную камеру.

По многим признакам (свет не выключается на ночь, глазок постоянно остается открытым, у двери безотлучно дежурит надзиратель) он догадывается, что это камера смертника. По-видимому, угрозу Когоутека решено привести в исполнение. Мучительное ожидание расправы длится почти полтора месяца. Только 24 декабря 1954 года его столь же неожиданно переводят в тюремный лазарет.

Самый критический этап остается позади,— как Лондон узнает впоследствии,— благодаря энергичным шагам, предпринятым Лиз в Париже.

К тому времени Ноэл Филд и его брат Герман были полностью реабилитированы — первый в Венгрии, второй в Польше. Узнав об этом из газет, Лиз через посла Чехословакии во Франции обращается к Президенту Республики Антонину Запотоцкому с официальным ходатайством о пересмотре дела Лондона, поскольку новый юридический факт — реабилитация Ноэла Филда — аннулирует главное из предъявленных ее мужу обвинений и вместе с тем с очевидностью показывает противозаконность использованных во время следствия полицейских методов, заставивших Лондона признать себя виновным в преступлениях, которых он не совершал.

Уже в этом письме Лиз дает понять, что «располагает документами и сведениями, которые могут быть весьма полезны при проведении нового дознания». Обстоятельные письма аналогичного содержания она направляет Первому секретарю ЦК КПЧ Антонину Новотному и Председателю Совета Министров Вильяму Широкому.

Если в первые недели своего пребывания в Париже Лиз принимала все меры предосторожности для того, чтобы своими хлопотами не дать пищи для выпадов буржуазной прессы, то позднее, не получая никакого ответа на свои письма, она, уже не опасаясь огласки, прибегает к помощи широкого круга товарищей Лондона по партии, по Сопротивлению, по Маутхаузену...

Со своей стороны Лондон, все еще находящийся в лазарете Панкраца, ибо здоровье его, несмотря на принятые медицинские меры, продолжает ухудшаться, многократно, но по-прежнему безуспешно обращается к руководству партии с просьбой дать ему возможность сообщить о преступных методах, применяемых органами госбезопасности для вымогательства ложных показаний.

«Я узнаю,— пишет Лондон,— новые подробности о деле Берии, повлекшем за собой процесс над Абакумовым и Рюминым, об изменениях, произошедших в СССР после смерти Сталина; о смещении Маленкова и замене его Хрущевым; об установлении коллективного руководства; о сближении с Югославией... Эта политическая эволюция представляется весьма ободряющей. Наши газеты полны статей о социалистической законности, клеймят ее нарушения... Но на свои письма я так и не получаю ответа.»

Лишь в конце мая 1955 года Лондона вызывают прибывшие в тюрьму три члена созданной при Центральном Комитете специальной комиссии по выявлению нарушений социалистической законности. Они задают ему вопросы о Павеле и Валеше. Лондон дает наилучший отзыв о них обоих и объясняет, какими противозаконными методами в Рузине и Колодее заключенных заставляли давать ложные показания друг против друга. Но когда он пытается рассказать правду и об остальных невинно осужденных интербригадовцах, его останавливают:

«Пока мы изучаем только дела Павела и Валеша. И ты не должен выходить за их рамки»

Они уже собираются уходить, когда Лондон спрашивает:

«А что будет со мной? Я уже несколько раз писал руководству партии, прося рассмотреть мое дело. Когда же вы займетесь мною?»

Один из членов комиссии, старый партийный работник Инеман, бывший узник Бухенвальда, отвечает ему без обиняков:

«Что касается «Большого процесса», то пока ничего невозможно изменить. Я не хочу, чтобы ты строил иллюзии, это может продлиться еще долго! Ты один из четырнадцати руководителей заговорщического центра, осужденных на открытом процессе, о котором много говорилось в прессе, и не только у нас, но и во всем мире. О нем были даже написаны книги! Политбюро решило не возвращаться к этому процессу...»

Поймав тоскливый взгляд Лондона, он добавляет, однако, несколько ободряющих слов:

«Тем не менее ты не должен отчаиваться. Надо набраться терпения. Все зависит от развития внутренней и международной ситуации. Рано или поздно придется вернуться и к этому процессу, но когда, как и в какой форме — я не знаю...»

2 июня 1955 года Лиз наконец получает визу, которой долго добивалась в чехословацком посольстве, и на следующий день летит в Прагу. В тот же вечер ей сообщают, что завтра ее примет министр внутренних дел Барак, изъявивший желание побеседовать с ней.

В беседе с Бараком, который касается проблем, связанных с нарушениями законности, Лиз со знанием дела говорит о том, какие методы применяла госбезопасность в ходе следствия, как именно вымогались «признания» и «показания», как фабриковались обвинения, как «обрабатывались» протоколы, как разучивали свой урок обвиняемые, председатель суда, прокурор, адвокаты и как они повторяли его на процессе...

Пораженный министр некоторое время, не прерывая, слушает ее, потом говорит:

«Но, товарищ, ты знаешь об этом больше, чем я! Откуда у тебя эти сведения?».

Лиз рассказывает ему, как Лондон информировал ее — сначала устно, а потом и письменно, использовав опыт подпольной работы и тюремного заключения во время войны. А на вопрос министра, где находится в настоящее время послание Лондона, она отвечает, что оставила его в Париже, предварительно, по просьбе мужа ознакомив с ним Мориса Тореза.

В конце беседы Барак объявляет Лиз, что уже на следующий день ее выслушает специальная комиссия при ЦК. И ее действительно несколько раз вызывают. Лиз еще подробнее излагает содержание тайного послания Лондона, но наотрез отказывается расстаться с этим документом, рассматривая его как средство давления, необходимое, чтобы добиться пересмотра дела.

Инеман напрямик говорит Лиз, что в органах госбезопасности все еще хозяйничают

люди, замешанные в подготовке процессов и они всячески затрудняют комиссии доступ к архивам, делают все возможное, дабы спрятать концы в воду. Более того, он советует Лиз быть осторожной в разговорах по телефону и вообще в беседах с посторонними...

Итак, все обвинения против Лондона падают одно за другим: Ноэл Филд реабилитирован, следовательно, утверждение, будто Лондон был его платным агентом, оказывается несостоятельным. С Югославией восстановлены дружественные отношения, признано, что она была и остается социалистической страной, следовательно, «титоизм» Лондона во всяком случае не составляет преступления Зиллиакус реабилитирован — следовательно, рушится и второе обвинение в шпионаже. Процесс Райка пересмотрен — следовательно, отпадает большая часть остальных «преступлений», инкриминируемых Лондону и другим интербригадовцам... Остается, однако, решение высшего партийного руководства — ни в коем случае не ставить под сомнение «Большой процесс».

И все же наступает день, когда Инеман и его два товарища объявляют Лондону: «Теперь наконец нам поручено заняться твоим делом!»

«Чем это объясняется? Я думаю,— пишет Лондон,— наряду с крахом основных обвинений решающее значение, несомненно, имело вмешательство Мориса Тореза. Не знаю, что именно он предпринял, но его доброе отношение к Лиз и ко всей моей семье ясно свидетельствует о занятой им позиции. Сыграли свою роль и выступления моих товарищей по концлагерю, многочисленных друзей, с которыми жена возобновила отношения, вернувшись в Париж. И еще существовала моя рукопись... находившаяся в надежном месте в Париже!»

Видя, что пересмотр дела мужа затягивается, Лиз ходатайствует об его условном освобождении для лечения в санатории. Ее просьбу удовлетворяют и 20 июля 1955 года Лондона освобождают из-под стражи. С этого дня он находится как бы под негласным надзором полиции в санатории Плеш, где по предложению специальной комиссии при ЦК КПЧ пишет докладную записку о своей партийной деятельности и обо всем, что касается его ареста, предварительного заключения и осуждения.

Копия этой докладной записки объемом более чем в триста страниц наряду с тайным посланием из Рузине и легла в основу настоящей книги.

Окончательно Лондона освобождают и реабилитируют лишь 2 февраля 1956 года.

Артур Лондон со своей женой Лиз после освобождения

Палачи и жертвы

Впечатляющие и все же беллетристические фантазии Кафки, Камю, Набокова о состоянии приговоренных к смерти наша небывалая гласность оттесняет сегодня произведениями менее профессиональными, но более достоверными и жуткими — личными свидетельствами приговоренных. Одно из таких свидетельств сейчас перед вами — его автор, чехословацкий коммунист Артур Лондон, прошел те же круги ада, что и наши лагерники 1937 года. Комсомолец-подпольщик в предвоенной, так называемой Первой республике, новобранец Коминтерна, интербригадовец в Испании, во время войны — активный участник патриотического Сопротивления во Франции, попав под чужим именем в лапы гитлеровцев, он стал в Маутхаузенском концлагере одним из организаторов антифашистского подполья, после Освобождения был награжден орденом Почетного легиона, некоторое время жил во Франции и лечился от туберкулеза в Швейцарии, затем был назначен заместителем министра иностранных дел Чехословакии.

Всего этого хватило с лихвой, чтобы привести его на скамью подсудимых по печально известному процессу Сланского в конце 1952 года. Одиннадцать его содельцев были повешены, Лондон же оказался — как он сам считал, благодаря родственным связям с одним из тогдашних руководителей Французской компартии — в числе трех приговоренных к пожизненному заключению. Освобожден и реабилитирован в 1956-м, умер во Франции в ноябре 1986 года.

Даже в ныне обширной тюремно-лагерной литературе «Признание» Лондона выделяется. Ведь это, похоже, первая подобная книга на материале истории братских стран, переведенная у нас. Советскому читателю, конечно же, бросится в глаза прежде всего общность их и наших судеб. И общность человекоубийственного механизма, запущенного Сталиным и сталинистами, вслед за СССР, во всех, как они тогда именовались, государствах народной демократии.

Где истоки мощной волны репрессий, прокатившейся по этим странам в конце 40-х — начале 50-х годов? Прежде всего — в «холодной войне», но не только в ней. А. А. Жданов, возглавивший делегацию ВКП(б) на учредительном совещании Коминформа в сентябре 1947 года, в установочном докладе, открывшем эту встречу, сформулировал следующую позицию: международное коммунистическое движение, и прежде всего страны народной демократии, где компартии уже пришли к власти, призваны бескомпромиссно бороться со всеми и всяческими влияниями Запада, с любыми колебаниями и отклонениями от столбового советского пути.

Вот это навязывание советской модели и оказалось другой причиной разгула сталинщины в братских странах. Хотя одно время сам Сталин не исключал для них иного пути к социализму — без Советов и диктатуры пролетариата. И прямо сказал об этом, например, Готвальду, лидеру Компартии Чехословакии, который в свое время предполагал обратиться к буржуазно-демократическим традициям своей страны. Но очень скоро Сталин начал относиться к подобным идеям как к страшнейшей ереси, особенно после конфликта с Югославией в 1948 году.

Тогда и развернулась «охота на ведьм» в маштабах всего социалистического лагеря (этот военно-осадный термин оказался стержнем сталинско-ждановской внешнеполитической концепции). И как у нас в 30-е годы троцкизм, смертным грехом были объявлены «титоизм», «национализм» (то есть именно поиск самостоятельных путей развития), «социал-демократизм», «космополитизм». Это обвинение имело не только специфически-националистическую окраску, но направлено было вообще против любой ориентации на общецивилизационные культурные и этнические ценности.

Из таких установок естественно — для сталинистской логики — вытекала и необходимость обнаружить внутреннего врага, учинить судилище над ним. Враг был нужен прежде всего как козел отпущения за падение жизненного уровня при казарменном управлении, а с далеким прицелом — для приведения общества в состояние всеобщей подозрительности и инквизиционного сыска, автоматически освящающих любое, самое чудовищное деяние власти. И, как в средние века, удобнее всего было искать врага среди евреев — элемента «национально чужеродного», с разветвленными зарубежными — родственными и иными — связями; на евреев было решено возложить ответственность за издержки первых революционных перемен, в которых они принимали активнейшее — непропорционально численности — участие. И вот целая волна процессов по обвинению в национализме, «титоизме», сионизме и, конечно же, в шпионаже прокатилась по странам народной демократии (процессы Райка в Венгрии, Костова в Болгарии, Дзодзе в Албании, Сланского в Чехословакии).

Но активные коммунисты еврейского происхождения были не единственной и уж отнюдь не первой жертвой сталинистской «охоты на ведьм». Сланский как Генеральный секретарь КПЧ нес — хотя и не он один — политическую ответственность за начавшиеся в Чехословакии после февраля 1948 года репрессии против крестьян-единоличников и других мелких собственников («раскулачивание», как видно, не осталось нашей монополией), против католических священников и активистов церковных организаций, против «буржуазной» интеллигенции, наконец, за организацию процессов над деятелями некоммунистических партий, на которых было вынесено 10 смертных приговоров (в том числе Миладе Гораковой, члену парламента от партии бывшего президента Бенеша), 48 приговоров к пожизненному заключению и

581 — к тюремному заключению общим сроком на 7850 лет. Подобная судебная жестокость, да еще при явной бездоказательности обвинений, была немыслима в Первой республике.

Именно Сланский на совещании Коминформа в ноябре 1949 года обнаружил «„слабость" своей партии в том, что широкие массы ее членов недооценивают сопротивление классового врага, его неустанное стремление насаждать внутри партии свою агентуру»... Думал ли, что готовит самому себе — всего через три года — смертный приговор? Наконец, той же осенью 1949 года Сланский вместе с Готвальдом обратился к руководству ВКП(б) с просьбой о присылке в Чехословакию советских экспертов по вопросам государственной безопасности.

Другой обвиняемый по тому же процессу, Рейцин, будучи начальником военной контрразведки, обрек на казни и тюрьмы, лагеря и пытки большую группу офицеров и генералов Первой республики, участвовавших в антинацистском Сопротивлении. А Лондон рассказывает, как курировавший поначалу его дело заместитель министра госбезопасности Шваб в конце концов сам оказался его содельцем. И сознался во всех преступлениях, в которых заставлял сознаваться других. Но Лондон не держит на него, казненного, зла, поскольку адская машина, в чреве которой все они оказались, заставляла их играть попеременно роли палачей, жертв и лжесвидетелей.

Был у этого взаимооговора еще один глубоко аморальный мотив — ссылка на «интересы партии». К ним апеллируют и следователи, и судьи, и сами обвиняемые, совершая чудовищное надругательство над человеческим достоинством, над собственными близкими — только чтобы оправдать «обожествленную», по слову автора, партию, отношение к которой приняло «характер неосознанной религиозности». И неудивительна поэтому реакция жены Лондона Лиз на его арест, сегодня звучащая дурным анекдотом: «Я люблю тебя, Жерар, но ты знаешь, что прежде всего я коммунистка». Вот она, убийственная и самоубийственная мораль твердокаменных революционеров!

Ведь заголовок книги не случаен. Автор честно и безжалостно к самому себе вспоминает, как оговорил на очной ставке Сланского, хотя тот, возможно, хотел его выгородить. Но кто рискнет бросить в автора камень? Представим-ка себя на его месте: сможем ли с уверенностью сказать, что выстояли бы, выдержали бы любую пытку, любую угрозу палачей, не останавливавшихся ни перед чем?

Я встречался с Лондоном и Лиз в Праге в начале 60-х, несколько вечеров подряд слушал его леденящее кровь повествование. И когда он рассказал, как жена после приговора публично заклеймила его, порвала с ним и запретила ему свидания с детьми, у меня вырвалось: «А где сейчас эта стерва?» — я был в полной уверенности, что речь идет о какой-то прежней жене. Лондон, улыбаясь, указал на Лиз: «Да вот она». Увидев мое смущение, та мягко заметила: «Ты совершенно прав, но понимаешь, Жерар никогда в жизни не лгал. И когда я услышала по радио его признания в шпионаже, я не могла не поверить им». Голова у меня, молодого тогда члена партии, пошла кругом.

М. П. Якубович, проходивший по одному из первых фальсифицированных сталинских процессов «союзного бюро меньшевиков», вспоминал о своем разговоре с тогдашним прокурором РСФСР Крыленко:

«Предложив мне сесть, Крыленко сказал: «Я не сомневаюсь в том, что вы лично ни в чем не виновны. Мы оба выполняем наш долг перед партией — я вас считал и считаю коммунистом. Я буду обвинителем на процессе, вы будете подтверждать данные на следствии показания. Это наш с вами партийный долг...»

Я молчал.

«Договорились?» — спросил Крыленко.

Я что-то невнятно пробормотал, но в том смысле, что обещаю выполнить свой долг. Кажется, на глазах у меня были слезы».

Процессы 30-х годов с прокурором Вышинским, сменившим расстрелянного Крыленко, повторяли в сущности ту же схему, правда, с прибавлением жесточайших пыток — чтобы физически, не только духовно, сломить обвиняемых,— а суды в братских странах проводились по отработанному сценарию Ягоды — Ежова — Вышинского. Разница была в словах и действующих лицах, но не в сути. А суть в том, что наше тогдашнее — сталинское — партийно-государственное руководство навязало братским странам не только тоталитарную модель государства вообще, но и, конкретно говоря, систему массовых репрессий и попрания законности.

Вот почему публикация у нас книги Лондона, где говорится и о советниках из СССР, задававших тон в чехословацких органах госбезопасности, представляется актом символическим и логичным для нашей перестройки и гласности. Уж коли настало время для покаяния и очищения, надо признать и немалую нашу ответственность за былые беды братских стран. Что отнюдь не перечеркивает нашей им помощи, жертв, принесенных нашим народом в борьбе за их освобождение от гитлеризма. Ответственность, впрочем, не всегда прямую — потому что, скажем, Мао Цзэдун в Китае, Энвер Ходжа в Албании, Пол Пот в Кампучии использовали сталинскую методику, обходясь без советников. Но в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии, а возможно, и в некоторых других странах эта ответственность была самой непосредственной. Подлинный, искренний интернационализм коммунистов-революционеров подменялся «интернационализмом» пыточных дел мастеров.

Приведу некоторые факты. В ходе подготовки процесса Райка, в сентябре 1949 года, тогдашний руководитель венгерских коммунистов, ярый сталинист-догматик Ракоши (впоследствии исключенный из партии и умерший в вынужденной эмиграции в Краснодаре) вместе с нашим генералом госбезопасности Белкиным потребовал от командированного в Будапешт Шваба немедленно приступить к арестам «подозрительных» в Чехословакии и пригласить для помощи советников из СССР. Чей опыт был использован в Будапеште. Подкрепляя этот совет, генерал Белкин говорил: «У чехословацких сотрудников органов госбезопасности всего лишь четырехлетний опыт. У советских же работников опыт в тридцать лет, и подобные проблемы мы решаем совершенно иначе».

С аналогичной рекомендацией обратились к Готвальду и Сланскому тогдашние руководители Польши Берут, Замбровский и Берман. После этого Готвальд со Сланским и попросили Москву прислать советников, попросили скрепя сердце, поскольку Шваб информировал их о жестоких методах следствия, применявшихся в Венгрии и Польше — не только в отношении собственных, но и чехословацких граждан, привлеченных по «делу Райка». В октябре в Прагу прибыли генералы госбезопасности Макаров и Лихачев. И сразу же обрушились на сотрудников чехословацких органов, заявляя, что те «не умеют добиваться выполнения своих требований, а по отношению к классовым врагам действуют в шелковых перчатках». Как свидетельствовал Теодор Балаж, тогдашний начальник словацкого отдела по выявлению врагов в партии (было и такое подразделение!), Лихачев возмущался его нежеланием поставлять неподтвержденный «компромат» на руководящих партийных работников. Советский генерал заявлял: «Сталин послал меня организовать процессы, я не могу терять времени. Я приехал в Чехословакию не дискутировать, а снимать головы. Я сверну сотни шей, иначе мне самому снимут голову».

В 1950 году Лихачева на посту старшего советника сменил Боярский. Тогдашний чехословацкий министр госбезопасности Копржива рассказывал впоследствии об указании Готвальда опираться на советских советников и руководствоваться их точкой зрения. «Самые важные решения принимались по инициативе советских советников»,— вспоминал он. Комендант Рузине Доубек, о котором с ужасом вспоминает Лондон, впоследствии признавал: «Рекомендации советских советников я выполнял немедленно... Они были связаны с самыми высокими нашими руководителями и с товарищем Готвальдом, а он, как я знал, всегда без каких-либо возражений соглашался с мерами, которые предлагали советники. Иногда я сомневался, что подследственный виновен в том, в чем его обвиняют, или даже был убежден в его невиновности, но я считал, что в этих делах есть высшая цель, и повторял себе слова Владимира (Боярского): «Лес рубят — щепки летят».

Почему же Готвальд столь покорно предавал палачам ближайших своих соратников? Причины, мне кажется, в следующем. КПЧ единственная среди восточноевропейских компартий получила на первых же послевоенных выборах едва ли не абсолютное большинство (более 40%) голосов. Именно правительство Готвальда оказалось единственным в Восточной Европе, решившим принять американскую помощь по «плану Маршалла»,— правда, по требованию Сталина это решение было немедленно пересмотрено Руководство КПЧ позже других включилось в «охоту на ведьм» в собственных рядах. Но все то, что в нормальной обстановке должно было бы придать политическому лидеру уверенность в себе, в Готвальде породило неуверенность и страх — или, если сказать словами Лондона, «чувство вины». Оно явно обострилось у Готвальда после «отлучения» Югославии. Не случайно он, будто прогоняя призрак былой легитимации и права родины на самобытный путь, заверял Сталина, что «Чехословакия никогда не будет второй Югославией». Думаю, и пил Готвальд — как стало потом известно,— и вообще «терял лицо» по тем же причинам.

Впрочем, поначалу реакция Сталина на «дело Сланского» оказалась неожиданной. Получив от чехословацкого МГБ и советских советников «компромат» на Сланского, Сталин счел его неубедительным и посоветовал Готвальду с большей осторожностью подходить к показаниям «свидетелей-преступников», так как они могут оказаться «вражеской провокацией». И добавил: «Если мы не хотим, чтобы действия следственных органов играли на руку врагам, то деятельность этих органов необходимо постоянно контролировать, чтобы не развилось недоверие общества к высшим органам власти».

Чем объяснить финт Сталина? Излюбленным стремлением этого, по слову Бухарина, «гения дозировки» выглядеть «гуманнее» своих подручных? Политическими соображениями, нежеланием скомпрометировать антисемитизмом себя лично? Или же присущим ему коварством, стремлением проверить надежность подручных? Так или иначе, Боярский был отозван из Праги (правда, он оказался еще и нечист на руку) и заменен Бесчасновым, который, однако, и не подумал прекратить «дело Сланского», а, напротив, продолжал его раскручивать. А сам Сталин уже в ноябре в личном послании Готвальду потребовал немедленно арестовать Сланского, ссылаясь на возможность его бегства на Запад.

Не зря на обложке первого — французского — издания книги Лондона — фото гигантского памятника Сталину на фоне старой Праги. Я жил там в начале 60-х, когда взрывали памятник, взрывали долго, около месяца — каменная громада не поддавалась. Радовались и острили чехи, непочтительно окрестившие памятник «очередью за мясом» — ведь вслед за вождем на постаменте выстроились в два ряда восемь фигур, символизировавших чехословацкий и советский народы. А мне было

жаль это мрачное, но исторически точное сооружение. Автор-архитектор, видимо считавший памятник главной своей работой, покончил с собой, а какой-то заезжий бизнесмен просил продать ему гранитный лом на сувениры, в чем ему было отказано. Трагедия и здесь обернулась фарсом.

С началом десталинизации Хрущев резко осудил противозаконные методы советских органов госбезопасности, применявшиеся не только у нас, но и в братских странах. Лихачев был расстрелян в декабре 1954 года вместе со сталинским министром госбезопасности Абакумовым. Впрочем, если верить сообщениям западной печати, Боярский и Бесчаснов посещали в 70-е годы Прагу в рамках брежневской «нормализации». Первый был одним из руководителей КГБ в солнечном Узбекистане, а второй, судя по статьям Евг. Альбац в «Московских новостях», благоденствует и поныне. Несмотря на сомнительный диплом о высшем образовании, стал доктором наук, профессором Московского горного института (кто ему писал диссертации в бытность его в органах?). Сейчас он — на заслуженном отдыхе.

Так или иначе, жена Лондона правильно поняла значение освобождения врачей в Москве после смерти Сталина. Наша десталинизация действительно оздоровляюще повлияла и на братские страны. Правда, в Чехословакии—и это в стране с развитыми демократическими традициями! — дольше всего тянули с отменой дутых приговоров. Причина, думается, в том, что в руководстве 50—60-х годов там не нашлось ни одного с хрущевской политической смелостью.

Только в 1968 году, после снятия Новотного, были полностью реабилитированы среди прочих все осужденные по процессу Сланского. Лондон был тогда награжден высоким орденом ЧССР, а в 1969 году, видимо по инерции, там было выпущено чешское издание его книги, которое ныне вряд ли найдешь в тамошних магазинах или библиотеках. Однако в других странах она была издана еще на 17 языках. Высочайшую оценку она получила и в коммунистической и в либеральной печати Запада. Огромную восторженную статью посвятил ей Луи Арагон. Во Франции тогда же сняли по мотивам «Признания» впечатляющий, нашумевший фильм с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре в главных ролях. У нас этот фильм, понятное дело, крыла тогдашняя «Литературка», но вот как определяла его наиболее авторитетная французская газета «Монд»: «Одно из редких произведений, реалистических и социалистических одновременно, даже если защитники соцреализма считают его скандальным. Он действительно «скандален», ибо рассказывает все, как было».

После Праги я встречал Лондона в Париже. Он остался верен юношеским идеалам. Не озлобился, а сохранял грустное спокойствие, даже удивление — как все это могло произойти? И я будто слышу его, когда читаю в книге его слова: «Нет, я горжусь своим прошлым».

А когда он скончался, Жорж Марше, Генеральный секретарь ФКП, телеграфировал вдове: «Смерть Артура Лондона глубоко удручает меня, поскольку это потеря для всех французских коммунистов... Его книга «Признание» помогла лучше понять правду о том, что представляет собой сталинизм, это извращение социализма. По-своему, самым драматическим образом, эта книга объясняет обязательную и неразрывную связь между социализмом и свободой, показывает, что социализм может развиваться только вместе с демократией».

Вспоминаю о хождении по сталинским мукам ставшего мне близким чехословацкого народа, об, увы, слишком короткой пражской весне 1968 года. Процитирую слова из интервью газете «Юманите» Генерального секретаря КПЧ Милоша Якеша: «В апрельской (1968 г.) программе было много хорошего, но события пошли в другом направлении. Ныне же вопросы стоят на другом уровне и под другим углом по сравнению с 1968 годом. Но сходство существует: стремление разрешить накопившиеся проблемы, направленность реформ, демократизация общества и партийной жизни, тайное голосование, экономическая самостоятельность. Цели, которые мы ставили перед собой в январе 1968 года и которые мы ставим теперь, идентичны».

Послесловие к книге, дописанное в сентябре 1968 года, Лондон завершил словами Яна Гуса: «Правда победит». Уверен, что так оно и будет, ибо не может быть иначе.

Е. АМБАРЦУМОВ

◆

Резонанс

Из зарубежной печати

Мы представляем читателю две статьи, написанные в разное время (дистанция между ними — почти 50 лет) и в разных странах: в Болгарии наших дней и в довоенной хортистской Венгрии. Авторы их — люди разной судьбы и разного жизненного опыта. Стефан Продев (р. 1927 г.) — современный болгарский публицист и прозаик, много занимавшийся историей марксизма, революционного движения; его книга о молодом Энгельсе, «Весна гения», широко известна и у нас в стране. Ласло Немет (1901—1975) — один из крупнейших представителей венгерской литературы XX века, прозаик, драматург, эссеист; советский читатель знаком с его романами, шедеврами психологической прозы: «Траур», «Вина», «Эстер Эгете», «Милосердие». Немет прошел сложный путь духовной эволюции. В свое время его немало критиковали за приверженность концепции «третьего пути», то есть такого пути, который не был бы капиталистическим, но и не вел бы к пролетарской диктатуре (в скобках заметим, что, обращаясь взглядом к истории строительства социализма, иной раз очень даже начинаешь понимать, почему сторонники «третьего пути» подчас так упорствовали в своих «иллюзиях»; публикуемая здесь статья Немета проливает свет и на эту проблему; при этом, конечно, нельзя забывать и о националистических крайностях, в которые выливалась идеология «третьего пути» у отдельных ее сторонников).

Оба эти автора, болгарин и венгр, анализируют явление, над которым теперь размышляют очень и очень многие. Причем, если рассуждения Продева вполне соответствуют нынешней духовной атмосфере, то статья Немета поражает своей провидческой зоркостью. Не обладая и долей тех знаний, которыми обладаем сейчас мы, он тем не менее очень точно поставил диагноз, определив взгляды Сталина как такую догматизацию ленинизма, которая обращает это выдающееся духовное явление в свою противоположность. Конечно, недостаток информации сказался на его выводах: он все-таки считал Сталина не более чем «слишком» верным последователем Ленина, не допуская мысли о злой воле, авантюризме, патологической жестокости и т. п. Видимо, сведения о массовых, охвативших миллионы людей репрессиях в те годы или не вышли за пределы СССР, или воспринимались там как преувеличенные, раздутые слухи, измышления недоброжелателей. Немет старался быть объективным, и в этом ему, несомненно, помогает не только его аналитический ум, но и то обстоятельство, что Венгрия, как и Россия, была в основном крестьянской страной, и потому применение положений марксизма и тут и там требовало особой осмотрительности, творческого отношения, в особо высокой степени не терпело догматизма. Именно это прекрасно понимал Ленин — чем он и вызывает глубокую симпатию Немета,— и именно это не желал иметь в виду Сталин.

Ю. ГУСЕВ

ЛАСЛО НЕМЕТ

Сталин: «Вопросы ленинизма»

«Уй тюкёр» (Венгрия)

Россия интересует меня, а книги о России — не очень. Я не люблю московских путешественников и не знаю, что делать с критическими статьями, основанными на личных наблюдениях. Я узнаю, что привез домой ученый путешественник, но не знаю, что он вынес из своей поездки. Где начинается опыт и где кончается предубеждение? Тем, кто на самом деле хочет узнать что-то о России, надо читать не критиков, а самих русских. Критики, даже если и хотят рассказать правдиво, могут исказить правду; сами русские, даже если хотят скрыть правду, вольно или невольно говорят ее. Русских часто обвиняют в том, что они показывают иностранцам «потемкинские деревни». Пусть так, но они не могут писать для себя «потемкинские книги». «Потемкинских книг» не бывает. Можно фальшиво расположить факты — дух выдает себя. И для того, кто считается с духом, а не со статистикой, самооправданием является самая яркая самокритика. Ведь приводимые доводы не только ведут войну с чем-то, но и, против своего желания, исповедуют то, против чего борются. Если я хочу узнать что-то о каком-нибудь поэте, я читаю не суждения его критика, а произведения самого поэта. В них он чувствует себя прекрасным и неуязвимым, ибо писал их для «самопропаганды». Например, «новые материалы» о России Ильи Эренбурга, вышедшие в «Нувель ревю франсез»,— это «потемкинское собрание». Сверх намерений, оно тоже показывает достоинства и недостатки новой России. Еще в большей степени это делают «Вопросы ленинизма» Сталина. Сочинения русского папы, одушевленное самооправдание русской политики — насколько это более убедительная защитительная речь, чем полагал сам автор, и насколько более выразительная обвинительная речь, чем все возражения и домыслы критиков.

В революциях меня больше всего волнует соотношение между катехизисами и действительностью: что говорила теория и чего хотела жизнь; на чем зиждется их союз и где они обманывают друг друга. Революция — естественное явление. Самое запланированное подстрекательство не может поднять людей на борьбу, если этого не сделала природа и свобода не замаячила перед судьбами людей. Но это природное явление питается словами. Оно хочет ясно видеть свои неясные мотивы так же, как внезапный порыв страсти иногда ищет хитросплетенные доводы для самооправдания. Заика-природа не может обойтись без формул из катехизисов, и теория, как наездник, лишенный коня, подчас оказывается на спине мчащегося чудовища. Настоящий революционер — тот, кто будет одновременно наездником и конем, природой и сочинением, порывом и доводом. Тот, для кого катехизис — конечная цель, шумит

вместе с революцией, но не может ее понять. Он — «интеллектуал» революции, даже если антиинтеллектуален в принципе. Тот, кто, напротив, презирает катехизис и не чувствует необходимости умственного обоснования для хрипящей от жажды природы, не может быть не чем иным, как монстром. Истинный революционер — прирожденный политик. Он знает действительность и знает теорию; он инстинктивно несет в себе правила их взаимодействия.

Я считаю, что Ленин был великим политиком. Его называют вторым, наряду с Марксом, великим учителем социализма, который развил марксизм в эпоху империализма и революций. Я вижу его скорее политиком, чем учителем, который потому мог привести к победе русскую революцию, что используемая теория и революционная действительность России в нем слились воедино. Он принял марксизм как подходящее средство, но в его мозгу сидела и ворочалась русская действительность. Так что в его теориях, тезисах всегда проглядывает до конца прочувствованная ситуация; теория, стоящая против действительности, не враждебна той действительности, о которой он говорит. Ленин был русским. Он хотел свергнуть царизм, смести царских прислужников, обеспечить человеческую жизнь миллионам русских. Это был подспудный порыв всего русского народа, и Ленин как революционер апеллировал к этому порыву. Марксизм стал лишь формой выражения этого порыва. Этим Ленин отличался от международных революционеров типа Троцкого, которые знали Маркса, но никогда не смогли бы говорить на языке России. Ленин осознал, что марксизм — самое действенное средство для уничтожения царизма и пригодная доктрина для единства масс. Но марксизм был для него не философией, а политикой. Одной-двух гениальных поправок было для Ленина достаточно, чтобы поставить это международное учение на службу русской революции и той бурлящей действительности, которой он сам был воплощением, с которой был тесно связан. Марксизм готовил к мировой революции; эту революцию промышленно развитые страны должны были распространить на остальные. Изучая империализм, Ленин вывел тот тезис, что революция произойдет не одновременно во всем мире и не в наиболее промышленно развитых странах, а там, где самая слабая буржуазия. Революция не распространится немедленно во всем мире, и первым социалистическим государствам придется строиться в окружении буржуазных государств. Они могут построить социализм и без поддержки мировой революции. Социализм в одной стране, социализм в России не абсурд, а «теоретически обоснованная» возможность. Вторая важная поправка — истолкование понятия диктатуры пролетариата. Россия — крестьянская страна; русская диктатура пролетариата — диктатура без пролетариата. Нет русской революции без крестьянства; русской революции нужно включить и крестьян в новый порядок. Таким образом, русская диктатура пролетариата — это демократия русских трудящихся классов (крестьян, ремесленников, интеллигенции, промышленных рабочих) в пользу трудящихся, под руководством пролетариата. Для международного революционера крестьяне — «реакционный класс», революцию нужно делать без них и против них. Ленин, который знал, что русская революционная действительность — это русское крестьянство, дал место в классовой борьбе «союзу трудящихся классов», а пролетариату отвел лишь право подачи примера и воспитания.

Русская революция — произведение политического таланта Ленина. Он направил не до конца осознанные чаяния русского народа в русло, определенное ничтожно малой партией большевиков. Он сделал русский народ сторонником коммунистической партии; он сохранил социализм во время гражданской войны; он преобразовал диалектику в тактику, смотрящую в лицо исторической действительности; наконец, он обеспечил в первые годы нэпа, пусть даже ценой отката назад, преимущество социалистической тактики перед капиталистическими элементами в русской экономике. Ленинизм в его трактовке сохраняет марксистскую природу и международное значение или, по крайней мере, стремится к этому значению. И в то же время он применим к огромному куску российской жизни. Ленин подготовил и создал симбиоз теории и действительности, жизнеспособный в каждой своей части.

Сталин — ученик Ленина. Он получил в наследство ленинские произведения и унаследовал его наказ, касающийся «электрификации России», но не унаследовал политического гения Ленина. Сталину недостает не политических способностей, а политической гениальности. По мнению западных марксистов троцкистского толка, он пустил под откос, «разрусифицировал» русскую революцию. Я в это не верю. Русская революция с самого начала была русской, хоть иногда и не говорила по-русски, и Сталин лучше сохранил первоначальную линию, чем это делали Троцкий и Зиновьев или Бухарин, когда к ним приходило руководство революцией. Сталин почувствовал природу русской революции. Он самый верный ученик Ленина — в том-то и беда, что он не более чем самый верный ученик. И у него есть связь катехизиса и действительности в большей степени, чем у «менее ограниченных» членов старой гвардии. Но у него эта связь уже намного жестче. Меньше остается площади для политической изобретательности и меньше вмешательства свежего наблюдения.

Я не хочу сказать, что Ленин не верил в марксизм. Но для него эта вера была второстепенной. Это так же, как гений всегда больше доверяет скрытому смыслу, заложенному в глубине слов, чем формулам разума. Сталин, ученик и наследник, верует в первую очередь в букву, в формулировку. Ленин нашел слова для изложения истории, Сталин хочет словами привести историю к гармонии. Как какой-нибудь богослов, он постоянно цитирует. Если на него нападают, он защищается ленинскими цитатами; если нападает он, то ленинскими цитатами подкрепляет свою позицию. Есть Писание и есть Россия. Задача его жизни — чтобы Писание как можно лучше подходило к России. Но Писание можно согласо-

вать со страной двояко: делами и словесными трюками. Творения, дела Сталина — творения лишь отчасти, отчасти же — это стилистические самоуспокоения Писанием.

Он, без сомнения, ограниченный человек, но, подобно тому как среди ограниченных людей случаются порой отличные врачи-диагносты, у него также определенно присутствует политическое чутье. Ленин создал из такого чутья ведущие идеи, ленинизм. Сталин набрасывается на свой дар, хватает его, облекает в слова; он видит — и все же не видит, так как осмеливается видеть только сквозь фразу. Он только тогда может смотреть в глаза действительности, когда одел ее в ленинскую формулировку. Факты появляются перед ним лишь в форменной одежде номенклатуры. Как большинство упрямых людей, он переоценивает ценность названий, путает вспомогательные слова с понятиями, язык — с миром. Уже у Маритена присутствует одно свойство характера, которое можно назвать «эйфорией изложения». У писателя есть превосходная система формулировок. Она настолько сильнее любопытства, что он даже не исследует новые явления, а только прилаживает их к системе. Он не к природе явлений подыскивает слова, а только смотрит, чтобы эта природа подпадала под наличные слова. Маритен называет такую систему понятий схоластикой, отдавая ей первенство перед действительностью. Если так, то Сталин — величайший схоласт.

Истинные его успехи случаются благодаря тому, что он и в перчатках схоластики не потерял чувства осязания. Он может прощупать историческую ситуацию. Но большая часть его успехов — все же лишь псевдоуспехи. Они — скорее в формулировках, чем в действительности. Их законный характер утверждает буква, а не их независимая природа. Сталин видит мир сквозь ленинизм, и это лишает его контроля другим способом зрения. Он привязан к собственным «координатам». Понятийные сети скрывают от него инвариантную сущность явлений. Хотелось бы поместить рядом со Сталиным какого-нибудь анти-Сталина, невежественного простака, которого, хотя он живет в России, освободили бы от курса ленинизма, который ничего бы не знал о социализме и видел бы лишь то, что видит.

Короли держали при себе шутов, чьи мысли и поведение были в постоянном противоречии с королевскими. Не следует ли и Сталину также завести себе такого шута, который называл бы своим невежественным языком то, что Сталин выражает научными словами?

«Что вы наделали? — сказал бы этот шут.—Вы заставили народ прекратить войну, когда он сам хотел ее прекратить, и дали крестьянину землю, когда он сам ее взял. Вы уничтожили тех, кто вам противостоял, и, когда народ вернулся с трофеями к миру, вы создали государство. Когда-то были дворяне и крепостные; вы сделали дворянство из партии, а крепостное крестьянство — из трудящихся масс. Ибо вас так же мало, как царского дворянства, и вы еще больше боитесь трудящихся масс, чем дворяне. Вы начали размножаться и строите заводы, где на деньги крестьян делаете рабочих. Кто построил ваши заводы? Люди земли, зажатые между невысокой зарплатой и безумно дорогим промышленным производством. Сейчас и землю вы хотите превратить в фабрику. Но кто будет кормить страну, если из людей земли вы сделаете бездельников? Ведь, заметьте, на земле есть два сорта людей. Одни получают деньги и тогда, когда они бездельничают, другие — только тогда, когда они работают. Мало разве у вас чиновников, что из трудящихся вы тоже хотите их сделать? Могут ли все в стране быть чиновниками? Нет, друг мой, там, где все — чиновники, из большей части людей получаются рабы, а из меньшей — руководители».

Подобный разговор, естественно, нереален, но он мог бы принести немало пользы. «Вопросам ленинизма» больше всего недостает противопоставления идей. Книга, помимо теоретических работ, содержит беседы, отчеты, а также ответы Сталина на вопросы различных делегаций. На первых порах голос его кажется симпатичным: простой человек разъясняет что-то простым людям. Большинство марксистских книг невыносимо «буржуазны». В этой же книге слышен голос сына народа. Народа, который выучился марксизму. Он задает сам себе вопросы и по-школьному при ответе повторяет его, подчеркивает то, что говорит: во-первых, во-вторых, в-третьих, и, наконец, для тех, кто еще сомневается: Ленин тоже это говорил. Порой проскальзывает и еще одно сравнение. Видели ли вы гребцов, которые не смотрят ни влево, ни вправо, а только гребут вперед по реке? Я часто наблюдал за ними на Енисее. Все это было бы хорошо для руководителя пригородного профсоюза численностью в сотню человек. Но только подумать, что этот человек стоит над Россией, и в конце очередной победоносной дискуссии, в которых он по очереди разоблачает своих противников как не истинных марксистов, вся Россия приветствует оратора! На первый взгляд, речь идет только о том, кто лучше толкует Маркса или Ленина. На самом деле в глубине доводов свирепствует упорная борьба за власть. Для этого человека марксизм — бивень. Он хочет опустить русский потолок до уровня своего лба.

Выше я упомянул подборку статей Ильи Эренбурга. Там говорится об одной студентке, которой нужно посещать курс ленинизма, а муж ее отговаривает. Сама же она не знает точно, марксистское ли дело об этом печалиться. В другом месте речь идет о студентах, для которых древнегреческие авторы — контрабандный товар, потому что в России историческое образование начинается с «феодализма». Какая-то мрачная меланхолия исходит от этой бодренькой подборки статей: есть некая печать, которая там лежит на каждой груди, даже когда человек остается наедине с самим собой. В «Вопросах ленинизма» я прочел имя этой печати: Сталин. Это имя не одного определенного человека, но упрямства, оторванного от великих источников человеческой природы, от традиций.

Перевод с венгерского А. МУГАЛЕВОЙ

СТЕФАН ПРОДЕВ

Жажда познания Ленина

«Народна култура» (Болгария)

Было время, когда мы не читали трудов Ленина, потому что обязаны были учить «Основы ленинизма». Тогда же мы не читали и Маркса, потому что существовал «Краткий курс...», который объяснял все. Сегодня есть еще люди, которые сожалеют об этом ушедшем времени. Такая идеологическая ностальгия, окрашенная чувством пережитого, непрерывно возвращает нас назад, как будто там где-то, за горизонтом прошедших лет, спрятан клад социализма. Эти люди погружены в воспоминания, поют забытые песни и, кто знает почему, говорят больше о войне, чем о революции. Герой их сказок — Сталин, придуманный еще Анри Барбюсом железный солдат, чьи короткие фразы превращались в сентенции дозволенного ленинизма. Большинство из них боготворит Ленина, поднявшегося на броневик, но фактически они не знают гения. Он олицетворяет для них нечто великое, но далекое, мавзолей, около которого проходят со склоненными знаменами и опущенными головами. Их Ленин — это популярная интерпретация марксизма, подсвеченная огнями Смольного, и ничего более. Он — «Человек с ружьем», «Аппассионата» и те из стихотворений Маяковского, которые взывают к революционному чувству более, чем к революционной мысли. Они не читали «Истории партии» Ярославского и воспоминаний Драбкиной, не смотрели пьес Шатрова и не знакомы с последними письмами вождя. Поэтому для них Ленин — просто миф, а не необходимая истина, плакатная фигура с поднятой рукой, а не сократовский лоб. Поэтому и сегодня они наивно смешивают Ленина с «Основами ленинизма», веря, что известного им — достаточно, чтобы служить революции.

К сожалению, обстоятельства, сложившиеся после смерти Ленина, гораздо сложнее представлений этих людей. Дело Ленина не инстинкт, а наука. И весьма трудная наука! Здесь и самое сильное чувство не в состоянии охватить истинные масштабы великого человека и прикоснуться к его драме. К драме, когда идея превращается в догму, открытие наталкивается на упрощения. Вот почему и самое искреннее обращение назад, к «нашему Ленину», никому не поможет. Там, в воспоминании, сколь дорогим оно бы ни было, осталось отредактированное наследство, которое не может сказать ничего нового. Там хранится урезанная судьба, оформленная в виде конспекта. А сегодня требует всего Ленина — от А до Я. От того, кто превратил Смольный в штаб революции, до того, кто превратил Горки в ад совести...

Я говорю все это не с тем, чтобы задеть кого-либо, ведь и я зубрил «Основы», а чтобы сказать: истинная встреча с Лениным еще предстоит. Для многих это будет сложная встреча, наполненная трагическими столкновениями и личными разочарованиями, нравственным самосудом. Битва за самосохранение после многих лет заблуждений. И это естественно, потому что реальный Ленин разрушит вымыслы. Уничтожит эпитеты. Выйдя из грима Щукина и из шаблонов Кербеля, из идеологических бестселлеров, он окажется другим, чем известный портрет и известные представления о нем. Маска добродушия скрывала бурю. Подлинный образ гения. Образ не только трибуна, не только мыслителя, но и демократа, не только демократа, но и человека. Появится тот наэлектризованный синтез веры и сомнений, который оплодотворил революцию и увлек ею мир. Излишне доказывать, сколь полезна будет эта истинная встреча с Лениным. Сколько неясных вещей и фактов прояснятся после нее. Именно после этой встречи станет ясно, почему он, великий, предпочитал спор насилию, почему в одно и то же время он критиковал и прощал Коллонтай, почему прежде чем сокрушить эсеров, он пытался их образумить, почему слушал Луначарского и выполнял некоторые просьбы Горького, почему любил и наказывал Дзержинского, почему пришел к идее нэпа значительно раньше других, почему страшился характера и амбиций Сталина, почему плакал над гробом Инессы Арманд, почему голодал вместе с голодными. Может быть, для кого-нибудь упомянутое мелко и незначительно, бесполезно с точки зрения сегодняшнего дня. Может быть, но тогда жаль истину. А Ленин немыслим без нее. Она — корень его характера и его нравственности. Здесь фактически скрыта вся сущность его революционной природы. Даже нечто большее — его человеческая сущность. Потому что Ленин не прямая линия, а взрыв. Не просто железо, а интеллектуальный сплав, пронизанный мыслью и болью. Много раз назван он вождем, хотя в сущности он — философ. Идеолог с головой ученого. Вот почему истинная встреча с ним будет испытанием для каждого, кто привык не думать. Для всех, кто его цитирует и славит, не прочтя его. В этом смысле во встрече, которая предстоит, не будет акцента торжественности. Она пройдет без знамен и лозунгов. Без поэтических деклараций и театральных торжеств. Она будет деловой, деловой, деловой до головной боли.

Было время... Да, было время, но сейчас время другое. Новое! Уже никто не читает «Основы ленинизма», потому что жизнь нуждается в Ленине. Кричаще нуждается! Причем в таком Ленине, каким он был, а не в таком, каким хотят его изобразить некоторые пропагандисты. Сегодня жажда истины превыше всего. Это и есть жажда познания Ленина. В утолении ее таится надежда.

Перевод с болгарского М. ЧЕМОДАНОВОЙ

◆

ДЖЕФФРИ ХОСКИНГ

Джеффри Хоскинг преподает русскую историю в Лондонском университете. Изучением нашей страны он занимается вот уже 20 лет и за это время дважды, в 1964 и 1988 гг. побывал в СССР. В конце 1988 г. Джеффри-Хоскинг прочитал по Би-би-си цикл из шести лекций о Советском Союзе. Одну из них, а также интервью, опубликованное в журнале «Лиснер», мы предлагаем вниманию читателей.

Вопрос. Когда вы впервые заинтересовались русским языком?

Ответ. Русским я заинтересовался еще в школе. Я читал Толстого, Достоевского, как раз тогда вышел «Доктор Живаго» Пастернака. Помню, я читал его и думал: вот язык, который стоит учить, если на нем написаны такие вещи. Был конец 50-х, период резких изменений и поворотов в жизни Советского Союза, подобных тем, которые страна переживает сегодня. Все это было страшно интересно, хотелось разобраться, как же советские люди умудрились наворотить такое. Во многих отношениях русская революция — самое значительное событие XX века, эти люди пытались построить необыкновенно гуманное общество, но превратили все в такой кошмар. Тогда, в конце 50-х, они уже частично признавали это и пытались как-то исправить. Мне хотелось изучать этот процесс.

Вопрос. Пожалуй, можно сказать, что у вас традиционная английская биография — классическая школа и так далее. Что же толкнуло вас на изучение русского? Все же это не слишком популярный предмет в нашей стране, по крайней мере так было до недавнего времени.

Ответ. Странно, что как раз сейчас русский у нас изучают все меньше и меньше, ведь Россия опять становится все интереснее. Полагаю, в каком-то смысле русский должен стать эквивалентом классических языков в британской системе образования. Я всецело за то, чтобы постепенно убрать классические языки, заменив их русским, ведь он отличается от других современных языков, это не то что французский или немецкий. Когда вы изучаете русский, вы прежде всего изучаете потрясающий язык со сложной грамматической структурой, следовательно, он обладает всеми прелестями греческого. Вы изучаете первоклассную литературу. Взгляните сразу на XIX и XX века: думаю, русская литература представляет наибольший интерес среди великих европейских литератур этого периода. Вы изучаете еще и сложнейший политический эксперимент, судьба которого имеет для всех нас огромное значение.

Вопрос. Когда вы впервые отправились в Советский Союз?

Ответ. Я приехал в Советский Союз в конце сентября 1964 года, как оказалось, это было интересное время. И в первый же день я увидел Никиту Сергеевича Хрущева, вместе с президентом Индонезии Сукарно они ехали по улицам в открытой машине и приветственно махали толпе. Тогда Хрущев в последний раз появился перед народом. А через две недели Центральный Комитет осудил его и снял с должности Первого секретаря. Я занимался на историческом факультете Московского университета, изучал Государственную думу, русский парламент предреволюционного периода.

Вопрос. Вы, должно быть, обрадовались возможности впервые поговорить с людьми, пережившими необычайные события русской революции и ее последствия — страшные сталинские годы.

Ответ. Было так интересно добраться до архивов, своими глазами увидеть бумаги, подписанные Столыпиным — он являлся председателем Совета министров как раз в тот период, изучением которого я занимался. Я был несказанно рад поговорить с советскими гражданами, пережившими сталинские времена, лично знавшими таких людей, как Пастернак и Ахматова. Кое-кто мог по собственному опыту рассказать мне, как в 30-е лежал ночью без сна в ожидании стука в дверь, какой ужас людям пришлось тогда пережить. К тому же, оказавшись в России, я многое узнал о природе человека — то, что и при такой системе человек способен жить, воспитывать семью, заботиться об образовании своих детей, читать детективы, вместе с другими строить предположения о том, кого повысят в его конторе или институте, совсем как мы.

Вопрос. Как, по-вашему, страшные сталинские времена изменили людей?

Ответ. Вне всякого сомнения, они были травмированы. Вызванное этим состояние страха у многих сохранилось на всю жизнь. Я думаю, что это и сегодня можно было бы сказать о некоторых жителях СССР. Власти олицетворяют собой нечто высшее и страшное. Но не у всех была подобная реакция. Находились и такие, кто решил, что раз поведение властей было столь непредсказуемо и беззаконно в тот период и все это может повториться, то нет никакого смысла бояться. Поскольку власти все равно могли поступить с вами как угодно, вне зависимости от того, что вы делали, то можно было действовать без оглядки на них в соответствии со своими принципами — свободно беседовать с иностранцами, при всякой возможности говорить то, что

думаешь. Таких людей было меньшинство, но, как мы теперь знаем, это меньшинство сыграло большую роль, именно этот настрой привел к возникновению движения за права человека в конце 60-х и в 70-е годы.

Вопрос. Вы историк, но черпаете информацию для развития своих идей в литературе.

Ответ. Если в конце 60-х и в 70-е годы вы хотели узнать что-нибудь о том, что пережили советские люди после 1917 года, лучше всего было обращаться к писателям, а не к историкам. Помню, перед тем как читать студентам лекции о коллективизации сельского хозяйства в начале 30-х годов, я знакомился с работами и английских и советских историков, но кроме основных фактов они мне мало что дали. И тогда мои друзья в Москве предложили мне почитать произведения писателей-деревенщиков, людей, которые сами были когда-то крестьянами. Детство некоторых из них прошло в деревне в 30-е годы, другие слышали разговоры родителей. Столько, сколько я узнал из этих книг, мне, наверное, больше нигде бы не узнать. Вот одна из причин, почему я обратился к литературе, и еще мне кажется, что когда собираешься изучать человека — не важно, на каком историческом этапе,— то литература уже даже тем, что недосказано или подразумевается, скажет куда больше о его взглядах и настроениях, чем любой другой документ.

Вопрос. Сейчас, в условиях перестройки, которой руководит такой энергичный лидер, как Михаил Горбачев, в стране стало больше свободы. Основываясь на литературных и других источниках, с которыми вы знакомились, предчувствовали ли вы перестройку? Вы можете утверждать, что были в состоянии предсказать ее?

Ответ. Самое большее, что я мог предсказать и о чем, по-моему, написал на последних страницах своей «Истории Советского Союза», это то, что советское общество готово к переменам наверху и очень живо отреагирует на них. Это предсказание на сто процентов подтверждается событиями горбачевского периода. Вне всякого сомнения, советское общество куда разнороднее, образованнее и сложнее, чем мы привыкли думать на Западе.

Вопрос. Летом вы вновь побывали в Советском Союзе. Что бы вы могли сказать, если сравнить ваши сегодняшние впечатления и воспоминания студенческих лет? Ведь тогда вы были в СССР в самом конце хрущевской оттепели, а я знаю, что существуют опасения, особенно среди советских людей, что горбачевская оттепель тоже может окончиться заморозком.

Ответ. Конечно, советские люди, которых я знаю, обеспокоены этим много больше, чем двадцать лет назад, потому что уже видели, как это происходит. Я считаю, что да, заморозок возможен, но не думаю, чтобы он что-нибудь радикально изменил, если, конечно, советские власти не вернутся к террору сталинского масштаба. Вряд ли они это сделают, ведь они же первые и пострадают при терроре сталинского типа. Я хочу напомнить, что мало кто из ближайших соратников Сталина пережил его: он убил большинство из них. Поэтому власти и не захотят возврата этого. А если они не вернутся к террору в духе Сталина, тогда движения, ранее находившиеся в подполье, а теперь вышедшие на свет, просто снова уйдут в подполье. Но в том или ином виде, пусть искалеченные, они все-таки уцелеют. Политические дискуссии, национальные, религиозные движения — на этих вопросах я еще остановлюсь в своих лекциях — в какой-то форме останутся, и если сейчас они не способны навсегда изменить общество, это все равно произойдет лет через двадцать.

Возврат к политической жизни

Оказавшись сегодня в Советском Союзе, замечаешь, что прошлое России словно куда-то исчезло. Бывает, остановишься на какой-нибудь новой советской улице и вдруг покажется, что все вокруг поражены амнезией, утратили связь с реальностью, вроде алкоголика, который проснулся и никак не может вспомнить, что же происходило вчера. У древнего города теперь новенькое название по имени какого-нибудь советского героя, а каменные громады, в которых живет большинство советских людей, полностью уничтожили все, что оставалось от прежней архитектуры. Советская действительность — некая tabula rasa[1], где после революций, войн, чисток и насильственной коллективизации ни в жизни, ни даже в памяти не сохранилось ни одного социального института, способного сегодня послужить опорой для распространения политики плюрализма.

И все же, чтобы совершить эволюцию от тоталитаризма к демократии, Советскому Союзу без очень хорошей памяти не обойтись. В политике прошлое всегда существенно, ведь в нем заложены тенденции, закономерности, которые будут проявляться еще и в будущем. В прошлом нашли приют и упущенные возможности, и эмбриональные структуры, так и не достигшие зрелости. Народ, который дорожит своей независимостью, будет время от времени останавливаться и внимательно присматриваться к ним, чтобы потом крепче держать в руках силы, определяющие его будущее.

В начале своей деятельности я как раз и занимался изучением одного из таких эмбрионов, Государственной думы,— совсем недолго просуществовавшего в предреволюционный период парламента. В состав Думы, облеченной серьезной властью, входили разнообразные политические партии, там хорошо информированные люди могли свободно обсуждать злободневные вопросы. После возникновения Думы британская палата общин послала телеграмму, приветствуя нового члена семьи парламентов. Я подумал: может быть, где-то здесь мне удастся ухватиться за нить из прошлого, найти первые зачатки демократической традиции. Но вскоре я обнаружил, что советская интеллигенция, даже та ее часть, которой небезразличны вопросы свободы, не читает

[1] Чистый лист *(лат.)*.

высказываний Гучкова и Милюкова, двух ведущих либерально настроенных деятелей этой ассамблеи.

Зато во время своего пребывания в Москве я обнаружил нечто другое, говорившее по крайней мере об унаследованном чувстве общности людей. Взять хотя бы такой эпизод, который, полагаю, знаком большинству из тех, кто провел некоторое время в Советском Союзе. Вечером вы приглашены к другу. Вам хочется подарить что-нибудь хозяевам, и вы отправляетесь в утомительный поход по магазинам в поисках какого-нибудь пустячка — коробки конфет, цветов, даже просто приличной колбасы. Но полки пусты, а мрачные продавщицы не проявляют желания помочь. Уставший и расстроенный, вы с трудом втискиваетесь в переполненный автобус, где у всех пассажиров оказываются непомерно большие ступни и локти. Вы вылезаете из автобуса и, пройдя по морозу, пробираетесь в грязное, вонючее парадное многоэтажного дома.

Потом вы нажимаете на кнопку звонка — и происходит волшебное превращение. Друзья приветствуют вас. Независимо от того, удалось ли вам внести свою лепту, нет ли, вас обязательно усадят за праздничный стол. Трапеза может быть и скромная, но для ее подготовки, без сомнения, потребовалось немало времени и изобретательности. Появляется водка, а в эпоху Горбачева — чай. И вы сразу же вовлекаетесь в спор о литературе, науке, философии — словом, о чем угодно. И вам кажется, а возможно это и вправду так, что на некоторое время вы стали членом общины добрых, сердечных людей, которые обсуждают то, что по-настоящему важно в жизни.

По-моему, в этом есть что-то очень типичное для России, издавна присущее ей: суровый климат, неприглядная внешняя сторона жизни, жестокая несостоятельная политическая система, которым противостоит внутреннее тепло просвещенной, утонченной жизни людей. Такая раздвоенность была всегда характерна для русской истории. И нынешнее несмелое оживление политической деятельности определяется пробудившимися врожденными привычками.

С точки зрения истории институтом, оказавшим наибольшее влияние на формирование русского подхода к политике, по-видимому, можно считать крестьянскую общину, которая веками существовала в суровом климате, на бедной земле под властью жестокого правительства. Она зиждилась на твердой вере людей в свои силы, на совместном решении вопросов, на взаимопомощи и умении взять на себя несчастье другого. Община следила за каждым своим членом, ибо любое отклонение от принятых норм (не важно — в земледелии или в поведении) рассматривалось как чреватое опасностью для всех. Русская крестьянская община ни в коей мере не похожа на западные демократические институты. Это была своего рода патриархальная демократия, где выполнения принятых сообща решений добивались авторитарными методами.

Воспоминания об этой социальной единице пустили глубокие корни и многое могут прояснить в поведении русских в критические периоды. Именно этот опыт имел решающее значение в революции 1917 года, когда на огромных просторах страны захватом и перераспределением земли руководили собрания представителей деревенских общин. Более того, ассамблеи, или Советы рабочих депутатов, захватившие власть в городах, поспешно организовывались рабочими по правилам, знакомым им по прежней деревенской жизни. Привыкшие верить в свои силы, помогать друг другу и все решать сообща, рабочие смогли успешно справиться с кризисными ситуациями 1917 года и создали институт, который и дал поныне существующее название Советскому Союзу.

Коммунистическая партия организовала и возглавила революцию рабочих и крестьянских общин, а позднее она же разрушила их частично в период гражданской войны, а частично десятилетием позже. Городские и сельские Советы превратились в простые инструменты однопартийного господства. Но все же, как ни странно, у меня есть ощущение, что дух крестьянской общины в каком-то искаженном виде уцелел и теперь проявляется в городской жилищной системе, в так называемых «коммунальных квартирах», где из-за катастрофической нехватки жилья десятилетиями ютились сразу несколько семей вместе. Там, в общей нищете, им поневоле приходилось вырабатывать соглашения о совместном пользовании кухней и ванной, и следили они друг за другом куда пристальнее, чем это позволяли условия деревенской жизни. И даже сегодня, когда коммунальные квартиры уже перестали быть повсеместным явлением, большие многоквартирные дома с двориком внутри все еще сохраняют какой-то деревенский дух. Мужчины усаживаются за стол играть в карты или в домино, женщины собираются посплетничать, дети играют в песочнице. Такие сценки увидишь и в Москве, и в маленьких городах, но они совершенно нетипичны для жизни большинства европейских городов.

Не столь древняя традиция, но имеющая сегодня, пожалуй, большее, чем крестьянская община, значение, также сформировалась в условиях двойственности внешне суровой, но полной внутреннего тепла жизни русских. В XIX веке как бы для самозащиты русская интеллигенция стремилась собираться вместе маленькими группами. Основной социальной единицей для них был кружок — небольшая группа энтузиастов, готовых встречаться и до поздней ночи вести дискуссии, яростно спорить о философии или политике. Хотя гнетущая политическая атмосфера царской России и требовала замкнутости, осторожности, отношения между членами кружка были проникнуты теплотой, духом взаимовыручки, но к посторонним, особенно к другим кружкам с конкурирующей программой всегда относились подозрительно. Новых членов принимали, руководствуясь инстинктивным чувством нравственности. Павел Анненков, летописец истории первого поколения кружков 1840-х годов, характеризовал их как «рыцарское братство», где «всякое проявление сомнительного чувства... угадывалось им тотчас и... вызывало бурю насмешек, иронии, беспощадных обличений».

Сначала взгляды кружков русской интеллигенции основывались на немецкой идеалистической философии, а настойчивость, с которой они держались за нее, вероятно, хотя бы частично была следствием плачевного состояния русской православной церкви в тот период. Затем ту же структуру они наполнили социалистическими идеями и излили свои религиозные чаяния в светской утопической программе, провозглашавшей революцию средством полного и окончательного освобождения человека от зла. Лишенные веры в религиозном смысле, они боготворили литературу и науку. Литературу за то, что она наиболее ярко раскрывала грехи существующей системы и рисовала образ лучшего общества. К тому же в условиях царской цензуры литература была практичным и эффективным способом рассказать о своих взглядах; некоторые кружки были связаны с литературными журналами и пользовались ими, чтобы разговаривать с большим числом людей. Науку они почитали за то, что она снисходительно предоставляла им гарантию абсолютной точности. Привлекательность естественных наук заключалась в том, что они давали надежду на развитие промышленности и бóльшую власть над природой, общественные же науки притягивали, потому что обещали прогрессивное движение к более гуманному обществу. Мыслитель-радикал Александр Герцен как-то сказал, что без науки современному человеку нет спасения.

Их искреннее рвение было чем-то сродни английским утилитаристам, которые отбросили традиции и предрассудки ради практической, реалистической работы по облагораживанию человека на научной основе. Но за отсутствием парламента, способного провести реформы, большинство таких обществ-кружков полагало, что цели можно достичь, лишь свергнув царский режим.

Вот тогда-то и были заложены основы для утопического проекта коммунистов. Ленин назвал свою доктрину «научным социализмом» и утверждал, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Сегодня, семьдесят лет спустя после начала советского эксперимента, это утверждение звучит уже не столь весомо. Но русская интеллигенция не отказалась от поисков принципов, которые бы составили руководство к жизни. По мере того как проходило одурманивающее воздействие идеологии, кое-что из того, на чем она основывалась — разработка идей глобального масштаба, преклонение перед литературой и наукой,— вновь обнажилось как вечное наследие тех далеких дней и наложило свой отпечаток на возобновившуюся независимую интеллектуальную жизнь. Поскольку не существовало какой-либо общественной трибуны для дебатов, интеллигенции не оставалось ничего другого, как возродить традицию кружков, и примечательно, что они избрали почти ту же форму, что и их предшественники в XIX веке.

После смерти Сталина в 1953 году начал постепенно исчезать всеобщий страх перед доносчиками, и встречи интеллигенции стали проходить чаще и естественнее. Люди пытались понять друг друга, стремились разобраться в том, что же произошло с ними в урагане военных лет, чисток и официально санкционированной лжи. Их обмен мыслями, опытом вскоре обогатили рассказы тех, кто возвращался из лагерей и мог поведать о последнем из кругов сталинского ада, о существовании которого все смутно догадывались, но, пройдя через который, мало кто выжил, чтобы стать свидетелем. Среди этих доморощенных хроникеров жизни преисподней было даже несколько певцов, бардов с гитарами, которые, переделав модные песенки на лагерный лад, возродили долго подавлявшуюся традицию народной мудрости в современном обличье — советский вариант блюза, если угодно.

Эти нищие «салоны» мало что могли предложить в гастрономическом смысле, но зато, как выразился один из участников, «то были роскошные, нескончаемые пиршества духа». Они дали возможность вместе принять и переварить неудобные истины, а это где угодно является необходимой предпосылкой формирования общественного мнения. Возобновившийся обмен информацией и идеями совпал с «секретным докладом» Хрущева 56 года, с возвращением из лагерей сотен тысяч заключенных, с началом массового приема западных трансляций, он открыл эру духовного брожения и искания. Многие интеллигенты по-прежнему жили одними лишь идеями, рожденными русским революционным движением, которые они впитали за школьной партой. Другие же стали терпимее и внимательнее относиться ко всему миру, к западным либеральным идеям, чья привлекательность возросла после столь долгого периода необузданной тирании.

Вот в этих условиях почти стихийно и возник самиздат, или самодеятельное книгопечатание. Видимо, его можно рассматривать как естественную трансформацию беседы, вызванную желанием как-то зафиксировать малоизвестные факты и способствовать распространению новых идей. Все началось с издания неопубликованных стихов, потом сфера деятельности стала расширяться, захватывая новые, более сложные формы, вплоть до романа. Сначала литература была просто средством нелегального общения, и лишь позднее стали возникать политические идеи. Использовалась примитивная технология: кто-нибудь отпечатывал на машинке пять-шесть экземпляров, каждый из которых получался бледнее предыдущего, и передавал их друзьям, которые повторяли ту же операцию. Таким способом распространялись целые журналы и даже романы. Запросы настолько превосходили возможности, что вам могли предложить прочитать какой-нибудь труд страниц на триста всего на одну ночь; и тогда вы приглашали своих верных друзей, усаживались и принимались передавать друг другу страницы. Вот идеальная среда для возникновения кружков, имеющих свои, пылко отстаиваемые взгляды. И снова обстановка удивительно походила на ту, в которой формировались взгляды радикально настроенных людей XIX века хотя жуткие уроки сталинских лет приведут их последователей к совершенно другим политическим выводам.

В конце концов брежневское руководство решило признать такого рода деятель-

ность незаконной, ну если уж не всю, то по крайней мере такую естественную для нее форму, как самиздат. Не случайно поворотное в этом отношении событие имело прямое отношение к литературе: в 1965 году подверглись аресту двое писателей, Андрей Синявский и Юлий Даниэль, за то, что они разрешили не только распространение своих произведений в самиздатовском варианте среди друзей, но и публикацию их на Западе под псевдонимом. Над идеологией был вновь установлен жесткий контроль, и не только писатели, но и многие другие представители советской интеллигенции оказались в трудном положении: они боялись возврата сталинских методов, тайных процессов, жестоких приговоров, боялись, что пострадают друзья и родственники. И решение, принятое ими перед лицом этой опасности, было продиктовано традиционной русской верой в свои силы и солидарностью в беде, но в нем присутствовал и новый жизненно важный компонент: западный идеал свободы слова и господства законности. И вот что сделали эти политически активные представители интеллигенции: они собрались вместе, не дали себя запугать и потребовали от советских властей, чтобы те соблюдали собственные законы. Чтобы решить проблему общения с советскими людьми, они стали налаживать связи с зарубежными корреспондентами, чьи материалы часто передавались западными радиостанциями.

Итак, процесс над Синявским и Даниэлем сплотил обеспокоенных граждан, дал им лозунги — «законность» и «открытость», то есть «гласность», еще задолго до эпохи Горбачева — и открыл возможности контактов с внешним миром и даже косвенно с самой советской общественностью. Так был намечен путь формирования альтернативного общественного мнения, процесс, имеющий решающее значение для понимания всего происходящего сейчас. Среди первых активистов, подписавших в конце 60-х письма протеста, больше половины составляли ученые, среди них немало естественников и примерно четверть — писатели. Общественным трибуном движения стал Андрей Сахаров, чья работа в области ядерных вооружений заставила его понять ту неосмотрительность и безответственность, с которой советские руководители использовали огромную технологическую мощь, имевшуюся в их распоряжении. Сахаров пришел к убеждению, что лишь решительная защита прав человека может сделать правительства подотчетными народу и таким образом удержать их от смертельно опасного злоупотребления властью.

Немногие ученые обладали святой сахаровской преданностью делу, но как социальная группа они имели исключительные возможности определять случаи злоупотребления властью, а их престиж, уверенность в том, что они необходимы, позволяли высказывать свое беспокойство по тому или иному поводу. В конце 60-х годов научные институты превратились на некоторое время в центры деятельности в защиту прав человека. Последовала ответная реакция властей: это могло быть увольнение, исключение из партии, но обычно наказывали более мягко, например, выносили общественное порицание, что, однако, позволяло человеку оставаться на своем посту и продолжать исследовательскую работу. Есть некоторые свидетельства того, что пассивное сопротивление научных советов и даже партийных организаций Академии побудило власти отказаться от применения более суровых мер.

Самое удивительное то, что Академия наук, хотя и не слишком жаловала Сахарова, все же так и не исключила его из своих членов, даже в период наивысшей официальной немилости. Это вовсе не обязательно признак гражданского мужества, это была скорее попытка защитить собственные привилегии. Пожизненное звание академика — это своего рода боевой клич, пусть совсем не героический, но все же на практике не позволяющий партии осуществлять свою безграничную власть, создающий маленький плацдарм для политического плюрализма.

Конечно же, большинство писателей и ученых прямо не занимались агитацией за права человека и не стали явными диссидентами. Но после того, как кончился сталинский террор, многие из них заперлись в своих институтах и, невзирая на идеологическую подоплеку, вместе с несколькими единомышленниками посвятили себя исследовательской работе в тех областях, где, по их мнению, открывались широкие перспективы. Возродились целые отрасли науки, забытые или подвергнутые гонениям в сталинские времена,— кибернетика, генетика, общественные науки; в этих направлениях потихоньку вновь начинались исследования. В некоторых из новых областей, даже в тех, а может быть, особенно в тех, которые далеки от марксизма, советская наука захватила мировое лидерство, как, например, в семиотике и литературоведении благодаря семинарам профессора Тартуского университета в Эстонии Юрия Лотмана.

Другим, имеющим бóльшее практическое значение примером, может служить работа Новосибирского института экономики и организации производства при Академии наук. После того как в 1967 году директором был назначен Абел Аганбегян, институт стал ведущим центром по изучению, так сказать, «социалистической рыночной экономики» в отличие от централизованной модели, введенной Сталиным и реставрированной Брежневым. Институт ежемесячно издавал журнал, который снискал себе мировую славу за глубокий анализ слабых мест в советской экономике и пропаганду альтернативных решений. В 1983 году институт Аганбегяна направил постбрежневскому руководству большой доклад, содержавший сокрушительную критику состояния экономики, который и заложил первый камень в фундамент нынешней экономической перестройки. И вот, нонконформистской работе, которая долго велась с опаской, теперь принадлежит решающее значение.

Ученым такое свободомыслие в исследовательской работе проходило сравнительно безнаказанно. ведь их деятельность была важна для политических лидеров. да и просто высокий статус ученого в обществе возник раньше коммунистической партии. Почти таким же престижем обладают писатели, вот почему литературные учрежде-

ния, и в особенности «толстые журналы», стали другим важным центром нонконформизма.

В советском толстом журнале есть что-то викторианское. Видеть его было бы куда привычнее подписчикам «Куотерли ревью», чем современному британскому читателю периодических изданий. Это некая корзинка с литературными товарами, которую вы ежемесячно обнаруживаете у себя на коврике перед дверью. В основном, но отнюдь не только, это журнал литературный, проза, поэзия и драматургия сочетаются в нем с комментариями и обзорами наиболее важных текущих событий. Они освещают и социальные, философские, научные проблемы. Если это спорные вопросы, разговор о них часто принимает форму литературной критики — удобная и вполне приемлемая маскировка.

Именно поэтому «толстые журналы» превратились в идеальный форум для обсуждения основных проблем советского общества. Вплоть до недавнего времени для того, чтобы обойти цензуру, такие дискуссии приходилось вести очень туманно, довольствуясь намеками, поэтому людям непосвященным трудно было за ними следить. Хотя в каком-то смысле такая загадочность — часть ореола таинственности, которым журналам оказалось выгодно себя окружать, они заставляют читателя отгадывать некую литературную криптограмму, доступную большому, но все же ограниченному кругу единоверцев и новообращенных. Таким образом, каждый журнал выработал не только собственные политические взгляды, но и собрал свою собственную аудиторию, взаимоотношения которой с журналом создают некое социальное магнитное поле.

Самый известный пример журналов такого типа — «Новый мир», в особенности в 60-е годы, когда им руководил Александр Твардовский. Твардовский был сыном крестьянина, раскулаченного в период коллективизации и переселенного в Сибирь, так что писатель на себе испытал суровую действительность сталинской эры. Однако это не помешало ему стать преданным коммунистом и очень популярным военным поэтом, чью книгу про крестьянского паренька Василия Теркина, этакого Томми Аткинса из Красной Армии, немало советских солдат носило в вещевом мешке. Однако преданность Твардовского партии была не совсем обычной. Он считал, что партийность в литературе означает правдивый рассказ о том, что пережил советский народ в критические моменты своей истории, рассказ, в котором не делается попыток замалчивать страдания, причиненные Сталиным. Власти терпели такую честность до тех пор, пока продолжалась хрущевская кампания десталинизации, но Твардовский не остановился, а пошел еще дальше и после падения Хрущева в 1964 году.

Вспоминая свое пребывание в Московском университете, я и сейчас вижу, с каким нетерпением каждый месяц ожидали прихода книжки в голубоватой обложке. Нужно было подписываться самому, не было никакой надежды приобрести экземпляр в киоске. На основании читательских писем заместитель Твардовского Владимир Лакшин заявил, что «Новый мир» стал частью жизни людей, что он «вселял веру в непобедимость истины и помогал людям жить». Я хорошо помню искренний энтузиазм верных читателей журнала. В мире, где все знали, что средства массовой информации сплошь и рядом искажают факты, многое недоговаривают, мужество Твардовского, его умение бороться за авторов, в которых он верил, оставляло открытым уникальный беспрепятственный путь общения.

Возможно, его величайший вклад в советскую культуру заключается в том, что благодаря ему стала возможной серьезная переоценка сталинского периода. В повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которую Твардовский сам лично провел через все грозные политические препоны, прямо и открыто говорится о буднях сталинского лагеря со всей его мерзостью и бесчеловечностью. Публикация в 1962 году этой бесхитростной, но впечатляющей зарисовки дала толчок потоку воспоминаний. Тысячи простых советских граждан писали Солженицыну прочувствованные письма, выражая ему горячую благодарность за то, что он осмелился пролить свет на то, что они пережили, но о чем никогда не пытались говорить открыто. Многие сопровождали это своими собственными подробными рассказами, предоставив Солженицыну таким образом первые материалы, которые он позднее включил в более масштабную работу «Архипелаг ГУЛАГ».

За одну ночь Солженицын превратился, так сказать, в почетного активиста нации, лишенной собственной памяти. То было «возвращение подавляемого» не в психике отдельного человека, а в целой культурной общности. А как учит Фрейд, подавляемое всегда возвращается с огромной эмоциональной силой. И это было вдвойне справедливо для нации, которая не имела возможности даже по-настоящему оплакать своих замученных и убитых граждан.

Другой замечательной службой, которую Твардовский и «Новый мир» сослужили народной памяти, было воспитание целой школы писателей-деревенщиков, крестьян по происхождению, которым стремительный поток социальных преобразований советской эпохи дал возможность попасть в Литературный институт имени Горького, где они получили образование, став в дальнейшем литераторами. Их личный опыт помог перекинуть мостик через глубокую пропасть, существовавшую в советском обществе между городом и деревней. Определяющим в судьбе многих ныне здравствующих советских граждан стало переселение, обычно в начале жизненного пути, из деревни в город, связанное с прохождением службы в армии или получением образования, после чего, однако, они уже не возвращались назад, а из кожи вон лезли, чтобы найти себе в городе какую-нибудь работу и жилье. И им часто приходилось годами, а подчас и всю жизнь ютиться в тесных, не отвечающих никаким нормам комнатушках ради достижения своей цели. В каком-то смысле их героическая преданность идеалам урбанизма есть выражение всего исторического опыта советского общества с его преклонением перед промышленностью, техникой, образованием и культурой. Однако и в микрокосме и в макро-

косме за эту преданность расплачивались не только презрением к сельской жизни, но и очернением ее, низведением ее до уровня чего-то такого, чего следует избегать любой ценой. Сколько же советских граждан вот так отвергли собственное детство?

Таким образом писатели-деревенщики дали выход глубинным чувствам, которые долго не могли прорваться наружу. Со страниц их книг неторопливо вставали картины работы, обычаев крестьянской общины, находившие горячий отклик у читателей, которым либо по собственному опыту, либо по рассказам родителей был знаком такой образ жизни. Это тоже своего рода «возвращение подавляемого», ведь ценности деревенской общины подвергались гонениям не меньше чем на протяжении жизни целого поколения, частично эта амнезия насаждалась официальной идеологией, частично потому, что люди, прокладывавшие себе дорогу в современный мир, сами предпочитали оставлять в прошлом то, с чем они расставались.

Такая бурная реакция на «деревенскую тему» связана еще и с постепенным осознанием того, что мир города не принес той удовлетворенности, которая рисовалась в утопических мечтах. Напротив, к середине 60-х годов, когда советское общество становилось преимущественно урбанистическим, города, казалось, несли уродство, стресс, одиночество, загрязнение природы, алкоголизм, преступность, нестабильность семейной жизни. Так по крайней мере думали многие. Многие советские писатели последнего поколения действовали из тех же соображений, что и наши викторианские романисты: они боялись нового заразного нравственного и духовного недуга, распространяемого многочисленными промышленными городами. Они стремились бороться с болезнью тем, что утверждали ценности, доставшиеся в наследство от предыдущей эры, якобы отличавшейся большим гуманизмом и стабильностью. В один миг прометеева устремленность в будущее превратилась в обожествление утраченного золотого века!

Может быть, в целом брежневские времена и были эпохой застоя, но они были и эпохой выздоровления. Общество, израненное и раздробленное при Сталине, медленно и болезненно восстанавливало свою память, латало полотно социальной солидарности. Оказалось, что советских людей все же не поразила полная амнезия. Пробуждалось смутное ощущение утраченного единства, а вместе с этим возвращалось к жизни и духовное наследие, которое все же не целиком сгинуло при тоталитарном перекраивании истории. Значит, существовала некая основа для возрождения независимых социальных институтов и в конечном счете подлинной политики. Ставшее первым признаком выздоровления беспокойство о правах человека затем распространилось и на такие фундаментальные вопросы, как национальные отношения, религия, культура, окружающая среда.

Перевод с английского М. ТЕРАКОПЯН

Буркина-Фасо

РЕВАНШ ЗА МОЛЧАНИЕ

Далекая и загадочная Африка всегда манила к себе ученых, писателей, путешественников, рассказывавших в своих книгах о природе, культуре, традициях «черного континента». Характерные для африканской литературы «неизгладимые этнографические отметины» явственно видны и в культурном наследии Буркина-Фасо, констатирует рецензент газеты «Сидвайя» Жак-Проспер Бази в обзорной статье, посвященной проблемам развития национального искусства.

«Сегодня, — с удовлетворением отмечает Ж.-П. Бази, — литературная пустыня 60-х годов наконец «зацвела»: в стране насчитывается свыше 150 мастеров слова, из-под пера которых вышло уже более 200 произведений различных жанров».

Наибольшее распространение имеет «королева жанров» — поэзия, ибо она уходит корнями в традиции африканского фольклора. Пасере Титенга Фредерик, Роже Никиема, Жак Гегане, Мазон Проспер, Била Роже Каборе — таков далеко не полный перечень получивших признание поэтов, чье творчество глубоко национально.

Но «королева жанров» «правит» не в одиночестве — современный этап развития национальной литературы вполне можно назвать и «веком романа», считает рецензент. После выхода первой книги — «Закат прежних времен» Нази Бони — за четверть столетия «был собран богатый урожай». В числе ведущих авторов — Августин Сонде Кулибали, Дабире Фостен, Патрик и Пьер-Клавер Илбудо. В их произведениях затрагиваются важные общечеловеческие проблемы выбора жизненного пути и нравственного совершенствования. Что касается формы изложения, то здесь молодые писатели находятся в стадии поиска, ибо они решительно отказались от принципа линейности, разрубив гордиев узел прозы предыдущего поколения литераторов. Следовательно, размышляет Ж.-П. Бази, «есть надежда на повышение художественного уровня».

Первые шаги, по мнению рецензента, делает сейчас и театр Буркина-Фасо. Тем не менее работа основных трупп — «Театральной мастерской», «Братства», «Художественного ансамбля радио и телевидения» — уже отмечена двумя международными наградами. Сложнее обстоит дело с драматургией: подходящего отечественного репертуара нет, и пока используются пьесы или инсценировки произведений древнегреческих, африканских, европейских авторов — Софокла, Ч. Ачебе, В. Шойинки, Ж. Румена.

«В целом же наши национальные литераторы пользуются авторитетом у коллег: Буркина-Фасо председательствует в Федерации союзов писателей Западной Африки», — подчеркивает «Сидвайя».

«Судя по всему, литература Буркина-Фасо берет реванш за долгое молчание, — пишет Ж.-П. Бази. — И в этом прежде всего заслуга самих художников слова, желающих творить. А стимулы для творчества есть: учрежденные недавно премии («Гран-при» в области литературы и искусства, приз газеты «Сидвайя» за лучший роман) и, конечно же, огромный интерес читателей, с энтузиазмом встречающих каждую новую книгу».

Великобритания

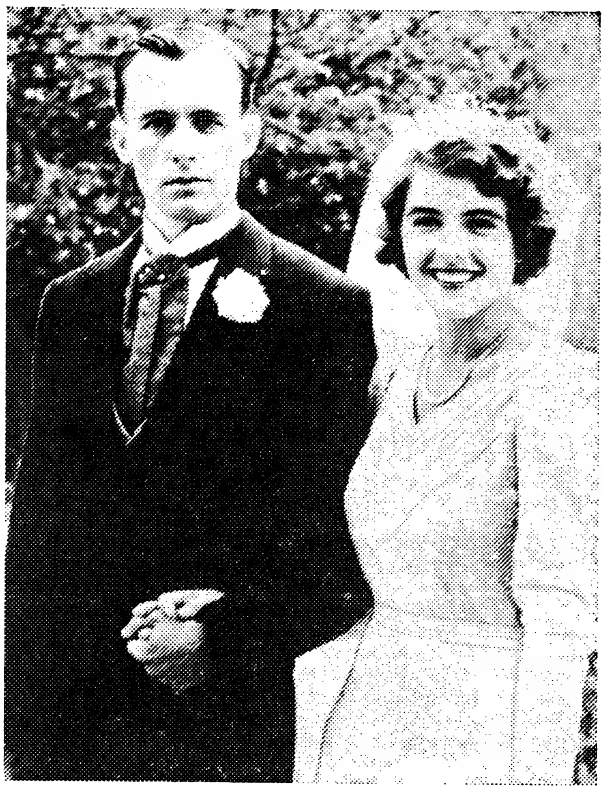
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ

Автобиография Кристабел Биленберг называлась «Прошлое — это я». «Кристабел» — новый фильм телекомпании Би-би-си, снятый режиссером Адрианом Шерголдом по мотивам книги.

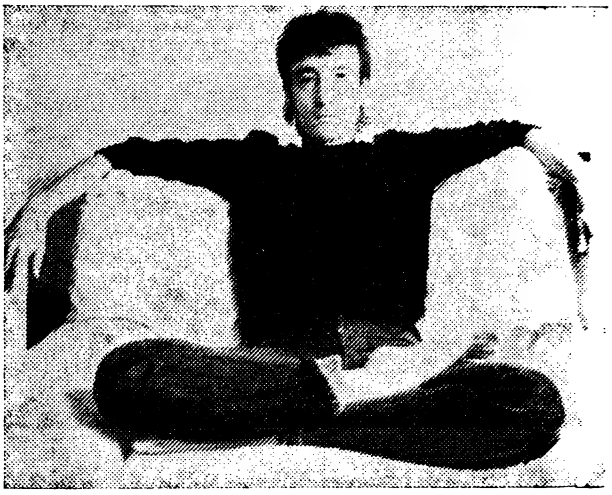
Молодая англичанка из высших кругов выходит замуж за обеспеченного немецкого адвоката. Сразу же после венчания в церкви св. Марии и св. Варфоломея в предместье Солсбери Кристабел и ее муж Петер уезжают в Германию. Но зрители увидят отнюдь не семейную идиллию — свадьба состоялась в 1934 году, нацизм уже набрал силу.

Кристабел и Петер принадлежат к тому слою общества, для которого политика не просто не существует, для них она — «грязное дело», но на собственном опыте им приходится узнать, что бывают такие

(Журнал «Лиснер»)



Кадр из фильма «Кристабел».



После состоявшейся недавно премьеры фильма «Представь себе», посвященного жизни и творчеству Джона Леннона и основанного на документальных материалах, Йоко Оно сказала журналистам: «Это прекрасный фильм. Джон в нем показан так, как он действительно того заслуживает». И сама Йоко, и поклонники бывшего участника группы «Битлз» вздохнули с облегчением, ибо не так давно вокруг имени Леннона была поднята грязная шумиха.
Ее вызвало появление биографической книги о музыканте, автор которой, некий А. Голдман, ранее тенденциозно описавший жизнь Элвиса Пресли, представил Леннона «ошибкой природы», полусумасшедшим злодеем, приписав ему всевозможные грехи. Однако журнал «Роллинг стоун» проверил достоверность этих обвинений и пришел к выводу, что «опус биографа основан лишь на сплетнях и предположениях автора». Журнал «Нувель обсерватёр» приводит весьма красноречивые слова Пола Маккартни об этой книге: «Прошу вас, не покупайте ее. Это просто какая-то куча грязи». А фильм «Представь себе» еще раз подтверждает, что Джон Леннон никогда не был «черен душой».
На снимке: Джон Леннон в 1979 году.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

обстоятельства, когда «именно политика становится в жизни всем». Петер Биленберг, как один из участников заговора против Гитлера, арестован и отправлен в лагерь Равенсбрюк. Кристабел решает спасти своего мужа от смерти...

Но все же «Кристабел» — не очередная вариация на тему: «колючей проволоке нас не разлучить», хотя постановщики отдали дань и особенностям этого жанра. Идеология — тоже не самое главное в картине, поскольку не идеология помогает героине найти в себе силы, чтобы сказать: «Я человек и поэтому не пойду на то, чего вы от меня хотите».

По словам сценариста Денниса Портера, биография К. Биленберг начинается «под знаком покорности и равнодушия», но далее жизненный путь, действия молодой женщины становятся символом сопротивления злу. Сценарий точно следует за книгой. «Я постарался отступить от привычных представлений о второй мировой войне и выяснить, не было ли тогда — несмотря на весь этот хаос, кровавые ужасы, бездну отчаяния и страха — места хоть проблеску надежды, поводу для оптимизма? Все же невозможно поверить, что Германия поголовно приветствовала фюрера...»

Венгрия

ТРИЛОГИЯ ИШТВАНА САБО

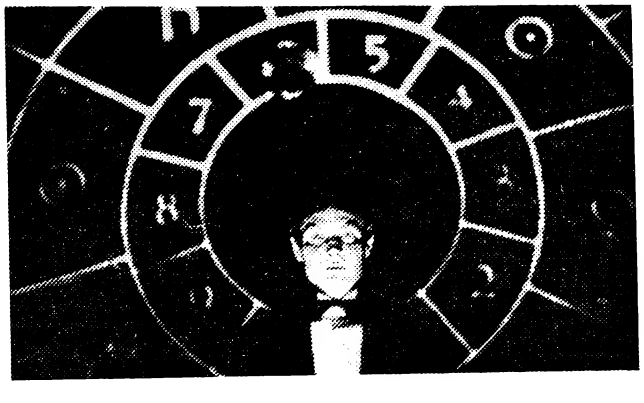
Семь лет понадобилось Иштвану Сабо для завершения кинотрилогии о трагических страницах европейской истории первой половины нашего века. После кинолент «Мефистофель» (1981) и «Полковник Редль» (1984) выдающийся венгерский режиссер снял новый фильм — «Хануссен», сообщает западногерманский еженедельник «Цайт». Главную роль, как и в двух предыдущих фильмах, здесь сыграл знаменитый австрийский актер театра и кино Клаус Мария Брандауэр.

Стремление взять на службу силы зла не может остаться бесследным, искушение продать душу дьяволу ведет человека лишь к гибели — этот «мотив Мефистофеля» объединяет все части трилогии, причем биографии ее героев, продолжает еженедельник, становятся своеобразными символами исторических эпох: театрализованное нацистское государство и одержимый театром актер Хендрик Хёфген; крах Австро-Венгерской монархии и изобличенный шпион Редль; безысходное время фанатиков и лжепророков в Германии конца двадцатых годов и «пророк нового мессии» Эрик Ян Хануссен.

Фигура венского еврея Германа Штайншнайдера (настоящее имя Хануссена), балаганного фокусника и укротителя, воздушного акробата на трапеции в низкопробных провинциальных варьете, шарлатана и профессионального ясновидца, автора «Учебника телепатии» и весьма эксцентрических мемуаров «Линия моей жизни», привлекала многих кинематографистов и литераторов, обращавшихся ко «времени исчезнувших ориентиров»: в 1955 году был снят первый фильм о Хануссене с О. В. Фишером в главной роли; есть основания полагать, что зловещая и трагичная его судьба легла в основу романа Фейхтвангера «Братья Лаутензак».

«Если мы хотим говорить о современности, нам нужно знать, откуда мы пришли»,— цитирует слова Иштвана Сабо о новом фильме западногерманский журнал «Шпигель». Штайншнайдер (в фильме — Клаус Шнайдер) становится у Сабо не столько историческим лицом, сколько своеобразным «медиумом духа вре-

Кадр из фильма И. Сабо «Хануссен».



мени», восторженным провозвестником грядущего обесчеловечения. Почему смог Хануссен, предрекавший «неминуемую победу Гитлера, а вместе с ней — триумф народной идеи», стать властителем дум берлинского высшего света? Не потому ли, пишет «Шпигель», что стратегии двух авантюристов были весьма схожими? «Телепат, — читаем мы в книге Хануссена,— должен осознавать свое духовное превосходство над широкими массами...» С успехом придет и уверенность, телепата «окутает аура чудесного», и «уверовавшее в него общество станет в тысячу крат легче поддаваться любому внушению». На страницах основанной им газеты ясновидящий кредитор нацистских вождей, близкий друг предводителя штурмовиков СА графа Хельдорфа, не устает призывать «к готовности принести свою жертву на алтарь отечества во имя пробуждения Германии», предостерегает население от опасности, которую несут «коммунисты, планирующие заговоры и провокации, последние отчаянные акты насилия». 26 февраля 1933 года, накануне поджога рейхстага, собрав изысканное общество на открытие «Дворца оккультизма», Хануссен предрекает, что «вскоре большое общественное здание Берлина погибнет в огне». 24 марта 1933 года команда СА расстреляла Хануссена, ставшего помехой на пути пришедшего к власти Гитлера — «более могущественного провидца».

ГДР

ПО РОМАНУ ГЕДДЫ ЦИННЕР

Студия ДЕФА показала свою новую работу — режиссер Зигфрид Кюн создал по роману Гедды Циннер «Сделка со смертью» фильм «Актриса».

Действие происходит в фашистской Германии. Главная героиня — талантливая актриса Мария Райне, жертвующая блестящей карьерой ради любви к актеру Марку — еврею по национальности. Чтобы стать его женой, она инсценирует самоубийство, меняет свое имя и внешний облик. Вместе с мужем она становится актрисой еврейского театра в берлинском гетто. Этот театр, чудом просуществовавший до 1941 года, давал приют и работу многим гонимым.

Пресса ГДР поместила много откликов на премьеру фильма, состоявшуюся в кинотеатре «Интернациональ» (Берлин). На премьере присутствовала Гедда Циннер и единственный из оставшихся в живых актер «теневого» еврейского театра — восьмидесятилетний Мартин Брандт (в фильме он исполняет одну из небольших ролей). В фойе кинотеатра была организована выставка, посвященная истории этого театра.

Кадр из фильма «Актриса».

(Еженедельник «Зоннтаг»)

«Трагический путь человека к величию» — так назвал свою статью о фильме, помещенную в газете «Нойес Дойчланд», критик Хорст Кницш.

«Это рассказ о женщине, которая сама сделала выбор, решив, кого ей любить»,— отметил еженедельник «Зоннтаг». «Безусловно, фильм привлечет внимание зрителей — и тех, кто помнит это страшное время, и тех, кто не пережил его», — пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

На фестивале в Карловых Варах (1988) Коринне Харфуш, сыгравшей Марию Райне, была присуждена премия за лучшее исполнение женской роли.

Испания

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ САЛЬВАДОРА ДАЛИ

В Барселоне готовится к изданию собрание сочинений Сальвадора Дали, сообщает аргентинская газета «Пренса». В него должны войти критические статьи, памфлеты, ранее не публиковавшиеся романы и такие известные теоретические работы знаменитого художника, как «Дневник гения», «Трагический миф Молитвы Миньета», «Тайная жизнь Сальвадора Дали», «Поэзия стандарта», «50 чудесных секретов для желающих стать живописцами».

Литература всегда занимала важное место в творческой деятельности испанского художника, пишет «Пренса». Однажды он даже признался, что «чувствует себя больше писателем, нежели живописцем». Основная тема произведений Дали — искусство, много страниц посвятил он, в частности, проблемам сюрреализма. Он продолжал писать и тогда, когда тяжелый недуг резко сузил круг его творческих возможностей. Последняя работа Сальвадора Дали — «Теорема гирлянд» — представляет собой исследование о роли гирлянд в истории мирового искусства.

Предполагается, что собрание сочинений Дали будет состоять из четырех-пяти томов по 150—200 страниц каждый. Газета высказывает уверенность в том, что в истории мировой культуры литературные произведения Дали займут не менее значительное место, чем его живопись и графика.

Канада

АНАТОМИЯ ШЕКСПИРОВСКОГО МИРА

Журнал «Кензен литтерер» сообщает о выходе в свет серии публикаций о творчестве Шекспира, из которых обозреватель Эвелин Пьейе выделяет книгу известного канадского теоретика и историка литературы Нортропа Фрая «Шекспир и его пьесы». Она представляет собой сборник лекций, прочитанных Н. Фраем в рамках одного курса в университете Торонто, где он с 1939 года преподает английскую литературу. Программно-методологическая работа «Анатомия критики» (1957) выдвинула Нортропа Фрая в число крупнейших теоретиков, напоминает рецензент.

В сборнике лекций «с обманчивой простотой» исследуются девять пьес. Н. Фрай как бы воскрешает эпоху Шекспира, рассмат-

ривает существовавшие тогда условности, их взаимодействия и изменения. Журнал приводит «категоричный постулат» канадского литературоведа: «Во всех пьесах Шекспира главным героем является сам театр». По ходу каждой лекции анализируются бытовавшие в то время представления о Природе, Боге, королевской власти, и этот анализ, по мнению обозревателя, сделан «весьма плодотворно, со всеобъемлющей ясностью».

Далее Н. Фрай рассматривает язык пьес, контекст употребления слов, их частотность и на основе этого последовательно описывает структуру шекспировского мира, «преобразование идеологии в мифологию», эволюцию произведений Шекспира «в направлении все возрастающей простоты», которая «сближает последние его пьесы с фольклором».

Критик особо отмечает удачное использование канадским ученым довольно распространенного принципа: «Любую пьесу Шекспира необходимо исследовать как «развернутую метафору». При этом приверженцы такого подхода занимают, по словам рецензента, «позицию, способную вызвать полемику», ибо попутно скрещивают шпаги со сторонниками «комментариев и психологических толкований поведения действующих лиц».

«Эту небольшую книгу Нортропа Фрая,— пишет журнал,— отличает прекрасная опора на текст и несомненное великолепие. Его умение использовать при анализе философские учения времен Шекспира, а также скрупулезное исследование текста незаметно и вместе с тем эффективно проясняют для читателей суть вопроса».

США

ГОД СТАДСА ТЕРКЕЛА

«1988 год по китайскому календарю — Год Дракона. По американскому календарю — это Год Стадса Теркела». Так начинает свою статью о творчестве известного публициста и радиожурналиста обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Г. Митганг. Вышла в свет новая «устная история» Теркела «Великий водораздел: новые мысли об Американской мечте». Кинозрители увидели фильм «Восемь человек», где роль репортера играет Теркел (действие происходит в 1919 году во время одного из крупных скандалов, потрясших спортивный мир Америки в связи с тайными финансовыми операциями). Теркел — ведущий новой документальной ленты телекомпании Пи-би-эс «Славное сражение», рассказывающей об участии американских интернационалистов, бойцов бригады

Стадс Теркел.

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

имени Линкольна, в гражданской войне в Испании в конце 30-х годов. В иллинойсском театре «Нортлайт» недавно состоялась премьера пьесы по книге Теркела «Разговариваю сам с собой». Ну и, разумеется, как обычно, вот уже на протяжении нескольких десятилетий он ведет ежедневную передачу на радиостанции Чикаго, которую слушают жители многих штатов.

Луис Теркел родился в 1912 году в Нью-Йорке и после окончания Чикагского университета обосновался в этой «столице Среднего Запада» США. Став журналистом, Теркел взял себе псевдоним «Стадс» — так звали главного героя цикла романов его любимого писателя Дж. Фаррелла. Теркел по праву считается одним из создателей и классиком художественно - публицистического жанра, который расцвел в 70-е годы. Его книга — «устная история» — «Хорошая война» была в 1985 году удостоена Пулицеровской премии — высшей литературной награды США (см. «ИЛ», 1985, № 5 и 10).

Отвечая на вопрос Г. Митганга о том, что означает подзаголовок его книги — «Новые мысли об Американской мечте», — писатель сказал: «За последние три года я встречал немало молодых людей, чьи представления об американской мечте разительно отличаются от представлений тех людей, которые приезжали некогда в Америку из Старого Света. Иммигранты мечтали о том, что жизнь их детей будет куда лучше, чем их собственная. Но теперь дети говорят, что они не будут жить так же хорошо, как их родители.

И еще. Люди, относившие себя к среднему классу, начали усваивать ценности среднего класса. Они усвоили чужие идеи о самих себе, как свои собственные. В моей книге вы встретитесь с безработными сталелитейщиками и фермерами, которым нравится Рональд Рейган. Во времена депрессии люди, ютившиеся в деревянных лачугах-времянках, называли эти поселения Гувервиллями. Но я ни разу не слышал сегодня, чтобы такие же трущобы назывались Рейганвиллями».

Уточняя смысл названия новой книги, являющейся продолжением тома «Американские мечты, утраченные и обретенные» (1980), Теркел говорит: «Сегодня в стране наметился великий водораздел. Пропасть между имущими и неимущими. Пропасть между прошлым и настоящим. Раскол существует даже внутри семей: родители настроены как религиозный фанатик-консерватор Джерри Фолуэлл, а дети поддерживают католиков, сражающихся с оружием в руках в Сальвадоре».

«Сострадание и надежда не в моде сегодня,— продолжает Теркел. — Но люди ждут призыва подлинного лидера. Сегодня, как никогда в нашей истории, в стране существует множество стихийных демократических движений, движений за мир, участники которых хотят объединиться. Но к сожалению, о них ничего не сообщают в программах ежедневных теленовостей».

Франция

ПОСВЯЩЕНИЕ РУССКИМ ДРУЗЬЯМ

Анри Шенневьер — по профессии дипломат, в Москве он провел шесть лет: три года из них — во времена брежневского застоя (197[illegible] —

Анри Шенневьер.

(Журнал «Магазин литтерер»)

1974), потом вернулся сюда уже в 1985 году, когда начала воплощаться «горбачевская реформа с тремя ее ключевыми понятиями — перестройка, ускорение, гласность». Вполне естественно поэтому, что действие новой книги А. Шенневьера (предыдущая — «Морская звезда» — была удостоена премии Марселя Паньоля) происходит в нашей стране.

Главный герой «Весны в России», опубликованной известным издательством «Дю Роше» (Монако),— писатель Кирилл Шоломилев. Ему суждено пережить глубокие душевные и творческие муки: несколько лет назад умерла его любимая жена, певица Наташа; трудно идет работа над романом, где Кирилл Борисович в сложной, философской манере повествует о двух главных загадках бытия — любви и смерти. Книга эта посвящена Помпеям, обрушившейся на древний город катастрофе и любви молодого Чужеземца, нашего современника, к девушке, изображенной на помпейской фреске Виллы мистерий. Становится понятно, почему официозные критики принимают историю «странноватого Чужеземца» в штыки, противятся публикации книги в солидном издательстве: она чересчур неоднозначна, словно бы зашифровака, короче, не конъюнктурна и вовсе не предназначена для массового читателя. К тому же автор высоким языком искусства говорит в ней тогда еще запретную правду о чернобыльской катастрофе — сегодняшнем аналоге «гибели Помпей».

Косо смотрят на Шоломилева «чиновники от литературы» и оттого, что его друг, западногерманский фотохудожник Хельмут Хоффман, выставив в Риме серию работ «Просодия женских ню», снабдил каждую фотографию обнаженной модели «стихотворением в прозе» Кирилла. Вызов литературным бюрократам оборачивается нежданным счастьем: благодаря этим проникновенным строкам писателя полюбила девятнадцатилетняя итальянка Лаура Скарафаджи. Их путь друг к другу — путь во тьме, через препятствия и невзгоды. Начавшуюся на трагической ноте книгу Анри Шенневьера завершает свет надежды: «После бесчетных зим наконец придет весна...»

«Весна в России» — это еще (и прежде всего) рассказ о перестройке, ибо жизнь русского человека в наши дни, отмечает издательская аннотация, особенно тесно связана с жизнью общества. Автор посвятил роман своим миогочисленным «друзьям из страны белых зим, с благодарностью и надеждой». А. Шенневьер — доброжелательный и чуткий наблюдатель: он подмечает многие «сиюминутные» детали жизни России, но видит и «даль ее бессмертия». С любовью описаны в его книге Москва, Ленинград, населяющие «две столицы» художники, писатели, музыканты — и наряду с ними простые людк».

Высшей похвалой, признается Анри Шенневьер, он счел обращенный к нему вопрос французского издателя после прочтения книги — «первого художественного произведения о перестройке»: «Скажите, пожалуйста, а вы случайно не русский по происхождению?»

ФРГ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В МЮЛЬХАЙМЕ-НА-РУРЕ

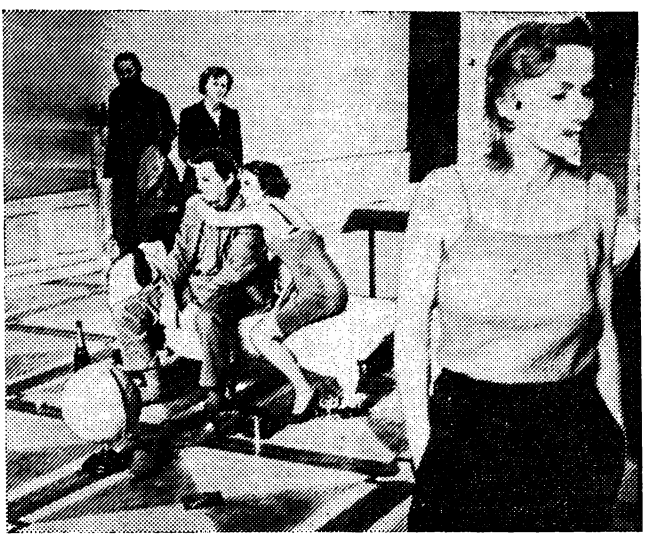
До 1976 года провинциальный городок на берегах одного из притоков Рейна представлял собою белое пятно на «театральной карте» ФРГ, отмечает западногерманский журнал «Культуркроник». С тех пор вот уже в тринадцатый раз здесь проводится театральный конкурс, который по значимости сравнивают с самым интересным событием сезона — фестивалем «Театральные встречи», ежегодно проходящим в Западном Берлине. Однако если на берегах Шпрее итоги сезона подводятся представлением лучших театральных постановок и недостатки пьес, по мнению рецензента «Франкфуртер альгемайне», зачастую бывают «скрыты» актерским мастерством или режиссерскими решениями, то в центре внимания жюри мюльхаймского конкурса находится прежде всего «драматургическая основа» — тексты, коль скоро они были инсценированы тем или иным театральным коллективом.

Тринадцатый мюльхаймский фестиваль стал важным культурно-политическим событием: впервые в нем принял участие театр из ГДР. В постановке берлинского Театра имени Максима Горького был показан спектакль по пьесе известного драматурга Фолькера Брауна «Переходное общество».

Высшей оценки жюри была удостоена драматическая трилогия «Война» — дебют тридцатичетырехлетнего западногерманского автора Райнальда Гёца. Были отмечены также две «квазибиографические пьесы»: «Сталин» Гастона Сальваторе и «Майн кампф» Дёрдя Табори.

Сцена из спектакля по пьесе Фолькера Брауна «Переходное общество».

(Газета «Нойес Дойчланд»)



Авторы этого номера

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР (род. в 1904 г. в Польше) — еврейский американский писатель, с 1935 года живет в США. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1978 г. Пишет на идиш. И. Зингер — автор многих романов, наиболее известны «Семья Мошкат» (1950), «Фокусник из Люблина» (1960), «Раб» (1962), «Двор» (1967), «Враги. История одной любви» (Национальная книжная премия 1974 г.), «Шоша» (1978), автобиографического повествования «Судный дом моего отца» (1966) и «Затерянный в Америке» (1981), сборников рассказов «Сатана из Горая» (1935), «Друг Кафки» (1970) и др.
Публикуемые рассказы взяты из книги И. Зингера «Зеркало и другие рассказы» (1979, издание Иерусалимского университета) и из израильского журнала «Ди голденэ кейт» (1964, № 49).

КАРЕЛ СЫС (KAREL SÝS; род. в 1946 г.) — чешский поэт. Публикуемые стихи взяты из его сборников «Американский счет» («Americký účet», 1980), «Машина времени» («Stroj času», 1984) и «Книга пословиц» («Kniha přísloví», Praha, Československý spisovatel, 1985).

МИХАЛ ЧЕРНИК (MICHAL ČERNIK; род. в 1943 г.) — чешский поэт. Предлагаемые стихи взяты из его сборника «Желаю счастья» («P. F.», Praha, Československý spisovatel, 1984).

ЙОЖЕФ МЕЛИУС (MÉLIUSZ JÓZSEF; род. в 1909 г.) — венгерский поэт, прозаик, публицист; живет в Румынии (о нем и его творчестве см. предисловие).
Книга «Кафе «Транзит» издана в Бухаресте в 1982 г. («Tranzit kávéház», Bukarest, Kriterion könyvkiadó, 1982).
Книга «Западное кафе» — в Бухаресте в 1985 г. («Napnyugati kávéház». Bukarest, Kriterion könyvkiadó, 1985).

АРТУР ЛОНДОН (ARTUR LONDON; 1915—1986) — чехословацкий политический и государственный деятель.
Книга Артура Лондона «Признание», фрагменты которой предлагаются вниманию читателей, вышла в Париже в 1968 году (Artur London. "L'aveu". Paris, Edition Gallimard, 1968).

Переводчики

БЕРИНСКИЙ ЛЕВ САМУИЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — советский поэт и переводчик. В его переводе публиковались стихи румынских поэтов З. Станку, Н. Стэнеску, М. Сореску, В. Теодореску, М. Динеску, испаноязычных поэтов А. Мачадо, П. Неруды, Э. Ромеро, с идиш — М. Шагала и др.

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1928 г.) — советский поэт, лауреат Государственной премии СССР. Автор сборников стихов «Утро в пути» (1953), «Смена дней» (1965), «Снег в сентябре» (1968), «Позднее утро» (1977), «Сюжет» (1980), «Избранные произведения» в двух томах (1981), «Новое время» (1986), «Стихотворения. Поэмы» (1987). Переводил стихи болгарских и чешских поэтов, а также поэзию народов СССР.

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.)— советский литературный критик, переводчик, доктор филологических наук. Автор книги «Современная венгерская литература в контексте литератур социалистических стран Европы. Динамика художественного конфликта» (1987). В его переводе изданы романы Пала Сабо «Пядь земли», Ласло Немета «Вина» и «Милосердие», Магды Сабо «Старомодная история» и др.

К. НАУМОВ (Наумов Наум Вениаминович; 1918—1982) — советский переводчик с итальянского, испанского и французского языков, литературовед, критик. В его переводах издавались романы Сильвии-Маджи Бонфанти «Сперанца» («ИЛ», 1955, № 2—4), Ренаты Вигано «История двух девушек», Эрнесто Кастро «Вспаханное поле», Малека Хаддада «Перевернутая страница», Альбера Эпарса «Час правды», повести Ива Монтана «Солнцем полна голова» (совместно с О. Образцовой, «ИЛ», 1956, № 5—6), Веркора «Слова» (совместно с Л. Лунгиной, «ИЛ», 1956, № 4), а также произведения Карло Леви, Д. Дольчи, Андре Стиля и др.

ЗЛОБИНА МАЙЯ ЛАЗАРЕВНА — советский критик и переводчик. Автор статей о современной зарубежной литературе, публиковавшихся в периодических изданиях. Переводила с французского рассказы и эссе А. Камю, А. Моруа, Ф. Мориака и др.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Роман «Золотой Храм» — центральное произведение ЮКИО МИСИМЫ (Япония), одного из наиболее сложных и противоречивых писателей XX столетия.

Материалы состоявшейся в ИМЛИ им. М. Горького конференции на тему «Коммунизм и христианство», в которой приняли участие видные советские и зарубежные писатели, литературоведы и деятели церкви.

Под рубрикой «Литературный мир об «Улиссе» публикуются статьи Ричарда Олдингтона, Валери Ларбо, Арнольда Беннетта, Эзры Паунда.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ч. Т. АЙТМАТОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ, Н. А. АНАСТАСЬЕВ (первый зам. главного редактора), **О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, тел. 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 30.01.89. Подписано в печать 21.03.89. Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 29,42.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.) Зак. 497.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Рекламный плакат.

Цена 1 р. 80 к.

Индекс 70394

ISSN 0130 — 6545 Иностранная литература № 4, 1989, 1 — 256